

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ  
ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ БЮРО

А. В. Головнёв

АНТРОПОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ  
(ДРЕВНОСТИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ)

Екатеринбург — 2009

ББК 63+28.7  
УДК 94:39

Головнёв А. В. Антропология движения (древности Северной Евразии). Екатеринбург: УрО РАН; «Волот», 2009. 496 с.

Антропология движения измеряет реальность в единицах действия, ее главными категориями выступают динамика и статика, основными инструментами — мотивационно-деятельностные схемы и историко-антропологические сценарии. Эта новая методология открывает прайсторию и историю в живой последовательности мотивов-действий исторических персонажей. Схемы и сценарии развития культур и народов Евразии в хронологическом диапазоне от палеолита до средневековья представляют узловые сюжеты освоения человеком планеты, события древней истории индоевропейцев, алтайцев, уральцев, хунну, готов, викингов, Руси, монголов, кочевников Арктики. Особое внимание уделено кочевникам моря и суши, сыгравшим ключевую роль в истории Северной Евразии.

Книга адресована исследователям и широкому кругу читателей.

Ответственный редактор:  
акад. РАН В. А. Тишков

Рецензенты:  
д.и.н. Н. Н. Крадин, к.и.н. Е. В. Перевалова

Книга издана по программе фундаментальных исследований  
Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям  
природной среды, социальным и техногенным трансформациям»

ISBN 978-5-89088-037-6

© Головнёв А. В., 2009  
© ИИА УрО РАН, 2009  
© Этнографическое Бюро, 2009  
© НППИ «Волот», 2009 (ISBN)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Пролог: Номо mobilis .....</b>	<b>5</b>
<b>Предисловие .....</b>	<b>7</b>
Динамика и статика .....	8
Деятельностная схема .....	14
Локальность и магистральность .....	18
Факт и феномен .....	24
Северность .....	29
<b>ЧАСТЬ I. СХЕМЫ .....</b>	<b>35</b>
<b>Глава 1. Прадвижение .....</b>	<b>37</b>
Миграция как традиция .....	38
Мим-адаптации .....	47
Звериный язык .....	56
Cherchez la femme .....	66
<b>Глава 2. Циркумпольярность .....</b>	<b>75</b>
Пути на север .....	76
Берингия .....	86
Земля Санникова каменного века .....	93
От Атлантики до Пацифики .....	106
<b>Глава 3. Праэтничность .....</b>	<b>118</b>
Родство, секс и власть .....	122
Праязык и прародина .....	134
Оседлые и кочующие .....	146
<b>Глава 4. Коневоды и мореходы .....</b>	<b>156</b>
Конные индоевропейцы .....	157
Люди моря .....	168
Век хунну .....	180
Готское пространство .....	192
<b>ЧАСТЬ II. СЦЕНАРИИ .....</b>	<b>207</b>
<b>Глава 1. Викинги .....</b>	<b>209</b>
Харальд Суровый .....	211
Кеннинги и морские конунги .....	218
Зверь пучины .....	226
Ясень битвы и Куст богатства .....	232
Vegr (путь) .....	238
Ragnarök (Гибель богов) .....	243

<b>Глава 2. Гарды .....</b>	<b>253</b>
Святослав .....	254
Русь (Rhos, Ruotsi) .....	262
Полюдьё .....	271
Каприз княжны Ингигерд .....	284
Из варяг в арабы и греки .....	295
<b>Глава 3. Кочевники Арктики .....</b>	<b>311</b>
Путь Отгара .....	312
Бьярмия (Крайняя Земля) .....	318
Гандвик (Колдовской залив) .....	328
Недарма (дорога) .....	338
Китобои Берингии .....	348
<b>Глава 4. Монголы .....</b>	<b>357</b>
Керентский хан Тоорил .....	358
Бурхан-халдун .....	372
Улус и любовь .....	382
Орда и война .....	400
<b>Эпилог .....</b>	<b>420</b>
<b>Литература .....</b>	<b>427</b>
<b>Сокращения .....</b>	<b>461</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>462</b>
<b>Summury: Anthropology of Movement</b>	
<b>(Antiquities of the North Eurasia) .....</b>	<b>468</b>



## Пролог: Homo mobilis

Сегодняшний человек скорее сидящий и лежащий, чем прямоходящий. Большую часть дня он сидит, а ночи — лежит. Походка уступает место посадке. Спешить — означает в наши дни не шевелить ногами, а жать на педаль газа или торопливо набирать номер телефона. Благодаря технологиям связи и транспорта случилась «смерть расстояний», а заодно кризис живой коммуникации. Современный «движущийся человек» (*Homo mobilis*) — сидячий менеджер с мобильным телефоном.

Два миллиона лет назад, судя по костям стопы обнаруженного в Олдувайском ущелье *Homo habilis*, далекий предок человека больше бегал, чем ходил (Кларк 1977:51). По убеждению большинства исследователей древности, люди палеолита постоянно двигались, успевая преследовать мигрирующего зверя, совершенствовать навыки обработки камня, рожать и растить детей. На заре человечества движение было естественным состоянием, и все прозрения каменного века совершались на ходу или на бегу. Самый значительный итог палеолита — освоение ойкумены — достигнут за счет удивительной способности человека к пространственной экспансии. Все первые технологические изобретения — метательные орудия, лук и стрелы, лодки и нарты — были совершены ради преодоления расстояний. В древности обыденностью была постоянная подвижность, а признаком бедствия — оседлый покой.

Насколько сдвиг от динамики к статике изменил мировосприятие людей и их повседневность? Современный оседлый человек сохранил пристрастие к движению, что слышно сегодня в ритмах музыки и видно в стиле кинематографа с его стремительным клиповым монтажом. Динамика экрана компенсирует статику реальности: глядя на захватывающие гонки, человек удовлетворяет предковый инстинкт движения. Люди научились ценить и любить покой. Хуже это удастся детям, которые со своей врожденной тягой к движению ползают, бегают, летают во сне, а затем учатся у взрослых степенности и медлительности, будто повторяют опыт оседания цивилизаций.

В общественном сознании и науке цивилизованность прочно ассоциируется с оседлостью. В XX в. перевод кочевников на оседлость мыслился единственным средством их приобщения к высокой культуре. И сейчас слово «кочевник» опутано оттенками отсталости и инакости. Трудно сказать, чьих заслуг в этом больше — самих кочевников или оседлых историков.

История написана в статике — в позе летописца, глаголами совершенного вида. В какой-то мере вся классическая наука закреплена на статичной точке опоры и в любом неравновесии ищет покоя, от неясности и неразрешенности стремится к выводу и итогу. Между тем человек не производит итогов, он совершает действия, которые лишь в определенном свете выглядят свершившимися фактами. В бесконечной череде событий понятие итога знакомо истории только со слов историка. История никогда не останавливается, но в сознании историка она всегда остановлена. Он мыслит стоп-кадрами, предпочитая хаосу движений прикрепленные к осям пространства и времени события-факты. Реальные движения замещаются в историческом тексте мышлением исследователя, рисующим фазы материального и социального прогресса, смену общественных формаций, подъемы и спады производства.

История рассталась с кочевниками, так и не сумев их толком понять и описать. Оседлая культура иначе, чем кочевая, осваивает пространство, прокладывает дороги, видит мир. Даже самые масштабные движения, включая «великие переселения», в истории передаются серией сменяющих друг друга статичных оттисков событий. Кочевник интересен историку не на просторе степей, а под стенами осажденного города, воин — не в пылу битвы, а в позе побежденного или победителя. История-наука унаследовала от иноков-летописцев неприязнь к кочевникам, и исследователи до сих пор смакуют мгновения триумфа, когда в XVIII в. цивилизации Китая, России, Индии и Ирана положили долгожданный конец могуществу кочевого мира. Для оседлого историка крупное передвижение — эксцесс, разрыв событийной ткани, а кочевой народ — историческое антитело, бич божий. Например, Ф. Бродель (1986:112) видел в номаде социального паразита и «исторический абсурд».

Насколько современный человек может уловить мотивы и понять действия древнего *Homo mobilis*, покорившего планету и создавшего человечество в его нынешнем пространственном измерении? Сохранило ли движение, многократно преобразованное изобретениями и достижениями, значение основного способа существования социальной материи? Почему движение, обладающее громадной важностью для жизнедеятельности людей и народов, не служит ключевой категорией в антропологии? Что остановило бег древнего человека, и как изменился с тех пор баланс динамики и статики?

## Предисловие

*Динамика и статика. Деятельностная схема.*

*Локальность и магистральность.*

*Факт и феномен. Северность*

Два последних десятилетия российской истории впечатляют насыщенностью событий. После обрушения государства и идеологии за короткий срок перед глазами промелькнули все мыслимые сценарии: первобытное обнажение нравов, рождение власти и зависимости, накопление капитала и мифологизация богатства, эволюция банд в элиты, жажда этничности и идентичности. Один историк страдал от житейских неурядиц, другой наслаждался обилием впечатлений от реалий и откровений политики и идеологии, богоискательства и нациестроительства. Постсоветская Россия стала экспериментальной антропологической лабораторией, где создавались новые обряды и ценности, строились и рушились персональные и корпоративные миры. Пробуждавшиеся при этом «дикие нравы» лишь на первый взгляд казались приметами апокалипсиса или физиономическими чертами многострадальной России; в действительности они были проявлением типичных поведенческих схем Homo sapiens. Тонус страха и поза обреченности, успех авантюры и превосходство грубой силы, организованность разбойников на фоне покорности мирян, чехарда традиций и новаций, инстинкт веры и тяга к ритуалу — лишь часть постсоветского социального репертуара. Особенно впечатляет опыт российской адаптивности, смены убеждений, нарядов, имиджей, ролей: на долю одного поколения выпала калейдоскопическая череда образов жизни и мыслей, гражданств и вероисповеданий. При этом взрослые оказались способными к подражанию не меньше, чем дети, а народное творчество в сфере социальных технологий — в создании и сколачивании разного рода кооперативов, общин, партий, пирамид, академий, сект — превзошло все ожидания.

Постсоветская действительность дополнилась тревожными глобальными сдвигами. За считанные годы возник и расширился до труднообозримых объемов виртуальный мир с его законами, обрядами, властями, рынками, преступниками, болезнями. В этом мире за виртуальные деньги продаются участки виртуального пространства и оказываются виртуальные услуги, а условные люди условными знаками создают условные сообщества. Усердием и мастерством менеджеров этого мира зашифрованная пустота стала

большей реальностью, чем корова на лугу. Впрочем, новы лишь технологии, а не собственно внебытийный эфир. Порожденная мифологией и магией, виртуальность с давних пор воздействовала на обыденность. Рациональная на вид экономика с древности была управляема механизмами власти, престижа, культа. И сегодня, как показал глобальный финансовый кризис, богатство надувается и сдувается вне связи с производством, на месте объективных законов обнаруживается гонка амбиций и проектов, мир замороженно наблюдает, как он дешевет или дорожает в биржевой игре. Рыночные и политические реалити вплотную сблизилась с мифологией, в очередной раз напомнив о стойкости древних схем деятельности и ментальности, выработанных праменеджерами первобытности.

Человек по-прежнему остается самым адаптивным в природе видом, освоившим Землю и различные ее экосоциониши. Это свойство во многом основано на совершенстве и многообразии коммуникации — на движении людей и идей. Вид Номо вырос и возмужал в движении, хотя его формы и технологии со временем существенно преобразовались. Первая сеть, которой охватил планету человек, была сетью путей, в которой устанавливались и изменялись ритмы жизнедеятельности, схождения и расхождения, конфликтов и контактов.

### *Динамика и статика*

Гуманитарий с легкостью признает естественнонаучный постулат о движении как способе существования материи, но с той же легкостью не замечает движения в истории или не придает ему основополагающего смысла. Отчасти это связано с тем, что динамики обнаруживается так много — в людях, народах, религиях, мыслях самого историка, — что учет ее форм и проявлений кажется невозможным. Когда движение повсюду и трудноразлично в деталях, проще его вовсе не замечать, заместив многообразную динамику суммарным иероглифом статики. В научном толковании движения заложен парадокс: для его фиксации необходима хотя бы мгновенная остановка, и в этот миг описываемая сцена во всем соответствует реальной картине, за исключением одного качества — состояния движения. Стоп-кадр, как бы эффектно он ни выглядел, разрывает поток жизнедеятельности.

Знаменитые апории Зенона Элейского о невозможности движения («Ахилл и черепаха», «Дихотомии», «Летающая стрела»)

связаны с противоречием между реалиями и способом их логической фиксации (непременно остановки) в человеческом сознании. «Ахилл никогда не догонит черепаху», «движение не может начаться» — таковы неутешительные уроки апорий. По преданию, один из учеников пытался возразить Зенону, начав демонстративно ходить, но был бит палками: он не понял апории, состоящей в том, что чувственно движение есть, но логически его нет, оно прерывается в каждой фиксирующей его точке.

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.  
Другой смолчал и стал пред ним ходить.  
Сильнее бы не мог он возразить;  
Хвалили все ответ замысловатый.  
Но, господа, забавный случай сей  
Другой пример на память мне приводит:  
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,  
Однако ж прав упрямый Галилей (А. С. Пушкин. «Движение»).

Со времен Зенона и Парменида противопоставление чувства и разума как динамики и статики сохраняется, и наука предпочитает статику. По словам А. Бергсона, механика способна постичь в движении только неподвижность, поскольку она «оперирует уравнениями, а алгебраическое уравнение всегда выражает совершившийся факт. Между тем сама суть длительности и движения, какими они предстают нашему сознанию, заключается в процессе непрерывного становления; алгебра же может выражать в своих формулах результаты, полученные в определенный момент длительности, и положение, занимаемое в пространстве движущимся телом, но она не в состоянии выразить саму длительность и само движение» (Бергсон 1992:101). Современная наука, в том числе математика и физика, приняла от школы элеатов статичную картину мира, в которой отсутствует процесс движения и тела в разные моменты времени могут находиться в разных местах, но покоятся в каждом из них (см.: Анисов 2000:139–153).

Как заметил Э. Ле Руа, в истории Земли выделяются два главных события — оживление материи и очеловечение жизни (Le Roy 1928:47), и оба они основаны на движении как естестве живой материи. Его многообразие — вращение космических тел, ритмы атмосферы, толчки кровотока, сокращение мышц, деление клеток и взаимодействие микрочастиц — в равной мере пугает и вдохновляет, однако не может оставаться вне приоритетов науки, в том числе

истории. Среди этого множества есть область динамики, которая образует поле антропологии — движение людей, включая мимику, жесты, речь, сигналы, реакции, коммуникации, миграции.

Двигательный аппарат человека состоит из 600 мышц, более 200 костей и нескольких сотен сухожилий. Движение начинается в мозгу и лишь исполняется руками, ногами или языком. Н. А. Бернштейн полагал, что в физическом движении проявляется фундаментальное свойство жизни — активность. В противовес физиологической концепции И. П. Павлова о реактивности как главном регуляторе жизненных актов Н. А. Бернштейн предложил в нейрофизиологии принцип обратной связи, идею рефлекторного кольца, регулируемого активностью самого человека (Бернштейн 1947). Изучение движений как ключа к познанию механизмов деятельности мозга позволило не только практически восстанавливать двигательные функции раненых воинов и совершенствовать методы подготовки спортсменов, но и разработать базовые для кибернетики и теории информации принципы программного управления. Н. Винер отмечал направляющую роль центральной системы для воспринимающих и исполнительных органов, а теорию управления и связи в машинах и живых организмах предложил назвать кибернетикой (от греч. κυβερνήτης ‘кормчий’), поскольку «судовые рулевые машины были действительно одними из самых первых хорошо разработанных устройств с обратной связью» (Винер 1958:56, 95, 159).

Исследование движения социальных групп — ключ к познанию общественного сознания и подсознания: мотивов действий, механизма принятия решений, соотношения акций и реакций. Если история или археология имеют дело чаще всего с последствиями и свидетельствами событий, то антропология движения ориентирована на познание импульсов и характера деятельности. Она нацелена более на активность, вызвавшую событие, чем на его итог (понятие «итог» вообще трудноопределимо в живой ткани истории, где каждый шаг оказывается одновременно ходом, финалом и началом какого-либо состояния). Движения-действия образуют в своей последовательности деятельностные схемы и сценарии событий. Основоположник антропогеографии Ф. Ратцель прежде и ярче других высказался о значении движения в жизни человечества: «Неустанное движение является свойством человечества. То, что облегчает движение народов, ускоряет также движение истории» (Ratzel 1882:49, 81).

Поиск источника движения нередко замыкается на идее Бога, выраженной, например, Фомой Аквинатом в «Началах природы»: «Нужно, следовательно, иметь еще до материи и формы какое-то начало бытия, которое действует; это начало и называют причинной действующей, или движущей, или активной, или той, откуда исходит начало движения» (Thomas d'Aquin 1927:11). Однако идея божественного миропорядка во многих религиях задает больше статики, чем динамики. Исходный мотив активности и движения коренится, как показывает этология, в глубинах прачеловеческого прошлого, и происхождение вида *Номо* напрямую связано с напряженным ритмом подвижности.

Простейшую антропологическую формулу движения можно представить как мотив–действие, а с учетом обратной связи и фазы принятия решения как мотив–решение–действие. Человек — плод движения и его генератор. С древности схемы мобильности наследуются и воспроизводятся, изменяясь и различаясь в течение жизни в зависимости от пола, статуса, темперамента, культурной традиции. Исходную модель движения вряд ли следует представлять хаотично-примитивной: судя по всему, человек заимствовал от предков развитую систему локомоции, хотя прямохождение не сулило превосходства над четвероногими в скорости. Главным преимуществом ранних людей в биоценозе была не быстрота бега или ловкость лазания, а сложная пространственная стратегия. Изначально успехи активности-движения людей зависели не столько от физических данных, сколько от искусства маневров и контроля над освоенной нишей. И впоследствии судьбы народов, государств и их вождей во многом предопределялись приемами освоения пространства — от локальной адаптации до геополитики.

Соотношение динамики и статики нередко преломляется в оттенках свободы и несвободы. Детская живость контрастирует со взрослой сдержанностью, выплеск эмоций в танце — с чопорностью официальных манер, странствие вольного рыцаря — с оседлостью крепостного крестьянина. Во многих культурах свободе динамики (прогулка, набег, путешествие) противопоставляется несвобода статики (тюрьма, осада, больничная койка). В рассуждениях Дж. Фрэзера о происхождении института правителей от невольников-чужеземцев, посаженных на трон для последующего жертвоприношения, убедительнее прочего выглядят приме-

ры принудительно статичного ритуального поведения японского микадо или гвинейского короля-священника. Не исключено, что отмечаемое в истории постепенное замещение динамики статикой связано с ограничением свободы (например, женщин и невольников в оседлых поселениях), а выход на историческую сцену кочевников был в какой-то мере бунтом против оседания-несвободы.

С понятием свободы связано отношение в истории к гонителям и гонимым, активным начинателям и пассивным соучастникам. Обычно историки, будто следуя мысли Фомы Аквинского о скрытом в божественной воле первотолчке, предпочитают представлять события не внутренне мотивированными акциями, а внешне предопределенными реакциями. Ж. Ле Гофф, например, убеждает, что варвары-германцы, осаждавшие Рим, сами по себе не были склонны к набегам, «и лишь давление внешних обстоятельств (перемены климата, натиск других народов), усиливаемое внутренней эволюцией, вынуждало их трогаться в путь <...> Это было почти всегда бегство вперед. Завоеватели — это беженцы, подгоняемые другими, более сильными или более жестокими, чем они. Их собственная жестокость часто проистекала от отчаяния, особенно когда римляне отказывали им в убежище, коего они обычно миролюбиво испрашивали» (Ле Гофф 2005:15, 39). В этом размышлении теряются причины движения — вернее, ими оказываются климатические бедствия и плохие соседи, толкавшие смиренных готов и вандалов на завоевания. Подобный оседлый взгляд на кочевников настраивает на поиск источника движения где угодно, только не внутри человека и культуры.

Способен ли сегодняшний историк сопережить времена, когда оседлость была долей рабов и калек, когда само мироздание представлялось непрерывно движущимся? Вероятно, для этого сидячий историк должен превратиться в бродячего. Подобная роль ближе этнографу, имеющему возможность уловить в среде кочевников ритм повседневной мобильности, из седла или нарты различить относительность оседлых ценностей. Признаюсь, замысел этой книги действительно родился в арктическом кочевье, где мне часто не давали покоя мысли о тайнах движения.

Миграция — самое заметное проявление социального движения и в какой-то мере простейшая его форма. Однако для антропологии важно многообразие движения и его механизмов. В зависимо-



сти от избранного угла зрения динамика и статика поворачиваются разными гранями: в эволюционистском ключе — как изменчивость и консерватизм, в антропогеографическом — как миграционизм и автохтонизм. В социологии понятие социальной мобильности позволяет наблюдать изменение общественного положения, перемещение по вертикали (вверх и вниз по социальной лестнице) или горизонтали общественной структуры (Сорокин 2006). В политологии «движение» обозначает различные явления от общественных союзов до революций, в демографии — перемещение, изменение численности и структуры населения, в социолингвистике — когнитивные оттенки коммуникации в различных языковых ситуациях (см.: Концепт движения 1996), в географии времени лундской школы — «хореографию» (схему перемещений) людей в повседневности (Hägerstrand 1968), в антропологии тела — жесты и стиль поведения, в искусствоведении — ключевой критерий эстетики и эмоционального самовыражения. Во многих случаях движение скорее учитывается, чем исследуется, что связано с его восприятием как всеобщей данности, а также с ограниченными возможностями его словесного описания. Возможно, ресурсы развивающейся визуальной культуры и одноименной антропологии, наряду с освежением словесно-текстовых практик, дадут ключ к объемному и живому восприятию и толкованию движения.

Самым значимым и трудноуловимым моментом является переход от статики к динамике, мгновение принятия решения, толчок от мотива к действию. Этот миг представляет собой величайшее таинство истории, и если запечатлевается, то как статичный стоп-кадр, а не как импульс или ускорение. Историки всегда видели свою задачу в объяснении поворотных событий (*alea jacta est*) как случайности или закономерности, пытались уловить в них веление времени или вселить собственную логику. Феноменология мгновения, будучи своего рода гуманитарной «нанотехнологией», может коренным образом изменить восприятие истории и «очеловечить» ее, делая упор не на всемирно-исторические предпосылки и последствия, а на мотивацию поступков и событий. Впрочем, макро-рассмотрение побуждений человека обычно выявляет не элементарную связку «мотив–действие», а сложный узел мотиваций, нити которых ведут к предковым инстинктам, персональным предпочтениям и метатекстам, вроде религий и идеологий.

### *Деятельностная схема*

Если в движении видеть мотивированную активность, а не механическую реакцию на внешние толчки, то ключевым понятием оказывается деятельностная схема человека. Речь идет об образе жизни, перемещениях, занятиях, мотивациях людей определенной эпохи и культуры. Поскольку в каждом народе есть люди разного возраста, пола, статуса, темперамента, рода занятий, чьи стили жизни существенно различаются, в пространстве одной культуры обнаруживается несколько деятельностных схем. Колдуны или купцы разных культур чем-то ближе друг другу, чем своим соплеменникам, занимающимся ловом рыбы или пастьбой овец. И все же в любом сообществе обнаруживается социальное ядро, задающее смысл и ритм жизнедеятельности, формирующее ценности и каноны. Таким ядром выступает элита, представленная военными, политическими, религиозными, экономическими лидерами. Элитная деятельностная схема предопределяет общее состояние и движение народа, тогда как прочие прямо или косвенно подчинены ей и составляют деятельностную оболочку. Сеть деятельностных схем образует общественную ткань, а элитные схемы придают ей структуру, осознаваемую как порядок, и выстраивают событийный ряд, воспринимаемый как история.

Будучи способом деятельности, культура насыщает собой деятельностное пространство, в котором живет и движется человек. Она делает людей адекватными экосоциальной реальности и предоставляет им набор или выбор нужных навыков и знаний. Каждый человек активизирует свою цепочку атомов культуры, из которых складывается его персональная деятельностная схема. Она всегда уникальна, как отпечаток пальца или рисунок сетчатки глаза. В персональной деятельностной схеме атомы культуры приобретают экзистенциальное значение. Из тех же атомов в их сложных комбинациях образуются социальные движения, от миграций до революций.

Деятельностная схема состоит из устойчиво повторяющихся действий, включая хозяйственные, сексуальные, военные, ритуальные. Персональную деятельностную схему не следует путать с хозяйственно-культурным типом или должностными обязанностями. Ее двигателем являются побудительные мотивы от простейших до креативных, направляющие действия человека, заставляющие его одеваться по утрам, молиться богу, пасти коней, вести войну. Комбинация мотивов, активирующих соответствующие элементы куль-

туры, создает персональный облик человека, причудливо сочетая базовые инстинкты, усвоенные нормы и индивидуальные наклонности. В этом ряду очевидные мотивы (например, хозяйственно-потребительские) сплетаются с неявными (например, амурными устремлениями), часто перекрывая друг друга по мере актуализации и реализации.

Все деятельностные схемы — проекции изначальных образов мужчины и женщины, хищника и травоядного. Поскольку человек всегда выделялся в природном царстве сверхадаптивностью, спектр его деятельности расширился и наполнился множеством оттенков, прежде всего за счет переработанных заимствований (мим-адаптаций). Во взаимодействии с другими природными видами люди успешно примеряли на себя образцы их поведения (обычно вместе со шкурами, черепами и голосами), а со временем природные мим-адаптации дополнились перекрестными социальными подражаниями и заимствованиями. При этом в разных экосоциальных нишах сложились относительно устойчивые поведенческие образцы, освященные мифологией. Например, жизненный цикл арктических кочевников состоит из длительных передвижений на открытых пространствах суши и моря. Смысл их заключается не в преодолении расстояний, а в создании и поддержании жизненного пространства, включающего не только природные, но и культурные ресурсы оседлых и полuosедлых соседей. Сторонним наблюдателям кочевники представляются пастухами, торговцами, завоевателями. В собственных глазах они соответствуют социокультурной схеме, выраженной в мифологии образом благородного хищника (волка, дракона, касатки) или богоподобного пастыря-устроителя (культурного героя пантеона).

Поведенческие образцы имеют прототипы и вариации, в каждом индивидуальном исполнении стремясь одновременно к первозданности и обновлению. О воскресающих архетипах как прафеноменах духа размышлял К. Юнг (2004), о «памяти-привычке» (*habitus*) как механизме престижного подражания рассуждал М. Мосс (1996:245–246). П. Бурдьё (2001) видел в *habitus* систему унаследованных и воспринятых человеком практических стратегий, благодаря которым выстраиваются в последовательность элементарные действия, например 20 тысяч единиц поведения, приходящихся в среднем на человека в день, или 480 движений, совершаемых женщиной на кухне за 20 минут. П. Бурдьё подчеркивал, что *habitus* служит по-

веденческой стратегией, не являясь «продуктом настоящего стратегического намерения». Это воплощенная в человеке «система устойчивых и переносимых диспозиций», организующая практики и представления, «которые могут быть объективно адаптированы к их цели, однако не предполагают осознанную направленность на нее». Объективно «следующие правилам» и «упорядоченные», габитусы «ни в коей мере не являются продуктом подчинения правилам и, следовательно, будучи коллективно управляемыми, не являются продуктом организующего воздействия некоего дирижера» (Бурдьё 2001:102, 120).

Деятельностная схема, напротив, предполагает активное и мотивированное поведение, в котором *habitus* играет роль набора *мини-сценариев и регулятора внешних и внутренних импульсов*. Будучи своего рода подсознанием деятельностной схемы, *habitus*, подобно условным рефлексам, контролирует текущие реакции, в то время как система мотиваций приводит в движение и разворачивает деятельностную схему в пространстве и во времени. Иногда мотив преодолевает регулятивное сопротивление габитуса, создавая новую модель поведения. Подобные прорывы новаций случаются и достигают общественного успеха нечасто, но они и оказываются толчками социокультурного развития. Персональные деяния могут породить новую деятельностную схему и на ее основе — социальную или этническую общность. Например, бунт протопопы Аввакума, исходно ортодоксального священника, был мотивированным разрывом с прежней поведенческой традицией, а подвижническая судьба ревнителя благочестия легла в основу деятельностной схемы его последователей — лидеров (элиты) староверов.

Новая схема возникает как мотивированное устойчивое действие в податливой социальной среде. Расположенность среды к восприятию новации зависит во многом от адекватности традиции экосоциальным условиям и вызовам: в состоянии благополучия новация либо откладывается, либо клеймится как ересь; зато в кризисах она может стать успешной в конкуренции с другими инициативами. Среда не менее, если не более, настроена на хранение традиции, чем *habitus* носителя инициативы. А. Шюц отмечал, что схема поведения и «подручного знания» о мире воспринимается человеком от ближайшего окружения (родных—друзей—учителей) и прочно с ним соотносится (Шюц 2004:16). Преодоление привычной схемы означает в традиционном обществе разрыв родства; не случайно

решительные новации всегда лучше удавались чужеземцам и изгоям. У восточных кочевников, например, социальных вершин достигли отторгнутые родней и истреблявшие родню вожди-сироты: Маодунь у хунну, Таньшихуай у сяньби, Темучжин у монголов.

Мотивация придает традиционному поведению личностный оттенок, который в сопутствующих условиях может стать ядром новой деятельностной схемы. Из склонности к рукоделию среди земледельцев рождается ремесло, из вкусовых предпочтений — новые виды растениеводства. При столкновении в человеке двух и более поведенческих схем (например, при смешанном браке) между ними происходит не только конкуренция в принятии решений, но и сращение, дающее гибридную схему. Наконец, новая схема может быть итогом социальной мимикрии — подражания чужой схеме или ее узурпации (так, например, во многих обществах появлялись слои нуворишей). Во всех случаях новая деятельностная схема коренится в схеме-прототипе, персональной мотивации и условиях социализации.

Мотивация придает деятельностной схеме цельность и ценность на персональном и социальном уровнях. В советское время труд рабочего на заводе, во многом благодаря мифу о диктатуре пролетариата, имел иной облик и престиж, чем похожий труд рабочего в постсоветское время. Особенным воздействием обладает мотивация политического лидера, распространяющаяся на административную элиту, а при ее участии — на другие слои общества. Например, в периоды президентства Б. Н. Ельцина и В. В. Путина управленческие схемы, при формальной преемственности, заметно различались оттенками мотиваций лидеров относительно персонального и национального достоинства, а также несущественными, на первый взгляд, предпочтениями различных видов спорта и досуга. Оказалось, что одно и то же общество по «схеме Ельцина» и «схеме Путина» активизирует в себе различные, иногда противоположные, поведенческие свойства в отношении к национальному достоянию, ориентирам повседневности или уровню трезвости.

Мотивированная и выстроенная стратегия представляет собой проект. Трудно сказать, насколько проектно вершилась история и, тем более, праистория. Но в ряде случаев, особенно на полях борьбы за власть, проектные действия сыграли решающую роль. Часто они не только организовывались в движения, но и соответственно назывались: «революционное движение», «национально-освободи-

тельное движение», «антиколониальное движение». Захват и охват пространства реализуется в политике как проект элитной группы. В истории проекта различаются фазы мотивации, принятия решения, осуществления и преобразования. В историографии или исторической памяти добавляется фаза мифологизации или археологизации, когда проект героизируется или зарастает гумусом. При этом меняются субъекты проектного действия и, соответственно, ценностные ориентации. Каждый момент проектной траектории по-разному видится в многообразии социальных ракурсов. Одно и то же событие с позиции ветерана-коммуниста может представляться утратой былых завоеваний, юного западника — глобализацией, ревностного старообрядца — поступью антихриста.

Для проектного сознания характерно движение-действие по систематизации мотивов и активации соответствующих деятельностных схем. Сегодня это относится не только к формальным проектам, но и к повседневному мировидению. Современный человек с момента пробуждения запускает в себе браузер проектного поиска, а ночью ему снятся проектные сны. Он проектно дружит, любит и мечтает. По наблюдениям Ю. В. Громыко, «сегодня проектные и программные формы мышления и сознания образуют акме — эпицентр развития всех форм и структур сознания»; при этом «проектное мышление является генетической родовой основой всякого мышления», а «из видения будущего проектное мышление берет свою энергетику» (Громыко 1998:16–17). Насколько этот стиль мыследеятельности, направляющий сегодня поведение и движение людей, древний? Как мыслил кантабрийский художник палеолита, расписывая «всезверием» купол пещеры, или египетский фараон, затеявая пожизненное строительство собственного гроба-дворца? Не исключено, что со временем менялось не столько сознание, сколько формы и жанры его проектности.

### *Локальность и магистральность*

Доисторические и традиционные культуры Северной Евразии, особенно в ее крайних арктических пределах, принято рассматривать как варианты адаптации к суровой природе. Экологическая интуиция подсказывает исследователям, что культура приледникового Севера может лишь слегка теплиться, и природа предоставляет своим обитателям в лучшем случае нишу для физического выживания. Яркие явления искусства и иные примеры высокого

потенциала северных культур обычно связывают с южным влиянием, а прочие события праистории Севера — с колебаниями климата и миграциями промыслового зверя. Взгляд исследователя лишь изредка задерживается на поразительном свойстве северных культур пульсировать во времени (в череде сезонных занятий и возрастных ритмах людей) и пространстве (то сжимаясь до пределов селения, то охватывая огромную территорию). Этот пульс позволяет культуре непрестанно ощупывать окружающую среду и корректировать свое в ней расположение. По своему складу северная культура соответствует изменчивой среде и сочетает различные уровни мобильности, от бытового сезонного кочевания до военно-торговых миграций.

Любая культура строится в треугольнике «человек–природа–общество». В измерении «человек–природа» очерчивается двухмерная модель экологической адаптации. С добавлением измерения «человек–общество» модель включает социальную адаптацию и становится трехмерной. Двухмерная модель существует только в пространстве науки, поскольку в реальности даже робинзонада немыслима вне социального контекста. Однако двухмерность удобна в качестве инструмента исследования, поскольку позволяет применять ограниченный набор критериев. Часто даже при учете социального контекста модель все же получается преимущественно двухмерной. Превосходную систематизацию арктических адаптационных моделей этого уровня представил И. И. Крупник (Крупник 1989; Krupnik 1993), использовавший понятия «адаптация», «жизнеобеспечение» и «экономика» как синонимы.

Как только речь заходит о социальном измерении, строгость двухмерной модели уступает место замысловатой трехмерности, граничащей по свободе интерпретации с художественным образом. Распорядок хозяйства и быта расценивается в подчас несурзных проявлениях престижа и моды, культа и власти. На месте типичного рыболова или скотовода персонифицируется фигура вождя или колдуна. Даже торговля теряет свой рациональный экономический облик и превращается в средство дипломатии и политики. В свое время Б. Малиновский призывал «раз и навсегда покончить» с порожденным в ученых кабинетах образом «первобытного экономического человека», который занят исключительно «поиском еды для существования» (Малиновский 2004:78, 178). Однако «экономический человек» прижился в науке и по-прежнему фигурирует

в истории первобытности, подчиняя своей желудочной философии мифологию, миграции, искусство.

Насколько соотносимы признаки экологической и социальной адаптации и насколько они улавливаемы археологией? Основным показателем экологической адаптации служит хозяйственный цикл, социальной — деятельностьная схема, включающая, помимо хозяйственного цикла, военные, брачные, религиозные, обрядовые, торговые и иные действия, формализовать которые трудно из-за их разной ритмики и значимости. С позиции двухмерной экоадаптации действия людей регулируются всецело поведением зверей и состоянием биоресурсов, а передвижения представляются промысловым поиском или сезонным следованием за мигрирующим зверем. Культура, основанная преимущественно на экоадаптации и сосредоточенная на конкретном биотопе, может быть названа локальной, будь ее хозяйственной базой охота на северного оленя, сбор морских моллюсков или богарное земледелие. Сколько-нибудь значительные перемещения такой культуры, выходящие за пределы биотопа, обычно связываются с экологическими кризисами и выражаются в преобразовании экономики.

Модель трехмерной адаптации предполагает, что любая локальная культура неоднородна и в ней существует социальная иерархия. Со ссылкой на этологию, признающую иерархию прачеловеческим явлением и универсальным регулятором коллективного поведения,<sup>1</sup> можно допустить, что внешне трудноразличимые вариации функций и статуса в спектре лидерства—подчинения играли определяющую роль в контроле над осваиваемой территорией. Группа лидеров закрепляла за собой функцию пространственно-социальной власти, становясь регулятором, распорядителем и пользователем ресурсов подчиненных локальных групп. Социальные лидеры не только создавали иерархическую структуру, но и обеспечивали коммуникативное единство членов локальной группы. Функция контроля-координации превращалась в социальную роль и специализацию (вождей, воинов, шаманов, жрецов), отодвигая на второй план в деятельности элиты промыслы и прочие хозяйственные занятия. Тем самым элита становилась распорядителем ресурсов и занятий локальной группы, вырабатывая особый — управленческий — деятельностный

<sup>1</sup> В теории систем иерархия также выступает универсалией, соподчиняющей системы мироздания от микроорганизма до метagalaktiki: «иерархия представляет собой, по-видимому, общую закономерность природы» (Джонсон, Каст, Розенцвейг 1971:89).



профиль. Помимо адаптации к природе происходила адаптация к культуре как способ «пользования пользователями».

При рассмотрении межгрупповых или межэтнических связей обычно учитывается базовый срез обществ, и речь идет о контактах земледельцев, охотников, скотоводов. На уровне межличностных взаимодействий подобная ситуация реальна, однако на социальном уровне на первый план выходят мотивы и действия элит. Любое столкновение сообществ — прежде всего диалог их элит, агентов управления. Часто вытеснение или поглощение одной локальной культуры другой оказывается следствием не хозяйственно-культурной конкуренции, а дуэли элит и, соответственно, управленческих технологий. Распространение новшеств и заимствований также определяется по большей части не выбором отдельных людей или семей, а волей агентов управления.

Успешные модели управления углубляли специализацию элиты, а в ряде случаев вызывали распространение ее влияния за пределы локальной группы. Сохраняя власть над базовой локальной нишей, элита могла подчинить соседние группы, усложнив и пространственно расширив свою управленческую функцию. Так формировались группы воинов или торговцев, статус и действия которых сущностно отличались от занятий породившей их локальной группы. Они образовывали не только особый социальный слой (касту, класс), но и новую культуру, основанную на посредничестве и управлении. Как правило, активность элит предполагала охват больших пространств, частоту военных, даннических и торговых рейдов, в результате которых иногда складывались многоэтнические сообщества и политии.

Локальная культура перерастала в магистральную, когда она распространялась на большое пространство, связывая собой несколько локальных культур. Главную роль в посредничестве играла военно-политическая, жреческая или торговая элита, объединявшая своей активностью локальные культуры и создававшая тем самым новые пути контактов и новое качество взаимоотношений. Язык магистральной культуры становился, как правило, вторым языком локальных групп; нередко то же самое происходило с культурой и системой власти. Магистральная культура могла сохранять связь с материнской локальной культурой или, отделившись от нее пространственно и функционально, подчинить и интегрировать другие локальные группы.

Магистральная культура — механизм освоения больших пространств, синтеза локальных культур в сложные сообщества, имевшие в разные эпохи вид археологических мегакультур, языковых семей, «великих путей», государств. Локальная культура основана на экоадаптации, магистральная — на социоадаптации, локальная осваивает биоресурсы, магистральная — социоресурсы. Посредством торговли, религии, войны, политики, экономики магистральная культура колонизирует локальные сообщества и создает удобную для себя социальную иерархию. Было бы упрощением в марксистском стиле обозначать отношения магистральной и локальной культур понятиями «эксплуатация», «иждивенчество» или «паразитизм». Магистральная культура обычно выступает для локальных групп выгодным торгово-экономическим посредником, военным союзником, политическим организатором, культуртрегером. Она не только связывает локальные культуры и использует их ресурсы, но и создает качественно новые виды деятельности, прежде всего посреднические и управленческие, тем самым обновляя и иногда существенно изменяя локальные традиции.

Магистральная культура всегда подвижнее локальной, поскольку она выросла на преимуществе в движении и целенаправленно развивала технологии мобильности в конкуренции с культурами-соперницами. Собственно лидерство в движении и придавало культуре качество магистральности. Как только она теряла это превосходство, власть над пространством и людьми захватывала новая магистральная культура, нередко окраинная, «дикая и варварская». Так происходило, например, в степях Евразии во времена тюркских каганатов, когда периодически совершался, словами С. А. Плетневой (1982), цикл «от кочевий к городам» и осевших всадников сменяла новая подвижная орда.

При статусном превосходстве магистральной культуры локальная обладала преимуществом устойчивости и живучести благодаря непосредственной связи с землей и ресурсами. Магистральная культура могла оказаться недолговечной, «сойти с орбиты» в противоборстве с другой культурой, не выдержать напряжения движения и осесть в удобной локальной нише. Со своей стороны локальная культура могла путем социоадаптации (социальной мим-адаптации) перенять свойства магистральной культуры и захватить пространственное и политическое лидерство. Ключевую роль в судьбе культуры играли мотивы-действия элиты, а размах магистральности во многом зависел от активизации идеологемы «властитель мира».

Во все времена схождение и расхождение локальных сообществ, в том числе языковое и политическое, определялось не только и не столько их культурной близостью и иными рационально учитываемыми обстоятельствами, сколько состоянием магистральной культуры. Локальные достижения в земледелии, ремесле, искусстве лишь в той мере влияли на целостность большого сообщества, в какой они питали или разрушали магистральную культуру. Распад полиэтнических конгломератов предопределялся кризисом магистральной культуры и, главным образом, ее элитного ядра. Классическим в русской истории примером служит ритм объединения–распада восточнославянских локальных сообществ под воздействием магистральных культур морских и степных кочевников в эпоху перехода от нордизма Варяжской Руси к ордизму Московской Руси (см.: Головнёв 2006).

В магистральных культурах особой категорией деятельности и ментальности был «путь». Он представлялся не расстоянием и не эпизодом, а пространством деятельности, столь же устойчивым для кочевников, как город для оседлых людей. Тюркское слово *йол* 'путь' сопоставимо с монгольским *дзол/зол* 'счастье, удача'; особое отношение тюрков к движению выражено присутствием в их пантеоне божеств пути — *йол тенгри*, а также двойным значением глагола *јур* — 'ходить' и 'жить', от которого образованы слова *јүрјүт/јүрјүс* 'жизнь' и *јурт* 'стойбище', 'государство' (см.: Вербицкий 1884:103; Кляшторный 1981:134–136; Неклюдов 1981:196). Сходным образом слово *vegr* 'путь' в северогерманской традиции приобрело значение «государство», например в варианте *Nórgvegr* (Норвегия) — «Северный путь» (см.: Головнёв 2008).

Превращение магистрального пути в государство или народ — обычное в истории явление. Эфемерность многих кочевых политий связана с их недолговечностью (сопоставимой с веком человека) и регулярностью их замещения новыми или, чаще, старыми ордами с новыми вождями и именами. Магистральные культуры строились не только на войне, но и на международной торговле: финикийской — в Средиземноморье, согдийской — на Великом шелковом пути, новгородской — на северо-востоке Европы. Их внутренняя целостность иногда обеспечивалась религиозным единством, как у согдов-манихеев и евреев-иудеев. Магистральными культурами разного времени и происхождения были созданы все известные истории империи и колониальные сети.

### Факт и феномен

Историк любит мыслить за целые народы, особенно исчезнувшие. Ни один царь не знал своих мыслей так точно, ни один раб не жаждал свободы так сильно, как это делает за них историк. Правда, его собственная жизнь выглядит иначе: намеченные цели реализуются в неожиданных результатах, ценности смещаются и смешиваются, а на месте стройной логики торжествует случайность. Исследователь, чувствуя себя уютно в чьей-то истории, прячется от вопроса, какую роль он сам играет в современном этногенезе и политогенезе. Иногда кажется, что историк любит древность за то, что реализует в ней свои несбыточные мечты.

Общепризнанно, что наука стоит на фактах и обладает способностью добывать их из моря обыденности. Псевдонаучные упражнения легко узнаваемы по небрежному и неуклюжему обращению с фактами, по отсутствию, если угодно, фактологического слуха — псевдоученный не слышит своей фальши. Однако профессионалы тоже по-разному толкуют одни и те же явления, составляют из них непохожие друг на друга цепочки и композиции. При малейшей обработке факт теряет свою первозданность, поворачивается гранью, которую предпочитает исследователь. Если наука претендует на роль гаранта и хранилища фактов, то какой интеллектуальный и эмоциональный режим она должна поддерживать в этом хранилище?

В. И. Вернадский (2004) полагал, что наука в дискуссиях перерабатывает массу знаний и представлений, в результате чего споры испаряются, а факты оседают. Они и образуют плоть науки, или ее главный фонд. Во множестве единичных фактов обнаруживаются взаимосвязи, создающие социальную материю. Схемы сплетения фактов можно назвать феноменами, а методы их выявления и осмысления — антропологической феноменологией. Однако в отношении микрочастиц-фактов и схем-феноменов не всегда ясно, является ли эта связь внутренним механизмом или впечатлением исследователя?

Философы системы нам находят  
Лишь те, что больше их уму подходят.  
И чтоб свою систему оправдать  
Спешат ее природе навязать (Т. Л. Пикок. «Хедлонг Холл»).

Э. Гуссерль различал знание и мнение. Изучение «чистых сущностей» требует высвобождения (редукции) явления от субъектив-

ности его восприятия, смещения взгляда исследователя от функциональных и ценностных значений к свойствам и признакам предмета в среде его существования. Девиз «Назад, к предметам!» предполагает «чистку», в которой главную роль играет феноменологическая интуиция. При этом предпочтительнее использовать интуицию не свою, а заимствованную: «Любое дающее из самого первоисточника созерцание есть законный источник познания, и все, что предлагается нам в “интуиции” из самого первоисточника, нужно принимать таким, каким оно себя дает, но и только в тех рамках, в каких оно себя дает». Не следует «отвлекаться ни на какие предрассудки, ни на какие словесные противоречия или вообще на что бы то ни было во всем мире, даже на то, что называют “точной наукой”, но взамен отдавать должное всему тому, что представляется ясным и что тем самым составляет “подлинное”, или предшествует всем теориям» (Гуссерль 2004).

Впрочем, как бы старательно историк ни перенимал интуицию у мезолитического собирателя устриц, его «очистка» фактов будет отличаться от практик каменного века. Герменевтика — искусство истолкования — яснее других представляет, насколько трудно отделить злаки от плевел в поиске незамутненных смыслов древних текстов. Чем глубже исследователь вживается в текст и контекст древности, тем больше обнаруживает путей истолкования: понимание схематизма языка и индивидуальности намерений Ф. Шлейермахера, самонаблюдение и вчувствование В. Дильтея, прояснение разума и действенно-историческое сознание Х.-Г. Гадамера, варианты интерпретации знаков П. Рикёра (см.: Schleiermacher 1986; Дильтей 2001; Гадамер 1988; Рикёр 2002). Приемы герменевтики в реконструкции авторства применимы для поиска истоков деятельностной мотивации персонажей истории (о чем размышлял еще В. Дильтей), при этом антропология образует контекст, который в филологическом истолковании задается языкознанием. Естественной средой в этом случае оказывается культура — паутина значений у М. Вебера, живой организм у Л. Фробениуса, «спрут» у К. Гирца — совокупность текстов и средств деятельности.

М. Блок сетовал на то, что историк вселяет в прошлое лишь «ясное сознание»: «Читая иные книги по истории, можно подумать, что человечество сплошь состояло из логически действующих людей... Мы сильно исказили бы проблему причин в истории, если бы всегда и везде сводили ее к проблеме осознанных мотивов».

Более того, историк нередко выступает «судьей подземного царства, обязанным восхвалять или клеймить позором погибших героев», отчего история «приобрела облик самой неточной из всех наук — бездоказательные обвинения мгновенно сменяются бессмысленными реабилитациями». Историк, применяющий привычные ему понятия добра и зла к древности, выглядит так же неуклюже, как химик, пытающийся «отделить злые газы, вроде хлора, от добрых, вроде кислорода» (Блок 1986:79–81, 110).

Не вполне еще утихли споры структуралистов и постструктуралистов относительно главного фигуранта антропологического познания — «незваного гостя», «имя которому — человеческий разум» (К. Леви-Строс; см.: Caws 1970:199–200). Вслед за Ф. де Соссюром, различавшим в языке неосознаваемый (язык-структура) и осознаваемый (речь-смысл) слои информации, К. Леви-Строс видит мир как закодированный человеческим разумом порядок, а целью антропологии считает расшифровку этого универсального кода. Постструктуралисты и постмодернисты представляют подобный код разновидностью метасхем, наполнивших науку и общественное сознание со времен Просвещения, под воздействием которых происходит «смерть субъекта» — погребение персоны под спудом общих идей. Чтобы увидеть за метасхемами живого человека, они предлагают опираться не на мнения, а на «тексты» реальных событий и диалогов, интерпретируя их в естественной среде и системе значений, в их взаимопересечении (интертексте, дискурсе).

Антропология движения избегает расстановки приоритетов между языком и речью, всеобщим кодом и обыденностью, субъектом и метасхемой, преследуя единственную цель — выявление реальных связей между мотивами и действиями. Если ноги и руки движутся по воле головы, а действия направляются намерениями, то история может читаться в сопоставлении двух схем — мотивационной и деятельностной. Эти схемы различаются как цель (не всегда явная) и шаг к ее достижению (не всегда верный); в них обнаруживаются несоответствия и прямые расхождения, вызванные обычной для жизненных ситуаций «кривизной путей» и амбивалентностью (по З. Фрейду) влечений. Однако именно притяжением действия к мотивации генерируется движение, образующее событийную ткань истории. В этом измерении фактами оказываются археологически, этнографически или исторически запечатленные события, а феноменами — мотивационно-

деятельностные схемы, выразившиеся в этих событиях. Любой факт рассматривается не с точки зрения его соответствия мировому прогрессу или вкусам историка, а в конкретной проекции мотив-действие. Тем самым факт — исторический (письменное свидетельство), археологический (ископаемое свидетельство) или этнографический (наблюдаемое свидетельство) — располагается в антропологическом пространстве и приобретает персонально-социально ориентированные связи. Цепочки взаимосвязанных фактов позволяют различить контуры феноменов — мотивационно-деятельностных схем.

Соотношение персонального и социального во многом оказывается проекцией исследовательского взгляда. Согласно Э. Дюркгейму и М. Моссу, персона явилась лишь в Новое время (через стадии индивидуализации в античности, стоицизме, христианстве), тогда как прежде она была безраздельно подчинена коллективному сознанию. Постструктуралисты толкуют о «смерти субъекта» в современных условиях, когда человек мнит себя индивидуальностью, а на самом деле выступает носителем внешних императивов и идей. Антропология движения не разделяет этих крайних позиций, рассматривая в человеке любой эпохи индивидуальный вариант сочетания личных мотивов и коллективных схем, в том числе мифологем и идеологем.

Схемы, усвоенные и реализуемые современным человеком, нередко коренятся в правременах, и то, что кажется модернизмом или сциентизмом, обнаруживает истоки в этологии животных и древних мифах, например инстинкт иерархии, имидж-мейкерство, гипноз идеологии. Схема может быть скрытой, проявляясь в отдельных эпизодах и высказываниях, или открытой, превращаясь в идеологию (религию, доктрину) и обеспечивая успех персонифицировавшему ее лидеру. В повседневности человек использует одну часть толстого словаря культуры, в критической ситуации мобилизует другую. Особый интерес представляют обстоятельства выбора человеком тех или иных инструментов и технологий действия, условия, при которых это действие становится образцом для подражания, поведенческой традицией.

Вопрос, насколько научная история соответствует реальной, решается в антропологии движения путем воссоздания схем деятельности и сценариев событий. Там, где обнаруживаются археологические или исторические фрагменты событий, возможна

реконструкция общих схем; где есть персональная судьба, допустимо восстановление сценария. Для сценария необходимо сближение авторского Я с персонажем, чьи действия и интересы отражены в исторической хронике или устной традиции. Выявив схему мотива-действия героя-гида, исследователь вживается в нее по рецепту антрополога Б. Малиновского (влезает в шкуру туземца) или режиссера К. Станиславского (отыскивает общие точки сопереживания) и наблюдает за происходящим глазами гида, соучаствует вместе с ним в текущих событиях, ощущая его страхи, побуждения, ответственность. В выборе персонажа-гида уместен поиск человека элиты, субъекта решений и действий. Цель ментального перехода историка на позиции персонажа-гида состоит в выявлении конкретных ситуативных мотиваций взамен распространенного в оценочных суждениях обращения к так называемым вечным ценностям, критериям прогресса или абсолютному разуму.

Ремесло историка — монтаж фактов (текстов), подобный монтажу кадров в кинематографе. Как в кино монтажом одних и тех же кадров можно достичь совершенно разных настроений (эффект Кулешова)<sup>2</sup>, так и в истории факты по воле историка могут сложиться трагично или комично. В этом смысле никакая методология не заменит персональной ответственности исследователя за документальность (реальность) воссоздаваемой картины. В числе удобных технологий можно назвать максимально полный план (текст), передающий событие с его атмосферой и второстепенными, на первый взгляд, деталями. Особенно важны факты-события — «движущиеся факты», в которых видна последовательность, взаимная обусловленность. В визуальных текстах, помимо объективных (попавших в объектив) фактов, есть то, что осталось за кадром, — неснятое, не вошедшее в фильм. Эта «необъективная» реальность, оставаясь скрытой от глаз, отзывается в сценарии, чувствуется глубинным фоном в поступках героев, озвучивается закадровым голосом. В исследовании это полотно может быть передано не детальной реконструкцией, а условной «геометрией толкования», указывающей на предполагаемые обстоятельства и действия.

---

<sup>2</sup> Режиссер Л. Кулешов в начале 1920-х гг. провел монтажный эксперимент: кадр с лицом популярного актера И. Мозжухина он смонтировал поочередно с планами женщины в гробу, тарелки супа и играющей девочки. Одно и то же лицо при этом выражало горе, отрешенность (или голод) и умиление.



### Северность

Кабинетные сценарии евразийской истории обычно настроены на идею экологического и культурного (цивилизационного) превосходства Юга над Севером. Югоцентризм покоится на убеждении, что чем дальше на север, тем больше люди были отягощены проблемой выживания и весь свой потенциал расходовали на борьбу с суровой природой. Разные по происхождению и убеждениям исследователи считали Север, особенно его арктический край, глухой и инертной периферией. Н. С. Трубецкой полагал, что роль господина Евразии с древности была уготована народу, сумевшему подчинить себе степь, тогда как лесные народы осваивали лишь отдельные речные системы, а «тундра вообще не может идти в расчет как область слишком неблагоприятная для развития какой бы то ни было человеческой деятельности» (Трубецкой 1995:214–215). А. Тойнби отнес эскимосов к «задержанным цивилизациям», поскольку «наказанием за умелое приспособление к арктическому окружению и использованию скрытых Севером богатств стало жесткое подчинение эскимосов годовому циклу сурового арктического климата... Тирания арктической природы властно вводит столь жесткое расписание жизни арктического охотника, что оно, пожалуй, сравнимо с тиранией “научного управления”» (Тойнби 1991:183). Ф. Бродель, отмечая редконаселенность Крайнего Севера («12 тыс. чукчей жили на пространстве в 800 тыс. кв. км, а тысяча ненцев — на 150 тыс. кв. км обледенелого полуострова Ямал»), заключал: «На таких огромных, но враждебных человеку пространствах могут сохраняться лишь простейшие формы общественной жизни, поддерживаемой выкапыванием из земли корней и клубней растений или устройством западней для диких животных» (Бродель 1986:77–78).

Отчужденный, смешанный со страхом взгляд на Север коренится в глубинах южной истории и психологии, когда «полунощные страны» и *superiores barbari* (северные варвары) представлялись очагом дикости и опасности. К созданию пугающего образа Севера более всех причастны люди, оторванные судьбой от южного благополучия. *Regio, pars ultima mundi, quam fugere homines* Дике (Страна, окраина мира, которую покинули люди и боги) — так выразил свое отношение к Причерноморью римский поэт Публий Овидий Назон, сосланный в 8 г. н. э. императором Августом в городок Томы на фракийском Дунае (Овидий 1982). В «северной стра-

не» вкусу римлянина было противно все: и лишенная виноградников плоская земля, и сковывающий реки холод, и грабительские нравы местных варваров. На самом деле земли в долине Дуная не уступали по плодородию апеннинским, и место изгнания Овидия находилось не на севере, а на востоке — на широте Флоренции, но в ностальгической меланхолии поэта не осталось места географической и этнографической документальности.

Впрочем, задолго до Овидия, во времена Гомера, греки опасались Черного моря, представляя его океаном и пределом обитаемого мира. «Долго берега Понта считались негостеприимными по дикости их народонаселения, и море слыло аксинос (негостеприимным), пока ионические колонии (750 л. до РХ) не заставили переменить это имя на приятно звучащее евксинос (гостеприимное)» (Соловьев 1988 I:74). У Геродота отношение к холодному Северу как стране странностей и опасностей выражено в его скифском логосе: «В области, лежащей еще дальше к северу от земли скифов, как передают, нельзя ничего видеть и туда невозможно проникнуть из-за летающих перьев»; там обитают одноглазые аримаспы, лысые от рождения агриппеи, козлоногие горцы, блаженные гипербореи, живущие за пустыней андрофаги. В северных странах «зима столь сурова, что восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведешь костер» (Геродот IV:7, 13, 18, 25, 28).

Неприязненность к Северу отмечена и в восточных традициях. Арабо-персидские географы характеризовали прикаспийское пространство как страну «чужих» народов, объединенных в мусульманской литературе понятием «тюрки». По описанию Масуди, Каспий — чужое море, отличавшееся от южных морей необычайно темной, непрозрачной водой, населенной чудовищами *тиннин* (Заходер 1962:19). Ханьцам Поднебесной северные кочевники хунну представлялись силами тьмы *инь*. В китайской астрологической системе им была отведена планета Меркурий (*чэнь-син*), которая ассоциировалась с севером, зимой и войной. В описаниях древнекитайских хронистов хунну предстают неотесанными и жадными варварами, имеющими «лицо человека и сердце дикого зверя»; «у племени сюньюй нет почитания старших, у них дикое сердце» (Сыма Цянь 1975:284, прим. 132; 1992:277).

Не только холод, мистика и чудовища, но и реальные вторжения северных варваров вызывали в южанах озноб и страх. Не случайно Север был отгорожен от Юга не только горами, но и искусственны-

ми стенами: китайцы возвели против кочевников Великую стену, римляне построили лимес, персы заслонили крепостной стеной Дербентский проход (скифские ворота). Однако ни горы, ни стены не останавливали варваров, и южные царства с древности оказывались их добычей: в XVII в. до н.э. в результате вторжения индоевропейских хеттско-неситских племен в населенную хаттами центральную Анатолию возникло могущественное Хеттское царство; около 1200 г. до н.э. оно погибло вследствие нового нашествия северян; в конце II тыс. до н. э. дорийцы с севера покорили материковую Грецию; несколько династий Китая, от кара-киданьской до маньчжурской, вышли из кочевников. Во многих случаях военно-политическая мощь южных цивилизаций происходила с Севера: осевшие на Юге северные ханы и короли выступали главной силой в отражении очередных варварских набегов, и по существу лейтмотивом геополитической истории эпохи металла была дуэль кочевников с кочевниками.

В признании силы Севера состоит обратная сторона амбивалентной позиции Юга. Философы Просвещения представляли северян воинственными и мужественными людьми, духовно и физически превосходящими ленивых и любострастных южан. Ш. Монтескьё усматривал в склонности северян к мужеству и свободе, а южан к малодушию и рабству климатические и физиологические основания; К. А. Гельвеций видел в завоеваниях покоривших Европу северян проявление особого духа; Ф. Бэкон отмечал, что «редко или даже никогда не случилось южному народу завоевывать северный, а бывало как раз наоборот» (Монтескьё 1900:387; Бэкон 1972 2:484–485; Гельвеций 1974 1:466). Осмысление серии недавних научных открытий в Евразии и Америке еще решительнее меняет представления о месте северных культур в мировой истории. Древние северные пути и культуры в свете новых данных предстают не тупиками и отголосками жизни южных цивилизаций, а явлениями глобального порядка, обусловившими, например, первоначальное заселение (по Берингову мосту) и открытие европейцами (экспедициями викингов) Америки, влияние северных кочевников на цивилизации Востока и Запада.

С древности Север Евразии остается страной, где решающую роль играет контроль над пространством. Словами А. А. Хлевова, «надежным и законным претендентом на статус прафеномена Севера может быть признан феномен движения... Мир этот мобилен и готов к броску. Жизнь не привязана к полям и лутам: сколь бы ни был обжит твой персональный угол, он может быть покинут, и покинут относительно безболезненно» (Хлевова 2002:305, 306).

В отличие от юга Евразии, где преобладали оседлые сообщества, на севере долгое время развивались культуры больших пространств и высокой мобильности. В древности вся северная Евразия была кочующей, населяющие ее народы никогда не были в полной мере оседлыми и различались лишь стилем и размахом миграций. Категория «путь» и соотношение «дом–путь» — едва ли не основное измерение евразийских культур: если для оседлого сознания путь как преодоление расстояния — инобытие или подвиг, то для кочевой культуры — смысл и основа обыденности. На севере Евразии путь как система движения и жизнедеятельности нередко приобретал вид народа (этнического тела в истории самоедов) или государства (политического тела в практике викингов).

Мистичность Севера, унаследованная европейской ментальностью от мифологии северных германцев, неоднократно актуализировалась в околонаучных идеологических композициях, например в «нордической» идеологии германского Третьего Рейха (Lutzhöft 1971) или в версии арктической прародины ариев (а то и всего человечества). Романтические и мифологические конструкты, имеющие косвенное отношение к исторической реальности, пользуются определенным общественным спросом, как и сюжеты о пришельцах или упырях, и безобидны, пока не находят себе успешного политического поборника. Наука по-своему ответвенна за эти всходы хотя бы потому, что оставляет им свободное поле для произрастания. К огрехам науки относится пресловутая «недоизученность» Севера, вследствие чего он остается скорее легендой, чем ареной истории и геополитики. В российской историографии затянувшимся конфузом выглядит идеологическая война с «норманизмом», из-за которой это тематическое поле стало для исследователей минным, а для околонаучных всходов — благодатным. «Нордическая идея», ассоциирующаяся у многих исследователей с германским нацизмом, транслирована ныне на русский национализм (см.: Шнирельман 2004:212), что также происходит из «игры в Север» вместо осмысления его реальной роли в истории России.

В последние годы пассивность североведения дала простор искажениям Гипербореи и иных колыбелей российской «северной цивилизации». Они выражают эмоциональную тягу к той самой «северности», с концептуализацией которой запаздывает отечественная наука. В. Штепа представляет Россию «новой Гипербореей»; В. Демин повествует о Гиперборее как прародине человечества, а о России — «как

главной наследнице и хранительнице нордических, гиперборейских традиций». У Ю. Крупнова стержнем «северной цивилизации» служит «принцип личности, высшим, недостижимым и вечным идеалом которого является Иисус Христос» (Крупнов 2003; Штепа 2003; Демин 2005). Более взвешенные позиции обозначены в размышлениях В. Чешева: «Геоклиматические условия хозяйствования на Руси не позволяли жить в условиях индивидуальной конкуренции и выживания сильного. Россия — северная цивилизация, и хотя все особенности жизни России нельзя списать на эти обстоятельства, но игнорировать их невозможно». С. Переслегин объясняет принадлежность России к уникальной «Северной цивилизации» дефицитом у нее черт Запада и Востока (см.: Переслегин 2002; Чешев 2004).

Закрепившееся в российской идеологии прохладное отношение к Северу затрудняет его адекватное позиционирование. Пространственно самая северная страна планеты Россия никогда в истории — ни в самоопределении, ни в международной позиции — не основывала свою государственную (национальную) идеологию на северном статусе. В отличие от стран Скандинавии, самосознание которых начинается с понятия «север» (Norden, Nordisk, Norðurlandaráð), геопозиция России размыта по всем остальным сторонам света. Западная перспектива Руси/России обозначена европейцами, со времен викингов считавшими ее страной на Восточном пути (Austrvegr), восточная — монголами, для которых она была западной окраиной Великой Монгольской державы (Улуг улус), южная — Православной церковью, освятившей Московское царство идеей Третьего Рима. В этих привнесенных измерениях Россия, несмотря на великодержавность, оставалась вторичной ареной конкуренции цивилизационных моделей Запада, Востока и Юга. Лишь одна, северная, перспектива выглядела «домашней», но неприметной среди иных геополитических доминант.

Идеологии вторила историография, отодвигая Север в сторону от магистралей отечественной истории на роль вечно недооткрытой и непонятой окраины. Эпизоды северной истории представлялись полулегендарным приложением, составленным из преданий о чуди и короле Германарихе, призвании варягов и путешествиях по Бьярмии, могуществе Ладоги и богатстве Новгорода, строптивых соловецких монахах и златокопящей Мангазее, стратегической роли Севморпути и неисчерпаемости сибирской нефти. Образ Севера как кладовой архаических традиций и природных ресурсов имел мало

общего с политическими исканиями России на Западе, Востоке и Юге. Дважды, и оба раза в диалоге со Скандинавией — на заре русской государственности и при Петре I — северная перспектива открывалась особенно явственно, но официальная историография и в этих случаях не изменяла обычаю, толкуя, соответственно, о киевско-византийском и западноевропейском приоритетах. В третий раз это происходит сейчас, после распада СССР, когда Россия обозначилась на карте северной страной с географическим центром в низовьях Енисея на Полярном круте. Если Россия не активирует своего северного потенциала, ей на оси Север-Юг достанется место громоздкой периферии с хроническими техно-экологическими и этнокультурными кризисами. Обратная перспектива предполагает развитие ресурсов северных культур и становление северной идеологии с опорой на впечатляющие сюжеты истории освоения Севера норманнами, новгородцами, поморами, коми, ненцами, эвенками, эскимосами, тюрками, монголами и другими сообществами Евразии. Место России в «северном измерении» определяется и тем, что в силу географического господства в циркумполярном пространстве именно она способна инициировать глобальные северные проекты и более всех ответственна за осознание исторической роли Севера.

\*\*\*

Книга вряд ли была бы написана, если бы предварительно не была рассказана в курсах лекций на историческом факультете Уральского государственного университета. Студенты истфака стали первой аудиторией, сопережившей творческие поиски автора и соучаствовавшей в тестировании исследовательских подходов.

Мои друзья-коллеги кинематографисты на фестивалях и в личном общении были доброжелательно-взыскательной средой, которая живо и тонко реагировала на успехи и промахи в сценарных экспериментах, отработке кино-технологий передачи движения, жизненного ритма различных культур.

Друзья-коллеги из сообщества исследователей на конференциях и в персональных контактах участвовали в обсуждении ряда частных и общих сюжетов древней истории Северной Евразии. Особую признательность за советы, замечания и предостережения я выражаю С. А. Арутюнову, А. К. Байбуруну, Б. Х. Бгажнокову, Н. П. Гарину, В. Я. Головнёву, И. А. Головнёву, Н. Л. Жуковской, Н. Н. Крадину, С. В. Лёзовой, Е. В. Переваловой, Е. А. Пивневой, В. В. Питулько, И. В. Побережникову, В. А. Тишкову.

## **ЧАСТЬ I. СХЕМЫ**

## Глава 1. Прадвижение

*Миграция как традиция. Мим-адаптации.  
Звериный язык. Cherchez la femme*

Движение как стиль жизни унаследовано человеком от далеких предков. Выделившиеся из среды насекомоядных около 70 млн лет назад (далее — л. н.) протоприматы, обликом сходные с обитающими ныне в Юго-Восточной Азии маленькими тупайями, широко расселились по планете: остатки скелета пургаториуса найдены в Северной Америке, залямбдолестеса — в Монголии. Высшие приматы (Anthroproidea — человекоподобные), появившиеся на Земле 40 млн л. н. в позднем эоцене — раннем олигоцене, при их концентрации в Африке, обитали на обширных пространствах Земли и 35–20 млн л. н. разделились на обезьян Старого Света (узконосых катарриновых) и обезьян Нового Света (широконосых платириновых). Сформировавшиеся в миоцене, свыше 22 млн л. н., высшие узконосые обезьяны, включая надсемейство Hominoidea (предки горилл, шимпанзе, орангутанов, гиббонов и человека), 16–12 млн л. н. разошлись на рамаморфных (связанных с Азией) и дриоморфных (связанных с Африкой) приматов; в свою очередь гоминиды разделились на африканскую ветвь, давшую начало африканским человекообразным обезьянам и человеку, и азиатскую — ветвь предков орангутана (Зубов 2004:75–78).

Как видно, человек не первым колонизовал ойкумену, а повторил путь нескольких поколений прапредков. Склонность к миграции была унаследована людьми, по меньшей мере, от протоприматов. Можно предполагать, что каждая из многочисленных миграционных волн имела эпицентр (обычно африканский или, шире, афро-евразийский) и каждая эволюционно новая «порода» пралюдей заново заселяла доступную ойкумену. Остатки переселенческих потоков укоренялись и давали локальные ростки в Азии или Америке, расцветали или увядали, но однажды те же территории вновь испытывали приток мигрантов из господствующего очага.

Явление человека было не рождением чудо-младенца в пещере Схул или гроте Кроманьон, а длительным развитием пралюдей в ходе освоения ими различных территорий и природных сред: недаром классики археологии палеолита (А. Брейль, Ф. Борд) не всегда в шутку говорили, что колыбель человечества была на колесах и разъезжала по многим странам. Соответственно, сценарий происхождения вида Номо состоит не в остановленном мгновении,



а в развернутом движении. Факты убеждают, что древнейшие стоянки человека с каменными орудиями (чопперами, чоппингами, сфероидами, полиэдрами, грубо ретушированными отщепами) находятся в области Восточно-Африканского рифта, тянущегося по меридиану от Мертвого моря к Танзании через Красное море, Эфиопию и Кению. Возраст ископаемых останков ранних гоминид с одновременными артефактами определяется в 2,6 млн лет (Деревянко 2005:105).

### *Миграция как традиция*

В науке о древностях принято представлять пралюдей скорее в движении, чем в покое. Г. Ф. Осборн, например, полагал, что на границе плиоцена и постплиоцена человек не имел селений и постоянно переходил с места на место (Osborn 1910). Если присмотреться не к трудовой руке *Homo habilis*, а к его быстрой ноге, то можно сказать, что человек прямоходящий произошел от прачеловека бегающего, для которого бег был таким же удобным состоянием, как для современного человека неторопливая прогулка. Впрочем, сам по себе бег сближает прачеловека скорее с четвероногими, не слишком гармонируя с «гоминидной триадой» (прямохождение, рабочая кисть руки, сложный мозг), и последующее замедление физического шага сопровождалось технологическим ускорением.

Обход или оббег освоенной территории был, по-видимому, устойчивой поведенческой нормой архантропа. Судя по тому, как однообразно текла жизнь в Олдувайском ущелье на протяжении двух миллионов лет, оставляя следы в виде каменных изделий почти неизменных форм (Leakey 1971), передвижения местных *Homo habilis* локализовались в ограниченном пространстве и воспроизводились из поколения в поколение. Подобная картина рисуется на стоянке олдувайской эпохи Кооби-Фора на берегу оз. Туркана в Кении, где каменные изделия изготавливались из лавы, выходы которой находились на расстоянии 10 км (Isaac, Leakey, Behrensmeyer 1971). Расколотые кости гиппопотамов и антилоп на стоянке свидетельствуют о цикличном ритме движения ее обитателей, регулярно уходивших на промысел и возвращавшихся с добычей.

Прачеловек унаследовал двуногость от предка-гоминиды, жившего в плиоцене (7 млн л. н.) и передвигавшегося, подобно африканским человекообразным обезьянам, с опорой на передние конечности (Кларк 1977:45; Дольник 1994:27). 1,6 млн л. н., судя по найденному на берегу оз. Туркана скелету 12-летнего мальчика,

*Homo ergaster* физически уже напоминал современного африканца: взрослый архантроп был высоким (примерно 180 см), стройным и худощавым, в совершенстве владел ортоградной локомоцией — двуногой походкой при выпрямленном туловище (Зубов 2004:167–168).

Мир *Homo habilis* (*ergaster*, *erectus*) впечатляет устойчивостью — для своей эпохи культура архантропа была совершенной настолько, что не менялась почти два миллиона лет. По этому поводу исследователи сетуют на консерватизм пралюдей, например: «Ни *habilis*, ни *erectus* не произошли в *sapiens*, поскольку их труд — скорее монотонное выполнение биологической программы, чем творчество. *Homo habilis* изготавливал галечные орудия 2,4 млн л. н. — брал в обе руки по гальке и одной наносил косой удар по кончику другой. В зависимости от числа ударов получались разные орудия. Так он “трудился” на протяжении 1,8 млн лет, пока не вымер» (Дольник 1994:40). Речь между тем идет о самой устойчивой традиции в истории человечества, сохранявшейся на протяжении ста тысяч поколений (если среднюю продолжительность жизни принять за 20 лет). Именно на Восточно-Африканском рифте архантроп выработал ключевое достоинство вида Номо — схему власти над локальным пространством, состоящую из иерархически выстроенных отношений и механизма мобильного контроля над территорией. Сложившаяся за многие тысячелетия, эта схема стала в дальнейшем ключевым инструментом освоения планеты.

К существенным сдвигам в ритме движения привел выход пралюдей в саванны, где открылась широкая зрительная и умозрительная перспектива пространства. В тени экваториального леса преобладали случайные индивидуальные тактики нападения (преследования) и защиты (бегства), тогда как саванна дала простор коллективным стратегиям. Здесь стадность травоядных и стайность хищников образовали причудливые поведенческие комбинации. По-видимому, борьба за африканские саванны стала прологом глобальных миграций пралюдей.

Восточно-Африканский рифт с его биоресурсным многообразием был утробой древнейшей культуры, а путь с гор на равнину — изначальной схемой освоения больших пространств.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> П. П. Сушкин (1928) обосновывал исключительное место гор в становлении человека богатством биоресурсов и практикой скалолазания, с которого начался переход к прямохождению и освобождению рук от опорной функции.

Гора создавала иллюзию господства над лежащей внизу равниной и служила убежищем, откуда отправлялись и куда возвращались группы пралюдей. Не случайно ранние памятники находят в пещерах и других горных урочищах, а мифологии разных народов пестрят сакральными образами горы. Соотношение гора–равнина обусловило, с одной стороны, усложнение адаптационных стратегий, с другой — удлинение маршрутов кочевания. Ход «с горки на горку» был ритмом раннего движения, и на горе–равнине зародилась прагеополитика, выработанная в конкуренции пралюдей с другими хищниками и другими пралюдьюми за власть над пространством. Вероятно, самым жестким испытанием деятельностная схема архантропа подвергалась на окраинах освоенного мира, где она приобрела особенную гибкость. Адаптивность авантюристов или изгоев каменного века, переступавших привычные пространственные и психологические границы, была стартовым условием экспансии архантропов. Меняющаяся схема деятельности и движения в новых географических средах предполагала модификацию старых и появление новых технологий.

«Первое великое переселение» *Homo ergaster-erectus*, начавшееся около 2–1,8 млн л. н., шло через Ближний Восток (галечные орудия из пещер Южной Аравии датируются 1,65–1,35 млн л. н.) на Кавказ, где в Дманиси (Грузия) найдены останки гоминид и галечные орудия с датами 1,8–1,6 млн л. н., и в глубины Азии: возраст кварцитовых артефактов в Пакистане — около 2 млн лет, стоянок Дунгуту и Сяочанлянь (Китай) — от 1,67–1,87 до 1 млн лет, останков сангиранских гоминид (Индонезия) — до 1,7 млн лет (Деревянко 2005:106–107).

Первой колонией в человеческой истории была Евразия. Около полумиллиона лет отделяет следы пралюдей на Восточно-Африканском рифте от следов архантропов-мигрантов вне Африки. Если в Африке архантроп был органичным звеном биосферы, то в Евразию он явился захватчиком чужих владений и вступил в сложный диалог с прежними лидерами экосистем, прежде всего с крупными хищниками. Если в Африке человек родился, то в Евразии он создал культуру колонизации. Форпостами заселения Северной Евразии были Кавказ, Малая, Центральная и Восточная Азия.

Европа, не входившая в прародину человека, стала заселяться пралюдьюми не ранее 1 млн л. н.: следы первых европейцев на юге Европы отмечены в гроте Ля Валлоне в Приморских Альпах (950–890 тыс. л. н.), близ Чепрано в центральной Италии (800–

700 тыс. л. н.), в Гран Долина среди холмов Атапуэрка в Пиренеях (780 тыс. л. н.). В центре Западной Европы древние люди и ранне-ашельские орудия распространились в конце гюнц-миндельского межледникового около полумиллиона л. н. (Lumley 1975:747, 751; Праслов 1984:43; Зубов 2004:218). Одновременно архантропы, освоив около 1 млн л. н. Южную, Юго-Восточную и Восточную Азию, продвинулись за Гималаи и Тибет в Центральную Азию; стоянки в Таджикистане и Казахстане (Мангышлак, Каратау) датируются 800–500 тыс. л. н. (Деревянко 2005:107). Наряду с центральным афро-евразийским узлом, по краям южной Евразии сложились самобытные очаги: западноевропейский с *Homo heidelbergensis* (гейдельбергским человеком) и восточноазиатский с *Homo sinanthropus pekinensis* (синантропом, или, по сегодняшней типологии, *Homo erectus pekinensis*). Эти очаги дали начало европеоидному и монголоидному стволам расообразования, но не превратились в изоляты, с чем связана проницаемость древнепалеолитических археологических культур Евразии. Х. Л. Мовиус называл два крупнейших очага палеолита, соответственно, аббевильско-ашельской культурой ручных рубил и соанской культурой чопперов–чоппингов (Movius 1944), а сторонники древнепалеолитического единообразия указывали на отсутствие жестких границ между ними (Замятнин 1951).

Два «щита культур нижнего палеолита» на западе и востоке Евразии, представленные гейдельбергским человеком с рубилами и синантропом с галечными орудиями, выглядят полюсами афро-евразийского пространства с многообразием смешанных (или нерасчлененных) технологий обработки камня. Сочетание галек и рубил прослеживается, по Л. Лики, уже в Олдувае; в остроконечных каменных орудиях Шуйдунгоу, по А. Брейлю, обнаруживаются ориньякские черты; для патжитанской культуры Явы, по С. Н. Замятнину, характерны двусторонне обработанные рубила; на севере Индостана и в Таиланде стоянки с рубилами соседствуют с местонахождениями галечных инструментов (Ларичев 1977:22–24).

Очаговость в древней Евразии сочеталась с непрерывностью, обеспечивавшейся различными по размаху миграциями и взаимодействиями. Эта непрерывность была следствием как постоянных взаимодействий локальных групп, так и магистральных миграций, напоминавших завоевания. Нельзя исключать маятниковость этих контактов и взаимодействий, однако преобладающим вектором было движение с запада на восток. В этом смысле «застойность»

или «накопительность» Востока (Восточной и Юго-Восточной Азии) обусловлена не отсталостью технологий обработки камня, а меньшей миграционной активностью в сравнении с Западом (в нижнем палеолите включавшим в себя Северо-Восточную Африку, Южную Европу, Ближний Восток, Кавказ и Переднюю Азию).

450–350 тыс. л. н. с запада на восток прошла «вторая миграционная волна», несшая позднеашельскую индустрию с леваллуазской техникой и бифасами. На юге Евразии она достигла Индии, на севере — Монголии. В центре Азии, где мигранты встретили потомков «первого великого переселения», произошло смешение галечной и позднеашельской индустрий. Далее на восток следов этой миграции нет: жители Восточной и Юго-Восточной Азии по-прежнему, вплоть до верхнего палеолита, предпочитали галечную технологию, принципиально отличавшуюся от индустрии западной Евразии. Отмечаемые параллели имеют лишь внешнее сходство: в Чжоукоудянь-15 сколы леваллуазского типа получены на иной технической основе, а встречающиеся на ряде стоянок бифасиально обработанные орудия можно считать результатом конвергенции (Деревянко 2005:109, 114).

Миграции, прослеживаемые по скудным свидетельствам палеолита, были, скорее всего, не отдельными волнами, а пиками движения по устойчивым коридорам контактов. При этом колонизация вовсе не предполагала окончательного культурно-антропологического преобразования захваченного пространства. Восточноазиатский очаг, уходящий истоками в лантяньскую культуру синантропа, не только сохранял самобытность под напором западных мигрантов, но и неизменно возобновлял господство над подвергавшимися их воздействию смежными территориями. Например, в нижнем палеолите пространство Средней Азии и Казахстана было пограничьем традиций переднеазиатских рубил-бифасов и восточноазиатских галечных чопперов (Праслов 1984:44), однако ни многократные юго-западные воздействия (в том числе позднеашельская «вторая миграционная волна»), ни кажущиеся очевидными преимущества рубил над чопперами не вырвали центра Азии из круга восточных галечных культур. Отпечаток соприкосновения «щитов палеолита» в центре Азии мустьерского времени несет на себе череп ребенка из Тешик-Таша: Ф. Вейденрейх (Weidenreich 1945) различал в нем некоторые признаки монголоидности, Г. Ф. Дебец (1947) — сходство с европеоидами, а В. П. Алексеев

(1973; 1985) причислял его (вернее ее, представляя тешик-ташский череп женским, а не мужским) к исходному европеоидно-негроидному расовому стволу — европейской группе Эрингсдорф или переднеазиатской группе Схул.

При всей значимости и самобытности западноевропейского и восточноазиатского очагов метрополий человечества вплоть до верхнего палеолита оставались горы и равнины Восточной Африки. Ближний Восток, связывавший Африку с Евразией, служил перекрестком путей: в эпоху мустье неандертальцы и их современники совершали по нему переходы между Европой, Африкой и Передней Азией. Афро-евразийский узел играл роль миграционного трамплина и задавал импульс движению по всей ойкумене, благодаря чему поддерживалось физическое единство рода *Номо* и происходила диффузия технологий. Здесь — не в укромном убежище, а на перекрестке путей — формировался как *pre-sapiens*, так и *sapiens*.

По Г. Бройеру, развивавшийся 280–100 тыс. л. н. на территории Африки «поздний архаичный *pre-sapiens*» (Омо, Элие Спрингс, Летоли, Флорисбад) — не только прогрессивное звено эволюции, но и тип древних гоминид с чрезвычайно высокой миграционной активностью. Он распространился по Африке и через Ближний Восток по Евразии вплоть до Китая. В ходе расселения обозначились локальные «расовые» признаки: австралоидный (Флорисбад, 269 тыс. л. н.), негрский (Мумба, 131–109 тыс. л. н.), бушменовидный (Классиес Ривер, Бордер Кейв, 94–70 тыс. л. н.) (Bräuer 2000). К *pre-sapiens* относится «прогрессивный неандерталец» из палестинских пещер Схул и Кафзех (Keith, McCown 1939; Andrews 1984), считающийся одним из переходных звеньев от *Homo neanderthalensis* к *Homo sapiens*. Палестинские скелеты сочетают значительные вариации признаков, являясь плодом смешения различных «локальных типов древнего человека» (Рогинский, Левин 1978:488).

По-видимому, Восток Африки — колыбель нескольких поколений пралюдей — был и родиной *Homo sapiens*. В финале среднего палеолита, когда восточноазиатский очаг гоминизации характеризовался медленными темпами развития и даже «угасал, образуя эволюционный тупик, на уровне архантропа и нескольких пережиточных форм» (Васильев 1999; Зубов 2004:184), а в Европе обитали неандертальцы, в Восточной Африке, исконном царстве *Номо*, происходило становление нового вида, вернее, обновление старого. Люди современного облика появились и начали мигри-

ровать по свету в конце среднего плейстоцена. Возраст архаичного *sapiens* в Африке (Илерет, Кения) — 279 тыс. лет, в Восточной Азии (Цзинньюшань, Китай) — 263 тыс. лет, в Европе (Сванскомб, Англия) — 250 тыс. лет (см.: Raabo 1995; Bräuer 2000). Таким образом, начало «третьего великого переселения», на этот раз прямых предков *Homo sapiens*, можно датировать временем 280–270 тыс. л. н., хотя его пик, называемый «верхнепалеолитической революцией», отмечается около 50 тыс. л. н.

А. А. Зубов полагает, что эволюция гоминид на Земле была сменой «пластов» и каждый новый пласт овладевал более широким пространством, чем предыдущий, одерживая верх в конкурентной борьбе. В конце среднего плейстоцена волна архаичных сапиенсов «захлестнула почти всю территорию Старого Света». *Очередная миграция запад–восток была «длительным, фактически непрерывным процессом», что не исключает локальной эволюции — полицентризма в происхождении человечества и расогенезе.* Волна «сапиентных мустьерцев», берущая начало в Передней Азии и прошедшая в стороне от ареала западноевропейских неандертальцев, на севере достигла Алтая (Зубов 2005:15, 17, 18, 20).

Давний и плодотворный спор между моноцентристами (сторонниками появления *Homo sapiens* в одном месте) и полицентристами (допускающими его независимое развитие в разных частях планеты) показывает, что человек — явление не точечное, а пространственное, и эволюция его происходила в динамике, а не в статике. Успех миграций человека был предопределен эффективными практиками установления контроля над пространством. Около 60–50 тыс. л. н. *Homo sapiens* мигрировал из Африки в южную Азию вплоть до Австралии, 40–30 тыс. л. н. заселил почти всю Европу и начал освоение северной Азии (Вишняцкий 2008:24, 195). Толчком к экспансии иногда считают демографический взрыв с эпицентром в Африке (Reich, Goldstein 1998; Relethford, Jorde 1999), хотя не вполне объяснимы его причины и эффект распространения по всей планете. Если и допускать нарастание активности восточноафриканского социокультурного «вулкана», то не столько в количественном отношении, сколько в качественном — как полигона особой стратегии коммуникации и колонизации.

*Sapiens-колонизация сопровождалась истреблением крупной фауны (пещерных медведей и мамонтов в Евразии, мегафауны в Австралии), а также локальных видов Homo, включая неандертальца.* Истоки успеха африканцев-*sapiens* в конкуренции с евро-

пейцами-*neanderthalensis* видят в технологии, развитии языка, биологических достоинствах неоантропа. Между тем физический облик *Homo sapiens*, оцениваемый с антропоцентристских и креационистских позиций как эталон, — один из многих случайных вариантов, ставший «классическим» по факту победы. Не менее совершенным в проекции гоминидной триады был другой вариант Номо — европейский неандерталец, наделенный большим мозгом, впечатляющей физической мощностью, агрессивностью и плотоядностью. По всем этим ключевым признакам *Homo neanderthalensis* превосходил *Homo sapiens* (а в мастерстве изготовления орудий не уступал ему); кроме того, именно неандерталец первым освоил Север и колонизовал северо-западную Евразию. Следовательно, превосходство *sapiens* над *neanderthalensis* обеспечили не кажущиеся сегодня неоспоримыми физические преимущества, а обстоятельства и действия, сделавшие эти черты преимуществами.

Биологическое или технологическое новшество не является априори успешным, а по отношению к традиции нередко выглядит уродством. 50 тысяч лет назад ничто не предвещало эволюционной тупиковости неандертальца; напротив, он был самым развитым и адаптивным из Номо, продвинувшимся далеко на север<sup>2</sup> и превратившимся в мощного суперхищника. При прочих равных или соразмерных характеристиках неандерталец обладал явным преимуществом перед африканским *sapiens*: в конкуренции с пришельцами-южанами неандертальцы находились на своей земле — приледниковом Севере.

Победа кроманьонца часто представляется поражением или вымиранием неандертальца вследствие крайностей (тупиковости) его адаптации: излишней массивности тела и черепа, чрезмерной плотоядности (диета неандертальца по преобладанию мяса напоминала рацион волков и гиен); при этом высокая калорийность пищи затрудняла вынашивание детей, увеличивала смертность матерей и младенцев. В холодные периоды усиливалась генетическая изоляция, вызывавшая развитие мощного телосложения и коротких конечностей неандертальца. Массовое вымирание неандертальцев могло случиться и от тропической болезни, занесенной на Север африканскими *sapiens* (см.: Hublin 1998; Tuffreau 2006:365; Вишняцкий 2008:27–29).

---

<sup>2</sup> Физически неандертальцы представляли по-своему совершенный вариант северной адаптации (Condemi 1998; Hublin 1998).



«Может быть, в конце концов, преимущество *Homo sapiens* перед их конкурентами как раз и состояло в том, что они были более открытыми в культурном плане и не гнушались перенимать то полезное, что видели у других?», — задает вопрос Л. Б. Вишняцкий (2008:200–201). Вероятно, своими успехами *Homo sapiens* обязан выработанной к рубежу верхнего палеолита синтетической деятельностной схеме, насыщенной мощным потенциалом движения и адаптивности. Ассимиляции кроманьонцем неандертальца могла способствовать интерфертильность — способность скрещиваться и давать плодовитое потомство (Trinkaus 2005; Вишняцкий 2008:25–26; Holliday 2003).<sup>3</sup> Археология Восточной Европы и Ближнего Востока подтверждает версию культурной преемственности между неандертальцами и *Homo sapiens* (например, левантійское мустье — эмиран — ахмар, восточный микок — стрелецкая культура) (Вишняцкий 2008:188). Убедительно заключение: «Ключевую роль в процессе становления верхнего палеолита на Европейском континенте играли не адаптации культуры к изменяющимся природным условиям, а взаимные адаптации друг к другу принципиально различных культурных традиций — средне- и верхнепалеолитических» (Аникович и др. 2007:288). *Homo sapiens* одержал верх в конкуренции с *Homo*-собратьями не за счет врожденного физического превосходства, а благодаря выработанному в движении искусству коммуникации.

«Верхнепалеолитическая революция» — распространение по миру *Homo sapiens* — была делом рук, ног и социальных стратегий человека-хищника (травоядная схема, будь она поддержана самой невероятной плодовитостью, не способна мотивировать захват новых пространств, тем более экологически неудобных). Истребление мегафауны и широкое расселение — два ключевых признака движения человека-хищника. Не исключено, что вслед за охотниками мигрировали и иерархически зависимые от них собиратели: охотники захватывали территорию, собиратели ее осваивали, создавая сложные, так называемые симбиотические, культуры верхнего палеолита. Более поздние исторические примеры показывают, что симбиоз

<sup>3</sup> Некоторые исследователи допускают, что европейские неандертальцы были репродуктивно изолированы от *Homo sapiens* в силу существенных анатомических отличий, но ближневосточные *Homo neanderthalensis* представляли собой промежуточное звено, обеспечивавшее межвидовую гибридизацию (см.: Moncel, Voisin 2006; Вишняцкий 2008:17).

агрессивных охотников-хищников и цепких собирателей дает эффект успешной и прочной колонизации. В конкуренции побеждал тот вид Номо, который обладал цепкостью в сочетании с подвижностью, гибкостью в сочетании со стойкостью. Движение потому выделяется как ключевой признак *sapiens*, что в нем сосредоточена совокупная результирующая этих характеристик: человек стал носителем агрессивной и эффективной схемы миграции-колонизации, обеспечившей его господство в отдельных локальных нишах и на соединяющих их магистралях. Возможно, коротконогому неандертальцу лучше удавалась локальная экологическая адаптация, тогда как длинноногому южному сапиенсу — магистральная экосоциальная. *Sapiens* одержал верх за счет преимуществ, состоявших не столько в крепкой руке и тяжелом мозге, сколько в многообразной, в том числе речевой, коммуникации и иерархичной хищно-травоядной адаптивности.

### Мим-адаптации

К Демокриту восходит размышление: «Путем подражания мы научились у паука ткачеству и штопке, у ласточки — постройке домов, у певчих птиц — лебедя и соловья — пению». Буше де Перту принадлежит его археологический вариант: «Работы человека должны были начинаться с самой примитивной основы <...> Его первые опыты — грубое подражание природе и материи — очень мало отличались от этой материи <...> Инстинкт имитации породил первых художников» (Boucher de Perthes 1847:532–534, 554).

Изначально прачеловеку была присуща поведенческая схема примата, заданная естественными инстинктами, ритмами и ресурсами. Сегодняшняя логика ставит в заслугу прапредку физическое самосовершенствование и технологические открытия, приближающие его к состоянию *sapiens*. Однако *Homo erectus* не стремился стать *sapiens*, а руководствовался вполне приматными интересами и побуждениями. Скорее всего, расширение деятельностной схемы раннего человека происходило за счет имитации других поведенческих образцов, прежде всего господствующих хищников. Путем адаптивного подражания (мим-адаптации) человек присваивал чужие модели и тем самым расширял свое деятельностное поле. В искусстве подражания прачеловек был более «обезьяной», чем сама обезьяна. Это видно по наполненной звуками природы речи (эхолалии), насыщенной животной этологией этике, избыточной природными образами мифологии. И ранние религии, как показы-

вают приемы магии, колдовства, шаманства, вырастали из практик имитаций-превращений.

Возможно, всеядность человека — не утрата пищевого профиля, а сложение разных диет. Изначальная насекомоядность протоприматов, растительность ряда гоминид дополнились, в подражание хищникам, плотоядностью, в том числе поеданием падали. Иногда по этому поводу звучат хлесткие суждения: «Наши предки — пожиратели падали», передавшие нам склонность к специфическим лакомствам «с оттенками запаха тухлятины» — от сыра рокфор и камамбер у французов до копальхена у эскимосов (Дольник 1994:11–12, 30). Не исключено, что подбор падали был переходным звеном между сбором насекомых–растений и активной охотой. «То, что современные охотничьи народы питаются падалью, помогает понять, каким образом мясо крупных животных становилось добычей древнего человека» (Кларк 1977:35–36). Вместе с тем подбор падали представлял собой особую стратегию поведения (как видно на примере львов, гиен и других хищников в современной африканской саванне), и неприглядная роль падальщика на практике оказывалась школой изучения и имитации разных ролей.

Переход к мясной диете представляется важнейшим эволюционным шагом. Однако вряд ли пращеловек предавался размышлениям о том, что мясная пища необходима для развития мозга, или о том, как трудно стать прямоходящим, будучи растительным приматом, вроде гориллы с вечно набитым огромным брюхом (см.: Якимов 1973). Не проясняют картины и современные расчеты калорийности разной пищи, и суждения о выгоде охоты на крупных животных в сравнении со сбором насекомых. Приматология свидетельствует об охоте павианов и шимпанзе на мелких животных, а археология — о признаках плотоядности восточноафриканского рамапитека (кенияпитека), о растущем с течением времени количестве костей крупных млекопитающих (гиппопотама, жирафа, носорога) в слоях Олдувайского ущелья (Leakey 1971; Кларк 1977:46; Борисковский 1980:64). Скорее всего, переход к мясной диете был не тотальной ломкой традиции, а специализацией отдельных групп пралюдей. Увлечение мясной пищей было не всеобщим и не повсеместным. Например, синантропы оставались универсальными собирателями: ловили и ели мышей и крыс, крабов и черепах, собирали яйца страуса, лакомились вишней: в пещере Чжоукоудянь выявлены «мощные прослойки косточек вишни»;

«пракитайская» основательность кухни синантропа выражалась в употреблении не только мякоти ягод, но и зернышек вишни (см.: Ларичева 1976:72).

Охотничьи технологии лишь отчасти состоят в диалоге хищник–добыча. Не менее, если не более, значимы в момент охоты отношения хищника с другими хищниками — иначе охотник легко превращается в добычу. Мне уже приходилось размышлять над соотношением стайности (хищной агрессии) и стадности (травоядной сплоченности) в развитии рефлексии древних людей: «Мысль о мысли могла сложиться только при двойном восприятии, удвоенном внимании, двойственном поведении. Стадность и стайность человека предопределили ему “двойную жизнь”; люди с детства вели двойную игру в травоядных–хищников. Человек-хищник был наделен страхом травоядного, человек-травоядный — агрессией хищника. Он одновременно подавлял и подчинялся, нападал и защищался, внушал страх и испытывал его» (Головнёв 1995:25). Человек не преодолел своей двойственной стайно-стадности — она, наряду с всеядностью, закрепились в его натуре, а «природный театр» с многообразием ролей стал стимулом и процессом мим-адаптаций, приведших человека на вершину биоценоза и обусловивших многообразие промыслов и диет.

Первоначально у людей не могло быть собственно человеческой стратегии, вернее, она состояла в сочетании различных заимствованных образцов. Уже тогда случилась первая «смерть субъекта» (пользуясь выражением постмодернистов) — замещение исконной схемы примата композицией чужих схем. Человек выступал не покорителем природы, как чудится с высоты сегодняшнего дня, а ее искусным имитатором, олицетворяя то хищника, то травоядного, то силу стихии. Подражая крупным хищникам, человек-мим узурпировал их место в природе, вытесняя, истребляя или приручая своих учителей. Приспособление и подражание, которые Г. Тард (1892) считал основой социальности, человек унаследовал от своих далеких предков.

Сценарий ранних мим-адаптаций видится не в демонстрации превосходства, а в экодипломатии. В промысловых технологиях охотник выступал сначала как зверовед и зверовод, а уже затем как зверобой. Вероятно, первые опыты приручения были «союзом зверей», а не заготовкой «живых консервов», как рисуется современному потребительскому сознанию. Древние варианты «союза зве-

рей» напоминали скорее взаимоприручение, тем более что человек настойчиво вселялся в чужие логова. Ареной экодипломатии были открытые пространства, где человек-мим постигал каноны стайности и стадности, удовлетворяя сиюминутно-гастрономическую прихоть, а попутно наращивая набор звериных стратегий. Трудно сказать, кто к кому первоначально приспособился, прачеловек к прасобаке или наоборот; скорее всего, это была взаимная адаптация. Опыт этнографии подсказывает, что, промышляя и одомашнивая зверя, люди сами омедвеживались и оболенивались.

Путь человека на вершину биоценоза был извилист и вряд ли единообразен. Среди мим-адаптаций было немало вариаций и комбинаций. Полюсами стайно-стадных стратегий определяются схемы хищника и травоядного. Вероятно, люди-хищники и люди-травоядные — основные формы мим-адаптации древних охотников и собирателей. Вполне возможно, что уже в палеолите возникали сложные общества, включающие иерархически соподчиненные группы хищников-охотников и травоядных-собирателей.

Эпитеты «хищник-убийца» (Р. Ардри) и «зачинатель войн» (Р. Бигелоу), адресуемые прачеловеку, имеют реальные основания. На многих черепках австралопитека Р. Дарт обнаружил следы боковых и вертикальных ударов дубиной, из чего заключил, что предки людей не только убивали павианов, но и вели «истребительную междоусобную войну» (Dart 1948:278). Сочетание на древнейших стоянках останков животных и пралюдей наводит на мысль о приоритете оружия над орудиями, о «коварстве и отваге» вооруженных австралопитеков, о человеке-хищнике, естественный инстинкт которого — «убивать, используя оружие» (Ardrey 1961:30, 293–306). Иногда говорят, что древний человек был не «производителем орудий», а «зачинателем войн», в ходе которых развивалась мысль и кооперация, и современные люди являются потомками воинов-победителей (Bigelow 1969:43). По останкам синантропов Ф. Вейденрейх установил многочисленные признаки насильственной смерти от ударов дубиной и режущим оружием; при этом череп и кости скелета раскалывались, вероятно, для извлечения мозга (Weidenreich 1947:197–199, 203). Потомки гейдельбергского человека в Европе, судя по состоянию черепов и костей эпохи мустье (Штейнгейм, Эрингсдорф, Крапина), охотились как на зверей, так и на людей (Roper 1969). Не все пралюди были хищниками-каннибалами, и наряду с теми, кто убивал и ел, существовали те, кого

убивали и ели. Схемы хищников и травоядных среди людей могли варьировать (в силу все той же адаптивности) или приобретать определенную устойчивость — не исключено, что «схема хищника» предусматривала не только умерщвление добычи, но и ее «разведение» в режиме подчинения.

Своего рода мим-адаптацией можно считать овладение огнем. Г. Чайлд отмечал, что открытие огня явилось первым случаем, когда живой организм сделался хозяином одной из сил природы (Childe 1937:56). В «игре с огнем», приведшей к его приручению, реализовалась способность человека представлять себя если не духом стихии, то ее союзником, «очеловечивать» образ огня и тем самым присваивать. Технологии хранения и разведения огня, как и обустройства очага, многочисленны, однако главным шагом было преодоление звериного отчуждения прачеловека от огня посредством «проникновения в образ» и его имитации.

Эта мим-адаптация происходила в эпоху *Homo erectus* около 1,5 млн л. н. Первые из обнаруженных археологами очагов горели в Кении (стоянка Чесованджа). Впрочем, решающую роль в развитии огненных технологий сыграла не жаркая Африка, а прохладная Евразия. Судя по находкам в Европе (Эскаль, Вертешсёллэш, Терра-Амата) и Восточной Азии (Джоукоудянь) (Coles, Higgs 1969:205; Борисковский 1980:82; Праслов 1984:43), 0,5 млн л. н. евразийский *Homo prometheus*<sup>4</sup> использовал прирученный огонь не только для очага, но и для травли зверей. На стоянке Торральба (Испания, ранний-средний ашель), помимо останков 30 гигантских слонов, 6 носорогов, 26 диких лошадей, 25 оленей, 10 зубров и нескольких хищников, обнаружены россыпи древесных и костных углей, оставшихся от загона слонов палом в болото (Howell 1966).

Огонь изменил ритм и пространство передвижений, открыл путь на холодный Север, стал домашним очагом, породил технологии уюта и быта. При освоении пространства важна возможность использовать огонь как для загона крупных зверей, так и для обогрева жилища. Очаг предопределил долговременность стоянок, а впоследствии оседлость, открыл простор домашнему досугу, сексу, ремеслу

<sup>4</sup> Р. Дарт, обнаружив в долине Макапансгат рядом с останками австралопитеков следы древесного угля, пытался уже австралопитека представить «прометеем первобытности» и дал ему видовое наименование *Australopithecus prometheus* (Dart 1948). Позднее австралопитека стали называть более корректно «африканским», а метафору *prometheus* адресовать разным поколениям пралюдей, выделявшихся технологиями применения огня (см., напр.: Murphy 1989:3).

и мифологии. Ритмы движения мужчины и женщины существенно разошлись в связи с «очажной» специализацией женщины.

Выход в Евразию свел человека с пещерным медведем (*Ursus spelaeus*) — высокоадаптивным хищником, близким человеку по этологии (предпочтению пещер), диете (всеядности), телодвижениям (способности сидеть и вставать на задние лапы). Э. Лартэ называл ранний палеолит «эпохой пещерного медведя», Э. Бехлер — «кровавым временем пещерных медведей», Н. Кастере — периодом «отчаянной борьбы человека с этим ужасом пещер» (см.: Столяр 1985:139, 172). По выражению Л. Нуаре (1925:119), эта схватка была «древнейшей всемирно-исторической битвой, исход которой обеспечил неоспоримое господство человека над землей». Впрочем, есть мнение, что «у охотников каменного века пещерные медведи были своего рода мясным скотом, не требующим забот на выпас и прокорм» (Верещагин 2002). В этом размышлении биолога звучит прагматика природного сосуществования, близости к человеку — почти одомашненности — пещерного медведя.

В ископаемой фауне ашельских и мустьерских пещер Альп и Кавказа кости медведя составляют значительную долю: в Ахштырской, Навалищенской и Воронцовской пещерах их 94–98 %, в Кударо I и III — 61,5 и 78,2 %. В ашельских слоях Кударо I преобладают зубы медвежат и молодых особей (86 %), в мустьерских — зубы взрослых и старых особей (до 80 %) (Любин 1984:66). В позднем палеолите отмечена сходная картина: в Белой пещере 98 % фауны принадлежит останкам пещерного медведя (Каландадзе и др. 1977:177). Люди альпийского мустье, представленного высокогорными пещерами Вильдкирхли, Драхенлох, Вильденманнлислох, охотились почти исключительно на пещерных медведей (99,5 % костей), значительную часть которых составляли медвежата (Bächler 1940). Останки медведя выявлены в отложениях многих пещер Франко-Кантабрии (Альтамира, Гаргас, Фон-де-Гом, Мас д'Азиль, Руфиньяк) (Столяр 1985:139).

Впечатляет устойчивость сожительства медведя и человека на протяжении сотен тысяч лет. Очевидно, люди убивали и ели медведей, а медведи отвечали им взаимностью. Между ними шла борьба за пещеры, начинавшаяся с того, что человек вторгся в логово медведя и устраивал в нем свое жилище. Такого рода «одомашненность» напоминала, скорее, «омедвеженность», и лишь запах дыма позволял отличить дикую пещеру от домашней. Мус-

тьерский человек вторгнулся и в те высокогорные пещеры, которые были непригодны для жилья (например, Вильденманнлислох), но обеспечивали власть над пространством.

Постоянство медвежьей охоты вряд ли связано с гастрономическими наклонностями обитателей гор. К тому же пещерный медведь, вдвое превосходящий по размерам современного бурого, явно не был легкой добычей и не собирался уступать пришельцам свою горную страну. Пещера для *Ursus spelaeus* была не просто временной берлогой: здесь зверь жил и умирал — многие пещеры представляют собой многослойные медвежьи кладбища (в Драхенхёле покоились 30 тысяч костей медведей, в Руфиньяке — 250 тысяч). Можно представить, каким испытанием для мустьерского человека было преодоление порога медвежьего логова-склепа.

Статистика костей Кударо I показывает возмужание охоты от ашеля к мустье: первоначально людям лучше удавались поединки с медвежатами, а затем дело дошло до взрослых зверей. Преобладают останки медвежат и в высокогорных альпийских пещерах. Скорее всего, речь должна идти не столько о пищевом промысле, сколько о поединках, в которых схватка была лишь кратким финалом длительной драмы, разыгрывавшейся во взаимной слежке, устрашающих и примирительных маневрах, гаданиях и подстереганиях. Диалог с медведем, как показывает опыт северных медвежатников, часто строится не на открытой вражде, а на заигрывании, в котором человек предлагает себя как живую приманку. При этом и в момент схватки, и в последующем «медвежьем ритуале» охотник ощущает и выражает свою близость к зверю, традиционно обозначаемую родством.

В альпийской и кавказской горных странах обнаружено немало следов подобных ритуалов, включая известные «погребения медведей» в пещерах Драхенлох (Швейцария), Петерсхёле (Германия), Регурду (Франция). На Кавказе они отмечены в нижнем мустьерском слое пещеры Кударо III, где у стены находился повернутый к центру пещеры череп крупного медведя с пришлифованными клыками и надрезами в основании (Любин 1984:67); в верхнем слое Азыхской пещеры, где были собраны и зарыты в определенном порядке черепа пещерного и бурого медведей (Гусейнов 1973); в Верхней пещере Цуцхватской пещерной системы, где вдоль стен были уложены черепа и кости пещерных медведей (Векуа, Тушабрамишвили 1978). «Родство» человека и медведя выявляют находки их останков бок



о бок в пещерах Регурду, Ветерника и Церовацер, а также старые (XVIII–XIX вв.) и, увы, плохо документированные свидетельства совместных захоронений костей неандертальца с костями пещерного медведя в Гайленрейте, человеческой челюсти рядом с медвежьим черепом в Маларно и Арси-сюр-Кюр (см.: Столяр 1985:157–159).

Примечательно, что самыми «медвежьими», по данным остеологии, оказываются высокогорные пещеры — Драхенлох и Вильденманнлих в Альпах, Кударо, Азыхская, Цонская на Кавказе. В этом векторе медвежье-человеческих отношений видится не столько удобство охоты, сколько стратегия контроля над пространством. Пещера Драхенлох расположена в такой заоблачной выси (2445 м), на верхнем рубеже зоны обитания медведей, что достоинство ее можно усмотреть разве что в открывающейся с Драконовой горы величественной панораме Альп. Некоторые кавказские пещеры, например Верхняя (в которой малочисленный набор каменных вещей — 14 экз. — напоминает походно-ритуальный реквизит), были явно не жилищами охотников, а форпостами, где ритуально погребались останки поверженных хозяев гор. Рейды в высокогорье вряд ли были экономически эффективными, но они приносили главный трофей — «схему хозяина гор». Ритуальный поединок с медведем позволял человеку не просто съесть зверя и захватить его пещеру, но и присвоить себе его статус и домен.<sup>5</sup>

Освоение севера Евразии вообще немислимо без медвежьей мим-адаптации. Медведь пещерный — хозяин гор, бурый — лесных евразийских равнин. «Схема медведя», включая обитание в пещерах и берлогах, могла служить моделью поведения и движения для многих обитателей древней Евразии. Первопроходцы Севера создавали свои деятельностные схемы путем освоения–присвоения поведенческих моделей медведя и других крупных зверей.

В других ситуациях ведущей (локальной, групповой, индивидуальной) могла оказаться схема иного зверя, почему-либо важного для конкретной группы охотников. Обитатели грота Лазаре (Ниц-

<sup>5</sup> Вознесенность Драхенлоха побудила О. Менгина допустить, что первобытный охотник «обращал свои взоры к Высшему Существу»; представителей культурно-исторической школы (В. Шмидта и В. Копперса) — заговорить о предмутьерском монотеизме, не оскверненном тотемизмом и магией, а автора мистико-метафизической концепции М. Кёниг — предположить, что кости Драхенлоха обозначали «космический порядок духа на земле» (см.: Столяр 1985:151). Эти экзотические догадки по-своему интерпретируют значимость высокогорья в древней философии пространства.

ца, Франция) в ашельское время устанавливали у входа волчьи череп со следами «трепанации» (Lumley 1969:202, 217). В эпоху мустье обитатели грота Староселье в Крыму охотились в основном на диких ослов, грота Тешик-Таш в Узбекистане — на горных козлов, Ильской стоянки на Кубани — на зубров, Ля Шаппель во Франции и Агостино в Италии — на оленей. В позднем палеолите жители Мальты (под Иркутском) предпочитали охоту на северных оленей, Амвросиевки (Донецкий бассейн) — на зубров, Пушкарей (под Новгород-Северским), Кирилловской стоянки (Киев), Межиричей (под Каневым) — на мамонтов (Борисковский 1980:184). Крыша одного из верхнепалеолитических домов в Мезине была увенчана рогами северного оленя, другого — головой волка (Шовкопляс 1965).

От этих предпочтений зависел выбор стоянок и режима миграций, промысловых технологий и мотивационных ориентаций группы. Очевидно, ведущие мим-адаптации предрасполагали к складыванию особой идентичности охотничьей группы или, шире, охотничьего «цеха» (медвежатников, мамонтытников, бизонников). Схемы могли уживаться или конфликтовать — как на индивидуальном уровне, так и в групповых и межгрупповых отношениях. В каком-то смысле «гонка схем» задавала темп открытию и освоению новых пространств.

Мим-адаптации — заимствования поведенческих схем различных животных — предполагали физическую и ментальную адаптивность древних людей, в чем немалую роль играла молодость охотников палеолита. Если учесть, что средняя продолжительность жизни в то время едва превышала 20 лет (Борисковский 1980:165; Козлов 1982:13) и, следовательно, значительная часть этой короткой жизни была детством, во многих решениях и поступках впору усматривать не взвешенный взрослый расчет, а игру детей и риск молодых. Давно замечено, что следы в палеолитических пещерах оставлены в основном «малыми ногами» (в Зале шагов Пеш-Мерль, в пещерах Труа Фрер, Базау, Монтеспане, Тюк д'Одюбер, Альден, Нио), принадлежащими подросткам 10–15 лет (Уско, Rosenfeld 1966:106), из чего обычно делается заключение об инициациях молодежи как главном пещерном обряде. Не исключено, что подростки составляли основную часть населения, по крайней мере ту, что рыскала по пещерам.

По своей сути мим-адаптация — игра, лучше всего удававшаяся детям. «Ребята и зверята» до сих пор находят общий язык легче,

чем разучившиеся играть взрослые.<sup>6</sup> Й. Хёйзинга небезосновательно утверждал: «Все основополагающие факторы игры, в том числе игры коллективной, уже существовали в жизни животных... Архаическое существо играет так, как играет ребенок, как играют животные... Культура возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается» (Хёйзинга 1992:24, 61, 62). Вероятно, палеолит был менее тяжелодумным веком, чем сегодняшний. Молодежь древности, не знавшая ни туберкулеза, ни сифилиса, ни кариееса, ни рахита (Vallois 1961), страдала по большей части лишь от травм и ревматизма. Непоседливость детей и мобильность молодежи придавали палеолитическому бытию особый динамизм.

### *Звериный язык*

Мим-адаптация создает общий «язык» людей и зверей, включающий жесты, звуки, манеры, образы. Этот язык реализуется в повседневных практиках и долговременных традициях, обозначаемых в антропологии понятиями «тотемизм», «культ животных», «анимализм древнего искусства».<sup>7</sup> Одно из его ярких проявлений можно видеть в знаменитом пещерном искусстве Франко-Кантабрии, возраст которого насчитывает 35 тыс. лет. Эта традиция распространена на пол-Евразии, от Иберийского полуострова до Урала с выраженным очагом на юго-западе Европы. Всего обнаружено более трехсот расписных пещер, из которых более 150 расположены во Франции, свыше 125 — в Испании, 3 — в Португалии, 21 — в Италии, 2 — в Германии, по одной — в Англии, бывшей Югославии, Румынии, 2 — на Южном Урале (Каповая и Игнатьевская), в 4 тыс. км от эпицентра древнего искусства (Дэвлет 2006:64). Применительно к ледниковому периоду — вюрмскому оледенению плейстоцена —

<sup>6</sup> Хороший вопрос задает И. В. Калинина (1998:98): «Так кто же все-таки прав в понимании животного — наивный, глупый ребенок, неосознанно верящий в доброту животных, бесстрашно залегающий в конуру к цепной собаке, или умный взрослый, не доверяющий собаке, обходящий ее по большому кругу?»

<sup>7</sup> Понятия «тотемизм», «нагуализм», «фетишизм» и др. — кабинетные научные схемы, имеющие в основе конкретные культурные практики (племен Австралии, Америки и т.д.), которые исследователи пытались представить универсальными феноменами. В действительности это возведенные в ранг научного канона частные варианты диалога людей и зверей. Поэтому, например, доступная австралийцам практика зверино-человеческих взаимоотношений стала неразрешимой для ученых «загадкой тотемизма» (итоги известной дискуссии начала XX в. см.: Генлер 1920).

речь идет о территории, по природно-климатическим признакам напоминающей скорее современную Скандинавию, чем Францию: в финале плейстоцена в животном мире юго-запада Европы преобладал северный олень (Rigaud 1999).

С пещерной живописью верхнего палеолита юго-западной Европы связывают происхождение высокой культуры *Homo sapiens*. З. А. Абрамова видит в нем «искусство самоутверждения человека разумного, впервые порвавшего узы животного царства и выразившего в изобразительном творчестве свое отношение к окружающему миру, себе самому и особенно к зверю, который, с одной стороны, снабжал его всем необходимым для жизни, а с другой стороны, был опасным и угрожающим» (Абрамова 2005:5).

Мим-адаптации настраивают на иной подход: человек не разрывал пут звериного мира, а переплетал их на свой лад. Он не отстранялся от звериного царства, а становился его пастырем, сверхзверем. Правда, в самом человеческом сообществе уже наметилась специализация по различным деятельностным схемам: помимо «модели пастыря», развивались схемы с признаками «паствы». Таким образом, речь может идти не о жесткой оппозиции человек–животное, а об антропобиоценозе со сложными сплетениями соподчинения и взаимодействия.

При входе в пещеру включается «схема медведя» (или льва), поскольку, согласно мим-адаптации, человек воспринимает занимаемое им звериное логово глазами его хозяина. С этим отчасти согласуются археологические гипотезы о происхождении пещерной живописи от гриффад — процарапанных на стенах пещеры следов медвежьих когтей и их имитации человеком в виде оставленных на глине следов пальцев (так называемых «макарон») или отпечатков кистей рук.

Как известно, гигантские медведи, тысячелетиями обитавшие в плейстоценовых пещерах, имели обыкновение «точить когти» о стены, оставляя на них многочисленные борозды — гриффады. Для палеолитических охотников эти метки «были важным, остро эмоциональным сигналом, вызывающим ответные, окрашенные первобытной фантазией действия»: на звериные гриффады человек накладывал свои. Сходство и соседство медвежьих царапин и человеческих «макарон» не раз отмечалось исследователями, начиная с Г. Обермайера (1913), во многих раскрашенных пещерах верхнего палеолита (Монтеспан, Хорнос де ля Пенья, Альден, Гаргас, Пеш-

Мерль, древнейшие комплексы Ла Бом-Латрон, Руфиньяк) (Столяр 1985:53). Диалог медвежьих и человеческих гриффад выглядит перепиской на зверином языке, обращенной авторами друг к другу.

Понятно, что не только для медведей люди оставляли на стенах «макароны» и, тем более, создавали изящные картины на скальных панно. Но присутствие медведя в пещере ощутимо: гриффады иногда сопровождаются рисунками головы медведя (Арден), профильным контуром зверя (Альтамира); иногда, как в пещере Бауза на севере Италии, не только гриффады, но и отпечатки лап медведя и ног человека на полу перекрывают друг друга (Столяр 1985:131, 181). В пещере Шове рядом с гриффадами на скальном основании покоился череп медведя (Дэвлет 2006:63); в пещере Монтеспан на глиняном манекене был, вероятно, укреплен череп медвежонка (Кастере 1974:74–80).

А. Д. Столяр полагает, что верхнепалеолитические рисунки имели прототипом пещерные ритуалы-пантомимы, проводившиеся мустьерскими охотниками после схватки с медведем, и улавливает последовательную связь: медвежья пещера — медвежье-человеческая пещера — верхнепалеолитическая художественная галерея. Важную роль в развитии исходной пантомимы в изобразительное искусство сыграл «натуральный макет» (Столяр 1985:174–176). Этот подход (с проекцией на пещерного льва, но не на лошадь, бизона и мамонта, которые в пещерах не жили) мог бы поддержать и даже превознести роль «медвежьей схемы» в становлении человеческой культуры, если бы не имел прямо противоположной ориентации на то, что древние охотники избивали чучело медведя в магических целях.

Классической иллюстрацией магической концепции считается «монтеспанский медведь» (Breuil 1952:238). Грубо слепленная из глины «болванка» медведя обнаружена в конце длинного труднопроходимого тоннеля пещеры Монтеспан, в «зале» шириной 7 м с нависшим на уровне головы человека потолком. У «болванки» (высотой 0,6 м и длиной 1,1 м) нет головы, место которой, возможно, занимал череп медвежонка, найденный на полу «между передними лапами» глиняной фигуры. Принимая ямки на изваянии за следы «ран», исследователи полагают, что древние охотники надевали на манекен медвежью шкуру с головой и метали в чучело копья, дротики, а также глиняные шары величиной с кулак, которые лежали кучками неподалеку.

Под пером исследователей «болванка», воспринятая первыми наблюдателями как бесформенный ком глины (А. Годен), превращается в «великолепную работу», выделяющуюся «необычайным реализмом» (Ф. Тромб и Г. Дюбюк). От книги к книге ученые и популяризаторы насыщают деталями сцену истязания в тупике пещеры чучела медвежонка. Речь при этом идет об истоках магии, религии и искусства. Героями событий представляются древние охотники, преодолевшие километровый путь по пещерному тоннелю, доступному сегодня лишь опытным спелеологам. Сомнения в подобном сценарии рождаются вовсе не оттого, что «тир» (или «камера пыток») тесноват для группы метателей копий, дротиков и глиняных шаров.<sup>8</sup> Подобная психологическая схема не имеет ничего общего с нравами реальных охотников на медведя, которым не свойственна страсть к терзанию медведя или его трупа. Например, в традиции медвежатников-хантов убитого зверя называют родней, наряжают и чествуют на многодневных игрищах, после чего шкуру хранят в красном углу дома, и входящий гость здоровается сначала с медведем, а потом с хозяином. Медвежья магия у них представлена клятвой на лапе или морде зверя, согласно которой медведь выступает судьей людских проступков. Монтеспанский «научный сценарий» выражает совсем иную установку, свойственную европейскому «просвещенному охотнику», — на предельное отчуждение человека и зверя. При этом палеолитический охотник рисуется маньяком, терзающим в затхлом подземелье мохнатое чучело. Мне представляется более реалистичным предположение, что глиняный манекен был частью интерьера «медвежьего склепа».

В науке образ израненного монтеспанского медвежонка стал эталонным, и с ним семантически связывают другие изображения, например гравировки «истекающих кровью» медведей в пещере Труа Фрер (Столяр 1985:197, 207) — из-за того, что у них прорисованы исходящие из рта, ноздрей и ушей пучки линий. Однако подобные пучки есть и на других изображениях (например, львов в Ляско и Нио, бизонов в Альтамире и Бернифаль, лошади и коров в Пеш-Мерль), но всюду они напоминают не кровотечение, а дыхание или, еще вероятнее, голоса зверей. На мой взгляд, медведи в пещере Труа Фрер не «истекают кровью», а говорят на зверином языке, и потому пучки линий-голосов исходят у них из пасти и входят в уши.

<sup>8</sup> Посетивший пещеру Монтеспан П. Грациози не разглядел на глиняном манекене никаких следов, кроме бугорков, шероховатостей и множества маленьких углублений естественного происхождения (Graziosi 1960:152).

Я не отрицаю очевидного: «Нет крупной охоты, нет и искусства древнего натурализма» (Брейль 1971:41). Однако магико-экономический взгляд на древнего охотника как расчетливого потребителя мешает понять, зачем он так красиво рисовал. В толковании А. А. Формозова, «страстное желание победить большого сильного зверя и вдоволь накормить мясом всю свою общину порождало не только заклинания, магические обряды, но и монументальные наскальные рисунки и мелкие скульптуры». Далее следует наблюдение: «Животные почти всегда показаны сбоку в профиль. Прием естественный для охотника, поскольку зверя легче убить, когда он занимает подобное положение». Наконец, чтобы преодолеть противоречие между мотивом убийства и жизнелюбием изображений, например в образах пар самцов и самок, тот же толкователь заводит речь о плодородии: «Люди достаточно рано поняли, что мало быть сытым после ближайшей охоты. Куда важнее с уверенностью глядеть в будущее. Поэтому они по-своему заботились, чтобы не иссякли охотничьи угодья» (Формозов 1980:12, 58–59; 1987:53).

Версия магии как смысловой основы пещерной живописи популярна со времен С. Рейнака (Reinach 1903). Магия, особенно ее видение К. Бетом<sup>9</sup>, действительно открывает горизонты интерпретации ранних культур. Однако она вовсе не сводится к приемам насыщения, и магическое толкование не должно сужаться до представления шедевров древней живописи пещерной поваренной книгой. Наверное, в палеолите, как во все времена, были любители хорошо поесть, но не они, как правило, становились художниками.

А. Леруа-Гуран (Leroi-Gourhan 1958; 1964) подсчитал, что на пещерных панно раненых животных ничтожно мало — не более 3 %. В их облике преобладает жизнь и движение, а не раны и агония. Следовательно, вдохновляли художника живые звери, а не приготовленные в пищу. Зависимость между желудком и творчеством в пещерном искусстве была не столь прямой: в культурном слое пещеры Ляско большинство костей (77,8 %) принадлежит северному оленю, а на стенах пещеры его изображений, за одним сомнительным исключением, нет. Зато рисунки лошадей составляют 60 %, а их останки в остеологии пещеры — лишь 0,8 % (Филиппов 2004:78, 159). Здесь ели не то, что рисовали, а рисовали не всегда то, что ели.

---

<sup>9</sup> К. Бет полагал, что магия развивалась из подражательных охотничьих практик: маскировки, надевания звериных шкур, приманивания зверей путем имитации их голосов (Beth 1914:36–37).

Пещеры уподобляются не только художественным галереям, но и святилищам. А. Леруа-Гуран предложил вразрез с магической мифологическую версию толкования, согласно которой рисунки на скальных панно являются эпизодами мифов, а древние художники — «мифописцами», духовными посредниками и организаторами обрядов (Leroi-Gourhan 1982). Французские исследователи пещер, запечатлевшие свои непосредственные ощущения в остроумных спелеонимах, вольно или невольно выразили универсалии мировидения и архитектурный концепт храма: Неф, Ротонда, Плафон, Преисподняя (в Ляско). В этой топографической концептуализации немало интуитивно точных догадок и наблюдений.

Толкование пещеры как протохрама, согласующееся с мифологической, магической и эстетической интерпретациями, не покажется преувеличением, если исходить не из поздних, неизбежно канонизированных, образцов мифоритуальной практики, а из модели экспериментальной лаборатории религии, где земные реалии преломлялись в росписях пещерного пространства. Древние франко-кантабрийцы, вероятно, первыми скрыли религию в пещере. Поражающее исследователей изначальное совершенство пещерного искусства проще объяснять не миграциями с другого берега Средиземного моря, а погружением веры в пещеру, где, в изоляции от мирской суеты, сокровенное стало откровением. Люди ориньяка открыли пещеру как храм, вернее, превратили ее в храм, благодаря чему на долгие времена сложилась пещерно-каменная «схема храма» с неизменными сводами, фризами и росписью стен. В какой-то мере она произросла из сложной мим-адаптации, включавшей и образ логова-тайника, и медвежьих гриффады, и сталактитовые художества, и прочие визуальные игры природы.

Мим-адаптация отличается от подражания переработкой заимствования в сочетании с другими освоенными образцами. «Схема храма» — сложный синтез практик и опытов; это едва ли не первая *sapientis*-схема, позволившая людям разметить землю храмами (с тех пор это стало обычаем геополитики). Ритм движения охотников пополнился возвращениями к раскрашенным пещерам и высеченным на «каменных скрижалях» мифо-сюжетам. Многие исследователи отмечали тематическую устойчивость пещерных композиций при внешне хаотичном наложении разновременных рисунков. В сохранении стиля рисунков, их обновлении, проработке и дополнении видится традиция многократных возвращений к пещере-мифологеме.



В разных пещерах отмечаются свои ключевые персонажи: в Фон де Гом преобладают бизоны, в Шове — носороги, львы и мамонты, в Ляско — быки и лошади, в Руфиньяке — мамонты. И внутри пещер выражены тематические доминанты: в Ляско есть Ротонда быков, Львиный тупик, а также Пассаж и Апсид, где сосредоточено 60 % лошадей; в Труа Фрер центром композиции выступает Рогатый бог (Филиппов 2004:78, 158, 165). Различия в сюжетно-тематической специализации пещерных храмов могли сложиться не оттого, что в окрестностях пещер бродило больше бизонов или мамонтов, а в силу устойчивых предпочтений (мим-адаптаций) их обитателей. Отдельные пещеры могли принадлежать «людям мамонта» или «людям бизона» — носителям соответствующих деятельностиных схем и мифологем.<sup>10</sup>

Древний художник писал не с натуры, а по памяти-воображению, поскольку большинство персонажей — мамонты, бизоны, лошади, олени — не обитатели пещер. В манере художника выражен взгляд не потребителя, целящегося в добычу, а пастуха, любующегося «своими зверями». В нем читается «схема пастыря» (суперхищника), которую шелльские и мустьерские охотники постигали в диалоге с медведем на высокогорье. Лишь с позиции пастыря можно любоваться грацией зверя и передавать ее в пластике рисунка, «созывать стадо» и своевольно смешивать фигуры лошадей, бизонов и носорогов в пещерной мистерии. Во взгляде художника сходятся два измерения — внешнее наблюдение (общий план, взгляд пастыря) и внутреннее самоощущение (крупный план, взгляд зверя). Их сочетание создает эффект сопричастности и отстраненности, натуралистичного реализма и пространственной фантазии. Исследователи, каждый на свой лад, передают ощущение пространства в палеолитической живописи: «вполне реалистическая перспектива» была чем-то обычным и традиционным (Кожин, Фролов 1973:13, 15); «наброски движения, напоминающие современные моментальные фотографии; нечто подобное можно увидеть только в картинах Дега и Тулуз-Лотрека» (Hauser 1951:24–25).

Общий план (взгляд пастыря) на скальных полотнах выражен в движении и смешении зверей: «летающего кабана» и обороняющих-

---

<sup>10</sup> Вероятно, не все группы были «людьми мамонта», «людьми льва» или носителями иных престижных схем. Может быть, «бегущие человечки» в пещере Валь дель Чарко дель Анва Амарга (Теруэль, Испания) (см.: Столяр 1985:230–231, рис. 205–207) — образы иного статуса, «стада людей».

ся бизонов (Альтамира), «бегущих бизонов» (Истбриц), скачущего быка, ревущего оленя, прыгающей коровы, табуна лошадей (Ляско), прайда львов (Шове) (см.: Столяр 1985:230–231, рис. 205–207; 265, рис. 255; Формозов 1987:57–59; Филиппов 2004:98, рис. 27, 160–161, рис. 69, 70). Экспрессия поз особенно характерна для IV стиля (по А. Леруа-Гурану) эпохи мадлен. Акценты отражают «культ движения», сложившийся в длительных совместных миграциях людей и зверей по европейским прериям ледникового периода.<sup>11</sup> Для человека палеолита жесты и движения зверей превосходили по значению эстетику «красоты и утонченности линий». Он не только понимал, чем встревожены бизоны и куда мчится кабан, но и представлял множество деталей и связей общей сцены. Ощущения древнего художника и сегодняшнего наблюдателя заведомо разделены, и не только тысячелетиями: художник прорисовывал ключевой образ, за которым в его сознании тянулся длинный шлейф ассоциаций, а наблюдатель пытается угадать эти ассоциации в шероховатостях пещеры.

Крупный план (взгляд зверя) передан выразительностью огромных картин: львы в Труа Фрер настороженно глядят в упор, у входа в Ротонду Ляско нависает фриз с гигантскими пятиметровыми быками. В древности пещерный храм впечатлял не меньше, чем позднее высокая готика, а чудо оживающих в мерцании факелов зверей сопоставимо разве что с эффектом раннего синематографа, когда зрители ужасались и восторгались при виде движущегося — на них! — люмьеровского паровоза. Остается гадать, было ли это «пещерное кино» немым, или оно озвучивалось «звериными мессами». Арии мамонтов и львов должны были исполняться не менее виртуозно, чем рисунки на скалах, а под куполом Альтамиры или Руфиньяка достигать кульминации звериного многоголосия. Если находки палеолитических флейт оценивать не только как достижение промысловых технологий приманивания зверей (см.: Филиппов 2004:191), то анималистическую музыку ориньяка и мадлена можно представить одним из жанров «звериного искусства».

Сравнение древнего искусства с современными его формами допустимо, поскольку природа творчества в основе своей остается неизменной и побуждает к овладению через изображение, к самовыражению через вживание. Рисунок или мелодия — не столько

<sup>11</sup> Примечательно, что у кроманьонца, при высоком росте (1,71–1,77 м) и большой крепости костей с признаками мощной мускулатуры, ноги были пропорционально более развиты, чем руки (Абрамова 2005:50).

отражение, сколько овладение. Не эстетская созерцательность, а жажда обладания толкает художника и фотографа писать и снимать — так он присваивает реальность и ставит на ней печать своей руки. Чем глубже он погружается в образ, тем совершеннее его художественное исполнение. В этом состоит, если угодно, природная герменевтика — искусство-наука истолкования через уподобление. Это мим-адаптация высокого уровня, и в палеолите она означала влезание в шкуру зверя до со-переживания и со-поведения.

Крупный план в пещерах совершенен благодаря со-действию человека и зверя. Реализм картин — выражение не внешне объективного, а внутренне субъективного взгляда художника, познавшего зверя. Не убившего и съевшего, а овладевшего его поведенческой схемой (что не исключает промысла, а делает его виртуозным). На панно — лошади, но все они по-своему персонифицированы художником, в каждой выражен эпизод или состояние его мира/мифа/жизни. Все они — персонажи не внешней природы, а внутреннего мира человека. Субъективность палеолитических изображений — «интеллектуальный реализм» Г.-А. Люке (Luquet 1930) — видна, например, в чрезмерно массивной груди бизона или слишком длинных рогах горного козла (Абрамова 2005:27).

На пещерных рисунках палеолита почти нет человека, и в этом состоит «интрига творца»: он — по эту сторону изображения, он — изображающий. А. А. Формозов подметил, что «палеолитический художник не очеловечивал зверей, а, так сказать, “озверивал” самого себя»; «мир внутренний, сам человек не пользовались таким вниманием, как внешний мир. Поэтому нет изображений людей в пещерной живописи Франции и столь безлики в полном смысле слова палеолитические скульптуры» (Формозов 1980:17–18). Человек палеолита не потому растворен в природе, что лишен индивидуальности. Напротив, он сам был средоточием звериного мира, говорил на зверином языке, выражал свои настроения и состояния образами зверей. Охотник-пастырь присутствует в пещере, но он передан в неудобном для сегодняшнего восприятия облике зверя.

С реалистичными изображениями на стенах пещер соседствуют химеры — бизоно-кабан (Альтамира и Рок-де-Сер), олене-бизон и медведь с хвостом бизона (Труа Фрер), лошадь с рогом (Комбарель) (Филиппов 2004:176). Они — не плод ошибок и религиозных заблуждений, а сложные схемы, рожденные волей художника или

заимствованные им из мифологии. Химеры — признак свободного владения и игры «всезверием», по выражению Б. Л. Богаевского (1934). В них читается совмещение персонифицирующего взгляда зверя и обобщающего взгляда пастыря, а на их пересечении — мощь и дикая гармония «всезверия».

Образы человеко-зверя, по мнению исследователей (Формозов 1980:13), диссонируют с реалистическими рисунками мамонтов или оленей. Их трактовка как ритуальных масок (Авдеев 1959:41–42) или персонажей древних мифов (Леви-Брюль 1937:420–425) не разрешает противоречия. Между тем вариации на эту тему впечатляют: птице-человек в колодце Ляско, человеко-бизон и человеко-мамонт в пещере Шове, человеко-бизон из Истюриц (Франция), «антропозооморф» из Лас Кальдас (Испания), человеко-лев из Холенштайна (Германия), «зооантропоморф» с головой мамонта, копытами и конским хвостом из Каповой пещеры (см.: Широков 2002:254; Филиппов 2004:93, рис. 19; 98, рис. 29; 157, 159–160; Абрамова 2005:62, рис. 7; 138, рис. 32; 184, рис. 85).

Шедевром синтетической мим-адаптации и «всезверия» можно считать знаменитого Рогатого бога в пещере Труа Фрер (Филиппов 2004:158, 169, рис. 81). А. Леруа-Гуран увидел у него большие и круглые совиные или львиные глаза, оленьи рога и уши, конский хвост, а также бороду, стан, ноги и детородный орган мужчины (Leroi-Gourhan 1965:97–98). А. Брейль рассмотрел в этом загадочном существе хозяина пещеры, бога или духа, управляющего плодovitостью животных и охотничьей удачей (Breuil 1952:176). Б. Л. Богаевскому он представился запечатленным в момент только что законченного соития, судя по вывернутому положению его фаллоса; изображение сообщало охотникам, «что один из их среды, сильнейший, плодovитейший и искуснейший на охоте, удачно выполненным актом полового сношения обеспечит рождаемость полезных охотничьему коллективу животных» (Богаевский 1934).

Доминирующий на картине и во всей пещере рогатый и хвостатый герой, которого исследователи наперебой называют колдуном и шаманом, действительно собран из «всезверия» и окружен хаосом зверей. Он выступает олицетворением «пастыря зверей» или «сверх-зверя». Шаманско-колдовские ассоциации здесь вполне уместны, поскольку в основе волшебства лежит дар зверино-человеческих диалогов и превращений. Уместен и сексуальный мотив, передающий главный смысл сцены: Рогатый бог только что

покрыл или намерен покрыть окружающих его зверей. Можно подозревать древнего художника в чрезмерном зверолюбии, можно, вслед за А. Брейлем и Б. Л. Богаевским, видеть в этом пафос размножения промысловых зверей или, вслед за А. Леруа-Гураном, считать сексуальность ключом к восприятию всего пещерного искусства, а зверей (например, пару бизон–лошадь) — символами полового структурирования мира.

В мим-адаптации идея сексуального единства человека и зверя выражает предельную интимность и всеохватность их связи. Сексуальное со-переживание сближает больше, чем иные логические и мифологические со- или противопоставления зверей и людей. Оно передается в той нерассудочной форме влечения, которую Л. Леви-Брюль называл законом сопричастия. Сексуальность была естественной подосновой звериного языка, явно или скрыто передаваемой реалистическим искусством.

### *Cherchez la femme*

В палеолитическом искусстве господствуют две темы — звери и женщины. Первые преобладают в монументальной пещерной живописи, вторые наиболее ярко воплощены в скульптуре малых форм. Пространство первых — храм, вторых — дом. Звери и женщины редко встречаются в общих композициях, и складывается впечатление, будто они олицетворяют независимые друг от друга сферы жизни и культуры. Между тем грациозных зверей и пышнотелых «венер» рисовали и ваяли люди одного культурного круга. Правда, эпоха классических палеолитических «венер» ограничивается граветтом (27–20 тыс. л. н.), когда выполненные в одной манере статуэтки распространились по всей Европе, от Франко-Кантабрии (Леспюг, Брасемпуи, Лоссель во Франции) до Русской равнины (Костенки, Авдеево, Гагарино в России) (Филиппов 2004:101). Однако те же образы, хотя и заметно стилизованные (Энваль, Ложери-Бас во Франции, Гённерсдорф, Небра, Петерсфельс в Германии, Пекарна в Моравии), продолжали воссоздаваться в скульптуре и гравюре до позднего мадлена (Абрамова 2005:193–195, 217, 258). Для антропологии движения значима как общая география распространения этих изображений, показывающая широту и устойчивость связей жителей палеолитической Европы, так и поведенческая «схема венеры», выявляющая женскую долю в общих деятельностных сценариях, в том числе на пересечениях с мужской «схемой зверя».

Ощущения древнего скульптора и впечатления сегодняшнего толкователя сближают прикосновения к «венере» не только взглядом, но и рукой: пластика малых форм предназначалась как для визуального, так и для тактильного восприятия. Можно довериться археологам, которым посчастливилось держать в руках только что извлеченную из земли фигурку. Нашедший в 1936 г. женскую статуэтку в Бурети А. П. Окладников рассказывал: «Ощущение жизненной силы и какой-то ускользающей тайны исходило из этой статуэтки, казалось, она излучает тепло. Представьте: статуэтка не была желтой или коричневой, какими видим мы их за стеклами музейных витрин, — она была розовой! Как живое человеческое тело... И было невыразимо больно видеть, как буквально на глазах, по мере высыхания кости, исчезал этот теплый розовый оттенок» (см.: Васильевский 1987:20). В восприятии скульптур граветта можно опереться на впечатления П. П. Ефименко, проводившего раскопки Костенок: «Переданы они почти всегда нагими, с подчеркнутыми признаками пола. Особенно в них бросается в глаза желание первобытного художника передать черты зрелой женщины-матери; об этом говорят такие постоянно присущие им признаки, как объемистые груди, огромный живот и общий характер фигуры — с чрезмерно развитыми жировыми отложениями в области таза и бедер. В некоторых... случаях они, несомненно, прямо изображают беременных женщин». Примечательны не лишенные эмоций штрихи описаний: «складки полного тела», «заплывшая поясница и массивные бедра», «необъятные бедра и живот», «огромная отвислая грудь, лежащая поверх чрезмерно выдавшегося живота, с мясистой седалищной частью и массивными бедрами», «чрезмерная полнота, переходящая в уродливость» (Ефименко 1953:383–388, 447).

Отвлекаясь от деталей, можно задаться ключевым вопросом: тучная матрона — физический тип палеолитической женщины, секс-идеал ледникового периода или мифо-религиозная метафора?<sup>12</sup> Сколько в этом «интеллектуальном реализме» реального и сколько интеллектуального?

Рисуя в пещере горного козла, художник удлинял ему рога, что, с точки зрения козла, было отходом от реализма. Вырезая фигурку

<sup>12</sup> Полнота как эталон красоты, признак богатства и высокого социального статуса — широко распространенное явление в культурах Средиземноморья, например у сирийцев Дамаска, мавров Сахары, евреев Туниса (см.: Лев-Старович 1991:13).

женщины из бивня мамонта или мергеля, скульптор допускал ту жевольность в рельефе бедер и грудей. Прочие детали, например голова и конечности, занимали его лишь постольку, поскольку обрамляли главную ценность: в скульптуре граветта руки, ноги и безликие головы выглядят лишь оправой грудей, живота и зада, а стилизации мадлена целиком сосредоточены на выпуклости зада, пренебрегая даже бюстом.<sup>13</sup> «Безликость» венер восполнена яркой телесной женскостью — скульптор палеолита был художником тела, а не лица.

Этолог В. Р. Дольник иронизирует по поводу озабоченности антропологов пышностью «палеолитических венер», стыдливо называемых богинями плодородия. В наши дни тот же «культ», обозначенный рисунками на стенах туалетов, лифтов и электричек, реализует исконную «потребность мужчин как-то выразить свое влечение и восхищение». Эта потребность коренится в назо-анальной программе знакомства приматов: «рассмотрев и обнюхав чужой зад, обезьяна узнает о владельце все, что ей нужно». Поэтому у многих обезьян такие огромные голые затылки, ярко раскрашенные в красный, белый или даже синий цвета, — «чем выше лезет обезьяна, тем лучше виден голый зад». Как атавизм программа проявляет себя в том, что мужчины равнодушны к задку незнакомой женщины, им трудно не бросить на него хотя бы мимолетный взгляд, а женщины поощряют интерес походкой (Дольник 1994:92, 93, 124).

Антропологам действительно следует прислушиваться к своим инстинктам и вникать в звериный язык, особенно когда речь заходит об истоках. Первые — интуитивные и наивные — интерпретации палеолитического искусства вращались именно вокруг «допотопной порнографии» (Г. Клаач), «пластического выражения пылкого, эротического лепета, первобытной похоти» (В. Гаузенштейн), «эротического искусства» (К. Абсолоп) (Klaatsch 1913; Гаузенштейн 1923; Absolon 1949). Но вскоре подросли исследователи со сложными теориями магии, матриархата, мифологии, семиотики.

---

<sup>13</sup> «Три венеры» в скульптурном фризе Англи-сюр-Англен представлены выдающимися из скалы животами и затылками, у одной акцентирован женский треугольник (Филиппов 2004:177–178). Стилизация мадлена представлена силуэтными фигурками (Геннерсдорф, Небра, Петерсфельс, Пекарна), которые, словами З. А. Абрамовой, «схематичны и сводятся к тонкому стержню без головы, снабженному подчеркнутым ягодичным выступом» (Абрамова 2005:193–195, рис. 89, 91–93; 218, рис. 119, 252); по мнению А. Д. Столяра, в них явствует «преобладание профильного силуэта женщины с отставленным затылком» (см.: Столяр 1985:249, табл. 239; 253, 352, рис. 243).

Это был уже третий слой интеллектуальных схем (если считать первым — взгляд скульптора, вторым — наивного наблюдателя), накрывших обнаженные тела палеолитических «венер».

Г. Обермайер (1913:260) видел в них культ плодородия, П. П. Ефименко (1953:402–404) — прародительниц и хранительниц домашнего очага, С. Н. Замятнин (1935:74–77; 1961:54) — женскую магию содействия охоте, А. П. Окладников (1967:77, 80) — владычиц стихий и общинных духов, связанных с культом мертвых, А. А. Формозов (1980:76) — фигуру матриархата, сменяемую в энеолите мужской фигурой патриархата, Н. А. Бутинов (1968:122, 123) — изображения женщин, которых мужчины намеревались похитить из соседних общин, А. Д. Столяр (1985:251) — абстрактно-обобщенную идею женщины и вместилище душ бабушек, матерей и девушек (согласно тучному, классическому и худощавому типам фигур), А. К. Филиппов (2004:196) — кукол по умершим, облаченных в одежды и ритуально захороненных.

Как видно, у современных мужчин «венеры» вызывают различные ассоциации, имеющие, тем не менее, общую основу — ту самую «женскую суть», которая внятно выражена древним художником. Даже энергичные протесты против индивидуальных «сексуальных переживаний» во имя «нерушимого единства коллектива» (Столяр 1985:252, 257) исходят из этой сути и возвращаются к ней. Отсутствие лица у «венеры» не делает ее бесплотной «абстрактной женщиной», а по-своему индивидуализирует — каждая фигурка неповторима формами бедер и груди. Стилиевые частности (склоненная голова, сложенные на груди или животе руки) свидетельствуют об иконографическом каноне, имевшем определенный прототип и очаг распространения. Ситуативные характеристики находок (в большинстве разбитых, нередко лежащих в ямках неподалеку от очага) наводят на мысль об их вовлеченности в повседневную жизнь. Одна «венера» могла танцевать (Гагарино), вторая — рожать (Костенки 13), третья — делать макияж (у фигурки из Авдеево отмечены черты лица). Целые статуэтки могли быть захоронены в ямках, намеренно расколотые — разбросаны по площади стоянки (Филиппов 2004:196). «Вероятно, изготавливавшиеся в большом количестве женские статуэтки из мергеля не представляли для людей того времени большой ценности, предназначались для недолговременного использования во время каких-то обрядов, после чего теряли значение, могли быть выброшены, разбиты. Это может сви-



детельствовать о неразвитости религиозных представлений» (Рогачев, Аникович 1984:230). «Схема венеры» определенно имела локальные, возрастные и гендерные вариации. Эстетически яркие ее образцы представлены скульптурами из Леспюг (Франция), Гримальди и Савиньяно (Италия), Дольни Вестонице (Моравия), Костенки I (Россия) (см.: Ефименко 1953: табл. VII; Столяр 1985:239, рис. 221; Абрамова 2005:73, рис. 13; 160–161, рис. 54, 56).

«Игра в венер» имела под собой тот самый исконный культ женщины, который непредсказуемо блуждал от неясного влечения к нацеленной страсти, от приворотного заигрывания к злобной ревности, от жажды обладания к переживанию беременности. «Игра в любовь» — первая школа эстетики и ритуалов в мире секса, и палеолитической «венере», вероятно, выпала тяжкая доля сопереживания фантазий и проклятий, судьба быть тщательно изваянной и вдребезги разбитой. В какой-то мере домашняя кумирня «венеры», как и пещерный храм, была лабораторией культа, где сны перемежались с явью, а детские забавы — с взрослыми заботами. Эту сферу отношений не следует воспринимать как досугово-периферийную: речь идет о поведенческом механизме полового отбора, который со времен Ч. Дарвина считается едва ли не главным фактором становления человечества.

Крупные формы «венер» полны духом анимализма. И все-таки «звери» и «венеры» по-разному ориентированы не только в пространстве (храм и дом), но и в ритме движения: «зверям» больше присуща динамика, «венерам» — статика. Это соответствует мужской манере освоения внешнего пространства и женской манере обустройства дома. Один из впечатляющих случаев наложения схем «венеры» и «зверя» виден на барельефе и гравюрах грота Ля Магделен, где в изображенных рядом сценах «женщина и бизон», «женщина и конь» полулежащие обнаженные героини демонстрируют негу и экстаз, а выразительно стоящие герои — мощную статью (конь) и возбуждение (бизон) (см.: Филиппов 2004:177–178, рис. 99).

На статичность «венер» обратил внимание П. П. Ефименко, заметив, что подобные изображения чужды «примитивному искусству бродячих народностей охотничьего круга», у которых нет «оседания первобытной общины». Полемизируя с миграционной теорией, выводящей ориньякскую культуру из Африки и, соответственно, трактующей пышную плоть «венер» как расовые черты негроидов, он утверждал: «Их преувеличенные формы, в частности

жировые отложения в области седалища, есть просто проявление ожирения, наблюдающегося и у многих представительниц современного европейского населения при соответствующих, конечно, условиях жизни». Если фигуры женщин всем своим обликом «говорят о состоянии покоя», то о мужской принадлежности изображения свидетельствуют «очертания сухого, стройного тела, повернутого в хорошо схваченном движении: его правая рука, отведенная назад, видимо, бросает копье» (Ефименко 1953:389, 393, 397).

Столь же убедительны доводы П. П. Ефименко (если не считать риторических отступлений о матриархате) в пользу особой роли женщины, на которую в ориньяко-солютрейское время «должно было падать все то, что было связано с оседанием: жилище, домашний очаг, приготовление пищи, одежды и прочее наряду с заготовкой продовольственных запасов. Своим видом статуэтки Костенок, Гагарина, Брасемпун, Ментоны, Виллендорфа и т.д. говорят о довольстве и избытке, прежде всего об обилии мясной, жирной пищи и малоподвижном образе жизни обитательниц этих поселений. Само жилище в ту эпоху, в значительной степени благодаря женщине, из первоначального своего назначения — защиты от неблагоприятных внешних условий — превращается в хозяйственную базу и место хранения накопленных продуктов труда». Связывая процесс оседания в палеолите с богатством животного мира в позднеледниковое время, П. П. Ефименко отметил «поразительное сходство с венерами женских статуэток из глины и камня времен неолита и начала металла, хорошо нам известных в трипольской культуре, в древнейших слоях старых земледельческих поселений Ближнего Востока (Сузы), Средней Азии (Анау) и восточного Средиземноморья (памятники эгейской культуры)». С аналогичными условиями оседания «связано появление женских фигурок в каменном веке Японии, где они относятся к эпохе оседлых поселений рыболовов и собирателей морских ракушек» (Ефименко 1953:397, 401, 402).

Эти наблюдения ценны фиксацией времени, места и обстоятельств оседания в праистории, а также роли женщины в обустройстве постоянного жилища. Концепция П. П. Ефименко была признана успехом советского палеолитоведения, и в ходе ее развития отрабатывались профильные методики полевых и лабораторных исследований, благодаря которым были открыты многоочажные стационарные жилища на поселениях Костенки I и IV, Пушкар-и I (Борисковский 1980:190), обнаружено долговременное жили-

ще мустьерского времени Молодова I на Днестре (Черныш 1965), предложены реконструкции и типология палеолитических жилищ, очагов и ям-хранилищ (см.: Рогачев, Аникович 1984:189; Филиппов 2004:101).

В облике жилищ, построенных из костей и бивней мамонтов, например Межиричах на Украине (Пидопличко 1976) или Костенках в России (Рогачев, Аникович 1984:191), проглядывают черты близкой сердцу палеолитического человека «искусственной горы-пещеры» и устрашающего своим видом бастиона. Возможно, мощные колонны из мамонтовых челюстей в Межиричах, как и светильники из бедренных головок мамонта, были не самым удобным элементом интерьера, но обозначали высокий статус хозяев в природном и социальном окружении. Нечто подобное, трудно переводимое со звериного языка, проявляется в облике Черной Венеры из Дольни Вестонице (см.: Абрамова 2005:210, 215), вылепленной из жира мамонта и толченой кости вперемешку с золой и лессом.

Облик дома-бастиона соответствовал мужской «схеме зверя» и женской «схеме венеры». Судя по скульптурным изображениям, «мощь венеры» состояла не в силе рук или ног (хилые конечности не воспевают в ней труженицу), а в сексе и деторождении. По опыту бродячих охотников, одной из главных причин низкой рождаемости и выживаемости детей была невозможность странствующей матери нести на себе больше одного младенца (Hassan 1980:311; Арутюнов 1982:71). Если секс не сдерживал движения, то роды неизменно его тормозили — тем серьезнее, чем более многодетной была роженица. Люди палеолита, по разным подсчетам, жили в среднем 16–27 лет (Weiss 1973:49–50), и женщина, успевшая родить 4–5 раз, к концу своего короткого века уже заметно уступала в мобильности юной части группы.

«Схема венеры» неразрывно связана с домом. Совместные миграции сменились комбинацией женской статики и мужской динамики. Отныне из спутницы мужчины женщина превратилась в хозяйку очага, у нее возникло устойчивое пространство дома, отделенное порогом от внешнего мира. Для мужчины женщина стала олицетворением дома, целью возвращения. В сочетании женской оседлости и мужской подвижности возник ритм разлук и встреч, преобразивший отношения полов. Секс-символом стала пышнотелая и вечно беременная хранительница очага.

Однако появление в верхнем палеолите основательных жилищ и пышных женщин свидетельствует не столько о всеобщем оседании, сколько о разделении по полюсам гендерных схем движения, и то, вероятно, лишь в ряде сообществ. Схема «домашней женщины», возникшая в некоторых сообществах юга Евразии, была устойчивым фактором оседания в палеолите и позднее. «Вращение вокруг очага» изменило ритм движения. Оседание — во многом воля женщин, как и все последующие связанные с ней и домом наслоения культуры. Вместе с тем подвижность мужчин продолжала оставаться фактором миграций. Эта подвижность стимулировалась не только промыслом бродячих зверей, но и дальними походами за женщинами: «охота на венер» была одним из главных мотивов власти над пространством и соперничества вождей разных групп.

\*\*\*

С потеплением климата в конце палеолита заметно остывание темпераментной культуры охотников-художников-скульпторов. Она была создана людьми, жившими в окружении «мамонтовой фауны» в горах и тундро-степях тогдашнего севера Евразии. Около 12 тыс. л. н. плейстоцен сменился голоценом, и бывший север стал югом. Северные олени ушли вслед за отступившим ледником к Арктическому океану, мамонты и носороги вымерли, пещерные медведи и львы остались только на рисунках. Не исключено, что человек своим успешным промыслом сыграл роковую роль в судьбе тех, у кого он научился выживать на Севере.

Технологией верхнего палеолита, существенно изменившей характер движения, стал лук со стрелами. Это оружие (и орудие) дальнего боя — средство «приручения» пространства. Признания культа оружия как средства достижения и поражения цели отмечаются в верхнем палеолите, примерно 15 тыс. л. н., в орнаментации гарпунов, копьеметалок, наконечников (Филиппов 2004:191). Этот культ связан с появлением лука и стрел как новой меры пространства. Около 11–10 тыс. л. н. лук стремительно распространился по Евразии, Африке и Америке. Особенно эффективным было его применение в промысле быстроногих зверей, прежде всего оленей, которых трудно догнать, но легко поразить с дистанции (северный олень гибнет от легкой раны). А. Д. Столяр показал, что не только десятикратное увеличение дистанции боя (по сравнению с броском копья на 15–20 м), но и прицеливание в зрительно уменьшенное

до точки тело зверя принципиально изменило видение пространства, породив визуальный эффект перспективы (Столяр 1998:71). Главным персонажем писаниц испанского Леванта выступает уже человек-лучник — первый образ и первый шаг на пути замены физической мощи и движения искусственными технологиями.

Эпоха высокой культуры палеолита подошла к концу. Археологи не без сожаления наблюдают, как «яркая вспышка» анималистического искусства растаяла вместе с последними ледниками, не найдя себе «непосредственного продолжения в последующие эпохи». Пещерные святилища были забыты и, за отдельными исключениями, не посещались вплоть до исторических времен (Абрамова 1972:28; 2005:27). Изменились и скульптурные изображения женщин: на Рейне они подверглись стилизации, на Русской равнине — покрылись сложным меандрическим орнаментом (Филиппов 2004:104).

Запустение пещер и закат искусства объясняют природно-климатическими сдвигами, вызвавшими уход за ледником северного оленя и мигранта-охотника, рост значения собирательства, сокращение мобильности охоты и образа жизни (González Morales 1997:197). При этом отмечается связь двух «великих революций»: в начале верхнего палеолита — взлет искусства в Европе, в конце — его спад, синхронно с которым начинается взлет земледелия на Среднем Востоке (Marshack 1997:86). На юге Евразии превращавшиеся в земледельцев собиратели шаг за шагом брали верх над охотниками. Большие звери вместе с теми, кто еще недавно создавал анималистическую культуру, отступали к северу. Впрочем, деятельностные схемы «зверя», «пастыря», «венеры» утвердились основательно и во множестве вариантов проявлялись позднее.

## Глава 2. Циркумпольность

*Пути на север. Берингия. Земля Санникова каменного века.  
От Атлантики до Пацифики*

В эпоху *Homo sapiens* Евразия оказалась пространством очередной колонизации, и населявшие ее туземцы, от неандертальцев в Европе до потомков синантропа в Азии, испытали воздействие нового поколения мигрантов, отталкивавшихся в своем движении от старого афро-евразийского трамплина (Восточно-Африканский рифт — Ближний Восток). В диалоге с южной метрополией Евразия оставалась страной «северных варваров», расселившихся локальными группами от Атлантики до Пацифики. В антропогеографии континента обозначилось не только измерение Запад–Восток, представленное двумя «щитами культур палеолита», но и Юг–Север, широтно разграниченное горной цепью Пиренеи–Альпы–Карпаты–Кавказ–Иран-нагорье–Гиндукуш–Гималаи–Тибет–Наньшань–Иньшань–Хинган (с северной дугой Памир–Тянь-Шань–Алтай–Саян).

Эта горная цепь, которую географы с давних пор сопоставляют с «позвонками спинного хребта» (Бируни 1995:196), была не препятствием, а магистралью древних миграций. Усвоенный еще архантропами алгоритм движения «с горки на горку» предполагал отношение к хребту как укрытию, источнику биоресурсов, плацдарму освоения долин, исконному стереотипу «родины». Борьба за пещеры с хищниками (медведями, львами, гоминидами) была едва ли не основным содержанием прагеополитики. Во все времена горы, благодаря мозаичности ландшафта и многообразию условий маневра, служили стыком локальности и магистральности. В этом отношении горный хребет Евразии можно считать «становым» для ранних переселений. В горных нишах, как в гнездах, укрывались и разрастались сообщества мигрантов, сохраняя при этом возможность дальнейшего движения по хребту и его отрогам. Не случайно древнейшие пути колонизации Севера непременно проходили по горным цепям, будь то Альпы в Европе, Алтай в Азии или Скалистые горы в Америке. Даже в случаях выхода на равнину люди верхнего палеолита сохраняли «горный стиль» освоения пространства, перенося модель пещеры на сооруженный из дерева и звериных костей дом-бастион.

Связывая Евразию по широте, горный хребет разделял ее по долготе на теплую и холодную зоны. В ледниковую эпоху северный подол хребта не расстилался до Арктики, а упирался в ледовые

щиты различной мощности и конфигурации. По климату и экологии долина между евразийским хребтом и ледниковым поясом представляла собой холодную тундростепь, населенную мамонтовой фауной, включая человека-охотника. Если на юге Евразии развивались иерархизированные промыслово-производящие схемы с весомой долей растительной пищи, то на севере доминировали охотничьи схемы с преобладанием плотоядности. В самом общем виде южане разрабатывали интенсивные стратегии, приближавшие их к неолитической/городской революции (по Г. Чайлду), тогда как северяне развивали прежние экстенсивные стратегии, толкавшие их к колонизации новых земель.

К концу плейстоцена человек достиг северного побережья Евразии, прошел по Беринговому мосту на север Америки, охватив кольцами колонизации Арктический и другие океаны северного полушария. Выход в Арктику примечателен как достижение географического края ойкумены и адаптационного максимума культуры. Освоение Севера можно представить «циркумполярной революцией» — пиком миграционно-адаптационной стратегии, сопоставимым с успехами оседло-адаптационных стратегий Юга. При этом под циркумполярностью подразумевается не столько географическая кромка Северного океана, сколько высший — пространственно и деятельностно — уровень движения северных охотников.

### *Пути на север*

Обитатели Евразии эпохи мустье, как правило, не заходили за 55-ю параллель (Алексеев 1978:14, 65, рис. 1, 28; Борисковский 1980:151; Праслов 1984:44), хотя археологические «ожидания», перерастающие порой в мистификации, настроены на обнаружение следов палеоантропов и даже архантропов в более высоких широтах. Гипотетически не исключены северные рейды пытливых или заблудших пралюдей среднего палеолита по кромке Скандинавского ледника, отрогам Урала, долине Лены, обнаженному шельфу Охото-Берингоморья, однако они не переросли в устойчивую систему освоения, называемую археологами «культурой». Эти случайные авантюры послужили прологом последующего «рывка на север». Возможно, некоторые из бурно обсуждаемых «странных фактов» северной археологии представляют собой отпечатки тех самых несвоевременных открытий, которыми успешно воспользовались отдаленные потомки первопроходцев.

Привлекательны размышления Л. Б. Вишняцкого о возможном соучастии *Homo neanderthalensis* и *Homo sapiens* в одной культуре, например микок-стрелецкой на востоке Европы (Вишняцкий 2008:188). Это означало взаимодействие, сколь угодно многообразное, палеоантропов и неолитов в движении по Русской равнине и склонам Урала. На сходные мысли наводят мустьерские памятники, обнаруживаемые на северо-востоке Европы вплоть до 59° с. ш. Палеоантропы могли быть причастны и к далеким северным памятникам, вроде датируемой рубежом среднего и верхнего палеолита (40–35 тыс. л. н.) Мамонтовой Курьи (66° с. ш.), что «существенно меняет наши представления о возможностях адаптации неандертальцев» (Павлов и др. 2006:290, 300). Подобных толкований заслуживают и находки на Лене (например, Диринг-Юряхе) при условии их очищения от наукомифологии за авторством Ю. А. Мочанова (см.: Васильев 2001; Ранов 2005; Аникевич и др. 2007). Наконец, на крайнем востоке Евразии с потомками азиатских архантропов связывается проникновение в Северную Америку изготовителей галечных орудий «стадии до наконечников» (см.: Krieger 1964; Ларичева 1976).

Очагами освоения севера Евразии в среднем и верхнем палеолите были горные страны (Альпы, Кавказ, Урал, Алтай, кряжи Байкала). Самые длинные северные «языки миграций» шли вдоль меридионально лежащих кряжей, например на Урале — до Полярного круга. Если главной магистралью широтных передвижений служил евразийский хребет, то его меридиональными ответвлениями — горные системы, уходящие к северу материка. В верхнем палеолите заметную роль стали играть крупные реки, по высоким террасам которых — опять-таки придерживаясь высокогорий и плато — перемещались северные охотники. Такова, скорее всего, «инфраструктура» распространения в верхнем палеолите ориньякских и родственных им традиций на огромном пространстве от Иберийского полуострова до Ближнего Востока, Кавказа, Русской равнины и Южного Урала (см.: Григорьев 1968:69; Рогачев, Аникевич 1984:206).

Продвижение людей на север принято связывать с отступлением ледников. Однако граница миграций отодвигалась к северу и в условиях похолоданий (Величко 1973). Если не принимать во внимание версию тотального оледенения севера Евразии в виде панарктического щита (Гросвальд 1977), то мозаика локальных



позднеплейстоценовых ледников (Герасимов, Марков 1939) представится удобной ареной промысловых маневров. Судя по всему, обитателей приледниковья не слишком пугали холода и снега. Сам по себе выбор северного направления миграций, предпочтение высокогорий (заведомо более холодных, чем низины), остроумные модели глухой одежды и утепленных жилищ (по реконструкциям на поселении Сунгирь) — характеристики не убогого существования, а нацеленной специализации. Человек не просто выживал, страдая от озноба и обморожений, но и создавал по-своему совершенную культуру, перекрывающую своими достоинствами климатические неурядицы.

В этом смысле примечательны несущественные, на первый взгляд, находки — украшения. На поселении Сунгирь в центре Русской равнины (25–24 тыс. л. н.) обнаружено погребение пожилого мужчины, руки которого украшены двумя десятками пластинчатых браслетов из мамонтового бивня; головной убор покрыт тремя рядами бус с песцовыми клыками на затылке, а вдоль скелета рассыпано 3500 бус из бивня мамонта. Парное погребение девочки 7–8 лет и мальчика 12–13 лет также изобилует украшениями (когти пещерного льва, скульптуры лошади и мамонта, собранные в «хвост» бусы и множество других изделий), побуждая исследователей говорить о «роскоши» (см.: Рогачев, Аникович 1984:233–234). Любая из мыслимых трактовок склонности обитателей Сунгири к «избыточной бижутерии» — трофеи, амулеты, обилие одежд, знаки социального статуса, вычурная мода — не имеет ничего общего с мотивами страданий от холода: двадцать мамонтовых браслетов вряд ли согревали руки шестидесятилетнего сунгирьского охотника.

Выраженные в погребениях знаковые доминанты рисуют образ успешного покорителя, а не угнетенного мученика. В насыщенности одежды и домашнего быта звериными амулетами и изображениями (кости мамонта в интерьере, скульптуры льва, медведя, волка, лошади, мамонта, носорога, бизона, оленя на верхнепалеолитических памятниках Русской равнины) просматривается схема хищника-пастыря, в которой мир зверей и охоты был абсолютной ценностью, основанием деятельности и бытового уюта. Не детали комфорта, а стратегия господства, запечатленная в звериных украшениях и жилищах-бастионах, была главным удобством жизни и мотивом действий.

В поиске причин больших миграций и культурных сдвигов исследователи часто и небезосновательно фокусируют внимание на эколого-экономических кризисах, особенно когда речь идет о ледниковой эпохе и Арктике. Правда, увлечение подбором противоречивых свидетельств колебаний климата приводит к абсолютизации их воздействия на праисторию, и человек, вслед за мамонтом и оленем, представляется экологически пассивным приспособленцем. При этом остается в тени та активная схема хищника-пастыря, которая толкала его на культурные «излишества» и безумные, с точки зрения теплолюбивых гоминид, северные подвиги. Не учитывается и адаптивный потенциал самих зверей, хотя известно, что тундростепная мамонтовая фауна за короткий срок, потеряв часть видов, разделилась на степных (лошадь, сайгак), лесных (волк, лось, россомаха) и тундровых (северный олень, песец, лемминг) животных.

Голоценовое потепление 12 тыс. л. н. преобразило экологию Северной Евразии, открыв человеку доступ к Арктике. Олень и песец ушли в высокие широты вслед за льдами; также поступили холодоустойчивые люди, переселившиеся из бывших тундростепей во вновь образовавшиеся тундры. Они были и остались северянами, только сдвинулись «вместе с севером» в Арктику. В голоценовом переходе человек сыграл ничуть не меньшую роль, чем природа; особенно впечатляет его вклад в истребление крупной фауны. Мим-адаптация приводила к тому, что люди не только символически, но и физически влезали в шкуру зверя, используя его в качестве одежды, жилища и пищи. Первой жертвой такого причащения стал пещерный медведь, вытесненный и съеденный соседом по логову еще в ледниковое время. Затем настал черед мамонтов, бизонов и лошадей, которых вдохновенно рисовали на скалах охотники палеолита. «Век мамонта», особенно выразительно представленный в культуре палеолита Русской равнины, стал веком его истребления.

На основе параллелей с традициями арктических народов И. И. Крупник обрисовал палеолитический промысел и его экологический эффект: «Беспощадный, хищнический характер первобытной охоты должен был оказывать разрушительное воздействие на промысловые ресурсы тундростепи и в целом на всю среду обитания палеолитического человека; культура, где основой жизнеобеспечения является охота на крупных животных, не может не быть агрессивной по отношению к окружающей среде». Именно такой стиль, в сочетании с высокой миграционной активностью и рож-

даемостью, был условием выживания. Едва ли «выживание» представляло собой устойчивое равновесие;<sup>1</sup> скорее, это была история разрывов и кризисов, исчезновения целых общин и их замещения новыми мигрантами (Крупник 1989:195, 218). Модель экологического равновесия, согласно которой древние люди жили в гармонии с природой «по законам экосистемного гомеостаза», могла реализоваться лишь как один из путей адаптации, и то в стабильно разнообразных биоценозах тайги, а не тундростепи с ее резкими циклическими колебаниями промысловых популяций. Северные охотники действовали по принципу «найти и уничтожить» (Burch 1972:347), что соответствовало их практике максимального промысла и стремлению к территориальной экспансии (Крупник 1989:198, 207, 225). К этому убедительному и впечатляющему эскизу можно добавить лишь один штрих: «схема сверх-хищника» предполагала не только технологию уничтожения и тактику выживания, но и идеологию власти, включающую контроль над пространством, агрессивное конкурентное поведение, расточительность в использовании ресурсов. В этом смысле безудержное хищничество представляется не маниакальной жестокостью, а выражением престижа, в подоснове которого лежит охотничий азарт и состязательность.

Общепризнанно, что палеолитические охотники вели подвижный образ жизни, преследуя добычу — стада мамонтов, бизонов или оленей. После истребления мамонтов в финале плейстоцена наступил, по выражению Дж. Кларка, «век северного оленя», вызвавший рост подвижности в связи с мобильностью мигрирующих стад (Clark 1975; 1980). Реконструируемая модель «сопровождающего» образа жизни — следования людей за стадами оленей (Clark 1967:64–65) — вызывает возражения из-за разной скорости движения человека и зверя. Э. Бёрч считает, что охотничья община физически не успевала следовать за оленем, мигрировавшим со скоростью 25–30 км в день и проходившим за год около 2400 км; кроме того, ориентация только на северного оленя была чревата катастрофическими случайностями, так как он менял маршруты и его численность колебалась (Burch 1972:344–365). А. Н. Сорокин, напро-

<sup>1</sup>А. Харпер реконструировал для древних алеутов за последние 9 тысяч лет средний годовой прирост населения на уровне 0,3‰ (Харпер 1979:55–56). Из этого следует, что община в 100 человек равномерно увеличивалась на 3 человека за столетие, существуя тысячи лет в социальном и эколого-демографическом равновесии (equilibrium). Реальность подобного социального гомеостаза сомнительна (Крупник 1993:220).

тив, полагает, что преследователи северного оленя были способны совершать необходимые сезонные передвижения: миграционный маршрут северного оленя протяженностью в 1500 км мог быть преодолен за 50 дней при средней скорости пешехода 30 км в день (из расчета 6 часов на ход со скоростью 5 км/час, остальные 18 часов суток на труд и сон). Таким образом, «расчет показывает физическую возможность человека для таких перемещений, а в археологическом отношении — позволяет объективно уточнить ареалы археологических культур финала плейстоцена» (Сорокин 2006:352, 354).

Расчеты физических возможностей следует соотносить со сценариями жизнедеятельности. По необходимости люди действительно способны преодолевать огромные расстояния, и, наверное, бегуны палеолита делали это с большей легкостью, чем их сегодняшние потомки. Однако, судя по массе археологических и этнографических данных, охотники во все времена были скорее загонщиками, чем преследователями (особенно в «век мамонта», когда наибольший эффект давал умелый загон зверя в топь<sup>2</sup>). Режим постоянного преследования, хоть и напоминает «схему пастыря», не реализует преимуществ человека. Опыт моих пеших переходов по тундре и лесотундре показывает условность механических расчетов, не учитывающих перепадов погоды, непроходимости для ноги человека доступных раздвигающемуся копыту оленя болотно-озерно-речных препятствий и других внешне малоприметных обстоятельств, снижающих эффект преследования. Подобные миграции в виде рейдов охотничьих групп, но не образа жизни общин, были не только ограничены в пространстве (промысловых угодьях) и времени (сезонно), но и ориентированы на загон стад к месту массового побоища, например «поколки» на речной переправе.

Миграции в палеолите Северной Евразии были обычным состоянием и своего рода манерой реагирования на различные вызовы повседневности. Тем менее обоснованно их сведение к модели постоянного следования за каким-либо зверем. У человека была своя система движения, эпизодами совпадавшая с маршрутами

<sup>2</sup> Одна из болотных ловушек такого типа недавно открыта в таежном Зауралье. «Кладбище мамонтов» на Луговском, неподалеку от Ханты-Мансийска, датируется 14–13 тыс. л.н. и содержит, помимо прочих палеонтологических и археологических материалов, прямое свидетельство активной охоты — добывания увязшего в топи зверя копьем или дротиком: в пробитом позвонке мамонта обнаружены застрявшие осколки каменного наконечника (Машченко и др. 2006).

животных, но имевшая иную доминанту — общий контроль над пространством. В этой системе пересекались пути разных зверей и соседей-людей, сочетались гендерные вариации статики дома и динамики внешнего мира. Мим-адаптации не были буквальной мимикрией и предполагали синтез заимствованных звериных схем с социальными схемами поведения и движения.

По А. Н. Сорокину, в основе территориального единства археологической культуры лежит сезонно-подвижный образ жизни первобытного населения. Культурная пестрота финального палеолита Европы, представленная различными по орудийному и технологическому набору культурами федермессер, гамбург, лингби, аренсбург, свидер, рессета и т.д., объяснима локальными адаптациями к маршрутам промысловых животных, прежде всего оленей. При этом археологическая картина фиксирует наложение менявшихся маршрутов кочевого населения, спрессованную последовательность разновременных и разнохарактерных событий (Сорокин 2006:352, 356). С поправкой на синтетичный, а не сугубо промысловый, характер движения людей, этот взгляд можно распространить на археологическую панораму всей Северной Евразии рубежа плейстоцена и голоцена.

Заметным геоисторическим событием североевразийского постледниковья было открытие Арктики с обширной прилегающей сушей, освободившейся от подпрудных озер-морей. Прежде Балтоскандия, за исключением узких приморских проходов, находилась под мощным Скандинавским ледниковым щитом, с отступлением которого 15–12 тыс. л. н. открылась Балтика (первоначально в виде ледникового озера, а затем — соединившегося с Атлантикой Литоринового моря). Западный путь древних европейцев на север отмечен памятниками культур мейендорф (северо-запад Германии, 14 тыс. л. н.) и аренсбург (Дания и Сконе, 12–9 тыс. л. н.), восточный — культуры свидер (северо-восток Германии и Польша). Первый вел на север Скандинавии в обход Балтики по датским островам и норвежским берегам, второй — на восток Фенноскандии по землям Прибалтики, Карелии и Финляндии (см.: Шумкин 2001:18–19; Лебедев 2005:51). В заселении севера Фенноскандии, начавшемся около 11 тыс. л. н., сошлись западноевропейский и восточноевропейский потоки мигрантов, в которых еще трудно различить далеких предков скандинавов (индоевропейцев) и финнов (уральцев), но контуры их исконного соседства просматриваются в растянувшейся

от Дании через север Скандинавии к Прибалтике цепи раннеголоценовых культур маглемозе–фосна–комса–аскола–кунда (см.: Земляков 1937; Третьяков 1937; Pohlhausen 1953:846–952; Luho 1956; Гурина 1961:28; Панкрушев 1978:87; Шумкин 1988; 2001).

Север Восточной Европы в раннем голоцене осваивался с запада из балтийского очага, с юга — из центра Русской равнины, с востока — из уральского очага. В ледниковый период будущий Русский Север, включая Северную Двину и Мезень, находился под Скандинавским ледниковым щитом и водами подпрудного озера-моря, и лишь восточный край равнины, примыкающий к Уралу, в плейстоцене осваивался людьми, оставившими стоянки Заозерье, Гарчи, Бызовая, Мамонтова Курья и другие памятники Прикамья и Припечорья (см.: Гуслицер, Канивец 1965; Канивец 1976; Рогачев, Аникович 1984:168, 186; Павлов 2002:192). С начала верхнего палеолита (35–28 тыс. л. н.) Урал был далеко выходящим на север языком ойкумены — магистралью движения на север. Судя по вариациям останков фауны на разных памятниках (по преобладанию мамонта на Бызовой, лошади и оленя на Заозерье и Гарчи), его осваивали охотники с многообразными схемами деятельности и движения. Обнаруживаемые на уральских памятниках черты культур юга Русской равнины (костенковско-стрелецкой) и Кавказа указывают на юго-европейские корни или связи древнейших обитателей Уральской горной страны. Предполагается, что пути проникновения палеолитического населения на северо-восток Европы, вплоть до бассейна Печоры, проходили по долинам рек Дон–Ока–Волга–Кама (Павлов и др. 2006:284, 292–298, 300). В конце верхнего палеолита<sup>3</sup> панъевропейские широтные связи просматриваются и в параллелях наскальной живописи Средиземноморья и Урала — Каповой и Игнatieвской пещер (Петрин 1992:146). Впрочем во всех случаях речь может идти скорее о контактной непрерывности, чем о культурном единстве. Урал был одновременно восточным ареалом распространения европейских традиций и самостоятельным очагом раннеголоценовых культур.

В голоцене на севере Восточной Европы отмечаются связи по оси запад–восток от Балтики до Урала. Ключевое место в новой системе миграций и коммуникаций занял район Верхней Вол-

---

<sup>3</sup> Отсутствие на Урале палеолитических стоянок в интервале 27–18 тыс. л. н. позволяет допустить, что люди в это время «покинули северо-восток Европы» (Павлов и др. 2006:302).

ги, связи с которым обнаруживаются в памятниках Прибалтики, Западной Двины, Северной Двины, Вычегды, Большеземельской тундры (Буров 1965:160; 1967:166; Кольцов 1977:92; 2002; Хлобыстин 1998:35; Жилин 2000; Сорокин А. 2006а:91). Вероятно, в это время был проложен «чрезкаменный путь» с Печоры на Обь, по которому прошли древние уральцы, оставившие памятники в устье Оби (Корчаги I-Б) и на Ямале (Юрибей I) (Головнёв 2004:25).

В начале голоцена отмечается переход «от оседлости к подвижному, бродячему существованию... на территории всей Восточной Европы» (Рогачев, Аникович 1984:225). Скорее, речь может идти не о росте мобильности, а об изменении ее характера: «тяжелые» жилища плейстоцена и «легкие» стоянки голоцена служат свидетельствами не оседлости и подвижности, а специализации на промысле крупного (мамонта и сопутствующей фауны) и среднего (северных копытных) зверя. При этом походы и контакты охотников ледникового периода могли быть не менее протяженными, чем рейды промысловиков голоцена. «Измельчание» стоянок в голоцене и их дисперсное распространение на обширных территориях может быть признаком преобладания локальных миграций. Заращение тундростепей лесами привело в голоцене к локализации движения, а потенциальные магистрали открылись на южной и северной границах леса в виде поясов степи и тундры.

В Азии форпостом освоения северных пространств со времен мустье был Алтай (Goebel 2000). Вероятно, и в верхнем палеолите он оставался очагом расселения на юге и востоке Сибири. В. В. Питулько предполагает, что древнейший этап расселения человека на северо-востоке Азии около 40 тыс. л. н. «связан с распространением населения, родственного одновременным культурам Юга Сибири и Алтая». Находки на недавно открытой палеолитической Янской стоянке (71° с. ш., 28 тыс. л. н.), наряду с материалами ранних горизонтов стоянок Алдана и других памятников, могут быть связаны с расселением «генетически единой волны кавказоидной (европеоидной) популяции, продвигавшейся 40–50 тыс. л. н. в широтном, а впоследствии и в меридиональном направлении» (Питулько 2006:310, 318). Версия столь монолитной миграции с запада на восток не противоречит общему контексту «верхнепалеолитической революции» и магистральной роли евразийского хребта, вдоль которого могла идти предполагаемая миграционная волна. Вместе с тем мысль о генетическом единстве «кавказоидной популяции»

звучит слишком категорично для обозначения столь протяженного переселения, явно захватившего сибирских туземцев и достигшего нижней Яны уже с чертами «азиатской» галечной индустрии.

Алтайская (и, шире, Алтае-Саяно-Байкальская) горная страна была колыбелью североазиатских культур, откуда происходило «веерное» расселение людей в сибирские глубины — подобно тому, как изначально вышедшие из Африки мигранты расходились через Ближний Восток по Евразии. Палеогеография подсказывает, что в конце плейстоцена движение людей с юга Сибири на северо-восток Азии было связано с миграциями в северо-восточном направлении стад крупных травоядных млекопитающих. При этом «основным путем, по которому продвигался на север Сибири человек, была долина Лены» (Величко и др. 2006:56).

Выявление западных корней древнейших культур Алтая–Байкала и всей Северной Азии традиционно для евразийской археологии (см.: Холюшкин 1981; Dolitsky 1990). Речь идет о связях и параллелях памятников Сибири, Урала, Средней Азии, Казахстана, Восточной Европы. Особое внимание уделяется ангарским поселениям Мальта и Буреть с их уникальными для палеолита Сибири образцами искусства, прежде всего женскими статуэтками, соотносимыми с европейскими «венерами» (Герасимов 1931; Окладников 1941; Ефименко 1953). З. А. Абрамова, правда, полагает, что радиоуглеродная датировка Мальты (14750±120) неточна и по возрасту памятник синхронен с Костенками (23–22 тыс. л. н.), что дает основание иначе размышлять о возможных направлениях связей и миграций (Абрамова 1984:315). В «сибирской венере» нет главных черт предполагаемого европейского прообраза (пышных грудей, живота и бедер), зато обозначены черты лица и штрихи одежды. Если путь «венеры» действительно лежал через всю Евразию, то в конце его она заметно похудела, оделась, избавилась от броского эротизма. Возможно, «азиатская адаптация венеры» представляет собой очередной вариант взаимодействия двух щитов палеолита.

Последний — в последовательности с запада на восток — очаг движения на север располагался на крайнем востоке континента и характеризовался устойчивостью, позволявшей ему самобытно развиваться со времен архантропа-синантропа. Миграции на север из эпицентра восточного щита палеолита проходили через континентальную и прибрежную зоны Дальнего Востока. С. Н. Ауэрбах (1930) и О. Н. Бадер (1978) полагали, что Северная Азия заселялась



в основном с юга, когда сообщение Азии с Европой было затруднено смыкавшейся с ледником пустыней. С восточноазиатским очагом связано движение на север, а затем в Америку носителей архаической традиции галечных орудий (Чжоукоудянь и Кэхэ в Китае, Кульпхо в Корее, древних стоянок Японии). Гипотетические маршруты переселений пролегали, с одной стороны, через Корею, Японию, Курильские острова и Камчатку, с другой — по материку вдоль Тихоокеанского побережья и через внутриконтинентальные области Сибири (Ларичева 1976:75–76; см. также: Дебец 1951:109). По версии одонтолога К. Г. Тернера, различавшего среди монголоидов синодонтов (Северный Китай) и сундадонтов (Юго-Восточная Азия), Америка заселялась синодонтами в три этапа: первый связан с появлением в Новом Свете предков индейцев (палеоиндейских культур), второй — атапасков (надене), третий — эскимосов и алеутов (Тернер 1983; Turner 1986). В верхнем палеолите движение из восточноазиатского очага на север отмечается в преемственности селемджинской (Приамурье) и дюктайской (Якутия) культур (Деревянко и др. 1998; Питулько 2006), а также в замысловатом ритме древних контактов и миграций по обе стороны северной части Тихого океана.

### *Берингия*

О заселении Америки из Азии речь идет с XVI в. (Хосе де Акоста). В XVIII в. Г. В. Стеллер указал на внешнее сходство и территориальную близость туземцев Аляски, Чукотки и Камчатки. В начале XX в. орнитолог П. П. Сушкин назвал плейстоценовый сухопутный мост между Азией и Америкой Берингией, П. Годдард предположил, что по нему прошли открывшие Новый Свет древние охотники на бизона и карибу, а Н. Х. Нельсон обосновал эту миграцию археологически, сопоставив клиновидные нуклеусы Аляски и Монголии (Goddard 1927; Nelson 1933; Ларичева 1976:18–25; Окладников, Васильевский 1976:25; Слободин 2000:4; 2001:46).

Полоска суши между Чукоткой и Аляской обнажалась при понижении уровня океана в периоды максимумов оледенения, когда береговая линия была существенно (до 100 м) ниже современной. В позднем плейстоцене это случалось дважды — в периоды 65–35 и 25–12 тыс. л. н. Перешеек шириной свыше 1000 км был не просто проходным коридором, но и пригодной для обитания людей и зверей тундрой (Окладников, Васильевский 1976:25; Долу-

ханов 1979:107). Поскольку при похолоданиях не только сужалось море, но и расширялись материковые ледники (особенно в предгорьях), Берингия — соединенные перешейком прибрежные территории Аляски и Чукотко-Камчатки — была отгорожена ледниками от глубинных областей континентов и существовала как относительно изолированная страна. Однако при похолоданиях обнажался не только Берингов мост, но и шельф Тихого океана, благодаря чему открывались новые пути по осушенным грядам островов. Перепады уровней ледников и морей, смена конфигурации акваторий и территорий могли быть обстоятельствами, превращавшими зверей и людей помимо их воли в островитян и обитателей новых земель. В долгосрочном измерении «мигранты» могли почти не двигаться, но, слегка подталкиваемые природой, преодолевать за тысячеletия огромные расстояния.

Наследники восточных синантропов были менее расположены к далеким рейдам, чем резвые потомки западных архантропов. Судя по толще отложений косточек вишни и останков мелких грызунов в пещере Чжоукоудянь, промысловой экспансии они предпочитали скрупулезное локальное освоение. Их интенсивные стратегии адаптации, основанные на разнообразном собирательстве и применении простых галечных орудий, учитывали малейшие экологические сдвиги. Если и допускать возможность миграций людей в Новый Свет ранее 14 тыс. л. н., то скорее в виде блужданий собирателей, чем рейдов охотников. На соотносимых американских памятниках обнаружены признаки собирательства (например, черепках), а об уровне охоты на крупных зверей говорит принятое для них в американской археологии название — «стадия-до-наконечников» (pre-projectile point).

Насыщенная мамонтовой фауной Янская стоянка (28 тыс. л. н.), связываемая В. В. Питулько с европейской традицией, открывает новый горизонт движения на северо-востоке Азии и в Берингии. «Стадия-до-наконечников», датируемая в пределах 40–20 тыс. л. н. (Krieger 1964), могла быть временем взаимодействия на севере Азии и Америки восточных и западных технологий. Сторонники раннего заселения Америки отмечают, например, сходство азиатского и американского каменного инвентаря по сочетанию грубых галечных и мелких кремневых и обсидиановых орудий (Ларичева 1976:70–71), подобие оббитых галек Кордильер и севера Канады находкам на Дальнем Востоке, Чукотке, в Якутии. С учетом возможных ошибок

в датировках и идентификации орудий, условности самой «стадии-до-наконечников» (тем более в ее углубленной до среднего палеолита версии), эта растянувшаяся на тысячелетия миграция, словами Н. Н. Дикова (1993:5), все же «логически необходима».

Допущение «донаконечниковой» миграции объясняет последующее разделение культур Америки на южные палеоиндейские и северные берингийские. Различия в их экологической и технологической ориентации усиливались ледниковой преградой в виде периодически смыкающихся и расходящихся Лаврентьевского и Кордильерского ледниковых щитов. Открывавшийся межледниковый коридор по бассейну Макензи эпизодически связывал палеоиндейскую и берингийскую области Америки, но не восстанавливал исходного единообразия культуры. В итоге сложились самостоятельные ареалы приледниковой традиции галечных орудий Берингии и заледниковой традиции желобчатых наконечников (кловис) на американском Западе. В этом сценарии культура кловис, не имеющая прямых аналогов в Азии, представляется результатом сугубо американской орудийной эволюции (Ларичева 1976:134–199). Поиск прообраза кловис в Азии и на Аляске пока не принес ожидаемых результатов, хотя двусторонне обработанные орудия (бифасы) обнаружены на Янской стоянке и в более поздних комплексах Дюктай, Ушки, Ненана (см.: Диков 1993; Питулько 2006).

В финале плейстоцена (14–13 тыс. л. н.) доживала свой век Берингия, а к югу от нее на Американском континенте разворачивалась экспансия кловис: очаг культуры желобчатых наконечников располагался в Скалистых горах и на Великих равнинах, а локальные варианты распространялись на восток до Великих Озер и Миссисипи (гейни) или формировались в ходе охотничьей специализации (гошен) (см.: Васильев 2001:39, 42). Движение кловис (фолсом) на север, отмечаемое в комплексе Ненана и других памятниках Аляски, устанавливает обратный, юго-северный, вектор влияния и миграций на американском Севере.<sup>4</sup>

В науке сложился стереотип поиска следов переселений в Америку с запада на восток (по Берингии) и далее с севера на юг (с Аляски к Скалистым горам и на Великие равнины). При этом Берингов мост представляется коридором с односторонним движением, а на

<sup>4</sup> Недоумение Ф. Х. Веста (1979:59) по поводу меньшего возраста стоянок кловис на Аляске в сравнении с южными территориями континента — дань предубеждению о заданности вектора миграций с севера на юг.

северо-востоке Азии отыскиваются эпицентры эпохальных миграций. Выбор таких очагов — в давнем споре о приоритете заселения Америки «дюктайцами» или «ушковцами» — мотивирован главным образом локальными якутскими или чукотско-камчатскими предпочтениями Ю. А. Мочанова (1977) и Н. Н. Дикова (1979).

Ю. А. Мочанов, настаивая на типологическом сходстве дюктайских изделий с палеоиндейскими, полагает, что «дюктайские популяции» 33–30 тыс. л. н.<sup>5</sup> регулярно проникали вслед за мамонтовой фауной через Берингию на Аляску и далее в глубь Америки. Когда это движение прерывалось (в интерстадиалы сартанского оледенения), открывался путь с Аляски в глубь континента — проход сквозь Канадский ледниковый щит. Последние северо-восточные дюктайцы, вероятные предки различных групп американских индейцев, покинули свою родину и ушли на Аляску около 10,5 тыс. л. н. (Мочанов 1977:255).

Работы Н. Н. Дикова создают впечатление, будто не пещера Дюктай в Якутии, а стоянка Ушки на Камчатке в течение тысячелетий была «утробой племен» или демографической помпой, перекачивавшей потоки мигрантов из Азии в Америку. Перекрывающие друг друга слои одной стоянки представлены исходными точками межконтинентальных переселений. В семи слоях Ушкова, по мнению исследователя, читается вся праисторическая судьба Америки: из 7-го слоя (14–13 тыс. л. н.) проецируется палеоиндейская традиция американского Запада, а также (с учетом стоянки Путурак на Чукотке) культура протоатапасков, из 6-го и 5-го (12–10 тыс. л. н.) — протоэскимосо-алеутская. При этом «окончательно отпадает версия Ю. Мочанова, согласно которой дюктайские охотники, вооруженные бифасиальными наконечниками, якобы первыми заселили Америку» (Диков 1993:55).

В борьбе за первенство чукотско-камчатской и якутской версий заселения Америки и в дискуссии о континентальных или береговых путях миграций кажется неуместным допущение обратных или, по крайней мере, встречных движений по Берингову мосту на исходе ледникового периода. Между тем не только океан и ледник, но и сложившиеся в американском заледниковье и приледниковье сообщества людей выступали активными регуляторами миграций.

---

<sup>5</sup> По выверенным данным, эта дата искусственно занижена, и возраст дюктайской культуры не превышает 20 тыс. лет (см.: Абрамова 1979; Питулько 2006).

Едва ли люди кловис, обладавшие каменной индустрией мирового по тем временам уровня, уступали в мобильности и агрессивности жителям аляскинской Берингии, а те, в свою очередь, — азиатским соседям. Шедшие в авангарде мигранты часто представляли собой не сырых изгоев, а решительных авантюристов, образующих на новом месте усиленный вариант прежней культуры. Этим эффектом можно объяснить феномен самой Берингии, а затем и культуры кловис. Однако успехи колонистов ставят преграду следующим за ними вторичным переселенцам или даже задают обратный миграционный импульс. В этом контексте слои Ушков могут отражать общие для Берингии перекрестные культурные веяния, откуда бы — с Аляски, Чукотки или Охотского побережья — они ни исходили, но вовсе не обозначать эпицентр движения по маршруту Азия–Америка. При этом не исключено, что «станция Ушки» действительно была заметным перекрестком берингийских путей.

В измерении прагеополитики археологический памятник-поселение обладает одним из трех качеств — «колония», «транзит», «метрополия» — или, при многослойности, их сочетанием. «Колония» обычно представлена ранним слоем и означает укоренение привнесенной традиции, «транзит» показывает движение в рамках пространства-сообщества, «метрополия» демонстрирует свойства устойчивого социокультурного очага. Эти характеристики вовсе не обязательно выстланы в слоях памятника по порядку: одно селение могло быть колонией разных мигрантов, другое никогда не дорастало до уровня метрополии, третье (особенно у кочевников) запечатлело лишь мимолетный след миграции. Многослойные памятники примечательны уже тем, что обозначают устойчивый во времени путь или перекресток путей. В этом смысле Дюктай и Ушки, каким бы из названных свойств ни характеризовались их пронумерованные слои, демонстрируют постоянство на магистральном пути.

Ф. Х. Вест представил дюктайскую и ушковскую культуры северо-востока Азии и комплексы денали и акмак Аляски в рамках единой берингийской традиции, охватывавшей в конце плейстоцена и начале голоцена пространство от Лены на западе до Юкона на востоке (West 1981). Стойкость этого культурного мира свидетельствует об отлаженной системе коммуникации, поддерживавшей это единство. Берингия — путь миграций, но с двусторонним движением, система кочевий, но не обязательно сквозных, транзитных.

Исследователей обычно волнуют внешние миграции — в Берингию или сквозь нее; при этом рассматриваются континентальный и прибрежный ходы с Чукотки–Камчатки на Аляску и далее в заледниковую Америку (Fradmark 1983; Easton 1992:28–36; Диков 1993:17–21). Обратный путь не предполагается: образ Берингии в науке удивителен тем, что в течение 20 тысяч лет ее существования (по Ф. Х. Весту) по ней брели, непременно с запада на восток, неумолимые мигранты. В представлении Н. Н. Дикова перемещения из Азии в Америку были очень медленными, как химическая диффузия, стихийными и неосознанными (Диков 1993:52, 56). Таким образом, допускается, что многие поколения людей текли, пусть с некоторыми перерывами, в «неведомые» (поскольку из прежних мигрантов никто не возвращался) земли не то по следам крупных животных, не то просто по недоразумению.

К разряду научных стереотипов относятся представления о массовых волнах из Азии в Америку, в разные периоды принесших в Новый Свет предков южных индейцев, атапасков, эскимосов и алеутов (Dimond 1969; Turner 1985; Дзенискевич 1987). Исследователи увлеченно спорят о деталях подобных реконструкций, хотя для реалий палеолитической Америки разговор об азиатских предках имеет иногда не больше смысла, чем об африканских прапредках. Алгонкины или атапаски не мигрировали из Сибири, а сложились в Северной Америке. Кроме того, предполагая массовые миграции, исследователи будто забывают, что территорией азиатского исхода был не людный Китай, а пустынная Чукотка.<sup>6</sup>

Исследование этногенеза предполагает не поиск сходных признаков (их много у разных народов), а изучение системы коммуникации, превратившей антропологическую массу в единое сообщество. То же относится к стране Берингии, внутреннее движение в которой имело, скорее всего, циклический и двусторонний характер. Не исключено, что в Берингии, в том числе на ее срединном перешейке, были удобные места для загона зверей в болото или промысла на переправах. Контроль над «мостом» мог иметь особый хозяйственно-социальный смысл и сыграть ключевую роль в истреблении мигрирующих крупных животных.

Палеоэкологи отмечают, что накануне пришествия человека, в последней фазе висконсина, несмотря на морозы и ледники, аме-

<sup>6</sup> По заключению В. В. Питулько (2003:136), «не имеется никаких археологических фактов, подтверждающих расселение человека на востоке Чукотского п-ова в конце плейстоцена».

риканская фауна обогатилась за счет миграции через Берингов мост ряда видов млекопитающих (овцебыка, сайги и др.). Затем, вместо ожидаемого расцвета в условиях потепления, за сравнительно короткий срок (11–8 тыс. л. н.) фауна потеряла много крупных видов, тогда как мелкие зверьки (крысы, бурундуки, суслики) не пострадали. Очевидно, миссию истребителя взял на себя человек, и благодаря его усилиям и аппетитам в девственных прериях и лесах Нового Света перевелись мамонты, мастодонты, глиптодонты, наземные ленивцы, лошади, древние верблюды, вилорогие антилопы, длиннорогие бизоны, ветвисторогие олени, мускусные быки (Баландин, Бондарев 1988:31–33; Ламберт 1991:174–186). В ряде реконструкций освоение Америки представляется демографическим взрывом невиданной силы. П. Мартин полагает, что 12–10 тыс. л. н. изобилующие крупными травоядными приледниковые равнины Северной Америки стали эпицентром настолько быстрого демографического роста, что, увеличиваясь ежегодно на 3,5% и удваиваясь за каждые двадцать лет, изначально небольшая группа мигрантов за тысячелетие разрослась до 600 тыс. человек, которые расселились по всей Америке, попутно истребив 85% крупных млекопитающих (Martin 1967; 1973).

Эпицентром американских культур было североамериканское пространство культуры кловис, охватывавшее Скалистые горы и Великие Равнины. В измерении движения это идеальное «предковое» сочетание гор и долин. Для кловис характерно разнообразие памятников (мастерские, поселения, места забоя и разделки охотничьей добычи, клады орудий), преобладание промысла бизона на западе, северного оленя — на востоке, сочетание охоты с развитым собирательством и рыболовством — на юго-востоке Северной Америки (Васильев 2001:44). Подобное сочетание признаков подвижности и оседлости, отмеченное у верхнепалеолитических охотников Европы и Русской равнины, было основой сложной внутренней динамики во взаимодействии схем «зверя» и «венеры». У кловис, охотившихся на мамонтов, бизонов, лошадей, овцебыков, тапиров, были как кратковременные лагеря, так и постоянные поселения (например, Ленер) (Ларичева 1976:134). Успешные практики древности демонстрируют не монотонно кочевой или однообразно оседлый образ жизни, а своего рода аритмию, перепады режимов подвижности. Инженерия движения, сочетающего состояния оседлости и подвижности в зависимости от промысловых и иных нужд, особенно эффективна как стратегия адаптации.

До сих пор речь шла о ногах человека, однако в верхнем палеолите к ним добавились четыре собачьих лапы: одна из мим-адаптаций дала эффект взаимодействия со зверем, в частности с прирученной собакой. Запад Америки был одним из очагов этого взаимодействия: следы собаки отмечены на стоянке Эгейт Бейсин (район Скалистых гор и Великих Равнин, культура фолсом, 11 тыс. л. н.), обитатели которой практиковали промысел бизона, оленя, вилорогой антилопы, верблюда, горного барана, лося (Васильев 2001:42). Примерно в то же время свидетельства собаководства обнаружены в других областях Северной Евразии — на стоянках Миллеруп, Хольмегаард и Свердборг в Дании, Афонтова Гора на Енисее (Лебедев 2005:68). Останки собаки характерны для ближневосточной натуфийской культуры, сложившейся около 12 тыс. л. н., хотя «натуфийская собака» могла быть и палестинским волком (Мелларт 1982:26). Будучи одновременно «походной» и «домашней», собака существенно усилила человека в контроле над пространством. «Союз охотников» был своего рода экосоциальной революцией: удвоенный потенциал человека и собаки дал им безусловное господство в зверином мире, обеспечив эффективную схему безопасности (дом—огонь—собака), легкость поиска, загона и добычи крупных зверей, а попутно скорость их истребления в Северном Полушарии.

### *Земля Санникова каменного века*

В освоении Северной Евразии древние охотники достигли необитаемых ныне высоких широт. Археология острова Жохова (76° с. ш., Восточносибирское море, архипелаг Де-Лонга, среднеиюльская температура 0° С) показывает, что 8,5 тыс. л. н. жители Арктики преодолевали громадные расстояния, охотясь на северных оленей и белых медведей (Питулько 1998). Среди находок, сохранных вечной мерзлотой в почти первозданном виде, — полозья нарт и другие свидетельства успехов собаководства в раннем голоцене. Возможно, именно собака сделала достигаемым арктический остров, добраться до которого и сегодня можно только на ледоколе или вертолете. Впрочем, и вертолетам туда запрещено летать поодиночке, а воздушный путь от порта Тикси протяженностью до 1000 км предполагает заправку на заранее оборудованных промежуточных топливных станциях и иногда затягивается на пару дней.<sup>7</sup> Расположение Жоховской стоянки ставит вопросы о рассто-

<sup>7</sup> Мне довелось участвовать в жоховской экспедиции 2000–2001 гг.



ниях и транспортных средствах применительно как к древности, так и к современным условиям археологических работ. Крайняя труднодоступность острова соответствует ауре легендарности, с которой связано открытие острова и которая имеет значение для научной интерпретации жоховской археологии.

По местонахождению Жоховская стоянка соотносима с легендарной Землей Санникова, длительные и драматические поиски которой были вызваны видениями арктических миражей и наблюдениями за перелетами птиц и миграциями зверей, а также популярными на туземном Севере легендами о таинственных землях в Ледовитом океане. Подходя летом 1643 г. с запада к устью Колымы, Михаил Стадухин полагал, что замеченный им по левую руку берег — известный по рассказам поморов Камень-пояс в Студеном море. На его судне находилась чукчанка Калиба, рассказавшая морякам о большом острове в океане, куда зимой можно добраться на оленях. Затерянный в Арктике остров упоминался и в предании об онкилонах, бежавших от воинственных чукчей на 15 байдарках во главе со старшиной Крехаем (см.: Врангель 1841).

Местные легенды причудливо смешались с известиями об островах-миражах арктических мореплавателей. Витус Беринг в июле 1741 г. безуспешно искал к северу от Камчатки «Землю Жуанада-Гамы». Американцы высматривали к северу от Аляски «Землю Харриса», а Фредерик Кук на пути к Северному полюсу видел «Землю Брэдли». Европейцы стремились найти в Арктике «Землю Джиллиса», «Землю Петермана», «Землю Короля Оскара». В 1820-е гг. Фердинанд Врангель в поисках «Земли Андреева» в Восточно-Сибирском море обнаружил остров, названный позднее его именем.

Самой живучей оказалась легенда о земле, затерянной на ледовых просторах между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. За поморами, открывшими первые острова Новосибирского архипелага, последовал купец Иван Ляхов, одержимый поиском изобильной зверем и пушниной земли. В 1770 г. он заметил движущееся по морскому берегу стадо диких оленей и пустился его преследовать. У Святого Носа олени круто повернули в море и двинулись по льду прочь от берега. Ляхов последовал за стадом и вскоре достиг острова. Однако олени не остановились ни на ближнем (Большом Ляховском), ни на дальнем (Малом Ляховском) острове. Купец вернулся на материк с намерением про-

должить путь по оленьим следам, и в 1773 г. ему удалось достичь третьего острова, названного Котельным.

После смерти Ивана Ляхова на островах промышлял якут Яков Санников, побывавший на Столбовом, Фаддеевском, Ляховских островах и добравшийся до Новой Сибири. В 1810 г. он разглядел с северного берега о. Новая Сибирь далекую скалистую землю. Двинувшись к ней по льдам, он остановился на кромке огромной полыньи. В 1811 г. повторилось то же самое, только на этот раз Санников пытался пройти к заветной земле с о. Фаддеевского. В третий раз он различил очертания скал с о. Котельного. В ходе поисков Санников обнаружил на островах среди костей гигантских зверей обломки древних деревьев и каменные изделия — следы необычной для Арктики жизни.

От рассказов Ляхова и Санникова веет туземными преданиями, из которых сплелась русско-якутская легенда о Земле Санникова. Возможно, не только юкагирам, чукчам, эвенкам и якутам, но и их далеким предкам было известно о северном острове с диковинными зверями. Стараниями Матвея Геденштрома, а затем Эдуарда Толля, обследовавшего Новосибирский архипелаг весной и летом 1886 г., Земля Санникова стала предметом жарких споров в Русском географическом обществе, на одном из заседаний которого 30 марта 1898 г. барон Толль произнес знаменитую фразу: «В ясные солнечные дни с северной оконечности острова Котельного, в группе Новосибирских островов под 76° с. ш., виднеются четыре горы, чуть поднимающиеся над северным горизонтом — это Земля Санникова, еще не достигнутая никем». Экспедиция Толля завершилась его исчезновением в 1902 г. и рапортом брошенного на его поиски Александра Колчака о гибели Толля и о том, что Земли Санникова не существует.

Суровый тон доклада А. В. Колчака внес траурные ноты в суждения о Земле Санникова, но старая легенда продолжала жить, пополнившись версией о чудесном спасении Толля на той самой затерянной земле, которую он искал. Десять лет спустя Землю Санникова пыталась обнаружить в море Лаптевых команда Бориса Вилькицкого с ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», и в 1914 г. лейтенант Алексей Жохов различил на горизонте силуэт неизвестного острова, местоположение которого соответствовало легендарной земле. Однако остров был мал, его старые вулканы не дымились, и мамонты по нему не бродили. В то время никто не подозревал,

что остров Жохова (названный в честь погибшего на зимовке лейтенанта) — последняя точка на карте Новосибирского архипелага (см.: Головнёв 2002).

Землю Санникова продолжали высматривать с ледоколов и самолетов даже после того, как съемкой из космоса старой легенде был подписан окончательный приговор. С годами Земля Санникова превращалась в литературно-кинематографический мираж, а на о. Жохова располагалась советская полярная станция. В 1967 г. в руки Л. П. Хлобыстина попали найденные жоховскими полярниками орудия из бивня мамонта. Осторожно датируя находки эпохой железа (2,5–2 тыс. л. н.), он все же рисковал прослыть жертвой курьеза — слишком невероятными были географические координаты памятника. Прошли годы, прежде чем усилиями В. М. Макеева и других сотрудников Института Арктики и Антарктики с острова были доставлены новые образцы и определено их точное местонахождение. В 1987 г. на конференции, посвященной 200-летию археологических исследований в Арктике, Л. П. Хлобыстин поверг специалистов в шок объявлением радиоуглеродных дат жоховских образцов — более 8000 лет. Старая легенда о Земле Санникова неожиданно ожила в новом, археологическом, измерении.

В. В. Питулько, руководителю раскопок Жоховской стоянки в 1989–1990 и 2000–2006 гг., принадлежит первый опыт систематизации и интерпретации данных уникального мерзлотного памятника. Две характеристики, не считая археологического возраста, представляют первостепенный интерес — образ жизни обитателей острова 8 тыс. л. н. и распространенность подобного образа жизни в северном полушарии. Жоховская стоянка представляла собой не постоянную резиденцию, а долговременный лагерь охотников, регулярно посещавших остров в промысловых целях. Судя по фаунистическим останкам, основными объектами охоты были северный олень и белый медведь, добывавшиеся примерно в равном количестве. Единичными находками представлены волк, птицы, морские животные (морж и лахтак). Комплекс охотничьего вооружения — вкладышевые наконечники копий, луки и стрелы, металлические острия — свидетельствует о сухопутном характере охоты у древних обитателей острова (Питулько 1998:99).

Возражая А. А. Орехову (1998:177, 178), усматривающему в стратегии жизнеобеспечения жоховских охотников следы морской адаптации, В. В. Питулько отмечает, что в данном случае на бело-

го медведя охотились сухопутные люди (находки другой морской фауны составляют менее 1%). По его мнению, на побережье Ледовитого океана не было ни обильных морских ресурсов, ни подходящих климатических условий, поскольку за раннеголоценовым потеплением последовало похолодание, пришедшее на время существования островной стоянки. Впрочем именно потепление начала голоцена предопределило промысловый интерес к медведю из-за «угнетенного состояния» холодолюбивого оленя. Медвежий промысел помог жоховским охотникам преодолеть «кратковременный стресс, связанный с падением численности оленя», тем более что «фаза холодного климата не могла не способствовать быстрому восстановлению поголовья оленей». Таким образом, медвежья охота представляется эпизодом адаптации, связанным с трудностями промысла оленя (Питулько 2001:68)

В наших с Владимиром Питулько размышлениях и спорах на Жоховской стоянке «медвежий вопрос» был центральным. Извлекая из мерзлоты очередной череп со светящимися здоровой желтизной клыками, он продолжал развивать выраженную в публикациях «пищевую версию»:

Ископаемый белый медведь о. Жохова оказывается более мелким, чем современные самцы, и по своим размерам он почти соответствует современной самке. Это может объясняться тем, что они и составляли основную часть добычи охотников, т. к. самка с медвежонком, будучи ограниченной в передвижении, оказывается, таким образом, более уязвимой, хотя и ведет себя агрессивно... В период рождения детенышей самки тяготеют к береговой полосе и полярным архипелагам, где устраивают берлоги. Охотники вполне могли добывать их в этот период <...> Доминируют остатки передней части туши зверя <...> Несомненно, первобытные охотники должны были доставлять на стоянку не только передние лапы, но и задние окорока, однако соответствующий костный материал отсутствует <...> Можно полагать, что «недостающие» кости задних конечностей <...> могут быть сконцентрированы в массовом количестве где-то в других местах, на квадратах, еще не подвергавшихся раскопкам (Питулько 1998:67, 70, 79 ).

Били и ели его [белого медведя] сугубо сухопутные люди, применявшие на этом опасном промысле классические приемы охоты, известные тысячелетиями, такие как промысел медведя в берлогах. Они, безусловно, знали, каким образом может быть добыт бурый медведь, впадающий зимой в спячку, и делали это неоднократно, прежде чем столкнуться с белым. Разница состоит в том, что, охо-

таясь таким образом на этих зверей, добыть можно только самок. Фаунистические материалы стоянки, как представляется, подтверждают эту мысль: подавляющее большинство останков медведя принадлежит взрослым особям среднего размера, и не существует другого механизма подобной избирательности (Питулько 2001:68).

Археологический лагерь располагался неподалеку от древней стоянки и настолько же удаленно от берега. Несмотря на разделяющие старых и новых обитателей острова восемь тысячелетий, в их поведении было много общего: стойбище археологов так же заполнено принесенными с берега бревнами и щепками плавного леса, как это было на стоянке древних охотников; людям разных эпох свойственно одинаково напряженно всматриваться в море с прибрежных сопок и замирать при появлении белых медведей. Со своей стороны зверь неизменно проявляет интерес к жилищу людей, как и к птичьему базару, отстоящему на три километра от древней стоянки. Запах привезенной нами туши оленя, подвешенной по моей просьбе «вялиться» на большую треногу, так заморозил медведя, что он зашел к лагерю с подветренной стороны и прилег на соседнем склоне. Когда лагерь замер на ночь, медведь поднялся и неспешно двинулся на запах, разорвал по пути сооруженную у ручья брезентовую баню (в брезент заворачивали оленью тушу) и уже приближался к очередной палатке, когда всполошившиеся археологи подняли стрельбу из ракетниц и прогнали его прочь. Зверь в испуге добежал до берега, но на льду сбавил шаг и вскоре улегся за торосом.

Это наблюдение, зафиксированное на видеопленке и не раз подтвержденное, показывает, что с точки зрения безопасности обе стоянки (ископаемая и археологическая) выбраны рискованно: белые медведи считают берег острова своим, особенно по-хозяйски чувствуют себя во льдах, и испуганный медведь бежит только до льдов, а там ложится и ждет. Древняя стоянка расположена в километре от моря, на условной границе владений людей и медведей. Может быть, она служила не столько жилищем для людей, сколько ловушкой для зверей, где роль приманки играли добытые олени или, на худой конец, сами люди. Известно, что белые медведи поедают всякую всячину, в том числе дохлых сородичей, и чуют запах на огромном расстоянии: стоит убить одного — и другие со всей округи тут же спешат к трапезе. Правда, если Жоховская стоянка действительно была ловушкой, разделение ролей охотника и добычи всегда зависело от случая. Косвенным свидетельством не-

удач могут служить обнаруженные в мерзлоте фрагменты костей и волосы людей. Впрочем гаранты безопасности или, по крайней мере, предупреждения об опасности были все те же псы, возившие и охранявшие жоховских охотников.

Найденное на памятнике охотничье снаряжение — копия с вкладышевыми наконечниками, луки со стрелами, дротики, тяжелые заостренные орудия из мамонтового бивня — впечатляет своим совершенством, однако речь идет о звере, которого нелегко повалить и пулей. Что удобнее — подстеречь медведя на стойбище или забраться к нему в берлогу — вопрос для пытливых умов. Возможно, оба способа — лишь эпизоды промысловой практики островитян. По аналогии с пещерными медвежатниками палеолита можно допустить, что жоховские охотники были умудренными медведеведами и умелыми медведеводами. Не исключено, что их диалог со зверем включал и ритуалы, намек на которые виден в особом порядке разделки туш и хранении черепов в жилищах.

Еще любопытнее знать, какая безысходная нужда гнала людей каменного века на этот опасный промысел за тридевять земель. По чьим следам они шли — оленьим, как когда-то купец Ляхов, или вслед за птицами, полет которых за морской горизонт кружил головы Санникову и Геденштруму? Или уже в каменном веке существовала легенда о чудесной северной земле, ради которой люди, подобно Толлю, жертвовали уютом и жизнью?

Палеогеография допускает, что Новосибирский архипелаг был в ту пору материковым выступом: «12000–13000 лет назад Новосибирские острова составляли с материком единое целое» (Питулько 2000:92). Отступившие плейстоценовые ледники позволили воде быстро разрушить рельеф хрупкой суши, хотя сухопутные звери все же успели добраться до северного края тающего материка: на острове Беннетта найдены останки мамонта, бродившего по Арктике 12,5 тыс. л. н. Скорее всего, архипелаг Де-Лонга первым отделился от Новосибирского материкового выступа, и 9–8 тыс. л. н. остров Жохова омывался морскими водами, еще изрядно наполненными речными потоками из дельт Лены, Яны и Индигирки. Здесь можно было еще поймать речную рыбу, но уже встретить морского зверя. Сюда по привычке мигрировали олени и перелетные птицы. И все же расстояния, покрывавшиеся медвежатниками, столь внушительны и труднопреодолимы, что закрадывается сомнение в экономической рациональности подобных походов.

На мой взгляд, причина дальних сезонных рейдов состоит не в скудости биоресурсов или перенаселенности Яно-Индигирской низменности. Насыщенность Жоховской стоянки медвежьими останками (наряду с человеческими), реконструируемые приемы приманивания и промысла зверя, преобладание в остеологии черепов медведя наводят на мысль о статусно высоком диалоге человека и зверя, выходящем за рамки гастрономических интересов. Образ человека-медведя, переданный в найденной на памятнике скульптуре и просматривающийся в деятельностной схеме жоховского охотника, соответствует древней мифогероике, согласно которой дальние походы и медвежьи ристалища были обусловлены не столько хозяйственными нуждами, сколько идеей уподобления человека могучему зверю, включая его дар освоения северных пространств. Возможно, Жоховская стоянка открывает вмерзшую в лед картину очередной мим-адаптации, когда охотники каменного века вырабатывали схему «хозяина Арктики». Многотрудное паломничество, встречи и схватки с белым медведем в чем-то напоминают рейды охотников раннего палеолита в высокогорье Альп и Кавказа. Вероятно, палеолитическая «медвежья схема», только уже в белой арктической версии, продолжала действовать на Севере Евразии, особенно в случаях первоосвоения новых земель.

Рейды к кромке моря могли быть инерцией походов за мамонтами, отступавшими в начале голоцена на север и сокращавшимися в численности под напором охотников. Останки мамонтов в изобилии обнаружены на островах архипелага, в том числе на острове Жохова. Судя по многочисленным изделиям и заготовкам, обитатели стоянки использовали бивень и кость мамонта, но, скорее всего, уже найденные в земле. В материковой Северной Азии мамонты вывелись незадолго (по меркам праистории) до появления Жоховской стоянки, а совсем неподалеку (по сибирским меркам), на острове Врангеля, они жили одновременно с жоховскими людьми и после них еще 4 тысячи лет (см.: Вартанян 2007). Не исключено, что северные охотники встречали мамонтов или знали о них со слов очевидцев.<sup>8</sup> Уже тогда могла родиться легенда о далеком острове во льдах, где бродят мохнатые исполинские звери.

---

<sup>8</sup> О движении палеолитических охотников вслед за смещением ареала обитания мамонтов на север вплоть до района современного Новосибирского архипелага со времен кокоревского потепления (13000–12000 л. н.) писал Л. П. Хлобыстин (1998:23–24).

Как бы то ни было, сезонно или изредка посещать о. Жохова были способны люди, обладавшие высокой подвижностью. Пройти долгий путь по материковым и морским льдам можно было только с помощью собак. Оттого, что на стоянке часто встречаются собачьи фекалии и полозья нарт, складывается впечатление, что для жоховских людей упряжки собак были непременным условием жизнедеятельности. Возможно, на них охотники добирались до острова, а затем жили и спали на нартах, как на нарах, бок о бок с собаками.

Материк, с которого приходили на остров жоховские люди, был областью распространения сумнагинской культуры, охватившей Северную Азию от Енисея до Чукотки и от Арктики до Байкала (Мочанов 1977:241; Питулько 1998:76, 78). Появившись на Средней Лене (Алдане) около 10 тыс. л. н., она в течение последующих двух тысячелетий достигла на севере Новосибирского архипелага, на востоке — Берингоморья, на западе (6 тыс. л. н.) — Таймыра (Питулько 2003:109). Голоценовой сумнагинской культуре примерно на том же пространстве предшествовала плейстоценовая дюктайская. В каменной индустрии между ними преемственности нет, и эпохальную смену культур объясняют миграцией населения с запада — верхнего Енисея (Астахов 1973), из круга «мальтинско-афонтовской» традиции верхнего палеолита. На западе сумнагинская культура находит параллели в кокоревской культуре Енисея и синхронных культурах Урала и Восточной Европы: «сумнагинская культура образует как бы самое восточное звено в длинной цепи близких по облику каменного инвентаря раннеголоценовых культур Северной Евразии» (Мочанов 1977:249–250).

На Лене енисейские мигранты, по мысли Ю. А. Мочанова, оказались в необитаемом пространстве, поскольку северные дюктайцы к тому времени ушли в Америку. Обилие промысловых животных с одной стороны, предопределило быстрое расселение сумнагинцев по просторам Северо-Восточной Азии, с другой — затормозило развитие их культуры, мало изменявшейся на протяжении четырех тысяч лет. Закат сумнагинской культуры связан со следующей внешней миграцией, на этот раз из Забайкалья, откуда явились потомки уцелевших на юге Сибири дюктайцев — создатели сыалахской культуры. Сумнагинцы в основном были ассимилированы, а неассимилированные мигрировали в Америку: «Мы склонны думать, что именно сумнагинцы явились одним из древнейших этнических компонентов протоэскимосов и протоалеутов, окончательное сложение которых произошло уже в Новом Свете» (Мочанов 1977:250, 253).



В. В. Питулько усомнился в возможности подобной миграции с Енисея на Лену: «Трудно себе представить культурный импульс, способный эффективно преодолеть Среднесибирское плоскогорье»; к тому же «эта территория была отнюдь не необитаемой, а заселенной охотниками-дюктайцами» (Питулько 2003:135, 140). Впрочем подобный маршрут переселения в верхнем палеолите применительно к Янской стоянке В. В. Питулько допускает. Если представить миграцию идущей не по плоскогорью, а вдоль гор с верховьев Енисея через верховья Ангара к верховьям Лены, то она окажется вполне экологичной и даже традиционной, прошедшей по палеолитическому трансевразийско-мальтинско-янскому пути.

Реконструируемая миграция с вытеснением туземцев из Азии в Америку (или с их заблаговременной эмиграцией) напоминает движение кочевых политий Средневековья или колонизации Нового времени. Перейти с Енисея на Лену могло мобильное и совместно мигрирующее сообщество. Не исключено, что в позднем плейстоцене и раннем голоцене на магистральных путях складывались социально сложные сообщества, связанные системой внутренней коммуникации, которая позволяла им сообща передвигаться или растягиваться в пространстве, не теряя внутренних связей. Такая миграция сопоставима с шагом гусеницы, которая то вытягивается во всю длину, нащупывая путь, то сгибается в дугу, собирая усилия для нового шага. Она существенно отличается от локальной хозяйственной миграции, сопоставимой с ходом улитки, медленно и плавно движущейся едва различимыми микрошагами.

Ю. А. Мочанов развивает популярную в археологии версию «обреченного аборигена», который либо послушно ассимилируется, либо бежит с насиженных мест: в его сценарии остатки дюктайцев и сумнагинцев переселяются за океан, и Америка предстает убежищем эмигрантов каменного века. Однако «отступление» должно было выглядеть не направленным потоком (из центра Якутии напрямиком до Аляски, невзирая на состояние Берингова моста), а расходящейся из эпицентра круговой волной, равномерно расширяющей периферию культуры от Енисея на западе до Байкала на юге и Охото-Берингоморья на востоке.<sup>9</sup> Подобный эффект мог быть

<sup>9</sup> Примечательно, что на крайнем западе, Таймыре, сумнагинская культура отмечается в финале своей истории, 7–6 тыс. л. н. (Питулько 2003:111, 136); на крайнем востоке, Аляске, примерно в то же время: предполагаемый аналог сумнагинской культуры стоянка Галахер Флинт, по последним данным, датируется не 10,5 тыс. л. н. (Мочанов 1977:253), а 7 тыс. л. н. (Слободин 2000:17).

вызван вовсе не бегством побежденных аборигенов, а экспансией крепнущей культуры. Последняя версия предпочтительна с учетом впечатляющей устойчивости и пространственной преемственности гигантских культур Северо-Восточной Азии — от сумнагинской до ымыяхтахской в измерениях археологии и от тунгусской до якутской в реалиях этнографии.

Последовательность североазиатских суперкультур (сумнагинская—сыалахская—белькачинская—ымыяхтахская) — «одно из крупнейших и интереснейших феноменов мировой доистории». Они были «непосредственно связаны либо отмечены сильнейшим влиянием “культурного ядра” Центральной Якутии», импульсы которого на протяжении тысячелетий распространялись на восток и запад, «достигая, соответственно, Берингова пролива и западного фаса Путоранского плато» (Питулько 2003:99). Ленские культуры во все времена характеризовались не только территориальным размахом, но и внутренней целостностью, отграничивающей их от соседей: например, на Енисее ленское влияние пересекалось, но не смешивалось с североуральским (Головнёв 2004:27). Ленские культуры с древности были магистральными, охватывая и соподчиняя множество локальных общин и традиций. Эта магистральность питалась ресурсами байкало-охотских культур, связанных верховьями рек бассейна Лены и Алдана, и наращивала потенциал вдоль широкой долины Лены, с плейстоцена свободной от ледника (благодаря континентальному климату) и удобной для протяженных миграций по долготе и широте.

Освоить ленскую магистраль могла только динамичная культура, способная установить контроль над огромной территорией. По экосоциальным условиям долина Лены представляла собой северный вариант великой степи, где можно либо властвовать, либо подчиняться, но трудно существовать автономно. Выход новых мигрантов на Лену подразумевал их противоборство с прежней доминантной группой, и успех в конкурентной борьбе сулил победителям либо власть над всей Ленской страной, либо растворение в туземной среде. Самым сложным испытанием для группы мигрантов было не овладение центром, а установление контроля над системой путей. Эта система существовала не только в виде рек и межгорных проходов, но и в практиках движения локальных групп. Другими словами, захват Ленской страны означал не вытеснение туземного населения, а его подчинение влиянию центра. Единство

восточносибирских культур связано с их централизацией, основанной на высокой мобильности ленских доминантных групп. Новая элита не разрушала системы путей и связей, а использовала их для продвижения своего влияния, вследствие чего облик суперкультуры обновлялся, а ее территория оставалась прежней.

Вряд ли динамизм ленской социальной элиты был обусловлен охотой на быстрых стадных зверей. Судя по фауне памятников, сумнагинские охотники довольствовались добычей лося, дополняемой промыслом косули, северного оленя, бурого медведя, птицы и рыбы (Егоров 1969). Жили они в переносных каркасных постройках из небольших бревен, жердей, коры и шкур, устанавливаемых на господствующих в окрестностях речных приустьевых мысах; отсутствие скоплений культурных остатков свидетельствует о подвижности их обитателей (Мочанов 1977:242). Вероятно, жители мысов не просто бродили в поисках пищи по долине Лены, но и обеспечивали своим движением систему социальной коммуникации. Не исключено, что именно социальными мотивами — конкуренцией, борьбой за статус и престиж — были вызваны и героические рейды в неведомые земли, вплоть до арктических островов.

С сумнагинской эпохой и культурой исследователи нередко связывают расселение в Восточной Сибири предков юкагиров, относимых по языку к уральскому или прауральскому сообществу: «Именно в сумнагинское время закладывается прауральская основа языка и антропологического типа юкагиров» (Симченко 1976:39). Из этого следует, что в раннем голоцене на просторах Евразии существовала цепь прауральских культур, растянувшаяся от Фенноскандии до Лены (если не до Аляски). Сумнагино-юкагирская гипотеза дает свой ключ к объяснению рассеяния юкагиров в отдаленных друг от друга районах Сибири (на Колыме и Чукотке).<sup>10</sup> Если механизм круговой волны (считая от ленского эпицентра) разбивал общность и рассеивал по периферии ее осколки, то самые дальние от центральной магистрали группы следует считать самыми древними в последовательности археологических культур.<sup>11</sup> Таким образом, в юкагирах можно видеть доякутский и

<sup>10</sup> К приходу русских юкагиры занимали территорию от Лены до Анадыря. По якутским преданиям, юкагирских костров было много, как звезд на небе в ясную морозную ночь; птицы, пролетавшие над юкагирской землей, становились желтыми от дыма костров юкагиров (Огородников 1922:272; Долгих 1960:379–442).

<sup>11</sup> Подобный механизм миграций и формирования культурных кругов (Kulturkreislehre) реконструировал Ф. Гребнер (Graebner 1911).

дотунгусский этнокультурный круг, соотносимый с раннеголоценовой сумнагинской традицией.<sup>12</sup>

Палеолингвистические реконструкции позволяют видеть в праюкагирах одну из первых волн переселения на северо-восток группы уральцев, отделившейся от основного массива не позднее 7 тыс. л. н. — прежде, чем уральская языковая семья распалась на финно-угорскую и самодийскую ветви (Симченко 1976:39; Николаева 1989:4). Многие лингвисты относят язык юкагиров к уральской семье (Anger 1951; Collinder 1940; 1955; TAILLEUR 1959; Долгопольский 1964; Николаева 1988 и др.), а некоторые российские исследователи даже полагают удобным называть всю языковую семью «урало-юкагирской» (в любом случае несоразмерно ее составу). Высказываемые по этому поводу возражения фокусируются на «самодийско-юкагирских языковых контактах» как вероятном источнике отмечаемых морфологических и лексических параллелей (Redei 1990).

Соотношение сумнагин–юкагиры рождает спорную, но по-своему стройную версию обоснования исходного культурного родства юкагиров с самодийцами и другими уральцами. Связь сумнагинцев-праюкагиров с прауральцами, прародина которых условно локализуется на Урале, выявляется в той самой «мальтинской» миграции, которая прошла на рубеже плейстоцена и голоцена от Восточной Европы и Урала по отрогам Алтая и Саян к верховьям Лены. Эта миграция могла быть не потоком переселенцев, а цепью контактов или «шагом гусеницы». Если уралоязычные люди оказались на северо-востоке Азии в раннем голоцене, то это должно было случиться в момент становления сумнагинской культуры, с приходом западных мигрантов на Лену около 10 тыс. л. н. Более позднее их появление маловероятно, поскольку в Восточной Сибири установилось фиксируемое археологией господство ленских культур без каких-либо вторжений с запада. Пришельцы не могли не быть многочисленными, ибо им предстояло распространить

<sup>12</sup> А. П. Окладников полагал, что «юкагиры из всех племен Севера могут претендовать на прямое происхождение от древнейшего этнического пласта Якутии, они обитали здесь до якутов и тунгусских племен» (1955:292). М. Г. Левин считал юкагирским неолитическое население не только Ленского края, но и Прибайкалья: «Прослеживаемый в археологических материалах Прибайкалья комплекс связывается не с эвенками, а с дотунгусским — “палеоазиатским” в широком смысле слова — населением Восточной Сибири, предположительно — с юкагирами» (1958:187).

свой язык на всю Ленскую страну или сохранять его в иноязычном окружении в течение жизни пятисот поколений. Таковы условия сумнагино-юкагирской теоремы.

### *От Атлантики до Пацифики*

Приморская адаптация началась с собирательства моллюсков на берегах Африки и продолжалась в культурах «раковинных куч» Европы (мугем в Португалии, кьёккенмёддинги в Дании и Германии), Азии (дзёмон в Японии, катбео и дабут во Вьетнаме), Америки (раковинные кучи Аргентины и Чили). В начале голоцена люди научились делать лодки-долбленки, освоили лов рыбы гарпунами, крючками и сетями. В сравнении со степями, лесами и горами море изначально выглядело преградой и чуждой человеку стихией. Австралия, Япония, Британия, Америка и другие отделенные от Афро-Евразии земли заселялись людьми по плейстоценовым сухопутным мостам. В голоcene мосты исчезли, и островитяне, особенно обитатели архипелагов, стали осваивать морские пути. В некоторых местах, например на Скандинавском побережье Атлантики и Охотском побережье Пацифики, в плейстоцене существовали пути по обнаженному шельфу обмелевших морей, которыми пользовались звери и люди. В голоcene эти пути ушли под воду, а поднявшееся море залило межгорные долины, превратив их в заливы и фьорды.

По мере соединения Литоринового моря (бывшего Балтийского ледникового озера и будущего Балтийского моря) с Атлантикой Датские острова открывались буквально на глазах у туземцев — охотников и собирателей культуры маглемозе. Около 8 тыс. л. н. освоение морских берегов сопровождалось изготовлением лодок и промыслом морского зверя посредством костяных гарпунов (Кларк 1953:93; Лебедев 2005:70). Датские острова расположены настолько близко друг к другу, что проливы между ними не кажутся преградами: с берегов Альса можно разглядеть огонь на острове Фюн, а с Зеландии видны Фюн, Лангеланн и Лолланн; узкая полоса воды отделяет Зеландию от Фальстера и Бёена, а пролив между Фюном и Ютландией не шире реки. Передвигаться по морю здесь было легче, чем прокладывать пути по нехоженным лесам, и связь по воде была прочнее, чем по суше: памятники по берегам проливов обнаруживают больше сходства, чем в глубинных землях (Клиндт-Йенсен 2003:209). Страна островов и фьордов стала ко-

лыбелю морской культуры. Как «лягушатник» для начинающих плавать детей, она учила сухопутного человека преодолевать врожденный страх пучины и воспринимать море как родную стихию. Первые водные пути были прообразом сложной социальной сети, которую плели своими передвижениями древние балтоскандинавские мореходы.

Следы морского промысла отмечаются и к северу от Датских островов, по берегам Фенноскандии вплоть до Арктического побережья, где в раннем голоцене сложились культуры комса (около 10 тыс. л. н.) и «арктического палеолита» Кольского полуострова (около 9 тыс. л. н.). Приморская адаптация древних обитателей полуострова Рыбачий определяется по расположению стоянок на морских пляжах: «море обладало для обитателей Кольского п-ова огромной притягательной силой, являясь важнейшим источником питания» (Гурина 1991:181).

В теплый атлантический период (7750–5100 л. н.) юг Скандинавии по климату был подобен югу современной Франции. На западном и южном побережье Литоринового моря распространилась культура эртебёлле — морских собирателей, оставивших на своих стоянках огромные кьёккенмёддинги (кухонные кучи) со скоплением раковин, костей рыб и животных. Кьёккенмёддинг Эртебёлле в Дании длиной 140 м и высотой 1,5 м содержал миллионы створок раковины *Litorina litorea* вперемешку с тысячами кремневых орудий, в том числе массивными топорами и тщательно вырезанными костяными рыболовными крючками, а также осколки первой скандинавской керамики. Кости глубоководных рыб — трески, камбалы, акулы — указывают на использование рыбаками долбленых каноев или каяков (в Омосене были найдены каноев). Добычей охотников поздней культуры эртебёлле был тюлень, а в одном из заливов восточной Ютландии эртебёллские орудия были найдены вместе с черепом кита (Клиндт-Йенсен 2003:67–68; Лебедев 2005:72). Люди эртебёлле ели не только устриц и рыбу — в кухонных кучах обнаружены кости человека:

Одна из этих отвратительных и жутких находок, которые могут указывать на то, что эти люди голодали, происходит из Дюрхольмена в Восточной Ютландии. Мало того, что найденные там длинные кости человека были расколоты с целью извлечь костный мозг; небольшие царапины на шейных позвонках говорят о том, что жертва была обезглавлена. Однако расположение этих царапин свидетельствует о некотором любительстве, поскольку ни один анатом

и, вероятно, ни один умудренный жизненным опытом канибал не стал бы разрубать человеческое тело таким образом. Голова была скальпирована круговым движением кремневого ножа, но, чтобы добраться до вкусного мозга, такого движения вовсе не требовалось (Клиндт-Йенсен 2003:56).

По другую сторону Евразии, на побережье Тихого океана, примерно в то же время собирали морских устриц и складывали их створки в кухонные кучи люди японской культуры дзёмон. Американец Э. Морзе, раскопавший в 1877 г. на о. Хонсю раковинную кучу Оомори, обнаружил в ней изящные каменные наконечники копий и стрел, керамику с веревочным штампом, а также человеческие кости, расколотые так, как обычно разбивают кости животных для извлечения мозга. Э. Морзе назвал древних жителей Хонсю людоедами и, не желая обидеть японцев, идентифицировал их с «протоайнами» (Васильевский 1981:14–15).

Трудно сказать, насколько генетически связаны люди раковинных куч эртебёлле и дзёмон с современными скандинавами и японцами и переключается ли дух древнего людоедства с неистовством викингов и самураев. В этике «не ешь ближнего своего» плотоядные охотники-собиратели раннего голоцена, как видно, недалеко ушли от столь же «человеколюбивых» прапредков — европейского архантропа и азиатского синантропа. Вряд ли они лакомились мозгом собратьев только из-за голода, истощения ресурсов и перенаселенности, как считает О. Клиндт-Йенсен. Гастрономическая плотоядность (кстати, до сих пор выраженная в кухне европейцев и японцев) была органична «схеме суперхищника», подчинявшего зверей и людей, и выход в море после уничтожения крупных животных суши был развитием не только технологии хищничества, но и идеологии власти над пространством.

Первые шаги морского промысла ластоногих на востоке Северной Евразии отмечаются в начале голоцена (10–9 тыс. л. н.) на побережье Японского моря. Исследование человеческих костей из погребений раковинных куч на Хоккайдо показало, что 6 тыс. л. н. половину рациона человека составлял протеин крупных морских животных. Возможно, побережье Японского моря было центром, из которого гарпунная техника распространялась на север по побережью и островам Тихого океана. В Приморье 6,5 тыс. л. н. гарпуны с зубчатыми наконечниками применялись в морском промысле охотниками бойсманской культуры, в пище которых преобладал тюлень (Орехов 2001:39–40).

На крайнем севере Пацифики центром приморской адаптации стал Алеутский архипелаг. Обитатели древней Анангулы, существовавшей 9–8 тыс. л. н., занимались сбором даров моря и охотой на морских зверей (Laughlin 1967; Fitzhugh 1975; Окладников, Васильевский 1976:101). Орудия Анангулы обнаруживают параллели в культуре пластин Японских островов (Хоккайдо и Хонсю) 15–10 тыс. л. н., хотя японские археологи отмечали, что техника пластин пришла на Японские острова с севера, поэтому наибольшее развитие получила на Хоккайдо. По предположениям Ч. Сэридзавы и Ф. Икавы, первоначальный очаг пластинчатых острий находился в степной Азии (Окладников, Васильевский 1976:91, 97, 98); по мнению Н. Н. Дикова, он располагался на Чукотке (комплекс Путурак) (Диков 1993:52).

Хронологические и технологические приоритеты юга и севера в морской адаптации не всегда определимы как в Атлантике (маглемозе Дании — комса Норвегии), так и в Пацифике (дзёмон Японии — Анангула Берингоморья). При кажущейся предопределенности движения с юга на север дело могло обстоять иначе, поскольку самые мобильные и «хищные» группы охотников оказались именно на севере. Не только по экономической нужде, но и по характеру и размаху деятельности они были способны добраться до Америки, «Земли Санникова» и пуститься в рискованное плавание по морю. Кочующий Север в то время развивал технологии движения, тогда как оседающий Юг совершенствовал мастерство в освоении обжитого пространства в формах земледелия, домостроительства, гончарства. Вместе с тем диффузия технологий между севером и югом свидетельствует о взаимосвязях по приморским или морским путям. Не исключено, что древние морские охотники занимались «промыслом» не только морских зверей, но и береговых людей.

В. В. Питулько задается вопросом: «Возможна ли (или необходима ли) была морская адаптация 8000–9000 л. н. на Северо-Востоке Азии? Позволю себе предположить, что нет» — хватало и наземных пищевых ресурсов (овцебыков, лошадей, северных оленей) (Питулько 2003:140–141). Действительно, ни жоховские охотники, ни обитатели раннеголоценовой стоянки Найбак на востоке Чукотки (Гусев 2001) не были мореходами, хотя били выходящего на сушу морского зверя (Жохов) и собирали мидий (Найбак). Эту адаптацию точнее называть приморской, чем морской, но без освоения берегов — первоначально эпизодического,



а затем постоянного — не случилось бы последующих взлетов морских культур Атлантики и Пацифики.

Прогрессирующее потепление открыло арктические акватории и покрыло север Евразии лесами: в период термического максимума среднего голоцена (7700 л. н.) лес повсюду достигал берегов Ледовитого океана (Нейштадт 1957:357–366). Это создало дополнительные условия для кораблестроения и освоения кромки моря, хотя несколько видоизменило ландшафт и экологию открытых тундровых пространств (к современной границе лес отступил лишь в позднем голоцене, около 5 тыс. л. н.). Не столько колебания климата сами по себе, сколько превращение экспериментов в устойчивую схему деятельности привело к морской специализации отдельных групп охотников.

В Фенноскандии культуры фосна на юго-западе и комса на севере Норвегии устойчиво развивались с раннего голоцена до позднего. В зародившемся около 7 тыс. л. н. наскальном искусстве появились и стали традиционными образы морских зверей (кита, тюленя) и больших зверобойных судов с командой гребцов и гарпунеров (см.: Simonsen 2000; Шумкин 2001; Лебедев 2005). Сопоставление возраста и стилей наскальных рисунков лодок на севере и юге Скандинавии позволяет видеть север одним из очагов этой изобразительной традиции, что расставляет новые акценты в приморском взаимодействии и вносит поправки в общую панораму праистории скандинавского кораблестроения, нередко напрямую возводимую к Средиземноморью (Vogt 2002). В Берингоморье непрерывность приморской адаптации на протяжении 4 тысяч лет прослеживается на Алеутах от Анангулы к Чалуке (Laughlin 1967). Архаичные (неповоротные) наконечники гарпунов Чалуки (4 тыс. л. н.) конструктивно близки гарпунам среднего дзёмона Хоккайдо (5 тыс. л. н.), что свидетельствует об устойчивости в северной Пацифике приморских контактов по оси юг–север (Орехов 2001:12–13).

Приморская адаптация породила новую деятельностьную схему, сочетавшую промыслы сухопутных и морских зверей, а также рыболовство и морское собирательство. Прибрежные системы деятельности и движения в северной Атлантике, Пацифике и Арктике усложнились благодаря сочетанию биологических и культурных ресурсов суши и моря. Успешные приморские очаги привлекали обитателей внутренних территорий, причем далеко не всегда в мирных (торговых или брачных) целях. Вероятно, уже накануне

эпохи металла между береговыми и материковыми жителями началась конкуренция за контроль над смежными пространствами. Циркумполярная область стала ареной взаимодействия различных сообществ; в ней появились, наряду с природными, культурные ресурсы, представлявшие интерес для захвата и колонизации. Скорее всего, циркумполярные миграции арктических и субарктических охотников конца каменного и начала бронзового веков были уже в значительной мере погоней не за зверями, а за людьми.

Около 4,5 тыс. л. н. по Арктике Нового Света с востока на запад, от Аляски до Канадского архипелага, Гренландии и Лабрадора, началось распространение Арктической традиции малых орудий (Arctic Small Tool tradition), давшей начало палеоэскимосским культурам денби на Аляске, предорсет в Канаде, индипенденс в Гренландии (Irving 1962; Fitzhugh 1984; Maxwell 1985; Giddings, Anderson 1986). Не только охота на морских животных (см.: Крупник 1989:165) и ослабление ледового щита Арктики (см.: Питулько 1997:173), но и многообразное освоение биосоциоресурсов позволило северным охотникам выйти в высокие широты американской и гренландской Арктики вплоть до 83° с. ш. на Земле Пири (Knuth 1952). Носители палеоэскимосской культуры промышляли карибу и овцебыка, тюленей и рыбу. «Занять, или даже пройти эти просторы от Берингова пролива до Гренландии, оставляя за собой многие десятки охотничьих стоянок, могло только сообщество с надежной системой жизнеобеспечения и способностью поддерживать репродукцию внутри каждой из малых подвижных общин» (Krupnik 1993:227). На запад палеоэскимосская культура распространилась по побережью Чукотского моря до острова Врангеля (Чертов овраг, 3,3 тыс. л. н.) и полуострова Аачим (Аачим-база, 2,9 тыс. л. н.) (Диков 1979; Теин 1979; Питулько 2003).

Палеоэскимосская экспансия, исходившая с берегов и островов восточного Берингоморья (скорее всего, Бристольского залива) (см.: Akerman 1984:117, 118; Орехов 2001), шла не только по суше, но и по морю, обладая высокими технологиями морского промысла (включая поворотный гарпун). В локальных вариациях палеоэскимосские охотники ориентировались на местный набор ресурсов: комплекс денби на Аляске показывает сочетание охоты на карибу и тюленя (Giddings 1964:242), стоянка на о. Врангеля — белого гуся, моржа, лахтака и тюленя (Герасимов и др. 2003:85), стоянки на севере Гренландии — овцебыка, птиц и рыб (Fitzhugh 1984:530), по-

селение на мысе Крузенштерна — кита и тюленя (Oswalt 1967:236). Д. Дюмонд полагает, что носители Арктической традиции малых орудий добывали много дикого оленя, зависели от промысла проходной рыбы и выходили на берег для сезонной охоты на морского зверя (Dumond 1984:105). Охватывая огромное пространство Арктики от Чукотки до Гренландии, палеоэскимосская экспансия опиралась на синтетическую деятельностную схему приморского охотника-кочевника, предполагавшую сезонную локальную мобильность и движение по палеоэскимосской морской магистрали. Устойчивость и культурная целостность палеоэскимосского сообщества обеспечивались не столько единством происхождения, сколько постоянством связей. Иными словами, эта экспансия была не разовой и однонаправленной миграцией, а механизмом постоянного перетока и контактов в пространстве магистральной культуры.

Примерно в то же время, около 4 тыс. л. н., на востоке Северной Евразии развернулась экспансия ымыяхтахской культуры, очагом которой была долина Лены. Памятники этой традиции численно преобладают над стоянками предшествующих ленских культур и распространены от Таймыра до Чукотки (Федосеева 1980; Хлобыстин 1998). По мнению В. В. Питулько (2003:131), обилие ымыяхтахских памятников объясняется либо возрастанием численности населения, либо увеличением его мобильности. Л. П. Хлобыстин связывал прирост населения с похолоданием климата и отступлением лесов от Арктики: «появление широких просторов тундры и улучшение ее проходимости в связи с развитием вечной мерзлоты способствовали широтным перемещениям как в зимнее, так и в летнее время» (1998:86).

Вафельная керамика — один из признаков ымыяхтахской культуры — встречается вдоль Полярного круга далеко за пределами Ленской страны как на востоке (до Аляски), так и на западе (до Скандинавии): «культуру вафельной керамики можно считать единственной широко распространившейся в циркумполярной зоне» (Хлобыстин 1998:175–176). Если северо-восточный вектор влияния ленских культур можно считать древней традицией, то обнаружение вафельной керамики в Оленеостровском могильнике на севере Кольского полуострова (Гурина 1953:376; Окладников 1953:156), а также в Заполярье от Беломорья до Таймыра (Малоземельская и Большеземельская тундры, Ямал) свидетельствует об открытии нового пути миграций и контактов в тундровой по-

лосе центральной Евразии. А. П. Окладников, Л. П. Хлобыстин, К. Карпелан, В. С. Стоколос и другие исследователи допускают возможность стремительной миграции по тундрам Заполярья групп арктического населения с востока на запад Евразии (Окладников 1953; Хлобыстин 1998; Стоколос 2000). Однако, вероятность массового переселения по суше сомнительна, еще фантастичнее выглядят сквозные морские вояжи по Арктике в условиях похолодания климата 4–3 тыс. л. н. И в археологии речь идет не о смене культур, а об отдельных вкраплениях вафельной керамики в местные гребенчато-ямочные комплексы. Их можно считать следами «горячего контакта» или подвижной цепи контактов в Арктике, поддерживаемых сезонными миграциями, брачным обменом и военными конфликтами. При высоком уровне мобильности и адаптивности арктические культуры обладали ритмом коммуникации, благодаря которому новшество, воспринятое в одной части Заполярья, могло за короткий срок перекочевать в другую (см.: Головнёв 2004:27–28).

Ымыяхтахская культура не выглядит ориентированной на море, что не исключает эпизодического промысла морских зверей. Несмотря на близость к Арктике, она представляет собой традицию подвижных континентальных охотников, связанных с оленем настолько, что даже керамику они изготавливали с добавлением в тесто оленьего волоса. «Горячие контакты» ымыяхтахских охотников распространились по Арктике от Пацифики (стоянка Усть-Белая) до Беломорья (могильник Оленеостровский). Если связывать ымыяхтахскую экспансию с очередным поколением праюкагиров, то финал неолита и начало бронзового века можно считать временем активных связей между тундровыми культурами Евразии, благодаря которым растекались по Северу смешанные био-антропологические признаки, в том числе черты монголоидности североазиатского типа.

К западу от Енисея, на севере Урала и Восточной Европы, 5–4 тыс. л. н. распространилась неолитическая культура гребенчато-ямочной керамики, связываемая с северными прауральцами — предками финнов, саамов и самодийцев. Одним из главных очагов формирования гребенчато-ямочной традиции было Верхнее Поволжье, откуда она распространилась по всему северу Восточной Европы, включая Урал на востоке и Фенноскандию на западе (см.: Марк 1956; Мора 1956; Панкрушев 1964:40, 97; Лукьянченко 1980:31; Хлобыстин 1998:35; Головнёв 2004:25). Широтные свя-

зи указывают на устойчивые контакты населения от Фенноскандии до Урала как по системе речных путей, так и по тундровой полосе. Эта общность отчасти совпадает с реконструируемой неолитической прауральской «субарктической этнокультурной зоной», для которой в изобразительном искусстве характерны «культовые скульптуры медведя, лося, водоплавающей птицы» (Чернецов 1964:1–15). С тундровой полосой этой области связывается «культура охотников на оленей Северной Евразии» (см.: Симченко 1976).

Палеоуральская культура была пронизана как широтными, так и меридиональными контактами лесных промысловиков и тундровых охотников на оленей, разрабатывавших различные стратегии адаптации и движения. Если открытое пространство тундр располагало к высокой мобильности, то густая тайга с замысловатой сетью рек и озер делала необходимым освоение водных путей. В лесной полосе Европейско-Уральского Севера преобладали локальные (по речным бассейнам) связи и устойчивые маршруты коротких миграций в стиле «шага улитки». Тундровая полоса открывала простор для миграций, благодаря чему палеоуральские охотники оказались далеко на западе (в Фенноскандии) и востоке (на Таймыре). На этой тундровой магистрали развивался саамо-самодийский мир охотников на оленей, граничивший на востоке с ымыяхтахской культурой Восточной Сибири, а на западе — со страной скандинавских воинов-охотников-мореходов.

На севере Европы с неолита (5–4 тыс. л. н.) ключевую роль играла культура предков северных германцев, граничившая на востоке (в Беломорье) и в Арктике с палеоуральским миром. Ее главными атрибутами, помимо керамических воронковидных кубков, были боевые каменные топоры и ритуально-погребальные мегалиты (дольмены, «коридорные гробницы», каменные насыпи). Судя по расположению мегалитов на берегах, они возводились людьми, для которых граница моря и суши стала жизненной нишей. Мегалитическая традиция выразилась в бронзовом веке (около 3,5 тыс. л. н.) в сложившемся на севере Европы «нордическом круте» с монументальными курганами из камней до 5 м высотой, сооруженными на открытых морю прибрежных возвышенностях. Например, в Сконе возведенные на высоких мысах каменные курганы ведут из открытого моря в глубину фьордов, словно обозначая путь в гавань. Тут же на прибрежных скалах размещены тянущиеся на сотни метров полотна петроглифов с изображениями кораблей, колесниц, мор-

ского промысла, военных морских походов, воинов с торчащими penisами (Brønsted 1961; Лебедев 2005:80, 85). Общий настрой этой культуры, от самоутверждения в каменных курганах до рисунков агрессивно возбужденных воинов, передает ее высокий динамизм.

\*\*\*

Гипотеза единой циркумполярной культуры была и остается данью не то северному романтизму, не то антропогеографическому схематизму. Век назад ее обозначили на карте планеты среди прочих культурных кругов диффузионисты: Ф. Гребнер (Graebner 1911) связывал сходство арктических культур с особенной природно-географической средой; В. Тальбицер (Thalbitzer 1924) настаивал на общности происхождения арктических народов; Ф. Флор (Flor 1930) выявил «протосамоедский культурный круг», рожденный в Саянах и распространившийся на всю Северную Азию и Прибалтику; Г. Джессинг (Gjessing 1944) представил идею циркумполярной культуры как параллельное развитие двух культур — приморской и материковой. Поставить точку в растянувшемся на столетие споре пытались выдающиеся арктические исследователи этнограф Ю. Б. Симченко и археолог Л. П. Хлобыстин. Первый убеждал: «Археологические, лингвистические и антропологические материалы позволяют предполагать существование на определенном этапе в Заполярье Старого Света единого по происхождению населения, вошедшего в состав предков современного населения в качестве этнического субстрата. Это древнее население, наиболее вероятно, было уралоязычным и монголоидным по физическому облику» (Симченко 1976:40). Второй возражал: «Основываясь на изучении археологических памятников Евразийского Заполярья, мы приходим к выводу, что “циркумполярной культуры”, созданной этническим субстратом уральского происхождения, здесь не было» (Хлобыстин 1998:174). Менее категорична, но не более близка к финалу полемика на американском континенте, где смелая гипотеза Х. Ларсена и Ф. Рейни (Larsen, Rainey 1948) о миграциях в Новый Свет из Западносибирской Арктики по-прежнему не дает покоя антропологам, пытающимся подобрать адекватные толкования связям между Уралом и Аляской, рассматривая их как созданные не мигрантами, а «обменом идеями, верованиями, навыками искусства и ритуальной практикой» (см., например: Fitzhugh 1997:112). Сегодня очевидно, что циркумполярный мир был образован не

одной культурой, а несколькими, и механизм его существования изначально состоял во взаимодействии разных культур.

Сродни конструкту циркумполярной культуры гипотезы транс-арктических миграций в древности: о миграции из Азии в доледниковую Северную Скандинавию (Nummedal 1929), о переселении в верхнем палеолите мадленских охотников на каяках и каноэ из Европы в Северную Америку (Greeman 1963), о перемещении с запада на восток сквозь Евразию в Америку восточноевропейских верхнепалеолитических охотников около 28–26 тыс. л. н. (Müller-Beck 1966), о миграции предков эскимосов из Сибири в Новый Свет не только через Берингов пролив, но и вдоль арктических берегов Сибири по островам и льдам от устья Лены по северу Таймыра и далее по цепи островов Северной Земли, Земли Франца-Иосифа, Шпицбергена до Гренландии (Мак-Ги 1988).

Смелые сценарии, прочерченные на географической карте, не всегда соотносятся с реальностью. Например, при внешнем подобии Новосибирского и Североземельского архипелагов, Таймыра и Яно-Индигирского выступа, они существенно различаются по экологии, биоресурсам и, что самое важное, по расположению относительно магистральных путей древности. Северная кромка Таймыра осталась не освоенной ни древними охотниками, ни этнографически известными жителями полуострова нганасанами. Таймыр и соседний Гыдан были далекой периферией двух культурных миров — ленского и уральского. Огромный Таймыр с его пустынными северными тундрами и «мертвым» морем был реальной преградой между урало-скандинавским и ленско-тихоокеанским культурными мирами. Когда они вступали во взаимодействие, как это случилось на нижнем Енисее при столкновении двух магистральных культур Евразийской Арктики (североуральской гребенчато-ямочной и ленской ымыяхтахской), археология непременно отзывалась «синдромом циркумполярности» (см.: Головнёв 2004:27).

Старая антропогеографическая контроверза о миграциях культуры с людьми или без людей развернута в Арктике особой гранью. При крайней разреженности населения<sup>13</sup> связи на Севере невозможны без высокой мобильности, будь то сезонные перемещения или дальние переселения, ориентированные с запада на восток, как полагали Х. Ларсен и Ф. Рейни, или с востока на запад, как считали

<sup>13</sup> По расчетам Ю. Б. Симченко (1976:84), в древности на бескрайних просторах Евразийского Севера проживало около 10 тысяч человек.

исследователи культуры ымыяхтах. Общий ритм движения в Арктике во многом диктовался подвижностью звериного мира, почти сплошь состоящего из мигрантов: летом Арктика стремительно наполнялась жизнью, зимой — замирала. У народов Севера физическое движение до сих пор остается стержнем деятельностной схемы, пронизывая быт и хозяйство, явь и сон. Чукчи видят в нем главный источник тепла, подчеркивая, что мужчина должен согреваться собственной кровью, а не у очажного огня. Ненцы живут в кочевье, считая удобным то, что оседлым людям представляется крайним дискомфортом: частые сборы и переезды (в оседлых культурах «равные пожарам»), предельный минимализм быта, ориентацию жизненного ритма и дизайна на мобильность, а не на покой.

Все циркумполярные культуры — «хищные». Они созданы охотниками-мигрантами каменного века, лучше других (в сравнении с югом Евразии) сохранившими традиционные мотивы-действия палеолита: контроль над большим пространством, установки «зверя», «пастыря» (суперхищника). Ключевая палеолитическая мим-адаптационная «схема медведя» реализовалась на Севере в виде, например, жоховской модели «белого медведя» (хозяина Арктики). Скорее всего, на Севере родилась синтетическая природно-социальная схема союза человека и собаки, открывшая счет приручения, сделавшая человека властелином пространства и усилившая его роль пастыря зверей. Во многих отношениях окраины евразийской ойкумены — Америка, Арктика, море — были зонами рискованных экспериментов и инноваций. Циркумполярность по-своему венчала обжитое людьми пространство, и на Севере в полной мере сохранялся потенциал движения, обеспечивший распространение *Homo mobilis* по планете.



### Глава 3. Праздничность

*Родство, секс и власть. Празык и прародина.  
Оседлые и кочующие*

Расселяясь по планете, люди сохраняли биологическое единство, но делились на общности, называемые народами или культурами. Своей значимостью и загадочностью «народ» вызвал к жизни науку этнологию, и благодаря ее многолетним усилиям открылась впечатляющая панорама многообразия человеческих сообществ в их устойчивости и изменчивости. Многие проблемы этнологии связаны не столько со сложностью познания народов, сколько с самоопределением самой науки, движимой разнонаправленными мотивами: с одной стороны, она стремится решить «проблему народа», сведя ее к доказуемой теореме, если не лемме (в идеологическом варианте «решить национальный вопрос»); с другой стороны, этнология безостановочно генерирует знания о народах, утверждая их многообразие и значимость в мироустройстве и жизни человека, наращивая объем и сложность изучаемых явлений. Наукой движет свой механизм мотива–действия, один вектор которого направлен на «включение» (активацию) народа, другой — на его «выключение» (деактивацию). Зачастую исследователь руководствуется сразу двумя мотивами — разворачивает насыщенную этническую картину (включает) и сводит ее к концептуальным или идеологическим штампам (выключает). При этом выключение может мотивироваться как социальным заказом (дать рецепт политикам или урегулировать общественное мнение), так и персональными исследовательскими амбициями («овладеть» народом, подчинить его научной классификации).

Этнологические методологии различаются главным образом способами этого включения–выключения. Так называемые традиционалисты, примордиалисты и перенниалисты активируют «народ» как исконное явление и деактивируют его применительно к современности, считая народы сложившейся данностью, а этногенезы давно завершенными. Модернисты, конструктивисты и инструменталисты, напротив, деактивируют «народ» применительно к древности и активируют его в качестве конструкта (инструмента) недавних событий, например нациестроительства в Новое время (см.: Anderson 1983; Gellner 1983; Hobsbaum 1990; Smith 1999; Тишков 2003; Brubaker 2004). Те и другие по-своему искусны в

этнографических толкованиях, но излишне категоричны в отстаивании концептуальных приоритетов и стремлении средствами науки «обуздать народ», принудить его вести себя академично. Однако племена и народы проявляют упорство, «включаясь и выключаясь» по законам своей внутренней динамики, а не научной логики, и часто вне очевидной связи с иными общественными процессами — образованием или распадом государств, каст, классов. «Народ», будто воздух, оказывается везде и нигде, он иллюзорен и актуален. Его ключевые признаки — язык, территория, культура, управление, менталитет, название, самосознание — растяжимы и изменчивы настолько, что исследователи, отчаявшись найти среди них универсальный, устало призывают опираться на всю совокупность. Это многообразие породило даже своего рода этнофобию — отрицание народа как сущности и представление о нем как об иероглифе, за которым скрываются разнородные социальные реалии. Современные доктрины (интернационализм, мондиализм, глобализм) допускают возможность замещения или отмены устаревшего понятия «народ» как искусственного конструкта, созданного не то древними мифотворцами, не то хитроумными политиками, не то изобретательными учеными.

Разгоревшаяся в последние десятилетия дискуссия между сторонниками исконности народа (примордиалистами) и его искусственности (конструктивистами) существенно расширила диапазон народоведения и позволила отрешиться от ряда стереотипов. «Реквиём» В. А. Тишкова (2003) отпевает не народ как явление, а «этнос» как научный и идеологический штамп. Конструктивизм и инструментализм открывают деятельностный горизонт этничности, и народ предстает не статичной данностью, а живым явлением, творимым, используемым и преобразуемым реальными людьми, а отстаиваемая примордиалистами исконность народа оттеняет его устойчивость во времени. По существу, примордиализм и конструктивизм — взаимодополняющие измерения, одно из которых показывает стойкость этничности в череде поколений, другое — механизм ее действия. Понятие «этничность» удобнее «этнуса», поскольку обозначает сущность изменчивого явления, а не его конкретную форму.

Каждое поколение по-своему воссоздает этничность, и каждый человек заново становится эвенком или казахом. Поскольку поколения рождаются не сплоченными шеренгами, а плавным потоком, сдвиги этничности не всегда заметны современникам; к тому же

историческая память постфактум придает происшедшим переменам упорядоченный облик. Между тем дрейф этничности заметен даже в сравнительно недавней истории: например, за последние век-полтора немцы и русские сменили несколько государственных форм и национальных идеологов, хотя не всегда понятно, произошли ли эти перемены в текущей реальности или ее позднейшей оценке.

Чем глубже в пранторию погружается взгляд исследователя, тем туманнее выглядят общности, растворяясь в условностях археологических культур. Это создает иллюзию аморфности древних этнических форм и побуждает конструктивистов заявлять о недавнем рождении этничности, а примордиалистов — искать момент в этноистории, когда бесформенная масса людей складывается, наконец, в осознавший себя народ.<sup>1</sup> Чем богаче источники и виртуозней исследователь, тем больше он обнаруживает противоречивых проявлений этничности. У озабоченного стадияльным порядком историка эта множественность вызывает интеллектуальный протест, и он пытается, преодолевая сопротивление материала, навязать-таки народу акт-факт рождения или исчезновения. Тем самым он искусственно разрывает дрейф этничности, абсолютизируя один из эпизодов как зенит или надир этногенеза.

В действительности каждая этноистория — бесконечная череда перерождений. Какие бы причудливые формы ни принимала этничность, она живет в каждом поколении и остается постоянным генератором социальной материи. Ее изменчивость выглядит устойчивым свойством, восходящим к прачеловеческой стайно-стадности и древнейшим опытам экосоциальной адаптации. Жизнестойкость общности далеко не всегда выражается в фиксируемых характеристиках (переписях, административных границах), а отмечаемые летописцами и историками благополучные состояния народов вовсе не обязательно совпадают с реальными пиками этничности. Напротив, коллапсы и драмы вроде крупных войн, миграций или рассеяний (диаспор) нередко оказываются эпизодами мобилизации этничности, а политические триумфы — ее формализации. Дрейф этничности напоминает скорее цепь ситуативных реакций, чем линейную эволюцию, и его направление не копирует зигзаги политической истории: взлет этничности часто зарождается в политической смуте, а спад приходится на фазу социального благоденствия.

---

<sup>1</sup> Об «археологии идентичности» см., например: Ильхамов 2005.

Этничность сродни иммунной системе, которая активизируется при кризисах и вирусах, а в здоровом теле неприметна, будто дремлет.

Едва ли сегодня этничность более предсказуема и управляема, чем в древности. Играющий ею политик часто обнаруживает в своих руках ящик Пандоры, а не сосуд с послушным джинном. Впрочем не всегда ясно, политик играет этничностью или этничность политиком, тем более что они слиты в одном теле, сознании и подсознании. Национальные или интернациональные идеи и проекты в разных обстоятельствах могут вывернуться наизнанку и с разных позиций то прославляться, то осуждаться. Оттеняемая конструктивистами роль акторов нациестроительства всегда авантюрна и иногда трагична. Во все времена правитель-политик оказывался этноменеджером со свойственным эпохе инструментарием, будь то наряд из шкуры леопарда, верные легионы или средства массовой информации. При этом этничность, независимо от имперских или религиозных амбиций лидеров, была живой мотивацией, настраивавшей их отношение к подвластному сообществу.

Ссылки Б. Андерсона на надэтничность европейских правящих династий<sup>2</sup> как свидетельство недавнего происхождения «воображаемых сообществ» (наций) звучат убедительно, пока не сталкиваются с *déjà vu*: подобный статус или имидж задолго до эпохи печатного капитализма возвышал Кира и Камбиса над персами и мидянами, Филиппа и Александра — над македонянами и эллинами, Рюрика и Игоря — над варягами и славянами. Спор о приоритете в бесконечном диалоге этничности и политики напоминает размышления о курице и яйце, и народы ничуть не меньше, чем короли, достойны парафраза «Народ умер! да здравствует народ!». Более того, ранние истории, в том числе Геродотова, насыщены такой обстоятельной этнологией, что не оставляют сомнения в древности и значимости этнополитики.

Господствующая историография создает политоцентричную картину, в которой этничность если и проявляется, то успешно преодолевается. На самом деле правители во все времена не пре-

<sup>2</sup> «Романовы правили татарами и латышами, немцами и армянами, русскими и финнами. Габсбурги возвышались над мадьярами и хорватами, словаками и итальянцами, украинцами и южными немцами. Ганноверы управляли бенгальцами и квебекцами, а также шотландцами и ирландцами, англичанами и валлийцами... Какую национальность приписать Бурбонам, правившим во Франции и Испании, Гогенцоллернам, правившим в Пруссии и Румынии, Виттельсбахам, правившим в Баварии и Греции?» (Андерсон 2001:105).

небрегали ею, а плели из ее волокон свои управленческие стратегии. Антиэтничность империй соткана из того же сырья, что и проэтничность национальных восстаний. До сих пор, несмотря на важность экономики и успехи дипломатии, главный диалог идет между этничностью и государственностью, что выражено в Уставе ООН конфликтующими принципами права наций на самоопределение и государственной целостности. И надежды на их растворение друг в друге так же наивны, как утопии избавления от этничности или государственности.

Столь же беспочвенны предположения о де-этничности, до-этничности или этническом промискуитете древних обществ. Не исключено, что пранароды обладали яркой самобытностью и отличались друг от друга явственнее, чем сегодняшние сообщества, опутанные паутинами мировых религий, глобальными финансовыми, политическими и информационными сетями. Для понимания этничности важны не столько ее формальные признаки, сколько движущие мотивы и внутренние механизмы.

### *Родство, секс и власть*

В ранних культурах родство охватывает львиную долю социальных связей, удивляя исследователей разветвленными технологиями повседневных взаимодействий, семейно-общинной обрядности, гендерно-возрастных отношений. Родство как этничность в миниатюре,<sup>3</sup> хорошо выраженное в русском языке связью понятий род-народ, было и остается элементарным основанием устойчивой общности, системой взаимопомощи и безопасности. В этнографическом многообразии оно предстает не только и не столько фактом кровной связи, сколько экзистенциальной философией близости, реализующейся в закрепленных традицией поведенческих практиках. Родство тесно сплетено с мифологией, служащей, как полагал Б. Малиновский, рабочим инструментом социальности.

В противовес этнографическим реалиям научно-позитивистское толкование родства настроено на выявление прямых генетических связей и разоблачение квазигенеалогий. Отчасти это различие между практикой и теорией, которое в сравнении языка (словаря) и речи (общения) показал на лингвистическом материале Ф. де Соссюр, а на этнографическом — П. Бурдьё. Впрочем феномен родства

<sup>3</sup> П. ван ден Берге (Berghe 1995) считает, что народы — расширенные родственные союзы, построенные на тех же принципах близости и солидарности, что кланы и семьи.

не следует разрывать между полюсами практики и теории; скорее, это их симбиоз, в котором кровная связь выступает мерилем близости вообще. Родство было, пользуясь выражением А. Бастиана, элементарной идеей (*Elementargedanke*) и служило, переходя на язык Л. Леви-Брюля, основанием «закона сопричастности» (*loi de participation*) (см.: Bastian 1895; Lévi-Bruhl 1922).

Как мифологическая картина космоса была проекцией самого человека, так философия экосоциального пространства сложилась из элементарных понятий родства. Если экологическая адаптация представляла собой приспособление к среде и заимствование схем природы (мим-адаптации), то социальная распространяла человеческие отношения и поведенческие схемы на среду. Зверино-человеческие символы, обозначаемые терминами «тотемизм», «нагуализм», «фетишизм», выражали двусторонние природно-социальные связи. Родство охватывало не только людей, но и все обитаемое пространство, выражаясь в топонимии и других символах и маркерах территории, от курганов до петроглифов. Родство, распространенное на окружающую среду и ее обитателей, создавало «свою землю» — родину.

Движение родства могло расширять и перемещать «родину», причем помимо естественного размножения и расселения родственной группы действовали механизмы так называемого фиктивного, или символического, родства. Р. Г. Лоуи (Lowie 1920) и Б. Э. Петри (1924) отметили свойство родства объединять различные по происхождению, изначально неродственные группы. Таковы, например, механизмы территориального родства (*уела*) у бурят, союза «без конца» (*духа́*) у ульчей и нанайцев, «нового родства» у обских угров (Петри 1924:5–11; Смоляк 2001:14; Перевалова 2004:218–249). Родство охватывало «буквально все отношения людей»: у австралийцев «даже чужеземцы, после установления с ними дружественных отношений, непременно зачислялись в определенные родственные категории и назывались “старшими братьями”, “сыновьями сестер”» (Токарев 1990:68). У нуэров «через родственные отношения проявляются самые сильные чувства... и все социальные взаимоотношения обычно выражаются на языке родства» (Эванс-Причард 1985:199). У кочевников территориальные связи нередко облекались «в привычные формы отношений по родству» (Абрамзон 1970:65).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Панорама «фиктивного родства» может быть впечатляюще расширена (см., например: Ciszewski 1897:94; Bowers 1950:62–63; Makarius R. et L. 1961:91–133; Hogbin 1963:103; Геннеп 1999:32, 40–41).

Экспансия родства была способом колонизации новых земель. В древности, как и позднее, «новое родство» складывалось по территории, еде, войне, колдуну, вождю, культу, мифу, ритуалу. Усложняясь, оно превращалось в сеть отношений, включавших иерархию, систему долгов и обязательств. Выросшие из природной стайно-стадности, схемы родства распределялись в спектре травоядные–хищные и конкурировали между собой в социальном отборе. Простые схемы могли уступать по гибкости и устойчивости сложным синтетическим схемам, например «схеме пастыря», предполагавшей не только и не столько истребление добычи, сколько ее подчинение. Возможно, именно в конкуренции родства хищные и плотоядные неандертальцы проиграли социально гибким кромаignonцам, и успех *sapiens* с первых шагов был торжеством социальной инженерии и стратегии родства.

Наряду с родством, фундаментальным основанием близости и общности во все времена был секс. Родство и секс близки и подчас выглядят гранями одного явления: секс образует родство в потомках, а родство регламентирует сексуальное поведение. На индивидуальном уровне мотивы родства и секса различаются и осознаются едва ли не противоположностями (на чем основана экзогамия). В социальном пространстве родство и секс служили «двумя ногами» движения. Широко распространенные в преданиях и практике разных народов дальние поездки за женами были едва ли не универсальным механизмом экспансии родства-свойства. В древности, как и в этнографической современности, заключение брака связывало территории и их обитателей, и брачные связи были нередко шагами в освоении новых земель.

При очевидной биосоциальной значимости секса, наука, в том числе антропология, предельно скупа на адекватные размышления. По замечанию З. Лев-Старовича, «из всех направлений сексологии (климатической, судебной, социальной, психофизиологической) именно сексология культур является особенно убогой, и работ, посвященных ей, в мире пока мало» (Лев-Старович 1991:165). Будто соревнуясь в воздержании со священнослужителями, ученые упорно подменяют реальную чувственность отвлеченными категориями, и на месте мощного влечения оказываются символы, нормы и институты вроде магии плодородия, форм брака и гендерных ролей.

Антропология движения не может удовлетвориться формальностями, поскольку отыскивает реальные побуждения. Секс, обстро-

енный громадой ритуалов, мифов и норм, представляет собой не отдельную сферу отношений, а всеобщий и постоянный мотив поведения. Гиперсексуальность человека, не ограниченная циклами спаривания, отличает его от большинства животных и является видовым свойством. Лукавство, с которым люди пытаются откреститься от этого достоинства, выражается в клеймении похоти как «животной страсти», хотя животные — пуритане в сравнении со сверхсексуальными людьми. Во многом именно повышенная сексуальность вела пралюдей к сложным социальным отношениям, обособившим их в природном царстве. И по сей день деятельностные схемы в различных культурах сущностно мотивированы сексуальностью.

Ни одна религия не обошла вниманием сексуальность, либо культивируя ее (тантризм, даосизм, дзэн-буддизм, многие традиции Африки, Океании, Евразии, Америки), либо ограничительно регламентируя (христианство, конфуцианство). Опыт многовековой «борьбы с сексом» христианства подтверждает стойкость человеческой натуры. Одолев, казалось, низменные пороки, европейская цивилизация в конце прошлого века вдруг вспыхнула сексуальной революцией, во многом превзошедшей предковый пещерный натурализм с его пластикой женской наготы и торчащими напоказ фаллосами. Для искушенных в искусстве любви (арс аманди) индийцев и представителей других сексуально свободных культур подобное прозрение европейцев могло показаться забавным, но вполне естественным.

Каждая культура обладает самобытным стилем сексуальности. В обширный круг ее проявлений входят приемы арс аманди, средства привлечения (прическа, окраска тела, запах, татуировка, одежда, гигиена тела), ритуалы ухаживания (танец, диалог, жесты), обряды инициации и брака, мужской и женский язык, визуальное, музыкальное и другие искусства (см.: Лев-Старович 1991). По замечанию И. С. Кона, «принятые у разных народов нормы сексуального поведения, включая его эротический код и технику, не могут быть поняты из самих себя или общих закономерностей репродуктивного поведения. Они всегда соотносятся со свойствами культуры и конкретного образа жизни». При этом «очеловечение» полового инстинкта означает не что иное, как его подчинение определенным социальным нормам. Все культуры, от просексуальных до антисексуальных, по-своему осуществляют контроль над сексом. Как гласит старокитайский даосистский текст, «искусство спаль-



ни образует вершину человеческих чувств, оно указывает высший путь — дао. Поэтому совершенномудрые правители древности выработали детальные правила половых сношений... Тот, кто управляет своими сексуальными наслаждениями, будет жить в мире и достигнет старости. Если же он отдастся во власть этих наслаждений, пренебрегая изложенными правилами, он заболит и повредит собственной жизни» (Кон 1990:112, 118, 121, 126).

Регулирование сексуальности включает как поощрительные (оргии, браки), так и ограничительные (экзогамия, этика) нормы. Своим обостренным и неиссякаемым интересом к экзогамии наука оттеняет значимость этого древнейшего универсального табу.<sup>5</sup> Однако многочисленные попытки истолковать экзогамию как закреплённый традицией социальный институт неизменно наталкивались на контрапункты и многообразие конкретных форм. В основе экзогамных запретов виделось инстинктивное отвращение к кровосмешению и столь же инстинктивное влечение к чужим женщинам (Lowie 1920:15–16; Hankins 1928:634–635). Б. Малиновский утверждал, что экзогамия сочетает практику подавления инцеста и путь к установлению контактов между группами (Malinowski 1959:35; 1960:208). А. М. Золотарев (1931:36) усматривал в ней не столько негативный, сколько позитивный смысл межродового обмена и экономических связей. К. Леви-Строс толковал ее как язык межгруппового общения, в котором «словами» выступали циркулирующие между кланами женщины; при этом запрет инцеста, создававший хаос внешних сношений, упорядочивался разумом, придававшим экзогамии облик древнейшего проявления взаимности (Lévi-Strauss 1969:481; Леви-Строс 1985:58). Сочетание в экзогамии замкнутости (внутри) и развернутости (наружу) показывает, что она была не статичным институтом, ограничивающим или поощряющим брачные связи, а универсальным свойством сексуальной стратегии, порождавшим на практике многообразие форм (билинейность, локальность, дуальность).

Гиперсексуальность — не просто экзотическая черта человека, но и атмосфера повседневности, плавильный котел потребностей и интересов, напряженное поле конкуренции, выбора решений и действий. Интенсивность сексуального поведения породила «человека экзогамного» и обусловила роль экзогамии как преобразователя сек-

<sup>5</sup> «Попросите десять этнографов назвать один универсальный институт, и девять из них назовут, вероятно, запрет инцеста» (Lévi-Strauss 1969:10).

суальной энергии в сложную социальную активность. Обилие брачных, гендерных и ассоциированных с ними явлений культуры — во многом плод переработанной сексуальности. Движение жизни вообще, и человеческой в частности, сущностно обусловлено половым влечением. Сверхсексуальность сделала людей сверхмобильными в различных измерениях, от танца до миграций. *Perpetuum mobile* человеческой культуры всегда работал на сексуальной энергии.

Сравнивая народы Севера и Юга, Гельвеций заключал, что «у диких народов Севера, часто подвергающихся голодовкам и постоянно занятых охотой и рыбной ловлей, все идеи порождаются голодом, а не любовью; эта потребность является зародышем всех их мыслей, поэтому почти вся работа их ума вращается вокруг ухищрений, необходимых при охоте и рыбной ловле, и изысканных средств к предотвращению голода. Напротив, у цивилизованных народов любовь к женщинам является почти единственным двигателем» (Гельвеций 1974 1:387). В действительности сдержанная сексуальность северян вовсе не снижала ее значимости как мотива действий, а в ряде случаев, напротив, придавала их поведенческим стратегиям размеренную, но устойчивую сексуальную направленность.

Миграционная активность также подогревалась сексуальностью, направляемой и преобразуемой социальными регуляторами вроде экзогамии и матримониальности. Экзогамия предопределяла поиск свежего сексуального партнерства и дальние походы за женщинами. Этот универсальный запрет-стимул не только поддерживал широту сексуальных контактов, но и поощрял экспансию групп. Если хозяйственные передвижения строились на экономии и рациональности, то сексуальные поиски легко преодолевали грань здравого смысла и превращались в рискованные авантюры, воспетые легендами. Никакой другой промысел и голод, кроме сексуального, не вел героев так далеко, как «охота на женщин». В русских сказках за тридевять земель в тридесятое царство ходили не за едой, а за красавицами. По тунгусскому преданию (Неупокоев 1926:29–30), охотники совершили немыслимую миграцию от «холодного моря» (Ледовитого океана) до «большого моря» (озера Байкал) только потому, что «у них было много мужчин, но мало женщин», а у узкоглазых баргутов с длинными косами, живших на берегах Байкала, «было много женщин». Примечательно, что шаман Кындыгир, склонивший сородичей к переселению, узнал о баргутах в ходе девятимесячной «охоты», не принесшей, судя по легенде, иной добычи, кроме новостей о женщинах.

Секс легко перешагивает этнические границы и позволяет различить эти границы с обеих сторон, изнутри и извне. «Мера секса» служит самым чувствительным определителем отношения к соплеменникам и иноплеменникам — от эпизодически острого сексуального любопытства к «иному» до устойчивого брачного предпочтения «своего». В пространстве, где долговременные сексуально-брачные связи переслаиваются генетическим и символическим родством, образуется поле этничности. Это поле, расширяемое экзогамией и ограничиваемое эндогамией, может сжиматься и раздвигаться, менять формы и очертания под воздействием войн, миграций, религий, идеологий, которые иницируются вождями и элитой. Впрочем вожди не менее, если не более, чем прочие люди, мотивированы в своих действиях сексуальностью и родством, благодаря чему образуется круговорот норм и ценностей, покоящихся в основании этничности и воспроизводимых активностью элиты.

Брак и секс во многих культурах определяли статус мужчин, особенно вождей, отличавшихся многоженством и правивших землями посредством матримониальных связей. В животном мире гаремный секс обычно составляет привилегию лидеров, тогда как моногамный является уделом слабых самцов. Люди унаследовали эту схему, хотя подвергли ее многочисленным ограничениям и регламентациям. Среди китайской знати полигамия была утверждением статуса «землевладельца», поскольку женщины ассоциировались с землей *инь*. В арабской традиции, олицетворенной на склоне лет пророком Мухаммедом, каждая победа над неверными венчалась очередным браком (Лев-Старович 1991:60, 151). Во всех культурах вождям принадлежали сексуальные привилегии, в том числе контроль над браками подданных: стойкой традицией этого рода было право первой ночи (*jus primae noctis*) в средневековой Европе. Со своей стороны, подданные всегда испытывали острый интерес к связям и бракам вождей, а в некоторых культурах сексуальность вождя считалась залогом всеобщего плодородия.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> У живущих на берегах Белого Нила шиллуков было принято следить, насколько вождь удовлетворяет своих многочисленных жен. О первых же признаках сексуальной немощи жены ставили в известность старейшин, и те отмечали вождя «белой меткой». Вскоре его вместе с достигшей совершеннолетия девственницей запирали в хижине, где он погибал от голода и духоты. Необходимость убийства слабого вождя шиллуки оправдывали тем, что «вместе с его одряхлением начнет болеть и перестанет давать потомство скот, на полях сгниет урожай, и все больше людей будет умирать от болезней» (Фрэнсер 1986:255).

Третье измерение и основание этничности — власть. Искусство подчинения стаи-стада (этноса)<sup>7</sup> с древнейших времен предполагало иерархию «вождей и людей». Этот порядок уходит корнями в социальное поведение пралюдей и представляет собой ключевой принцип организации природы. Я присоединяюсь к призывам расстаться с наукомифом о первобытном коммунизме или изначальном эгалитаризме, имеющим мало общего с реалиями антропологии и этологии. Более того, позволяя себе эволюционистский росчерк, готов допустить, что в праистории власть жестче и грубее направляла общественную жизнь, чем это происходит сегодня, и социальное развитие состояло в ее формализации и специализации по мере роста бюрократии и демократии.

Голландский этолог Ф. де Ваал, автор книги с красноречивым названием «Политика у шимпанзе. Власть и секс среди обезьян», отмечает, что у социальных животных наблюдаются иерархия, господство и другие явления общественной жизни человека. По его наблюдениям, в борьбе за высокий статус среди шимпанзе самцы создают коалиции и плетут интриги. Они более агрессивны и амбициозны, чем самки, и в зависимости от признания или непризнания их ранга в колонии демонстрируют эмоции, напоминающие гордость или ярость (см.: De Waal 1989; 1999:94–99).

Российский этолог В. Р. Дольник, сравнивая поведение приматов и людей, обнаруживает общую для всех иерархию самцов, построенную по возрастному признаку. У горилл высший и непрекаемый статус принадлежит старшему самцу с седой спиной. У обитателей саванн павианов правят старшие самцы-иерархи; в случае опасности группу охраняют построенные в каре боевые отряды самцов, которые способны вступать в бой с леопардом и жертвовать в схватке собственной жизнью; иерархи контролируют территорию, самок и ревностно оберегают свой статус. У макак иерарх наказывает провинившегося, а подчиненные особи ретиво его поддерживают; особенно усердствуют в судилище «подонки», занимающие дно пирамиды, которые в угоду вожаку кричат на провинившегося, плюют, швыряют в него камни и кал (Дольник 1994:68, 119–120, 125, 141, 143, 146, 148, 154).

Значимость иерархии у приматов указывает на ее естественные корни, что подтверждается и общеизвестным пристрастием детей,

---

<sup>7</sup> У Гомера «этнос» — группа, толпа, рой, стая; у Софокла — сообщество зверей, у Аристотеля — сообщество варваров (Тишков 2003:97).

по большей части мальчишек, к выстраиванию отношений власти–зависимости. Поддержание иерархии при отсутствии формализованных институтов управления требует от вождя постоянного тонуca лидерства: он сам генерирует власть и олицетворяет ее, тогда как в условиях государства статус вождя обеспечивается целой системой готовых нормативных инструментов, символов и ритуалов. Не государство рождает иерархию, а иерархия в своем развитии обуcтраивается в виде государства; при этом иерархические отношения в какой-то степени упрощаются, принимая облик заданных схем поведения и диалога. Общество, построенное на «живой иерархии», представляется не менее сложным по функциям и системе контроля, чем многие политии с их застывшей иерархической структурой.

Параллели в общественном поведении приматов и людей свидетельствуют об универсальности иерархии как социального механизма. Без нее сложная общественная система «не способна адекватно реагировать на внешние возмущения и внутренние стрессы и в конечном счете обречена на распад» (Крадин 2004:116). Этнография и история полны иллюстрациями правления и культа вождей и царей, однако для феномена власти, особенно в этническом измерении, не меньшее значение имеет функция зависимости–подчинения. Как убеждал Э. Дюркгейм, основание всякой власти нужно искать «не в особом положении управляющих, но в природе управляемых ими обществ» (Дюркгейм 1991:186).

Многие современные толкования власти (особенно бихевиристские и постструктуралистские) не сводятся к описанию институтов и форм правления, а охватывают всю пирамиду отношений, от основания до вершины. Эта пирамида в государствах подчинена единому дизайну, но состоит из множества слоев и клеток власти, различных по мотивации и ориентации. Правитель по-своему зависим от громады управления, а раб по-своему властен в своей рабской нише. Общественно ничтожный человек может быть домашним деспотом, жена — править мужем, ребенок — тиранить кошку. Власть над своими убеждениями, чувствами, делом, имуществом дает человеку условную независимость от формальных структур управления. Возможно, баланс власти и зависимости в каждом человеке примерно одинаков, но их конфигурация и сферы реализации индивидуальны.

Клетки власти соотносятся с социальными нишами отдельных людей. На их пересечении образуются отношения соподчинения,

выстраивающиеся в иерархию. Пирамида власти напоминает муравейник, сложенный из множества «индивидуальных властей». Однако ни одна из них, включая верховную, не охватывает всей совокупности деятельностных схем, что создает функцию связи-зависимости, реализуемую агентами управления. По сложности антропоценоз сродни биоценозу, и его многообразие исходно связано с серией мим-адаптаций, благодаря которым люди усвоили-присвоили природные схемы в широком спектре от травоядных до хищных. В дальнейшем уже социальные мим-адаптации — усвоение-присвоение чужих деятельностных схем и выработка на их основе синтетических — пополняли спектр общественных практик. Появление агентов управления, для которых деятельностным полем была собственно иерархия, а миссия состояла в соподчинении и использовании других деятельностных схем, было триумфом социальности.

Если экологическая адаптация и ранние формы хозяйства представляли собой усовершенствованные природные схемы добывания пищи, то социальная адаптация с участием агентов управления означала соподчинение деятельностных схем, разделение их на управляемые и управляющие. Это было развитием предшествующих природных отношений травоядных и хищников и в то же время их новым качеством, когда объектом промысла (добычи) выступало не стадо животных или поле злаков, а общность людей. Иначе говоря, пользователи природы оказались в пользовании агентов управления, выделившихся в социальную элиту. Управление людьми, включая войну, культ, насилие и благодеяние, превратилось в разветвленную схему власти — поле деятельности элиты.

Как конкретные схемы промысла зависели от поведения зверей или циклов вегетации, так конкретные схемы власти зависели от поведения охотников или собирателей. Успешнее схемы власти развивались на теле «травоядных» (собираТЕЛЬСКИХ) сообществ, лишенных, в отличие от охотников, выраженных качеств хищника. Не случайно первые громоздкие системы господства выросли в самых «травоядных» (собираТЕЛЬСКО-аграрных) областях южного пояса Азии. Становление производящего хозяйства как преобразование собирательства в земледелие произошло, вероятно, не по желанию самих собирателей, а по воле управляющей ими элиты. По существу, земледелие — организованное собирательство, и земледельцами стали «собранные собиратели». В этом смысле

«управленческая революция» предопределила и повлекла за собой эпохальные цивилизационные явления неолита.<sup>8</sup>

Формирование элиты — «собирателей собирателей» или «пользователей пользователей» — могло происходить только в среде носителей «схемы хищника» с ее контролем над пространством, привычкой к схваткам и добыче, навыками преследования и облавы. Возможно, успешные схемы социальных хищников сложились уже в палеолитической конкуренции с пещерными медведями, львами и неандертальцами. Первые признаки крупных организованных сообществ людей приходятся на начало голоцена, время истребления мамонтовой фауны и кризиса крупной загонной охоты. Вероятно, именно тогда «загонщики» переключились со стад зверей на сообщества людей. К тому же времени относятся первые опыты приручения диких животных (собак, коз, овец). Скорее всего, в круг приручаемых попали и группы собирателей.

При универсальности естественной (этологической) иерархии как свойства и регулятора человеческих сообществ искусственная (государственная) иерархия возникала в условиях столкновений (контактов и конфликтов) различных сообществ. Государство — это иерархия в квадрате, система, сложившаяся при соподчинении иерархий. Конкуренция иерархических схем была обычным делом в ходе миграций и колонизаций, достигая апогея в войнах. Ни один промысел не требовал столь мощной социальной мобилизации, как «охота на людей», и именно в войнах происходил отбор успешных иерархических схем.

Мыслителям античности было ясно, что «война — отец и царь всех вещей: из одних она делает богов, из других — людей, одних делает свободными, других — рабами» (Гераклит). И. Кант видел в войне всеобщий двигатель миграций, который природа избрала для расселения людей. «И что, кроме войны, которой природа пользуется как средством для повсеместного заселения земли, могло загнать эскимосов на север, а пещерсов на юг Америки до Огненной Земли» (Кант 1995:456–457). Роль войн в происхождении государств неизменно подчеркивается со времен Л. Гумпловича (Gumplowicz 1883) и Ф. Оппенгеймера (Oppenheimer 1914). Война учреждала, а послевоенный мир утверждал отношения зависимости и подчинения в

<sup>8</sup> Обычно предполагается обратная зависимость. Например, согласно известной гипотезе К. Виттфогеля, нужда в масштабной ирригации вызвала к жизни государственность (Wittfogel 1957).

иерархии победителей и побежденных. Не абсолютизируя провозглашенное Л. Гумпловичем высшим законом социального развития «стремление каждой социальной группы подчинять себе каждую другую социальную группу, встречающуюся на ее пути, стремление к порабощению, к господству» (Гумплович 1895:68), следует отдать должное «завоевательной» теории в ее сосредоточенности на войнах между племенами (расами, ордами) как источнике политического насилия, сословий и государственности.

Ничто так прочно не сплавливает народ, как война, и ничто так глубоко не врезается в народную память. Будучи пиком мобилизации, насилия, страдания и торжества, война может объединять и раскалывать сообщества, подрывать и укреплять позиции элит, преобразовывать государства и народы. С войнами связаны массовые миграции, потери и обретения родины, рождение новых и крушение старых династий. До сих пор политика не открыла ничего более действенного для «сплочения нации» и ничего более рискованного для ее судьбы, чем война. В этом смысле выделяемая «завоевательной» теорией межэтническая война с установлением господства победителей над побежденными (с классическими примерами из истории спартиат, ариев, инков) — лишь один из сценариев политогенеза и этногенеза.<sup>9</sup> Однако и в большинстве других случаев статус народов и их вождей определялся или испытывался в войне. В дрейфе этничности война была главным фактором разрывов, сплочений и иных переломных преобразований.

Поскольку война всегда связана с «искусством движения» (включая тактику рейдов и кампаний, приемы боя, военные танцы, спортивные и интеллектуальные игры), преимущество в конфликтах и инициатива их развязывания были заведомо на стороне мобильных сообществ. Власть как «искусство движения» связывала массы людей на больших пространствах (если речь идет не о коралловых островах, а о Евразии), превращая их в царства и империи. При этом агенты управления — вожди и их воины — нередко

---

<sup>9</sup> «Почти во всех государствах неевропейского культурного круга управляют вторгшиеся в них завоеватели-чужеземцы. Сознание национальной связи возникает лишь позднее и пробивает себе дорогу в виде государствообразовательной силы, когда вступают в дело и умственные интересы народа. Почти во всех странах Земли, представляющих более крупные политические единицы, мы находим поэтому различные национальности, стоящие сперва выше других, а затем рядом с ними; лишь в небольших государствах одно племя образует с самого начала весь народ» (Ратцель 1902:140).



мигрировали «над народами», становясь элитным или кастовым сообществом с особым стилем мобильности. Из бывших охотников-загонщиков сложились целые сообщества, жившие войной как промыслом и знавшие цену движению.

### *Праязык и прародина*

Иногда складывается впечатление, что праистория бурлила гигантскими миграциями, начиная с экуменического расселения *Homo sapiens* в верхнем палеолите. Пространственно обширные культуры каменного века существовали благодаря постоянной коммуникации — не разовой миграции и даже не серии миграций, а движению как системе, в которой импульсы расселения и локальной адаптации сочетались с поразительной контактностью, сохранившей единство человечества как вида. Эпоха неолита тоже представляется временем больших передвижений: С. А. Арутюнов допускает возможность увязать с неолитической революцией «лавинообразное распространение» ностратических языков<sup>10</sup> и говоривших на них древнейших земледельцев и скотоводов Переднего Востока (Арутюнов 1982:74–75). По другим глоттохронологическим расчетам, примерно в то же время, около 7 тыс. л. н., три основные североевразийские языковые семьи — индоевропейская, уральская и алтайская — существовали в виде праязыковых общностей (пранародов), которые вскоре начали распадаться то ли в ходе, то ли вследствие, то ли независимо от технологических преобразований неолита.

Метод глоттохронологии популярен, поскольку позволяет получить конкретные даты жизни пранарода, позднее распавшегося на известные ныне народы-ветви. Будит фантазии мысль о том, что лишь несколько тысячелетий назад предки англичан и пуштунов, русских и французов, греков и исландцев говорили на одном праязыке и, следовательно, были единым сообществом. Впрочем лингвистов увлекает не образ пранарода, а возможность унифицировать до математической формулы ход языковой истории: основоположник глоттохронологии М. Сводеш (Swadesh 1971), вдохновленный успехами радиоуглеродного датирования в археологии, предложил подобный метод «полураспада» для языков, толь-

<sup>10</sup> Датский лингвист Х. Педерсен выдвинул гипотезу о ностратической языковой семье, объединяющей многие языки Евразии и севера Африки: индоевропейские, уральские, возможно, семитские, алтайские и эскоалеутские (Pedersen 1931:338). Позднее «ностратическое родство» стали распространять на афразийские, картвельские, дравидийские языки (Иллич-Свитыч 1971).

ко образцами для анализа взял не органические останки, а 100- или 200-словные списки базовой лексики. Оставляя в стороне погрешности привлекаемого «сырья» (отбор слов, качество словарей, сопоставимость литературных и бесписьменных языков), следует обратить внимание на сердцевину метода. Если радиоуглеродный анализ основан на эмпирически установленном периоде полураспада  $^{14}\text{C}$  в  $5730 \pm 40$  лет, то в глоттохронологии используется условный срок в 1000 лет, за который в 100-словном списке теряется 14 %, а в 200-словном — 19 % соответствий. При условной мере единства языковых семей (эта мера и служит критерием их структурирования) две «условности» замыкаются сами на себя, и все языковые семьи планеты оказываются ровесницами в возрасте по 6–7 тыс. лет. Следовательно, заданными правилами расчета определяется не реальный возраст праязыка, а степень близости сопоставляемых языков в условной временной точке на основе лексикостатистики, как иногда более точно называется этот метод.

Анализ М. Сводеша исходит из допущения, что дружно возникшие 7–6 тыс. л. н. языковые семьи впоследствии так же дружно и неуклонно распадались. Между тем социолингвистика показывает как расхождения, так и схождения диалектов и языков. Недавние схождения — в виде экспансий литературных языков — принято списывать на книгопечатание и масс-медиа, однако эта тенденция доминирует уже полтысячелетия и обнаруживает внутренние вариации, как видно на примерах близкородственных исландского и норвежского языков. В становлении и успехах литературных языков ключевую роль играла столичность: литературным английским стал лондонский диалект, французским — парижский, русским — московский.

Языки бесписьменных и безгосударственных сообществ развивались по своим сценариям, главное место в которых занимала система коммуникации. При почти равной численности тундровые ненцы говорят на одном языке, распространенном на огромном пространстве от Белого моря до Таймыра, а их соседи обские угры объясняются на двадцати диалектах, сводимых в семь групп, соответствующих самостоятельным языкам. Это различие объясняется высокой контактностью кочевников-ненцев и замкнутостью таежных групп обских угров.

Подобная зависимость языка от уровня подвижности устанавливается на древнем Востоке, где земледельцам разных оазисов и

долин была свойственна языковая раздробленность, а посредниками в их общении выступали племена скотоводов. Язык скотоводов превращался в средство межэтнического общения, а затем и вовсе вытеснял местные говоры. В Перу распространение языков кечуа и аймара правдоподобнее связывать не с расцветом цивилизаций уари и тиауанако, а с их гибелью и языковым влиянием скотоводов хаки-аймара (Березкин 1991:30).

В названных случаях глоттохронология грозит путаницей, толкая о монотонном распаде там, где происходила интеграция. Если учесть, что подвижные культуры играли ведущую роль на протяжении всей праистории и истории Евразии, в том числе в эпоху неолитической революции, то гипотезе Сводеша остается ютиться на островах, и то при условии их изоляции. В действительности редкий народ, особенно на открытых пространствах, сколько-нибудь долго «отдыхал» от внешних контактов (горцы представляют в этом ряду исключение в силу их естественной изолированности, подкрепляемой иногда эндогамией). Следовательно, языковое схождение играло не менее заметную роль в праистории и формировании языковых семей, чем расхождение.

В линейной концепции распада особое место занимает поиск прародины, в котором первенствуют опять-таки лингвистические реконструкции. У многих народов выявляется несколько прародин или существенных связей с различными территориями, благодаря чему всякий раз возникает микроверсия переплетения моноцентризма с полицентризмом. Если прародиной Ното, включая *sapiens*, была Восточная Африка (с миграционным ближневосточным трамплином), то общей прародиной народов Северной Евразии можно считать евразийскую горную цепь от Пиренеев до Хингана, с глубокой древности служившую главной магистралью переселений и контактов. Естественными пределами перемещений оказывались Европа и Восточная Азия, где сформировались самобытные «щиты палеолита», которые, превратившись из накопителей в генераторы, во все последующие эпохи оставались базовыми очагами евразийского культурно-расо-глоттогенеза.

По наблюдениям С. А. Арутюнова, на этнической карте мира различаются две обширные зоны расселения народов «западного» и «восточного» происхождения. В западном центре процессы неолитизации происходили среди европеоидного населения, говорившего на ностратических диалектах, в восточном — среди монго-

лоидного населения, относившегося к тихоокеанскому языковому стволу. К «западным» относятся языки Африки (банту и суданские), семито-хамитские, индоевропейские и другие, включенные в ностратическую надсемью, распространенную в Передней и Южной Азии, Европе и Северной Евразии. «Восточная» языковая общность (тихоокеанский ствол) представлена сино-тибетскими, аустро-азиатскими (мунда и мон-кхмерскими) и аустронезийскими (малайско-полинезийскими) языками народов Восточной и Юго-Восточной Азии. Впрочем, если принять во внимание гипотезу о сино-кавказской макросемье (см.: Старостин 1984:19–38), генетической пропасти между «западными» и «восточными» языками не обнаружится (Арутюнов 1982:67, 75; 1989:62).

Три основные семьи Северной Евразии — алтайская, индоевропейская и уральская<sup>11</sup> — признаются отдаленно родственными на ностратической основе. Если понимать под родством не только генетическую кровную связь, но и стратегию близости (в том числе символическое родство как практику реального взаимодействия), то праистория этих семей может быть представлена не постепенным распадом на языки, а ритмом схождения и расхождений. В самом общем виде этот ритм определялся пиками динамики и статики: миграция вызывала интеграцию, оседание — ветвление языков.

Прародину индоевропейцев<sup>12</sup> исследователи отыскивают по всему пространству западной Евразии, в том числе в Индии (Schleichер 1861–1862), центре Европы (Devoto 1962), на севере Европы (Рааре 1906; Kossina 1936), Балканах (Дьяконов 1982), в Передней Азии (Гамкрелидзе, Иванов 1984), Анатолии (Renfrew 1987), европейских степях (Childe 1926; Gimbutas 1970), циркумпонтийской области (Черных 1988). Реконструкции основаны на различных ракурсах и источниках — архаичности того или иного языка (например, санскрита), палеолингвистике, топонимических ареалах, археологиче-

<sup>11</sup> Названия семей, при всей условности, дают удобные географические ориентиры: языки уральской семьи распространены примерно на одном расстоянии к западу (венгры, саамы) и востоку (нганасаны, саянские самодийцы) от Урала; Алтай находится в центре пространства алтайских народов от турок и гагаузов на западе до эзенов и маньчжуров на востоке; Индия и Европа обозначают восточный и западный рубежи раннего расселения индоевропейских народов.

<sup>12</sup> К индоевропейской семье относятся балтские, германские, индоиранские, кельтские, романские, славянские, греческий, армянский и албанский, а также древние анатолийские, фракийские, иллирийские, скифские и тохарские языки.

ских связях — и допускают многослойность понятия «прародина». Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов, настаивая на изначальности переднеазиатской прародины, предполагают существование более поздней (вторичной), степной прародины, откуда происходило расселение индоевропейцев по сценарию М. Гимбутас.

Каждая из основных версий — переднеазиатская, европейская и степная — по-своему убедительна и имеет веские основания. Локализация индоевропейской прародины в Передней Азии соответствует реконструируемому в праязыке горному ландшафту («горный дуб», «бук», «граб», «ясень», «грецкий орех», «виноград», термины гор и быстрых рек), южной флоре и фауне («барс», «лев», «обезьяна», «слон», термины виноградарства и земледелия), связям с семитскими и южнокавказскими языками, близости к древнейшим упоминаемым в источниках индоевропейским сообществам (хеттам, лувийцам, крито-микенским грекам), географически срединному положению между западными и восточными индоевропейцами. Именно здесь, согласно гипотезе, развивались выраженные в праязыке ранние технологии земледелия, пастушеского скотоводства, колесного транспорта (Гамкрелидзе, Иванов 1984; Гамкрелидзе 2005).

Европейская версия исходит из факта заселенности континента народами индоевропейской семьи (за исключением уральцев на крайнем северо-востоке и загадочных басков на западе) с соответствующими топонимическими, археологическими, физико-антропологическими подтверждениями. Поиск эпицентра внутри Европы (на западе, севере, востоке, юге, в центре) привлекает внимание к горным странам от Пиренеев до Альп, стойкому влиянию севера (в физической антропологии) и юго-востока (в археологии). Европа представляется исходным очагом древних культур (например, воронковидных кубков), сыгравших заметную роль в распространении индоевропейцев от Атлантики до Азии.

Степная (курганная или древнеямная) гипотеза основана на интерпретации археологических культур больших пространств, прежде всего ямной в степях Европы, как полигона мощных миграций, благодаря которым индоевропейцы сумели столь широко расселиться и распространить свое влияние. Предполагается, что 6 тыс. л. н. скотоводы-протоиндоевропейцы начали походы из южнорусских степей в Европу и Переднюю Азию. Им «понадобилось менее одного тысячелетия, чтобы завоевать или ассимилировать ряд сельскохозяйственных балканских и центральноевропейских культур, а

также подчинить своему образу жизни североевропейские племена охотников и рыболовов» (Gimbutas 1970; Гимбутас 2004:19).

Как видно, три гипотезы по-разному мотивированы и выстроены: одна ищет южных ближневосточных корней, другая — оснований европейского долгожительства, третья — истоков экспансии и могущества. Парадокс научного поиска состоит в том, что исследователи пытаются максимально сжать прародину в пространстве и во времени. По распространенному убеждению, родство индоевропейских языков может быть объяснено только тем, что восходит к одному праязыку и единой прародине, где жили праиндоевропейцы до распада их языкового единства (см.: Сафронов 1989). Этот миг единства, в чем-то сходный с креационистским мгновением творения, искусственно обособляется как точка отсчета, до и после которой все было иначе: до момента единства происходило его складывание, после — распад. Следуя нормам глоттохронологии, исследователи определяют возраст индоевропейского праязыка 7–8 тыс. лет. При этом остается в тени то обстоятельство, что к эпохе неолита люди в Европе и Передней Азии имели опыт речевого общения, вдесятеро превышавший отмеченный срок распада. Если языки только и делали, что распадались, то индоевропейский праязык к моменту его гипотетического появления выглядел островком в море непонятных наречий, обреченных на дальнейшее деление и взаимное отчуждение.

Широта и долговременность распространения сходных или идентичных вкусов и технологий граветта и мадлена рисуют иную картину общения. Не исключено, что в эпоху холодного палеолита в лощинах Карпат или долинах Рейна жили группы людей с особенными диалектами, но между ними передвигались те, чей язык был средством межгруппового общения. Эти мобильные и доминантные охотники на зверей и женщин торили и контролировали дальние пути. Поддерживаемая ими коммуникация создавала в мозаике многоязычия эффект двуязычия, когда в каждом отдельном месте люди общались на двух языках — локальном и магистральном. Языковая магистраль впитывала в себя локализмы, а приносимые пришельцами неологизмы воспринимались локальными наречиями. В этом случае то или иное слово-понятие (например, «обезьяна» у индоевропейцев) могло распространиться не потому, что люди жили бок о бок с обезьянами, а потому, что слово из южной локальной ниши вышло на магистраль и обрело известность.

При устойчивости локально-магистральной системы языки не столько расходились, сколько сходились; при ее нарушении они обособлялись, пока не оказывались в орбите новой (или восстановленной прежней) коммуникативной магистрали.

Не математический полураспад, а движение реальных людей, их столкновения, сексуальные связи, воспитание детей, соучастие в походах, совместные ритуалы, отношения иерархии творили историю языка. Как сегодня в Европе все говорят, по меньшей мере, на своем наречии и языке столицы или сильного соседа, так и в древности билингвизм был обыденностью. Следовательно, расчеты языковой истории должны исходить не из формулы одного ветвящегося языка, а из ситуации локально-магистрального двуязычия (двунаречия, двухдиалектности) как элементарного механизма речевой коммуникативной сети. В этом ракурсе развитие языковых сообществ, сопоставимых с прасемьей языков, можно представить как историю коммуникативных магистралей в их взаимодействии с локальными наречиями.

Становление и изменение коммуникативных магистралей в праистории можно проследить, если сфокусировать внимание на пространственном силуэте и внутренней организации культуры-общества, если в миграции видеть не однопоточный поток, а двустороннюю коммуникацию, если магистраль рассматривать как ключ к разрешению дилеммы Ф. Ратцеля о миграциях культуры с людьми или без людей. Признание иерархии агентов культуры и движения выдвигает на первый план фигуру человека, олицетворяющего и осуществляющего магистральную связь. Следы этого *Ното мобилис*, выступающего в роли агента коммуникации и/или управления, трудноразличимы даже в поздней праистории, не говоря уже об эпохе камня. Отпечатки его деятельностной схемы видны не в напластованиях археологических слоев и лингвистических словарей, а в связях культур, языковых схождениях и антропологической непрерывности.

В экспансии праиндоевропейцев Г. Коссина видел миграции (14 походов индогерманцев в период с неолита до эпохи железа), О. Монтелиус — диффузию культуры, Г. Чайлд (в распространении производящего хозяйства с Ближнего Востока в неолите) — сочетание того и другого. М. Гимбутас представила движение индоевропейцев 6–4 тыс. л. н. неоднократными миграциями воинственных скотоводов из европейских степей в Причерноморье, на

Балканы, в южную, центральную, западную и северную Европу (Gimbutas 1970a; Гимбутас 2004). У. Гудинаф рассматривал перемещения скотоводов-индоевропейцев с западноевропейских равнин на восток и назад как непрерывность, приобретающую в археологии вид культуры воронковидных кубков (Goodenough 1971).

В этих и других версиях, несмотря на повышенное внимание авторов к гипотетическим очагам экспансии, главным представляется не пункт исхода, а образ праиндоевропейца — воинственного подвижного скотовода, охватывающего своими миграциями огромные пространства. Для мобильного воина «домом» является не шалаш или крепость в одной из точек кочевий, а все пространство, над которым он господствует, сидя в седле или стоя на колеснице. Очевидно, среди охваченного кочевьями населения были и оазисные земледельцы, и лесные промысловики, но магистральную роль играли подвижные воины. Поэтому индоевропейская прародина по определению не может быть узкой: феноменологически и географически она представляла собой суперкультуру больших пространств, соподчинявшую ряд локальных культур.

Разговор о прародине может быть переведен в русло поиска очагов особой подвижности и воинственности в Северной Евразии от Атлантики до Индии. В заочном споре между Г. Коссиной и М. Гимбутас на роль таковых претендуют европейский север и южнорусская степь. Однако состязание в мобильности между северными воинами и степными коневодами в неолите и позднее представляется лишь отзвуком былых времен: исходной для тех и других оказывается культура охотников палеолита, уже в граветте и мадлене проявлявшая себя высокой подвижностью и охватывавшая цепью миграций пространство от Пиренеев до Урала. С той поры, оставляя в стороне условности глоттохронологии, и следует вести отсчет индоевропейского родства.

На северо-востоке праиндоевропейцы граничили с прауральцами — предками народов уральской языковой семьи.<sup>13</sup> Широко расселившиеся вокруг Урала сообщества — от финнов и саамов на западе до самодийцев на востоке — считаются потомками прауральцев, обитавших в эпоху своего единства (по глоттохронологии, 7–6 тыс. л. н.) в лесах Восточной Европы и Урала (Хайду 1985:147). Судя по реконструируемой прауральской лексике («рыба», «ель»,

<sup>13</sup> Уральская языковая семья включает финно-пермские, угорские и самодийские языки. Многие исследователи относят к ней и юкагирский язык.



«пихта», «шкура», «лук», «стрела», «сверло»), древние уральцы обитали в изобилующей водоемами тайге; их основными занятиями были охота, собирательство и рыболовство, обработка камня, дерева, шкур; из одомашненных животных им была известна собака. По био-антропологическим характеристикам большинство народов уральской языковой семьи относится к уральской малой расе, которую Г. Ф. Дебец (1956) представлял результатом смешения европеоидных и монголоидных групп (о чем свидетельствует встречное нарастание европеоидности и монголоидности по оси запад–восток), В. В. Бунак (1956) — реликтом древнейшего физического типа, сложившегося еще до расхождения европеоидного и монголоидного расовых стволов (подтверждением чему служит своеобразное сочетание в облике уральцев европеоидных и монголоидных признаков, а также удаленность ряда уральских народов, например саамов, от зоны контактов европеоидов и монголоидов).

Вероятность самостоятельного и относительно изолированного развития уральцев со времен освоения их палеолитическими предками уральских лесов (вдоль горного кряжа до Полярного круга) подтверждается общей картиной их расселения, представляющей собой языковую, био-антропологическую и культурную непрерывность. Границы (точнее, плавные переходы) между различными уральскими сообществами проходят по водоразделам рек: западные финны расселены в системе Балтийского стока, восточные — Каспийского (бассейне Волги); северные пермяне живут в системе Баренцева стока, южные — Волжского; утры и лесные самодийцы населяют огромный бассейн Оби, саамы и северные самодийцы — арктические и субарктические тундры и лесотундры. С юга (по степи) уральский мир с энеолита, если не ранее, был замкнут индоевропейцами, с востока (по Енисею и Таймыру) ограничен алтайцами, с запада (по Волге, Балтике и Скандинавии) — индоевропейцами. Их таежно-тундровый ареал по обеим сторонам Урала представляется долговременной и устойчивой системой взаимодействия локальных культур, связанных речными системами. Впрочем речные коммуникации были достаточно эффективными для поддержания связей между локальными сообществами, и среди уральцев на крупных речных магистралях, вероятно, формировался слой мобильных посредников. С севера и юга уральская тайга окаймлена открытыми пространствами тундры и степи, где после их превращения в кочевые магистрали сложились подвижные культуры (самоедов в тундре, мадьяр в степи), эпизодически связывавшие локальные таежно-речные группы.

Устойчивость лесного уральского мира, сотканного из локальных культур и соединенного «медленными» речными магистралями, выражена в преемственности археологических культур, в разные эпохи демонстрирующих неизменное свойство — непрерывность. Поэтому гипотезы о стремительных и лавинообразных миграциях применительно к уральской семье выглядят чужеродными. В свое время М. А. Кастрен пытался представить финнов и заодно всю их языковую родню соучастниками великих степных переселений гуннов и монголов, но его поиск уральского очага на Алтае оказался тщетным. Отголоском этой романтической панфинистской гипотезы стала версия южного (саяно-алтайского) происхождения тундровых самодийцев, столь же чужеродная для уральского мира, но на удивление стойкая в научной традиции (подробнее см.: Головнёв 2004).

Лингвистам-преемникам М. А. Кастрена представляются неубедительными доводы автохтонистов — сторонников уральского происхождения уральцев (Э. Итконен, П. Аристэ, А. Йоки, И. Н. Шебештьен, Ю. Тойвонен, Д. Дечи, П. Хайду и др.), — и они по-прежнему отстаивают возможность миграций уральцев с Алтая или даже из глубин Восточной Сибири. Например, В. В. Напольских (1997:132) восточным краем уральской прародины представляет Байкал, верховья Лены и Витима. Впрочем это допущение (см. также: Симченко 1976:38–39) связано не столько с поиском прародины всех уральцев, сколько с истолкованием языковых связей уральцев с юкагирами. Версия возможной миграции группы прауральцев на восток до истоков Лены и далее на север до Арктики обсуждалась выше (см.: ч. I, гл. 2). При этом нельзя исключать возможности иных путей движения предков юкагиров — по пространствам тайги и тундры Средней Сибири. В любом случае речь может идти не о миграции уральцев с востока, а, наоборот, о перемещении их части на восток.

«Азиатская теория» М. А. Кастрена и Ф. И. Видемана основывалась на признании языкового и расового родства уральских и алтайских народов. Сегодня эта гипотеза «отошла в прошлое», поскольку «рухнула основная опора представлений Кастрена и его единомышленников — идея о возникновении алтайских и уральских языков путем ветвления одного общего праязыка» (Хайду 1985:145). Это не ставит под сомнение богатства культурно-языковых связей алтайцев с уральцами, отмеченных лингвистами и этнографами (Futaku 1983; 1988; Хонти 1985; Хелимский 1985; 1989; Сагалаев 1991).

Многообразные урало-алтайские перекрестные заимствования свидетельствуют о долговременном соседстве и взаимодействии, особенно между самодийцами и тунгусами, уграми и тюрками.

Праалтайцы — предки народов алтайской языковой семьи<sup>14</sup> — представляли собой общность, расселенную в горно-степной стране к востоку от Алтая в Южной Сибири, Монголии, Маньчжурии и на севере Китая (по глоттохронологии, алтайское праязыковое единство существовало 7–6 тыс. л. н.). Согласно палеолингвистике, прародина алтайских народов находилась в пограничной зоне южной тайги и степи с обилием хвойных, разнообразием узколиственных (рябина, тополь, ива, ольха), примесью широколиственных (дуб) деревьев, с кустарниками, дикими злаками, грибами, коноплей и полынью (Ramstedt 1957; Starostin, Dybo, Mudrak 2003; Дыбо 2005:166, 175; Кляшторный, Савинов 2005:42).

Языкознание отмечает многократно возобновлявшиеся тесные контакты между тюрками, монголами и тунгусо-маньчжурами, вследствие чего лексика каждого алтайского языка полна заимствований из других алтайских языков. Это соответствует свойственному алтайцам (и, вероятно, праалтайцам) ритму размашистых миграций с завоеваниями, установлением временного господства на обширных пространствах той или иной элитной группы (например, в монгольской халхе или ленской долине). В этом отношении этнографически выразительна традиция алтайских тюрков сочетать в самосознании «многослойность» — принадлежность к роду (сеок) и народу (эль), причем, с одной стороны, роды оказываются осколками народов (кыпчак, тодош, найман, хыргыс, ойрат, туба, халмах), с другой — народы выглядят не устойчивыми сообществами, а временными союзами во главе со сменяющимися элитами. У алтайцев отчетливо проявляется как родство «по кости» (генетическое), так и символическое «новое» родство (например: «Мы, хакасы, любим родниться») (Сагалаев 1992:21; Сагалаев, Октябрьская 1990:11, 39, 40). Следовательно, языковые соответствия могут отражать не только родство на уровне единого праязыка, но и ареальные связи после распада праязыковой общности (см.: Хелимский 1982:15–25).

<sup>14</sup> В алтайскую семью входят тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки. В ряде классификаций к ней относят корейский и японский языки. Впрочем некоторые исследователи не считают алтайскую семью генетически единой общностью (Г. Дерфер, А. М. Щербак, Ю. Янхунен).

Алтайский мир, расширившийся в эпоху великих переселений до Тихого океана на востоке и Средиземноморья на западе, создан подвижными охотниками и степными кочевниками. При множестве частных различий тунгусы сибирских плато, якуты ленских долин и тюрки евразийских степей сходны высокой мобильностью; оазисы оседлости вроде Приамурья или Минусинской котловины едва различимы на просторах алтайских кочевий. Если в уральской части Северной Евразии рождались преимущественно устойчивые лесные культуры, то в алтайской — подвижные культуры степей, долин и плоскогорий. Там, где смыкаются леса и степи, граничили финно-угры и тюрки; где равнинная западносибирская тайга прерывается среднесибирским плоскогорьем, соседствовали самодийцы и тунгусы. Алтайцы и уральцы долгое время сосуществовали неподалеку друг от друга, сохраняя самобытность: если уральцы достигали алтайских предгорий и степей (как это случилось с южными самодийцами-кулайцами) или алтайцы оказывались в уральских лесах (как это произошло в эпоху тюркских каганатов), они не слишком далеко заходили за привычные границы и рассматривали новые владения как окраинные. Долгое время западные из алтайцев и восточные из уральцев находились рядом, но будто спиной друг к другу, свидетельством чему служит стойкий енисейский рубеж между лесными культурами неолита и раннего металла ленского и трансуральского кругов. Эти семьи «переплелись языками» с разных географических и этнокультурных позиций.

С палеолитических времен западные охотники бродили вдоль евразийского хребта и глубоко проникали в пространство восточного «щита», вызывая цепную реакцию передвижений, о чем свидетельствуют материалы Янской стоянки, Мальты и Бурети. С наступлением голоцена в векторе движения мало что изменилось: например, 11–8 тыс. л. н. с запада на восток по предгорьям Таджикистана, Афганистана, Пакистана, Индии и северного Китая мигрировали люди, оставившие памятники гиссарской культуры. Их селения располагались в горах, обычно на высоте 0,5–1,5 км, а в технологиях сочетались (как обычно на стыке «щитов») тонкие орудия из кремневых пластин и грубые галечные чопперы (см.: Ронов 1985). И позднее горы оставались очагами миграций алтайцев: не случайны в этом отношении мифологические мотивы рождения Ашина и других тюркских колен в алтайской пещере (от волчицы и мальчика с отсеченными ногами), предания о кагане тюрков-тутю,

который (по Чжоу шу) «постоянно проживал в горах Юдугень. Ежегодно, в сопровождении вельмож, он приносил жертву в пещере предков» (Кляшторный, Савинов 2005:77).

Миграционные магистрали с запада на восток были проложены уже в палеолите, и все последующие передвижения в этом направлении по-своему поддерживали традицию: по следам палеолитических предков шли, расширяя орбиту передвижений, тохары, арии и другие группы индоевропейских мигрантов. Можно допустить не только возобновление контактов между праиндоевропейцами, прауральцами и праалтайцами с древнейших времен, но и участие отдельных групп каждого из сообществ в праисторической судьбе двух других. В известной степени, хотя и с оговоркой о нелинейности развития языков, это перекликается с ностратической гипотезой или концепцией Н. Д. Андреева о существовании в конце ледникового периода «бореального» праязыка, ветви которого представляют раннеиндоевропейский, уральский и алтайский праязыки (Андреев 1986:35–39).

Распространение этноязыковых общностей было не итогом отдельных переселений, а состоянием устойчивой коммуникации, в поддержании которой ключевую роль играли самые подвижные группы. Менее мобильные сообщества отличались замкнутостью языковой среды, и контакты между ними происходили не столько в их взаимодействии, сколько через посредника — магистральную культуру. Например, в горных странах (Альпы, Кавказ, Памир, Алтай) в укромных урочищах возникали локальные гнезда обособленных культур, а по межгорным путям и равнинам проходили коридоры коммуникации. Роль магистральных посредников, обычно сочетавшаяся с той или иной формой управления и торговли, была основой специализации отдельных сообществ на деятельности, предполагавшей власть над пространством.

### *Оседлые и кочующие*

Если *Homo mobilis* — явление изначальное, то человек оседлый — следствие поздней адаптации и культурной специализации. Однако именно оседлое земледельческое «возделывание» (*cultura*) приобрело значение «развития» и «культуры», придав всему неоседлому смысл дикого и враждебного. О. Шпенглер полагал, что «беспорядочные метания» скифов и других не-историчных племен столь же малозначительны и зоологичны, как поведение газелей

в степях (Шпенглер 1998:51, 52). До сих пор для археолога и историка свидетельством высокого уровня культуры служат признаки земледелия и оседлости. Многовековые, если не тысячелетние, стереотипы непобедимы, однако реальные роли оседлых и кочующих в праистории выглядели иначе.

В каменном веке оседлость была отклонением от нормы. В соотношении «схемы зверя» и «схемы вены» (см.: ч. I, гл. 1) кочевание связано с мужскими стратегиями охоты и освоения пространства, оседание — с женскими стратегиями материнства и домашнего быта. Мужское поведение универсально в ориентации на внешнее пространство, женское — на дом, а их сочетание создает пульс жизнедеятельности каждой культуры. Амплуа мужчины в древности ассоциируется с охотой на крупных зверей, женщины — с собирательством, с чем связаны гендерные различия в пространственном мышлении и способности ориентации на местности (см.: Silverman, Eals 1992). Схемы «зверя» и «вены» благополучно дожили до наших дней, а многочисленные вариации и девиации лишь подчеркивают их устойчивость. Эти схемы — не классификационные единицы и не эпизодические импульсы, а постоянно действующие мотивы и факторы поведения (трудно представить, какой объем работы выполнил вечный двигатель полового взаимодействия, регулируя на протяжении тысячелетий каждое мгновение повседневности).

Становление земледелия как «собранного собирательства» было во многом развитием «схемы вены», даже при условии соучастия мужчин. Мотивационно и технологически земледелие — искусственно локализованное собирательство, пространственное сближение промысла и быта, слияние в единый комплекс поля и дома. Возможно, первоначально точкой опоры этого комплекса был дом, в который собирался с округи урожай.

В исходных очагах земледелия люди обитали как в пещерах, так и на открытых стоянках. Памятники раннеголоценовой (12–9 тыс. л. н.) хоабиньской культуры Юго-Восточной Азии расположены в карстовых пещерах и под скальными выступами. Обитатели Пещеры Духов на северо-западе Таиланда ловили и ели рыбу (сазана), черепах, собирали плоды тунга, пальмы-арека, орех-канариум, мадук, перец, сливу, миндаль, каштан, клещевину, бамбук, огурцы, тыкву-горлянку, водяной орех, лотос. Обилие и концентрация растительной пищи дает возможность говорить как о развитом собирательстве (Yen 1977), так и о началах земледелия (Gorman 1969).

Расположенные в пещерах и под открытым небом памятники ближневосточной натуфийской культуры (12–10 тыс. л. н.) показывают, что их обитатели, помимо охоты и рыболовства, занимались сбором диких злаков или их культивацией: о собирательно-земледельческом мастерстве свидетельствует набор инвентаря (кремневые вкладыши для серпов и жатвенных ножей, ступки и песты для растирания зерен). Первые опыты домостроительства в Леванте известны со времен кебаранской культуры (19–13 тыс. л. н.), но в натуфе впервые четко проявилось различие между небольшими временными стоянками площадью 15–500 кв. м и внушительными долговременными селениями площадью 900–3000 кв. м, состоявшими из нескольких полуземлянок диаметром от 2,5–3 до 7–10 м с несущими столбами, каменными (в Палестине) или глиняными (на среднем Евфрате) стенами. Наследником натуфийской архитектуры стал древний Иерихон (10 тыс. л. н.), обнесенный стеной 4 м высотой и 2 м шириной, а также рвом 2 м глубиной и 9 м шириной (Мелларт 1982:35; Шнирельман 1989:37, 44, 124, 125).

Если эмбрионом города считать пещеру, а истоки поведенческой модели горожанина видеть в «схеме венеры», то естественными признаками оседлости и крупных собирательно-земледельческих селений представлятся фигурки пышнотелых женщин неолита, быстро расцветающая посудно-керамическая индустрия, растущие в размерах хранилища. Принято считать, что за стенами Иерихона его обитатели скрывали свои богатства от алчных расхитителей (есть, правда, мнение, что эти мощные сооружения имели целью защиту от наводнений и оползней). В любом случае «живым богатством» крепости были женщины, которые копили и хранили все остальные богатства. Не исключено, что прагородом стал огороженный и охраняемый гарем, причем заперт он был не только от набегов лихих чужаков, но и от побегов ветреных жен. По прихоти женщин, для женщин и во многом руками женщин строилась оседлая городская культура. Разумеется, она предполагала соучастие мужчин в качестве, с одной стороны, мужей–вождей–воинов–жрецов–торговцев, с другой — работников (в том числе рабов, для которых городские стены были в какой-то мере тюремными).

Древнейшие оседлые цивилизации Ближнего Востока (Иерихон) и Малой Азии (Чейюню-Тепеси, Чатал-Хююк, Хаджилар) были основаны на иной схеме, чем дома-крепости из костей мамонта верхнепалеолитических охотников Европы. В обоих случаях представлены

мощные очаги и долговременные жилища, статуэтки полнотелых женщин и статусные украшения (ожерелья, браслеты). Судя по толщине отложений, для древнейших центров оседлости была характерна устойчивость, если не избыточность, культуры. И все же Костенки и Межиричи даже внешне больше соответствуют характеру мужской охоты, тогда как Чейюню-Тепеси и Чатал-Хююк, при всем их многообразии, ближе к женскому быту, включая зернотерки и ступы, керамику и косметику, массивные очаги и вместительные хранилища.<sup>15</sup> Речь идет не о гендерной классификации культур на хтонические и теллурические, как это представлял Л. Фробениус, а о стиле освоения пространства и характере движения. Северные охотники возводили дом как доминанту открытого пространства, оседлые земледельцы замыкались в огражденном пространстве. Впрочем на Ближнем Востоке, исходном трамплине миграций, локальная замкнутость всегда сочеталась с магистральными связями, и между оседлыми селениями проходили пути древнесемитской магистральной культуры, основанной на дальней торговле.

Оседлость по-своему способствовала развитию движения: многочисленные и зажиточные селения стали пунктами притяжения кочевых групп, создали вокруг себя новую географию миграций и контактов. В конкуренции за большие пространства по-прежнему соперничали маневренные группы охотников-воинов, но с появлением городов возникли «горячие точки» этой конкуренции, расширились и усложнились схемы движения. Если раньше охотники «выпасали» бродячих собирателей, то отныне появились их постоянные резиденции, которые было удобнее контролировать, но труднее оберегать от соперников. Оседлость могла быть либо деградацией, обреченной на исчезновение, либо «проектом» властвующих над пространством воинов. В городе жили люди оседлые, но властвовали над ним люди подвижные. На долгое время в деятельности правителей и воинов сохранились регулярные походы и визиты, и признаком реальной власти служила подвижность правителя.

<sup>15</sup> Многокомнатные дома на среднем Евфрате имели в основании хранилища, а на втором этаже — жилые комнаты. По многообразию сосудов можно судить о целой системе приготовления, хранения и потребления пищи (Массон 1989:49, 50; Шнирельман 1989:44), а успехи раннеолитической тепло-техники (включая обжиг керамики) «были генеральной линией технического прогресса этой эпохи» (Сайко 1982:138).



С появлением городов власть над пространством стала означать контроль над городами. Впоследствии город стал символом этого господства, и завоеватели в знак покорения страны нередко строили новый город, а в знак уничтожения бывшего господства стирали с лица земли прежнюю столицу. Подобную роль статусных знаков играли храмы и некрополи. Эти пространственные метки оставляли люди власти, и по цепочкам курганов или мегалитов можно проследить пути движения магистральных культур разных эпох.

Для мобильных агентов управления оседлые селения были удобны не только как «статичная мишень», но и как надежные уголья, искусственные резервуары пищи и женщин. Одомашнивание в эпоху неолитической революции началось с domestikации людей — «собранных собирателей», которые стали инструментом создания так называемой производящей экономики. Приручение овец и коз в Загросе 10–9 тыс. л. н. происходило одновременно с оседанием людей-собирателей, что наводит на мысль об их совместном обустройстве в рамках одного «стада». Иначе говоря, появление одомашненных людей, животных и растений представляется не спонтанным развитием самих оседлых тружеников, а «проектом» властвующей элиты. Навыки приручения животных, вероятно, существовали у охотников с глубокой древности. Впоследствии оседлые земледельцы-животноводы занимались выращиванием собственных овец, коз, туров и свиней, но инициатива их стадного разведения, как и установка на интенсивное земледелие, исходила от «главных пастырей» — мобильной элиты. Стержнем неолитической революции представляется «одомашнивание людей» и создание нового типа социальной иерархии, основанной на «закрепощении» оседлых и власти подвижных.

В хоре голосов, воспевающих вслед за Г. Чайлдом прогресс неолита (открытие контролируемых человеком источников пищи и появление регулярного избыточного продукта), различимы мнения исследователей, указывающих на провалы в экономике и демографии раннеоседлых обществ. С переходом к оседлости и земледелию возросла смертность от инфекций, эпидемий вследствие загрязнения среды, скученности и тесноты. Характер питания ухудшился из-за обеднения рациона земледельцев, белкового голодания, что вызывало хронические заболевания и физическую деградацию (Урланис 1978:11; Шнирельман 1986:443; 1989:368–369).

Вряд ли люди неолита не замечали этих неурядиц или осознанно к ним стремились в предвкушении светлого будущего ци-

визации. Для собирателей с богатым опытом природопользования специализация на отдельных возделываемых культурах была сужением деятельностного поля. В условиях, где не было жесткой социальной иерархии и принуждения, например в Австралии и многих районах туземной Америки, собирательство не преобразовалось в земледелие, а развивалось в многообразии практик и знаний. У индейцев агуаруна в Амазонии насчитывается 690 названий различных растений, подразделяемых на семьи или классы, напоминающие научную ботаническую таксономию; собиратели Австралии различали до 240 видов растений, 93 вида моллюсков и 23 вида рыб, пригодных в пищу (Дамм 1964:27; Murphy 1989:34). Сокращение подобных знаний при переходе к земледелию можно считать вынужденным обеднением диапазона практик и общего спектра природоведения. Произошел сдвиг от активной природной мим-адаптации к пассивной социальной специализации. Подобное сокращение деятельностной схемы пришлось и на долю охотников-собирателей, ставших пастухами одомашненных животных.

В рамках сегодняшнего потребительского животноводства все прирученные для хозяйственных нужд звери, от собаки до слона, относятся к одному разряду. В эпоху мим-адаптаций они представляли совершенно разные сферы жизнедеятельности и были не просто мясом или транспортом, а определяли специализацию, статус и даже персональный облик людей. В древности важнее была ориентация на определенного зверя, а не приемы его утилизации: на этом основаны многочисленные практики тотемистических, нагуалистических или шаманских ассоциаций, зверообразные пантеоны Египта и Месопотамии, сохранившаяся доньше привычка характеризовать мироздание и отдельных людей через образы зверей. В палеолите эти традиции рождались из мим-адаптаций, а в неолите произошла их социализация — переход различных «схем зверя» в социальные практики.

Происхождение животноводства (скотоводства) нельзя рассматривать как единый по своей экономической сути и логике процесс. В глубинных практиках он различался столь же рельефно, как и отношение религий к разным животным. Разведение кур, свиней или коней — изначально различные модели мим-адаптации и социализации. Во многом именно мим-адаптации породили групповую идентичность людей-медведей, людей-ослов, людей-просо и предопределили их место в межгрупповой иерархии. В неолитической и последующей социализации роли в спектре хищни-

ки-травоядные видоизменялись, но исходные схемы оставили неизгладимый след в самоопределении, выборе моделей движения и инструментов деятельности.

\*\*\*

Как многоязычие с ситуативным двуязычием было пространством языковой истории, так уклад межгрупповой иерархии — своего рода этноценоз — был средой развития идентичностей. Не только упрощением, но и системной ошибкой представляется популярное сведение этнопроцесса к дихотомии мы-они (свои-чужие), берущей начало в противопоставлении У. Самнером *we-group/out-group* и в выдвигании этноцентризма<sup>16</sup> как ключевого фактора обособления *folkway* — «пути народа» (Sumner 1906). В действительности группа «мы» не всегда враждебна и противоположна группе «они»: в их диалоге замысловато переплетаются своя и чужая истинность с инакостью разных соседей, создавая не жесткую полярность, а поле многообразного взаимодействия. Даже война имела целью утверждение этноиерархии, подчинение, а не уничтожение врага; не случайно послевоенный мир, часто скрепленный обменом женщинами, был, по существу, ареной экспансии родства.

Изначальное статусное разделение в этноценозе динамичных хищных охотников и статичных травоядных земледельцев отмечается многими исследователями как господство «идеологии охотников» в искусстве раннеземледельческих обществ (Ближний Восток, Перу). По наблюдению Г. Чайлда (1948:148), в могилах охотников всегда зарыто оружие, чаще всего стрелы, а в погребениях земледельцев нет ни зернотерок, ни серпов. В сравнении с обнаруженными в Сирии, Иордании, Туркмении гигантскими загонными конструкциями охотников (огородами и каменными мешками) «постройки первых земледельцев — творения карликов» (Дольник 1994:42). Замечательное сопоставление социального потенциала оседлых земледельцев и кочевых охотников и скотоводов принадлежит Ф. Ратцелю:

Можно сказать, что земледельцу присуща природенная слабость, которая легко объясняется непривычкой владеть оружием и стремлением к обладанию землей и оседлости, ослабляющем мужество и предпринимчивость. Высшую силу выражения политической силы мы находим, напротив, у охотников и скотоводов, представляющих

<sup>16</sup> Об этноцентризме говорил и Л. Гумплович в теории борьбы рас как главной движущей силы истории.

во многих отношениях противоположность земледельцам. В особенности это можно сказать о пастушеских народах, у которых к подвижности присоединяется способность к массовым действиям и дисциплине. Здесь именно деятельно проявляется то, что не позволяет земледельцу развивать свои силы, — недостаток оседлости, подвижность, упражнение энергии, мужество и искусство владеть оружием. Окидывая взглядом нашу землю, мы видим в действительности, что самые крепкие организации так называемых полукультурных народов вызваны к жизни сочетанием этих элементов. Исключительный земледельческий народ, китайцы, находятся под властью маньчжуров, персы повинуются туркестанским властителям, египтяне подчинялись и теперь подчиняются гиксам, арабам и туркам, то есть кочевым народам. Во внутренней Африке кочевые вагумы являются основателями и охранителями самых крепких государств Уганды и Уньоро, а в поясе государств Судана, тянущемся от моря до моря, каждое из них основано выходцами из степей и пустынь; в Мексике утонченный земледельческий народ толтеков находился в подчинении у грубых ацтеков <...> Менее плодородные плоскогорья и прилегающие к ним полосы не потому способствовали повсюду развитию высшей культуры и образованию культурных государств, что они обладали более прохладным климатом и этим поощряли земледелие, а потому что здесь соединялась завоевательная и охранительная сила кочевников с устойчивой работой скучивавшихся в культурных оазисах, но не имевших способности к образованию государств земледельцев (Ратцель 1902:27).

В теории подобный подход был очевиден уже Геродоту, а в практике — персидскому царю Киру. Однажды подданные обратились к Киру с советом:

«Так как Зевс отнял у Астиага владычество над Азией и вручил его персам, а среди персов — тебе, Кир, давайте же покинем нашу маленькую и притом суровую страну и переселимся в лучшую землю. Много земель здесь по соседству с нами, много и дальше. Если мы завоюем одну из них, то наша слава и уважение к нам еще больше возрастут. Так подобает поступать народу-властителю» <...> Услышав эти слова, Кир не удивился предложению и велел его выполнять. Тем не менее он советовал персам готовиться к тому, что они не будут больше владыками, а станут рабами. Ведь, говорил он, в благодатных странах люди обычно бывают изнеженными и одна и та же страна не может производить удивительные плоды и порождать на свет доблестных воинов. Тогда персы согласились с мнением Кира и отказались от своего намерения. Они предпочли, сами владея скудной землей, властвовать, чем быть рабами на тучной равнине (Геродот IX:122).

Искусство охотников неолита уступает по мощи звериного натурализма пещерным шедеврам палеолита, и в его схематизме читается новый культ социальности. Изображения переносятся на открытые скальные плоскости, в композициях Испанского Леванта, Кавказа, Северной Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока появляются связные сцены охотничьих, магических и бытовых действий (Абрамова 2005:27). По словам А. Д. Столяра, с писаниц Испанского Леванта «доносился как бы изобразительно записанный победоносный гимн силе социума»; группы лучников-охотников-воинов «передаются в гиперболизированном стремительном, подобном полету (раскинутые в “шпагате” ноги) беге»; «особенно выразительны эмоционально напряженные сцены охоты, наполненные предельной динамикой»; композиции «заклучали в себе взрывной заряд нового» (Столяр 1998:71–73).

В эпоху неолита «был утрачен интерес к зверю» (Формозов 1980:20). Природные мим-адаптации приобрели социальную ориентацию: элиты стали подражать победителям, а зависимые волей-неволей следовать образцам поведения правителей (хотя иерархия всячески препятствовала смешению поведенческих схем). Потомки охотников стали пастырями в отношении уже не зверей, а людей. Формировались стереотипы статусности и социальных функций, вплоть до жесткой кастовости: у индоиранцев Ж. Дюмезиль отметил трехфункциональность (например, в известной индийской классификации брахманы–кшатрии–вайшьи), отражавшую реальное и идеальное разделение общества на жрецов, воинов и работников (Дюмезиль 1986:25). Сообщества строились из иерархически соподчиненных кастовых (классовых) идентичностей, образующих относительно устойчивую этничность. Элита уже не мыслила себя без зависимых работников, в связи с чем начался бум рабства — стремительное развитие идеологии зависимости и растянувшегося на тысячелетия промысла рабов. Его обратной стороной стало продолжающееся по сей день развитие индустрии управления.

Решающая смена природных мим-адаптаций социальными произошла в ранних государственных цивилизациях Месопотамии и Нила, которые в силу экологической изоляции долинных оазисов окружающими пустынями были замкнуты на себя и характеризовались скученностью зависимого населения — «собранных собирателей». Жизненный ритм и мотивации этих сообществ исходили уже не столько из природных циклов, сколько из воли правителей,

заместивших собой божество-природу: с позиции натурфилософии ирригация — узурпация правителями власти природы. Ритм жизнедеятельности отныне устанавливался обожествленными вождями и жрецами. Социальные адаптации отчетливо разделились на две схемы — уподобления богу и служения богу. Первая, свойственная правителям, предполагала богостроительство, и мифоритуальное обожествление правителя-пастыря стало главным смыслом и свойством этих сообществ, выразившись в безграничном культе бога-фараона. Египетская социальная пирамида с ее идеологемами бессмертия и изобилия стала стержнем мировоззрения: для египтян ранних династий фигура фараона была условием жизни и центром мира. Для зависимого населения служение богу-правителю превратилось в прочную схему жизнедеятельности и социальной идеологии, а маневры в разрастающейся паутине иерархии — в ритм повседневности.

Этничность генерировалась всеми слоями, снизу и сверху. Вожди возделывали поле этничности как свою нишу в этноценозе, работники воспринимали ее как оболочку социальной безопасности и жизненное пространство. С конструктивистами нельзя не согласиться в том, что сообщества (народы) были не застывшими институтами, а рабочими инструментами. Каждый член сообщества располагал своим социальным местом и, как умел, пользовался этничностью. В этом измерении одна и та же этничность — разная у каждого сословия или касты. Именно в иерархичной сложности, осознанно или интуитивно, активно или пассивно, этничность заново генерировалась в очередном поколении в виде деятельностных схем и опорных символов.

## Глава 4. Коневоды и мореходы 144

### *Конные индоевропейцы. Люди моря. Век хунну. Готское пространство*

С неолитической революции баланс динамики и статики принял вид соотношения кочевничества и оседлости. Мобильность кочевников стала не только их главным оружием, но и промыслом, идеологией, политикой. Китайские или римские авторы, писавшие о бездомности и дикости кочевников, выражали неприязнь оседлой цивилизации к «варварам». Однако «дикость и варварство» не мешали кочевникам с бронзового века выступать политической элитой Евразии, контролировать огромные пространства и связывать оседлые сообщества в так называемые кочевые империи.

Наиболее значимым в развитии магистральных культур Северной Евразии было становление деятельности схем «конь-людей» и «море-людей». Им суждено было освоить открытые пространства, стать посредниками на магистралях и элитой многих культур. И дело не столько в прогрессивных технологиях, сколько в мотивах и интересах их пользователей. Лодки и прирученные лошади появились в палеолите или мезолите<sup>1</sup>, но их превращение в социальное орудие-оружие стало следствием управленческой революции неолита. Частных открытий случалось множество, однако достоянием культуры их делал социальный успех. Иными словами, не сама по себе идея, а культурный резонанс и социальный статус носителей обеспечивали ей успех и распространение. Так, вероятно, произошло с луком и стрелами, технологиями микропластин в раннем голоцене, с обсидианом, шлифованными орудиями и керамикой в неолите. Стиль мореходства и коневодства также исходил от сообществ, успешных в применении новых технологий и взаимоотношениях с соседями.

Тема власти, исходящей от людей моря (талассократия) и людей суши (теллурукратия), — ключевая в геополитике. Х. Дж. Макиндер размышлял об исторической судьбе Европы:

На протяжении десяти веков несколько волн всадников-кочевников выходило из Азии через широкий проход между Уралом и Каспийским морем, пересекая открытые пространства юга России, и, оседая

---

<sup>1</sup> Есть небесспорные свидетельства приручения, привязывания и использования лошадей обитателями Европы в позднем или даже среднем палеолите (Bahn 1980). Одним из завоеваний мезолита считается изобретение лодки (Кларк 1953:51).

в Венгрии, попадали в самое сердце Европы... Мобильность их державы была обусловлена самой степью и неизбежно исчезала в окружении гор и лесов. Подобная мобильность державы была свойственна и мореплавателям-викингам. Прибывая из Скандинавии и высаживаясь на южном и северном побережьях Европы, они просачивались в глубь ее территории, пользуясь для этого речными путями... Таким образом, оседлое население Европы оказалось зажатым в тисках между азиатскими кочевниками с востока и наседавшими с трех сторон участниками набегов с моря. По природе своей ни одна из сторон не могла превозмочь другую, так что обе они оказывали взаимно стимулирующее воздействие (Макиндер 2003:16).

А. Дж. Тойнби видел экологические параллели между людьми моря и степи:

Ни степь, ни море (кроме оазисов и островов) не могут представить человеку места для постоянного обитания.. Но и степь, и море дают широкий простор для передвижения... Однако как плата за эту благодать человек как в степи, так и в море обречен на постоянное движение либо же вообще должен покинуть эти пределы, подыскивая себе убежище где-нибудь на terra firma. Таким образом, есть определенное сходство между ордой кочевников, вынужденной, подчиняясь годовым циклам, перемещаться с одного места на другое в поисках новых пастбищ, и рыболовецким флотом, ибо навигация также подчинена временам года, а флотилия торговых судов вполне сопоставима с караваном верблюдов, нагруженных товарами и бредущих через пустыню к торговым центрам. Так и морские пираты схожи с теми жителями пустыни, что совершают налеты на торговые караваны (Тойнби 1991:183).

В геополитике принято разделять талассократию и теллуократию как принципиально различные типы власти, рождающие, соответственно, демократию (от ахейского союза до атлантического альянса) и деспотию (от гуннской орды до азиатского тоталитаризма). Однако праистория показывает единые природные корни любой власти и иерархии; более того, модели господства на суше и на море выросли из общей деятельностной схемы «хищника-пастыря», рожденной некогда вождями охотничьих банд ледниковой Евразии.

### *Конные индоевропейцы*

Два стереотипа мешают разглядеть праисторию освоения степных просторов Евразии: (1) представление о том, что лошадь — такое же мирное и хозяйственно полезное домашнее животное, как овца и коза; (2) убежденность в том, что свирепый степной кочев-



ник испокон веку обладал «раскосыми очами» и другими портретными чертами азиата. В действительности лошадь имела отношение скорее к системе господства, чем хозяйства, а вирус кочевой власти изначально распространялся людьми европейского облика.

Палеозоология указывает на два возможных очага приручения и разведения лошадей — европейский (тарпан, *equus caballus gmelini*) и центральноазиатский (лошадь Пржевальского, *equus przewalskii*). Не исключено, что с палеолита праиндоевропейцы и праалтайцы не только охотились на дикую лошадь, но и приручали ее. Уже тогда был возможен обмен охотничьими практиками благодаря миграционным и иным контактам вдоль евразийского хребта. И все же по ряду признаков (набору хромосом) прямым предком современной домашней лошади (*equus caballus L.*) считается европейский тарпан. Косвенные свидетельства коневодства в южнорусских степях (вероятно, наиболее ранний очаг), центральной Европе и Месопотамии датируются 7 тыс. л. н., достоверные — 6 тыс. л. н. (см.: Neckel 1944; Громова 1949; Бибикова 1967; 1970; Вайнштейн 1991:208–214). Многие исследователи считают индоевропейцев первыми коневодами (см.: Гамкрелидзе, Иванов 1984 2:560–561), с чем связывают их неординарную миграционную активность. Разделяя это убеждение, отмечу, что далеко не все сообщества, говорившие в неолите на индоевропейских языках, имели прямое отношение к коневодству: речь может идти о группе или соперничавших группах «конь-людей», которые создали элитную магистральную культуру и охватили своим движением и влиянием огромные пространства запада Евразии.

Сегодня трудно представить, какой психологический эффект производил прирученный конь на его владельца и внешнего наблюдателя. Судя по наскальному искусству и скульптурной пластике палеолита, лошадь наделялась высоким статусом в картине мироздания, и ее укрощение было сродни обузданию божества. Для антропологии движения недостаточно учитывать палеонтологические находки и емкость пастбищ. Гораздо важнее погрузиться в атмосферу диалога с диким конем и сопережить те ощущения, которые испытывал человек, обуздывающий зверя и управляющий им. Каждому, когда-либо садившемуся на коня, знакомо возбуждение от сверхъестественной мощи — «лошадиной силы», несущей всадника и создающей иллюзию сокращающегося и подчиняемого пространства (если у читателя нет опыта езды на коне или слоне,

можно вызвать в памяти первые ощущения от управления автомобилем или велосипедом). Впервые оседлавший коня испытывает вслед за ужасом чувство превосходства и побуждение «покорить весь мир». С другой стороны, по опыту американских индейцев известно, какое ошеломляющее впечатление производили на них испанские всадники-конкистадоры и как стремительно впоследствии распространилась конная культура среди пеших охотников прерий. Если к этому добавить открывавшиеся коневодам перспективы доступа к разнообразным ценным ресурсам и технологиям, то пространственный экономико-гастрономический подход к «доместикации лошади» покажется лишь частным сюжетом.

Мим-адаптация человека к коню, следующая по порядку и значимости за адаптацией к пещерному медведю и волку (собаке), продолжалась довольно долго и меняла свои акценты. «Конь-люди» (охотники на лошадей) палеолита, вероятно, достигли превосходства в движении над другими собирателями и промысловиками. Их практика предполагала окарауливание стад диких лошадей, навыки загона и, возможно, промысел с прирученным конем-манщиком. Не исключено (по аналогии с поздними опытами оленеводства), что приручение коня и обращение с ним было искусством колдовства-шаманства, посредством которого достигалось «взаимопревращение» человека и зверя. Конь-спутник — возможный вариант первоначального коневодства, запечатленный в фольклоре разных народов в образах богатырских говорящих лошадей, божественной кобылицы, конька-горбунка. Укрощенная лошадь представляла собой одновременно духа-помощника и реальное оружие. Она могла использоваться для охоты на диких коней и передвижения, быть священным даром или жертвой, предметом статусной торговли. Природная мим-адаптация дополнялась социальным измерением, в котором конь превращался в средство и символ господства, технологически оснащаясь повозкой, колесницей, седлом.

Археологии удалось уловить праисторический момент рождения коневодческой культуры в южнорусских степях. В середине IV тыс. до н. э. к востоку от пышного оседлого триполья, в лесостепном и степном Поднепровье и Подонье, сложилась среднестоговская культура на основе предшествовавших ей культур неолита, в том числе сурской. Среди черт новой культуры — небольших жилищ, открытых очагов, захоронений с охрой (в ряде случаев с кромlexами или каменными гробницами), роговых, костяных,

медных и раковинных украшений — примечательно преобладание костей домашней лошади в остеологическом материале ряда поселений (Телегін 1973:132–133). Поскольку каспийско-черноморские степи были родиной тарпанов, среднестоговская культура вполне могла быть древнейшим центром приручения лошадей (Цалкин 1970:247), а находки костяных псалиев позволяют предполагать их объездку. На одном из памятников среднестоговской культуры, Деревке на Днепре, обнаружено и самое раннее ритуальное захоронение коня. Среднестоговские конные люди распространили свое влияние с Днепра на Дон, затем на восток через волжские степи до Волги, на юг до Кавказа, на запад до Дуная и Балкан. Из локальной днепровской среднестоговской культуры выросла магистральная ямная культура, охватившая огромное пространство от Волги до Балкан. Насыщаясь различными локальными традициями, включая трипольское животноводство и юго-восточное овцеводство, культура коневодов сохраняла и развивала собственную стержневую традицию, выраженную в скипетрах с лошадиными головами и курганных захоронениях (см.: Телегін 1973; Мерперт 1982).

М. Гимбутас допускает, что в эпоху курганной (ямной) культуры люди оседлали лошадей<sup>2</sup> и именно всадникам довелось покорить старые культуры Европы: конные индоевропейцы около 4000 г. до н. э. мигрировали из южнорусских (волго-донских) степей в Переднюю Азию и Европу, после чего в течение двух тысяч лет неоднократно вторгались в пространства Эгеиды, Средиземноморья, Анатолии; под ударами мигрантов распались высокоорганизованные культуры Европы: кукутени-триполье, гумельницы, винча, лендьел, культура воронковидных кубков. На смену доиндоевропейским культурам Европы пришли индоевропейские курганные культуры: ямная, погребений с охрой, боевых топоров, шнуровых керамик, одиночных погребений (внешними признаками индоевропеизации являются курганы и погребальный обряд в ямах, где обнаруживаются скелеты, лежащие скорченно на спине). К 2000 г. до н. э. вся Европа была занята индоевропейцами, а осколок древнеевропейских цивилизаций уцелел лишь на Крите. Доиндоевропейский уклад Европы рисуется М. Гимбутас «жизнью мир-

---

<sup>2</sup> Способ езды верхом отмечен уже в стенописи и пластике Чатал-Хююка в виде изображений человека на олене и быке. «Невозможно представить огромную роль лошади в хозяйстве энеолитических коллективов без освоения ее для верховой езды», — полагает Г. Б. Зданович (1985).

ных земледельцев», которую нарушили скотоводы, нуждавшиеся «в пастбищных землях для своего скота» (Gimbutas 1956; 1970a:483; Гимбутас 2004:19–20).

Помимо традиционных упреков (см., например: Сафронов 1989) в чрезмерном удревнении курганной культуры и произвольном разделении энеолитических культур Европы на доиндоевропейские и индоевропейские, сценарий М. Гимбутас вызывает сомнения в части противопоставления разрушителей-коневодов и жертв-земледельцев. Стереотип их взаимной отчужденности усиливается акцентами на иноэтничности и различных деятельностных мотивах: земледельцы-де радели о нивах, а коневоды жаждали новых пастбищ и сметали все на своем пути, включая оседлые цивилизации. Подобный экономический образ конных людей имеет мало общего с экологической реальностью: за пределами долины Дуная в горно-лесной Европе нет привольных прерий. В социальном плане противопоставление ранних коневодов и земледельцев тем более безосновательно, поскольку кочевники всегда стремились не уничтожить «мирных земледельцев», а подчинить, по-своему оберегая их и храня. Экспансию коневодов следует объяснять поиском не пастбищ для коней, а промысловых угодий в виде оседлых культур.

Поселения ямной традиции бедны культурным слоем и чаще всего находятся в пограничье с земледельческими центрами (Ливенцовка на Дону, Скеля Каменоломня на Днепре). Возможно, они служили форпостами контроля над земледельцами или сбора дани, а не обычными селениями. В степи кочевники не оставляют явных археологических следов, кроме погребальных курганов, а их присутствие на земледельческих поселениях читается по скудным вкраплениям в слоях, при этом за фрагментом степной посуды может скрываться социальное игло. Появление среднестоговской керамики на трипольских, кавказских и балкано-дунайских энеолитических памятниках (см.: Телегін 1973:154; Мерперт 1982:325) показывает уровень подвижности и масштабы экспансии коневодов. Следы конных людей на оседлых поселениях, как и следы пещих людей на стоянках кочевников, свидетельствуют о взаимной политической и экономической зависимости. Однако вовсе не обязательно рассматривать «кочевые метастазы» как зловещие знаки неминуемой гибели оседлого сообщества. Долгие века с момента эпохального «разделения труда» кочевники и оседлые сосуществовали в небесконфликтном, но устойчивом этноценозе.

Иногда цивилизации сами порождали и провоцировали кочевую активность, например из-за склок подвижной военной элиты. Не исключено, что появление коневодческой среднестоговской культуры вызвано «синдромом казачества» — формированием лихой вольницы на окраине цивилизации, в данном случае по соседству с Трипольем (сравнение уместно по расположению культуры в казачьем Диком поле). Этот феномен отмечен в разных частях планеты: в Африке, например, если «у негров основывается относительно упорядоченное государство, то на его границах вскоре возникает другое сообщество из лиц, принадлежащих к тому же племени и не желающих подчиняться установленному порядку. Эта выделившаяся часть населения, не признающая законов, вследствие свободы от всякого стеснения законом и устранения каких-либо отношений к своему племени, а также и уважения, какое питают к нему самые смелые и наиболее неимущие из соседних племен, часто приобретает большую силу, могущую превратить разбойничье племя в народ завоевателей и основателей государств. Грабеж и завоевание легко переходят друг в друга. Во всех странах, история которых нам известна, разбойничьи племена играли видную историческую роль» (Ратцель 1902:129). Подобная борьба за волю и власть между вождями Дикого поля на долгие века (с энеолита до средневековья) стала генератором военных элит и «народов-армий», состязавшихся в превосходстве на просторах степей. Южнорусские степи стали первичным очагом и перекрестком соперничества военизированных магистральных культур Евразии.

Пути «коней-скипетров»<sup>3</sup> вышли далеко за пределы пастбищных маршрутов коневодов. Н. Я. Мерперт отмечает, что ямная — древнейшая из гигантских общностей, существовавших в европейских степях от Урала до Балкан. Примечательно, что в III тыс. до н. э. определяются различные очаги ее экспансии (Приуралье, Поволжье, Поднепровье, Прикарпатье), и движение конных людей шло, соответственно, то с востока на запад, то наоборот. Коневоды совершали «единовременные, иногда быстрые и далекие “броски”

---

<sup>3</sup> Жезлы власги, распространенные по степям от Приуралья до Балкан, представляли собой каменную скульптуру лошадиной головы, укрепленную или насаженную на деревянную рукоять, подобно булаве. Желобки на скипетре представляются имитацией узды, а сам жезл с навершием — «конем-властью» вождя-всадника. Распространение скипетров связывается с миграциями степных племен во второй половине IV тыс. до н. э. (см.: Даниленко 1974).

по открытым пространствам в поисках пастбищ, водных ресурсов, сырья и областей соприкосновения с земледельцами» (см.: Мерперт 1977:68–69; 1982:322, 326). В этой путанице векторов и очагов (не считая исходного среднестоговского) видится не археологическая недоизученность, а социальная реальность, когда миграции и столкновения имели не однонаправленный, а встречный и хаотичный характер. Археология ямной общности рисует скорее картину походов, чем мирной жизни, поскольку вожди и воины, над которыми насыпались курганы, чаще погибали в дальних рейдах, чем на родном пепелище. Хаос кочевой борьбы был ареной быстрого и беспощадного социального отбора, в котором одной конной банде суждено было погибнуть, а другой — превратиться в мощную орду. Долговечность ямного «ритуального единства» вовсе не означала господства одной потомственной элиты-орды; вероятнее всего, это была эпоха попеременной власти и экспансии свергавших друг друга орд-элит, «родство» которых состояло в использовании сходных инструментов и символов власти.

Среди конных людей были победители и побежденные. Изгой-авантюристы, проигравшие схватку в Диком поле, могли удалиться за пределы влияния своих противников и, подчинив местных жителей, создать в сходных условиях собственное «дикое поле». Теоретически возможно существование в энеолите кочевых империй в пространстве от Волги до Дуная, но не менее вероятно дробление орд и их рассредоточение немирной цепью в степных междуречьях. Война орд против орд создает в археологии картину общности, не уступающую по монолитности пространству единой политики.

Скорее всего, по сценарию вторичного «дикого поля» в сибирских степях сложилась афанасьевская культура эпохи энеолита (III тыс. до н. э.). Конные люди европейского облика с характерными для ямной культуры ритуалами добрались до Алтая и рубежей Китая. Носители афанасьевской культуры отличались внешностью от соседей по Южной Сибири и Центральной Азии: Г. Ф. Дебец определял их физический тип как «кроманьонский», а Л. Н. Гумилев видел в них «рыжеволосых дьяволов» китайских легенд (Дебец 1948:65; Гумилев 1993:12). Говорили они, вероятно, на древнетохарском языке, относящемся к индоевропейской семье, и были продолжателями ямной традиции южнорусских степей (Киселев 1949; Семенов 1993; Напольских 1997). Судя по тому, насколько прочно западные конные люди обосновались в глубинах Азии и сохраняли свой культурный

облик<sup>4</sup>, их миграции были не отрывочным эпизодом, а возобновляемым движением по южноуральскому степному коридору. На Алтае и северо-западе Китая они обрели новое «дикое поле», сопоставимое по размаху и обилию ресурсов с южнорусскими степями.

Немирная цепь конных индоевропейских орд от Европы до Китая с эпохи энеолита стала генератором многообразной кочевой культуры<sup>5</sup>, посредником между локальными оседлыми сообществами, магистралью распространения технических новшеств (особенно оружия) и «кузницей вождей». В бронзовом веке (II тыс. до н. э.) по этой магистрали прокатились боевые колесницы, распространились бронзовые топоры и кинжалы, обряды погребения с конем, петроглифы с изображениями запряженных лошадей повозок. Миграциями воинов и престижем коневодства обусловлены общиндоевропейские названия коня, повозок и колеса (см.: Гамкрелидзе, Иванов 1984). Если допустимо говорить о первой международной гонке вооружений, то она развернулась в бронзовом веке в евразийских степях с участием колесничих, всадников и кузнецов.

Колесница<sup>6</sup> — «танк» бронзового века — стала оружием и символом побед конных людей, включая миграции индоариев и древних иранцев. Титул царя захвативших Митанни ариев буквально означал «управляющий конями», а имена правителей (по одной из этимологий): Твишратха — «имеющий мчащиеся колесницы», Абиратташ — «стоящий лицом к колесницам», Вриддхашва — «обладающий большими конями» (Барроу 1976:30). В XVI–XII в. до н. э. в евразийских степях, Подунавье, микенской Греции, Передней Азии, Египте и позже в Китае господствовала колесничная тактика боя (Кузьмина 1994:189). Э. Паллейблэнк предполагал возможность вторжения отряда западных воинов-колесничих в район Хуанхэ, с чем связывал корни шанских правителей и появление в Иньской цивилизации Китая лошадей и колесниц (Pulleyblank 1966).

<sup>4</sup> Наследниками их были сеймино-турбинские коневоды и металлурги, племена тагарской культуры. На тохарском языке в китайской провинции Ганьсу говорили еще во II в. до н. э. (Pulleyblank 1966).

<sup>5</sup> На базе овцеводства и пастушеского коневодства в степи формируется постоянное кочевое население (см.: Мерперт 1982:327).

<sup>6</sup> Спор о первенстве в изобретении колеса и колесницы степных индоевропейцев или переднеазиатских семитов (см., например: Моогу 1970; Кузьмина 1994) в данном случае можно обойти стороной, поскольку речь идет не о техническом новшестве, а о его роли в военной культуре степняков.

В бронзовом веке степь оставалась лабораторией коневодства, а в Митанни и Ассирии писали трактаты (древнейший — митаннийца Киккули XIV в. до н. э. на хурритском языке) о мастьях лошадей, ипподромах, кормах, поворотах при тренинге, приемах управления колесницей. На поиски эффективных способов запряжки указывают «крайнее разнообразие и нестабильность вариантов псалиев в степи на памятниках потаповского и петровско-синташтинского типов» (Кузьмина 1994:180, 189). Возможно, один из эпизодов подобных экспериментов запечатлен на навершии рукояти бронзового ножа из могильника Ростовка в Прииртышье (середина II тыс. до н. э.).

В. И. Матющенко, руководивший летом 1966 г. раскопками некрополя Ростовка, увидел на навершии ножа изображение влекомого лошадью лыжника: в правой руке он держит недоуздок, его облик полон экспрессии — кажется, что он мчится с огромной скоростью (Матющенко 1970; Матющенко, Сеницына 1988). В описании В. И. Молодина (1992) темп несколько иной: «фигурка лошади передана статично; а человек на лыжах показан как бы мчащимся за лошадью». В. И. Мошинская (1978) подобрала более спокойную иллюстрацию из нарымско-селькупских фольклорных записей Г. И. Пелих: «охотник уходил зимой на охоту на лыжах за конем. Для того чтобы везти добычу, лыжи связывались друг с другом за ремни, продетые в дырочки на передних концах лыж, привязывались к лошади. Затем на лыжи, как на сани, нагружалась добыча, и конь вез ее домой». А. Г. Селезнев (1996) уже совсем уравновешенно заключает, что «в данном случае налицо специфический способ использования лошади как тягловой силы».

Спад от «экспрессии» до «тягловой силы» обычен: так успокаивается научная мысль, имеющая дело уже не с открытием, а с неоднократным повторением. Так, наверное, случилось и с ощущениями самих древних коневодов, когда восторг первого обуздания дикой силы сменился обыденным животноводством. И все же навершие ножа упрямо излучает порыв, который вселил в него древний мастер и который, несмотря на хладнокровные разъяснения, продолжает будоражить воображение археологов, с удовольствием перепечатавающих изображение из книги в книгу.

Едва ли степной мастер был вдохновлен сценой похода коня и лыжника за дичью или хворостом. И навершие оружия, где расположена скульптура, — не место для бытовых зарисовок. В искусстве кочевников, как отмечает Ю. С. Худяков (1985), звериный стиль



пронизан идеей «прославления военного дела». Это тем более очевидно, что речь идет о двух высших ценностях степняка — оружии и коне. Примерно в то же время, по наблюдениям А. А. Формозова (1987), на обширном пространстве Евразии распространился образ лыжника: он отмечен в бронзовой скульптуре Ростовки, на абашевской посуде, петроглифах Белого моря и Каменных островов Ангары, Саймалы-таша в Киргизии и Сахюртэ на Байкале; но «почему-то ни в I тыс. до н. э., ни в I тыс. н. э. этот сюжет уже не встречается».

В. И. Матющенко видит в стоящей дыбом гриве черту, выдающую в изваянии лошадь Пржевальского; В. И. Молодину та же грива представляется постриженной. Как ни странно, в этом нет противоречия, поскольку речь идет о времени, когда у коневодов еще могли сохраняться навыки охоты на диких лошадей и их укрощения (погоня по глубокому снегу на лыжах могла быть одним из ранних приемов промысла и отлова лошадей). Применительно к той же эпохе М. П. Грязнов (1977) представлял ритуал жертвоприношения как поединок человека со зверем (быком или конем) — завершающееся пиршеством красочное и жестокое зрелище, древнюю фиесту. Возможно, скульптура на навершии ножа изображает сцену обуздания, миф о первообуздании или обряд-игру.<sup>7</sup>

В середине II тыс. до н. э. очагом многих степных инноваций была андроновская общность, распространенная от Каспия на западе до Саян на востоке, от Памира на юге до Урала на севере. Е. Е. Кузьмина связывает с конными людьми этой части евразийских степей развитие отгонного (яйлажного) скотоводства, изобретение колодцев и освоение пустынь, переход к кочевничеству и выведение тонконогих скакунов высотой в холке до 160 см, к которым восходят ахалтекинцы и все высокопородные лошади мира (Кузьмина 1994:49, 82, 192, 203). Успехи коневодства в андроновскую эпоху предопределили выбор степняков между схемами оседлости (поселения Синташта, Аркаим и др.) и подвижности. Степной мир наращивал свой кочевой потенциал, предпочитая локальному уюту власть над пространством. В XII в. до н. э. на смену колесницам и лыжам пришло всадничество, и по его стремительному распространению в степях, в Греции, Анатолии, на Кипре, Кавказе видно, насколько евразийский мир был внутренне связан конными людьми.

---

<sup>7</sup> Гонки лыжников, катящихся за лошастью (skijoring), были показательным видом спорта на зимней олимпиаде 1928 г. и до сих пор сохраняют популярность в некоторых северных странах.

Центральная и прибрежная Европа с ее горно-лесным ландшафтом и отсутствием прерий была экологически неудобна для степняков, что во все времена препятствовало их массовым миграциям и завоеваниям. Тем не менее, конные воины сыграли заметную роль в социокультурном укладе древних европейцев. С некоторым запозданием (относительно евразийских степей) кони и колесницы стали атрибутами европейских элит от Балкан до Скандинавии. Греция была первой областью Европы, где в толосах Микен обнаружено захоронение коня. Дальнейший путь коней в глубины Европы вел по долине Дуная, где отмечено погребение трех лошадей в могильнике культуры шнуrowой керамики Грос Хофлейн раннебронзового века (см.: Кузьмина 1977). В бронзовом веке (II тыс. до н. э.) изображения коней и колесниц известны уже на севере Европы в культурах боевых топоров и шнуrowой керамики (Лебедев 2005:75, 76, 82).

Для Европы эпохи бронзы образ конного воителя был веянием с востока. Прежде доминирующим символом зверя был бык: в культуре воронковидных кубков (III тыс. до н. э.) отмечены изображения пары волов в ярме и запряженных тягловыми животными колесных повозок; в культуре винча — укрепленная над входом в дом бычья голова; в культуре лендзел — захоронение головы быка; в триполье — изготовление скульптур быков. Особое отношение к быку осталось у древних жителей Европы с эпохи приручения зубров: в индоевропейском праязыке слово «бык» восходит к основе «укрощать, обуздывать, насиловать» (Гамкрелидзе, Иванов 1984:573, 575; Сафронов 1989:81, 178–179). Не исключено, что для европейцев коррида (таврокатапсия на Крите) с давних пор была столь же естественна, как игры с конем для степняков.

Привыкшие к ослу шумеры называли появившегося вместе с ариями коня *anse.kur.ra* — «осел с гор» (см.: Кузьмина 1977; Foxvog 2007). Сходным образом приспособливали лошадь к устоявшимся вкусам древние европейцы: на датском о. Фюн найдены одиннадцать золотых чаш эпохи бронзы, привезенных, судя по технологииковки, из Западной или Центральной Европы; к их ручкам местные мастера приделали изображения лошадиных голов с рогами. Впрочем не только коней, но и воинов в бронзовом веке представляли «быками»: рогатые шлемы обнаружены в Европе от о. Сардиния до о. Зеландия, а в Дании найдена бронзовая фигурка человека в шлеме с рогами (Клиндт-Йенсен 2003:116–117).

В Европе конь с колесницей, а позднее под седлом, стал атрибутом элиты, но не занял столь исключительного места, как у степняков. Помимо символов быка и коня, для североевропейской знати эпохи бронзы знаковыми были круглые щиты и длинные мечи, бронзовые трубы (луры) и золотые браслеты. В могилах мужчин часто встречаются бритвы, декорированные одним из излюбленных мотивов той эпохи — «длинной и стройной лодкой с изящно изогнутыми двойными штевнями на корме и носу» (Клиндт-Йенсен 2003:117–118).

### *Люди моря*

Первыми «мореходами» были древние собиратели морских моллюсков (см.: ч. I, гл. 2), использовавшие, помимо собственных ног и рук, простейшие плоты и челноки. Социальным и этническим явлением мореходство стало в бронзовом веке, когда жители берегов и островов собрали первые флоты и двинулись в дальние торговые и пиратские рейды. Как и другие изобретения, лодка долго ждала социальной актуализации, чтобы превратиться из средства переправы и рыболовства в инструмент могущества.

Давний спор о первенстве в кораблестроении и мореходстве обитателей двух морских акваторий Европы — Средиземной и Балто-Северной — нередко приводит к признанию их самостоятельности. Древность тростниковых судов Египта и деревянных челнов Северной Европы (8–6 тыс. л. н.) не оставляет сомнений в широком распространении практик судоходства, особенно на магистральных реках и кучных архипелагах (Эгейском, Датском). В целом Европа — не столько материк, сколько полуостров, омываемый с трех сторон морями, а с четвертой, восточной, ограниченный речно-волоковой магистралью, названной позднее путем из варяг в греки. «Полуостров Европа» пронизан реками с широкими эстуариями и окаймлен извилистыми морскими берегами с заливами и фьордами. Это страна берегов, напрямую или отдаленно связанных с морями. Прямой путь от Средиземного моря до Северного настолько короток — в пол-Волги или пол-Урала, — что юг и север Европы можно представлять локальными центрами одного экокультурного пространства.

Египтяне, первыми построившие большие корабли, перевозили на них не только зерно и скот, но и власть (по моделям судов в гробницах фараонов можно судить об иерархии и социальной зна-

чимости кораблей). Египетское судоходство превратило Нил в магистраль речной (потамической) цивилизации<sup>8</sup>, где судно служило челноком, ткущим социальную материю. В III тыс. до н. э. ладьи жрецов и воинов, торговцев и рыбаков, разные по назначению и статусу, ходили по ветру и течению, по рукавам и каналам, перевозя благовония и рабов, золото и статуи богов<sup>9</sup>. Строительство кораблей и каналов было частью миротворчества фараонов и их служителей, а движение судов — ритуализованной практикой, обслуживающей культ фараона и египетскую социальную пирамиду. Судоходство, как и вся культура Египта, было посвящено служению богу-правителю, и центром иерархии кораблей, насчитывавшей около 80 разновидностей, был огромный «вечный» корабль фараона — монументальный, как сама власть, ритуально буксируемый слугами-лодками, — незыблемый атрибут пирамиды.

В Египте ярко обозначились полюса деятельности схем — уподобление богу и служение богу. В египетском богостроительстве природная мим-адаптация (подражание богу-зверю в образе сокола Хора или барана Амона) обросла мифологией и превратилась в идеологию, а пространственное движение преобразовалось в социальное. Статичная «схема пирамиды» замкнула механизм мотива-действия между полюсами богоуподобления и богослужения. Внешние наблюдатели видят в «схеме пирамиды» апогей тотали-

<sup>8</sup> Потамическая (гидравлическая) теория возникновения цивилизаций акцентирует внимание на роли крупных рек, которые побуждают общества к солидарности (Л. И. Мечников) и централизованному управлению ирригацией (К. Виттфогель). По наблюдениям Л. И. Мечникова, Нил, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Янцзы и Хуанхэ стали основаниями древних цивилизаций Египта, Месопотамии, Индии и Китая, а «усмирение» великих рек предполагало совместный труд, деспотизм и рабство (Мечников 1995). «На освоении океанических рек была основана потамическая стадия цивилизации: китайская на Янцзы, индийская на Ганге, вавилонская на Евфрате, египетская на Ниле. На освоении Средиземного моря основывалось то, что называют «морской» стадией цивилизации» (Макиндер 2003:23).

<sup>9</sup> Украшенная золотыми эгидами огромная священная ладья Амона в ходе «Прекрасного праздника долины» переправлялась из Карнака на противоположный берег Нила в сопровождении многочисленных лодок (флот карнакского храма Амона насчитывал 80 судов) на буксире у корабля фараона, «освещающая воды небесные красотою своими, словно само Солнце, когда диск его сияет, появляясь на горизонте». По искусственным каналам и церемониальным дорогам статуя Амона доставлялась до святилища Хатхор в Фивах и после ритуала священного обновления столь же торжественно возвращалась в Карнак (см.: Эмери 2001; Солкин 2001).

таризма и рабовладения, хотя шедевры искусства Египта создают ощущение скорее высокого творчества, чем подневольного труда. Точнее других это толкуют современные жители Египта, убежденные в том, что их далекие предшественники, включая камнетесов и грузчиков, были исполнены духа сопричастности божественным свершениям. На преданности «великому делу» основана схема богослужения, а между полюсами богоуподобления и богослужения выстраивался широкий спектр деятельности древних египтян.

Морские походы не стали для древних египтян магистралью движения и развития, хотя в IV тыс. до н. э. на скалах пустыни, отделяющей Нил от Красноморского побережья, были выбиты рисунки кораблей, а в середине III тыс. до н. э. фараон Сахура (V династия) отправлял флот к финикийским берегам, где египетские моряки пленили прибрежных семитов, и в страну Пунт на стыке Красного моря и Африканского рога, где египетские суда грузились благовониями и миррой. Умеренность египтян в отношении моря объясняется статикой «схемы пирамиды» и стремлением укрыться от угроз со стороны морей и пустынь (это напоминает отношение к открытым пространствам китайцев Срединного царства). Однако окраины оседлой страны, культивирующей богатство и изобилие, неизбежно заполнялись собственными изгоями-разбойниками и внешними искателями удачи. Вторжения ближневосточных кочевых семитов во II тыс. до н. э. принесли Египту иго гиксосов 'царей-пастухов' — фараонов XIII–XVI династий (1725–1600 гг. до н. э.), правление которых отличалось жесткостью даже на фоне тоталитарных традиций нильской деспотии. С закатом эпохи гиксосов, как полагали Манефон и Иосиф Флавий, связан исход из Египта их наследников, детей Израиля, превращенных новыми фараонами в рабов.

Не скрывая неприязни к «коварному и злобному пространству моря», которое им приходилось пересекать ради благовоний и масел, египтяне во II тыс. до н. э. явно уступали в мореходстве критянам и финикийцам, хотя эпизодически (например, по воле Тутмоса III) пытались создать морской флот и контролировать акватории Леванта. Однако и в этих случаях они копировали критские или сирийские образцы судов «менех», приглашая на верфи Мемфиса чужеземных мастеров, а чаще просто использовали чужой флот для торговли и войны (Солкин 2001; Брэстед, Тураев 2004).

Жители противоположной стороны Восточного Средиземноморья с древности были мореходами по факту своего обитания на

островах. Без плавсредств в каменном веке даже по недоразумению невозможно было попасть на Кипр (12–11 тыс. л. н.) или Крит (8 тыс. л. н.). В III тыс. до н. э. воды Эгейды бороздили многовесельные суда с высоким форштевнем, а ко II тыс. до н. э. морские трассы пролегали по Средиземноморью вплоть до Иберийского полуострова. В отличие от Египта, на Крите и Кикладах сложился культ моря, художественно выраженный в изображениях кораблей, дельфинов, рыб, кораллов, морских звезд на фресках, сосудах и печатях (см.: Willetts 1977). Столицей людей моря стал Крит — самый отдаленный от материка остров Эгейды, где возникло Минойское царство — древнейшая средиземноморская талассократия. Если бы критский моряк эпохи бронзы составил карту, то серединой мира оказался бы его родной остров, а окраинами — Европа, Азия и Африка. Для людей моря во все времена остров был лучшей из земель, и пристрастие пиратов к островам следует считать древней традицией.

Морская власть выросла не на рыболовстве, а на пиратстве, если понимать под ним не только захват чужих судов, но и борьбу за пространственное господство, и «пастьбу» береговых жителей. Изначально пираты (от греч. *πειράω* 'пробовать') — «искатели удачи», из опыта которых сложились законы моря как особый вид власти над пространством. Законодателем и блюстителем этих норм выступал самый удачливый из воинов-мореходов, чья власть превращалась в политическую традицию. Будучи прародиной пиратов, Крит стал оплотом морского права. По Фукидиду, царь Минос «раньше всех из тех, о ком мы знаем по преданиям, создал себе флот, овладел большею частью моря, называемого ныне Эллинским, и стал править Кикладскими островами; на многих из них он первый основал поселения, изгнавши кариян и поставив там правителями собственных сыновей. Морской разбой он, естественно, старался, насколько мог, уничтожить, с тем чтобы доходы от этого преимущественно шли ему» (Фукидид, I, 4).

Воинственность эгейских людей моря уходит корнями в древнеевропейскую «схему быка» — зверя-воина, выразившуюся на Крите в знаменитых мифологемах Минотавра и похищения Европы. На фресках в Акротири (на Фере) бычьими рогами украшены шлемы воинов-моряков и критские дома. Для торевтики Крита традиционны рельефы быков на золотых чашах. На «кубке принца» из Айна-Триада изображена сцена поднесения правителю бычьих шкур (Forsdyke 1952:13–19). Как на суше европейцы бронзового

века изображали коней с рогами, так моряки Эгеиды представляли владык моря яростными и любвеобильными быками.

Господство моря над сушей в минойскую эпоху видно по тому, что на берегах Крита располагались неукрепленные селения, тогда как на Пелопоннесе они отстояли подальше от берега и обносились фортификацией. Гесиод называл кносского царя Миноса «царственным из государей». Ритуальным наследием подчиненности Аттики кносской власти была известная повинность Афин раз в 9 лет посылать Миносу на корабле под черным парусом 7 девушек и 7 юношей. В аттической традиции сокрушение кносской мощи связывалось с подвигами Тесея, сына афинского царя Эгея. Согласно Плутарху, «афиняне тогда еще не занимались мореплаванием», и Тесей воспользовался услугами саламинского кормчего Навсифоя, а после убийства Минотавра сумел уйти от преследования, пробив днища у критских судов. По другой версии, Тесей одолел Девкалиона, сына Миноса, прибыв на Крит с помощью беглых критян на построенных втайне кораблях. Как бы то ни было, подвиг Тесея состоял не столько в соблазнении Ариадны и убийстве быкомужа Минотавра (или критского военачальника Тавра), сколько в захвате власти на море. В знак обретенного могущества Тесей начал чеканить монету с изображением быка (прежде медные деньги в форме свернутой бычьей шкуры изготавливались на Крите).

Остров в море отличался от оазиса в степи тем, что он был резиденцией элиты. Если для степных вождей оазис был добычей, то для морских вождей остров был домом. Со-оседлость морских элит с островными земледельцами и ремесленниками создавала условия для их многостороннего, в том числе военного, взаимодействия, что размывало сословные границы. Не случайно в устройстве селений и сюжетах рисунков древних островитян нет выраженной социальной иерархии. В этом ритме взаимоотношений рождалась островная «демократия», заметно отличавшаяся от степной «деспотии» с ее контрастом кочевой элиты и оседлого люда.

Ахейцы, отняв морскую власть у Крита, перенесли «островное право» в полисы Аттики и Аргolidы. В Микенах, Тиринфе, Пилосе появились полы и фрески с изображениями кораблей, дельфинов и осьминогов. Став мореходами, ахейцы завоевали Крит критским оружием, после чего колыбель морской культуры вновь стала логовом пиратов. В XIII в. до н. э. ахейская экспансия охватила все Средиземноморье, достигнув на севере Черного моря, на

юге Африки, на западе Пиренеев, а на востоке вызвав смятение в царствах Леванта. Потеря Критом монополии на морскую власть обернулась для Средиземноморья взрывом «организованного пиратства»: большие и малые флоты воинов-мореходов с разных островов и берегов Эгейского и Ионического морей совершали набеги на страны, с которыми прежде Крит поддерживал налаженные отношения. Микенский царь Агамемнон привел к Трое ахейскую армаду из 1186 кораблей; фараону Мернептаху удалось отразить нашествие «народов моря» в дельте Нила силами флота в 2000 египетских судов; пиратским налетам ахейцев подверглись ханаанские и финикийские города; под ударами «народов моря» пало Хеттское царство, сдерживавшее ахейскую колонизацию Малой Азии. В тревожной переписке XII в. до н. э. между царями Кипра и Угарита речь шла о вражеских ладах у побережья Сирии (Маркоу 2006:23). По египетским источникам, в нашествиях «народов моря» участвовали ахейцы, ликийцы, сикулы, шерданы, этруски, тевкры, данайцы, филистимляне. Под именем «филистимляне» (вторгшиеся) фигурируют мореходы Крита (Кафтора), совершавшие рейды на Кипр, Малую Азию, Ближний Восток, Египет. Колонизация ими ханаанского побережья (захват Ашкелона, Ашдода, Гата, Газы, основание Экрона) отозвалась в распространении названия «Филистия» на всю страну — Палестину.

Крит во II тыс. до н. э. охватил морской властью Эгеиду, ахейцы в XIV–XIII вв. до н. э. распространили ее на все восточное Средиземноморье. Экспансия людей моря порождала колонии, со временем превосходившие в военном и торговом деле метрополии. Закат ахейской эпохи связан не только с дорийским вторжением в Грецию на рубеже XIII–XII вв. до н. э. и победой израильского царя Давида над филистимлянами, но и с появлением новых очагов морской власти. Третье после критян и ахейцев поколение людей моря родилось на Ближнем Востоке, в Финикии.

Кочевники моря, как и кочевники суши, неизменно вызывали на покоренном пространстве эффект социокультурной мим-адаптации, которой сопутствовало щедрое рассеивание победителями своего генофонда — обилие брачных контактов и рождение полукровок, синтезировавших в деятельностных схемах культурное наследие родителей. Как продвинувшиеся до Китая конные индоевропейцы вызвали ответную реакцию алтайских кочевников, так морские люди Эгенды породили встречную волну семитских мо-



реходов. Финикия, где сформировался новый очаг магистральной морской культуры, оказалась в середине II тыс. до н. э. на перекрестке путей, контактов и соперничества двух цивилизаций — Эгеиды и Египта.

Становление страны мореходов Финикии во многом связано с «кедровым проектом» Египта: в середине III тыс. до н. э. фараон Сахура рассматривал финикийский берег (город Библ) как источник ливанского кедра для судостроения и как северную верфь, базу корабелов и мореходов. «Руку Египта» можно усмотреть и в переселении финикийцев в Средиземноморье из Красноморья, «страны пурпура» (Phoinix).<sup>10</sup> У египтян было особое отношение к «Стране бога» Пунт на Красном море как родине священных благовоний (фимиама) и масел (мирры), имевших высшую ритуальную ценность. Возможно, Красноморье сыграло заметную роль в судьбе египтян и финикийцев (см.: Petrie 1939:77); во всяком случае, оно представляется исходной точкой пересечения их морских интересов.

Финикийские города-порты в Леванте представляли собой сообщества выходцев из разных культур — семитов, египтян, критян-филистимлян. Финикийцы образовали экстерриториальную конфедерацию торговцев, игравшую посредническую роль в международной морской торговле. Финикия — не полоска суши, а сеть разбросанных торговых общин, сферу влияния которых «определяла морская торговля, а не территория» (Маркоу 2006:6). Финикийские города — Библ, Сидон, Тир, позднее Карфаген — были связаны не сушей, а морем; каждый из них располагал собственным флотом и вел самостоятельную политику. Этот морской народ не раз пережил захват своих портов сухопутными правителями и разделы финикийского побережья между различными странами, например хеттами и египтянами в 1269 г. до н. э. Уровень морской торговли от этого не снижался, а иногда даже возрастал, поскольку открывал финикийцам доступ к экономике захвативших их царств. Морские торговцы не слишком пеклись о формальном политическом статусе, утверждая свою независимость и выгоду профессиональным мастерством и корпоративной солидарностью. Финикийцы не теряли особого статуса и идентичности, оказываясь в войске

<sup>10</sup> «Финикияне, по их же словам, в древности обитали на Красном море, а впоследствии переселились оттуда и ныне живут на сирийском побережье. Эта часть Сирии и вся область вплоть до Египта называется Палестиной» (Геродот, VII, 62).

израильского царя Давида или персидского царя Ксеркса<sup>11</sup>. Основной их общности была «средиземноморская средизетничность».

Не столько слабость ахейцев, сколько сила финикийцев принесла им первенство в мореходстве. Настало время, когда Средиземное море, согласно египетской легенде, оказалось во власти коварного и алчного финикийского бога Йаму, посягавшего даже на священные регалии египетских богов. Финикийская культура взяла на себя магистральную роль, основываясь на новой деятельностной схеме — международной морской торговле, сложившейся в посредничестве между Египтом, Критом, Микенами, Хеттским и другими царствами Средиземноморья. Финикийские мореходы торговали не своими товарами, а чужими, не производя ничего, кроме кораблей и выгоды. Они адаптировались к каждой из окружающих культур и на их пересечении создали собственную посредническую культуру.

Феномен морского народа-торговца эпохи бронзы — порождение динамичного круговорота, в котором предложение и спрос переплелись с религиозными и властными амбициями, конкуренцией вкусов и предпочтений. В этом круговороте появлялись и прививались эталоны ценностей и эквиваленты обмена. Бронзовый век — эпоха культа богатства, в котором сошлись мотивы и действия правителей, жрецов, воинов, купцов. Схема «золотого тельца», возникшая из смеси властолюбия, богостроительства, мистики и алчности, инструментально разрабатывалась крупными торговцами. По природе своей она имела так же мало общего с насущными потребностями, как «золотой телец» — с телятиной. Финикийцам удалось синтезировать различные мотивы и ценности, создав эквиваленты обмена и научившись этим обменом управлять. В их руках золото, священное для египтян и престижное для греков, стало мерилom и инструментом власти.

Финикийцы не славились воинственностью (по крайней мере, до появления Карфагена и рождения Малха), уступали грекам в воинской доблести и свое влияние утверждали через торговое посредничество. Их называют первыми «мировыми капиталистами», около тысячелетия державшими в руках средиземноморскую торговлю, задававшими тон и ритм товарообмену и обороту капитала.

---

<sup>11</sup> Финикийяне «добровольно подчинились персам, и вся морская мощь персидской державы зависела от финикийян» (Геродот, III, 19). Среди кораблей Ксеркса «лучше всех на плаву были финикийские, а из финикийских — сидонские» (Геродот, VII, 96).

Регулируя и синтезируя ценности, они стали жрецами-менеджерами богатства. Не случайно язык финикийцев превратился в средство международной коммуникации: греки и другие соседи по Средиземноморью заимствовали финикийское алфавитное письмо.<sup>12</sup>

Финикийцы не изобрели торговлю: уже в каменном веке в Средиземноморье был в особой цене и служил средством обмена обсидиан. Египет при Тутмосе III в середине II тыс. до н. э. добывал золото в Нубии и ввозил медь с Кипра (силами финикийцев). Тогда же на Крите появились богатые «виллы» и счетные записи, практика учета не только в целых единицах, но и в дробях. Критские деньги (медные слитки) и гири найдены в Сирии, Трое, на Кипре, Мальте, юге Пиренейского полуострова и Франции. Незадолго до эпохи финикийского морского владычества вдоль левантийских берегов ходили груженные товарами корабли, иллюстрацией чему служит находка судна, затонувшего около 1300 г. до н. э. у мыса Улубурун (юго-запад Малой Азии). Подводная археология позволила по оснастке и грузу корабля обрисовать навигационные связи его владельца: медные слитки и керамика с Кипра, черное дерево и скарабеи из Египта, сосуды и смолы из Ханаана, мечи и бритвы из Микен (см.: Bass 1987; Pulak 2000). Корабль, полный оружия, металла, драгоценностей, благовоний, мог оказаться жертвой не шторма, а нападения пиратов или, судя по объему груза, жадности владельца.

Международный культ богатства, созданный «средиэтничными» торговцами, стал мотивом их деятельности специализации и социальной идентичности. Трудно определить момент истории, когда «золотой телец» начал управлять людьми, их лошадьми и кораблями, но в финикийскую эпоху этот мотив-действие превратился в ремесло, создающее особую реальность из потребительски незначимых вещей и отношений. С тех пор статус и мастерство «жрецов золотого тельца» — финикийцев и наследников их ментальности — последовательно нарастали. Мотив обогащения, вызвавший многие авантюры и открытия последующих эпох, был существенным вкладом средиземноморской цивилизации бронзового века в общую панораму движения человечества. Море было удобным «пастбищем для золотого тельца», и морские пути стали маршрутами распространения культа богатства и его промысла да-

<sup>12</sup> «Финикияне, прибывшие в Элладу с Кадмом, поселились в этой земле и принесли эллинам много наук и искусств и, между прочим, письменность, ранее, как я думаю, неизвестную эллинам» (Геродот, V, 58).

леко за пределами Средиземноморья. С бронзового века в круговорот богатства была втянута и северная Европа, где с древности развивалась своя морская культура.

Древнейшим в северной Европе челноком считается найденная в Пессе (Голландия) неуклюжая трехметровая посуда, выдолбленная из сосны 8 тыс. л. н.; каноэ Прастелингена (Дания) было изготовлено из липы 5 тыс. л. н. (Johnstone 1988:46–47). В бронзовом веке, около 3 тыс. л. н., на наскальных рисунках юга Скандинавии уже изображались флотилии судов и фигуры воинов-мореходов. В то же время на севере Европы появились каменные ладьевидные кладки, продолжавшие мегалитические традиции неолита.

Давно замечено, что мегалиты (пирамиды, дольмены, менгиры, кромлехи), распространенные на огромном пространстве Средиземноморья, Причерноморья, Западной и Северной Европы, тяготеют к морским берегам и на побережье они крупнее, чем вдали от моря (см.: Морган 1926). Древнейшие мегалиты в Британии, Бретани и на Пиренейском полуострове появились 7 тыс. л. н., задолго до эпохи пирамид. На атлантическом западе Европы, в культурах Сена–Уазы–Марна, традиция мегалитов укоренилась 6–5 тыс. л. н., охватив Средиземноморье и приморскую Европу от Причерноморья до Мальты, Испании и Скандинавии, включая Британские острова с Ньюгрейнджем и Стоунхенджем (см.: Pigott 1973; Atkinson 1979; Формозов 1980; Briard, Fediaevsky 1992; Лебедев 2005). В конструкциях из камня нет ничего необычного для людей каменного века, обитавших в пещерах, и нет нужды сводить все мегалиты планеты к одной традиции. Однако дольмены и кромлехи Средиземноморья и Европы позднего неолита слишком сходны и синхронны, чтобы не видеть в них следов движения морских и приморских людей.

Мегалиты нередко представляются древними обсерваториями или выражением тяжелой идеи смерти. Однако во всех случаях, от египетской пирамиды до датского дюссе, более очевидна иная идея — бессмертия и божественности власти, реализованная в созданных мощным социальным усилием доминантах пространства. Мегалиты — не средство созерцания небес или потустороннего мира, а знаки активной геополитики. В этом смысле можно принять их сравнение с сетями христианских церквей или мусульманских мечетей (см.: Pigott 1973:60). Примечательно, что они сооружались на открытых пространствах — дольмены у моря, курганы в степи — там, где произрастала власть.

На севере Европы в поздненеолитической культуре воронковидных кубков (около 6 тыс. л. н.) очаги мегалитической традиции обозначились на юге Скандинавии (Сконе, Халланд, Бохуслен) и в южнобалтийском поморье (Лебедев 2005:75). Через тысячу лет северная Европа была охвачена движением культуры боевых топоров с курганными захоронениями. Экспансия людей с топорами в Скандинавии, называемая «временем раздробленных черепов» ввиду массовых побоищ мужчин, женщин и детей (Lindquist 1997:43), разворачивалась не только на волах и лошадях, но и по морю: на находках немало изображений кораблей (Østmo 1996). В середине II тыс. до н. э. сложился «нордический круг» (Nordisches Kreis) с монументальными курганами и каменной кладкой (Brønsted 1961). Насыпи эпохи бронзы на долгие века стали символами власти: например, на одной из них, высотой 9 метров, в IX в. н. э. любил править суд шведский конунг Бьёрн, отчего получил прозвище «Курганный» (Bjorn vid Haugen).

К концу эпохи бронзы в очагах мореходства Скандинавии — в Сконе, на Готланде, Аландах — сложилась традиция «ладьевидных каменных кладок», распространившаяся позднее на все нордические берега и сохранявшаяся до заката эпохи викингов. Как и другие мегалитические конструкции, ладьевидные кладки сооружались из массивных гранитных валунов и плит, достигая десятков метров в длину. Их очертания воспроизводили контуры и конструкции морских ладей; на Готланде, в Средней и Южной Швеции они образовывали скопления — «каменные флотилии», рядом с которыми располагались могильники (Stenberger 1977:198–200; Лебедев 2005:81, 200). В отличие от египетской традиции, где ритуальные корабли служили атрибутами статичных пирамид, нордический стиль выразил обратную идею — в Скандинавии камни приобрели динамику корабля.

Скандинавские каменные курганы с оградой сооружались на прибрежных открытых к морю возвышенностях. В Сконе они возводились на высоких мысах и, будто навигационные знаки, вели в глубину фьордов к скрытым в прибрежных долинах селениям. Гранитные стены фьордов на уровне глаз морехода были покрыты тянущимися на сотни метров петроглифами — изображениями кораблей со звериными головами на форштевнях, воинов в рогатых шлемах, морских флотилий и батальей. Рисунки громадных топоров и горнистов с огромными лурами дополняют культ войны;

рисунки двух-трех дюжин гребцов с высокорослым кормчим представляют морскую рать; фигуры с копьями и эрегированными членами выражают агрессивную напряженность, а эротические сцены (единственные, где присутствуют образы женщин) — страсть обладания (см.: Burenhult 1973:51–167; 1980:41, 136; Хлевов 2002:35; Лебедев 2005:80, 85, 92, 93).

Нордическая мореходная культура коренится в североευропейском неолите, когда появились двухштевневые лодки, и представляет собой непрерывное развитие местных традиций: первый найденный в Хьертшпринге на о. Альс (Дания) корабль железного века, датируемый IV в. до н. э., обнаруживает сходство с архаическими прототипами в наскальных изображениях Норвегии и Швеции (Хлевов 2002:97). Однако устойчивость северной традиции не исключала связей нордической культуры со средиземноморскими: судя по распространению мегалитов, морской круговорот обеспечивал общеевропейские связи с каменного века. Сама природа морского движения предполагала контакты, и морские пути были каналами культурных взаимодействий. Не случайна и синхронная активизация морских походов на севере и юге Европы в бронзовом веке. О тесных контактах Скандинавии с Британскими островами можно судить, например, по форме топоров и кинжалов, с Балканами — по изображениям танцоров-акробатов и солнечных ладей (Burenhult 1980:136, 138). Истоки многих образов северной петроглифики эпохи бронзы обнаруживаются в культурах Египта и этрусской Италии; трассы связей вели из Скандинавии по Висле на Дунай, в Гарц, зону Альп, Италию, эгейскую Грецию, по Северному морю — в кельтский мир Британии и Галлии, по Балтийскому, как показывают параллели в каменных кладках и петроглифах, — в Карелию и Беломорье (Лебедев 2005:93).

На западе Евразии два «внутренних моря», Средиземное и Балтийское, одновременно стали полигонами морского движения и формирования «народов моря». Их контакты были двусторонними, а локальные корни достаточно прочными, чтобы обеспечить самобытность развития и избирательность заимствований. Судя по пристрастию северян к южным трофеям, они восприняли «культ золотого тельца» и были далеко не пассивными наблюдателями его распространения. По аналогии с поздними временами можно допустить, что в бронзовом веке северные мореходы не столько дожидались привоза южных товаров, сколько добывали их в гра-

бительских походах. Кроме того, воинственность людей моря подогревалась в очном и заочном состязании с конными людьми, властвовавшими на открытых пространствах восточной Европы. Возможно, уже в бронзовом веке на переднеазиатском и черноморском магистральных перекрестках случились первые столкновения кочевников моря и суши.

### *Век хунну*

В раннем железном веке евразийская степь была ареной миграций кочевников-всадников: киммерийцев, скифов, массагетов, саков, сарматов. С бронзового века, начиная с хеттов и индоариев, конные люди регулярно совершали военные походы на южные царства. Киммерийцы и скифы следовали этой традиции, превратив южные рейды в регулярный промысел. По свидетельству Геродота, киммерийцы около 700 г. до н. э. совершили набег «для захвата добычи» в земли эллинов и дошли до Ионии; полвека спустя они вторглись в Малую Азию (Лидию), взяли Сарды, и лишь Алиатту, внуку погибшего в битве с кочевниками лидийского царя Ардиса, удалось изгнать их из страны. Тогда же, в начале VII в. до н. э., в ассирийских текстах были упомянуты скифы, тревожившие набегами Закавказье. Со временем их рейды становились глубже, а участие в жизни южных царств разнообразнее. Около 674 г. до н. э. царь скифов взял в жены дочь ассирийского царя Ассархаддона и оказался союзником Ассирии; в V в. до н. э. в Афинах был полицейский отряд из скифов-лучников; в Спарте царь Клеомен бражничал со скифами так увлеченно, что научился «пить по-скифски» (неразбавленное вино) и «впал в безумие». В 623 г. до н. э. скифы завоевали мидийское царство Киаксара: «мидяне потерпели поражение, и их могущество было сломлено. Скифы же распространили свое владычество по всей Азии». Вскоре, в 612 г. до н. э., в союзе с мидянами они захватили столицу Ассирии Ниневию. Египетский фараон Псамметих сумел уберечь свою страну от вторжения скифов, выйдя им навстречу «с дарами и просьбами». Стиль 28-летнего «правления» скифов в Мидии виден в пассаже Геродота: кочевники «своей наглостью и бесчинством привели там все в полное расстройство. Ведь, помимо того что они собирали с каждого народа установленную дань, скифы еще разъезжали по стране и грабили все, что попадалось». Наконец, царю Киаксару удалось пригласить скифов в гости, напоить допьяна и перебить (Геродот, I, 6, 15, 16, 104, 105, 106; VI, 84).

Художественный стиль скифов, называемый звериным, вполне соответствует их манере набегов и грабежей. Однако в рассмотрении межэтнического диалога не следует полагаться на оценки одной стороны — греков, для которых скифы были чужеземцами и варварами. Для скифов южные царства были чужой землей, предназначенной для грабительской наживы, увеселений и пьянства. Управлять ею всерьез кочевые вожди не намеревались, а рискованную «охоту» на оседлых жителей считали увлекательным и доходным промыслом. По понятным причинам Геродот не мог видеть глазами скифа ни себя, ни идеологии скифского превосходства. Этот взгляд открывают этнографические параллели: в Восточной Африке воинственные скотоводы масаи мотивировали частые грабительские набеги на соседей волей бога Нгаи, который сделал их богоизбранным народом и дал им в собственность все достояние соседей; захватив чужой скот, воины-масаи возносили молитвы Нгаи (см.: Merker 1904:199).

Восточный фланг скифского мира занимали юэчжи, с VII–VI вв. до н. э. кочевавшие в горах и степях от Тянь-Шаня до Монголии и верховий Хуанхэ (провинции Ганьсу). Юэчжи были конными людьми, известными в античных и индийских источниках как тохары (см.: Pulleyblank 1966:9–39; Иванов 1967:106–118; 1992:17; Грантовский 1998:80). В археологии Алтая юэчжи представлены яркой пазырыкской культурой VI–III вв. до н. э. с выраженной социальной иерархией, звериным стилем в искусстве, погребениями с конем (Руденко 1953). С IV в. до н. э. они расширили свое пространство до Внутренней Монголии и Ордоса, о чем свидетельствуют многочисленные находки там блях со звериными образами и сценами пазырыкского стиля (Bunker 1997:41–74). Возможно, с предками юэчжей связаны древнекитайские предания об опасном северо-западном крае: в эпоху Инь (XIV–XII вв. до н. э.) его называли «стороной демонов», населенной «лошадиными цынами»; в эпоху Чжоу (XII–III вв. до н. э.) там же обитали «варвары с сердцами шакалов и волков» — конные жуны (Крил 2001:161, 163; Кляшторный, Савинов 2005:14, 15, 17). В Ордосе, ставшем для юэчжей очередным «диким полем», случилось эпохальное столкновение «запада» (тохаров-юэчжей) и «востока» (хань и хунну), в котором родилась первая кочевая империя Азии.

Юэчжи, как и другие скифские сообщества, представляли собой не монолитный народ, а сборную орду. Этим объясняется разнородность пазырыкских людей, сочетавших черты европейцев, монголо-



идов и древних сибиряков, внешне сходных с современными кетам и селькупам (см.: Молодин 2000; Полосьмак, Молодин 2000). В пазырыкских курганах на плато Укок элита была европеоидной, в Туве (курган Аржан-2) — монголоидной (Аксянова 2006:14). Иллюстрацией этого стыка в Пазырыке на Алтае может служить узда боевого коня из гробницы юэчжийского вождя IV в. до н. э., украшенная позолоченными подвесками в виде человеческих голов. Погребенный вождь — европеоид, а на подвесках изображены монголоиды, из чего С. Г. Кляшторный и Д. Г. Савинов заключают, что позолоченные головы на уборе коня юэчжийского вождя — «головы убитых им воинов-гуннов, из черепов которых были сделаны золоченые чаши» (Кляшторный, Савинов 2005:24, 25).

Вероятно, юэчжи не только враждовали с хунну, но и преподавали им первые уроки конных разбоев, вовлекая их в рейды на китайские земледельческие провинции. В отношении Китая восточные скифы применяли те же методы походов за добычей, что их западные собратья в Мидии и Ассирии. Юэчжи разбудили хунну, научив степных промысловиков охотиться не только на зверей, но и на людей. «В прежние времена [юэчжи] были могущественны и с презрением относились к сюнну», — отмечал Сыма Цянь. Вероятно, в IV–III вв. до н. э. в «диком поле» Ордоса юэчжи выступали в роли элиты, сплотившей вокруг себя местных кочевников. Долговременное взаимодействие с юэчжами позволило хунну заимствовать приемы военно-грабительского промысла, в том числе десятичный принцип объединения орды: знаменитый хуннский *tümen* (десяти-тысячное войско), унаследованный позднее тюрками и монголами, скорее всего, происходит от тохарского аналога *tmām, tumane* (см.: Hulsewe, Lowe 1979:119–120; Кляшторный, Савинов 2005:24).

Сыма Цянь не случайно начал жизнеописание создателя империи хунну Маодуня «юэчжийским эпизодом» 214 г. до н. э.

У шаньюя [верховного вождя хунну Тоуманя] был старший сын — наследник по имени Маодунь. Позднее у шаньюя от любимой яньчжи [жены] родился младший сын, и шаньюй решил, устранив Маодуня, поставить наследником младшего сына. Тогда он послал Маодуня заложником к юэчжи, и как только Маодунь прибыл к ним, Тоумань внезапно напал на юэчжи. Юэчжи намеревались убить Маодуня, однако тот, завладев прекрасным конем, сумел ускакать. Тоумань оценил его мужество и отдал под его командование десять тысяч всадников (Сыма Цянь 2002:327).

Не раз отмечалось, что посылка заложников свидетельствует о зависимости хунну от юэчжей. Однако не менее важна обратная сторона этой практики — союзничество между господствующей ордой и подчиненной группой. Как бы жестко ни выглядели условия союза, они обеспечивали взаимопонимание в совместных действиях. Правила организации войска и приемы войны элитной группы вольно или невольно становились достоянием союзников. Особенно хорошую школу проходили заложники — дети вождей, пребывавшие в ставке и наблюдавшие за ходом событий во всех деталях. Даже если Маодунь впервые оказался заложником у юэчжей и толком не успел ничему у них научиться (хотя его лихое бегство на «прекрасном коне» наводит на мысль о знании лазеек), такой опыт, судя по десятичной организации хуннской орды, был у его отца и родни. Во всяком случае сразу после возвращения от юэчжей Маодунь получил в управление тумен. Со скидкой на легендарный характер этой хуннской истории, пересказанной китайцем через сто лет, можно допустить более чем мимолетное знакомство Маодуня с военной школой юэчжей. После убийства отца и брата Маодунь сумел быстро собрать орду, снести головы непокорным сородичам, коварно расправиться с зазевавшимися восточными соседями-дунху и сокрушить западных соседей-юэчжей. Судя по всему, врожденный «звериный стиль» Маодуня был основательно подкреплен школой стремительных атак и парадоксальных решений, пройденной в юэчжийском «диком поле» Ордоса.

Юэчжи уступили первенство хунну, и несколько десятилетий спустя наследник Маодуня Лаошан-шаньюй, вновь разбив юэчжей, сделал из головы их правителя чашу для питья (Крюков 1988:237). Тем самым, как ни парадоксально, хуннский шаньюй подтвердил верность юэчжийским (скифо-пазырыкским) традициям. После 165 г. до н. э. начался массовый исход юэчжей на запад (Кляшторный, Савинов 2005:24–25), но скифское эхо еще не раз откликнулось в хуннской судьбе, в том числе при очередном исходе: под ударами сяньби во II в. н. э. хунну уходили на запад по следам юэчжей.

Еще одним соучастником хуннской истории было Срединное царство. По китайской легенде, предком хунну (ху) стал отпрыск китайского царского дома Шун Вэй, который при смене династии Ся династией Шан в XVIII или XVI в. до н. э. ушел с семейством и подданными в северные степи. Согласно этой традиции, хунну произошли из смешения китайских эмигрантов и степных кочевых племен (Гумилев 1993:12, 13). Подобный «синдром казачества», не

новый в кочевой истории, всегда придавал степной орде облик окраинной банды, нацеленной на грабежи, а то и реванш в борьбе за власть в оседлом царстве. «Кочевая оппозиция» время от времени пополнялась новыми изгоями и авантюристами, но не вырастала в большую орду, пока не наступала пора мобилизации. Равновесие «мелкое царство — мелкая орда» могло нарушаться военной экспансией южной власти, что вызывало ответ северных кочевников: «большое царство — большая орда». Н. Н. Крадин по этому поводу заметил: «Потребность кочевников в государственности не была внутренне необходимой. Сложная иерархическая организация власти в форме “кочевых империй” и подобных им политических образований развивалась у кочевников только в тех регионах, где они были вынуждены иметь длительные и активные контакты с более высокоорганизованными земледельческо-городскими обществами» (Крадин 2004:190).

В свою очередь усиление южных царств происходило не без участия варварской периферии. Словами М. В. Крюкова, ирония или закономерность судьбы государства ханьцев в III в. до н. э. и почти синхронной империи эллинов (с нарочитым обособлением тех и других от «варваров») заключалась в том, что «в обоих случаях объединение на этнической основе произошло благодаря усилиям полуварваров — Цинь Шихуана и Александра Македонского». Обе империи создавались насилием и жестокостью. Например, в 266 г. до н. э. после сражения при Чанпине циньцы закопали живьем около 400 тысяч воинов Чжао, попавших к ним в плен (Крюков 1982:155, 156). Эпоха Борющихся Царств (463–222 гг. до н. э.) завершилась победой империи Цинь, экспансия которой на севере охватила Ордос, и отброшенные в пустыню кочевники были отгорожены Великой стеной от горных пастбищ Иньшаня и провинций Китая. Звездный час Маодуня настал буквально через год после изгнания хунну из Ордоса полководцем Мэн Тянем (215 г. до н. э.). В момент бедствия и смуты кочевникам пришлось к стати стремительный и вероломный вождь, объединивший малые орды (24 племени) в орду-империю для мести и реванша. Обделенный любовью близких и доверием к родне, Маодунь — эталонный персонаж психоанализа — превосходно подошел на роль разрушителя родовых устоев и главаря банды, не имеющей иного шанса на выживание, кроме победы.

Подчинив пограничные с Китаем племена лоуфань и баянь, хунну Маодуня двинулись на военный промысел в империю. Зи-

мой 200 г. до н. э. навстречу хуннской коннице вышла ханьская армия императора Гао-ди.

Маодунь, притворившись побежденным, стал отходить, заманивая ханьские войска. Ханьцы начали преследовать войска Маодуня, а тот отвел в засаду отборных воинов, выставив слабых и измученных. Тогда все ханьские войска, насчитывающие триста двадцать тысяч воинов, по преимуществу пехотинцев, бросились на север преследовать противника. Император Гао-ди первым достиг Пинчэна. Еще не прибыли все пехотные части, а Маодунь во главе отборных войск из четырехсот тысяч всадников окружил Гао-ди у [возвышенности] Байдэн. В течение семи суток ханьские войска не могли оказать осажденным ни военной помощи, ни помощи продовольствием. Что касается сюнусских всадников, то на западной стороне все они были на белых лошадях, на восточной стороне — на сивых лошадях, на северной стороне — на вороных скакунах, на южной стороне — на каурых. Видя это, Гао-ди тайно отправил гонца с подарками яньчжи [жене Маодуня], и она тогда сказала Маодуню: «Вы, два правителя, не мешаете друг другу. Если даже вы, шаньюй, захватите ханьские земли, вы в конце концов все равно не сможете на них поселиться»... [Маодунь] прислушался к словам яньчжи и снял в одном месте окружение ханьских войск. Тогда император Гао-ди приказал своим воинам, держа в руках натянутые луки со стрелами, нацеленными в сюннусцев, выходить в открывшийся проход. В конце концов [они] соединились с основными силами армии. Затем Маодунь отвел свои войска. Ханьцы тоже отвели свою армию и прекратили военные действия. [Гао-ди] послал Лю Цзина заключить с сюнну мирный договор, основанный на родственных отношениях (Сыма Цянь 2002:331–332).

Встреча армий ханьского императора и хуннского шаньюя получилась скорее смотром, чем сражением. По заключенному на «родственных отношениях» договору китайский двор обещал выдать за шаньюя царевну и прислать дары. Комментаторы уделяют основное внимание статусному возвышению хуннского вождя до «родства и дружбы» с императором Поднебесной. Так выглядит ситуация по китайским изобразительным канонам статичности. В динамике хуннского взгляда все случившееся смотрелось иначе — демонстрацией превосходства колоритной конницы над неуклюжей пехотой и установлением господства над пространством, которое отныне подчинялось не китайским крепостям, а хуннским маневрам. Смотр-ритуал под Пинчэном проходил по сценарию хунну, включая имитацию отступления, окружение пехоты в стиле кон-

ной облавы, снисходительное ослабление осады с участием «шатровой» женской дипломатии. Последствия не заставили себя ждать и выразились в активизации кочевников.

В этот период многие ханьские военачальники переходили на сторону сюнну, и поэтому Маодунь мог постоянно нападать и грабить земли Дай.

Власть дома Хань еще не окрепла, и сюнну относились к ней с высокомерием (Сыма Цянь 2002:332).

«Высокомерие» хунну в отношении Поднебесной с ее пешим войском и оседлыми жителями коренилось в военном превосходстве и идеологии господства над соседними народами. В письме 176 г. до н. э. Маодунь извещал ханьского императора:

Благодаря милостям Неба и тому, что командиры и солдаты были на высоте, а лошади в силе, [мы] смогли уничтожить юэчжи, которые были перебиты или сдались. Были усмирены также племена лоуфань, усунь, хуцзе и двадцать шесть соседних с ними владений, и все они подчинились сюнну. Так все народы, натягивающие луки со стрелами, оказались объединенными в одну семью (Сыма Цянь 2002:332).

«Семья народов» в практике и идеологии Маодуня строилась на иерархии и усмирении. В этом выражены основы кочевой этнополитики: кочевников нельзя победить иначе, кроме как поголовно уничтожить или подчинить, включив в «семью народов». При этом покоренные племена получали от господствующей элиты новых вождей, новые имена и новое родство — место в семье-орде. Родство как мотив покорности и единства-этничности служило противовесом насилию, посредством которого оно устанавливалось. Искусство подчинения предполагало не только виртуозную жестокость, но и дипломатию, одним из инструментов которой была идеология родства. Она не исключала резни, в том числе в шатрах правителей, но вводила правила расправ и иерархию ценностей.

Скифо-юэчжийские традиции организации кочевого сообщества хунну дополнили китайским опытом строительства империи. «Семью народов» на их глазах создал из воюющих царств император Цинь Ши-хуанди. Для этого он сровнял с землей столицы прежних государств и снес пограничные сооружения между ними, смешал этнические сообщества и разбил страну на 36 новых территориально-административных областей, ввел единую упрощенную

иероглифику, писаное законодательство и циньскую бронзовую монету, унифицировал систему мер и весов, поставил весь чиновничий аппарат под надзор императорского инспектората, запретил споры философов, а всех граждан империи без различия рангов и происхождения велел именовать одинаково — «черноголовыми» (*цзяньшоу*) (см.: Степутина 2002:25). Отныне все «черноголовые» были равны перед Сыном Неба, в том числе его родные братья и сыновья. Вскоре, в ханьскую эпоху, на основе циньской идеологии единства сложился новый народ — ханьцы (хуася, китайцы).<sup>13</sup>

Юэчжийская кочевая воинственность в сочетании с циньско-ханьским культом единения вызвала движение хунну. Двойная, или сдвоенная, социальная мим-адаптация позволила окраинным кочевникам во главе с новоявленным вождем за короткий срок создать в «диком поле» огромную и сложноорганизованную кочевую империю.<sup>14</sup> Хунну превосходили ханьцев юэчжийской маневренностью, а юэчжей — ханьской сплоченностью. Поскольку мим-адаптация, в отличие от мимикрии, предполагает переработку и преобразование заимствований, хунну были не просто подражателями, а создателями новой социокультурной реальности. Оказавшись на пересечении подвижной европейской и оседлой азиатской культур, они мобилизовали собственный предковый потенциал — охотничий инстинкт и кочевую мобильность.

Главным достоянием хунну были лошади монгольского типа — невысокие (135–140 см в холке), грубого и мускулистого сложения, выносливые и неприхотливые, способные к тебеневке (добыванию копытами корма из-под ледового наста). Монгольская лошадь могла проскакать под седлом 50 верст без отдыха и до 120 верст за день. Хуннская элита ездила и на «потеющих кровью» длинноногих ферганских скакунах-ахалтекинцах. В китайских хрониках страна хунну называлась «царством военных коней», а кочевники сравнивались с «вихрем» и «молниями» (Бичурин 1950 I:60; Крадин 2001:67, 68; Кляшторный, Савинов 2005:28). Впрочем дело не столько в лошадях, сколько в людях. В соперничестве с хунну

<sup>13</sup> Империя Цинь, несмотря на свое недолголетие (около двух десятилетий), оказалась столь мощным механизмом этнической мобилизации, что еще долгие века ханьских колонистов на севере звали циньцами, а в европейских названиях Китая циньский триумф запечатлелся навсегда (лат. *Sinae*, *China*, итал. *Cina*, фр. *Chine*, англ., нем., исп. *China*).

<sup>14</sup> Численность населения хуннской империи Маодуня могла составлять 1–1,5 млн человек (Крадин 2001:79).

китайский император У-ди ценой огромных затрат создал к концу II в. до н. э. конную армию, но в походе через пустыню Гоби в 119 г. до н. э. она была потеряна. «Все попытки У-ди разгромить кочевников на их территории полностью провалились... Император У-ди всерьез и надолго отбил охоту у соотечественников воевать с кочевниками на их территории» (Крадин 2001:123, 124). В том же смысле хуннский (хунно-парфянский) лук можно считать лучшим луком конца I тыс. до н. э. (Худяков 1986). На самом деле лучшим был не конь и не лук, а их сочетание в лице всадника-лучника, выраставшего в седле. Атмосфера этой школы-культуры незатейливо передана Сыма Цянем:

Мальчики у них [сюнну] умеют ездить верхом на козлах, стрелять из лука в птиц и мышей; юноши постарше охотятся на лисиц и зайцев для употребления их в пищу. Зрелые мужчины, которые в состоянии натянуть лук, все становятся конными латниками. Согласно их обычаям, в спокойное время они следуют за скотом, обеспечивая свое существование охотой на птиц и зверей; в тревожное время люди занимаются военными делами, совершая набеги (Сыма Цянь 2002:323).

Совершенство владения конем и луком исходило из мотива войны как главного промысла. По свидетельству китайских наблюдателей, «сюнну открыто считают войну своим занятием»; они «создают государство, сражаясь на коне, и поэтому пользуются влиянием и славятся среди всех народов» (Таскин 1968:46; 1973:34). Примечателен спор между хуннскими вождями и советником шаньюя Хуханье ичжицзы-ваном в 53 г. до н. э., когда хуннское могущество уже клонилось к закату.

Ичжицзы-ван:

«Могущество и слабость имеют свое время. Ныне Дом Хань в цветущем состоянии. Усунь и оседлые владения в подданстве его. Дом Хуннов со времен Цзюйдихэу-шаньюя день ото дня умалется и не может возратить прежнего величия... Ныне его спокойствие и существование зависят исключительно от подданства Китаю; без сего... он погибнет».

Вожди:

«Это невозможно. Сражаться на коне есть наше господство, и потому мы страшны всем народам. Мы еще не оскудели в отважных воинах. Теперь два родных брата спорят о престоле, и если не старший, то младший получит его. В сих обстоятельствах и умереть составляет славу. Наши потомки всегда будут царствовать над народами.

Китай, как ни могуществен, не в состоянии поглотить все владения хуннов, для чего же нарушать уложения предков? Сделаться вассалами Дома Хань — значит унижить и постыдить покойных шаньюев... Правда, что подобный совет доставит спокойствие, но мы более не будем властвовать над народами» (Бичурин 1950:88)

Кочевая мощь прирастала не травостоем пастбищ и достатком в юртах. Напротив, сытость и благополучие, главным источником которых для хуннской элиты был Китай, снижали амбиции кочевников. Часто цитируемая мудрость китайского евнуха-перебежчика Чжунхана Юэ, пророчески предостерегавшего Лаошан-шаньюя от ханьских искушений, иллюстрирует эту зависимость:

«Сила сюнну состоит в том, что они иначе одеваются и питаются, поэтому не зависят от ханьцев. Ныне вы, шаньюй, изменяя обычаям, проявляете любовь к ханьским вещам, но как только ханьские вещи составят две десятых, сюнну полностью перекинутся на сторону ханьцев. Если в полученных от Хань узорчатых тканях и полотне промчатся по колючим травам ваших земель, то верхняя одежда и штаны порвутся в клочья. Это ясно показывает, что их ткани не так прочны и хороши, как одежда из войлока и сюннуские шубы. Получаемые вами от ханьцев съестные продукты надо выкидывать, показывая этим, что они не так хороши и вкусны, как кумыс и сыры» (Сыма Цянь 2002:335–336).

Сытость и ненасытность — состояния не желудочные, а ментальные, и в поучении евнуха за кумысом кроется приверженность кочевым ценностям. Как отмечают Т. Барфилд (Barfield 1992) и Н. Н. Крадин (2001), соперничество хань и хунну вращалось именно вокруг «искушений». Со времен Маодуня хунну предпочитали «дистанционную эксплуатацию» ханьских провинций, совершая стремительные военно-грабительские рейды и сразу отступая в глубь степей. Даже после больших побед они не пытались установить в китайских землях свое правление, ограничиваясь захватом добычи (включая пленных-рабов), требованием дани и нагнетанием страха. Во всем этом сквозил тон превосходства, переданный все тем же евнухом Чжунханом Юэ во внушении китайскому дипломату:

«Ханьский посланник! Не нужны пространные разговоры, лучше позаботьтесь о том, чтобы доставляемые сюнну шелковые ткани, пряжа, рис и солод были в достаточном количестве и лучшего качества. К чему тут разговоры? Если обнаружатся нехватки и плохое качество, то осенью, когда урожай созреет, мы пошлем конницу для сбора урожая!» (Сыма Цянь 2002:337).



Со своей стороны ханьский двор разработал стратегию «пяти искушений»: (1) дать кочевникам дорогие ткани и колесницы, чтобы испортить их глаза; (2) дать им вкусную пищу, чтобы закрыть их рты; (3) усладить музыкой, чтобы закрыть их уши; (4) построить им величественные здания, хранилища для зерна и подарить рабов, чтобы успокоить их желудки; (5) преподнести богатые дары и оказать особое внимание тем, кто примет китайский протекторат. Помимо «пяти искушений», по наблюдению Н. Н. Крадина, было и шестое, деликатно опущенное конфуцианскими интеллектуалами, — спаивание вином — универсальное средство дипломатии цивилизаций разных эпох. Согласно политике *хэцин* китайцы поставляли ежегодно хуннскому шаньюю 10 тыс. *даней* (200 тыс. л) рисового вина, что при ежедневном потреблении составляло более 550 л в день. Иногда хунну достигали в пьянстве скифских высот: в 124 г. до н. э. в стане правого сянь-вана<sup>15</sup> состоялась такая грандиозная попойка, что китайские войска беспрепятственно окружили и пленили 15 тыс. безмятежных воинов, захватив еще и 1 млн голов скота. Лишь чудом правому сянь-вану с любовницей и горсткой державшихся в седле всадников удалось прорвать ханьскую цепь и ускакать на север (см.: Крадин 2001:111–115).

Размягченные винными парами и прочими искушениями, включая управленческие услуги китайцев-перебежчиков, хунну постепенно теряли свой «звериный стиль». В 70–50-е гг. до н. э. они уже настолько слабо напоминали грозную орду, что сами подвергались нападениям со стороны «диких» соседей: в их владениях разбойничали енисейские динлины, правитель Чехи предался Китаю, стали частыми измены в рядах самих хунну. В 57 г. до н. э. ими правили сразу три шаньюя, а на следующий год произошел раскол хунну на южную и северную орды. В 52 г. до н. э. шаньюй Хухань торжественно, в сопровождении почетной стражи, въехал в столицу Китая, был принят императором Сюань-ди, а через месяц отпущен назад, с подарками, но уже в качестве покорного союзника Поднебесной.

Впоследствии кочевой мир хунну не раз приходил в движение из-за внутренних раздоров и, особенно, смут в Китае. В 20-е гг. н. э.

<sup>15</sup> Правый сянь-ван — в иерархии хунну один из высших князей-полководцев. В хуннской титулатуре, разделенной на левое и правое крылья, главными после «величайшего» шаньюя были «четыре рога»: левый сянь-ван, левый лули-ван, правый сянь-ван, правый лули-ван.

в Срединном государстве бушевали битвы за власть между узурпатором Ван Маном, царевичами дома Хань и мятежниками «краснобровыми». Хуннский шаньюй Юй принял живое участие в китайской гражданской войне сначала против Ван Мана, затем против императора Гэн-ши, и на гребне смуты хуннские всадники вновь нагнали страху на китайские провинции. Казалось, шаньюй Юй воскресил дух Маодуня — хуннский правитель поддерживал врагов династии и надменно диктовал условия императору. В 30-е гг. хуннские всадники разбили императорское войско, ворвались в Китай, разогнали остатки ханьской армии по крепостям и расположились кочевьями в Поднебесной. Однако со смертью Юя и затишьем в борьбе за ханьский престол боевой дух хунну быстро иссяк, и новый шаньюй выразил покорность Китаю. Вне войны кочевники мгновенно теряли силу и статус — даже в собственных глазах. Осколки хуннской орды доживали свой век, изредка сражаясь друг с другом и защищая друг от друга Китай. В 142 г. последний потомок Маодуня, южный шаньюй Хюли, покончил жизнь самоубийством из-за притеснений китайского наместника (см.: Гумилев 1993).

За год до пресечения династии Маодуня, в 141 г., к востоку от хуннских земель в далеком стойбище «диких» сяньби родился мальчик, которому суждено было заново перемешать, покорить и объединить россыпи прежней орды. Впрочем за полвека до его рождения, в 90-е гг., 100 тыс. кибиток северных хунну уже вошли в состав сяньби, предпочитая степную вольницу китайской службе. На востоке степи смерть последнего шаньюя восприняли как конец прежней эпохи и сигнал к большому разбою. Жестокий и храбрый мальчик-безотцовщина по имени Таньшихуай<sup>16</sup> — достойный преемник Маодуня в плане психоанализа — в 14 лет стал вождем сяньби, а в 26 получил от разбитых китайцев предложение заключить «договор мира и родства». История повторилась — как в риторике ханьской дипломатии, так и в цикличности возрождения кочевого скифо-хуннского стиля.

---

<sup>16</sup> По легенде, мать Таньшихуая шла по дороге и, услышав удар грома, взглянула на небо. Тут ей в рот упала градинка, от которой она родила сына. Ее муж служил в это время в войске хунну; по возвращении домой он обнаружил младенца и, выслушав от жены историю про градинку, выбросил его из дома. Мать втайне уговорила свою родню подобрать и вырастить ребенка (Таскин 1984:75).

## Готское пространство

Если сравнивать экспансию кочевников с извержением лавы, то в пространстве Евразии обозначатся два недремлющих вулкана — степной (центральноазиатский) и морской (североевропейский).<sup>17</sup> С бронзового века (или неолита, как полагал Г. Коссина) миграции с европейского Норда достигали Средиземного и Черного морей. Облик североевропейской культуры боевых топоров рубежа III–II тыс. до н. э. не оставляет сомнений в воинственности ее носителей. Возможно, маршруты северных воинов в бронзовом веке проходили от Балтики до Причерноморья: следы ютландской культуры одиночных погребений прослеживаются в донецкой катакомбной культуре. В эпоху раннего металла устойчивой трассой миграций и контактов был «Янтарный путь» — с Балтики по Висле на Дунай и Балканы: янтарь (elektron греков) из ютландских и прибалтийских месторождений II тыс. до н. э. найден в микенских гробницах (Хлезов 2002:31; Лебедев 2005:76–77). Движение это было двусторонним: северные прагерманцы не только уходили на юг, но и возвращались, а навстречу им двигались конные люди юга.

Рим едва ли не с первых дней своего существования испытал давление *superiores barbari* (северных варваров).<sup>18</sup> К III в. до н. э. германцы — бастарны и скиры — продвинулись с Балтийского берега до Дуная. Известные грекам с VII в. до н. э. киммерийцы (в североевропейском варианте — кимвры) вместе с тевтонами нависли над Римом во II в. до н. э., пересекая военными рейдами пространство от Балтики до Средиземноморья и от Апеннин до Пиренеев. По Страбону (VII, 2, 2), кимвры «совершали походы даже до области Меотиды [Азовского моря]».

Только вооруженных мужчин шло триста тысяч, а за ними толпа женщин и детей, как говорили, превосходившая их числом... Большинство полагало, что они принадлежат к германским народам,

<sup>17</sup> По выражению Аммиана Марцеллина (XXXI, 4, 9), «варвары выбрасывали толпы вооруженных людей, как Этна извергает свой пылающий пепел». Д. Н. Мачинский (1981:113–114) называл вулканами центральноазиатский и западнобалтийский очаги миграций.

<sup>18</sup> Миграции с севера играли свою роль в праистории Италии задолго до империи — в распространении культур террамара и вилланова, расселении италиков; спорную версию о северном, альпийском или заальпийском, происхождении этрусков-ретов-разенов развивали Б. Г. Нибур, Т. Моммзен, В. Гельбиг, В.-П. Корссен и другие исследователи.

живущим возле Северного океана, как свидетельствуют их огромный рост, голубые глаза, а также то, что кимврами германцы называют разбойников.

[Кимвры] нагими шли сквозь снегопад, по ледникам и глубокому снегу взбирались на вершины [Альп] и, подложив под себя широкие щиты, сверху съезжали на них по скользким склонам самых высоких и крутых гор.

А конница [кимвров], числом до пятнадцати тысяч, выехала во всем своем блеске, с шлемами в виде страшных, чудовищных звериных морд с разинутой пастью, над которыми поднимались султаны из перьев, отчего еще выше казались всадники, одетые в железные панцири и державшие сверкающие белые щиты. У каждого был дротик с двумя наконечниками, а врукопашную кимвры сражались большими и тяжелыми мечами (Плутарх. Гай Марий, 11, 23, 24).

Маневры кимвров и тевтонов всегда вызывали недоумение историков. Перейдя Альпы и разбив римлян у Аквилеи в 113 г. до н. э., германцы не покорили беззащитную Италию, а двинулись на запад, где в союзе с галлами одержали еще несколько побед. В 105 г. до н. э. при Араузионе они вновь разгромили римскую армию, перебив 80 тыс. солдат проконсула Цепиона. Но, как и восемь лет назад, не подчинили Апеннины, а ушли к Пиренеям. Наконец, в 102 и 101 гг. до н. э. консул Гай Марий, получив от римлян исключительные полномочия, разбил по частям тевтонов и кимвров. В борьбе с германцами Римская республика перерождалась в империю.

Едва ли бастарны и скиры, кимвры и тевтоны сотнями тысяч приходили с европейского Севера. Скорее, это были боевые группы-банды, которые по ходу военных миграций разрастались, подобно снежному кому, до бродячих армий. Т. Моммзен видел в них «чудовищный клубок разноплеменного люда, приставшего к ядру германских выходцев с берегов Балтийского моря» (Моммзен 1994:129). Если не пытаться объяснять миграции с севера экологическими обстоятельствами — похолоданиями, наводнениями или эпизоотиями из-за выщелачивания почв (Лебедев 2005:100, 103), — то обозначится военно-промысловый характер движения северных германцев. Путь от Ютландии до Меотиды с бронзового века стал трассой двусторонних коммуникаций, и очередные поколения германцев шли на военный промысел дорогами предков. Можно говорить о регулярном или постоянном движении *superiores barbari* в Европе — миграциях с севера на юг, возвращениях на север, походах с южных плацдармов, регулярных контактах на во-

енно-торговых путях. Успех и постоянство нашествий северных германцев предопределялись тем, что их предки своим движением создали североевропейские магистрали и владели ими. Благодаря этому движению в разных концах Европы оказались одноименные группы кимвров-киммерийцев или свеев-севов-швабов.

Германская схема контроля над магистралями в целях военного промысла устойчиво развивалась в Европе с неолита до средневековья. Жители юга испытывали на себе лишь финальные удары «германской машины», ужасаясь появлению варваров и радуясь их исчезновению. Вслед за ними ужасались и ликовали историки: «Человеческая лавина, в течение 13 лет наводившая ужас на народы от Дуная до Эбро и от Сены до По, покоилась теперь в сырой земле или томила в оковах рабства. Обреченный на гибель передовой отряд германцев выполнил свою миссию. Бездомный кимврский народ вместе со своими союзниками исчез с лица земли» (Моммзен 1994:139). Однако вскоре разгромленный народ воскресал под новым именем и во главе с новым вождем — механизм северогерманского движения столетиями работал без сбоев. Деятельностная схема северных германцев мотивировалась военным промыслом и разросшимся до этнической идеологии культом воинской доблести. Наблюдатели запечатали ее проявления в жутковатых сценах поражения тевтонов у Секстиевых Вод:

Римляне, которые, преследуя варваров, достигали вражеского лагеря, видели там страшное зрелище: женщины в черных одеждах стояли на повозках и убивали беглецов — кто мужа, кто брата, кто отца, потом собственными руками душили маленьких детей, бросали их под колеса или под копыта лошадей и закалывались сами. Рассказывают, что одна из них повесилась на дышле, привязав к щиколоткам петли и повесив на них своих детей, а мужчины, которым не хватило деревьев, привязывали себя за шею к рогам или крупам быков, потом кололи их стрелами и гибли под копытами, влекомые мечущимися животными. Хотя они и кончали с собою таким образом, в плен было захвачено шестьдесят тысяч человек, убитых же насчитывалось вдвое больше (Плутарх. Гай Марий, 27).

Предсмертная ярость тевтонов, особенно тевтонок, лучше иных триумфов говорит о неистребимости воинской героики. Место побитых и развалившихся армий занимали новые отряды, шедшие с севера за славой и добычей. Культ войны, ставший на севере Европы традицией со времен «боевых топоров», продолжал зреть в междоусобной борьбе германцев за магистрали. Теснота в малень-

кой Европе создавала жесткую конкуренцию, в которой одерживала верх подвижная схема войны, подмеченная Юлием Цезарем в I в. до н. э.:

Ни у кого из них нет определенных земельных участков и вообще земельной собственности; но власти и князья <...> через год заставляют их переходить на другое место. Этот порядок они объясняют разными соображениями; именно, чтобы в увлечении оседлой жизнью люди не променяли интереса к войне на занятия земледелием (Цезарь. Галльская война, 6, 22).

Лучшим угодьем для военного промысла северных варваров была Римская империя. Встречной экспансией, например рейнскими походами легионов Цезаря, Рим усиливал военную схему германцев: в Европе, как и в Азии, действовал стимулирующий механизм «малое царство — малая орда, большое царство — большая орда». Подобно Поднебесной, пытавшейся оградиться от хунну Великой стеной, Рим к 5 г. н. э. возвел *limes Romanus* (*limes* — ‘предел’) от верхнего Дуная до среднего Рейна — сеть фортификаций с крепостями-кастеллами, наблюдательными вышками и палисадом. Полностью предохранить империю от прорывов германцев лимес не мог, но сдерживал передвижения и играл роль пограничного буфера: в кастеллах располагались римские гарнизоны или союзные империи германские общины<sup>19</sup>.

С севера лимес держали в поле зрения свевы (свебы, швабы, свеи, свионы, шведы), со времен рейнских походов Цезаря выделявшиеся среди германцев воинственностью и контролировавшие северо-европейские морские и речные (Эльба, Одер) магистрали — Тацит не случайно хвалил свевские корабли, а Балтийское море называл Свевским. Свевы с Майна в 9–8 гг. до н. э. заняли землю боев в Богемии, создав под главенством Маробода королевство маркоманнов (*marcomanni* — ‘люди границы’). Выступая посредниками в торговых и военных отношениях между севером и югом, скандинавами и римлянами (Wilson 1996:17), богемские маркоманны стали союзниками-федератами империи, испытав на себе имперскую политику искушений (северные варвары Европы, как и Азии, быстро пристрастились к вину). В годы римско-маркоманнских войн (160–170-е) на Скандинавию излился поток римских

<sup>19</sup> Например, в одной из крепостей дунайского лимеса стояла воинская часть маркоманнов — *tribunus militum gentis Marcomannorum* (Колосовская 2000:181–183).

денариев<sup>20</sup>, свидетельствующий о значительных вознаграждениях или удачных набегах германцев. К концу II в. центральная богемская магистраль Европы была перекрыта лimesом и окружена ревностным контролем свевов-маркоманнов.

До и после маркоманнских войн Европа бурлила миграциями по моравскому пути и через Карпатские перевалы: к югу двигались луги, обии, лангобарды, котины, осы, бесы, гермундуры, буры, вандалы, виковалы, костобоки, карпы, певкины (Нидерле 2001:48–49).<sup>21</sup> Северных варваров появлялось так много, что Скандза (Скандинавия) заслужила звания «фабрики племен» (*officina gentium*) и «утробы народов» (*vagina nationum*). Скорее всего, эти вторжения были не переселениями племен, а походами вождей, собиравших вокруг себя охотников-воинов, как в свое время описывал Цезарь:

Разбой вне пределов собственной страны у них [германцев] не считаются позорными, и они даже хвалят их как лучшее средство для упражнения молодежи и для устранения праздности. И когда какой-нибудь князь предлагает себя в народном собрании в вожди и вызывает желающих за ним последовать, тогда поднимаются все, кто сочувствует предприятию и личности вождя, и при одобрениях народной массы обещают свою помощь. Но те из них, кто на самом деле не пойдет, считаются дезертирами и изменниками, и после этого им ни в чем не верят (Цезарь. Галльская война, 6, 23).

Масштабные южные походы германцев во II–III вв. стали возможны на восточном пути в обход стесненного военным соперничеством и римским лimesом центра Европы. Готская экспансия приобрела эпохальный размах: первоначально она охватила Балтику, а затем распространилась по восточноевропейским магистралям до Черного моря. По готской легенде, исходным ее толчком был рейд трех кораблей.

С этого самого острова Скандзы, как бы из мастерской племен, или вернее, как из утробы племен, по преданию вышли некогда готы с королем своим по имени Бериг. Лишь только, сойдя с кораблей,

<sup>20</sup> В Швеции найдено 7 тыс. денариев, из них 5 тыс. — на Готланде; большая их часть относится ко времени маркоманнских войн — Марка Аврелия (Wilson 1996:22–24; Bursche 2002).

<sup>21</sup> В письменных источниках II в. упоминается 37 германских этнонимов (готы, бастарны, гермундулы, бургундионы, маркоманны, свевы, сутамбры, кимвры, квады, саксы, лангобарды, тевтоны и др.). В источниках III в. их число удваивается (лакринги, вандалы, аламанны, франки, гепиды, герулы, скиры, ругии и др.) (Буданова 1990:50–52).

они ступили на землю, как сразу же дали прозвание тому месту. Говорят, что до сего дня оно так и называется Готискандза.

Готы вышли из недр Скандзы со своим королем Беригом, вытеснив всего только три корабля на берег по эту сторону океана, то есть в Готискандзу. Из всех этих трех кораблей один, как бывает, пристал позднее других и, говорят, дал имя всему племени, потому что на их языке «ленивый» говорится «geranta». Отсюда и получилось, что, понемногу искажаясь, родилось из хулы имя гепидов (Иордан, 25, 94–95).

С первого эпизода своей истории готы предстают народом моря, пересекавшим Балтику на кораблях, один из которых, запоздавший, дал его команде прозвище «гепиды». Первым деянием готов на материке была победа над жившими «по берегам океана» ульмеругами (островными ругами). О выборе мореходами пространственных доминант свидетельствует расположение гепидов на острове Гепедойос в устье Вислы (Иордан, 26, 96). Стратегия экспансии готов видна в разбросе их названий на Балтике: Вестергёталанд и Остергёталанд в Швеции, о. Готланд, Готлянд (Рейдготланд — старое название Дании) (см.: Старшая Эдда 1963:169; Младшая Эдда 1970:11). По предположению Н. Вагнера, троичность готского выхода на юго-восток Балтики состояла в трех волнах: сначала в устье Западной Двины появились готы-тервинги, затем в устье Немана — готы-грейтунги, а в устье Вислы — готы-гепиды (Wagner 1967:228–229). О высоком уровне балтийского мореходства свидетельствуют находки морских судов в датских болотах — двадцатиместной ладьи с «двуругими» штевнями в Хьёртспринге (около 200 г. до н. э.) и дубовой сорокаместной ладьи с вздымающимся штевнем и клинкерной обшивкой в Ньюдаме (300–350 гг.). Находки сопровождалась кладами оружия: в Хьёртспринге найдено 150 щитов, 169 копий и 8 железных мечей; в Ньюдаме — свыше 100 мечей и 550 копий (Хлевов 2002:98–99; Клиндрт-Йенсен 2003:136, 178–179). От обилия оружия в захоронениях III–IV вв. «складывается впечатление о тотальном вооружении скандинавского населения южной и западной части Балтики» (Лебедев 2005:118, 123).

Исследователи предполагают, что освоение готами южной Прибалтики растянулось на полтысячелетия борьбы с ульмеругами и вандалами (IV–II вв. до н. э.), а затем медленного продвижения по Висле (I–II вв. н. э.) (Буданова 1990:72), тогда как «случай с кораблями Берига являлся лишь одним из эпизодов» (Щукин 2005:56).



Длительным представляется и проникновение готов на юг, завершившееся походом Филимера. Подобный сценарий завоевания магистралей отражает археологические реалии и соответствует стилю морских кочевников: прежде чем решиться на «королевский поход», они совершали пробные рейды, заключали локальные союзы, выстраивали частные партнерства и торговые сети. Медленное проникновение можно назвать строительством пути, по которому позднее победоносно шли дружины Берига или Филимера.

В описании Иордана путь готов от Балтики до Понта-Меотиды больше напоминает марш сухопутной армии, чем движение воинов-мореходов:

Правил всего только пятый после Берига король Филимер, сын Гадарига, то он постановил, чтобы войско готов вместе с семьями двинулось оттуда. В поисках удобнейших областей и подходящих мест он пришел в земли Скифии, которые на их языке назывались Ойум... Филимер, восхитившись великим обилием тех краев, перекинул туда половину войска, после чего, как рассказывают, мост, переброшенный через реку, непоправимо сломался, так что никому больше не осталось возможности ни прийти, ни вернуться. Говорят, та местность замкнута, окруженная зыбкими болотами и омутами; таким образом, сама природа сделала ее недосыгаемой, соединив вместе и то и другое (Иордан, 26–27).

Иордан ни словом не обмолвился о средствах передвижения готов, но аргумент моста настолько гипнотизирует исследователей, что готская миграция представляется сухопутной, хотя и следовавшей вдоль речных путей — по Висле, Западному Бугу, Припяти, Днепру (см.: Wagner 1967:227). Историки спорят, какая река разделила готов — Западный Буг, Припять или Днепр — и какая драма скрывается за легендой о мосте, допуская, что перешедшие реку стали остроготами, а оставшиеся — везеготами (Буданова 1990:60; см. также: Кузнецов 1997:150).

Иордан происходил из готов, но в своем сочинении (точнее, пересказе 12-томного труда Кассиодора) стремился не столько передать самобытность предков, сколько вписать их деяния в историю Римской империи. Под его пером пути готов напоминают римские дороги, а эпизод с мостом создает образ бредущих посуху германцев. Правда, словом *pons* он называет и обычный мост через речку под Равенной, и понтон из ряда кораблей через Дунай, сооруженный Дарием, а затем римским полководцем Фуском (Иордан, 63, 77). Возможно, в случае с готами он имел в виду (или, не ведая де-

талей, обобщенно обозначил) понтонную переправу из кораблей, которая разделила людей Филимера.

От толкования «моста» меняется взгляд на готский путь. Если речь идет о пешеходах, то их устремление по рекам на далекий юг с позиции антропологии движения необъяснимо. Если предполагается передвижение на судах (при параллельном ходе на лошадях и волах), то становится понятным и общий замысел миграции от моря до моря, и выбор речных путей. Примечательно, что страна, куда прибыли готы, получила на их языке название Ойум (гот. *Aiŕōt* — 'Страна вод'). В том же ключе именовался занятый гепидами остров в устье Вислы — *Gepedoius* (ойум гепидов) (см.: Иордан 1960:195, 254). Таким образом, путь готов и гепидов вел «от ойума к ойуму» — от одной водной страны к другой. Даже если готам приходилось двигаться волоком, бросать тяжелые морские суда и строить малые речные, они оставались мореходами, шедшими от моря до моря — от Балтики до Понта.

Понт и Меотиды (Черное и Азовское моря) стали для восточных готов главной ареной их военного промысла. В прежние столетия понтийские варвары-скифы не беспокоили морскими набегами владык моря греков. С появлением новых *superiores barbari* все изменилось: в середине III в. растущие флоты готов, герулов, боранов почти ежегодно совершали погромы городов Причерноморья, Малой Азии и Греции. В 250-е гг. бораны и готы, захватив боспорские суда, прошли грабежами вдоль Кавказских берегов, взяли Питиунт и Трапезунд, разорили все северо-восточное побережье Малой Азии. В 260-е гг. остроготы на кораблях грабили Малую Азию (Эфес, Халкедон, Трою, Анхиал, Каппадокию), острова Скирос и Лемнос, греческие города Афины, Спарту, Коринф. В 267 г. вышедший из Меотиды флот герулов и остроготов насчитывал 500 кораблей; в 269 г. от устья Днестра отправился на военный промысел флот остроготов, везеготов, гепидов, герулов, певкинов, грейтунгов, тервингов в количестве 2000 судов (Буданова 1990:97–98; Кузнецов 1997:151; Шукин 2005:140, 146).

Захват боспорских судов был не случайным разбоем и не признаком нехватки у готов собственных кораблей, а обычным для морских воинов способом установления контроля над пространством. Впечатляющий рост флота готов на Меотиде и Понте вкуче с расширением географии походов свидетельствует об установлении благотворного для людей моря напряженного ритма набегов. Ис-

следователям часто кажется, будто войны для кочевников, как и для земледельцев, были тяжелым бременем, истощавшим силы и подрывавшим экономику. В. П. Буданова исключает участие остроготов в набеге 263 г. на Малую Азию, поскольку они-де готовились к вторжению на следующий (264) год в малоазийские провинции Вифинию и Галатию (Буданова 1990:95–96). Напротив, набеги готов могли совершаться ежегодно, будучи ритмом жизнедеятельности кочевников, для которых пропущенный сезон промысла-разбоя — то же, что для земледельцев пропущенный сезон сева.

Археология показывает прямые связи готской черняховской культуры с севером Европы: одинаковые фибулы «монструозо», железные гребешки, наборные трехслойные роговые гребни<sup>22</sup> обнаружены в Причерноморье и Дании. Металлические украшения (гривны, браслеты, перстни) и римские серебряные денарии отмечают устойчивые контакты юга и севера Европы, причем в Скандинавии клады драгоценностей и монет сконцентрированы на островах (Борнхольм, Готланд) — центрах морской страны. Часть сокровищ могла быть приобретена северными мореходами путем торговли (янтарем, рабами), часть — путем войн и грабежей (см.: Клиндт-Йенсен 2003:161–163; Щукин 2005:161, 174–175; Лебедев 2005:126–127). Судя по всему, готы, как и другие воины-скандинавы, не порывали связей с северной родиной, а совершали длительные — иногда протяженностью в жизнь — походы на юг, время от времени возвращаясь назад. Черноморская Готия была долговременной колонией балтийской Готии, плацдармом для ведения военного промысла на юге Европы.

Черняховская культура, при всем ее богатстве, создает впечатлительное огромное военного лагеря. Серая лощеная гончарная посуда, по-армейски однотипная, вероятно, изготавливалась по единому стандарту пленными греческими ремесленниками после разгрома готами Ольвии около 230 г. (Тиханова 1970). Длинные дома (Wohnstallhäuser), характерные для черняховской культуры и севера Европы, объединяли под одной крышей жилое помещение, хлев, мастерскую (Журко 1988:85–88; Щукин 2005:109, 182) и могли служить жилищами-казармами для воинов и прислуги. Поселения располагались

<sup>22</sup> Гребень, как и прическа, — знаковая черта культуры германцев. Возможно, готы завязывали волосы в узел над правым виском, как это делали свевы (Тацит, 38), обитатели Шлезвига-Голштинии, где сохранились мумифицировавшиеся тела утонувших в болоте людей; «свевский узел» виден у римских бронзовых фигурок, изображающих германцев (Щукин 2005:175).

на песчаных береговых террасах вдали от сельскохозяйственных земель (Гимбутас 2004:84) и могли быть пристанищами-гарнизонами воинов, ремесленников и торговцев, оставивших после себя клады римских денариев и привозных вещей (Артамонов 2001:70). Большие могильники (поля погребений) свидетельствуют о долговременности поселений и немирной жизни людей черняховской культуры, а отсутствие фортификации — о явном военном превосходстве и политическом господстве готов над соседями.

Будучи этнически разнородным, возглавляемое готами сообщество функционально и иерархически было построено как армия. На черняховских поселениях жили воины и оружейники, гончары и повара, купцы и земледельцы. Иерархия державы-армии, в отличие от мирного царства, предполагала мобилизацию и объединение разных племен не по их культурным предпочтениям, а по уставу службы. Ольвийские горшечники, сарматы-коневоды или славяне-земледельцы могли заниматься привычными делами, но в целях обеспечения армии и войны. В этом смысле все участники Готского союза прошли своего рода армейскую выучку в рядах войска-государства.

Облик готской державы-армии изменялся от Берига и Филимера до Германариха и Винитария по мере пространственной экспансии и адаптации к новым обстоятельствам. Приоритет морских походов со временем сменился преобладанием сухопутных операций в римском стиле. Условным рубежом этого сдвига можно считать кампанию 269–270 гг., которую готы начали в амплуа морских воинов на 2000 кораблях, а закончили в состоянии рассеянных на востоке империи бродячих групп. И дело не столько в поражениях (легионеры Клавдия разбили лишь часть готских отрядов), сколько в приспособлении к римским тактикам и ценностям. Социальная мим-адаптация сродни экологической: чем глубже готы внедрялись в римское пространство, тем более по-римски они себя вели, используя местные дороги, средства передвижения, способы быто- и пищеобеспечения. Рим, подобно Поднебесной, умирал варваров не только оружием, но и «стратегией искушений» — от вина до зерна. Через готскую элиту римский стиль распространялся на всю общность — не случайно черняховскую культуру иногда называют «новообразованием провинциально-римского облика» (Седов 2005:214). Сдвиг готов к сухопутности был обусловлен и лесо-горно-степной экологией Восточной Европы.

В ходе конфликтов и контактов с империей готы впитали в себя римский культ социальной иерархии и престижа. Один из варварских вождей писал императору: «Мы преклоняемся перед титулами, даруемыми императором, более, чем перед нашими собственными». Могущественный готский король Теодорих, принявший римское имя Флавий, сообщал императору о своей заветной мечте сделать королевство «двойником вашей беспримерной империи» (Ле Гофф 2005:24). Как видно, вместе с другими трофеями готам досталась римская страсть к пышной титулатуре и символам престижа.

Со сменой облика готской державы-армии преобразовались роли ее участников: если первоначально главной силой были корабельные команды германцев, то на суше возросло значение сармато-аланской конницы и славянской пехоты. Появление бродячих славянских армий, наводнивших в середине I тысячелетия юго-восточную Европу, было в значительной мере следствием их вовлечения в военные авантюры готов, а позднее и других кочевников.

Готский путь прошел по стране славян, от устья Вислы до устья Днепра, и Балто-Понтийское междуморье превратилось в арену взаимодействия локальной славянской и магистральной готской культур. Различаясь деятельностными схемами, славяне и готы дополняли друг друга в системе адаптации: промысловики-земледельцы владели локальными природными ресурсами, мореходы-воины — главными путями и военной властью над пространством междуморья. Славяне использовали готов в качестве посредников и военной силы при межплеменных столкновениях, а готы занимались в славянских землях военно-торговым промыслом, включая добычу, и собирали славянские пехотные отряды для военных кампаний.

До установления готского магистрального пути висло-днепровское сообщество славян не было втянуто в европейский круговорот войн и миграций. Словами Л. Нидерле (2001:30), «этот народ долгие столетия жил в относительном покое, вне бурь... Славяне долго жили “дома” и “для себя”, в стороне от чужих влияний». По поводу склавлен, составлявших вместе с антами «многолюдное племя венетов», Иордан не без иронии заметил, что «вместо городов у них болота и леса» (Иордан, 35), а рассказ о подчинении венетов готским королем Германарихом сопровождал уничижительными замечаниями:

После поражения герулов Германарих двинул войско против венетов, которые, хотя и были достойны презрения из-за [слабости их]

оружия, были, однако, могущественны благодаря своей многочисленности и пробовали сначала сопротивляться. Но ничего не стоит великое число негодных для войны (Иордан, 119).

Слабость оружия и «негодность» к войне славян-венетов были довольно быстро преодолены, и участие в готских походах вскоре превратило славян в угрозу для самих готов. Наследник Германика Винитарий, пытаясь заново подчинить антов, в первом сражении был ими побежден, и лишь начав «действовать решительнее» добился победы и «распял короля их Божа с сыновьями его и с семьюдесятью старейшинами для устрашения, чтобы трупы распятых удвоили страх покоренных». Заканчивая в 551 г. свой труд, Иордан успел отметить новый уровень годности славян к войне: «теперь, по грехам нашим, они свирепствуют повсеместно» (Иордан, 119, 247). В оговорке «по грехам нашим» Иордана-христианина слышится вздох о павшем на империю биче божием, а под пером Иордана-гота — признание роли готских королей в военном пробуждении славян.

Отношение историков к войнам и миграциям как сумбурному межвременью мешает различить в них пики этногенеза и адаптаций. Перемещения древних славян, например, видятся Д. А. Мачинскому в паузах между извержениями двух этнокультурных вулканов: «Упорное стремление праславян, двигаясь по лесным массивам Волыни, Подолии и восточных Карпат, проникнуть на юг могло увенчаться успехом только тогда, когда оно осуществлялось в благоприятных условиях, при известном затишье обоих вулканов — центральноазиатского и западнобалтийского» (Мачинский 1981:113–114). Картина движения крадучись, в паузах между бурными событиями, имеет мало общего с миграциями славян в период Великого переселения народов.

[В 583 г. на Римскую империю] совершил нападение проклятый народ склавины. Они стремительно прошли всю Элладу, страны Фессалоники и всей Фракии и покорили многие города и крепости. Они опустошили и сожгли их, взяли пленных и стали господами на земле. Они осели на ней господами, как на своей, без страха... разбогатели, нажили золота и серебра и владеют стадами коней и оружием, научившись военному делу лучше самих римлян. В течение четырех лет они оставались на захваченных землях, прежде чем вернулись за Дунай (Иоанн Эфесский. Церковная история. Цит. по: Нидерле 2001:58).

Со славянами случилось примерно то же, что с хунну, растрепанными юэчжами: вовлеченные в военный промысел, они им увлеклись, и скоро «проклятый народ склавины» уже принимал участие в налетах на империю армий готов, гуннов, авар, болгар. Правда, военная мим-адаптация не превратила славян, в отличие от кочевников-хунну, в народ-армию. Экокультурные привязанности к земле помешали им господствовать над народами, зато предопределили успех колонизации: там, где кочевники властвовали над пространством, их союзники славяне врастали в землю, осваивая ее локальные участки. В эпоху Великого переселения, пока магистральные культуры сменяли одна другую, славяне создали цепь устойчивых локальных культур от Балкан до Балтики.

\*\*\*

Готское пространство, преобразованное под влиянием Рима, в 370-е гг. испытало удар гуннов. Оно не рухнуло, а изменило контуры, переместившись из Причерноморья на юг Европы. Готы настолько уподобились римлянам, что заняли их территорию, захватив Равенну и Рим, создав остготскую державу на Апеннингах, вестготскую — в Аквитании и Испании. Гуннская орда была в какой-то мере порождением самих готов, создавших огромное остготское королевство на пути «из готов в греки». Есть зерно смысла в легенде о происхождении гуннов от изгнанных Филимером готских колдуний и о вещем олене, приведшем диких кочевников в цветущую черноморскую Скифию-Готию. В очередной раз проявился «синдром казачества», и на периферии могучего королевства собралась мощная орда кочевых разбойников. Можно, как принято, усматривать корни европейских гуннов в азиатских хунну, но ничуть не меньшую роль в воскрешении «звериного стиля» степных кочевников сыграла экспансия остроготов и встречающая волна окраинных грабительских банд, когда «от крайних меотийских рубежей... вырвались рои гуннов, которые, летая здесь и там на быстрых конях, наполняли все места убийством и ужасом» (Иордан 1960:188, примеч. 25).

Остроготский король Германарих (Эрманарих, Герменрих, Ёрмунрекк) за свой 110-летний век завершил превращение пути в государство.

После того как король готов Геберих отошел от дел человеческих, через некоторое время наследовал королевство Германарих, благо-

роднейший из Амалов,<sup>23</sup> который покорил много весьма воинственных северных племен и заставил их повиноваться своим законам. Немало древних писателей сравнивали его по достоинству с Александром Великим. Покорил же он племена гольтескифов, тиудов, ипаупсков, васинабронков, меренс, морденс, имнискаров, рогов, тадзанс, атаул, павего, бубегенов, колдов.

[После побед над герулами и венетами] он подчинил себе также племя эстов, которые населяют отдаленнейшее побережье Германского океана. Он властвовал, таким образом, над всеми племенами Скифии и Германии как над собственностью.

Племя это без страха держало огромные пространства земель и столько морских заливов, столько течений рек! (Иордан, 89, 116, 120).

Покоренные готами скифские, славянские, германские и «северные племена» (*arctoi gentes*), среди которых выявляются жители востока Европы вплоть до Поволжья — *Merens* (меря) и *Mordens* (мордва), *Imniscarias* (черемисы), *Thiudos* (чудь) (Браун 1899:255; Korkkanen 1975:36–42, 69) — населяли пространство, на котором полтысячелетия спустя возникла Варяжская Русь. В историографии держава Амалов как очевидная предшественница Руси (см.: Топоров 1983:227–263) долгое время вызывала приступы антиготицизма и антинорманизма, побуждавшие исследователей называть королевство Германариха фантомом, а его подданных — в лучшем случае участниками днепровской торговли, платившими готам проездную плату (Рыбаков 1987:36). Между тем смущающий историков размах государства — от Германии до Скифии — вполне соотносим с представлением о магистральных путях, создаваемых и поддерживаемых людьми моря. И финал восточной Готии сходен с судьбой Варяжской Руси: готское владычество в Восточной Европе длилось около двух веков, пока в конце IV в. не сменилось гуннским. После гибели Винитария гуннский вождь Баламбер «властвовал в мире над всем покоренным племенем готов, но однако так, что готским племенем всегда управлял его собственный царек, хотя и [по] решению гуннов» (Иордан, 249–250). И в организации власти с ярлыками на княжение «гуннское иго» напоминало монгольское.

<sup>23</sup> Королевский род восточных готов (остроготов) — Амалы (*Amali*), западных (везеготов) — Балты (*Balthi*). В IV в. меотийские остроготы разорвали Восточную империю, дунайские везеготы — Западную. Условная граница между ними проходила по Днепру или Днестру (Буданова 1990:59, 61, 157).



На рубеже эр магистральный черноморский перекресток степных и морских кочевий стал маятником евразийской геополитики. Антропология движения позволяет увидеть в варварских миграциях не досадную помеху развитию цивилизаций, а силовые линии этнополитогенеза. Магистральные культуры Балто-Понтийского междуморья и Великой степи охватывали и преобразовывали пространство Северной Евразии в ритме попеременного господства кочевников моря и суши. Главным мотивом–действием масштабных передвижений была война как регулярный промысел и конкуренция за власть над пространством, в которой верх одерживали наиболее подвижные и боеспособные группы. Решающие исторические события вызревали в кочевьях степняков и моряков, лишь завершаясь погромами южных городов и государств (в том числе падением Рима). При «чтении» истории из седла или с борта корабля складывается впечатление, что оседлые культуры развивались во многом благодаря их контактам и конфликтам с кочевниками и взаимодействие-противоборство динамики и статики было ведущим механизмом истории.

## **ЧАСТЬ II. СЦЕНАРИИ**



## Глава 1. Викинги



*Харальд Суровый. Кеннинги и морские конунги. Зверь пучины.*

*Ясень битвы и Куст богатства.*

*Vegr (путь). Ragnarök (Гибель богов)*

Со времен Алкуина, сеявшего панические вести о погроме норманнами монастыря св. Кутберта на острове Линдисфарн 6 июня 793 г., викингов принято считать языческим злом, неожиданно обрушившимся на христианский мир — вскоре в Европе сложилась молитва «От ярости норманнов избави нас, Боже». Историография вольно или невольно следовала этому настроению, видя в викинге яркий, но тупиковый (вроде неандертальца) образ европейца. Поскольку лейтмотивом истории Европы было утверждение христианского миропорядка, всплеск скандинавской языческой мощи представлялся отзвуком кровожадного варварства. До сих пор сценарии с участием викингов неизменно строятся на превращении свирепого воина-разбойника в просветленного поборника христианских ценностей, и самым понятным и закономерным эпизодом бурной эпохи видится ее конец, соотносимый с гибелью «последнего короля-викинга» Харальда Сурового в битве при Стэмфорд-бридже 25 сентября 1066 г.

В словах нортумбрийца Алкуина слышится если не лукавство, то двусмысленность: «Уже почти 350 лет мы и наши отцы живем в этой прекрасной стране, и никогда прежде в Британии не бывало такого ужаса, какой ныне мы терпим от этого языческого рода, и никто и не помышлял о том, чтобы с моря можно было совершить подобное нападение» (Сойер 2002:7). В действительности нападения *normanni* (северных людей) на Британию были давней традицией: судя по сагам, предки викингов считали Британские острова отдаленными, но удобными угодьями для грабежа и захвата; за полвека до начала эпохи викингов пятая часть Англии, Нортумбрия, принадлежала скандинавскому конунгу Ивару Широкие Объятия. Набеги случались в VIII в. и до погрома монастыря на Линдисфарне: в 750-е гг. норманны разграбили о. Танет в Ла-Манше напротив устья Темзы, в Мерсии с ними сражался король Оффа. Сам Алкуин происходил из англов, нашествие которых на Нортумбрию 350 лет назад было не меньшим «ужасом», чем грабеж викингами монастыря св. Кутберта.

Потрясением для Алкуина и его современников было бесстрашие, с которым норманны крушили христианские святыни, и

ошеломляющий размах нашествий. В течение 790-х гг. викинги громили монастыри и селения в Ирландии, северной и восточной Англии, на о. Мэн (798), в Аквитании (799); «с последнего десятилетия VIII в. нападения скандинавских флотилий на земли от Ладожского озера на востоке до Ирландии на западе становятся повсеместным бедствием» (Херрман 1986:39). Предки норманнов — готы, свеи и другие «дети Скандзы» — в свое время тоже поражали Европу неудержимой экспансией, но с тех пор, казалось, все встало на свои места: «северные варвары» подчинили империю и сами стали империей. Удар викингов был для них напоминанием о подзабытой прародине, пробуждением задремавшего вулкана.

Движение викингов действительно напоминает шквал, вызванный не вполне понятными причинами. Скептики подозревают, что дело обстояло не столь уж драматично и «эпоху викингов» сфабриковали сами историки (см.: Соьер 2002:294). Возможно, монахи с историками допустили некоторые преувеличения, но размах и динамика экспансии скандинавов, а тем более ее мотивы и деятельностные основания, представляют очевидный интерес для антропологии движения.

Распространен взгляд на экспансию викингов как на отток избыточного населения — «кризисную миграцию». Предполагается, что рост населения был следствием полигамии (Steenstrup 1876:218) и благоприятной экологии в условиях климатического потепления около 800 г. (Нюлен 1986:155). Миграциям способствовала и скудость плодородных земель в Северной Европе: норвежская экспансия началась раньше датской потому, что более плодородные почвы Дании дольше выдерживали рост населения (Соьер 2002:288). Демографическая избыточность обострялась обычаем майората, толкавшим обездоленных младших сыновей на поиск нового жизненного пространства: «Скандинавия — старинная колыбель народов — высылает многочисленные толпы своих пиратов, которым нет места на родной земле» (Соловьев 1988:123; см. также: Brønsted 1960:23–24).

Нередко акцент делается на технико-экономических преимуществах скандинавов. При этом уже не бедность ресурсов, а предприимчивость и богатство видятся причиной их движения: благодаря комплексной экономике и продуктивности северных ферм часть населения высвобождалась из сферы сельского хозяйства и участвовала в торговле и морских походах. Главным техническим ресурсом викингов было их «искусство в мореплавании и уверен-

ность в своих судах» (Arbman 1962:47–49). Впрочем, как отметил Г. С. Лебедев, теми же преимуществами располагали и предшествующие поколения скандинавов, а парусники появились на Севере Европы за двести лет до викингов (Лебедев 2005:62).

В геополитическом ракурсе лейтмотивом действий викингов представляется борьба за господство в «круге земном». По одной версии, норманны вырвались на простор после того, как франки положили конец морскому могуществу фризов (Stenton 1947:238; Davis 1957:165); по другой — набеги викингов были ответом на завоевание франками Саксонии (Deanesly 1956:474); по третьей — скандинавы сами искали повода для вмешательства, самовольного или по приглашению, в европейские распри (Turville-Petre 1951:51).

Все названные обстоятельства по-своему весомы и в разных ситуациях могли дополнять друг друга. Однако ни повышенное чадородие, ни большой парус, ни длинный меч сами по себе не породили движения викингов. Все это росло в размерах и находило применение благодаря мотивированным действиям норманнов, мобилизации их культуры. Толчком к экспансии могла быть случайная интрига, но двигателем — мощный потенциал, превратившийся в долговременный и устойчивый механизм.

В отличие от археологических древностей, обозначающих лишь контуры движения, письменные источники позволяют восстановить сценарии реальных событий с участием конкретных персонажей. Для антропологии ценны не столько их частные биографии, сколько индивидуальные позиции и предпочтения, ситуативные реакции и решения. Можно попытаться разглядеть их глазами внутреннюю связь событий, сюжетную схему (*scenario*). Действующему лицу сюжетная схема видится иначе, чем стороннему наблюдателю, в том числе историку. Другими словами, походы викингов следует толковать по-викингски, завоевания монголов — по-монгольски. Для наблюдения за мотивами-действиями норманнов удобна позиция «последнего короля-викинга», чей деятельностный портрет в равной мере типичен и индивидуален.

### *Харальд Суровый*

Сын Сигурда Свиньи и брат Олава Святого по матери, Харальд Хардрада (Суровый), родившийся около 1015 г., пятнадцатилетним юношей уже сражается в войске брата Олава при Стикластадире (1030 г.) и получает ранение. Отлежавшись и залечив раны в лес-

ной хижине, он бежит потаенными тропами из Норвегии в Швецию, в манере скальда размышляя о своей доле:

Вот плетусь из леса  
В лес — немного чести! —  
Как знать, не найдет ли  
И нас в свой час слава (Сага о Харальде Суровом, 1. Здесь и далее  
цит. по: Стурлусон 1980).

Снарядив в Швеции флотилию, он отплывает в Гарды к князю Ярославу Мудрому (конунгу Ярицлейву), где возглавляет варяжскую дружину и вместе с Эйливом Рёгнвальдсоном в течение нескольких зим (в староскандинавской традиции годы считались зимами, а сутки ночами) успешно сражается с врагами Ярослава на Восточном пути.

Взяли в тиски  
Вендов полки.  
Изведал лях  
Лихо и страх.

Прибыв однажды с флотилией в Константинополь, Харальд поступает на службу к византийской императрице Зое. Вскоре во главе дружины верингов<sup>1</sup> он ловит пиратов в Эгейском море, громит восставших болгар, спорит о первенстве с полководцем Георгиосом Маниакесом, совершает военные рейды по Средиземноморью.

Харальд пошел со своим войском на Запад, в Африку, которую веринги называют Страна Сарацин... Он захватил в Стране Сарацин восемьдесят городов... Харальд провел в Африке много лет, захватил огромные богатства, золото и всякого рода драгоценности. Но все имущество, какое он добыл и в каком не нуждался для того, чтобы содержать себя, он посылал с верными людьми на Север в Хольмгард на хранение к Ярицлейву конунгу, и там скопились безмерные сокровища (Сага о Харальде Суровом, 5).

Харальд прославляется как воинской яростью, так и изобретательностью. Он берет неприступные города, пуская в крепость птиц

<sup>1</sup> Дружина норманнов на службе византийского императора, первоначально сформированная, вероятно, из числа варягов, ушедших от князя Владимира Святославича в Константинополь. Слово *веринг* (*waeringer*, варяг) восходит, скорее всего, к староскандинавским *vaeria* 'защищать' или *varda* 'охранять' (см.: Стриннгольм 2003:284–285; Геденов 2004:154–163; Васильевский 1908:180, 352–376).

с зажженной стружкой, делая подкопы под стены, усыпляя бдительность горожан потешными играми, изображая из себя покойника, вносимого в город для литургии и погребения. За погромами церквей следует победоносный марш Харальда к Иерусалиму, где он совершает богатые приношения Гробу Господню и Святому Кресту. По ходу паломничества вождь верингов не только купается в Иордане, но и убивает попадающихся под руку разбойников, в результате чего устанавливает мир «по всей дороге к Иордану» и удостоивается (в устах поэта) звания «пастыря».

После восемнадцатой крупной победы Харальду наскучила византийская служба, и он решает вернуться в северные земли. Разгневанная Зоя обвиняет вождя верингов в присвоении награбленного под знаменами Византии добра (по словам «осведомленных людей», раздор случился из-за любовной ревности престарелой императрицы к Харальду, который не только покидал Константинополь, но еще и сватался к ее племяннице Марии). Басилевс Михаил V Калафат заточает Харальда в темницу, но тот бежит, поднимает среди ночи верингов, врывается с ними в покои императора и велит выколоть ему глаза.<sup>2</sup> Силой захватив Марию, племянницу императрицы, Харальд на галере отплывает в Черное море. Там, на берегу, он расстается с возлюбленной, отправив ее с эскортом домой, а сам пускается в плаванье по Восточному пути, сочиняя на ходу Висы Радости в предвкушении встречи с княжной Елизаветой (Эллисив), дочерью Ярослава Мудрого.

Ведать будут, верно,  
Вдовица и девица,  
Что на град я ратным  
Обрушился оружием.  
След от струй преострых  
Стали там остался.  
Мне от Нанны ниток [«женщины» — Елизаветы]  
Несть из Руси вести (Поэзия скальдов 1979).

<sup>2</sup> Выходка Харальда выглядела по тем временам не варварством, а светской ромейской традицией. Например, в 797 г. императрица Ирина велела ослепить собственного сына Константина VI. Льва Фоку и его сына ослепляли дважды: Иоанн Цимисхий, в 969 г. зарубивший императора Никифора Фоку в его спальне, велел выжечь глаза его брату Льву Фоке (лишь случайно зрачки остались целы); затем при попытке повторного переворота Льва и его сына ослепили окончательно. Сама императрица Зоя одного из своих фаворитов-мужей (Романа Аргира) сжила со света, приказав утопить его в бане.



Скальд Харальд относится к женщинам скорее поэтически, чем политически. Впрочем в его привязанности к Эллисив есть и нечто экономическое: слишком много трофеев и сбережений он посылал из Миклагарда (Царьграда) в Хольмгард (Новгород). «Там было столько добра, сколько никто в Северных Странах не видал в собственности одного человека», — не скрывает восхищения сказитель, косвенно подтверждая небеспочвенность гнева императрицы Зои. Кроме военной добычи, Харальду достались доли посмертных императорских раздач *poluta swarf* — в случае смерти базилевса верингам разрешалось ходить по всем императорским дворцам и брать в память о своей службе из сокровищниц покойного столько, сколько смогут унести. Поскольку при Зое ее фавориты-императоры гибли часто, Харальд за время службы успел трижды совершить *poluta swarf*.

Перезимовав в Хольмгарде, Харальд берет в жены княжну Елизавету Ярославну, а у отца ее — свои многолетние накопления. Весной он перебирается из Хольмгарда в Альдейгъюборг (Ладогу), снаряжает корабли и летом отплывает в Швецию. В союзе со Свейном Ульвсоном во главе шведского войска он отправляется покорять Данию и Норвегию. Не зря, как заметил поэт, «вид у датских невест был невесел»: «Харальд и Свейн пришли в Данию, все там пожгли, и население страны повсюду покорилося им» (Сага о Харальде Суровом, 19–20).

Конунг Норвегии Магнус, племянник Харальда, предлагает родственному помириться и поровну поделить достояние каждого; в итоге Харальд, после одобрения этого соглашения тингом (вече), получает у Магнуса половину Норвегии в обмен на половину своих сокровищ. Зимой конунги соуправляют Норвегией, ездят каждый со своей дружиной по пирам, летом они подчиняют себе Данию, а осенью Магнус умирает, завещая Норвегию Харальду, а Данию — Свейну Ульвсону. Харальд собирает войско на тинг и заявляет о своих претензиях на Данию, но войско по призыву Эйнара Брюхотряса отправляется хоронить Магнуса и разбредается по домам. Харальду приходится заново объезжать всю Норвегию и в каждом фюльке на тинге добиваться провозглашения себя конунгом. Позднее он не раз спорит с Эйнаром Брюхотрясом на тинге и даже посвящает ему гневные стихи, пока однажды упряма не зарубают дружинники в усадьбе конунга. После смерти Магнуса Харальд берет в жены Тору, рождающую ему двух сыновей (от Эллисив у конунга было две дочери).

Летом Харальд обычно воюет в Дании, а зимой ездит по пирам и тингам в Норвегии. Так продолжается пятнадцать лет. В одно лето Харальд захватывает, грабит и сжигает торговую столицу Дании Хедебю. Возвращающуюся домой норвежскую флотилию из 60 кораблей нагоняет морская дружина конунга Свейна. На море штиль, и судьба погони решается греблей, но пропитанные водой, груженные трофеями суда норвежцев уступают в скорости кораблям датчан. Харальд с замыкающего норвежский строй корабля отдает приказ выбросить на плавучие доски награбленное добро. Датчане бросаются собирать его по морю, но, подгоняемые Свейном, продолжают преследование. Харальд велит своим людям выбросить за борт солод, пшеницу, мясо, питье, пустые кадки, корабельные щиты и, наконец, пленников. Приказ Свейна поднять на борт брошенных в море людей задерживает датчан, и норвежцам удается уйти от погони (Сага о Харальде Суровом, 25).

Зимой Харальд созывает большое ополчение и приказывает построить себе новый драккар (корабль-дракон) на тридцать пять пар гребцов, с золоченой головой и хвостом. Летом Харальд на Большом Драконе вступает в морское сражение с конунгом Свейном. Норвежской флотилии из 150 кораблей противостоит вдвое большая датская. Бой длится всю ночь, и к утру Харальд с дружиной восходит на корабль Свейна. Датчане бегут, в отчаянии прыгая с кораблей в море. Конунг Свейн под именем Человек-в-Беде спасается благодаря норвежскому ярлу Хакону, переправившему его на берег под кров своего друга, датского бонда Карла. Позднее за спасение Свейн дарует Карлу богатую усадьбу и новую жену.

В том же бою попадает в плен ярл Финн, который прежде служил Харальду, а ныне дрался на стороне Свейна. Когда Харальд предлагает ему пощаду, Финн отвечает: «Не от тебя, собака!» Норвежский конунг дарует-таки ярлу жизнь, держит его некоторое время при себе, хотя тот «мрачен и груб в речах». Наконец Харальд отпускает его к конунгу Свейну (Сага о Харальде Суровом, 66).

Два года спустя Харальд и Свейн, бывшие союзники, а затем враги, вновь мирятся. Тут же поэты, недавно воспевавшие кровавую сечу, отзываются стихами: «Беда, коль не ладят вожди и враждебны рати». Оставив в покое Данию, Харальд наводит порядок на родине: он громит и грабит бондов в Раумарики и Хрингарики, после чего они «во всем подчинились конунгу» (Сага о Харальде Суровом, 71, 73).

В это время у Харальда гостит английский королевич Тости, сын покойного Эдуарда Исповедника. Лишенный своим братом Гарольдом власти, Тости соблазняет Харальда отправиться в Англию, и ему это без труда удается. По пути на Британские острова Харальд оставляет на Оркнейских островах жену Эллисив (Елизавету Ярославну) с дочерьми.

В Англии Харальду сопутствует успех, пока он наносит удары с моря. Словами скальда, «как по твердой земле, по трупам шли норвежцы, отважные духом» (Сага о Харальде Суровом, 85). Судьба Англии решается в сражении за Йорк. Город объявляет о сдаче на милость Харальда. Норвежские викинги высаживаются с кораблей и направляются к Йорку налегке, без полного вооружения. Харальд тоже оставляет на судне свои доспехи, в том числе знаменитую кольчугу Эмму, длиной ниже колен. Неожиданно у Стэмфордбриджа наперерез разомлевшим под солнцем бабьего лета норвежцам выходит армия Гарольда Английского. Построившиеся в круг норвежские викинги мало напоминают боеспособное войско, но Харальд привычно поднимает знамя Опустошитель Страны и слагает вису:

И встречу ударам  
Синей стали  
Смело идём  
Без доспехов.  
Шлемы сияют,  
А свой оставил  
Я на струге  
С кольчугой рядом (Сага о Харальде Суровом, 92).

Под Харальдом падает конь, но конунг заявляет, противясь судьбе: «Падение — знак удачи в поездке!». «Похоже, что удача оставила его», — изрек Гарольд, наблюдавший, как норвежский король рухнул с вороного коня. В ходе битвы Харальд бросается в самое пекло, закрывая брешь в обороне. Он «пришел в такое неистовство, что вышел из рядов вперед и рубил мечом, держа его обеими руками. Ни шлемы, ни кольчуги не были для него защитой». Англичане были близки к бегству, с норвежских кораблей на помощь королю мчалось войско Эйстейна Тетерева в полном вооружении, когда стрела угодила Харальду в горло. Конунг пал от смертельной раны, и исход сражения был предreshен (Сага о Харальде Суровом, 92).<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Девятнадцать дней спустя, 14 октября 1066 г., Гарольд Английский погиб в битве с Вильгельмом Завоевателем при Гастингсе.

Харальду конунгу было пятьдесят лет отроду, когда он погиб... [Он] жил среди тревог и войн. Все, кто ходили с ним в бои и походы, говорили, что когда ему угрожала великая опасность и все зависело от того, какое решение он немедленно примет, он находил выход, который оказывался, как все видели, наиболее удачным.

Харальд конунг был хорош собой и статен. У него были светлые волосы, светлая борода, длинные усы, и одна его бровь была немного выше другой... Харальд конунг был крайне жаден до власти и до всякого богатства. Он был очень щедр со своими друзьями, которые были ему дороги.

Харальд — человек роста и силы не чета прочим, и так умен, что нет для него ничего невозможного, всякий раз достается ему победа, когда он сражается, а золотом так богат, что ни один человек не выдывал подобного.

Харальд конунг был могущественный и твердый правитель страны, сильный разумом, так что все говорили, что не было такого правителя в Северных Странах, который сравнялся бы с ним по разумности принимаемых решений и мудрости даваемых советов. Он был великий и мужественный воин (Сага о Харальде Суровом, 20, 26, 99).

Путь последнего конунга-викинга охватил весь «круг земной» (heimskringla) — от Арктического океана на севере до южного Средиземноморья, от Гардов на Восточном пути до Британских островов на Западном пути. Жизнь Харальда «среди тревог и войн» прошла наполовину за пределами родины, но и дома он не изменял ритму повседневных походов и сражений. Пятнадцать лет конунг воевал в Дании, отправляясь туда каждым летом, будто на морской промысел. Когда с Данией был заключен мир, он принялся воевать со своими бондами, будто боясь прожить хоть одно лето без сражения.

Харальд погиб в бою и, по старой языческой традиции, вошел в круг избранных воинов бога Одина, тем более что он обладал поэтическим даром, столь близким водителю Вальгаллы. Но Харальд был и христианином, и немало в его жизни связано с именем Марии: в молодости он пылал страстью к греческой христианке Марии, одну из дочерей своих окрестил Марией, в Нидаросе построил церковь во имя Марии и похоронен был здесь же, у Марии. Трудно сказать, кто занимал больше места в сердце конунга, Один или Мария, но, в отличие от сводного брата Олава Святого, он не был ревнителем христианства: Харальд то грабил церкви, то щедро жертвовал награбленное Гробу Господню. При случае он мог и «поколдовать»: однажды, например, оказавшись на морском

острове в осаде и без пресной воды, он велел поймать змею, «истомить» ее над костром, привязать к хвосту нить и отпустить; в месте, где змея скрылась под землю, люди конунга откопали живой ключ. Сочетание в Харальде жажды власти и богатства с даром поэта и талантом полководца сделало его героем саг и стихов, а его поступки, от ослепления императора Византии до основания столицы Норвегии Осло, — достоянием истории. И все же Харальд был уходящей фигурой — отголоском отцветшей культуры викингов, что делает «его взгляд» удобным для обзора всей эпохи.

### *Кеннинги и морские конунги*

В самой критической и, казалось бы, неподходящей ситуации норманны разражались стихами. Смертельно раненный викинг умудрялся «сказать вису» на последнем выдохе. Во власти над мгновением выражен особый стиль восприятия движения — как своего рода собственности, которой можно распорядиться по своему усмотрению. Поэзия всегда рождалась в гонке ощущений и обозначений. Викингам удавалось схватить мгновение в стихах и орнаменте. Один из мотивов орнамента норманнов называется «хватка зверя», что перекликается с общим стилем их мировосприятия и поведения.

Неоднократно отмечалось, что пересечение фраз в скальдике (поэзии норманнов) напоминает «плетенку» орнамента в скандинавском искусстве Борре/Еллинг эпохи викингов (Смирницкая 1980:610; Лебедев 2005:355). Так называемый «звериный стиль» IX–X вв. может произвести столь же обескураживающее впечатление путаности и вычурности, как скальдическая виса. Он не столько изображает, сколько поражает. Не сами по себе змеи, звери и хищные птицы, а их, как принято говорить, яростная мощь читается в сплетении голов, тел и хвостов, которыми обильно декорированы вещи скандинавов — от броши и топора до сбруи и корабля. Это фантастично-реалистичное искусство нацелено на эффект движения, будь то разинутая пасть и раздутые ноздри зверя на Усебергском корабле или змеиные кольца на Еллингском камне. Ощущение мощи и энергии создается не столько свирепыми осками, сколько пластикой телосплетений, от которой картина будто шевелится или вращается.

Стиль в искусстве не может не быть стилем мышления и восприятия. Сложность стихов или орнаментов тысячелетней давности для сегодняшнего исследователя — свидетельство различий при-

емов и кодов, слова и образа в вербальной и визуальной практике. Язычникам-воинам эпохи викингов было легко то, что вызывает скрежет сегодняшнего ума, и, быть может, именно потому, что он отвык от сложной динамики. Сплетение узоров Борре — проекция напряженности в головах средневековых скандинавов от замысловатой смеси морской навигации и торговой калькуляции, войны и страсти, риска и ответственности.

Грекам казалось, что веринги-викинги «не говорили, а скорее плевали из уст» (Скринингольм 2003:290). Скальдический стих всегда вызывал дискомфорт у любителей изящной словесности своей жесткостью и напряженностью, что не удивительно, поскольку этими стихами не ублажали, а воевали. Скальдика в ее ритме *дротт-кветта* (дружинного размера) — стиль резкомыслия викингов, в котором выражен внутренний монолог с его смесью наблюдений и эмоций. Фоно-ритмо-сложение скандинавского стиха соответствует манере поведения воина с акцентами на быстроте решений и внезапности действий. Поэзия скальдов почти целиком посвящена героике битв, оттого в ней слышится лязг оружия — возможно, она и была своего рода оружием.

Обычное для скальдики разрубание строфы сродни удару меча. Оттого в висе сталкиваются — неожиданно, как в сражении, — то конфликтующие, то догоняющие друг друга мысли и ощущения. Строки у скальдов не сплетаются в плавный узор, а пересекаются в порывистых движениях.

Возвестим, как витязь

— *Вран припал к горячим*

*Ранам гаутов* — светлый

Меч кровавил в сече (Стурлусон 1980:516).

В этом стихе скальд Колли повествует о том, что витязь (конунг Инги) свой «светлый меч кровавил в сече» (с войском гаутов), и вдруг в середину фразы вставляет сцену «ворон припал к горячим ранам гаутов». В кинематографе этот прием называется параллельным монтажом, когда поочередно показываемые независимые события нагнетают ощущение сложного действия или растянутого времени. В стихе «параллельный монтаж» тоже стягивает разные состояния и действия в сложный узел, и игра узлами оказывается стилем не только поэзии, но и действия-движения.

В поэзии викингов ключевую роль играет *kenning* ('обозначение') — фигура из двух и более слов: воин — «древо битвы», «куст

шлема», «Бальдр щита»; сердце — «желудь духа», стрела — «змея тетивы»; серебро — «снег тигля»; корабль — «конь мачты», «олень моря», «бык штевня»; ворон — «гусенок валькирии», «сокол Одина», «чайка ран», «глухарь битвы», «кукушка трупов», «лебедь крови»; кровь — «море меча», «река трупа», «напиток ворона». Кеннингами для самой поэзии служат «волна моря Одрёрира» или «влага котла груза виселицы», где «груз виселицы» — Один (висельник и бог повешенных), «котел Одина» — Одрёрир, «влага котла» — мед поэзии (Младшая Эдда 2006:58, 61). Мед поэзии сделан из смеси меда и крови мудреца-странника Квасира в котле Одрёрир (кто хлебнет меда поэзии — станет поэтом или ученым). Со словом *óðr* 'поэзия, вдохновение, иступление, одержимость' связано название котла Одрёрир 'Приводящий дух в движение' и имя самого бога Одина. Поэзию войны или войну как поэзию можно считать основой «схемы Одина», по которой строились поведенческие стратегии викингов.

Стиль мышления и изъяснения «узлами», предполагающий умение быстро их вязать при стихосложении и развязывать при стиховосприятии, мог сложиться в ситуациях, которые сами по себе были «узловыми», сочетая сложные параллельные действия. Для скандинавов таковым было движение по морю, в котором осуществлялся параллельный монтаж действий: маневр судна в волнах и относительно земли, управление парусом с учетом ветра, крена, волны, глубины, береговой линии. Море и суша в измерении движения-действия — параллельные реальности, диалог между которыми идет через сознание морехода.

Среди образов саг и скальдике загадочна фигура «морского конунга» — *sækonungr*. Море нередко определялось кеннингами «путь и дорога морских конунгов» или (по именам легендарных морских конунгов) «стогна Будли», «шлях Ракни», «зыбкая земля Ракни». Образы кораблей в скальдике тоже часто содержат имена морских конунгов «лебеди Гаутрека», «кони Ревиля», «конь струи Гюльви», «лыжи Мейти», «олень Свейди», «жеребец Хейти», «зверь Хейти». Смысл семичленного кеннинга с участием того же Хейти — «притупитель голода чайки звона блеска зверя Хейти» (воин) — раскрывается пошагово от конца к началу (см.: Лебедев 2005:356):

- «зверь Хейти» — корабль,
- «блеск зверя Хейти» — щит,
- «звон блеска зверя Хейти» — битва,
- «чайка звона блеска зверя Хейти» — ворон,
- «притупитель голода чайки звона блеска зверя Хейти» — воин.

Типологический ум историка ищет морскому конунгу нишу в социально-экономической структуре феодального общества. А. А. Хлевов видит в морском конунге малого (младшего) конунга, которому не хватает земли и доходов от неприбыльного хозяйства. Морские конунги представляются вождями маргинальных («криминальных») групп, прозванных викингами (Хлевов 2002:136, 179). Г. С. Лебедев поддерживает тему безземельных «морских князей», бывших социально избыточным элементом и потому начавших движение викингов около 793 г. (Лебедев 2005:178).

Сага об Инглингах повествует, что в давние времена, когда датские и норвежские конунги совершали набеги на Швецию, многие из них были «морскими конунгами» — «у них были большие дружины, а владений не было. Только тот мог с полным правом называться морским конунгом, кто никогда не спал под закопченной крышей и никогда не пировал у очага» (Стурлусон 1980:28). Как видно, речь идет не об обездоленности морского конунга, а о его особой доле — морской власти. Нарочитая отстраненность *sækonungr* от земли, крова и очага — ключевая для викингов идеология превосходства моря над сушей. *Sækonungr* в значении «король моря» — узел особой идентичности викингов, и в этом измерении выражение *i vikingu* (от *vikja* — «уйти в сторону [от земли]», «уйти в море»; см.: Askeberg 1944:121) можно считать основой мотивационно-деятельностной схемы морских воинов.

Конунг моря, не знавший крова и очага, был фигурой скорее идеальной, чем реальной. Возможно, легендарные морские конунги (Ракни, Хейти и другие) действительно провели жизнь почти исключительно на корабле. Будучи наследниками древней морской культуры, викинги существенно превзошли своих предков во власти на море и над морем. Они вышли в океаническое плавание под большим парусом, изобрели новые приемы навигации, морского военного дела, кораблестроения. Подобные прорывы не совершались постепенным рациональным накоплением опыта, а были итогом подвижничества «жрецов моря».

В древней мифологии норманнов морская жизнь представлена, на первый взгляд, довольно скупо. По подсчетам А. А. Хлевова, путешествия мифологических героев совершаются по морю редко — лишь в 2 случаях (17%) по Старшей Эдде и 4 случаях (11%) по Младшей Эдде; остальные передвижения происходят по суше — соответственно 7 (58%) и 24 (62%), реке — 2 (17%) и 6 (16%), воздуху —



1 (8 %) и 4 (11 %). Обитель богов Асгард производит впечатление сухопутного селения; с морем связаны лишь сюжеты пришествия темных сил в день Гибели Богов (Рагнарёк), препровождения в Хель погибшего Бальдра, упоминания волшебных кораблей Хрингхорни и Скидбладнира (Хлезов 2002:149, 150, 159).

Кульť моря с обилием героев, походов и подвигов действительно связан не столько с мифологией предков викингов, сколько с собственно викингами. Однако в эддической традиции морская тема представлена шире обозначенных процентов. Например, из моря миф выводит род исполинов:

Брызги холодные  
Эливагара ['Бурных волн']  
ётуном [великаном] стали;  
отсюда свой род  
исполины ведут,  
оттого мы жестоки (Старшая Эдда 1963:32).

Морской великан Эгир, у которого обычно пируют боги, и его жена морская богиня Ран, которая ловит сетью утонувших людей, породили девять волн-дочерей (Небесный блеск, Голубка, Кровавые волосы, Прибой, Волна, Всплеск, Вал, Бурун, Рябь), от которых родился бог Хеймдалль, создатель людей: «Дочери ётунов — девять их было — родили его у края земли» (Старшая Эдда 1963:168, 253; Младшая Эдда 1970:68). Тем самым не только гибель мира и людей, но и их зарождение мифологически связано с морем. Кеннинги моря показывают многообразие его граней в восприятии морских людей: «тропа выдр», «тропка рыб», «пастбище ската», «небо песка», «поле тюленя», «крыша кита», «луг кита». Примечательна переключка кеннингов, определяющих море через землю и наоборот: море — «земля кораблей», «земля кия, носа, борта и шва корабля», «земля рыб и льдин», «земля лебедей», «земля сетей»; земля — «море телеги», «море зверей», «море лосей». Третий ас Ньёрд живет у неба-моря, в том месте, что зовется Ноатун — Корабельный двор. Он управляет движением ветров, умиряет огонь и воды; его призывают в морских странствиях и промыслах (Видение Гюльви; Младшая Эдда 2006:28). Родство стихий моря и неба видно в том, как носятся и скачут по небу и морю валькирии (их часто девять, как волн). Им по силам унять бурю и спасти мореходов, не случайно валькирия Сигрдрива наставляет:

Руны прибоя  
познай, чтоб спасать  
корабли плывущие!  
Руны те начертай  
на посу, на руле  
и выжги на веслах,  
пусть грозен прибой  
и черны валы, —  
невредимым причалишь (Старшая Эдда 1963:110).

Море было постоянным полем и источником поэзии; в борьбе корабля с ветром, метелью, волнами выражалась высшая эстетика и предельная драматургия поэзии моря:

Ветер хранящий рубит  
Море лезвием бури,  
Волны сечет крутые —  
Дорогу коня морского.

Ветер в одеждах снежных  
Рвет как пила зубами  
Крылья морского лебедя,  
Грудь ему раздирая (Сага об Эгиле, 57; Исландские саги 1972).

Эти иллюстрации, за каждой из которых стоит чуть приоткрытый Эддами мифологический сюжет, характеризуют «морское сознание». Только человек моря способен назвать землю «морем телеги», а в качестве чуда-мечты представить корабль *Скидбладнир*, который можно свернуть как простой платок и положить себе в кошель, а можно пуститься на нем по морю, и куда бы ни лежал путь, всегда будет дуть попутный ветер (Младшая Эдда 1970:72).

«Сухопутное сознание» определяет лучшими землями плодородные тучные нивы. Для человека моря лучшая земля — остров. Вероятно, предпочтение острова для всех морских людей исходно, поскольку морская культура родилась на островах и фьордах. Поэтому столь мощно выглядит археология Готланда, Эланда, Борнхольма, что они были средоточием культуры морских кочевников. На островах преобладают и стелы с рунами о походах норманнов, и зарытые в землю трофеи-клады. Из 1000 известных в Скандинавии кладов серебра и золота половина была обнаружена на острове Готланд (Stenberger 1977:443). Острова «были истинным гнездилищем и сборным местом викингов. Впрочем, где бы ни приставали эти пираты, если только находились поблизости островов, на них

лучше всего переносили они свой стан» (Стриннгольм 2003:31). Не только сплетение путей, но и отдаленность от материковых берегов сделала Готланд сердцем Балтики, логовом пиратов и своего рода морским банком, где хранили добычу сребролюбивые викинги. В этом смысле каменистая почва Готланда оказалась плодороднее цветущих долин Сконе и Ютландии.

Норманны не случайно открыли свою эпоху нападением на британский остров Линдисфарн 6 июня 793 г. Когда датский конунг Готтрек начал войну против Карла Великого и его вассалов-христиан в 810 г., он укрепил южную границу Дании земляным валом *Danevirke* и нанес удары по всем островам Фрисландии. Когда в 830-е гг. викинги основательно взялись за Англию и Францию, они захватили прибрежные морские острова, а затем расположились на речных островах, таких как Нуармутье в устье Луары, Шеппэй и Танет в эстуарии Темзы. Как отмечает П. Сойер, пришельцы предпочитали «искать защиту не за крепостными стенами, а на островах, где им было удобно вытащить на берег свои ладьи» (Сойер 2002:191).

В стратегии викингов острова были форпостами власти моря над сушей и морскими столицами. Цель викинга — не занять город, а контролировать его с корабля или острова. Речь идет не о бытовых удобствах (их на пустынных островах меньше, чем в городах), а о тактике, исходящей из схемы морского кочевника. Например, разгромив и разграбив Нант, викинги отошли на остров Луары, там выстроили себе хижины, туда стащили добычу и пленных, больных и раненых, а остров окружили, будто стеною, рейдом своих кораблей (Стриннгольм 2003:42). По устройству островной походный лагерь викингов напоминал курень степных кочевников, окружавших временный стан кольцом кибиток.

На острове среди водных лабиринтов озера Мелар располагалась торговая столица Швеции Бирка. То, что было удобно морякам — воинам, купцам, рыбакам, — оказывалось мукой для чужаков. Отправленные в Швецию франкским королем Людовиком Благочестивым в 830 г. проповедники Ансгарий и Витмар натерпелись страха уже в море, ограбленные, благо не убитые, викингами, и долго еще плутали по извилистым берегам Мелара, прежде чем добрались до Бирки (*Vita Anskarii*, 10, 11). Тяга к островам выражалась у скандинавов на проективном уровне: даже там, где островов не было, они отыскивали нечто на них похожее и давали поселе-

нию имя с корнем *hólm* (остров), например *Hólmgarðr* — «Город на острове» (Новгород). Норманнам удалось сделать обитаемыми многие большие и малые острова Атлантики, в том числе Исландию (874 г.), где нашел последнее убежище и выражение в сагах дух викингов, выдворенный с континента.

Острова, не считавшиеся «сушей», были резиденциями морских конунгов. При желании морской конунг мог захватить целую страну, как это сделал Сёльви с острова Ньярдей, имевший владение в Йотланде и ходивший в викингские походы в восточные страны. Однажды он расправился с «пировавшим у очага» шведским конунгом Эйстейном (сжег его с дружиной прямо в доме), затем явился в столицу Швеции Сигтуны и потребовал, чтобы шведы провозгласили его конунгом. Те заупрямились, и Сёльви пришлось биться с ними одиннадцать дней. После этого морской конунг долго властвовал в Швеции, пока не был убит повстанцами (Стурлусон 1980:28). Сага подчеркивает жестокость и властность морского конунга, спалившего за пивным столом «земного» конунга Эйстейна и силой подчинившего шведов (в истории Швеции случай редкий). Морской конунг мог называться и «конунгом викингов», как Торстейн Рыжий, сын конунга Олава Белого (Сага об Эйрике Рыжем 1; Скандинавский эпос 2008:517). В союзе с ярлом Сигурдом Могучим, сыном Эйстейна Грома, он завоевал ряд островов и больше половины Шотландии.

*Sækonungr* и *i víkingu* — элитные, а не маргинальные, статусы, если воспринимать их не в статике современных представлений о власти, а в реалиях динамичного средневекового Севера. Политическая мощь скандинавских конунгов рождалась и росла в море, а не на суше, в маневренном движении, а не сидении на княжьем столе. У морского конунга могло не быть и клочка земли, но с моря (острова) он контролировал целые страны. Возможно, морские конунги на свой лад делили сеть водных путей на «морские княжества». С одной стороны, морская власть была основой военно-пиратского промысла, с другой — укрепляла идею господства моря над сушей, ставшую идеологией викингов. Залогом амбиций, риска и успехов морских кочевников была их искренняя убежденность в своем превосходстве над оседлыми жителями (средневековое клише — грозный корабль-дракон надвигается на берег, приводя в трепет робких обитателей суши). Морская стихия была главным орудием и оружием скандинавов — союзником в военных рейдах и защитой от нападений врагов.

Состояние *i vikingu* как «подданных» или дружины морского конунга породило самосознание «гражданина моря». Как неоднократно отмечалось, викинг — особая идентичность, выросшая из северо-германской скандинавской культуры, но вышедшая за ее этнические пределы. Викингами были не только датчане, норвежцы и шведы, но и выходцы из славян-вендов, балтов, финнов.<sup>4</sup> Идентичность «викинг» сопоставима с идентичностью «финикиец»: обе были укоренены в местных культурах (соответственно германской и семитской), но стали обозначением и самосознанием новых надэтнических сообществ — морских империй. Ими не правили восседавшие на троне цари; у них были иные основания — мифологема-идеологема морской власти и деятельностная схема людей моря (морского торговца у финикийцев и морского воина у викингов).

Жизнь многих исторически известных северных королей была ориентирована на «схему *sækonungr*» и проходила по большей части в морских рейдах, на кораблях и островах. Сага об Инглингах содержит рассказ о шведском конунге Хаки, который окончил свой земной путь в духе *sækonungr*, хоть и не звался таковым.

Хаки конунг был так тяжело ранен, что, как он понимал, ему оставалось недолго жить. Он велел нагрузить свою боевую ладью мертвецами и оружием и пустить ее в море. Он велел затем закрепить кормило, поднять парус и развести на ладье костер из смолистых дров. Ветер дул с берега. Хаки был при смерти или уже мертв, когда его положили на костер. Пылающая ладья поплыла в море, и долго жила слава о смерти Хаки (Стурлусон 1980:23).

### Зверь пучины

Конунг Хаки сражался и получил смертельную рану на суше, но умирать ушел в море. Конунг Харальд Суровый был сражен стрелой в горло, легкомысленно сойдя с корабля без доспехов, а на родину вернулся мертвым на борту своего «дракона». Сыновья Эйрика Кровавая Секира вышли на берег биться с Хаконем Добрым, а когда их дружины полегли или бежали, Хакон велел вытащить на берег брошенные корабли, положить на них погибших воинов и засыпать землей и камнями — «эти курганы еще видны к югу от скалы Фредарберг» (Стурлусон 1980:81–82). Пожизненная и посмертная тяга викингов к морю выражена в погребениях на корабле — сожжении в открытом море или захоронении в кургане.

<sup>4</sup> Например, сага о Хаконе Добром упоминает викингов-вендов, сага об Олаве сыне Трюгтви — викинга-эста (Стурлусон 1980:71, 100).

Норманнские «корабли мертвых» (ладьи с кремацией или ингумацией) известны, помимо Скандинавии, в Англии, Франции, Исландии, Финляндии и России (Müller-Wille 1974:199–204). Традиция погребений в ладье уходит корнями в «ладьевидные выкладки» неолита и бронзы (Stenberger 1977:198–200). Как сожжение отправляемой в море ладьи описываются похороны Бальдра, сына Одина, в сопровождении жены и заузданного коня — единственный в своем роде ритуал погребения бога (Младшая Эдда 1970:49). Можно представить, какое место в жизненной практике и философии викингов занимало море, если их предки из поколения в поколение в течение трех тысяч лет (120 поколений) предпочитали вечный покой в море.

Часто «корабли мертвых» интерпретируются как средство переезда усопших в страну смерти Хель. Однако погребальные ладьи (особенно в VII–VIII вв.) настолько основательно и богато оснащены, что вряд ли являются просто паромом между мирами. В одной из могил некрополя Вальсгерде в десятиметровой ладье на подстилке из перьев покоился человек, рядом с которым лежали копье, шлем, ларец с орудиями, крюк для котла, кузнечные клещи с поковками полосового железа, стеклянная чаша, игральная доска с фигурами, портупейный крюк для меча, по паре длинных мечей, скрамасаксов (однолезвийных мечей), колчанов со стрелами, наборов конской сбруи, стеклянных бокалов, по три щита, топора, конские узды; у форштевня стоял железный котел, при нем был вертел, черпак, козлы для вертела и ларчик, остатки мяса и костей; в ладью были уложены конь, две или три собаки, снаружи — еще одна лошадь и бык (Хольмквист 1986:153). Известные погребения в Гокстаде, Усеберге, Туне представляют корабль как роскошный ковчег, а загробную жизнь — как вечное плавание. Корабли в курганах Вестфольда, цитадели Инглингов, повернуты форштевнем на юг, к морю, а не на север, в Хель, — они символически *i vikingu*.

Кеннингов корабля, пожалуй, больше, чем иных: «зверь пучины», «вебрь строп», «олень моря», «волн табун», «козел волн», «лосось рвов», «сани бухт», «рысь ветра», «лыжи жижи», «конь паруса», «дерево моря». Не в духе скальдов называть корабль кораблем, да и не было просто корабля: был Великий Змей у Олава Трюгвасона, Большой Дракон у Харальда Сурового, Зубр и Человечья Голова у Олава Толстого. По преданию, Олав Толстый вырезал на форштевне собственную голову — «и долго потом в Норвегии на носу кораблей правителей вырезали такие головы» (Стурлусон 1980:190).

Эпизод замены Олавом Толстым головы дракона на форштевне собственной головой — момент рождения традиции, новизна которой оттеняется тем, что Олав своими руками ваял автопортрет — не то из самолюбия, не то из-за робости корабелов. Эта замена соотносима со сменой прозвища конунга «Толстый» на «Святой», хотя последняя случилась посмертно. Речь идет об обновлении идентичности в связи с принятием христианства, хотя Олав водрузил на носу судна не распятие и крест. Если в языческом мироощущении корабль воспринимался «зверем пучины», а драккар конунга — златоглавохвостым драконом, то судно с головой Олава — очеловеченное, огосударственное: из него изгнан дух «зверя», и, лишенный магии, корабль сделал шаг в область вещей. Возможно, с этим связана остановка в развитии «длинного корабля» (*langskip*), быстрая рационализация и дифференциация типов судов в конце эпохи викингов: морской *hafskip*, торговый морской *knarr*, балтийский *austfararknarr*. Исследователи (см.: Соьер 2002:122; Лебедев 2005:288), как обычно, находят рациональные объяснения закату легендарного лангскипа, однако те же обстоятельства не помешали некогда его расцвету и триумфу на морях Европы. Стоило облупиться позолоте дракона, и на месте достоинств «длинного корабля» обнаружились изъяны.

Пущенное франкским поэтом выражение «корабль — жилище скандинава» стало крылатым (Гуревич 2005:41). Сами викинги, при буйстве их кеннинговой фантазии, подобных определений не давали. И дело не в дефиците остроумия — это сравнение радует лишь оседлый слух. Для морехода суть корабля не в уюте покоя, а в мощи движения. Размышление франкского поэта вряд ли заслужило бы одобрение Харальда Сурового или скальда, автора строк:

Паруса кони [корабли]  
пенной покрыты,  
морских скакунов  
ветер не сдержит (Старшая Эдда 1963:102).

У викинга не корабль — дом, а дом — корабль: не судну задавалась статика дома, а дому — динамика судна. Особое настроение домашнего уюта в скальдике достигалось кеннингами типа «конь ложа» (дом), благодаря чему брачное ложе и все жилище наделялось конской мощью и будто слегка вставало на дыбы.

Скандинавы еще в готскую эпоху строили жилища с изогнутыми, подобно бортам, стенами. В век викингов эта традиция вырази-

лась, например, в облике Треллеборга — военного лагеря в датской Зеландии времен Харальда Синезубого (вторая половина X в.), где деревянные дома имели форму кораблей, и в каждом мог жить отдельный экипаж (Ле Гофф 2005:68). Как видно, викинги не только гробницы, но и земные жилища уподобляли кораблям, хотя в случае с Треллеборгом (букв. 'Город рабов') речь может идти о «казарменности» поселения.

Причудой норманнов, с точки зрения иноплеменников, были морские сражения. Арабам, например, казался нелепым пафос путешествий «береговых людей» (скандинавов), плавающих «без нужды и цели лишь для прославления самих себя», и их морские бои, в ходе которых привязанные друг к другу корабли служили полем битвы, а наградой победителю был корабль противника (Захoder 1967:68). Морская битва викингов выглядела неудобством при возможности выйти на берег и помериться силами на твердой земле. Иногда конунги сражались на берегу, обычно в чужих землях, но чаще на суше устраивали засады, ловили рабов, наказывали восставших бондов. Морские сражения удостоены в сагах особого внимания и поэтического слога: флоты противников с поднятыми знаменами и обращенными друг к другу драконьими головами сближались и шли на abordаж. Они были «сплоченными» — форштевни кораблей связывались канатами, благодаря чему среди моря возникала арена сражения, которая в финале доставалась победителю. Рукопашная схватка завершалась «очисткой» кораблей противника, при этом сначала решалась судьба флангов, а под конец закипала решающая схватка на центральных драккарах конунгов. Будучи по-своему ритуалом и ареной воинских состязаний, морское сражение приносило победителю славу и трофейный флот как орудие власти на море и суше.

Проекцией морской культуры на сушу была модель поведения команды корабля, от которой, по распространенному мнению, ведет начало западная (атлантическая) демократия. А. Тойнби, сопоставляя эллинов и скандинавов, отмечал, что корабельная команда несет «клетки» города-государства (республики) в виде судовых экипажей, которые, «выходя на сушу, продолжают поддерживать оправдавшую себя корабельную организацию». Она замещает собой группу по родству благодаря кооперации «в одной лодке» перед лицом общей опасности; на суше, как и на море, дружба оказывалась более существенным отношением, чем родство, а приказы



избранного и наделенного полномочиями лидера — более весомыми, чем подсказки обычая. Связующим элементом этой системы было уже не кровное родство, а подчинение свободно выбранному вождю и всеобщее уважение к свободно принятому закону, который носит на языке западной идеологии название «общественный договор». Высадившиеся на сушу судовые экипажи принесли идею городского самоуправления, из которой родился городской магистрат (Тойнби 1991:135, 137).

Г. С. Лебедев убедился в значении особого ритма взаимодействия команды гребцов (*гиф, русь*) в ходе экспериментальных «археолого-навигационных плаваний». В эпоху викингов «корабль — место организации особого, качественно нового уровня социальных связей», и «поведенческий механизм команды *руси* образует особый и самодостаточный социум» (Лебедев 2005:285–286, 358). Не только взаимоотношения «в одной лодке», но и связи между кораблями-командами, судном и гаванью, различными берегами и островами создавали систему коммуникации викингов. Не отдельный корабль, а флотилия была морской силой, участвовавшей в борьбе за власть. В сагах уделяется повышенное внимание к виду и маневрам флотилий и королевских флагманов. В мифах тоже упоминаются несущиеся «стаи ладей»:

Шумели весла,  
железо звенело,  
гремели щиты,  
викинги плыли;  
мчалась стремительно  
стая ладей,  
несла дружину  
в открытое море (Старшая Эдда 1963:75).

Войны и контроль над побережьем, пиратство, торговля, открытие и колонизация новых земель стали возможными во многом благодаря достижениям кораблестроения, в том числе большому парусу<sup>5</sup>, съёмной мачте, укреплению киля, усовершенствованию рулевого управления. Однако главными преимуществами викингов оставались власть над пространством и виртуозная маневренность

---

<sup>5</sup> Парус появился примерно за век до начала экспансии викингов (на рисовальных камнях Готланда есть изображения парусников VII в.), но многие авторы настаивают на том, что викинг и большой прямоугольный цветной парус — современники (Wilson 1996:35).

кораблей, вернее их команд. Военная магия кочевников состояла не в численности войска, а в искусстве маневра, силе удара и неожиданности появления «ниоткуда».

Кораблями исчислялась сила конунгов, формировалось народное ополчение *ледунг* (Гуревич 1967:181–186; Ковалевский 1977:108). В начале эпохи викингов (810 г.) датский конунг Готтрек вторгся во Фрисландию с флотом из 200 кораблей; в конце эпохи (1066 г.) Харальд Суровый пришел завоевывать Англию с таким же флотом. Даны в 845 г. напали на Гамбург с флотом из 600 ладей, в 885 г. викинги на 700 судах осадили Париж. Известна предельная численность военно-морского ополчения (ледунга) в Скандинавии XII–XIII вв.: в Норвегии — 311 кораблей (12–13 тыс. человек), в Швеции — 280 кораблей (11–12 тыс.), в Дании — 1100 кораблей (30–40 тыс.). Таким образом, предельное число возможных участников походов викингов не превышало 70 тысяч человек и 1700 судов (Лебедев 2005:35).

Современникам казалось, что борьба с викингами бесполезна, потому что, побежденные в одном месте, они вскоре и в большем количестве появлялись в другом. Случалось, в Англии выступившего против норманнов короля окликали по дороге: «Куда идешь, король?» — и выяснялось, что, пока он собирался сразиться с разбойниками на одном берегу, новые их отряды высадились на другом (Стриннгольм 2003:32, 33). Европа леденела от страха перед «полчищами» норманнов, тогда как на самом деле их отряды в IX в. достигали тысячи, но обычно насчитывали три-четыре сотни человек. В относительно мелких группах викинги сохраняли свои главные преимущества — подвижность и внезапность (Сойер 2002:186, 202).

Большие флоты были более пригодны для парадов и показательных прибрежных маневров, которые в свою очередь имели огромное психологическое и политическое значение. Иногда корабли покоряли не силой, а внешним блеском. Так случилось в 1015 г., когда свой флот в Англию привел датский король Кнут Могучий:

Столь великолепно были украшены эти корабли, что они ослепляли смотрящих, и тем, кто смотрел издалека, казалось, что сделаны были они из пламени, а не из дерева. Ибо каждый раз, когда солнце проливалось на них сияние своих лучей, в одном месте блистало оружие, в другом — сверкали подвешенные щиты. На носах кораблей пылало золото и искрилось серебро. Вонстину, столь велико было великолепие этого флота, что если бы его господин пожелал завоевать любой народ, то одни корабли устрасили бы врага еще до того,

как воины смогли бы всгупить в сражение. Ибо кто смог бы смотреть на вражеских львов, ужасавших свечением золота, кто мог бы смотреть на людей из металла, угрожавших своими золотыми лицами, на этих быков на кораблях, угрожавших смертью, рога которых сияли золотом, — не почувствовав ужаса перед королем подобного войска? (Симпсон 2005).

### *Ясень битвы и Куст богатства*

Харальд Суровый сражался и был ранен при Стикластадире в пятнадцать лет (или зим, по староскандинавскому счету). Харальд Прекрасноволосый отправил любимого сына Эйрика Кровавая Секира в восточный поход в двенадцатилетнем возрасте. Русский княжич Святослав в пять лет шел мстить за отца древлянам. Изреченная в Эдде мудрость «орел кричит рано» (Песнь о Хельги, 6) означает, что герой-воин проявляет себя либо в юности, либо никогда. Чем раньше открывается счет войнам и жертвам, тем короче путь к *rómr* (славе).

Вождь недолго  
с войною медлил,  
пятнадцать зим  
исполнилось князю,  
когда он убил  
Хундинга храброго,  
властителя многих  
земель и людей (Старшая Эдда 1963:74).

Арабов поражала в норманнах не только страсть к кораблям, но и обычай завещать в наследство дочери имущество, а сыну — лишь меч. Когда у викинга (руса) рождался сын, отец клал рядом с младенцем меч со словами: «Не оставлю в наследство тебе никакого имущества; будешь иметь только то, что добудешь этим мечом» (Ибн Русте, а также Гардизи, Марвази, Ауфи, Йакут, Мубарак-шах) (Заходер 1967:83).

При свойственном арабам сгущении красок (иногда они допускали вольные пассажи, например, о неумении норманнов ездить верхом), это известие не случайно обрело популярность. Меч играл особую роль в воинско-иерархической этике: на обнаженном мече давалась варяжская клятва; дар меча символизировал покровительство и подданство (Джаксон 1993:84); согнутый, сломанный, свернутый «в кольцо», он сопровождал викинга в могиле; смерть от меча — первая среди «королевских смертей» (вторая — в море, третья — «за питьем»). Меч, как и корабль, наполнен магией рун:

Руны победы,  
коль ты к ней стремишься, —  
вырежи их  
на меча рукояти  
и дважды пометь  
именем Тюра! (Речи Сигдривы, 6; Старшая Эдда 1963:110).

Мечи викингов не блистали золотом и драгоценной мозаикой, как у витязей вендельской эпохи, зато превосходили их длиной, тяжестью и совершенством формы (Окшотт 2004:161). Ношение меча и владение им во многом определяли костюм, осанку, походку, жесты викинга. Меч демонстрировал статус и в то же время персонифицировал облик владельца. Длинный тяжелый железный меч был внешним признаком «древа меча» или «клена лезвия» (кеннинги воина-мужчины в поэзии скальдов). Вместе с кораблем и весовыми гирьками он образует археологическую триаду викингов и служит признаком их присутствия. Будучи общенорманским символом, каждый меч был неповторим по сочетанию деталей (орнаментации, форме рукояти, лезвию). Если бы Харальд Суровый рассмотрел собранную археологами коллекцию мечей, он без труда определил бы среди них дружинные, королевские, датские, шведские, норвежские, а некоторые удостоил бы особого рассказа.

Меч — не только часть персоны германца, но и сам по себе «персона» с именем и нравом. Меч Нибелунгов по имени Бальмунг достался Сигурду (Зигфриду); им Хаген одолел тьмы врагов, и сам пал от него (Песнь о Нибелунгах, 93, 94, 2372–2373). Меч, подаренный Хакону Харальдсону английским королем Этельстаном, звался Жернорез, потому что Хакон мог им разрубить жернов до ячеи. «Лучшего меча не бывало в Норвегии. Хакон носил его до самой смерти» (Стурлусон 1980:65). Меч Форбит (Ногорез) переходил из рук в руки, сохраняя свое имя и «собирая» имена владельцев. Обычно мечи-герои (Драгвандиль, Фьярсавнир, Фотбит, Грам, Хротти, Ридиль, Скавнунг, Скрюмир, Тюрвинг) принадлежали воинам-героям, а некоторые (Скавнунг) «генеалогически» восходили к легендарным конунгам-асам (Лебедев 2005:295, 302). У Эгиля было два меча, Драгвандиль и Надр, и у каждого из них была своя история и своя слава.

Кеннинги меча — «огонь ран», «пламя щита», «огонь шлема». Блеск мечей вместо огня освещает Вальгаллу — чертог Одина и рай воинов. Эйнхерии (души павших героев) «всякий день, лишь

встанут, облакаются... в доспехи и, выйдя из палат, бьются и поражают друг друга насмерть. В том их забава. А как подходит время к завтраку, они едут обратно в Вальгаллу и садятся пировать» (Младшая Эдда 1970:37, 70). Этот рай — цитадель славы героев; в нем нет покоя: быть славным или жить в славе для викинга означает вечный бой, и погребенный с мечом (или несколькими мечами) скандинавский воин лишь условно может называться «покойником». Слава не отменяет жесткости военно-райской жизни эйнхериев:

Велел я [Один] эйнхериям  
живей подыматься,  
скамьи застилать  
и мыть чаши.  
Вином валькирии  
вождя встречают (Младшая Эдда 1970:61).

Слава как путь в бессмертие или само бессмертие — внутренний зов викинга, императив культуры. Не раз отмечалось, что жажда славы (*rómr*) или реализации судьбы (*heill*) была высшей ценностью германского героя, притом «жажда» распространялась на добычу и награды (Гуревич 1972а:167). По канонам викингской поэзии мужчина определялся не только словами «битва», «корабль», но и «богатство», женщина — прежде всего нарядами, золотом, драгоценными камнями. Обычные кеннинги мужчины — «куст богатства», «клен льдины руки» («льдина руки» — серебро); кеннинги женщины — «осина монет», «береза звонкого костра руки» («звонкий костер руки» — золото) (Младшая Эдда 1970:69, 84).

Как-то вечером конунги Харальд Суровый и Свейн «беседовали за питьем». Свейн спросил Харальда, какое из сокровищ ему всего дороже. Тот ответил: «Стяг Опустошитель Страны», потому что «тому достанется победа, перед кем понесут этот стяг» (Стурлусон 1980:413). Под тем же стягом Харальд погиб, но слава-*rómr* осталась жить в сагах. Слова короля-викинга перекликаются со стихами «Эдды» и «Беовульфа»:

Гибнут стада,  
родня умирает,  
и смертен ты сам;  
но смерти не ведает  
громкая слава  
деяний достойных (Старшая Эдда 1963:22).

Каждого смертного ждет кончина!  
Пусть же, кто может, вживе заслужит  
вечную славу! Ибо для воина  
лучшая плата — память достойная! (Беовульф, 1386).

Богатством, в отличие от славы, принято было делиться, и собиралось оно конунгами так же увлеченно, как раздаривалось. Судя по эпосу Эдды, Нибелунгов, Хеймскринглы, щедрость была привилегией королей в противовес этическому праву подданных на ожидание и получение даров. Ранние германские короли отличались от поздних безудержной расточительностью, и богатство их состояло не в казне, а в дружине (как для викинга оно состояло не столько в серебре, сколько в мече). Конунг Хельги с юных лет щедро дарил «верной дружине жаркое золото, кровью добытое» (Старшая Эдда 1963:74). В свою очередь воины, получившие королевские дары, ценили их скорее как богатство-славу, чем как богатство-имущество. Отличие богатства-славы от богатства-имущества доходило до парадокса, выраженного в прозвище конунга Хальвдана — Щедрый на Золото и Скупой на Еду. «Рассказывают, что его люди получали столько золотых монет, сколько у других конунгов люди получают серебряных, но жили впроголодь. Он был очень воинствен, часто ходил в викингские походы и добывал богатство» (Стурлусон 1980:36). Идеал вождя выражен в эпитетах конунга «кольцедаритель» и «кольцедробитель»: массивные витые золотые браслеты конунг «дробил» и раздавал дружинникам (см.: Хлевов 2002:204).

Щедрость — общая черта ранних королей, ханов и императоров. Подобно северогерманским конунгам, император Византии Иоанн Цимисхий был славен тем, что «всех превосходил щедростью и богатством даров: всякий, кто просил у него чего-либо, никогда не уходил обманутым в своих надеждах» (Лев Диакон, VI, 3). Тюрко-монгольские ханы пытались перещегоолять друг друга в расточительности, причем это делалось не для отвода глаз, а по внутреннему убеждению. Угэдэй, Гуюк, Мунке, Хубилай старались превзойти предшественников в роскоши даров подданным; хан Хулагу, взяв в 1255 г. Багдад и открыв сокровищницу халифа, искренне удивился: «Калиф, на что ты собрал столько богатства? <...> Почему не раздал ты этого богатства конной и пешей рати, чтобы они защищали и тебя и твой город? <...> Калиф, ешь свое богатство, сколько хочешь, полюбилось оно тебе сильно». От поедания золота багдад-

ский халиф умер через четыре дня (Книга Марко Поло 1956:59). Впрочем короли и ханы средневековья не разбрасывались богатствами, а превращали их в социальный капитал: в ту пору инвестиции в воинов были самым надежным вкладом.

Символом богатства было золотое кольцо. Согласно мифу, кольцо по имени Драупнир выплавил карлы Эйтри и Брокк и подарили Одину: «каждую девятую ночь капают из него по восьми колец такого же веса». В другом сюжете Локи берет выкуп с карла Андвари и требует все золото, хранящееся в скале; тот выносит сокровища, пытаясь скрыть лишь «золотое колечко»: «Карлик молил не отнимать у него кольца, говоря, что это кольцо, если он сохранит его, снова умножит его богатство» (Младшая Эдда 1970:71–74). К теме золота сводится и знаменитая эпопея сокровищ Нибелунгов, и легенда о происхождении датско-королевского рода Скьёльдунгов. Задолго до викингов мифология золота–серебра дала в Северной Европе буйные всходы. Это видно, например, по богатству кеннингов золота: «огонь Эгира», «иглы Гласира», «волосы Сив», «слезы Фрейи», «логово Фафнира», «ноша Грани», «посев долины Фюри», «мука Фроди», «крыша кургана Хёльги», «распря Нифлунгов».

С щедростью и жадной славой в натуре викинга соседствует искренняя любовь к богатству. Жадность как тень щедрости преследует норманнов во всех походах и поступках. Викинг Агнар был в Халогаланде самым отчаянным разбойником. «Он собрал большое богатство, и в конце концов насыпал себе большой курган и вошел туда заживо, как сделал и его отец, взяв с собой все корабельное имущество, и потерял рассудок от богатства» (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне, 26; Глазырина 1996:89).

Тот, кто не терял рассудка, вел своему достоянию рациональный счет. Примечательна сцена королевской сделки — обмен Харальдом Суровым половины своих сокровищ на половину королевства Магнуса, когда после торжественных речей конунгов в шатре на полу расстелили воловью шкуру и высыпали на нее золото из сундуков. «Принесли тут весы и гири, и все было порознь взвешено на чашах весов и разделено по весу» (Сага о Харальде Суровом, 24). Нраву викингов не претил скрупулезный расчет цены королевства в гирях на воловьей шкуре, равно как соседство в походном реквизите меча и весов. Не случайно византийский басилевс Константин Багрянородный, знавший викингов не понаслышке, отмечал: «Все северные племена по природе своей жадны до денег, алчны и совершенно не-

насытны. Их натура всего жаждет и до всего вожделеет, и не положены пределы ее влечениям; всегда ей хочется большего, и из малой пользы она желает извлечь больше выгоды» (Константин Багрянородный, I, 66).

Одной рукой викинг владел мечом, другой — весами, успевая складывать стихи и доходы. Сребролюбие викингов было моралью, если не культом, жадной, иногда перерождавшейся в жадность и расширявшей поле деятельности, мотивации, конкуренции. Богатства добывались, копились, раздаривались, выставлялись напоказ, служили эквивалентом славы, мерилом престижа, социальным капиталом. Если мыслить категориями Харальда Сурового, то понятия «жадность» и «алчность» выразятся поэтическими кеннингами «куст богатства» и «собиратель сокровищ». Конунг Харальд поражал современников объемом награбленного: «казалось всем, кто видел это, в высшей степени удивительным, что в северных странах могло столько золота собраться в одном месте... это были имущество и сокровища греческого конунга» (Сага о Харальде Суровом, 24). Удачен и способ сбережения награбленного добра — путем отсылки трофеев князю Ярославу. Вероятно, Харальд был не единственным, кто считал Восточный путь более безопасным местом хранения сбережений, чем берега родной Скандинавии. Если самый внушительный шведский клад из Эспинге (Сконе) весил 8,75 кг и насчитывал 8 000 монет, то на реке Оке у Муром в 1868 г. был найден клад весом 40 кг из 11 077 куфических монет, а самый большой клад весом 100 кг был обнаружен на реке Ловать вблизи Великих Лук, в 170 милях от Новгорода (Сойер 2002:131).

Обилие кладов (археологии их известно около тысячи), закопанных повсюду на путях викингов, показывает не только связь между движением и одним из его главных мотивов, но и не востребованность изрядного числа «вкладов». Иногда создается впечатление, что викинги лучше умели добывать богатства, чем хранить. Клад — знак того, что его владелец отправился туда, куда золото и серебро с собой не берут; например, собравшись с сыном на поиски Америки, гренландский викинг Эйрик Рыжий зарыл свои сокровища.

Чем яростней викинг был в бою, тем осмотрительней — в быту. В этом можно видеть опыт «планирования» рисков, своего рода игру с ними, подобную игре в шахматы. Воину-викингу свойственна не бесшабашность, а взвешенная стратегия безопасности. Показательны заветы бога Одина, касающиеся осмотрительности:



Муж не должен  
хотя бы на миг  
отходить от оружия;  
ибо как знать,  
когда на пути  
копье пригодится.

Будь осторожен,  
но страха чурайся;  
пиву не верь  
и хитрому вору,  
не доверяй

и жене другого (Речи Высокого, 38, 131; Старшая Эдда 1963:19, 27).

На морских перекрестках Европы викингская жажда богатства встретила с культом золотого тельца финикийской породы. Телесц обрел новое дыхание, и у норманнов добыча сокровищ с задачами и кладами постепенно сложилась в финансовую систему. Как отмечал О. Шпенглер, викинги заложили основу «фаустовского рода денежной экономики, распространившегося ныне по всему миру. От стоявшего в счетной палате Роберта Дьявола Норманнского (1028–1035) стола, инкрустированного как шахматная доска, происходят название английской казначейской службы (Exchequer) и слово “чек”. Здесь же возникли слова “счет” (conto), “контроль”, “квитанция” (quitancia), “запись” (record)» (Шпенглер 1998:391). Впрочем эти перемены пришлось на финал эпохи викингов, во многом его предопределив.

### *Vegr (нуть)*

Харальд Суровый очертил свой «круг земной»<sup>6</sup> на востоке в Гардах, на юге — в Византии, на севере — в Норвегии, на западе — в Англии. Сага о Харальде Прекрасноволосом очерчивает круг походов его сына Эйрика.

Когда Эйрику исполнилось двенадцать лет, Харальд конунг дал ему пять боевых кораблей, и он отправился в поход, сначала в Восточные страны, а затем на юг в Данию, а также в Страну Фризов и в Страну Саксов. Этот поход продолжался четыре года. Затем он отправился на запад за море и воевал в Шотландии, Бретланде, Ирландии и Валланде, и этот поход тоже продолжался четыре года. После этого он отправился на север в Фённмарк и дальше в Страну

<sup>6</sup> Образ мира как круга земного (orbis terrarum) выражен в античной традиции александрийским географом II в. Клавдием Птолемеем, в северогерманской — Снорри Стурлусоном в его «Хеймскрингле».

Бьярмов, где произошла большая битва, в которой он одержал победу (Стурлусон 1980:59).

В нордической мифологии пути героев плетут из нитей судьбы норны. Могущество Сигурда было предопределено тем, что по всем странам лежали нити его судьбы. В ночь рождения конунга Хельги

Норны явились  
Судьбу предрекать  
властителю юному...  
Нить судьбы  
пряли усердно...  
На восток и на запад  
концы протянули,  
конунга земли  
нитью отметили;  
к северу бросила  
Нери сестра  
нить, во владенье  
север отдав ему (Старшая Эдда 1963:73).

«Круг земной» представлял собой сеть охватывающих землю водных дорог, власть над которыми была ключом к господству над сушей (схема «морского конунга»). Овладение путем подразумевало не преодоление расстояния из пункта А в пункт Б, а освоение и преобразование пространства. Путь как судьба и арена жизнедеятельности — достояние подвижной магистральной культуры. Устойчивые пути норманнов складывались как слепки их культуры, сочетавшей войну и дипломатию, торговлю и колонизацию, морские и аграрные отрасли хозяйства, обрядность и мифологию. Частные социальные кластеры образовали грандиозную сеть, которой норманны охватили Северную Европу.

Образ жизни средневековых скандинавов характеризует их одновременно как оседлых фермеров и морских кочевников. В числе прочих состояние *i vikingu* — «в викинге», морском походе — не экссесс, как иногда представляется историкам, а обыденность. Путь в староскандинавской традиции предпочитался покою, а движение — сидению, что видно, например, в поучениях Одина:

Знает лишь тот,  
кто много земель  
объездил и видел, —  
что на уме  
у каждого мужа.

Муж неразумный [делает вид, что]  
все знает на свете,  
в углу своем сидя;  
но не найдет он  
достойных ответов  
в дельной беседе (Старшая Эдда 1963:17, 18).

В беседе с вёльвой (мертвой ведьмой) Один представился: «Имя мне Вегтам [Привыкший к пути], я Вальтама [Привыкшего к бою] сын» (Сны Бальдра, 6; Старшая Эдда 1963:158). Состояние пути (*vegr*) — одна из характеристик Тора, которого миф редко застаёт дома, поскольку он постоянно ходит на Восток бить великанов-ётунов. По отношению к домоседам в эддической традиции уместна ирония:

Нередко в битвах  
орлов насыщал он [кровь проливал],  
пока ты дома  
рабынь целовал (Старшая Эдда 1963:76).

Впрочем, чтобы целовать дома рабынь, нужно было их пленить. Добыча женщин, как и другие способы любовного промысла, была одним из ключевых мотивов пути. Старшая Эдда представляет диалог между Одним (под именем Харбард) и Тором по поводу любовных приключений в дальних походах. На похвальбу Тора, что он-де жен берсерков разил, Один ответил: «Вот дело позорное — жен истреблять», поскольку истинные подвиги выглядят иначе:

На острове том,  
что Альгрён зовется;  
бились мы там,  
убивали врагов,  
и то еще делали —  
дев соблазняли...  
Я был всех хитрей —  
с семью сестрами  
ложе делил,  
их любовью владел...  
Соблазнял я искусно  
наездниц ночных,  
отнимал у мужей их (Старшая Эдда 1963:46).

Жажда богатства, воинской славы, женской любви, заморских открытий смешивалась с трезвым расчетом выгод и возможностей,

условий передвижения и безопасности. Среди устойчивых путей были промысловые маршруты, торговые трассы, тропы паломников, дороги ратников или погонщиков скота. Например, центральной магистралью, связывавшей города Дании, был «Ратный путь» (*Hervegr*), он же «Бычий путь» (*Oxvegr*) (Лебедев 2005:202). Наиболее значимые магистрали могли со временем приобрести вид народа или государства: например, исходящий от Дании на север *Nórvegr* (Северный путь) стал страной Норвегией. Другие «веги» — *Austrvegr* (Восточный путь), *Westvegr* (Западный путь) — были постоянными аренами военно-колониционного промысла, которому посвящалась значительная часть жизни викингов и их королей.

«Вот провел я в Аустрвеге шестнадцать зим», — начал свою речь на вече в Ладоге норвежский конунг Хальвдан. За эти годы он подчинил Альдейгьюборг (Ладогу), Бьярмию, отразил нападения врагов в Карелии (Кириялаботны). Власть над Ладогой он передал ярлу Скули, над Бьярмией — шведскому конунгу Сигмунду, а сам собрался домой в Норвегию (Глазырина 1996:83–89). Сказитель сбивается, называя домом Хальвдана то Ладогу, то Бьярмию, то Норвегию. Конунг имел основания считать своей страной не только Норвегию (*Nórvegr*), но и Восточный путь (*Austrvegr*), которому он отдал многие годы, и получилось, что жизнь Хальвдана прошла в пути и измеряется путями.

В староскандинавской традиции *vegr* (путь) заменим понятием *ríki* (государство): например, *Austrvegr* (Восточный путь) иначе именовался *Austrríki* (Восточное государство). В древнейших сагах Восточный путь вел в Швецию — «ближний восток» относительно Норвегии (Джаксон 1991:92, 120–121); с расширением географии походов он уходил все дальше, и сага об Олаве Трюггвасоне в перечне восточных стран упоминает *Gardaríki* (Русь) — путь из варяг в греки, ставший государством.

Все колонии и государства викингов выросли на устойчивых водных путях. В староскандинавском отношении к пути есть романтика завоевания и прагматика обустройства. Совокупность мотивов, решений, действий владельца пути образовывала конструкцию, называемую властью. Эта власть немногим отличалась по механизму формирования от власти рыбака над водоемом, земледельца — над пашней, пастуха — над стадом. Поддержание пути означало его всестороннее освоение, и в этом смысле не только путь принадлежал викингу, но и он — пути. В свое время север-

ная торговля была основным занятием и собственностью морских кочевников, и в этом состоит специфически скандинавский вид создаваемой «собственности» на речных и морских путях. Контроль над магистральным путем предполагал управление не столько природными, сколько социальными ресурсами. Взаимодействие, далеко не всегда мирное, создателей-владельцев магистрального пути и обитателей-владельцев локальных ниш строилось на сочетании их различных деятельностных схем. Отношения включали широкий спектр связей, дел и случайных событий, но в основе их для викингов лежали главные функции, выраженные археологической триадой (корабль, меч, гири для весов), — дань, война, торг. В частных вариациях деятельностная схема могла иметь акценты, например, на дипломатии, брачном союзе, работорговле, религиозном миссионерстве, морском и иных видах промысла.

Владением викингов был не только конкретный *vegr*, но и путь как жизненная стратегия, как корпоративная или этническая практика. Состояние «в пути» наполнено для морского кочевника экзистенциальным смыслом вроде *moveo, ergo sum*. Открытие нового пути или рискованное плавание, например, в Америку (Винланд) или Беломорье (Бьярмию) прославляло викинга. Опасное путешествие по Колдовскому заливу (*Gandvík*, Ледовитый океан), сплетаясь с мифологией, делало его героем живого мифа с участием колдунов-финнов, троллей, драконов. Иногда миф оказывался прообразом реального пути, побуждая мореплавателей открывать и осваивать загадочные страны-миражи.

Порой кажется, что викинг был движим не совокупностью явных и скрытых мотивов, а неким инстинктом пути, объединявшим все цели и нужды в устойчивую привычку под знаком *vegr*. Оседлому человеку и в голову не придет то, что на уме кочующего, и только потенциал движения способен породить схемы вроде «круга земного». Путь был промыслом и сценарием жизни, лишь отчасти конвертирующимся в серебро, винное изобилие йоля, руническую надпись на надгробии, строфу в виле или саге.

Пути создавались не природой, как иногда кажется, а людьми, и без викинга *vegr* был мертв. Впрочем обычно путь не умирал, а приобретал новое качество, переходя в руки наследников викингов — колонистов, продолжавших старую традицию в обновленном ключе и занимавших место своих предшественников. Так произошло на Западном пути, где конец нашествиям норманнов положили

нормандцы Вильгельма Завоевателя, и на Восточном, где варяжские князья Руси остановили движение скандинавских варягов. Колонии викингов на востоке (Ладога, Гнёздов, Рюриков Новгород) и западе (Дублин, Йорк, Нормандия) одновременно переживали подъем в IX–X вв. и спад в XI в., что свидетельствует о прямой зависимости «вегов» от состояния скандинавской метрополии. Успехи «неоварягов» в конкуренции с норманнами предопределялись не только усилением колоний, но и ослаблением исходного очага.

*Ragnarök (Гибель богов)*

Ветер вздымает  
до неба валы,  
на сушу бросает их,  
небо темнеет;  
мчится буран,  
и бесятся вихри:  
это предвестья  
кончины богов (Старшая Эдда 1963:168).

Согласно Эдде, придет день, когда разорвутся узы мира и наступит смерть богов. Этому будут предшествовать трехлетняя зима войн и трехлетняя зима лютых холодов. Звезды скроются с неба, солнце и месяц будут похищены чудовищами-волками, земля задрожит так, что повалятся деревья и рухнут горы, «и все цепи и оковы будут разбиты». Мировой Змей ползет из вод на берег, море хлынет на сушу, поплывет корабль мертвецов Нагльфар. Освободившийся от пут Фенрир-Волк разверзнет пасть — верхнюю челюсть до неба, нижнюю до земли. С южного края расколотого неба помчатся пламенные воины Муспелля, от скачки которых обрушится мост-радуга Биврёст. На битву с воинством зла выйдут боги и эйнхерии Асгарда.

Пять сотен дверей  
и сорок еще  
в Вальгалле верно;  
восемьсот воинов  
выйдут из каждой  
для схватки с волком (Младшая Эдда 1970:38).

В последнем сражении на равнине Виргид Хеймдалль и Локи поразят друг друга, Тюр падет в поединке с псом Гармом, Тор одолеет Мирового Змея Ёрмунганда, но умрет от его яда, Один по-

гибнет в схватке с Фенриром-Волком, но пасть чудовищу разорвет сын Одина Видар, Фрейра сразит Сурт, вождь жаркой страны Муспелль. Мир сгорит от огня Муспелля, но возродится вновь, и «поднимется из моря земля, зеленая и прекрасная». Боги смертны, но им на смену придут новые: вернутся из преисподней Бальдр и Хёд, уцелеют сыновья Одина Видар и Вали, сыновья Тора Модри и Магни, родится дочь солнца — они вместе с укрывшейся парой людей породят новую жизнь и воссоздадут мир (Старшая Эдда 1963:93; Младшая Эдда 1970:52–55).

Роковую роль в *Ragnarök*<sup>7</sup> сыграют не Ёрмунганд-змея и Фенрир-Волк — они падут вместе с асами на поле битвы, — а страшные силы огненной страны Муспелль. Этой южной страной, где все «горит и пылает», правит Сурт — великан, сидящий на краю Муспелля с пылающим мечом в руке. Когда настанет конец мира и двинется в путь корабль мертвых Нагльфар, Сурт «пойдет войной на богов и всех их победит и сожжет в пламени весь мир» (Старшая Эдда 1963:14, 105; Младшая Эдда 1970:15, 53). Гибель богам несет не север с его страной мертвых Хель, нередко называемой по-христиански «адам» (см.: Подосинов 1999:345–346); напротив, Хель оказывается убежищем, где спасаются от мирового пламени Бальдр и Хёд — боги будущего мира. Исчадием настоящего «ада» предстает жаркий, огненный юг Муспелля. «Страшный суд» в виде мирового пожара — картина непривычная и смертоносная для Асгарда (до *Ragnarök* боги Асгарда как будто ни разу не имели дела с Муспеллем, Суртом и его огнем).

Обычно предполагается, что идея «конечной судьбы, грядущей Гибели богов» вошла в эддическую традицию «при бесспорном воздействии христианства» (готский перевод Библии Ульфилы появился около 340 г.), чем «органично завершила сложный мировоззренческий процесс смены “циклического” времени — линейно ориентированным» (Лебедев 2005:342). Отмечается, что в немецких раннесредневековых христианских поэмах слово *муспелль* (*muspelli*) означало «Страшный суд при конце света» (см.: Мифы II:183).

В воздействии христианства на нордическое язычество есть и другое измерение — непримиримой вражды и религиозной войны, реально развернувшейся в Европе в эпоху викингов. Бог-каратель (*Surtr* ‘Черный’) с пылающим мечом, чуждый и враждебный скандинавской мифологии, был для северных язычников олицетворе-

<sup>7</sup> *Ragnarök* буквально означает «рок владык» (судьба властителей).

нием христианства. Библейский Апокалипсис содержит сходные образы: Царь царей на белом коне с исходящим из уст обоюдоострым мечом; Господь, сидящий на престоле, от которого исходят «молнии и громы и гласы»; всадники на разноцветных конях с мечами, «чтобы убивали друг друга», «чтобы умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными»; сожжение и умерщвление людей семью вострубившими ангелами; мчащаяся, подобно коннице, саранча с золотыми венцами; землетрясение, мрачное солнце, кровавая луна, упавшие на землю звезды. Эти картины роднят христианский Конец Света и скандинавский Рагнарёк, однако дело не столько в очевидности заимствования, сколько в мотивации гибели языческих богов. Атмосфера крепнущего христианства, в которой записывались Эдды, сохранила двойственность религиозных традиций и симпатий (свойственную многим героям и летописцам эпохи, в том числе Харальду Суровому и Снорри Стурлусону). Вероятно, исходной староскандинавской картиной Рагнарёка была битва с чудовищами, а сцена гибели богов и мира от пылающего меча Сурта стала проекцией христианского Апокалипсиса с его «обоюдоострым мечом» (словом) или, в исторических реалиях, победы христианства над северным язычеством.

Дуэль религий запечатлена в истории искусства викингов. Хищный «звериный» стиль Броа и Борре IX в. развился в формах Еллинге и Маммен X в., Рингерике XI в. и завершился фазой Урнес конца XI в., когда самобытность викингов была поглощена «новым романским искусством, охватившим Европу» (Graham-Campbell 1989:132). Диалог двух традиций не только был противоборством образов, например бородатых витязей и христианских ликов в скульптуре, но и порождал новые явления, например рунические камни в память деяний богов и людей. Когда в 980-е гг. на поминальном камне крестившегося датского конунга Харальда Синезубого в Еллинге были нанесены рядом друг с другом изображения распятого Христа и Большого зверя, в искусстве викингов обозначился «некий надлом» (Лебедев 2005:318). В начале своей жизни Харальд Синезубый поднимал на дружинных пирах тосты в честь Одина и Фрейра, а к концу ее — в память Христа и архангела Михаила (см.: Стурлусон 1980:120).

Язычество, выраженное в «схеме Одина», было главным регулятором мотивации и поведения викинга. Литературные памятники по понятной причине не сохранили стихов, с которыми норманны



терзали монахов и крушили церкви в Европе, но очевидцы и исследователи всегда отмечали равнодушие викингов к христианам. С погромов монастырей начались удары норманнов по Британским островам, и эти действия были настолько эффективны, что к началу X в. в Англии исчезли монахи и монастыри; то же случилось по другую сторону Ла-Манша, в Нейстрии (будущей Нормандии). Прерывность епископства в Англии и Нормандии объясняется тем, что иерархам часто приходилось обращаться в бегство. В середине IX в., когда море между Британией и Бретанью кишело длинными кораблями, норманны при взятии любого города в первую очередь расправлялись со служителями церкви. Например, в Нанте они ворвались в соборную церковь св. Петра, где укрывались священники и монахи, убили епископа Гвигарда при алтаре св. Ферреола, учинили кровопролитие в храме и подожгли его. «На церкви и монастыри, на священников и монахов как на врагов их религии они особенно изливали свою ярость, потому и разоряли эти святилища, тогда как другие здания щадили». Корвейский монах, Пасхазий Радберт, стенал: «Орда, составленная из морских разбойников, проникла до Парижа и сожгла церкви и монастыри на берегах Сены!». По дорогам страны «бредли монахи с мощами и разносили ужас». Со своей стороны, местные жители, отражая удары викингов, неизменно приписывали свои успехи святым мощам, по поводу чего норманны язвили, что в земле франков лучше воюют мертвые, чем живые. Например, объятые ужасом жители Тура при осаде города викингами носили по крепостным стенам мощи св. Мартина, а после ухода разбойников удостоили св. Мартина новой церкви и день 12 мая стали праздновать всем епископством. День 21 мая по сходной причине стал праздником в Турбе с тех пор, как в местной теснине был изрублен отряд возвращавшихся с добычей норманнов; славу успеха приписали св. Миссолину, «потому что победу над таким лютым врагом не почитали делом обыкновенного человека» (Стрингольм 2003:36, 42–44; Соьер 2002:207, 210).

Очевидцам и участникам тех событий было ясно, что идет открытая религиозная война между язычниками и христианами. Историкам эта открытость почему-то кажется недостаточной или даже обманчивой, и они, пытаясь «докопаться до сути», объясняют нацеленность норманнов на церковь то легкостью и обилием добычи в монастырях, то словоохотливостью повествовавших о погромах монахов, то неразборчивостью варваров, то их ролью в качест-

ве бича божьего. Религиозные мотивы воспринимаются внешней оболочкой «истинных» намерений и оснований.

Судя по сагам, норманны не испытывали недостатка в позитивных и негативных поводах к дружбе и вражде, помощи и мести, разрыву и налаживанию связей. Персональное своеволие, вплоть до абсурдной неуживчивости, читается во многих поступках людей и богов Скандинавии (достаточно вспомнить сверхъестественное хамство Локи, сумевшего в ходе пивного застолья поругаться со всеми богами Асгарда, причем с каждым отдельно). В подобном сообществе колючих персон, где важные общественные решения принимались в трудных спорах на тинге (вече), массовые движения мыслимы лишь при редком совпадении мотиваций.

Не известно, как в 780-е гг. на скандинавских тингах обсуждались религиозные события в Европе, но сосредоточенность ударов норманнов по церкви свидетельствует о согласованности их действий. Судя по всему, язычники-скандинавы были дружно встревожены наступлением христианства. О недопонимании викингами и их королями ценностей идеологии не может быть и речи. Южные события выглядели достойными того, чтобы Север фактически признал состояние религиозной войны с Европой: только открытой идеологической враждебностью можно объяснить зверства и глумление норманнов над христианскими святынями. Подобная позиция была ответом на развернувшийся на севере континента с 770-х гг. необъявленный крестовый поход.

Знамя Христа в европейской теополитике поднял Карл Великий, изоощренно применявший христианство в политических маневрах. При покорении бургундов он воспользовался союзом с папством для отлучения враждебного вождя от церкви и создания из христиан пятой колонны. Он использовал церковь как институт наказания (для принудительного заточения в монастыри) и колониальной власти (назначив епископа правителем колонии), а крестное отцовство — как политический патронаж (став крестным отцом аварского вождя). С христианской увлеченностью и в сопровождении миссионеров в 770-е гг. Карл покорял саксов мечом и крестом, не предполагая, что начатая им религиозная война затянется на 33 года и вызовет мощную реакцию на Севере.

Вождь саксонского сопротивления Видукинд был женат на сестре датского конунга Зигфрида и пользовался его поддержкой (Видукинд предпочитал командовать саксами из Дании). После

восстания саксов 782 г. Карл приказал казнить 4500 мятежников и срубить их святиню — «столб неба» Ирминсул. В «Саксонском капитулярии» он предписывал смерть за неверность королю и меры по искоренению язычества: «Что касается деревьев, камней, источников, где некоторые глупые люди зажигают факелы или предаются прочим суевериям, настоящим мы настоятельно требуем, чтобы эти, наиболее ненавистные Богу обычаи должны, где бы их ни обнаружили, уничтожаться». В ответ вспыхнуло новое восстание саксов, которое в 783 г. было не просто подавлено, но и дополнено массовой депортацией — из Саксонии был выслан каждый третий ее житель (Пенник, Джонс 2000:230). Смирившегося и принявшего крещение Видукинда Карл возвел в герцоги, а официальную летопись украсил записью о подчинении в 785 г. всей Саксонии королю франков. Карл ввел смертную казнь за отказ от обращения в христианство, и движение язычников пошло на убыль, особенно после отступничества вождя. Последней волной языческого сопротивления было развернувшееся по всему северу Европы, от славян до фризов, восстание 793 г. (см.: Левандовский 1995).

Для Карла теополитика христианизации была стратегией завоевания, для саксов и других северян крещение означало подчинение франкам. Роль идеологов саксонской кампании в ставке Карла играли англосаксы из Нортумбрии. В 780-е гг. на Эльбе во главе христова воинства, сопровождавшего армию Карла, шел англосакс Виллегад. Король-франк воевал, а богослов-англосакс крестил: Виллегад проповедовал саксам и фризам Евангелие, а в 787 г. стал епископом Бремена. После его смерти в 789 г. первым богословом в ставке Карла оказался тот самый Алкуин, который красноречиво повествовал об ужасах нашествия норманнов на Линдисфарн (о чем шла речь в начале главы); в том самом 793 г., когда викинги ударили по Нортумбрии, Алкуин окончательно перебрался в Аахен, столицу Карла, где возглавил придворную школу и основал Академию.

Если на саксонскую кампанию взглянуть с Севера, глазами норманна, то опасность покажется стоящей у порога дома. Поскольку круг дел и интересов скандинавов выходил далеко за порог дома, успехи Карла в Саксонии, Бургундии, Фризии, Аквитании и других углах Европы ущемляли контроль норманнов над дальними путями. «Золотой век» вендельской Швеции близился к финалу. Надежды на стойкость саксов рухнули вместе с Ирминсулом и, особенно, изменой Видукинда. Датская ставка Зигфрида перестала быть фор-

постом сдерживания франков. Христианство в лице Карла и проповедников-англосаксов объявляло себя истинным земным царством, а нордических богов — низложенными. Ответ норманнов был предсказуем, и в 793 г. военные действия развернулись по всей линии христианско-языческого фронта: на континенте восстали саксы, фризы, славяне и даже авары, на островах викинги нанесли удар по гнезду англосаксонских наперсников Карла — Нортумбрии.

Стенания Алкуина об ужасах разбоев норманнов напоминают ноты поздней британской дипломатии, искренне возмущенной событиями, в подготовке или провокации которых она деятельно участвовала. Не считая покойного Виллегада, именно он, Алкуин, был более других британцев повинен в этих ужасах, спровоцировав свирепость норманнов крестовой войной на континенте.<sup>8</sup> Викинги ответили на вызов Карла тотальной грабительской войной, быстро расширив диапазон своих целей и средств; в конце концов, в числе прочих трофеев они привезли домой и христианство. Но прежде случился еще один примечательный эпизод в религиозном противостоянии франков и норманнов. В российской историографии он упоминается почти исключительно в связи с именем *русь*, хотя не менее значим и в истории европейской христианско-языческой войны.

Наследник Карла Великого, франкский император Людовик Благочестивый, в конце жизни пытался наладить отношения с сыновьями, то пытавшимися низложить отца-императора, то конфликтовавшими друг с другом. Над империей нависли викинги, установившие контроль над западным побережьем. Император Людовик, как и его отец, понимал, что лучшим средством умиротворения норманнов является христианство, хотя с него и начался конфликт.

Вскоре после первых погромов викингами христиан крестился датский конунг Харальд по прозвищу Клак (Ворон). Изгнанный из своей страны, в 826 г. он прибыл с флотом, войском и двором в Майнц и отдался под покровительство императора Людовика.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> О незаурядных дипломатических дарованиях Алкуина свидетельствует одна из его хрестоматийно известных головоломок: «Один человек должен был перевезти через реку волка, козу и кочан капусты. И не удалось ему найти другого судна, кроме как такого, которое могло выдержать только двоих из них. Задача, таким образом, заключалась в том, как всех перевезти на другой берег целыми и невредимыми».

<sup>9</sup> В числе вассалов Франкской империи оказался и племянник Харальда Ворона Рорик Ютландский, ставший позднее, как полагают историки, Рюриком русским (см.: Крузе 1836).

К нему были приставлены монахи-бенедиктинцы, в том числе Ансгарий, «ради укрепления и распространения христианской веры среди датчан и других язычников». В 830 г. Ансгарий уже пробыл на озере Мелар к шведскому конунгу Бьёрну Курганному, проявившему интерес к христианству. Претерпев ограбление и мучительные странствия, миссионеры добрались до Мелара и, по разрешению королевского совета, начали проповедь. Конунг Бьёрн креститься не пожелал, но разрешил соорудить в Бирке церковь. К императору Ансгарий вернулся с «письменами» шведского короля, а в 834 г. был поставлен в епископы Гамбургские и утвержден папой Григорием IV легатом «окружающих народов славян и славян». Именно в это время началась «языческая реакция», достигшая пика в 845 г., когда в Бирке случился погром миссии (проповедник Нитхард был убит, Гаутберт изгнан), и одновременно викинги нанесли удар по Гамбургу, где их, судя по всему, особенно интересовала резиденция епископа, в которой была расхищена церковная утварь, предана огню библиотека Ансгария, а сам легат оставлен «совсем нагим» (*Vita Anskarii*, 7–16).

Между поставлением Ансгария (834 г.) в епископы Гамбурга и разгромом викингами Гамбургского епископства (845 г.) к императору Людовику в 839 г. прибыли послы византийского императора Феофила II.

[Феофил] также послал с ними тех самых, кто себя, то есть свой народ, называли Рос [Rhos], которых их царь [гех], прозванием Хакан [Chakanus], отправил ранее ради того, чтобы они объявили о дружбе к нему, прося посредством упомянутого письма, поскольку они могли получить благосклонностью императора возможность вернуться, а также помощь через всю его власть. Он не захотел, чтобы они возвращались теми [путями] и попали бы в сильную опасность, потому что пути, по которым они шли к нему в Константинополь, они проделывали среди варваров очень жестоких и страшных народов. Очень тщательно исследовав причину их прихода, император узнал, что они из народа свеонов [eos gentis esse Sueonum], как считается, скорее разведчики, чем просители дружбы того королевства [Византии] и нашего, он приказал удерживать их у себя до тех пор, пока смог бы это истинно открыть, а именно, честно они пришли от того или нет (Бертинские анналы, 839).

Судя по холодно-снисходительному приему миссии Ансгария шведами в 830 г., конунга Бьёрна Курганного больше интересовало не христианство, а стоящая за ним Франкская империя. Пригла-

шение им миссионеров было своеобразной «разведкой на дому». После 834 г., когда вслед за норвежцами «в викинг» на Европу вышли даны, лишь шведам оставалось определить свое отношение к западному «римскому императору». Возможно, разведывательно-дипломатическая миссия свеонов-русов предусматривала объезд сразу двух римских императоров. Людовик не напрасно заподозрил в пробравшихся к нему в ставку гостей норманнских разведчиков. Со своей стороны, свеоны не зря совершили крюк по Европе, ибо иначе попасть к Людовику было трудно. Пару лет назад (в 836 г.) датский король Хорих, чьи викинги с недавних пор ежегодно грабили Фризию и Дорестада, пытался направить послов к Людовику, но они были задержаны и убиты у Кёльна (Бертинские анналы, 836). Не исключено, что подобные группы северных «путников» посещали в те годы не только ставку Людовика. Во всяком случае при взятии Гамбурга и Парижа норманны превосходно ориентировались в географии Западной Европы, а также противоречия между королями-наследниками. Трудно сказать, какова была дальнейшая судьба послов-свеонов<sup>10</sup> и чем в то время занимался Рорик Ютландский, но подобные пересечения путей могли отозваться в судьбе датского князя, оказавшегося вскоре на шведско-русских магистральных у Ладоги.

Пример крещения, поданный дядей Рорика, Харальдом-Воронном, со временем, несмотря на волны «языческой реакции», стал заразительным. Особенно охотно крестились конунги и ярлы, нуждавшиеся в имперских символах для захвата или поддержания шаткой власти (Харальд Синезубый, Олав Трюггвассон, Владимир Святославич, Олав Святой).<sup>11</sup> Карл Великий сумел не только потеснить своих врагов на полях сражений, но и подготовить гибель их богов в противостоянии с имперской христианской теополитикой.

\*\*\*

Религиозно-политическая схватка северных язычников с католической империей Карла Великого, открывшая эпоху викингов, довольно скоро переросла в многомерное движение, превзошедшее по

---

<sup>10</sup> Монеты Феофила II найдены в шведской Бирке, русском Гнёздове и на Рюриковом городище (см.: ч. II, гл. 2).

<sup>11</sup> Изгнанный из Норвегии ярл Хрольф Пешеход (Ролло), обустроившись в Нормандии, принял христианство, сохранив за собой право только на один обычай предков — многоженство.

размаху ожидания очевидцев. Как полководцы Цинь Ши-хуанди, выбивая хунну из Ордоса, не подозревали, что вскоре станут жертвами встречной кочевой облавы, так стратеги Франкской империи, посягая на магистрали норманнов, не представляли перспектив «резонанса движения» северных мореходов. В условиях мобилизации динамичные культуры развернулись в экспансии и создали на своей деятельности основе магистральные социокультурные системы. Как отметила Э. Розсдаль, «мир викингов стал едва ли не самым ярким проявлением историко-культурного потенциала стран Скандинавии за всю обозримую их историю» (Розсдаль 2001:254). Г. С. Лебедев полагал, что викинги завершили пространственное оформление Европы, начатое в Средиземноморье в X–VIII вв. до н. э., а законченное в Скандинавии в VIII–XI вв. н. э., и благодаря сложению этой юго-северной симметрии континент стал Европой (Лебедев 2005:277).

При мощных внешних вызовах и вынужденных геополитических итогах движение викингов исходило из внутреннего мотивационно-деятельностного заряда нордической культуры. Одну из самых кратких и точных характеристик викингам дал А. Стриннгольм: «Недеятельная жизнь не имела для них никакой цены» (Стриннгольм 2003:33). Идеологически этот потенциал концентрировался в «схеме Одина», синтезировавшей поэзию и войну, жажду власти и славы, женщин и богатств. Закат язычества разрушил эту схему, сохранив лишь ее фрагменты, встроенные в новую идеологию. Отмечаемые историками технологии норманнов в военном деле и торговле, кораблестроении и кораблевождении, деторождении и обустройстве колоний как будто не пострадали или даже усовершенствовались, но динамика сменилась статикой. Финал их культуры связан с остановкой движения, сменой языческого пути на христианский порядок, оседанием мореходов в колониях, победой государственности над вольницей *i víkingu*. Магистральная культура викингов распалась на ряд локальных культур.

Оседание норманнов и строительство городов было началом другой истории — христианской Скандинавии. Дух викингов сохранялся в колониях дольше, чем в метрополии: свободолюбивые исландцы и гренландцы покоряли Арктику; нормандцы завоевали Англию, создали колонии в Италии и на Сицилии, стали главной силой византийской гвардии верингов; потомки варягов на Восточном пути преобразовали деятельностьную схему викингов в новую верхнерусскую культуру.

## Глава 2. Гарды

Святослав. *Русь (Rhos, Ruotsi). Полюдьё.*  
*Каприз княжны Ингигерд. Из варяг в арабы и греки*

В VIII–XI вв. Балто-Понтийское междуморье было пространством экспансии варягов — восточных норманнов, для которых *i víkingu* (уход «в викинг») означал не морское плавание, а движение в сети рек Восточного пути (*Austrvegr*) от моря до моря. Это пространство в староскандинавской географии называлось *Gardar* (Гарды, Города) или *Gardaríki* (Страна Городов).

Скальд Халльфред одним из первых в конце X в. (996 г.) употребил слово *Gardar* (Джаксон 1984:133–143; 1991:141), хотя названия типа *X+gardr* могли сложиться значительно раньше, в начале эпохи викингов, когда появились сами «гарды» (Rygh 1898:17; Кирпичников и др. 1980:24–38). По свидетельству арабов, современников Руси (Ибн Русте), у русов нет деревень, но «городов у них большое число» (Новосельцев 1965:397). Возможно, первоначально *Gardar* назывались поселения, из которых вырос Новгород (Мельникова 1977:202–205), или укрепления, которые встретились скандинавам, пробиравшимся из Ладоги по Волхову в глубь славянских земель (Джаксон 2001). Ф. Браун полагал, что скандинавские пришельцы застали на Руси в IX в. многочисленные города — центры политических образований (Braun 1924:195). Л. Нидерле рассуждал о появлении городов как сети гарнизонов русов на двух основных торговых путях — Волжском и Днепровском (Нидерле 2001:161).

Древнескандинавское слово *gardr* (ограда, укрепление, двор, владение, дом) родственно древнеславянскому *градъ* (ограда, укрепление, крепость, поселение), древнеиндийскому *grhas* (дом), литовскому *gardas* (ограда), готскому *gards* (дом, семья) (Cleasy, Vigfusson 1957:191–192; Baetke 1964:186; De Vries 1977:156). Слово коренится в индоевропейских языковых глубинах и явно старше эпохи викингов. Его значения в Норвегии (преимущественно «дом») и Исландии (преимущественно «хутор») подсказывают, что так обозначались одиночные поселения в осваиваемых землях. Это могло происходить и на Восточном пути, где «дворы» превращались в цепь форпостов. Сюда же на Восток вела другая традиция понимания *gardr* как обители в мифологическом пространстве (ср. *Ásgardr* 'Обитель богов', *Míðgardr* 'Обитель людей', *Útgardr* 'Нижняя обитель'). Возможно, представление о расположении Асгарда где-то в конце (или начале) Восточного пути повлияло на обозна-



чение скандинавами городов: Hólmgarðr (Новгород), Kænugarðr (Киев), Miklagarðr (Константинополь). Укоренению этого слова в речевой практике восточных викингов могло способствовать и наличие удобных сходных слов в лексике славян и балтов.

До сих пор продолжается спор о том, начались ли города на Руси с варягов или варяги захватили уже существовавшие города. О тех, кто строил гарды, известно немного, но Рюрик начал с того, что «придоша к словенам» и «срубиша город Ладогу». Следующим действием, обозначенным словом «седе», он замкнул подвластное пространство — братья-князья сели в Ладоге, Изборске и на Белозере. В дальнейшем «путь» и «сидение» постоянно пересекались в истории древней Руси, будь то ранние походы на Царьград или поздние перемещения по княжьим столам. В движении викингов-варягов понятия и состояния *vegr* (путь) и *garðr* (город) сочетались, с одной стороны, как динамика и статика, с другой — как звенья одного механизма, поскольку путь вел в город, а город стоял на перекрестке путей. Одним из последних «витязей пути» на Руси был князь Святослав, деятельностный портрет которого рисуется по Повести временных лет (ПВЛ 1950:244–249) и византийским источникам (Лев Диакон 1988; Скилица 1988).

### Святослав

В лето 6450 (942 г.) Святослав родился, а в 6454 (946 г.) летопись застаёт его уже в седле, «сующим» копьё меж ушей коня на древлянскую рать. В юности он княжил в Новгороде или Старой Ладоге, а вернее на всем «пути в греки», включая Ладогу, Новгород и Киев. Воспитанный викингами Свенельдом и Асмудом, князь не построил ни одного города, но десятки захватил и разрушил. Будто случайно оказавшийся на суше морской конунг, он нарочито небрежен ко всему, что связано с домом и уютом. Святослав всегда в походе — без обоза, шатра и котла, запекая на костре «конину, или зверину, или говядину», ночуя на конском потнике с седлом в головах; зато стремителен в движении, со знаменитым вызовом «хощу на вы ити», легок, как барс, храбр и любим дружиной.

Отношение Святослава к матери, княгине Ольге, проникнуто сыновней заботой, но полно трений. Сыну чуждо то, что по нраву матери: Ольга ставит погосты, принимает крещение в Царьграде, призывает князя сидеть в Киеве — Святослав обходится без княжьих покоев, сметает «грады», отвергает крещение (которым его искуша-

ли, помимо матери, византийские советники), совершает дальние рейды и мечтает об обладании «серединой земли» на Дунае.

Святослав живет походами и в походах. Он не сидит в столице, а навещает ее — о визитах князя в Киев свидетельствуют рождающиеся там сыновья. В 964 г. он кружит с дружиной по Оке и Волге, пройдя по землям вятичей, платящих дань хазарам «по щелягу от рала». В 965 г. князь громит хазар, их город Белую Вежу, а в 966 г. завершает разгром вятичей и подчинение хазарских данников. Тем же летом наносит поражение ясам и касогам на Северном Кавказе. По стилю и размаху движения, от Верхней Волги до Кавказа, Святослав напоминает деда Рюрика (перемещавшегося от Ютландии до Ильмена) или князя Олега (воевавшего от Ладоги до Царьграда).

Полководец и император Византии Никифор II Фока видит в русском князе силу, способную сокрушить давних соперников константинопольских базилиев — болгарских царей, уже полвека претендующих на равные с Византией регалии владык христианского мира. В 967 г. базилевс Никифор отправляет патрикия Калокира к «катархонту тавров» Святославу (Сфендославу) с предложением совершить поход на дунайских болгар за вознаграждение в размере пятнадцати кентинариев (455 кг) золота. Традиционная византийская интрига нашла столь же обычное продолжение: патрикий Калокир — не то от блеска вверенных ему сокровищ, не то от вида русского воинства — преобразует дипломатическое поручение в проект государственного переворота, если не передела мира. Он предлагает Святославу не только разгромить Болгарию, но и подчинить ее себе, а затем ударить по Византии и возвести его, Калокира, на ромейский престол. Скрепив замысел узами побратимства (язычника и христианина), русский князь и византийский патрикий идут на Дунай (Лев Диакон, V, 1–2).

Проект Калокира-Святослава имел не меньше шансов осуществиться, чем провалиться. В те времена «переделы мира» были в порядке вещей: болгары завоевали свою страну (Мозсию) лишь три века назад; только что новую «родину» в Паннонии обустроили себе мадьяры; Европу делили викинги; дед и отец Святослава создавали «русь» в Гардах; византийский престол был арендой бесконечных переворотов.

В 967 г. (по русской летописи) или 968 г. (с учетом византийских хронографов) «иде Святослав на Дунай на болгары». Под Доростолом росы «стремительно выпрыгнули из челнов, выставили вперед щиты,

обнажили мечи и стали направо и налево поражать» оборонявшихся и вскоре бежавших болгар. Боголюбивого болгарского царя Петра от известия о доростольском разгроме хватил удар, приведший к его смерти и окончательно парализовавший страну. Царевичи Борис и Роман были пленены, 80 дунайских городов взяты, и мощная Болгария, недавняя соперница Византии, стала добычей Святослава, как тремя годами раньше это случилось с непокорной Хазарией. Военное искусство и вдохновляющая мотивация обеспечили русскому князю триумф и полное стратегическое превосходство.<sup>1</sup>

Император Никифор, оценив опасность успеха союзника-соперника, умелым тыловым маневром остудил пыл Святослава. Не скупясь на очередное вознаграждение, византийские дипломаты направляют печенегов на Киев. Стоило только Святославу расположиться в столице Болгарии Преславе (Переяславце), «емля дань в Грецах», как его настигает известие о набеге степняков «на Рускую землю». Византийской драматургией веет от описания осады Киева, где «затворися Ольга с внуки своими, Ярополком и Олгом и Володимером», от жалобного тона послания киевлян к Святославу: «Ты, княже, чужой земли ищешь и блюдешь, а своей лишился; мало бо нас не взяша печенеги, и мать твою и детей твоих». Узнав о нависшей угрозе, Святослав с конной дружиной мчится к Киеву, беспрепятственно в него въезжает «и целова мать свою, и дети своя». Наслушавшись от киевлян о пережитом, он собирает воинов и легко прогоняет печенегов «в поле».

Трогательный эпизод не вливается в повесть о Святославе, а разрывает ее на главу о победах и главу о поражениях. Киевская пауза оказывается роковой для балканской кампании русского князя, и в этом видится игра не случая, а стратегий. Христианка Ольга вольно или невольно участвует в византийском сценарии, настаивая на остановке балканского похода и стараясь задержать сына в Киеве: «Видишь ли меня, больную совсем? <...> Похорони меня, и иди если хочешь». Язычник Святослав отвечает матери, что желает жить не в Киеве («не любо ми есть в Киеве жити»), а в Переяславце на Дунае, где середина земли, куда стекаются от грек ткани, золото,

<sup>1</sup> Иногда в угоду сегодняшней дипломатии вносятся поправки в древнюю. Например, А. Н. Сахаров полагает, что «ни о каком завоевании Русью Болгарии не могло быть и речи, и мы присоединяемся к точке зрения тех историков, которые считали, что целью первого балканского похода Святослава являлось овладение лишь территорией нынешней Добруджи, дунайскими гирлами с центром в городе Переяславце» (Сахаров 1982:129).

вино и овощи, от чехов и угров — серебро и кони, от руси — меха, воск, мед и челядь. Похоронив Ольгу без тризны, по-христиански, и рассадив сыновей по княжьим столам, Святослав спешит в Болгарию, но она встречает его «сечей великой». Столица болгарских царей Преслава ожесточенно обороняется, и хотя Святославу удается «взять город копьем» со словами «сей город мой», отныне все, что прежде было легко, дается с трудом.

Император Никифор Фока перехватил у Святослава главное преимущество — инициативу, победоносный наступательный порыв. Кроме того, за время отсутствия князя он вдохновил павших духом болгарских царевичей, напомнив им о единстве византийско-болгарской веры в противовес язычеству русов, и предложил заключить пару междинастийных браков. Болгары тут же отыскали двух девиц царского рода и отправили их в Константинополь, прося базилевса «отвратить секиру тавров». Правда, Никифору не удалось завершить партию, поскольку он сам оказался мишенью очередной византийской интриги — в ночь на 11 декабря 969 г. император был обезглавлен.<sup>2</sup>

Более подходящего момента для удара по Константинополю быть не могло, но все то время, пока палач и наследник Никифора Иоанн Цимисхий примерял пурпурную обувь базилевса и уговаривал упрямого патриарха Полиевкта увенчать его императорской диадемой, Святослав сидел в Киеве, а патрикий Калокир — в Преславе. Когда до Царьграда наконец донеслось «хощу на вы ити», ромеи были готовы и с ответной «лестной дипломатией», и с отборным войском, включая отряд «бессмертных» и флот с угнетающим память росов «греческим огнем». И все же Константинополь был объят паникой: на надгробии убиенного императора Никифора митрополит Иоанн Милитинский начертал: «Ныне восстань, о владыка, и построй пеших, конных, лучников, свое войско, фаланги, полки: на нас устремляется русское всеоружие... Если же ты не сделаешь этого, тогда прими нас всех в твою могилу». Второй балканский рейд

<sup>2</sup> «Христианнейший император» Никифор II Фока и сам любил играть отрубленными головами. В бытность стратигом при осаде критского города он приказал отрезать головы погибшим врагам и кольемералками запускать через крепостные стены. Критян, увидевших летящие головы родственников и знакомых, «охватил ужас и безумие»; в довершение успешной осады стратиг определил всех горожан в рабство. Убийцы Никифора тоже не отличались щепетильностью: обезглавленный труп императора «целый день валялся на снегу под открытым небом» (Лев Диакон, I, 8; V, 9).

Святослава, в отличие от первого, был полон трудностей и жестокостей: в изложении русского летописца, «поиде Святослав воюя к городу, и другие города разбивая, иже стоять пусты и до днешнего дни»; по рассказам ромеев, росы свирепо расправлялись с объятами ужасом болгарами: так, с бою взяв Филиппополь, они всех уцелевших жителей города посадили на кол (Лев Диакон, VI, 10).

«Бросок барса» на Константинополь не удался: Святослав увяз в Болгарии, хотя и слал басилевсу угрозы разбить шатры у врат Царьграда, если ромеи не выплатят дань и выкуп за захваченные росами города и людей. Иоанн Цимисхий отвечал, что обещанную Никифором плату за набег росы уже получили и теперь могут спокойно удалиться «в свои области и к Киммерийскому Боспору». В свою очередь Святослав предлагал ромеям убраться из Европы, «на которую они не имеют права», в Азию. Басилевс ядовито напоминал князю о поражении его отца Игоря, «который, презрев клятвенный договор<sup>3</sup>, приплыл к столице нашей с огромным войском на 10 тысячах судов, а к Киммерийскому Боспору [вернулся] едва лишь с десятком лодок». В ответ Святослав обещал императору показать на деле, что росы — «не какие-нибудь ремесленники, добывающие средства к жизни трудами рук своих, а мужи крови, которые оружием побеждают врага» (Лев Диакон, VI, 10).

На этот раз «походку барса» демонстрирует византийский басилевс. Пока отяжелевший от киевских впечатлений Святослав топчется у болгарских городов, Иоанн в апреле 971 г. высаживается с кораблей в Адрианополе и, с риском преодолев горные перевалы, обрушивается на Преславу, где сидят болгарский царь Борис и патрикий Калокир. Застигнутые у стен города за «военными упражнениями» росы бьются со зверским рычанием, но терпят поражение: «некоторое время они сопротивлялись, но затем утомились и бежали» (Скилица 1988:125). Двух дней хватает басилевсу для взятия болгарской столицы, которую он тут же переименовывает в честь себя в Иоаннополь. Царь Борис покорно ждет своей участи, а Калокир бежит к Святославу в Доростол, куда, проходя сдающиеся на милость победителя города, движется Иоанн.

Впервые Святослав вынужден не нападать, а обороняться; не он идет «на вы», а враг — «на ны». Впервые он не сокрушает город, а укрывается в нем. Земля, которую Святослав считает своей,

<sup>3</sup> Имеются в виду договоры князя Олега с Византией 907 и 911 гг.; для Святослава подобной «клятвенной» силой обладал договор с ромеями князя Игоря 944 г.

«русской», становится чужой и враждебной. Князь казнит «за измену» 300 родовитых болгар, но и среди росов раздаются призывы к бегству или примирению с ромеями. Под Доростолом Святослав произносит знаменитые слова: «Да не посрамям земли Руския, но ляжем костьми тут, мертвые бо срама не имам». В изложении византийского историка, князь вздыхает и с горечью восклицает: «Погибла слава, которая шествовала вслед за войском росов, легко побеждавшим соседние народы и без кровопролития порабошавшим целые страны, если мы теперь позорно отступим перед ромеями. Итак, проникнемся мужеством, вспомним о том, что мощь росов до сих пор была несокрушимой, и будем ожесточенно сражаться за свою жизнь. Не пристало нам возвращаться на родину, спасаясь бегством; либо победить и остаться в живых, либо умереть со славой, совершив подвиги доблестных мужей!» (Лев Диакон, IX, 7).

Под Доростолом «оба войска сражались с непревзойденной храбростью; росы, которыми руководило их врожденное зверство и бешенство, в яростном порыве устремлялись, ревя как одержимые, на ромеев, а ромей наступали, используя свой опыт и военное искусство» (Лев Диакон, VIII, 10). После двух с лишним месяцев «сечи великой» бои продолжались с переменным успехом; только в один из дней, по описанию Скилицы (1988:127), перевес в сражении колебался двенадцать раз. По рассказам ромеев, в битву вступил даже дух великомученика Феодора, поднявший на врага ураган пыли и дождя. Басилевс предложил выявить победителя в единоборстве воинов, на что князь ответил ироничным рассуждением о праве императора выбирать лучший из тысяч путь к смерти (Скилица 1988:131). Святослава остановила только рана, после которой он отрядил послов к Иоанну, а затем сам встретился с басилевсом для переговоров о мире. По соглашению, росы освободили пленных и оставили Доростол, ромей открыли им путь по Дунаю, не паля «жидким огнем» (который даже камни обращает в пепел), снабдили в дорогу провизией, а русским купцам, как и прежде, разрешалось приезжать в Константинополь для торговли (Лев Диакон, IX, 10).

Встреча, на которую Иоанн Цимисхий прибыл на коне, а Святослав в ладье, дала повод византийскому историку описать наружность князя:

Он сидел на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них... умеренного роста... с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрез-

мерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клочок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь... В одно ухо у него была вдет золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одевание его было белым и отличалось от одежды его приближенных только чистотой. Сидя в ладье на скамье для гребцов, он поговорил немного с государем об условиях мира и уехал. Так закончилась война ромеев со скифами (Лев Диакон, IX, 11).

Высокие оценки отваги росов в устах ромеев и тон угрозы русской летописи (князь-де наберет новое войско и пойдет на Царьград, если басилевс не будет дань платить) не отменяют итога войны — поле битвы остается за византийским императором. Иоанн Цимисхий не только отправляет восвояси русского князя, но и снимает с болгарского царя Бориса монаршие инсигнии (тиару, багряницу и красные сапоги), оставляя ему лишь сан магистра. Отныне Великая Преслава, которую болгарские цари считали своей столицей, а Святослав любовно именовал «мой город», носит имя басилевса ромеев. Святослав, едва не сокрушив восточно-христианский мир, оставляет Болгарию и мечту об обладании «серединой земли».

Обратный путь Святослава полон странностей и больше напоминает торможение, чем движение. Совсем недавно он легко примчался в Киев спасать княгиню Ольгу от печенегов, а теперь отказался идти с конным отрядом Свенельда и предпочел долгий морской путь. Князь зимует и голодает в Белобережье, а по весне дает себя разбить и убить у днепровских порогов печенежскому князю Курее. Со слов Свенельда он знал, что «стоят печенеги в порогах», и не тешил себя иллюзиями относительно их миролюбия. Русский летописец обвиняет Преславу (болгар) в сговоре с печенегами. По словам византийского историка Скилицы, печенеги отказали в просьбе ромейскому послу архиерею Евхантскому Феофилу пропустить росов и перебили войско Святослава за то, «что он заключил с ромеями договор» (Скилица 1988:132–133): Святослав нарушил византийско-русский договор 945 г., по которому «да не имеют Русь власти зимовати в устьи Днепра, Белобережа». По мнению ряда историков, печенежскую засаду на порогах спровоцировали киевляне, не желавшие возвращения «блудного князя» (см.: Гумилев 1989:236–238; Фроянов 1996:347–348).

Святослав погиб в 30 лет (972 г.). Чьим бы злым умыслом ни объяснялась его смерть, повинен в ней сам князь. Печенеги не ста-

ли храбрее и коварнее за пять лет, но прежде они предпочитали служить в его войске, а не посягать на его череп в качестве чаши для питья.<sup>4</sup> Создается впечатление, что князь, если не искал гибели, то понуро плыл к ней, едва шевеля веслами. В Святославе иссяк мотив движения, делавший его владыкой пространства. При отступлении от Доростола случился разлад с дружиной (Свенельд пошел конным путем) — миром, в котором князь вырос и которым искренне дорожил.

Превращение князя из покорителя в жертву — результат смены настроения, мотивации действий. Причина бедствий Святослава на зимовке в Белобережье состоит не в кризисе феодализма, неурожая или ухудшении климата. Его громадное деятельностное поле вдруг сузилось до утлой ладьи; он не мог обеспечить себя продовольствием, хотя еще недавно под Доростолом, несмотря на блокаду ромеев и вражду болгар, умудрялся собирать по окрестностям зерно и захватывать вражеские обозы с провиантом.

Византийские историки не напрасно обращали внимание на культ победы среди воинов Святослава: «Росы, стяжавшие среди соседних народов славу постоянных победителей в боях, считали, что их постигнет ужасное бедствие, если они потерпят постыдное поражение от ромеев». Они «никогда не сдают врагам даже побежденные, — когда у них нет надежды на спасение, они пронзают себе мечами внутренности и таким образом сами себя убивают» (Лев Диакон, VIII, 10; IX, 8). Святослав не мог перенести даже почетного поражения, и печенеги лишь довершили драму. Возможно, нечто подобное случилось и с его отцом Игорем, который после поражения от ромеев 941 г. и неудачного реванша 944 г. стал безвольной жертвой древлян (тоже расставшись с большой дружиной и воеводой Свенельдом). Возможно, «схема отца» ослабила Святослава, тем более что прозорливый Иоанн Цимисхий назойливо воспроизводил ее в переговорной перепалке: «Поражение отца твоего Ингоря, который... сам стал вестником своей беды. Не упоминаю я уж о его жалкой судьбе, когда... он был взят... в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое. Я думаю, что и ты не вернешься в свое отечество...» (Лев Диакон, VI, 10).

---

<sup>4</sup> Кубки из черепов поверженных врагов известны в Причерноморье, по меньшей мере, со скифских времен (Геродот IV, 65). В IX в. они еще не вышли из моды: например, болгарский хан Крум любил пить из чаши, сделанной из черепа византийского императора Никифора I (811 г.).



*Русь (Rhos, Ruotsi)*

Бесконечную полемику о «руси» я рискую затронуть лишь в ракурсе антропологии движения, с ориентацией на истоки явления, а не термина. Столь напряженные темы, как происхождение народа и государства, побуждают науку к избыточности толкований при скудости источников. Иногда, как в случае с Повестью временных лет, первичный текст звучит гораздо яснее, чем нагроможденные поверх него научные концепции и идеологические конструкции. Словопрения экспертов создают свою историографическую реальность, которая по мотивации и композиции имеет мало общего с летописной историей. Во избежание подмены исторических персонажей историографическими, я обращаюсь напрямую к летописи, отмечая оттенки употребления слова *русь* за столетие — от Рюрика до Святослава.

При Рюрике русью назывались: (1) заморские варяги, наряду со свеями, норманнами, готами, англами; (2) дружина Рюрика (862 г.), рать Аскольда и Дира в походе на Царьград (866 г.); (3) земля, названная по имени варягов (Ладога, Белоозеро, Изборск), при этом киевская земля звалась Польскою; (4) безбожники, чьи корабли молитвами патриарха Фотия разметала буря.

При Олеге: (1) варяги и словене, к 898 г. так прозвались от варягов поляне; (2) войско «Великая Скуфь» в походе на Царьград 907 г. с участием варягов, словен, чуди, кривичей, мери, полян, северян, древлян, радимичей, хорватов, дулебов, тиверцев; (3) города с князьями, подчиненными Олегу (Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и др.), а также Киев, определенный Олегом как «мати городом руским»; (4) земля и ее жители (купцы, челядь, послы) в текстах договоров с греками 907 и 912 гг.; (5) закон, по которому клялись оружием, Перуном и Велесом; (6) род (Карлы, Инегелд, Фарлоф и другие варяги), элита (руси паруса шелковые, а словенам полотняные) во главе с великим князем русским; (7) не-христиане (не-греки) в правонарушениях типа «убьет христианин русина или русин христианина».

При Игоре: (1) земля и ее жители («все люди Руской земли»); (2) войско, идущее на Царьград и сжигаемое пламенем (941 г.), покрывшее море кораблями (944 г.); (3) часть войска, наряду с варягами, полянами, словенами, кривичами и печенегами; (4) страна, на которую нападают печенеги, послы которой ведут переговоры с греками; (5) закон, по которому некрещеная русь клянется на щитах и обнаженных мечах от имени «страны Руския»; (6) род (Ивор,

Вуефаст и другие) во главе с великим князем русским; (7) христиане и не-христиане, живущие «по закону Гредкому и по закону Рускому», «поганья Русь» и «христьяная Русь», совершающие разные обряды в ходе приема послов императора Романа.

При Святославе: (1) земля, на которую совершают набег печенеги, где набирается войско, откуда поступают товары в другие земли; (2) сторона, ведущая переговоры, требующая дани от греков; (3) войско, ополчающееся на врага («исполчишася русь»); (4) часть войска (из 20 тысяч «руси 10 тысяч только»); (5) элита во главе с великим князем русским (под которым «русь, бояре и прочии»).

В этом нехитром списке видно, как расширяется значение «Русь-земля» с севера при Рюрике через охват полян при Олеге до распространения на «все люди Руской земли» при Игоре. В контексте переговоров Игоря оформляется понятие Руси как стороны-страны. Очевидна эволюция «руси» от безбожной (при Рюрике) через противопоставление христианам (при Олеге), распределение на христиан и не-христиан при Игоре до духовного конфликта между Ольгой и Святославом (в связи с Ольгой речь о Руси идет исключительно в контексте крещения, в связи со Святославом — вне этого контекста). Позднее, при Владимире, коллизия достигает высшего напряжения («осквернилась требами земля Руская») и разрешения (обратил Бог «Рускую землю в покаяние»).

Сквозным и устойчивым значением слова *русь* оказывается «рать, элита войска», используемое летописцем до XI в.: идущее в 1018 г. на Болеслава со Святополком войско Ярослава, как и во времена Олега, собирается из руси, варягов и словен.<sup>5</sup> Во всех случаях, прямо или косвенно, подразумевается, что русь составляет ядро войска, и в выражении «русь идет» обозначается рать-русь с князем во главе. Военно-войсковая элитарность подчеркнута в эпизоде возвращения Олега из Царьграда — шелковыми парусами руси в противовес полотняным у словен, постоянных спутников руси в походах. При этом «идущая русь» связана с кораблями и морскими рейдами, о чем прямо говорится в рассказах об Олеге и Игоре и косвенно, за очевидностью, в сюжете прибытия Рюрика с русью из-за моря.

В повести о деяниях Святослава летописец использует слово *русь* в многозначной идентификации — персональной (князь), внут-

<sup>5</sup> В Русской Правде русин — это «гридин [от шведского *grid* 'дружина'], любо коупчина, любо ябетник, любо мечник», то есть представитель дружины, купечества, боярско-княжеской администрации (Кирпичников и др. 1986:203; см. также: Мельникова 1984:62–69).

ривойсковой (элита), кастовой (войско), международной (страна), пространственной (земля). Вероятно, для Святослава, как и для летописца, понятие это было удобным в разных ситуациях для обозначения ценностно-иерархических доминант. (То же слово могли применять со своими оттенками воевода Свенельд, древлянский князь Мал или крещеный варяг.) Проекция распространялась от князя и элиты-дружины на землю, а не наоборот; иначе говоря, не потому князь звался русским, что владел страной-Русью, а потому страна звалась Русью, что ею владел князь русский со своей ратью-русью. Святослав не мыслит *руси* вне себя в сколь угодно далеких походах. Отбивая в Болгарии под Доростолом атаки ромеев, он защищает владения руси: «Да не посраим земли Руския, но ляжем костьми тут». В присвоении Болгарии он будто состязается с императором Иоанном Цимисхием, который в свою очередь по взятии Преславы тут же переименовывает город в Иоаннополь. В крылатой фразе Святослава говорится о той самой «среде земли», которую он предпочитает Киеву и Новгороду, которую «тут» защищают росы. Отношение Святослава к отечеству, в стиле известной монаршей мудрости, могло бы звучать: «Русь — это я» или «Русь — там, где я». При Святославе Русь — кочующая; в запечатленном летописью мгновении «Русь идет» читается состояние ее движения — она еще в пути и не осела в градах и на княжьих столах.

Движение *руси* в некоторых эпизодах напоминает выстрел, когда сила удара многократно возрастает от скорости. Так выглядят внешне легкие и, в лаконичности хронографов, быстрые победы Святослава: «с коня» он крушит Хазарию, «с челна» — Дунайскую Болгарию. Дружинный мир с его культом войны и победы, идеологией превосходства и господства — главная ценность Святослава. «Дружина моя сему смеяться начнет», — отмахивается он от увещеваний Ольги познать христианского Бога и «радоватися». Князь упорно творит «поганьское», поскольку убежден в силе язычества.

Представляя Святослава носителем варяго-русской традиции, нельзя не видеть сакрального контекста его походов по Приазовью и Причерноморью. Викинг-язычник относился к этой земле так же, как христианин — к Израилю. Пренебрежение Святослава к «попутным городам» объяснимо нацеленностью на «середину мира». Едва ли Аскольд, Дир, Олег, Игорь и Святослав не знали о легендарной обители богов Асгарде в Причерноморье, не слышали саги об Инглингах и откровений Эдды, не мнили себя последова-

телями конунга Свейгдира, ходившего к Асгарду «навестить старого Одина». Тот же сценарий читается в Младшей Эдде: шведский конунг Гюльви под именем Ганглери (Усталый путник) приходит к Асгарду, где в видении — диалоге с богами — ему открываются тайны мироздания и священные традиции предков. Возможно, и Святослав использует оборот «среда земли моей», находясь в эддической ауре и вольно или невольно следуя идее поиска-воссоздания «града богов». Нет ничего невозможного в допущении, что князь мыслил себя наследником славы и традиции Одина: он не только воевал на срединной земле и овладел ею, но и в какой-то мере воскрешал устои чертога асов. Его минималистский быт и культ воинской доблести сродни духу и устоям Вальгаллы. Как последователю-воплощению Одина Святославу вполне по духу было намерение повергнуть Византию, оплот враждебной асам религии.

Кочевая дружина, сопровождавшая князя в походах, — его мир, смысл существования. Это и есть *русь*, с которой и ради которой князь побеждал врагов и покорял новые земли. «Малая родина» Святослава — рать-дружина, во внутреннем устройстве которой многое основывалось на началах «дружбы». Подобно тому, как команда корабля (в построениях геополитиков) была прообразом европейской демократии, дружина-русь стала прообразом устройства государства, принявшего ее название. Это видно по Русской Правде, первоначально бывшей сводом правил в отношении дружины (после склоки варягов с новгородцами в 1015 г.), а затем выросшей в общегосударственный свод.

Обозначенные характеристики близки этимологической версии, выводящей *русь* из староскандинавского круга значений *ródr* — «гребной ход» (Wilson 1996:104), *roðs* (др.-исл.), *ruð* (рун.) — «войско, дружина» (Брим 1923:7–10; Ковалевский 1977:82, 106, 214; Лебедев 1985:57; Кирпичников и др. 1986:203–204), с уточнением «команда боевого корабля, гребцы» (Петрухин 1985:63–64). Исследователям, ищущим абсолютного соответствия, представляется, что «ни один из предложенных до сих пор скандинавских композитов не дает лингвистически удовлетворительной праформы» (Назаренко 2001:33). Мне, напротив, видится корректным мнение Е. А. Мельниковой об убедительности основы *\*rūð(s)* без уточнения конкретной словоформы, равно как оправданной исходная локализация *руси* на восточном побережье Швеции, в Рослагене, где архаичное значение гребной дружины *ruð* сохранялось еще в ополчении Магнуса Эриксо-

сона 1270 г. (см.: Лебедев 2005:180). В той же мере можно обойтись без излишеств в выявлении финской роли в эстафете *\*rôþ(s)* (др. сканд.) > *ruotsi* (фин.)<sup>6</sup> > *русь* (вост.-слав.): достаточно видеть прибалтийских финнов как соучастников механизма движения, который реализовался в Восточном пути и феномене Ладоги. О деталях обмена словоформами между скандинавами, финнами и славянами в прибалтийском ареале их взаимодействия, при высокой вероятности существования *lingua franca*, можно лишь гадать.

Летопись создает ощущение, не утверждая прямо, будто слово *русь* было внесено в пространство будущей Руси заморскими варягами в 862 г. Однако след росов отпечатался на Восточном пути на полвека раньше: с 813 по 844 гг. отмечены их рейды по Черному и Средиземному морям (Мавродин 1945:199); послы росов-шведов гостили у ромейского императора Феофила II, а затем франкского императора Людовика Благочестивого в 839 г. Есть и более ранние, но менее надежные, свидетельства появления людей «рос» в поле зрения арабов и ромеев: об участии кораблей русов в походе греков на болгар 773 г., набеге на Царьград 626 г., сражениях с арабами на стороне хазар в VII в. (Нидерле 2001:160, 498; Новосельцев 1965; Херрман 1986:40).<sup>7</sup> Название *русь* (*рос*) с давних пор закрепилось за скандинавами в восточном междуморье, и Рюрик прибыл на Восток с *русью*, как это делали его предшественники. Впрочем и на Западе Европы Скандинавию иногда звали Росью. В «Хронике» 1201 г. Роджера из Ховедена рассказывается об Эдуарде, сыне англосаксонского короля Эдмунда II Железнобокого, бежавшем от гнева датского короля Кнута в «землю ругов, которую мы зовем Руссией» (вероятно, в Швецию).<sup>8</sup> В стихотворной «Хронике гер-

<sup>6</sup> *Ruotsi* — финское название шведов. При чтении лекций в университетах Финляндии я не раз попадал в этнонимическую ловушку: слово *Русь* прочно ассоциируется со Швецией, а не с Россией, которую финны называют *Venäjä*. «Руссией» называется Швеция и в других балто-финских языках. На этом основании со времен В. Томсена за финнами усматривается роль посредников в трансляции слова *русь* из Северной Европы в Восточную.

<sup>7</sup> Многие исследователи полагают, что упоминания имен-подобий «рос» в арабо-персидских и византийских источниках VI–VIII вв. не следует воспринимать как достоверные. «Ни само имя (ерос, хрос, хрус), ни расположение, ни тем более исторический контекст самих источников не подходят для реконструкции предистории русов» (Петрухин 2001:128).

<sup>8</sup> В изложении Флоренция Вустерского и Вильяма Мальмсберийского, принц Эдуард вместе с братом был отправлен к королю шведов (Назаренко 2001:500).

цогов Нормандских» Бенуа де Сент-Мор (ок. 1175 г.) страна Руси отождествляется с островом Канси (Скандзой, Скандинавией):

Там есть остров, называемый Канси,  
И я полагаю, что это Руси,  
Огромным соленым морем  
Окруженная со всех сторон (Матузова 1979:58, 242).

Существует немало версий о политических образованиях на месте будущей Руси — от Великой Швеции (державы Инглингов) до Русского каганата (княжества Дира). При некоторых вольностях в обращении с фактами и псевдо-эпичности ряда версий, в целом они отражают если не реальность, то тенденцию. Несмотря на господство со времен гуннов в пространстве Понтийского стока степной магистральной культуры, пульс северного пути прощупывался: наследниками готской традиции были свеи вендельского периода и другие скандинавы, совершавшие по разным причинам глубокие рейды по междуморью. Например, легендарный конунг Свейгдир «дал обет найти Жилище Богов и старого Одина... Он побывал в Стране Турок и в Великой Швеции и встретил там много родичей, и эта его поездка продолжалась пять лет» (Сага об Инглингах XII; Стурлусон 1980:17). Речь идет о Приазовье, низовьях Дона, где скандинавская мифология помещает Асгард и Великую Швецию, где одни исследователи находят остатки готской традиции (Хлевов 2002:176), другие — ростки викингской (Вернадский 2001:270–271). В действительности это концы одной нити — северогерманской Балто-Понтийской магистрали время от времени прерывавшейся, но восстанавливавшейся. В этом ключевая теория «готского происхождения» Руси (Будилович 1897:118–119) имеет право на существование как объяснение постоянства восточногерманских магистралей, хотя исходный импульс северогерманского движения неизменно шел с севера на юг, а не наоборот, — и во времена готов, и в свейский период, и в эпоху викингов.

Незадолго до эпохи викингов в Прикаспии и Приазовье властвовали хазары — остаточная сила степной магистральной тюркской культуры. Достигавшие их владений скандинавы по-своему адаптировались к нравам хазар. В одних случаях между ними случались конфликты, в других устанавливалось партнерство. Обладавшие высокой маневренностью, опытом интриг и сделок, мастерством навигации и войны, русы были для хазар удобными партнерами, особенно в совместных походах на арабов или ромеев. По сооб-

щению Масуди, русь служила в войске хазарского царя; согласно Мирхванду, какие-то острова были подарены русам хазарским каганом. Как отмечал М. И. Артамонов, эта русь не была Русским государством, а представляла собой «норманно-славянские военные и купеческие дружины», действовавшие и двигавшиеся по своей воле (Артамонов 2001:515–517). Патриарх Фотий характеризовал русов как народ «варварский, кочующий» (см.: Кузенков 2003:57).

В этом контексте историков интригует уже упоминавшийся (см.: ч. II, гл. 1) сюжет о «хакане росов» из «Бертинских анналов». Дознание Людовика Благочестивого в 839 г. выявило в *рос* (Rhos) шведов (Sueonum), но фигура их царя по имени Chakanus осталась загадочной. За франков ситуацию пытались прояснить историки, задаваясь вопросом о резиденции людей Rhos и предлагая ответы: Швеция, Ладога, Новгород, Киев, Волга, «Болото русов» (Mal-i-Ros) в дельте Кубани. Соответственно, хаканом росов предстает то летописный Дир, то некий доваряжский русский князь, то персонаж со скандинавским именем Хакон.

Г.-З. Байер считал, что «задолго до Рюрика народ русский (*gentem Rossicam*) имел правителя, титул которого (хакан) на основе греческих и арабских источников можно расценивать как равнозначный титулам “император”, “самодержец”» (Bayet 1735:281). Худуд ал-алам отмечал титул кагана у хазар, киргизов, жителей Тибета, а также у русов (Заходер 1962:208). По этому поводу Г. Н. Вернадский предложил сценарий превращения правителя русов в кагана: сначала, в середине VIII в., русы состояли на службе у хазар в борьбе с арабами, затем вождь русов занял привилегированное положение рус-тархана, который поднялся до положения помощника кагана (айша) и, наконец, присвоил титул кагана, чем подчеркнул «свою независимость от хазар» (2001:290, 292).

Возможно, вожди русов не присваивали себе чужих титулов, а просто представляли собственные (конунг, ярл) на южный лад. Эта традиция задержалась в Киеве, где митрополит Иларион именовал каганами князей Владимира и Ярослава в «Слове о законе и благодати» (Иларион 1994; Мавродин 1945:195). Поиск столицы русского «хакана» начала IX в. дает разные результаты, поскольку таких полукочевых ставок могло быть несколько на Восточном пути. Любая русь как дружина, разбойничья банда или компания купцов могла быть или называться людьми того или иного «хакана росов». Нет ничего удивительного в том, что нумизматически редкие византийские

монеты императора Феофила II (829–842 гг.), завезенные на север росами-шведами, найдены в Бирке (Швеция), Гнёздове (Смоленск) и Рюриковом Городище (Новгород) (Кирпичников и др. 1986:224; Носов 1990:148). Эти находки, как и гипотетические центры «русского каганата», обозначают узлы «паутины викингов», которая в то время начинала наполняться военно-торговым движением, что видно по бойкому обращению восточного серебра, и утяжеляться «гардами», появлявшимися один за другим на варяжских путях.

Историки, стремящиеся централизовать историю, толкуют о единой воле народов, «выгодах хазар», «интересах Руси». Рисуемая ими картина сплоченной политики руси, хазар, печенегов или венгров наталкивается на другую реальность, когда отряды руси или печенегов одновременно служат разным государям, затевают кровавые усобицы или частные грабительские походы. Стоит лишь укрупнить план — сменить международную панораму на историю людей — и главное место займут распри степных вождей или скандинавских князей. Показателен случай с рейдом русов 943 г. через Хазарию в Каспийское море, где они захватили город Берда на Куре, перезимовали в нем, потеряв погибшего в битве вождя по имени Хельгу, а по весне прорвались к своим судам и ушли восвояси. Историки непременно пытаются втиснуть этот сюжет в политику Русского государства и приписать его княжившему тогда Игорю. Одни считают, что Хельги (швед. 'Святой') — не имя, а эпитет, входивший в титулатуру русских князей; другие полагают, что Игоря перепутали с женой Ольгой; третьи допускают, что полным именем Игоря было Хельги Ингер (Олег Младший); четвертые догадываются, что автор известия, хазарский еврей, просто спутал Игоря с его славным предшественником Олегом (см.: Артамонов 2001:505–507). Исследователям проще дважды решить проблему смерти князя, под именем Хельгу в Персии и под именем Игоря в Деревах, чем представить, что события могли происходить помимо воли великого князя. В действительности престарелый Игорь мог не участвовать в каспийском походе русов 943 г. и лишь слышать об обычной для викинга судьбе варяжского вождя по имени Хельгу.

Князь Святослав — в большей степени «каган росов», чем его предшественники, поскольку он одержал верх над действительным, хазарским, каганом. Он мог стать каганом росов и хазар, если бы не посягнул на статус базилиуса — болгарского, а то и ромейского. Однако напрасно историки стремятся все погромы на Дону и Вол-



ге, Азове и Каспии в 960-е гг. приписать одному Святославу.<sup>9</sup> Если в 965 г. князь действительно бил хазар у Саркела и касогов в Приазовье, то в 968–969 гг. он был в Киеве или в пути между Днепром и Дунаем. Русы, которые, по описанию Ибн-Хаукаля, в эти годы рушили и грабили «все, что принадлежало людям хазарским, болгарским и буртасским на реке Итиле», от которых «жители Итиля искали убежища на острове Баб-ал-Абваба [Дербент]» и «в страхе поселились на острове Сия-Кух (полуостров Мангышлак)» (Захедер 1962:20), могли действовать как по воле князя, так и вопреки ей. Поверженная Хазария стала обширным полем грабежа и мародерства, и на причерноморском раздолье развились самые разные банды русов, печенегов и гузов.

Для историка-централизатора смысл исторического развития состоит в укреплении центральной власти. «Схема объединителя», тщательно разработанная отечественной историографией, замещает реальную динамику мотива-действия статичной идеологией державного единства и взаимного служения вождя и народа. На этой волне появились и прижились многие искусственные историографические конструкты, например «Киевская Русь». Первые русские князья рисуются даже восстановителями некоего исконного единства. Вероятно, Олега немало удивил бы пафос историков, видящих его заслуги в том, что «единство русских земель было восстановлено» (Лебедев 2005:421), что его поход 882 г. «знаменовал окончательное объединение Верхней Руси и Русской земли Среднего Поднепровья в единое Древнерусское государство» (Киричников и др. 1986:287). Олег прокладывал, вернее, завоевывал путь к южным морям, и если болел о единстве, то только в отношении боевого духа дружины и покорности подчиненных племен. Реальные мотивы князей, настроенных на захват чужих владений и добычи, подменяются мотивацией историков, конструирующих образы дальновидных отцов-созидателей наций. Между тем для реконструкции историко-антропологической картины древности целесо-

<sup>9</sup> Эксперты по истории Хазарии обычно связывали все походы руси того времени со Святославом, в том числе победоносные рейды по Волжской Булгарии, Прикаспию, Приазовью, Причерноморью. При этом, например, М. И. Артамонов в одном случае допускал присутствие в Хазарии различных дружин руси, в другом — решительно отвергал: «Русь была только одна — киевская, никакой иной Руси никогда не существовало. Что же касается расхождения в датах, то оно легко объясняется ошибкой одного из источников, а именно арабского автора» (Артамонов 2001:584; ср. 517).

образно сопоставление взглядов реальных участников событий, в том числе варягов, финнов, славян, хазар. Для последних, например, деяния Олега выглядели вопиющим разбоем, а для днепровских славян они означали смену хазарского ига варяжским. Другое дело, что в ходе событий позиции и взгляды менялись, преобразуя «иго» в «государство», русь — в Русь, вынужденное рабство — в выгодную зависимость.

### Полюдь

«Русь» и «люд» — примерно так выглядело соотношение военно-княжеской элиты и простого народа в Гардах эпохи викингов. Соответственно, полюдьем был объезд русью зависимых людей — «окняжение» территории, сбор князем и его тиунами дани с подвластных племен (см.: Тимощук 1990; Кобищанов 1995; Фроянов 1996). Правда, состояние власти в X в. больше напоминало не систему управления, а стихию разбоев разноязыких вождей — тех, кто приходил за данью из-за моря (варяги) или степи (хазары), и тех, кто среди славян и финнов поднимал «род на род» и затевал усобицы. По берегам Среднего Днепра жили люди тихого и кроткого нрава, как о них повествует летопись, называвшие себя полянами, а землю свою — Польскою. Они платили дань хазарам и, вероятно, считали себя «людьми кагана» (в Киеве правителей еще долго по привычке называли каганами). В 862 г. их подчинили явившиеся с севера вольные варяги Аскольд и Дир, отпущенные восвоеси Рюриком. В Польской земле вокруг Аскольда и Дира стали собираться разбойничьи шайки варягов-руси, совершавшие набеги на Царьград. За двадцать лет их «правления» поляне стали людьми руси, хотя не забыли, вероятно, и хазарского подданства.<sup>10</sup> В 882 г. их подчинил новый варяг — Олег, который обманом умертвил Аскольда и Дира и захватил их резиденцию Киев. Бывшие еще недавно хазарской окраиной, поляне неожиданно для себя оказались в центре Руси.

Совсем иначе выглядели те же события с позиции жителей Полесья древлян, которые в силу своей строптивости или удаленности от степи дани хазарам не платили и подчинялись собственному князю. Киевский летописец с неприязнью сообщал, что древляне

<sup>10</sup> Не исключено, что приводимое Константином Багрянородным название Киева «Самватас» восходит к еврейскому «Субботний» и связано с жившей в Киеве в первой половине X в. еврейско-хазарской общиной (см.: Архипов 1984:224–240).

живут «зверским образом», убивают друг друга, едят все нечистое, браков не заключают, а только «умыкают у воды девиц». Скорее всего, правление Аскольда и Дира обошло их стороной, и они продолжали на собственный страх и риск похищать (полянских?) девиц у воды. Угроза подчинения нависла над древлянами лишь с появлением на Днепре Олега. Взяв Киев, он уже на следующий год (883) «поча воевати на древляны» и, «примучив» их, обложил данью (по черной кунице) и военной повинностью — в 907 г. древляне ходили с Олегом на Царьград. Однако по смерти Олега в 913 г. древляне «заратишася от Игоря», и новому князю пришлось заново утверждать свою власть и дань (больше Олеговой) походом 914 г.

С древлян княжение Игоря началось, у них же тридцать лет спустя (в 945 г.) закончилось. Последнее его осеннее полюдье «в Деревях» было заранее омрачено упреками дружины: «Отроки Свенельдовы богаты оружием и платьем, а мы наги; пойдй, князь, с нами в дань, и ты добудешь и мы». Еще не ушла горечь поражения от ромеев, спаливших русский флот «греческим огнем» (941 г.), и досада на неудачный реванш (944 г.), когда вместо победы князю достался от ромеев выкуп. Казалось, Игорь вымещал на древлянах все накопленные обиды: взяв с них насильем одну дань, он двинулся в свой город, но на полпути остановился и велел дружине: «Идите с данью домой, а я вернусь и похожу еще». На возвращение Игоря с малой дружиной древляне изрекли мудрость: «Аще повадится волк к овцам, то выносит все стадо, аще не убьют его; так и сей, аще не убьем его, то всех нас погубит». У Искоростеня Игорь был убит и погребен, а своего князя Мала древляне предложили в мужа овдовевшей Ольге.

Древлянское полюдье Игоря больше похоже на войну, чем на сбор дани. В том же ключе развернулась и месть Ольги с казнью послов, иссечением 5 тысяч древлян на тризне, сожжением Искоростеня, истреблением и отдачей в рабство его жителей. При всей неординарности этот эпизод представляет один из сценариев русского полюдья. Другой описан современником Игоря византийским императором Константином Багрянородным в трактате «Об управлении империей» (около 950 г.).

Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Кнава и отправляются в полюдья, что именуется «кружением», а именно — в Славинии вервианов [древлян], друтувитов [дреговичей], кривичей, севериев и прочих славян, которые являются пак-

тиотами [подчиненными союзниками] росов. Кормясь там в течение всей зимы, они снова, начиная с апреля, когда растает лед на реке Днепр, возвращаются в Киев. Потом... взяв свои моносылы [ладьи], они оснащают [их] и отправляются в Романию (Константин Багрянородный, IX, 64–75).

Слово «полюдь» употребляется не только в Повести временных лет, но и в греческом тексте императора Константина (*poludia*), и в исландских сагах (*polutasvarf*) (см.: Stender-Petersen 1953). Как видно, этот промысел был известен широко, «от варяг до грек», и иначе назывался «кружением» или «кормлением». Б. А. Рыбаков (1982:318–329) представлял круговой маршрут полюдья киевского князя по порядку перечисленных славянских племен (древляне–дреговичи–кривичи–северяне) с возвращением в Киев через Чернигов и Вышгород. На этом же кольце располагались названные Константином пять городов, откуда на лето выходили ладьи росов, отправлявшиеся в водный путь до Византии или Болгарии.

Приходящие из внешней Руси в Константинополь моносылы являются одни из Немогарда [Новгород или Старая Ладога]<sup>11</sup>, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Руси, а другие из крепости Милиниски [Смоленск-Гнёздов], из Телиуцы [Любеч], Чернигоги [Чернигов] и из Вусеграда [Вышгород]. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, называемой Самватас. Славяне же, их пактиоты, а именно: кривитеины, лендзанины и прочие славинии — рубят в своих горах моносылы во время зимы и, снарядив их, с наступлением весны, когда растает лед, вводят в находящиеся по соседству водоемы. Так как эти [водоемы] впадают в реку Днепр, то и они из тамошних [мест] входят в эту самую реку и отправляются в Киову. Их вытаскивают для [оснастки] и продают росам. Росы же, купив одни эти долбленки и разобрав свои старые моносылы, переносят с тех на эти весла, уключины и прочее убранство... снаряжают их. И в июне месяце, двигаясь по реке Днепр, они спускаются к Витичеву, которая является крепостью-пактиотом росов, и, собравшись там в течение двух-трех дней, пока соединятся все моносылы, тогда отправляются в путь и спускаются по названной реке Днепр (Константин Багрянородный, IX, 4–27).

Зимнее «кружение» и летнее плавание — образ жизни росов, как отметил Константин Багрянородный. Не обязательно вслед за

<sup>11</sup> Обычно Немогард соотносится с Новгородом. А. Н. Кирпичников (1988:55), приняв за основу название Ладожского озера «Нево», предложил толкование Немогарда как «города на озере Нево» — Старой Ладоги.

Б. А. Рыбаковым представлять полюдые централизованным киевским мероприятием: ежегодный кольцевой маршрут от Киева до Новгорода (или даже до Старой Ладogi) по осенней слякоти и зимним снегам мог быть настоящей пыткой. Известная практика раздачи князьями городов и волостей в кормление надежным дружинникам (например, в 980 г. Владимир вознаградил градами «добрых, смышленных и храбрых» варягов) предполагала их самостоятельные «кружения». Зависть дружины Игоря отрокам Свенельда происходила оттого, что воевода «кружил» успешнее, чем князь. Однако эпизодически великий князь мог совершать «большой круг», как это делали Олег в 882 г. и Ольга в 947 г.

Годичный цикл движения руси можно представить тремя «кругами»: (1) зимние конные локальные кружения дружинников; (2) зимний конный объезд князем своих владений на пути «из варяг в греки»; (3) летнее княжеское плавание с дружиной и союзниками за море в Болгарию или Византию (вариантами летней навигации могли быть походы на Каспий, поездки в Скандинавию, локальные бои с обитателями степных и лесных поречий). Этот механизм движения-управления состоял из трех «маховиков» разного размера — малого (локальный дружинный), среднего (княжеский по стране) и большого (заморские походы). Судя по тому, как ритмично готовился флот и вовемя (в два-три дня) собирались ладьи со всех концов страны в поход, летнее плавание было согласованным и торжественным событием. Отплытие руси не могло не быть будоражащим и впечатляющим действием, как и совершаемые в пути ритуалы (например, жертвоприношение на о. Хортица после прохождения порогов).

Летнее плавание руси изобиловало опасностями: у Днепровских порогов и проток Дуная за кораблями неустанно следили и следовали печенег, «и если море, как это часто бывает, выбросит монохсил на сушу, то все причаливают, чтобы вместе противостоять пачинакитам» (Константин Багрянородный, IX, 57). Печенеги для руси были не только врагами (русь часто прибегала к их помощи), но и достойными конкурентами в военном промысле. «Хищные печенеги» были органичной частью окружающей среды, и схватки с ними для руси, особенно юных воинов, представляли собой нечто вроде корриды — опасного, но увлекательного и престижного испытания.

Завершая обзор летнего пути руси, император Константин не сдержал эмоций, назвав его «мучительным и страшным, невыно-

симым и тяжким плаванием». Сам он был человеком кпичным и движениям тела предпочитал полет мысли, но и умозрительный «образ жизни» руси вызвал в нем содрогание. Между тем для руси подобные походы были не только постоянным занятием, но и источником мотивации, основой дружинности, стилем движения. Святослав не потому ел запеченную на костре конину и спал с седлом в головах, что ему не хватало яств и теремов, а потому, что в этом состоял стиль дружинной жизни, побед, славы и богатства. Кстати, болгарский поход Святослава прошел именно тем путем, который двадцатью годами раньше описал базилевс Константин. После «невыносимого и тяжкого плавания» воины Святослава «стремительно выпрыгнули из челнов, выставили вперед щиты, обнажили мечи и стали направо и налево поражать» болгар под Доростолом.

Возможно, болгарская война Святослава была спровоцирована византийскими дипломатами, но успех руси был обеспечен многолетним опытом освоения пути «из варяг в болгары». При Игоре подобные хождения имели вид регулярной торговли, дополняемой попутными набегами и захватом добычи (в том числе у печенегов). И для Святослава эти дальние походы были продолжением полюдьа, только не зимой, а летом, и не по Днепру, а по Дунаю. Он легко предпочел болгарскую Преславу Киеву и Новгороду, потому что считал русской землей все пространство своего полюдьа. В этом измерении его взгляд на Преславу как середину русской земли ничем не отличался от позиции Олега, занявшего Киев и сделавшего его своей столицей.

Полюдье нередко считается восточной версией скандинавской вейцлы (см.: Гуревич 1967:126–143; Хлевов 2002:93). В том же сезонном ритме норвежский конунг Харальд Суровый ходил в летние заморские рейды, а зимой ездил по местным вейцлам (пирам) и тингам (вече). Одного из Инглингов в Швеции прозвали Энунд Дорога за то, что он потратил много сил на прокладку дорог через лесные дебри, болота и горы: «Энунд конунг построил себе усадьбы во всех областях Швеции и ездил по всей стране по пирам» (Стурлусон 1980:29). На зимних сходах и пирах конунг собирал дань, вершил суд, формировал войско, которое летом выступало в морской поход. Вейцлы были для конунга не только местом сбора податей, но и своего рода ежегодным плебисцитом. От зимнего пира зависел исход летнего сражения, и наоборот: цикл вейцла–война с древно-

сти опирался на устойчивую мифологему — «схему Вальгаллы»<sup>12</sup> — и предполагал постоянное движение конунга как в физическом измерении (объезд владений), так и в социальном (одобрение замысла на вейцле и тинге).

Полюдь не могло не походить на вейцлу, поскольку Рюрик и его преемники по-другому княжить не умели. Однако этимологические оттенки полюдья как поездки «по людей», а *veizla* как «пира» не случайны. В отличие от вейцлы в Скандинавии, где за один стол садились соплеменники, в полюдье на Днепре и Волге встречались пришлые скандинавы-росы и местные славяне и финны. В традиции викингов было пить на дружинном пиру из одного кубка (Стурлусон 1980:31), чем ритуально достигалось единство-братство. В главе «Праэтничность» речь уже шла о символическом родстве, скрепляемом различными обрядами, в том числе общими трапезами — В. Я. Пропп не напрасно отмечал, что «общность еды создает общность рода» (1946:296). Однако на покоренные восточные племена эта общность распространялась не сразу; трудно представить, например, чем мог бы закончиться совместный пир Игоря и древлян. Впрочем можно не представлять, а сослаться на летопись, повествующую о тризне, устроенной Ольгой у Искоростеня в 945 г.: «яко упишася деревляне» у могилы Игоря, Ольга отъехала прочь и велела своим отрокам сечь пирующих древлян — «и иссекоша их 5000».

Подобная «вейцла» затрудняла родство, но облегчала рабство. В Скандинавии отношения между «карлами и ярлами» (крестьянами и знатью) тоже были полны иерархических условностей и конфликтов (Харальд Суровый воевал с норвежскими бондами, а Олав Святой был ими даже убит), но конунг и бонд в Скандинавии не были разделены гранью этнической отчужденности. Во всяком случае, на родине варягов сословные барьеры не были столь крепки, как между разноязыкой знатью и чернью на Руси. На покоренных землях варяжские князья строили укрепления — гарды (грады) и погосты для облегчения сбора дани и челяди — полюдья. Русь и славяне относились друг к другу как властно-военная элита и под-

<sup>12</sup> В Вальгалле, раю воинов-героев, души-эйнхерии при блеске-свете мечей предаются поочередно двум занятиям: «Эйньхерии все / рубятся вечно / в чертоге у Одина; / в схватки вступают, / а кончив сраженье, / мирно пируют». На пиру они пьют мед, стекающий из сосцов козы Хейдрун, и едят мясо веппра Сэхримнира — «каждый день его варят, а к вечеру он снова цел» (Младшая Эдда 1970:36–38).

чиненный люд. Случавшиеся бунты — изгнание варягов накануне 862 г., восстания древлян 913 и 945 гг. — лишь укрепляли и мотивировали этноиерархию. По свидетельству Гардизи, «постоянно по сотне и по двести (человек) ходят они [русы] на славян, насилем берут у них припасы, чтобы там существовать; много людей из славян отправляются туда и служат русам» (Заходер 1967:82). Даже в совместных действиях — сборе флота, военных рейдах — они различались как рать и «пактиоты» (зависимые союзники).

После расправы Ольги над древлянским Искоростенем часть его жителей была обращена в челядь. Судя по всему, у киевских князей не было недостатка в опыте рабовладения. Игорь, провожая послов императора Романа в 945 г., одарил их «скорою и челядью и воском» (примечательно, что челядь значится в списке между пушшиной и воском). Тот же перечень с добавлением меда назван Святославом в качестве товаров, вывозимых русами на Дунай. Константин Багрянородный (IX, 73) упомянул единственный товар руси — закованных в цепи рабов, которых русы, охраняя от атак печенегов, вели в обход четвертого днепровского порога. Русы отправлялись в Византию или Болгарию сразу с полюдья (может быть, «полюдь» следует понимать буквально как поход по люди, будто по грибы по ягоды). Арабские авторы с их тонким чутьем господства и рабства уловили особенности отношений руси и славян. По сообщению Ибн Русте, русы «храбры и мужественны, и если нападают на другой народ, то не отстают, пока не уничтожат его полностью», а «побежденных истребляют и обращают в рабство»; они «нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хозаран и Булкар и там продают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из страны славян... С рабами они обращаются хорошо и заботятся об их одежде, потому что торгуют (ими)». По сведениям Гардизи, русы «постоянно нападают на кораблях на славян, захватывают славян, обращают в рабов»; у русов «находится много людей из славян, которые служат им, пока не избавятся от зависимости» (Новосельцев 1965:397, 402). Славяне не только попадали в неволю через плен, но и сами отдавались в рабство, продавали за долги детей и жен (Путешествие 1971:36–37) или прибегали к нему как к мере наказания: если славянин обнаружит, что его невеста девственница, он «делает ее женой... если же нет, то продает ее» (Новосельцев 1965:390; 397–399). За красивую славянскую рабыню в Багдаде можно было выручить солидную сумму — десять тысяч дирхемов



(см.: Губанов 2002:86). Переводчиками у купцов-работорговцев ар-Рус на Каспии и в Багдаде были «славянские слуги-евнухи» (Ибн Хордадбех 1986:124), что указывает, с одной стороны, на изощренность индустрии рабства, с другой — на удобство использования евнухов-полиглотов в доставке рабынь-славянок.

На основе сообщений арабов можно составить обобщенные характеристики славян и русов (см.: Заходер 1962:31–33).

Славяне	Русы
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Живут в лесах на равнине.</li> <li>• В их стране есть город, где живет правитель.</li> <li>• Сеют просо; свиньи у них так же многочисленны, как у мусульман овцы.</li> <li>• Много меда, развито пчеловодство. Хмельной напиток славян из меда, у некоторых до сотни сосудов этого медового вина.</li> <li>• Мало вьючного скота, лошадей, но глава славян питается молоком вьючного скота (кумысом).</li> <li>• Славянские евнухи — переводчики у русов.</li> <li>• Носят рубахи, а на ногах сафьяновые сапоги.</li> <li>• Строят землянки, в которых спасаются зимой от сильного холода или нападений кочевников.</li> <li>• Имеют разные музыкальные инструменты: лютни, тамбуры, свирели.</li> <li>• Подвергают суровому наказанию виновных в воровстве и прелюбодеянии.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Живут на большом острове.</li> <li>• В стране русов большие богатые города.</li> <li>• Не имеют пахотных полей, деревень, занимаются торговлей мехами.</li> <li>• Грабят припасы славян, чтобы этими припасами кормиться самим.</li> <li>• Нападают на славян, продают их в качестве рабов в Хазарии и Булгарию.</li> <li>• Возят меха к Румскому морю, до хазарской столицы Хамлиджа, на верблюдах везут товары до Багдада, Балха, Мавераннахра и Китая.</li> <li>• Мужественны и смелы, походы совершают не на конях, а на кораблях.</li> <li>• Начиная войну, прекращают усобицы и действуют единодушно, пока не победят врага.</li> <li>• Вероломство среди них обычно, а потому даже по нужде они ходят в сопровождении друзей.</li> </ul>

Судя по этой краткой сводке, русы и славяне представляли разные мотивационно-деятельностные схемы: славяне осваивали ресурсы природы, русы — ресурсы славян; славяне возделывали землю, разводили свиней и пчел, собирали мед; русы грабили славян и продавали их в рабство; славяне скрывались от врага, русы атаковали и всеми средствами одолевали противника; славяне отличались

честностью и послушанием, русы своенравием и вероломством. Особенно резко они различались в стиле движения: русы охватывали огромные пространства от Скандинавии до Багдада и Китая, тогда как славяне жили оседло в землянках. Взаимодействие этих схем живо напоминает природный диалог хищника и травоядного, в этносоциальной иерархии — отношения властвующей элиты и подчиненного аграрного населения, в движении — пересечение магистральной и локальной культур.

В отечественной историографии звучали голоса об этноиерархической природе рабства на Руси. Например, Б. Н. Чичерин говорил о том, что «настоящее рабство» появилось «вместе с варяжскою дружиной и, вероятно, было принесено ей» (1858:145). М. Н. Покровский полагал, что Русь стала результатом не «внутреннего местного развития», а «внешнего толчка, данного движением на юг норманнов». Скандинавы завоевывали страну в «мягкой форме», когда побежденное племя не истреблялось, а превращалось в подданных. Норманны на Руси промышляли захватом и продажей рабов, были «рабовладельцами и работорговцами», создавшими «рабовладельческую культуру, яркую и грандиозную» (Покровский 1910; 1915; 1931). Впрочем жесткое насилие и торговля челядью — лишь часть сценария; другая его часть состояла в эффективном взаимодействии экологически мощной локальной (славянской и финской) культуры и политически успешной магистральной (скандинавской). Локальные культуры обеспечивали хозяйственное освоение и обустройство территорий, в том числе рост городов, а магистральная увлекала за собой группы локальных земледельцев-промысловиков, выступая «транспортом» их миграций. Своим «кружением» варяги поднимали славян, втягивали их в миграции, иногда подневольные.

Этика средневековья представляла полудье и рабство как судьбу и предназначение целых народов. Право победителя воспринималось как рок и закон, в международной этике той эпохи не было ничего похожего на право народов на самоопределение. Вместо него действовали жесткие схемы господина (победителя) и челядина (проигравшего). Модель взаимодействия викинги-славяне — один из вариантов в спектре отношений кочевники-земледельцы. И не только славянам довелось испытать невольничью судьбу. По всей Европе, от варяг до грек, рабство было обыденностью и даже модой. В Византии не подвергался сомнению обычай делать жителей

захваченного города рабами — такая участь выпала, например, на долю Великой Антиохии в 969 г. (Лев Диакон, V, 4). Про Швецию Адам Бременский писал: «Эти морские разбойники-викинги... злоупотребляют предоставленной им свободой не только против врагов, но и против своих. Не знают они верности никакой по отношению друг к другу и без сострадания продают один другого, захватив как несвободного слугу своему другу либо варварам» (Adam, IV, 6). На рынке можно было купить даже королевича, как случилось с малолетним Олавом Трюггвасоном: когда его пытались укрыть от преследований Матери конунгов Гуннхильд, судно захватили викинги, и будущий король был продан в рабство сначала за козла, потом за плащ. Лишь по прошествии шести лет неволи Олав был выкуплен на рынке Сигурдом Эйриксоном, то есть еще раз продан, но на этот раз в хорошие руки (Стурлусон 1980:100–101).

Главными перевалочными пунктами европейской международной работорговли IX–X вв. были Венеция, Арль и Кордовский халифат Омейядов. Отсюда невольники поступали в мусульманские страны Африки, Ближнего и Среднего Востока (см.: Verlinde 1979:153–173). Ведущую роль в международной работорговле играли еврейские купцы (Назаренко 2001:94). О. И. Прицак полагал, что еврейская торговая сеть охватывала всю Европу, включая Хазарию и Волгу, где она существовала в виде корпорации ар-Рус (ар-разанийя Ибн Хордадбега); при этом слово *русь* произошло от кельтской основы \*Rut в последовательности Rut–Ruzz–Russ–Rus, а носителями этого имени были еврейские торговцы, которые, смешавшись с викингами, образовали на Волге политику, выросшую в Русское государство (Pritsak 1970:241–259; 1981:25). Если поиски (по Прицаку) хазаро-еврейских корней Руси сомнительны, то международный размах работорговли и ее ключевая роль в Гардах очевидны. Для викингов промысел рабов на Восточном пути был едва ли не ведущим мотивом движения, обустройства «угодий» и путей к рынкам Халифата и Византии, а королевский престиж работорговли отражает очередной этап развития «схемы золотого тельца» в Европе — с рабом как международной валютой.

Значительная часть рабов, поступавших на европейские рынки в IX в., была славянского происхождения. Об этом недвусмысленно говорит происхождение слова «раб» в западноевропейских языках: нем. Sklave, фр. esclave < ср.-лат. sclavus «славянин, раб». В Кордове уже при халифе ал-Хакаме (796–822) был пятидесятитысячный корпус

иноземных (вероятно, славянских) воинов-рабов (мамалик), а при халифе Абд-ар-Рахмане III (912–961), по данным трех переписей, в столице Омейядов насчитывалось соответственно 3 750, 6 087 и 13 750 славянских невольников. Промысел рабов в славянских землях был занятием различных разбойничьих групп, от викингов до кочевников-венгров и торговцев-евреев. Например, ученики славянского первоучителя Мефодия были проданы политическими противниками еврейским купцам, которые доставили их на продажу в Венецию (Назаренко 2001:95–96).

Рабы представляли собой ценность, потому что были хорошим товаром, и наоборот. В те времена жизнь без рабов была чем-то вроде несчастья. В любой ситуации господина и госпожу сопровождала челядь. Рабов по-своему любили, выращивали, разводили. Расхожее сравнение рабов со скотом имело не только уничижительный смысл, но и оттенок привязанности. Героиня эпоса Нибелунгов Брюнхильд так любила своего мужа Сигурда, что не захотела жить после его смерти и пронзила себя мечом; любила она и своих слуг, с которыми тоже не в силах была расстаться, и перед самоубийством велела умертвить восьмерых рабов и пять рабынь (Старшая Эдда 1963:118, 125). Рабы были ближайшим окружением господина, жизненной ценностью, которая сама по себе служила источником мотивации. Во многих случаях, особенно на долгом восточном пути, в охотнике на рабов боролись два взгляда — работорговца и рабовладельца. Первый толкал его к рынкам Халифата, второй тормозил на полпути и побуждал обустроить собственные владения.

Трогательный эпизод лирического рабовладения описал Ибн Фадлан<sup>13</sup>, встретивший русов-работорговцев на Волге (Атиле), в Великом Булгаре, правитель которого с каждого десятка рабов, привозимых для продажи русами, «одну голову» брал себе:

Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая река, и строят на ее берегу большие дома из дерева, и собирается их в одном таком доме десять или двадцать, меньше или больше, и у каждого из них скамья, на которой он сидит, и с ними девушки — восторг для купцов. И вот один из них сочетается со своей девушкой, а товарищ его смотрит на него. Иногда же соединяются многие из них в таком положении один против других, и входит

<sup>13</sup> Ахмад Ибн Фадлан посетил Булгар в составе багдадского посольства в 921–922 гг. (Заходер 1962:53–59).

купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и таким образом заставит его сочетающимся с нею, и он не оставляет ее, или же удовлетворит отчасти свою потребность (Ковалевский 1956:142).

Смешение Ибн Фадланом в одной сцене секса и коммерции объяснимо, поскольку они были нерасторжимы в реальности. Русская эротика настолько впечатлила выдавшего виды араба, что он даже похороны руса описал в том же ключе, пристально следя за наложницей, добровольно вызвавшейся разделить с русом смерть: девушка пьет и веселится, ей моют ноги две подруги-стражницы, она ходит из юрты в юрту и отдается хозяевам юрт, ее трижды на руках поднимают мужчины перед приготовленным к сожжению кораблем, она отрезает голову жертвенной курице и бросает ее на корабль, снимает с рук и ног браслеты и передает старухе-палачу, на корабле выпивает три кубка хмельного напитка и поет песню, старуха вталкивает ее в палатку с покойником, в этой палатке с ней совокупляются шесть мужчин, ее укладывают рядом с мертвым хозяином, старуха накидывает ей на шею петлю, мужчины растягивают веревку, старуха втыкает ей меж ребер нож, мертвая девушка сгорает на объятom пламенем корабле.

Любвеобильным у Ибн Фадлана выглядит и царь русов, ложе которого «огромно и инкрустировано драгоценными самоцветами. И с ним сидят на этом ложе сорок девушек для его постели. Иногда он пользуется как наложницей одной из них в присутствии своих сподвижников» (Ковалевский 1956:146). Смакуя интимные подробности и сгущая краски, багдадский дипломат передает атмосферу быта русов — «походно-гаремного рая», заметно отличающегося от облика Вальгаллы, но напоминающего похвалбу Одина о том, как он соблазнял семь дев-сестер на острове Альгрён (Старшая Эдда 1963:46).

У князя Владимира Святославича, помимо нескольких жен, было 800 наложниц (по 300 в Вышгороде и Белгороде и 200 в Берестове), и маршрут зимнего полюдя князя нетрудно очертить по местам сосредоточения его гарема. Женолюбие будущего крестителя Руси заслужило обстоятельного пассажа летописца, сравнившего князя с царем Соломоном и употребившего выражения «побежен похотью женскою», «несыт блуда», «жены и девицы растля». Возможно, женское изобилие существенно повлияло на мотивы и предпочтения Владимира, отвергшего викингский кочевой стиль отца в пользу уютных теремов.

Он и сам родился в подобном полюдьё, от славянки Малуши, дочери Малко Любчанина и сестры Добрыни. Восхождение Владимира на княжий стол стало поворотным событием в диалоге руси и славян — революцией полюдьё, когда державный князь соединил в себе две прежде разграниченные модели поведения. На этом пути он проявил варяжскую жесткость и славянскую гибкость, усилив сразу обе схемы и взаимно их адаптировав. Еще при жизни Святослава решающую роль в судьбе Владимира сыграл его уй (дядя) Добрыня, предложивший новгородцам просить к себе княжича-полуславянина, а затем последовавший за ним в Новгород. Предвидя распрю с единокровным братом Ярополком, Владимир бежал из Новгорода за море в Скандинавию и, вернувшись с варяжским войском, расправился с Ярополком. Во главе викингской дружины Владимир был более варягом, чем его чистокровный рус-брат. Еще одной статусной победой Владимира стало «укрощение Рогнеды», дочери полоцкого князя Рогволода, первоначально отвергшей его сватовство: «не хочу розути робичича» (разутого сына рабьего). Расправа Владимира над Рогволодом и двумя его сыновьями была не только вымещением обиды полукровки, но и установлением новых приоритетов.

С руса-славянина Владимира начинается отсчет нового полюдьё и новой Руси, на что отреагировал эпос обеих соучаствовавших культур: в скандинавских сагах нет следов Рюрика, Игоря и Святослава (или они скрыты за скандинавскими образами), зато конунг Вальдамар Старый олицетворяет Хольмгард (Новгород) и в целом Гарды; в русских былинах именно Владимир Красно Солнышко предстает «народным князем», причем нередко на «народных пирах» — в это время на Русь приходит собственно вейцла как княжий пир. Вместо викинга Свенельда главным воеводой становится славянин Добрыня (не исключено, правда, что и Добрыня был в каком-то колене дитя полюдьё), что отражается на этническом облике дружины и содержании понятия «русь».<sup>14</sup> С народным князем Владимиром в русской былинной традиции, помимо Добрыни Никитича, связаны герои «с печи» (Илья Муромец) и «от сохи» (Микула Селянинович).

<sup>14</sup> Исследователи неоднократно отмечали более «домашний» стиль княжения Владимира в сравнении с предшественниками, например: «С Владимира Св. самый характер княжеской власти изменяется: князь-дружинник осаживается, начинает все свое внимание обращать на управление» (Довнар-Запольский б/г:254; см. также: Фроянов 1996:194–201).

Владимир свободно владел двумя культурами, как двумя языками. Его княжение стало периодом многогранного синтеза скандинавской и славянской традиций — особенно на севере, в Верхней Руси, где Владимир набирал свою первую дружину, где связь руси и славян (словен) издавна больше напоминала родство, чем рабство. На юге, в Киеве, стык двух культур выглядел жестче и сложнее, особенно на фоне участия хазар и печенегов. Владимир настойчиво искал надэтническую идеологию, которая позволила бы ему подняться над обеими культурами, стать не полукнязем-получелядином, а правителем варягов и славян. С помощью уя Добрыни он предпринял попытки обновить старое язычество, а затем решился на «имперский» переворот — крещение. Как ни парадоксально, этот ход мог быть подсказан не с юга, откуда шло собственно христианство, а с севера, где в то время установилась «королевская мода» на крещение: за несколько лет до Владимира от немцев принял христианство датский конунг Харальд Синезубый, в то же время в Англии крестился норвежский конунг Олав Трюгтвасон, к христианству склонялся и шведский конунг Эйрик Победоносный. Для Руси христианство стало надэтнической идеологией, соподчинившей скандинавские и славянские традиции и позволившей Владимиру посредством новой идентичности на персональном и политическом уровне преодолеть конфликтную русо-славянскую двойственность. Православие потому столь прочно ассоциируется с исконной русской культурой, что оно стало объединяющей идеологией общности, которая родилась при Владимире Крестителе из смеси норманнов и славян.

### *Каприз княжны Ингигерд*

Внук Святослава и сын Владимира князь Ярослав (в скандинавских сагах конунг Ярицлейв) взял в жены дочь шведского короля Олава Шётконунга. Случилось это в 1019 г. (Назаренко 2001:495; Джаксон 2005). Отклонив попытки сватовства к Ингигерд норвежского конунга Олава Толстого (Святого), Олав Шётконунг принял послов из Гардов и подтвердил годичной давности обещание выдать Ингигерд за русского князя.

Олав конунг сказал об этом Ингигерд и заявил, что он хочет, чтобы она вышла замуж за Ярицлейва конунга. Она отвечает: «Если я выйду замуж за Ярицлейва конунга, то я хочу получить от него как вено все владения ярла Альдейгьюборга и сам Альдейгьюборг».

Послы из Гардарики согласились от имени своего конунга. Тогда Ингигерд сказала: «Если я поеду на восток в Гардарики, я возьму с собой из Швеции человека, который мне покажется наиболее подходящим для того, чтобы поехать со мной»... Тогда конунг спросил Ингигерд, кто же этот человек, которого она хочет взять с собой. Она отвечает: «Этот человек Рёгнвальд ярл сын Ульва, мой родич». Конунг говорит: «Не так я думал отплатить Рёгнвальду ярлу за измену своему конунгу, ведь он уехал в Норвегию с моей дочерью и отдал ее в наложницы толстяку<sup>15</sup>, хотя знал, что он наш злейший враг. Я его за это повешу этим же летом»... Уступая ее просьбам, конунг сказал, что он отпускает Рёгнвальда, и пусть он уезжает из Швеции и никогда не возвращается назад и не попадаетея ему на глаза, пока он, Олав, будет конунгом (Стурлусон 1980:234–235).

В брачном сговоре шведского короля и русского князя многие исследователи видят рост международного авторитета Руси. В действительности «норманнские браки — наименее иностранные для русской династии норманнского корня» (Сухотин 1938:179), и более международной была связь Святослава со славянкой Малушей, чем брак Ярослава с варяжкой Ингигерд. Нередко считается, что Альдейгъюборг, который запросила в вено шведская княжна, был окранным северным городком, игравшим в Гардах «служебную роль», и предсвадебный торг Ингигерд представляется скорее девичьим капризом, чем геополитикой.

Будучи пресноводным продолжением Балтийского моря, Ладожское озеро задолго до эпохи викингов входило в ареал северо-европейской культуры: находки на Победище относятся к «кругу культур боевых топоров» II тыс. до н. э. (Лебедев 2005:460). Не случайно движение викингов (или «предвикингов») в первую очередь достигло Ладоги. Норманны срубили городок *Aldeigjuborg* (Старая Ладога) на устье Волхова в середине VIII в. — за столетие до призвания Рюрика (862 г.) и за полвека до начала западной экспансии викингов (793 г.). Раскопки Ладоги показали, что первая судоремонтная мастерская была построена в 753 г., здесь же найден склад кузнечных и слесарных инструментов из Скандинавии, а также бронзовое навершие с изображением Одина в окружении воронов (Рябинин 1985:161–180).

<sup>15</sup> Дочь Олава Шётконунга Астрид (от вендки-наложницы) вопреки воле отца стала женой норвежского конунга Олава Толстого. «Брак уводом» с Астрид стал для Олава Толстого слабым утешением после оскорбительного отказа Олава Шётконунга выдать за него любимую дочь Ингигерд.



Старая Ладога возникла на перекрестке водных магистралей — там, где морской балтийский ход смыкается с речными путями. Этот морско-речной порт служил перевалочной базой, местом смены морских судов на речные, остановки (включая зимовку), хранения, ремонта и оснащения кораблей. Раскопанный археологами большой дом из разобранного корабельного дерева в слое рубежа VIII–IX вв. (Лебедев 2005:482) характеризует Ладогу как город судовых экипажей. Согласно скандинавским сагам, в Альдейгьюборге снаряжались большие морские суда для плавания по Балтике (Глазырина, Джаксон 1987:81, 87). Роль Старой Ладоги в контроле над навигацией определялась характером движения, предполагавшего дипломатию на всем пространстве морских и речных коммуникаций, сбор и экипировку ратей, снаряжение торговых партий. Порт был местом встреч, стратегическим штабом, от которого во многом зависели как персональные судьбы уходящих в рейд викингов, так и состояние всей сети путей.

Альдейгьюборг — ключ к Гардам со стороны Скандинавии не только в географическом, но и историческом смысле, поскольку с него и началась «Страна городов». *Aldeigja* — единственный город на Восточном пути, который упоминают скандинавские скальды, и в тех же висах впервые произносится имя *Gardar* (Джаксон 1991:108). Название *Aldeigjuborg* встречается в скандинавских сагах значительно чаще, чем имена других русских городов. Типично скандинавское *-borg*, в отличие от более поздних и специфичных для Восточного пути названий на *-gardr*, указывает на норманнские корни первого русского города. Не случайно самым торным был двусторонний путь в Швецию, на родину многих ладожан, проходивший по «озеру Нево» (Ладоге), реке Неве и «морю Варяжскому». По этому пути двигались в Гарды варяги, и Ладога развивалась как своего рода вторичная метрополия норманнов.

Со Старой Ладогой связано первое упоминание *руси* в рассказе о приходе Рюрика. В пудожском сказании сохранилось выражение «Всю Русь-Ладогу объехал молодец» (Разумова 1980:73), убеждающее в том, что изначально «именно Ладога исключительно и была русью» (Лебедев 2005:501). Многие исследователи считали Ладогу наиболее вероятной резиденцией известного по Бертинским анналам «хакана росов» 839 г., упомянутого в письме Людовика Немецкого «кагана норманнов» 871 г., известного арабам «хакана русов» конца IX — начала X в., живущего на лесистом острове

у озера. С Ладогой связана таинственная «русь», которая, по Лаврентьевской летописи (если это не ошибка переписчика), вместе с чудью, кривичами и словенами пригласила на княжение Рюрика в 862 г. Здесь, вероятно, появлялись в середине IX в. те «варяги из-за моря», что собирали дань с чуди, словен, кривичей, мери. В Ладогe первые (из известных по именам) вожди северорусских дружин, Рюрик и Олег, начинали свои действия на Восточном пути; возможно, именно Ладога была местом, где впервые «варязи и словени и прочи прозвашася Русью» (Мачинский, Мачинская 1988:48).

Судя по многообразию и размаху связей, Альдейгьюборг стоял в одном ряду с такими торгово-ремесленными центрами Скандинавии, как Хедебю и Рибе в Ютландии, Каупанг в Норвегии, Павикен на Готланде, Бирка в Швеции, Ральсвик, Волин и другие на юге Балтики (Носов 1990:207). Со времени возникновения поселения в Старой Ладогe там занимались обработкой янтаря и изготовлением янтарных бус. В 753–770 гг. кузнечно-ювелирная мастерская первых ладожан была прочно связана со Скандинавией. Около 780 г. в Ладогe появились первые клады арабского серебра; одновременно начали действовать судоремонтная и стекольная мастерские (Лебедев 2005:223–224). К XI в. в Гардах (вероятно, Ладогe) сложился свой стиль оснастки морских кораблей и изготовления оружия, отмеченный северными сказителями: «Скъёльдунг, ты ступил на корабль, обшитый в клинкер гибкими досками, и с гардской оснасткой»; «дубовый корабль казался великолепным из-за гардского оружия; люди пугались вооруженных воинов» (Джаксон 1991:96, 97).

Ладога была плавильным котлом этнических традиций. В раннем ее домостроительстве славяне представлены квадратными срубами с печью в углу, скандинавы — «большими домами» (Носов 1975:73–74). Кроме них, жителями Ладоги были колбяги (*kylfingr*) — «гибридное» финно-скандинавское сообщество, известное по Русской Правде, византийским, арабским и скандинавским источникам, а археологически представленное «приладожской курганный культурой» IX–XII вв. (Мачинский 1988:90–103). *Aldeigjuborg* вырос в земле финнов, о чем говорит имя: скандинавское *Aldeigja*, вероятно, произошло от финского *\*Alode-jogi* ‘Нижняя река’, а затем перешло в русское *Ладога*. Предполагается, что в той же последовательности (финны–норманны–славяне) происходило заселение края (Schramm 1986:396), хотя немало аргументов приведено в пользу

славянского или скандинавского первенства на Ладоге, прежде всего по датировке и этнической привязке ладожских «сопок».

Несколько десятилетий назад было принято, не вдаваясь в детали, датировать появление сопок на Волхове VI в., намеренно выводя их за пределы эпохи викингов. В последние годы нижние даты VI–VII вв. из обихода вышли, и исследователи дружно остановились на VIII–X вв. (В. Я. Конецкий, Г. С. Лебедев, Е. Н. Носов, В. П. Петренко, В. В. Седов и др.), а «первый курганный могильник с захоронениями выходцев из Скандинавии близ Старой Ладоги» относят к VIII–IX вв. (Назаренко 1970:191–201; 1979). Предполагается, что вокруг Ладоги в VIII в. сложилось археологическое единство, именуемое «культурой сопок», в которой можно усмотреть скандинавские, словенские и финские параллели. Эта культура вобрала в себя «заморские» погребальные традиции курганов шведской Уппсалы VI в. (Мачинский, Мачинская 1988), хотя есть основания полагать, что сопки Нижнего Поволховья сооружены за относительно короткий срок во второй половине IX — первой половине X в. (Кузьмин 1999:97–99).

Согласно наиболее убедительным интерпретациям, сопки представляли собой «монументальные земляные курганы-храмы», «центры сакрализованного пространства», утверждавшие *haugodal* (право курганных времен); на их вершинах совершались жертвоприношения, а на склонах или в основании насыпи — захоронения по обряду сожжения (Кузьмин 1999:95; Лебедев 2005:527). Вероятно, ладожские сопки — архитектура власти и колонизации, воссоздавшая «ландшафт метрополии» (образ норманнских королевских курганов). По аналогии со скандинавской традицией сопки могли быть местом сбора веча (тинга), суда конунга, а в целом служить символами власти варягов и рабочими инструментами этой власти.

Будучи норманнской колонией, Старая Ладога оказалась очагом распространения культуры скандинавов и их связей со словенами и финнами. Контакт славян, финнов и норманнов в Ладоге обычно рисуется как столкновение пришельцев и туземцев (роли меняются в зависимости от предпочтений авторов). Исследования последних лет, прежде всего археологии Ладоги и Рюрикова Городища, существенно изменили представления о природе и характере этих контактов. Складывается впечатление, что норманны не встретились со словенами и финнами на Волхове, а пришли вместе с ними с Балтики. Ладога предстает очередным узлом их давнего взаимодействия на обширном фенно-скандо-вендо-балтском пространстве.

Многие славянские элементы культуры, обнаруженные в Старой Ладогe (VIII в.) и на Рюриковом Городище (IX в.), находят параллели на западе — в археологии балтийских славян. Таковы наружные хлебные печи, керамика, двушипные наконечники стрел — «прямое археологическое свидетельство культурных связей поморских славян и населения истока р. Волхова» (Носов 1990:164, 166; см. также: Станкевич 1950:190–196; Седов 1970:71–72). Укрепления мысового городища Любша середины VIII в. в низовьях Волхова (напротив Старой Ладоги) выстроены в свойственной балтийским ободритам панцирной технике; в середине VIII в. «здесь осела популяция, связанная по происхождению с западными славянами» (Рябинин, Дубашинский 2002:202–203). Лингвистический анализ новгородских берестяных грамот показал связь по ряду изоглосс древненовгородского и западославянских, особенно северолехитских, диалектов (Янин, Зализняк 1985:217–218). Совпадения в новгородском и западославянском именослове, топонимике, составе монетных находок свидетельствуют об образовании основного массива населения русского Северо-Запада за счет притока славян из южной Прибалтики, а не с берегов Днепра (Янин 2004:11). Биоантропологические данные позволяют видеть в новгородских словенах «переселенцев с южного побережья Балтийского моря, впоследствии смешавшихся уже на новой территории их обитания с финно-угорским населением Приильменья» (Алексеева 1999:168–169). По мнению Й. Херрманна, балтийские славяне с берегов Финского залива «расселялись на восток по землям финно-угров, достигнув территорий Чудского, Ладожского, Онежского озер, и распространились далее на северо-восток» (Herrmann 1972:309–320; Херрман 1986:23–24). Верхнерусскую археологическую культуру VIII–X вв., сложившуюся во взаимодействии балтийских славян с балтами, финнами и скандинавами, можно рассматривать как часть единой «северославянской культурно-исторической зоны» (Лебедев 1985:44–48). При этом обособление северной группы восточных славян от южной в течение VIII–IX вв. нарастает, и верхнерусская культура обнаруживает столь существенные связи с культурами прибалтийских славян, что можно говорить даже не о миграции славян с берегов Балтики в район Новгорода и Ладоги, а о «постепенном развитии и распространении общих инноваций в пределах единой, непрерывной культурно-исторической области» (Кирпичников и др. 1986:200).

Движение на восток балтийских славян и норманнов началось в VIII в. Трудно сказать, кто был инициатором миграций и первым достиг Ладogi: Г. С. Лебедев допускает, что «к приходу норманнов словене могли уже “сидеть” на Любше» (Лебедев 2005:502). Этот сценарий заново будоражит старый спор между «норманистами и славянистами», хотя речь можно вести уже не о пресловутом славянстве Рюрика, а о соотношении ролей в долговременном взаимодействии и совместном движении норманнов и северных славян. Внешних толчков, которыми историки любят объяснять любые перемены как будто не отмечалось: Аварский каганат уже увядал, Франкская империя еще не расцвела; дремала и Скандинавия: до первых западных походов викингов оставалось полвека. Импульс экспансии на восток зародился, скорее всего, в самом балтийском сообществе норманнов и славян, и именно сочетание культур (деятельностных схем) скандинавов и славян стало генератором этого движения.

Славянские деятельностные схемы на севере и юге существенно различались мерой земледелия и, соответственно, подвижности. На юге земледельческая оседлость преобладала, тогда как на севере комплексная экономика предполагала широту сезонных миграций. Сохраняя экологическую цепкость и многообразие технологий адаптации, северные славяне легко перемещались, особенно в привычном природном окружении. Путь прокладывался двумя культурами, будто двумя ногами: норманны пробивали его войной, славяне — осваивали трудом; норманны умели побеждать, славяне — выживать; норманны контролировали магистрали, славяне — локальные ниши. Две культуры шли бок о бок, и не случайно длинные скандинавские дома и славянские печи стояли по соседству в Старой Ладогe. Походы норманнов на северо-востоке Европы без участия славян не породили бы колоний. Норманны были оружием, славяне — орудием колонизации, одни были сильны стремительностью, другие — основательностью. В Повести временных лет неразлучной парой во многих походах выступали русь и словене.

Совместные рейды возглавляли варяжские конунги и ярлы, привлекая славян, прежде всего словен, в качестве вспомогательного войска, как это делал, например, Олег в походах на Киев и Царьград. Константин Багрянородный определял статус отрядов славян словом *пактиот* (подчиненный союзник). Подчиненность не всегда воспринималась как ущемленность, особенно в ситуациях угроз

и рисков. Как сообщают «Франкские королевские анналы», в 808 г. датский конунг Готтрек захватил славянский город Рерик и принудительно переселил оттуда купцов в Sliastorp (порт на Шлее), выросший в торговый город Хедебю (Сойер 2002:255). Вряд ли речь идет о купцах-рабах (по роду деятельности купец — не слуга); это переселение могло быть своего рода контрактом между конунгом и торговцами, заинтересованными в определенной зависимости от сильной власти. Подобное отношение к воинам-варягам разделяли промысловики-земледельцы, для которых военная власть была фактором безопасности, особенно при колонизации новых территорий.

Неизбежным эффектом норманно-славянского альянса, прежде всего в колониях, было рождение полукровок, обладавших не то промежуточным, не то сдвоенным социокультурным статусом. На первый взгляд, персонаж «полукровка» — сомнительная фигура для серьезной истории. В антропологическом ракурсе, напротив, носитель двух культур-схем играет заметную роль, поскольку обладает расширенным адаптивно-деятельностным диапазоном и дополнительным стимулом к самоутверждению. Опыт Владимира Святославича на Руси, как и Вильгельма Завоевателя в Нормандии и Англии, убеждает в неординарной роли полукровок на поворотах истории.

Археологи и историки, глубоко, до сочувствия, погружающиеся в атмосферу древности, уходят от формальных характеристик к жизненным ситуациям, где открываются мальчишеские мечты, интимные страсти, личные переживания. Например, пытаясь понять распространение престижа викингов на севере Европы, А. А. Хлезов размышляет о подражании боевым скандинавским дружинам «жадной до воинских новшеств молодежи» из финнов, балтов и славян (Хлезов 2002:135). Еще удобнее подражать было тем, в чьих жилах текла смешанная кровь. Из славян наибольшей боевитостью отличались южнобалтийские ободриты и велеты-лютичи (см.: Нидерле 2001:121, 122), давние партнеры и соседи германцев, основательно связанные с ними перекрестными браками.

Г. С. Лебедев воссоздал теплую и живую сцену славяно-норманнских связей по мотивам баллады «Зимний ребенок» о грустной доле детей, рожденных в обстановке армейских зимних постоев. Представляя Старую Ладугу VIII–IX вв. таким же зимним пристанищем викингов, Лебедев рассуждал о «зимних детях», росших под славянским надзором деда-бабки и поджидавших отцов из варяжского «заморья»:

Эта юная «русь», маргинальная в местном социуме, подраставшая со славянским языком матери, пополняла контингенты торгово-военных дружин сначала в Ладоге, но в IX–XI вв. и во всех «трех центрах Руси», будь то Славийа, Куйаба или Арса; «дети зимних погостов» подрастали в сознании своего тождества «руси» конунгов, странствующей по морям, и легко сливались с этой «русью» княжеских дружин. По сути таким «зимним ребенком» остался в Ладоге Игорь, переданный Олегу; безотцовщиной вырастал осиротевший Святослав Игоревич; тот же маргинальный статус удержал, при жизни воинственного батюшки, Владимир Святославич (Лебедев 2005:503).

«Зимние дети» — плод той странной реальности, которая возникала вне основных событий и будто вне времени, наполняясь скорее праздностью, чем деятельностью — у кого «влюбленностью от безделья», у кого пылкими и глубокими чувствами. Мерцающий огонь в печи, снегопад за окном, сладость прикосновений, горечь прощальных слов... Какое значение все это имело для развития феодализма и становления государства? Или, наоборот, какое дело до феодализма было людям, мучимым нежностью и ревностью, или их детям, играющим в «варяги-разбойники»? Что думал о международных связях рус, когда за ним в Булгаре подсматривал багдадский гость Ибн Фадлан? (Кстати, благодаря этим наблюдениям становится ясно, что славяно-варяжские дети были не только зимними, но и всесезонными.) Не исключено, что не только в направленных действиях, но и в паузах бездействия рождались, вместе с детьми полевых романов, новые отношения, а сами эти дети становились деятельными фигурами, наделенными нестандартным набором свойств и умений. Многие значимые явления возникали не во взрослых сделках и договорах, а в детских забавах. Например, финское слово *ruotsi*, означавшее норманнов-мореходов, могло в Ладожском крае быть прозвищем варяжских мальчишек со стороны сверстников-финнов, а затем повзрослеть вместе с ними до названия народа и страны *Русь* — если иметь в виду, что именно в «ладожскую эпоху» это имя приобрело новый и, как выяснилось позднее, знаменательный смысл.

Образ Ладоги как места, где храбрые викинги встречались с красивыми славянками, не менее реалистичен, чем романтичен, однако действительность, как показывает археология, и в этом измерении была богаче. Благодаря участию в раскопках Старой Ладоги женщин археологические реалии предстали в неожидан-

ном свете. Г. Ф. Корзухина (1971), О. И. Давидан (1971), А. Стальсберг (1987) путем кропотливого изучения вещевого комплекса и погребений показали, что среди жителей Альдейгьюборга были как скандинавы, так и скандинавки, причем соотношение мужских и женских варяжских погребений на Руси и в Скандинавии примерно одинаково (Стальсберг 1999:158–163). Этот, на первый взгляд, ординарный факт привел к заключению о преобладании мирных контактов между скандинавами и славянами Ладоги (Давидан 1971:143).

Женский взгляд позволил по-новому отнестись к старой версии о неискоренимой агрессивности норманнов. Факт участия женщин существенно изменил представление о характере колонизации и облике Альдейгьюборга. Скандинавки, правда, известны и ратной доблестью, о чем говорят, например, подвиги героинь битвы при Бравалле и одетых в мужские доспехи женщин в сражении при Доростоле. Однако в Ладоге найдены не доспехи, а украшения и утварь. Присутствие женщин-скандинавок характеризует Альдейгьюборг как основательно обустроенную колонию. Варяжки рожали маленьких варягов уже не в Скандинавии, а в Гардах, и это было новое поколение викингов-ладожан.

По путям, шедшим в Ладогу, путешествовали в основном мужчины, за Ладогу сражались викинги-мужчины, но не раз, только стихали бои, судьбу города и окрестных владений вершила женская рука. От образа ладожской долгожительницы княгини Исерд веет спокойствием на фоне калейдоскопического мелькания конунгов Хергейра, Эйстейна, Хальвдана, Сигмунда и ярла Скули. Кроме них, в борьбе за Альдейгьюборг участвовали конунги Ингвар<sup>16</sup> и Стурлауг, ярлы Франмар и Эйрик.

В то время правил Альдейгьюборгом конунг по имени Хергейр; он был преклонного возраста. Его жену звали Исерд; она была дочерью конунга Хлёдвера из Гаутланда <...> Конунг Эйстейн со своим войском подошел теперь к Альдейгьюборгу; конунг Хергейр противостоял ему малой силой (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне, II; Глазырина 1996:51–53).

Хергейр пал в бою, и конунг Эйстейн, захвативший Ладогу, сделал предложение его вдове Исерд: «Ты выйдешь за меня замуж и

---

<sup>16</sup> Конунга Ингвара иногда соотносят с князем Игорем Рюриковичем, хотя, согласно саге, Ингвар погиб в бою с конунгом Стурлаугом, а не с древлянами (Сага о Стурлауге Трудолюбивом; Глазырина 1996:171).



отдашь все государство в мою власть». В дальнейшем сын Эйстейна конунг Хальвдан еще раз распорядился рукой и сердцем княгини Игерд. На этот раз она досталась союзнику Хальвдана ярлу Скули.

Тогда сказал Хальвдан: «Теперь так сложилось, что все эти земли подчинены мне. Поэтому я теперь разъясню вам, как я собираюсь распорядиться. Я отдам ярлу Скули королеву Игерд и то государство, которым она владеет здесь в Гардарики» (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне, XXIV; Глазырина 1996:85).

Несмотря на властный тон конунга, в его распоряжениях звучит убежденность в том, что не он и не ярл Скули, а именно Игерд владеет государством в Гардах. Бродячие конунги контролировали пути, на которых лежало государство, а городом, стоявшим на перекрестке этих путей, повелевала женщина. Не исключено, что во многих случаях жизнью гардов ведали не князья, уходившие в дальние рейды, а их жены: подобную роль в жизни Рюрикова Городища играла Ефанда, а в судьбе Киева — Ольга.

Альдейгьёборг был не совсем обычным городом. Он служил не местом уютной оседлости, а генератором и регулятором путей. Ошибочно мнение, будто всякая большая река — готовая магистраль. В путь ее превращали люди, строившие суда, ведавшие волоки, обустроивавшие гавани, а главное — знавшие, зачем все это нужно делать. Длинные пути, сходящиеся в Ладоге, предполагали дипломатию и даже политику контроля над всем пространством. Ладожане были не жителями маленького городка<sup>17</sup>, а держателями огромной паутины путей. По мнению исследователей (Янин 1956:103; Рыдзевская 1978:51, 64; Носов 1990:188–190; 1999:160), в VIII–IX вв. Ладога стала перевалочной базой викингов на перекрестке двух великих путей, Балто-Понтийского (по Днепру) и Балто-Каспийского (по Волге), причем волжский был освоен на полвека раньше днепровского. В Ладогу вел и третий, Балто-Беломорский, путь. В эпоху викингов через ладожский узел проходили речные дороги «из варяг» на юг «в греки», на восток «в арабы» и на север «в бьярмы».

Вряд ли Ладога была «фамильным владением первых Рюриковичей» (Кирпичников 1988:55). Вероятно, город достался Рюрику так же, как прежде и позднее он оказывался в руках конунгов и ярлов других скандинавских родов. Он оставался стратегическим центром северо-востока Европы даже на фоне расцветающего Нов-

<sup>17</sup> Численность населения Старой Ладоги в X в. достигала 2 тысяч (Лебедев 2005:484).

города (Hólmgarðr). Здесь и кроется разгадка чудачеств еще одной (после Исергд) вершительницы судьбы Ладоги — шведской королевы Ингигерд, ставшей женой конунга Ярицлейва (князя Ярослава Мудрого). Ей удалось получить в качестве свадебного дара то, что ее предки добывали мечом. Долгие годы Ладога служила не только ключом к Гардам, но и трамплином политических реваншей для целой плеяды конунгов: отсюда уходили в битвы за Норвегию Олав Трюггвасон, Олав Толстый (Святой) и Харальд Суровый; из Ладожской гавани отплывал на родину сын Олава Святого, воспитанник Ингигерд и Ярослава, юный норвежский король Магнус.

Призванный Ингигерд ладожский ярл Рёгнвальд и его сыновья оставили заметный след в истории Северной Европы по обе стороны скандинаво-ладожского морского хода. Один его сын, Стенкиль, стал королем Швеции после гибели сыновей Олава Шётконунга, другой, Ульв (в русской летописи Улеб), в то самое время, когда Ярослав «поча города ставити по Ръси», совершил поход на Железные Врата (вероятно, к Карским Воротам) (ПСРЛ 1917:116), прокладывая на восток Северный морской путь. Есть основания полагать, что сыновья Рёгнвальда стали родоначальниками «нескольких знатных новгородских фамилий, которые затем на протяжении ряда веков определяли самостоятельную политику Новгородской державы» (Мусин 2002:70–71); и у летописца были основания говорить: «людьє Новгородцы от рода варяжьска, преже бо беша словени».

### *Из варяг в арабы и греки*

Историографический стереотип, опирающийся на версию дунайского (южного) происхождения славян, звание Киева «матри градом русьским» и византийские истоки православия, настраивает на восприятие общего хода становления Руси в направлении с юга на север. Той же цели служит историографический конструкт «Киевская Русь» (вместо «Русь») и упорное неприятие норманнского участия, вплоть до причисления Рюрика и руси к славянам. «Антинорманизм» — явление историческое, но имеющее отношение не к древностям Руси, а к идеологии нового времени и особенно советской эпохи. Спор с этой доктриной априори бесплоден, поскольку она взывает не к фактам, а к некоему психологическому или идеологическому состоянию. Поэтому, минуя многие полемические сюжеты, я коснусь лишь тех, без которых антропология движения так же немыслима, как гидрография — без знания направления течения реки.

Принято считать, что Русь возникла на пути из варяг в греки и что этот путь лежал между Балтийским и Черным морями. Однако в летописи он называется не «из варяг в греки», а «из варяг в греки и из грек», и представляет собой сложную сеть водных дорог. По Лаврентьевскому списку, путь идет от Киева вверх по Днепру, затем волоком до Ловати, по Ловати в Ильмень озеро, по Волхову в Нево озеро (Ладогу), по Неве в море Варяжское (Балтийское), по морю до Рима, по морю до Царьграда, в Понт море (Черное), в Днепр до его истоков в Волковском лесу (на Валдае). Отсюда, с Валдая, расходятся пути на запад и восток: по Западной Двине «на полуночье» в море Варяжское, затем до Рима и «до племени Хамова» (южных стран); на восток по Волге в Булгарию, Хвалисы (Хорезм), в море Хвалиское (Каспийское) и «в жребий Симов» (восточные страны). Таким образом, северным краем пути было Варяжское (Балтийское) море, южным — Царьград и Рим, западным — морской ход вокруг Европы из Балтики в Рим (Атлантика), восточным — Каспий, Хорезм и «жребий Симов». Центром сплетения этой сложной сети оказывается Волковский лес (Валдай), куда трижды в своем описании возвращается летописец и откуда расходятся пути на все четыре стороны по рекам, текущим с Валдая: по Днепру — на юг, по рекам Ильменя — на север, по Волге — на восток, по Западной Двине — на запад.

Путь «из варяг в греки и из грек» выглядит путано (кроме троекратного возвращения на Валдай, летописец дважды попадает в Рим, на Балтику и Понт, направляется то вверх, то вниз по Днепру), и возникает ощущение, что монах не в ладах с навигацией или намеренно плетет лабиринт. Это искушает историков выровнять путь и отсечь от него «лишние детали». Даже профессионалы, осознающие, что исследуют в экспериментальном плавании лишь собственно Балто-Понтийский ход, указывают его точный замер — 2 700 км, количество дней путешествия — 90–110 (Лебедев 2005:535), чем невольно создают впечатление целостности и завершенности этого отрезка пути. Линейное восприятие пространства XX в. лишь отдаленно напоминает сетевую схему движения X в., в которой главным был охват «круга земного», а не линейный учет расстояния.

Некоторые исследователи, продолжая «правку», допускают даже подмену основного направления. Например, в восприятии Б. А. Рыбакова путь «из варяг в греки» лучше смотрится как путь «из грек в варяги». По его мнению, «восточнославянская государственность вызревала на юге, в богатой и плодородной лесостепной

полосе Среднего Поднепровья. Темп исторического развития здесь, на юге, был значительно более быстрым, чем на лесном и болотистом севере с его тощими песчаными почвами» (Рыбаков 1982:284, 294). В последние годы позиции южноцентризма пошатнулись под давлением новых археологических данных: «представления о новгородском севере как о политической периферии, изначально зависимой от Киева, далеки от действительности» (Макаров 2005:5). Сегодня принято рассматривать становление древнерусского государства как итог объединения двух государственных образований с центрами в Приильменье и Среднем Поднепровье (Носов 2002; Седов 1999; Янин 2004).

Ряд обстоятельств — направленность пути «из варяг», ранняя русь на Ладоге, Валдайский узел движения — еще определеннее связывает рождение Руси с севером. Немаловажную роль в этом сценарии играет факт относительно позднего включения Днепровского пути, в том числе киевского центра, в общую сеть движения. Решающим аргументом выступает археологическая хронология, свидетельствующая о том, что исходной точкой пути, главным перекрестком и старшим гардом в пространстве будущей Руси был Альдейгъборг (750-е гг.). Именно через Старую Ладогу в 760-е гг. в Северную Европу по Балто-Каспийскому пути пошел поток арабского серебра (Кирпичников и др. 1986:200–201; Носов 1999:160). Первой восточной торговой магистралью был путь из варяг в арабы, по которому вверх по Волге текло арабское серебро, вниз — рабы и пушнина.

К Черному морю варяги прошли, скорее всего, через Дон и Азовское море. Донской путь признается одним из древнейших в каспийско-азово-черноморском пространстве: наличие в Петергофском кладе (805 г.)<sup>18</sup> греческой надписи и рун, характерных для салтовской культуры Подонья, и скандинавских рун в волжских кладах (Угодичи 813 г., Элмед 821 г.) в сочетании с находками арабских монет и салтовских вещей в ранних горизонтах Ладоги свидетельствует об освоении ладожанами торговых путей по Дону и Волге в Черное и Каспийское моря к началу IX в. (Мачинский, Мачинская 1988:46). Г. Н. Вернадский (2000:270–271) полагал, что Донской путь был первым в движении скандинавов на восток.

<sup>18</sup> «Петергофский клад» (809–825 гг.), найденный на южном берегу Финского залива, может служить своего рода запечатленным мгновением этой международной торговли. На монетах сохранились граффити, где наряду со скандинавскими рунами представлены руны тюркские (хазарские) и даже греческий «автограф» византийского купца (Лебедев 2005:226, 425).

Страна Городов (Гардарики) в представлении историка обычно располагается от Новгорода до Киева. Между тем первая цепь гардов возникала не на Днепре, а по Волхову и Верхней Волге: Рюриково Городище (Приильменье), Городище (Белоозеро), Сарское городище (у оз. Неро), Михайловское и Тимерёво (под Ярославлем). Вещи скандинавского происхождения и клады восточных монет на Сарском городище датируются началом IX в., на Рюриковом городище и в Тимерёво — в пределах IX в. (Леонтьев 1981:141–150; 1996:68–192; Дубов 1982:124–187; Носов 1990:188–189). Укрепления и селения на Балто-Каспийском пути приурочены к порогам, водам и другим ключевым участкам водных магистралей.

Основательность гардов и внушительность могильников свидетельствуют о долговременности этих резиденций руси. Высокие курганы Михайловского, Тимерёвского, Петровского некрополей под Ярославлем IX–X вв. содержат скандинавские вещи, в том числе элементы «триады викингов» (мечи, весовые гирьки). Каждый десятый погребенный в ярославских могильниках — воин с мечом (рус)<sup>19</sup>. Как отмечает И. В. Дубов, это не какие-то «феодалы» или «бояре», а предводители скандинавских военно-торговых отрядов; следовательно, Михайловское и Тимерёво были полиэтническими торгово-ремесленными протогородскими центрами на Волжском пути (Дубов 1999:33).

Иногда верхневолжские гарды возникали на месте туземных селений; например, Сарское городище выросло из поселка мери. Летописная меря участвовала в призвании варягов и знала русь не понаслышке. Археология Сарского городища показывает, что варяги осваивали земли мери и до «официального призвания», причем усиление скандинавских и финских традиций происходило одновременно. В погребальном обряде заметно нарастание финских черт: деревянных «домиков мертвых» на кострищах, глиняных лап и колец, астрагалов бобра, круглодонной керамики, копоушек, бубенчиков (Кирпичников и др. 1986:208–210, 212, 215–216). Не исключено, что речь может идти о совместных миграциях в Поволжье руси и балтийских финнов.

<sup>19</sup> На основании подборки исторических свидетельств (Тацит, Саксон Грамматик, Прокопий Кесарийский, Маврикий Стратег, Ибн-Русте, Ал-Гардизи и др.) И. В. Дубов показал, что основу боевого арсенала финнов составляли луки и стрелы, славян — луки и стрелы, копьё, дротики и щиты, русов-скандинавов — мечи (Дубов 1999:26, 33).

Вместе с русью и балтийскими финнами в Ростовскую землю, Ярославское и Костромское Поволжье в IX в. двигались новгородские славяне (Седов 1977:151–154; 1982, карта 35; Дубов 1982:33–45; Кирпичников и др. 1986:216). «Земля мери (Ростов) была, по видимому, покорена или колонизована словенами», — полагал А. А. Шахматов (1904:66), указывая на наименование Ростово-Суздальского края в IV Новгородской летописи «Словенской землей». По мнению Е. Н. Носова, «балтийско-волжский путь ни в коей мере нельзя считать лишь путем скандинавов... Теми же путями, по которым восточное серебро доставлялось к истоку Волхова, в обратном направлении шли группы словенских колонистов в Волго-Окское междуречье» (Носов 1990:189). Как видно, колонизация Верхнего Поволжья проходила по той же схеме русо-финно-славянского движения, что и освоение Ладоги и Ильмена из Балтии: русь выступала военно-торговым ядром, славяне и финны — сподвижниками, заселявшими и осваивавшими локальные ниши.

Белозерская весь также значится в числе племен, призывавших варягов. Не случайно на Белоозере встал один из трех форпостов братьев-варягов. Археология подтверждает появление норманнов во второй половине IX в. на Белом озере — на городище Крутик (гард Синеуса<sup>20</sup>) в устье Шексны. Одновременно на южном берегу озера, в низменной местности, возникло славянское селение (Седов 1999:206, 208–209). В очередной раз русо-словенский альянс оказался механизмом колонизации. Белоозеро стало центром пушнодобычи и мехоторговли: в хозяйстве белозерской веси X в. пушная охота играла главную роль; на поселении Крутик кости бобра составляют 70 % остеологии; «пушнина, добывавшаяся в X в. на Белом озере, поступала на торжища, находившиеся в системе Великого Волжского пути» (Макаров 1990:117). Для Белоозера появление русов и славян означало включение в международную торговую сеть, что подтверждают находки бус старолadoжского типа VIII–X вв., фризских гребней и болгарской круговой керамики X в. (Голубева 1973:178). Для варягов «гард Синеуса» играл роль крупной пушной фактории, регулировавшей и мотивировавшей движение в арабы: пушноторговля, наряду с работоторговлей, стала «делом» русов на Нижней Волге и Каспии.

<sup>20</sup> Летописец Кирилло-Белозерского монастыря XVI в. приводит заимствованное из белозерских преданий свидетельство о том, что Синеус поселился на северном берегу Белого озера: «Синеус сиде у нас на Киснеме» (Шахматов 1904:53).

Расставив первые гарды по широтной линии Изборск–Ладога–Белоозеро, Рюрик установил контроль над Аустрвегом (Восточным путем), пренебрегая днепровским направлением, куда двинулись на вольный промысел Аскольд и Дир. Закрепившись на Волжском пути, русы прошли в Каспийское море, а по волго-донскому волоку — в Азовское. Их вторжения в Грецию и Амстриду в 840–865 гг., морские походы в Средиземноморье, от Севильи до Александрии (Станг 2000:34–37), могли осуществляться с «готского плацдарма» — Подонья и Меотиды (Приазовья), куда викинги добирались по Волге.

Балто-Каспийский путь был двусторонним, но контролировался с севера. Арабский географ Ибн Хаукаль сообщал, что мусульманские купцы не проникали севернее Булгара, тогда как русы углублялись далеко на юг в болгарские, хазарские и арабские земли. Иногда они оставляли свои корабли и двигались с товарами на верблюдах в Багдад, Балх, Мавераннахр к кочевьям токузов и в Китай (Заходер 1962:31–32; 1967:84–85). Согласно ал-Истахри (930–933 гг.), арабы избегали визитов к русам Арты, поскольку те «убивают всякого иноземца, вступившего на их землю. Они отправляются вниз по воде и ведут торг, но ничего не рассказывают про свои дела и товары и не допускают никого провожать их и вступать в их страну. Из Арты вывозят черных соболей и свинец» (Гаркави 1870:276–277). А. П. Новосельцев соотносил Арсу (Арту) с Сарским городищем на оз. Неро под Ростовом или с Белоозером (Новосельцев 1965:418–419; см. также: Дубов 1982:104–123).

Освоение Волжско-Каспийской магистрали и Волго-Дона-Азово-Черноморского хода в первой половине IX в. подготовило открытие Днепровского пути. Скорее всего, русы сначала обследовали его южный конец, пройдя с Дона по Черному морю до устья Днепра, а затем замкнули весь ход от Волховских порогов до Днепровских. Открытие прямого пути «в греки» пришлось на вторую половину IX в., когда возник варяжский форпост в Киеве. Не исключено, что экспедиция Аскольда и Дира была не авантюрой, а продуманной попыткой замкнуть Днепровский ход. Пока Волжская дорога была единственной, норманны были скованы в маневрах и предпочитали роль мирных купцов. Как только они установили контроль над всем Каспийско-Черноморским пространством, они тут же сменили приоритеты в «викингской триаде» и вместо весов достали мечи — на вторую половину IX в. пришелся военный натиск руси на южные

моря. Значимую роль в этой кампании сыграл форпост в Киеве. Неслучайно соседство дат: по свидетельству патриарха Фотия, в 860 г. русь на 200 или 360 кораблях угрожает Константинополю; в 862 г. Аскольд и Дир занимают Киев; в 864–884 гг. русы выходят в рейды по Каспию; в 866 г. Аскольд и Дир совершают поход «в греки». В дальнейшем натиск русов на южные моря усиливается: в 907 г. Олег на 2 000 судах громит греков и подступает к Константинополю; в 909 г. русы нападают на каспийский порт Абаскун<sup>21</sup> и уничтожают его торговый флот; в 910 г. они захватывают город Сари; в 913 г. на 500 кораблях идут по Волго-Донскому ходу из Черного моря в Каспийское и грабят прибрежные города и острова. Последний хазарский царь Иосиф писал единоверцу в Кордову, что только хазарам удастся сдерживать русов: «Если бы я оставил их на один час, они уничтожили бы всю страну измаильтян до Багдада». Вскоре и эта преграда рушится — в 965 г. Хазария повержена Святославом (см.: Гаркави 1870:130–133; Коковцов 1932:83–84, 102; Заходер 1962:24; Артамонов 2001:492–494, 497–499).

Таким образом, первоначально русь прошла к южным морям по Балто-Каспийскому пути, и первые гарды южнее Волхова появились на Волге. Не случайно арабские географы сообщали, что русы живут к востоку от славян (Заходер 1962:33), а некоторые исследователи допускали возможность существования на Средней Волге «докиевского» норманнского государства (Смирнов 1928:223–229). Открытие Днепровского хода ослабило значение Волжского, хотя не раз, по зову памяти, русы возвращались на Волгу. Князь Святослав первым делом послал свой клич «хочу на вы идти» на Оку и Волгу, где «налез» на вятичей, а затем разбил хазар. Ходил на Волгу и Владимир, но, одолев булгар, внял совету мудрого Добрыни: «Эти все в сапогах, дани давать не будут, пойдем искать лапотников».

За три века движения руси по Восточному пути (750–1050-е гг.) варяжские князья постоянно утверждали свою власть походами с севера на юг:

- (1) Рюрик, прибыв из-за моря, двинулся с севера (Ладogi) на юг (Ильмень).
- (2) Аскольд и Дир, отпросившись у Рюрика в Царьград, прошли с севера на юг и овладели селением под названием Киев.

---

<sup>21</sup> Порт Абаскун, игравший значительную роль в восточноевропейских связях, находился на восточной стороне Каспия. Он был «местом торгова всех, кто ведет торговлю по Хазарскому морю», «самым известным портом на Хазарском море» (Заходер 1962:13–15).



- (3) Олег походом с севера на юг захватил пространство от Ладоги до Киева.
- (4) Святослав в отрочестве княжил в Новгороде, затем отправился воевать на юг.
- (5) Владимир походом с севера на юг захватил власть, одолев братьев с помощью варягов.
- (6) Ярослав с помощью варягов трижды захватывал и утверждал свою власть походами с севера на юг.

На этом история создания Руси завершилась и началась история ее распада, так называемой «феодальной раздробленности». Во всех эпизодах Новгород «воссоединялся» с Киевом путем его военного захвата, причем все рейды проходили по одному сценарию с участием варяжской дружины. Как видно, на пути из варяг в греки власть шла с севера на юг: Новгород ни разу не был завоеван из Киева (если не считать погрома, учиненного во время крещения Добрыней и Путятой). Власть рождалась не там, где хорошо росло просо, а на «тощих песчаных почвах» (определение северной Руси Б. А. Рыбакова). Как подметил С. М. Соловьев, «в борьбе северных князей с южными варяги нанимались первыми, печенеги — вторыми, следовательно, первым помогала Европа, вторым — Азия... Печенеги ни разу не дали победы князьям, нанимавшим их» (Соловьев 1988:223). В числе других русских князей Владимир и Ярослав стали избранниками истории во многом благодаря опоре на Север. Показателен эпизод, когда воля Новгорода, а не князя решила исход очередного противостояния: в 1018 г. Ярослав, разбитый Болеславом, с четырьмя уцелевшими дружинниками бежал в Новгород и собрался было еще дальше «за море», но был остановлен новгородцами, собравшими деньги на варяжскую рать и порубившими княжьи ладьи со словами: «Хотим еще биться с Болеславом и Святополком».

Подобная «иерархия» севера и юга Руси перекликается с представлениями скандинавов, для которых, судя по частоте упоминаний в королевских сагах, первостепенное значение в Гардах имели два города — Ладога (Aldeigjuborg) и Новгород (Hólmgarðr). Лишь по два раза в том же корпусе источников названы Киев (Kænugarðr), Полоцк (Palteskia) и Суздаль (Suðrdalaríki) (Джаксон 1991:119, 145). Для Руси этот взгляд значим, поскольку именно варяжская позиция была определяющей на магистрали власти. Сила руси, генерируемая на севере, в Ладоге и Новгороде, долгое время сплавлялась по Волге, а затем прошла по Днепру, достигла степей и подавила мощь Хазарии и Дунайской Болгарии.

Движение руси с севера на юг сопровождалось созданием цепи колоний — подобий Ладоги — перевалочных баз, превращавшихся в гарды. На южном направлении ближайшей к Ладоге колонией стал Новгород (первоначально Рюриково Городище), отдаленной — Гнёздово. При сохранении исходной «ладожской схемы» каждый гард был очередным шагом адаптации: в отличие от морского порта Альдейгьюборга, Новгород был узлом речных магистралей, Гнёздово — волоков в верховьях крупных рек.

Археологический комплекс Гнёздово, включающий крупнейший в Восточной Европе варяжский некрополь и открытое поселение начала IX в. типа скандинавского вика, представляет ключевой гард на перекрестке Ловать-Волховского, Двинского и Днепровского путей.<sup>22</sup> Основательность скандинавской колонии в верховьях Днепра определяется двумя «ладожскими» признаками: могильником с «аристократическими» курганами (сожжениями в ладе) и значительной долей женщин-скандинавок. Сочетание локальных (металлообработка, судостроение) и магистральных (международная торговля, военное дело) функций, равно как устойчивый контакт пришлых скандинавов и местных кривичей, позволяет видеть в Гнёздове крупнейшее «гнездо» руси на пути из варяг в греки. Не случайно кривичи были участниками призвания Рюрика и союзниками Олега в его походе. В отличие от Ладоги, которая изначально была скандинавским форпостом в финской земле, Гнёздовский гард, наряду с Рюриковым городищем (ранним Новгородом), стал колыбелью новой славяноязычной верхнерусской культуры, знаком которой можно считать найденную в 1949 г. экспедицией Д. А. Авдусина (1952:320–321) в скандинавском погребении (кургане № 13) понтийскую амфору с кириллической надписью *гороуѣца* (горилка), которая датируется началом X в. Неподалеку, у д. Кислая в Днепро-Двинском междуречье, обнаружен самый ранний клад первой трети IX в. (825–833 гг.) — свидетельство древности гнёздовского перепутья (см.: Лебедев 2005:227, 481, 482).

<sup>22</sup> Верховья Ловати и ее притока Куньи системой коротких волоков связаны с Усвятскими озерами; речка Усвяча соединяет озера с Западной Двиной (Даугавой) выше Витебска и Полоцка, а напротив Усвячи в Двину впадает речка Каспля. Верховья Каспли двумя волоками связаны с мелкими притоками Днепра, впадающими в него у Гнёздова (в 12 км ниже Смоленска). От Гнёздова начинается непрерывный речной путь по Днепру мимо Киева к Черному морю (Лебедев 2005:538).

По расположению и окружению Гнёздово — летняя застава и зимнее убежище, «остров» викингов в кривичской глуши, на волоках, у начала дорог на север, восток, запад и юг. Гнёздово с окружающими поселениями (Каспля, Ковали, Велиж, Сураж) можно считать средой, где в течение долгих лет (судя по представительности некрополя) скандинавы превращались из «находников» в местных жителей, где рождалась и росла славяноязычная русь. Здесь, в кургане № 13, был похоронен по скандинавскому обряду воин, который, возможно, участвовал в походах Олега и Игоря и в числе трофеев не поленился прихватить с берегов Понта амфору с крепким напитком, пометив ее по-славянски «гороухша».

В Гнёздове традиции скандинавов и славян сплавились в синтетическую культуру и рождали новые традиции. Реконструируемый по материалам больших курганов ритуал был местной версией скандинавского погребения в ладье, до мелочей сходной с описанием похорон руса, которые наблюдал Ибн Фадлан на Волге в 922 г. На высокой (до 1 м) земляной платформе со специальным входом сооружали погребальный костер, на нем устанавливали ладью, в ней помещали тела мужчин в воинских доспехах и женщин в праздничных нарядах, затем все предавали огню, останки собирали в урны. В жертву приносили собак, а также баранов и козлов. Мечи и копья втыкали в землю и покрывали шлемом или щитом — это гнёздовская черта, неизвестная в Скандинавии. Исследователи полагают, что «родиной этого пышного и сложного обряда можно считать Гнёздово, а средой, которая его выработала, — дружины “русов”, в составе которых варяги утратили этническую самобытность» (Кирпичников и др. 1986:225–226). Пик развития Гнёздова, как и волжских гардов, пришелся на X в., а закат — на середину XI в., когда неподалеку от него поднялся славяно-русский Смоленск (Седов 1999:209).

Гнёздовский гард старше Киевского примерно на полвека: в верховьях Днепра варяги расположились в начале IX в., в среднем течении — во второй его половине. Прежде, в V–VIII вв., на Горах Киевских существовали разрозненные поселения, центральным из которых было городище на Старокиевской горе. Во второй половине IX в., в соответствии с летописными событиями, начался рост киевского посада на Подоле, а к концу века в Киевском некрополе появились традиционные для скандинавов большие курганы и погребения воинов с конем и оружием (Лебедев 2005:549, 561).

Два поколения (если считать поколение за четверть века) понадобилось варягам для продвижения от волховских порогов к днепровским, еще поколение — чтобы возвести курганы. Как резиденция варягов Киев сложился значительно позже верхнерусских (волховских, верхнеднепровских, верхневолжских) гардов и по возрасту никак не мог быть их «матерью», как бы завораживающе ни звучала известная метафора Олега. Киев обязан своим укрупнением Игорю, которого Олег оставлял на время походов и который был более удачлив в сидении, чем движении, а особенно Ольге, превратившей город в семейное гнездо и очаг христианства.

Киев расцветал, когда увядали многие «верхние» гарды — в X–XI вв. Археология второй половины X в. показывает резкое сокращение скандинавских вещей в Ярославском Поволжье (Кирпичников и др. 1986:212). В XI в. на Волхове и Волге по соседству с варяго-русскими гардами поднялись славяно-русские грады: рядом с Рюриковым городищем вырос Новгород, рядом с Сарским городищем — Ростов, на противоположной от городища Крутик стороне Белого озера — Белоозеро (Седов 1999:208–209). Так происходило и с недавно возникшими гардами: появившийся в середине X в. гард на Оке (Чаадаевское городище) уже в начале XI в. опустел, а соседний Муром быстро развивался (Пушкина 1988:162–169). В памятниках конца XI в. скандинавских следов почти нет, как и свидетельств международной торговли: «внешние связи ушли на второй план, норманнский этнический компонент утратил свои прежние роли, варяги превратились в простых наемников русских князей» (Седов 1999:210).

Святослава и Ярослава разделяет поколение, но за это время изменился ритм жизни князей, а *русь* остановилась и осела, превратившись в государство Русь. Ярославу не передалась легкая походка его деда. И дело не в том, что он был хромоног, а в том, что сменил порывистость на основательность, снискавшую ему прозвание «Мудрый». На Царьград Ярослав не ходил, «любил церковный устав» и книги, строил города и храмы, в том числе заложил в 1037 г. «город великий Киев» со златыми вратами и храмом Софии. Завоеваниям князь предпочитал матримониальную международную политику,<sup>23</sup> обычное право заменил писаной Русской Правдой, хотя строгий закон в Гардах, по отзывам знавших в этом

<sup>23</sup> Ярослав Мудрый вызывает восхищение историков обширностью международных брачных связей своего дома (см.: Джаксон 2005).

толк скандинавов, существовал и при Владимире.<sup>24</sup> Ярослав проиграл все сражения брату Мстиславу, и случилось это во многом по вине наемных варягов: в 1024 г. варяжский вождь Якун насилу унес ноги<sup>25</sup>, и выигравший сражение князь Мстислав недоумевал, обходя поле брани и видя поровну polegших варягов и славян-северян: «Кто сему не рад? Се лежит северянин, а се варяг, а своя дружина цела». Непобедимых варягов будто подменили: новгородцам пришлось нанимать их отряды трижды, тогда как прежде хватало одного визита заморской дружины. Правда, у Ярослава дважды гостил настоящий викинг — конунг Харальд Суровый, но он видел в русском князе по большей части хранителя сокровищ и отца обворожительной Эллисив. Вероятно, Харальд и Ингвар Путешественник, воевавший на Каспии в 1040-е гг., были последними из викингов, легко ходившими по пути из варяг в греки.

Реки как будто продолжали течь, но пути застывали, и первым замер самый ранний — Балто-Каспийский путь «из варяг в арабы». Исследователям видится целый набор объяснений спада экспансии норманнов в XI в.: ассимиляция варягов «в составе государственного аппарата в качестве наемной военной силы»; переориентация торговых связей на Днепр и другие водные магистрали Руси; сокращение поступлений арабского серебра по Волжскому пути с последних десятилетий X в.; замещение в денежном обращении арабских дирхемов западными денариями (за счет английского серебра, поступавшего из Британии в виде «датских денег» с 991 по 1018 гг.) (Кирпичников и др. 1986:216). В свою очередь «серебряный кризис» объясняется истощением рудников в начале XI в. (самая поздняя мусульманская монета, найденная в России, датирована 1015 г.), разработками Раммельсбергских рудников, дававших с 964 г. высококачественное

---

<sup>24</sup> Скандинавы известны пристрастием к закону — по шведской максиме *med logom skall land byggja* — «на праве страна строится» (Лебедев 2005:504). Тем примечательнее интонации саги об Олаве Трюгвасоне: «В Хольмгарде господствовал такой нерушимый мир, что, согласно закону, всякий, кто убил человека, не объявленного вне закона, должен быть убит» (Стурлусон 1980:100–101). Речь идет о княжении Владимира задолго до создания Русской Правды.

<sup>25</sup> Летописец отгенил неожиданное поражение странным портретом: «Акун слеп, и луда у него златом истыкана». М. Ларссон видит в Якуне шведского викинга Хокуна, о котором упоминает текст U16 на руническом камне Уппланда (Larsson 1990:118).

серебро для германского денария, а также ударами русов по Булгарии и Хазарии, после которых торговые потоки были переориентированы с Волжского пути на Днепровско-Волховский (Сойер 2002:171; Лебедев 2005:256). За упадком пути последовал международный по тем временам финансовый кризис, вызвавший крах торговых столиц севера Европы — шведской Бирки и датского Хедебю.

В поиске причин или виновников этих потрясений часто звучит имя Святослава, сокрушившего Хазарию, а заодно и всю волжскую торговлю: «дружины Святослава подрубили устои “серебряного моста”, связывавшего Север Европы с Востоком... Варяги, участвовавшие в походах Святослава, можно сказать, своими руками уничтожили основу процветания Бирки» (Лебедев 2005:574). Однако дело не в том, что неразумный русский князь одним набегом пресек двухвековую торговлю, и не в том, что у арабов кончилось серебро<sup>26</sup>. Путь умер потому, что иссякло породившее его движение, сменились схемы мотивов-действий.

Существенную роль в смене мотивации и остановке движения норманнов сыграло христианство (см.: ч. II, гл. 1), что хорошо иллюстрирует реакция изгнанного из Скандинавии норвежского конунга Олава Толстого на предложение Ярослава овладеть языческой Вулгарией на краю Гардов:

Ярицлейв конунг хорошо принял Олава конунга и предложил ему остаться у него и взять столько земли, сколько Олаву конунгу было надо для содержания его людей. Олав конунг принял приглашение и остался там... [Он] предавался глубоким раздумьям и размышлениям о том, как ему быть дальше. Ярицлейв конунг и его жена Ингигерд предлагали Олаву конунгу остаться у них и стать правителем страны, которая называется Вульгария. Она составляет часть Гардарики, и народ в ней некрещеный. Олав конунг стал обдумывать это предложение. Но когда он рассказал о нем своим людям, те стали его отговаривать от того, чтобы он остался в Гардарики, и убеждали его вернуться в Норвегию в свои владения (Сага об Олаве Святом 81, 87; Стурлусон 1980:335, 340).

Олав был на распутье — принять предложение Ярослава, податься в Иерусалим ко Гробу Господню или вернуться с реваншем в Норвегию. Он отверг «викингский проект» захвата языческой

---

<sup>26</sup> По свидетельству Ибн Хаукаля, после походов росов «прилив торговли» не уменьшился (см.: Заходер 1962:168).

Вулгарии<sup>27</sup> и предпочел пойти на Норвегию под знаменами христианства. Олав погиб в битве с бондами и посмертно стал зваться Святым.

На Руси сменился вектор движения: оно пошло в противоположную сторону, с юга на север. Его генератором стал Киев, а мотивационно-деятельностной основой — христианство как государственная идеология. Первые образцы этой схемы привезла из Византии Ольга; Владимир с Добрыней доставили их из Киева в Новгород; Ярослав возвел для них храм св. Софии. Дух язычника Святослава был изгнан из нелюбимого им Киева, христианство заменило собой викингскую «схему Одина» (в русском варианте Перуна), установив церкви на капищах, а символом единения провозгласив своего Бога.

Распространению христианства способствовал рост славяно-русских градов, возникших по соседству с варяго-русскими гардами. В отличие от гардов, служивших станциями на пути, грады стали очагами оседлости. Так называемая феодальная раздробленность, приписываемая не то дурному нраву знати, не то законам всемирно-исторического развития, была следствием остановки движения: варяги осели, и замер путь «из варяг» — динамичная прежде Русь распалась на статичные локальные княжества. Русским князьям оставалось строить в своих уделах церкви, возводить крепостные стены и с опаской следить за передвижениями степных кочевников, будто ожидая пришествия новой магистральной культуры.

---

<sup>27</sup> Вулгария (Vúlgaría, Valgaria, Vvlgaria, Wlgar/i/a) обычно отождествляется с Волжской Булгарией (Metzenthin 1941:121; Hollander 1964:483). Правда, в российской историографии со времен Н. М. Карамзина на это принято возражать, что в 1029 г. Булгария не была частью Руси, и Ярослав не мог предлагать Олаву чужие владения; возможно, дополняет Т. Н. Джаксон, речь идет о средневожских буртасах, находившихся в зависимости от Руси вплоть до монгольского нашествия (Джаксон 1991:119; 1994:200). Вероятно, Ярослав предлагал Олаву не Волжскую Булгарию (которая к тому времени была уже страной ислама), а пограничное с ней верхневожское пространство, где он основал город Ярославль. Впрочем в «проектном мышлении» варяжских князей любая соседняя страна могла рассматриваться как ожидающая захвата добыча. Поскольку Ярослав был должником норманнов, трижды утверждавших его на княжении в склоке с братьями, дружеская услуга норвежскому королю-изгою выглядела достойным отдарком (если не стремлением избавиться от беспокойного гостя, бывшего некогда женихом Ингигерд).

\*\*\*

Момент социокультурного триумфа «Киевской Руси» Ярослава Мудрого принято связывать с благотворным воздействием христианства и централизованной политики. На самом деле величие это было создано трехвековым движением руси и северных славян по балто-пonto-каспийским магистралям. Южная религия прошла по путям, проложенным и построенным северными язычниками, а когда единение в северном пути заменилось единением в южном боге, Русь начала распадаться. Княжества, охваченные киевским влиянием, стремительно мельчали; например, Владимиро-Суздальская земля после смерти Всеволода Большое Гнездо разделилась на 5 удельных княжеств, при его внуках — на 12, при праправнуках — на 100. Единственным очагом, сохранявшим и развивавшим магистральность, была Новгородская земля, которая не только не утратила целостности, но и расширила свои пределы за счет военно-торговой колонизации: к XIII в. новгородские владения простирались от Ботнии на западе до Урала на востоке и от Арктики на севере до Верхней Волги на юге.

Это обстоятельство обычно замалчивается историками, корящими новгородцев за сепаратизм, а их бояр — за своекорыстие. В действительности до появления монголов на Руси только новгородская (верхнерусская, северорусская) культура, наследница варяго-русской культуры, обладала магистральностью. Альянс русо-скандинавов и славян (словен и кривичей) сложился в длительном взаимодействии, начавшемся с совместного движения от Балтики к Волхову в VIII в. и продолжавшемся до последних варяжских походов XI в. Это взаимодействие, сопровождавшееся смешанными браками и обоюдными заимствованиями мотивационно-деятельностных схем, породило качественно новую культуру, вобравшую в себя скандинавскую магистральность и славянскую локальность. Переход Рюрика через Волховские пороги из Ладоги в Новгород (Городище) имел эпохальные последствия, поскольку привел к возникновению речной магистральной славяно-русской культуры на основе морской скандинавской и лесной славянской. Механизм социальных мим-адаптаций преобразил скандинавский тинг в русское вече, норманнский лангскип — в новгородский ушкуй, длинный варяжский дом — в северорусские хоромы, торговую хватку викингов — в купеческий стиль новгородцев. Сходным образом славянские традиции в языке, промыслах, ремесле, искусстве,



экологических знаниях, преобразовавшись, стали достоянием верхнерусской культуры. Переплетению скандинавской вольности и славянского антикняжеского протеста новгородская культура обязана особой схемой регулирования власти: на юге князь был господином города, на севере он служил городу по призыву и найму; на юге князь владел землей, на севере он был безземельным.

Новгородские ушкуйники унаследовали военно-разбойный стиль викингов, но перенесли его с моря на реку: северорусская культура принадлежала уже не морским, а речным людям (хотя поморы сохранили морские привязанности норманнов). Если Ладога была восточной гаванью «морских кочевников», то Новгород стал столицей «речных кочевников». Расцвет Новгорода и северорусской культуры был обусловлен динамикой нордизма, ярко проявившейся в разбоях ушкуйников, путешествиях купцов и создании сети колоний на пространствах Севера, Урала и Сибири. Преобразованные викингские мотивы, став новгородскими, приобрели вид культа богатства (Садко), добычи женщин (Хотен Блудович), дружинных походов и разбойного буйства (Василий Буслаев). Позднее норд-русский стиль движения выразился в деятельностной схеме поморов с их вечевым нравом и тягой к охвату больших пространств, торгово-промысловой предприимчивостью и поразительной адаптивностью (сочетание роскошных хором и походных веж), протяженными и длительными плаваниями по Северному морскому пути от Атлантики до Пацифики.

### Глава 3. Кочевники Арктики

*Путь Оттара. Бьярмия (Крайняя земля).  
Гандвик (Колдовской залив). Недарма (дорога).  
Китобои Берингии*

Циркумполярная область, включающая Арктику (тундру) и Субарктику (бореальные леса), с древности делилась на пять этнокультурных ареалов — нордический палеогерманский на севере Европы, палеоуральский на севере Восточной Европы и Урала, восточносибирско-палеоазиатский на северо-востоке Азии, палеоэскимосский в Арктике от Берингоморья до Гренландии и палеоиндейский в лесной полосе Северной Америки. Устойчивость этих ареалов предопределялась системами внутренних связей и миграций, в свою очередь обусловленных экологией и традиционными деятельностными схемами. Все культуры Севера обладали высокой адаптивностью и подвижностью, унаследованной от предков — охотников-мигрантов каменного века, освоивших в плейстоцене и голоцене Евразию от Скандинавии до Чукотки, перешедших по Берингову мосту в Новый Свет и достигших в своей экспансии 76° с. ш. в Евразии (сумнагинская культура, о. Жохова, Новосибирский архипелаг) и 83° с. ш. в Гренландии (культура индепенденс на Земле Пири). Вместе с тем они различались характером адаптаций и миграций: нордическая и эскимосская традиции опирались на ресурсы моря и мореходство, материковые лесные и тундровые культуры — на промысловый потенциал внутренних территорий и транспортную сеть рек–водоразделов–высокогорий. Контакты с южными соседями не ограничивались технологическими заимствованиями: иногда они приобретали вид встречного воздействия или экспансии, например в случаях заселения Америки, походов на Европу северных германцев или военно-промысловых миграций таежных охотников на юг Сибири.

Стратегии адаптации различались по опорным биоресурсам и способам их освоения. Каждая из культур Севера — морская зверобойная, тундровая оленная или таежная охотничье-рыболовная — по-своему вторила поведенческим циклам промысловых видов: эскимосы сезонно перемещались в зависимости от миграций китов, моржей и тюленей; северные самодийцы, саамы и чукчи — вслед за кочующими стадами оленей; таежные угры, кеты, алгонкины и атапаски — с учетом сложного переплетения биоритмов лесных зверей, рыб и птиц. В языке ненцев от одного корня происходят

слова «жизнь» и «дикий олень», в языке восточногренландских эскимосов — «жизнь» и «лов морского зверя».

Переменчивая Арктика с бурными сезонными миграциями зверей и птиц ставила своих обитателей в более жесткие условия, чем укрытая лесами Субарктика с устойчивым многообразием биоценоза. Если экосистема тайги позволяла бореальным промысловикам жить в равновесии с природой, исповедуя охранительно-сберегающие установки, то экосистема тундры вынуждала арктических охотников вести хищническую добычу. Этими же обстоятельствами отчасти объясняются резкие миграционные подвижки, а также решительные перестройки адаптивных стратегий, в том числе «оленьеводческая революция» середины II тыс. на севере Евразии (см.: Крупник 1989; Головнёв 2004).

Северные культуры приспосабливались не только к колебаниям климата и миграциям промысловых зверей, но и друг к другу, причем одни выступали в роли локальных, осваивавших местные природные ресурсы, другие были магистральными, охватывавшими большие пространства и связывавшими ряд локальных культур и сообществ. На соподчинении местных промысловых общин посредством торговли, войны и дипломатии строились стратегии колонизации викингов, эскимосов-туле, северных пермیان, тундровых самодийцев, кочевых якутов. В качестве примера движения в Арктике можно рассмотреть деятельностьную схему халогаландца Оттара, которому иногда приписывается открытие Северного морского пути в конце IX в.

### *Путь Оттара*

Археология показывает заметное оживление северных берегов Норвегии в эпоху викингов (Hofstra, Samplonius 1995:243). Халогаландский норманн Оттар (Ohthere, Ottar)<sup>1</sup> знаменит путешествием по Северному морскому пути около 880 г., известие о котором включено королем Уэссекса Альфредом Великим (849–899) в английский перевод «Истории против язычников» Павла Орозия.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Имя *Ohthere* (англосаксонский вариант древнеисландского *Ottar*) означает «наводящий ужас на войско» (см.: Матузова 1979:28).

<sup>2</sup> Павел Орозий (Orosius Paulus, ум. в 417 г.), испанский священник, автор «Истории против язычников» (*Historiarum adversus paganos*), написанной приблизительно в 410–417 гг. На английский язык «Историю» перевел англосаксонский король Альфред Великий в 890–893 гг., включив в нее ряд дополнительных, в том числе «Плавание» (*Periplus*) халогаландца Оттара (Alfred 1855).

Рассказ Оттара содержит этногеографические сведения и передает особый ракурс мировидения, присущий северным викингам.<sup>3</sup>

Оттар рассказал своему господину<sup>4</sup>, королю Альфреду, что он жил севернее всех норманнов. Он сказал, что жил в северной земле у Западного моря<sup>5</sup>. Впрочем, сказал он, земля есть и дальше на север, но вся она пустынна, только изредка тут и там встречаются стоянки финнов, охотящихся зимой и рыбачащих летом у моря. Он рассказал, что однажды захотелось ему узнать, как далеко эта земля уходит на север и живет ли кто-нибудь к северу от пустыни.

Он взял курс на север вдоль берега; в течение трех дней по правому борту оставалась пустынная земля, по левому — открытое море. Затем он достиг северного предела плаваний китобоев. Затем он продолжил путь дальше на север, пока мог плыть в течение еще трех дней. Затем земля повернула на восток или море вдалось в землю — он точно не знал; знал только, что там он ждал ветра с запада и чуть с севера; затем взял курс на восток вдоль берега, пока мог плыть в течение четырех дней. Затем он вынужден был ждать ветра прямо с севера, поскольку земля там повернула на юг или море вдалось в землю — он точно не знал. Затем он двинулся на юг вдоль берега, пока мог плыть в течение пяти дней. Затем большая река развеедила землю. Затем он вошел в эту реку, не решившись пересечь ее из опасения вражды, поскольку земля на другом берегу была вся заселена.

Он не встречал сколько-нибудь заселенной земли с той поры, как покинул свой дом; на всем пути земля по правому борту была пустынна, если не считать рыбаков, птицеловов и охотников — все это были финны, а по левому борту всегда было открытое море. Бьярмы заселили свою землю очень основательно, и он не решился высадиться там. <...> Бьярмы рассказали ему много историй о своей земле и других окрестных землях, но он не знал, насколько они правдивы, поскольку сам этих земель не видел. Финны и бьярмы, как ему показалось, говорили на одном языке.

Главная цель его путешествия была достигнута; помимо обследования земли, его интересовали коне-киты<sup>6</sup>, обладающие очень кра-

<sup>3</sup> Предлагаемый русский перевод выполнен мной на основе сопоставления староанглийского оригинала и ряда версий его переложения на современный английский язык (Alfred 1855; Nakluyt 1902; см. также: Матузова 1979).

<sup>4</sup> В обращении Оттара к Альфреду «господин» (*hlaforde* 'lord') нередко усматривается служебная или гражданская (в качестве поселенца) зависимость. Возможно его толкование и как отношения гостя к «хозяину»; кроме того, не следует упускать из виду, что редактором текста был король Альфред, расстававшийся нужные ему статусные акценты.

<sup>5</sup> *Westsæ* — Норвежское море.

<sup>6</sup> *Horshwælum* (horse-whale) — морж.

сивой костью зубов (он привез сколько-то этого зуба королю), и их кожа хороша для корабельных канатов. Этот кит намного меньше других китов — в длину не более семи элей<sup>7</sup>. Однако лучший китобойный промысел — в его стране: там киты длиной в сорок восемь элей, а самые крупные в пятьдесят элей. Он рассказал, что вшестером<sup>8</sup> они однажды добыли шестьдесят китов за два дня.

Он очень богат тем, в чем состоит их богатство, — охотничьей добычей<sup>9</sup>. У него, кроме того, было шестьсот прирученных животных, которых он не покупал. Их называют оленями; среди них есть шесть оленей-манщиков, которые очень ценятся у финнов, так как с их помощью они ловят диких оленей<sup>10</sup>.

Он был в числе первых людей этой страны, хотя у него было не более двадцати коров, двадцати овец и двадцати свиней, а ту малость, что он пахал, он пахал на лошадях.

Их главный доход составляет дань, которую платят им финны. Эта дань состоит из звериных шкур, птичьего пера, китовой кости и корабельных канатов, сделанных из кожи китов<sup>11</sup> и тюленей. Каждый платит по его знатности. Самый знатный должен платить пятнадцать кунных шкурок, пять оленей, одну медвежью шкуру, десять мер пера, шубу из шкуры медведя или выдры, а также два корабельных каната, каждый длиной в шестьдесят элей, один — из китовой кожи, другой — из тюленьей.

Он также рассказал, что земля норманнов очень длинная и очень узкая. Все, что на ней годится под пастбище или пашню, расположено у моря, и то местами весьма кочковато; к востоку за удобными землями тянутся дикие горы<sup>12</sup>. В тех горах живут финны, а удобная земля шире на востоке и постепенно сужается к северу. На востоке она может быть шириной в шестьдесят миль или чуть больше, в средней части — в тридцать миль или шире, а к северу, по его словам, она совсем узкая, в три мили шириной до гор. А горы местами так широки, что их можно пересечь за две недели, а местами — за шесть дней.

С юга параллельно этой земле, по другую сторону гор, лежит земля свеев<sup>13</sup>, тянущаяся на север; к северу от той земли находится земля

<sup>7</sup> *El, ell* (брит. 'эль, локоть') — мера длины, равная 114 см.

<sup>8</sup> Вероятно, на шести судах.

<sup>9</sup> *Wildrum* — букв. 'дичь', 'дикие звери'.

<sup>10</sup> Олени — *hranas*, олени-манщики — *staelhranas*, дикие олени — *wildan hranas*.

<sup>11</sup> Подразумевается «коне-кит» — морж.

<sup>12</sup> *Mor, moor* — букв. 'промысловая территория'. В рассказе Оттара речь идет о Скандинавских горах.

<sup>13</sup> *Sweoland* — Швеция.

квенов<sup>14</sup>. Иногда квены нападают через горы на норманнов, иногда норманны на них. Среди гор есть очень большие пресные озера; квены перетаскивают свои лодки по суше в эти озера и оттуда нападают на норманнов; у них очень маленькие и очень легкие лодки.

Оттар рассказал, что область, где он живет, называется Халогаланд<sup>15</sup>. Дальше на север, по его словам, нет постоянных жителей. На юге страны есть порт, называемый Скирингсаль<sup>16</sup>. Туда, по его словам, не добраться морем за месяц, если ложиться на ночь в дрейф, даже при ежедневном попутном ветре, и на всем пути следует держаться берега. По правому борту первой идет Ираланд, затем острова между Ираланд и этой страной. Эта страна продолжается вплоть до Скирингсали, и на протяжении всего пути Норвегия остается по левому борту. К югу от Скирингсали большое море вдается в землю; оно так широко, что не хватает человеческого глаза<sup>17</sup>. Напротив лежит Готланд<sup>18</sup>, далее Зеландия. Море здесь уходит внутрь земли на много сот миль.

От Скирингсали, по его словам, он плыл пять дней до порта, называемого Хэдум<sup>19</sup>, который расположен между вендами, саксами и англами, а принадлежит данам. Когда он шел туда из Скирингсали, в течение трех дней Дания оставалась по левому борту и открытое море — по правому; затем, за два дня до прихода в Хэдум, по правому борту были видны Готланд, Зеландия и много островов. На всех этих землях жили англ, прежде чем они пришли в эту страну.<sup>20</sup> По левому борту на протяжении двух дней лежали острова, принадлежащие Дании.

В основе рассказа итинерарий — своего рода бортовой журнал, отчетливо, как на карте, запечатленный в памяти морехода. Норманн видит мир с корабля — по правому борту (*steorbord*) и по левому (*bæcbord*). Наблюдение соответствует движению корабля и воспроизводит его ритм: время в пути при попутном ветре и ночном дрейфе, отметки поворотов береговой линии, паузы ожидания попутного ветра, параллельное описание суши и моря по борту. Даже если бы эти подробности совершенно не интересовали короля Аль-

<sup>14</sup> *Cwenas* — финноязычные обитатели севера Скандинавии.

<sup>15</sup> Халогаланд — северная область Норвегии.

<sup>16</sup> *Sciringesheal* — вероятно, торговый город Каупанг на западе Осло-фьорда.

<sup>17</sup> Пролив Скагеррак, отделяющий Норвегию от Дании.

<sup>18</sup> *Gotland* — в данном случае Ютландия.

<sup>19</sup> *Hæfum* — Хедебю, торговый город на юге Ютландии.

<sup>20</sup> Англию.

фреда, Оттар не сумел бы рассказать иначе — навигация образует смысловой ряд языка морехода.

Столь же определенно выражены приоритеты путешествия: поиск неизведанной земли на севере и добыча морского зверя. Речь идет о привлекательных для норманна ресурсах суши и моря. Оттар четко различает «пустынную землю» (*weste land*) и «освоенную землю» (*gebun land*), хотя обе населены людьми. Бродячие промысловики «пустыни» не волнуют воображение норманна, зато открывшаяся за «большой рекой» (вероятно, горлом Белого моря) «освоенная земля» бьярмов сразу его будоражит — Оттар настороженно и дипломатично медлит с высадкой на бьярмийский берег. Столь контрастное отношение к финнам и бьярмам напоминает поведение хищника, безразличного к мелкой дичи и вдруг почуявшего крупную добычу: «опасение вражды» в данном случае означает не столько страх за свою жизнь, сколько боязнь спугнуть удачу. Оттар достиг цели: вскоре он уже внимает рассказам бьярмов об окрестных землях и, судя по подаренным Альфреду образцам моржового клыка, торгует или охотится в их владениях.

Тревога Оттара при виде Бьярмни могла быть вызвана еще одним обстоятельством, о котором рассказчик умолчал. В те годы норвежские викинги стремительно осваивали порубежные земли, и многие оставались в колониях, не спеша возвращаться в подчиненную конунгом Харальдом Прекрасноволосым Норвегию. Одним из направлений движения, наряду с исландско-гренландским и британско-нормандским, был Восточный путь. На рубеже IX–X вв. Бьярмия была ареной соперничества викингов Норвегии, Швеции, Дании, Руси (см.: Головнёв 2002а), и Оттар, ступая на ее берег, рисковал оказаться заложником норманнских счетов.

Вторая цель его путешествия — добыча морского зверя — подчинена первой, иначе бы он не пересек северного рубежа плаваний китобоев. Его интересуют не просто киты (их с избытком в норвежских водах), а бьярмийские «коне-киты» — моржи, замечательные своими клыками и кожей. Только мореход знает истинную цену — цену жизни — крепким корабельным канатам из кожи моржа, и только он пускается за ними в опасное дальнейшее плавание. Оттар разъясняет не ведающему тонкостей зверобойного промысла Альфреду разницу в размерах китов и «коне-китов», уточняет длину входящих в финскую дань корабельных канатов

из моржовой и тюленьей кожи, не упуская случая прихвастнуть о добыче шестидесяти китов за два дня. При характеристике квенов корабел со знанием дела отмечает, что их лодки очень маленькие и легкие.

Если пристрастие норманна к кораблям и морской охоте понятно, то его внимание к оленям на первый взгляд экстравагантно. Оттар обстоятельно повествует о финской дани и о численности (шестьсот голов) своего стада, посвящает короля в тонкости обозначения обычных ручных оленей и ценимых финнами оленей-манщиков. Не известно, насколько другие халогаландцы разделяли пристрастия Оттара, но ясно, что в IX в. среди норманнов северной Скандинавии были оленеводы. Скорее всего, Оттар нанимал для окарауливания своего стада пастухов-финнов, хотя в свободное от прочих дел время мог пробовать если не пасти своих оленей, то ездить на нарте или охотиться с манщиком на диких оленей. Стадо в шестьсот голов, вероятно, копилось годами из дани и предназначалось не столько для кухни, сколько для зимних военно-налогово-торговых экспедиций, в которые Оттар мог ежегодно снаряжать до десятка купцов-дружинников с проводниками и товарами. Не исключено, что езда на оленях не только имела транспортно-хозяйственное значение, но и означала включенность в арктическую межплеменную дипломатию.

Оттар богат промыслами и данью, но в его фермерском хозяйстве есть место для коров, овец и свиней (по двадцать голов), а «малость» пашни он обрабатывает на лошадях. Как и в случае с оленями, вряд ли он сам доит коров, стрижет овец и ходит за плугом. Все эти виды занятий оборачиваются для него контролем над наемными работниками, составлявшими второй, вслед за кругом родни, круг его «человеческого капитала». Третий круг включает данников и торговых партнеров, в том числе финнов (саамов). Судя по регламентации подати и ее соотношению с иерархичной этикой (знатный платит больше), даннические узы устойчивы и предполагают взаимную ответственность. Вероятно, по отношению к третьему кругу «человеческого капитала» Оттар выступает блюстителем порядка и поставщиком товаров. За тремя кругами внутренних связей выстраиваются орбиты внешних отношений, включающие контакты-конфликты с норманнами других областей, торговую дипломатию в Бьярмии, визиты на крупнейшие ярмарки Скандинавии (Каупанг и Хедебю) и к англосаксонскому королю.



Географически деятельность халогаландского норманна простирается от Бьярмии до Англии, а функционально включает навигацию, морской промысел, земледелие, животноводство (в том числе коневодство и оленеводство), торговлю, сбор дани, управление, дипломатию и регулирование межэтнических отношений различных уровней — от охотника-финна до английского короля. Его движение, связанное с управлением «человеческим капиталом» на огромном пространстве, образует разветвленную социальную сеть, охватывающую разнообразные природные и культурные ресурсы. Создание этой сети предполагает прокладку путей и контроль над ними по схеме «социального паука». Множество индивидуальных сетей образует гигантскую паутину, оплетающую «круг земной». Возможно, в рамках своей культуры Оттар положил начало новому социальному типу — арктических мореходов-торговцев. В эпоху викингов арктическая навигация и северная торговля достигли невиданного размаха и расцвета. Развитию арктического пути способствовала прокладка параллельных морских (летних) и сухопутных (зимних) коммуникаций, что и выразилось в деятельностной схеме морехода-коневода-оленевода Оттара.

### *Бьярмия (Крайняя Земля)*

Недостатка в толкованиях итинерария Оттара нет. А. М. Тальгрэн отметил, что в ходе всего путешествия Оттар не терял из виду по правому борту берег и, следовательно, шел вдоль Кольского полуострова; «река, у устья которой закончилось его путешествие... должна быть где-то на Кольском полуострове; он не пересекал открытое море» (Tallgren 1931:101). Если «большая река», в устье которой вошел корабль Оттара, была Варзугой (или Стрельной) (Ahlenius 1898:46–47; Белов 1956:30; Матузова 1979:24–25, 30–31; Джаксон 1991:132), то земля бьярмов находилась на юге Колы, у Кандалакшской губы Белого моря. Комментируя наблюдение Тальгрена, Г. В. Глазырина отмечает, что выражение «большая река» (*an micel eá*) могло означать Горло Белого моря (англосаксонское слово *eá* имеет широкое поле значений: «водный поток», «течение», «река»). Следовательно, Оттар мог лишь войти в Белое море, не углубляясь до Кандалакшской губы, и остановиться где-то на юге Колы, например, на Терском берегу Белого моря (Глазырина 1996:38–40). К. Ф. Тиандер видел в «большой реке» Северную Двину при ее впадении в Двинский залив Белого моря, а местом

расселения бьярмов считал, соответственно, правобережье Северной Двины (Тиандер 1906:55; см. также: Свердлов 1973:46–48).

В исландских сагах есть несколько сюжетов, позволяющих соотнести Бьярмию (Bjarmaland) с рекой Виной (Vína): битва Эйрика Кровавая Секира по Саге об Эгиле; битва Харальда Серая Шкура по вие скальда Глума Гейрасона, «Красивой коже» и «Хеймскрингле»; ограбление капища бьярмийского бога Йомали по Саге об Олаве Святом, Саге о Хальви, Саге о Боси, Саге о Стурлауге, Саге об Одде Стреле (Metzenthin 1941:11). Название Vína в древнескандинавском языке обычно относилось к Северной Двине (фин. Viena). Правда, Т. Н. Джаксон считает повторяющееся в рассказах о Бьярмии упоминание реки Vína нововведением исландского скальда Глума Гейрасона (Glúmr Geirason), которому стали вторить другие сказители; между тем в скальдике слово Vína выступает иногда метафорическим обозначением реки вообще (Джаксон 1991:134–135).

Наряду с «большой рекой», ориентиром в поисках местоположения Бьярмии служит Арктический океан. В ряде средневековых географических описаний Бьярмия рисуется северной приморской землей. «История Норвегии» (Historia Norwegiæ, ок. 1200) упоминает мореходов, унесенных на пути из Исландии в Норвегию в северный морозный край (plaga brumalis), к земле, что лежит между Гренландией и Бьярмией. Северный океан представлялся автору «северным заливом» — sinus Septentrionalis. Исландский географический трактат конца XII в. «Описание Земли I» рисует Гренландию и Бьярмию землями, соединенными друг с другом на далеком севере.

Рядом с Данмарком находится Малая Свитьод, затем Эланд, затем Готланд, затем Хельсингаланд, затем Вермаланд, затем два Квеланда, и они лежат к северу от Бьярмаланда. От Бьярмаланда идут земли, не населенные северными народами, до самого Гренланда (Мельникова 1986:79).

Подобное представление сохранялось в средневековой географии Европы до конца XVI в. Правда, картографы избегали наносить контуры предполагаемой границы Гренландии и Бьярмии. Так, например, выглядит «Морская карта» 1539 г. Олауса Магнуса, на которой Бьярмия помещена на Кольском полуострове. На западе она граничит со Скрисфиннией, на юге — с Лапландией, восточные же ее очертания прерываются рамкой «Морской карты».

И в «Истории северных народов»<sup>21</sup> Олаус Магнус описывает Бьярмию как страну без определенных границ:

Бьярмия — северная область, зенитом которой служит сам Северный полюс, а ее горизонт составляет равноденный и равнонощный круг, который, разрезая и разделяя Зодиак на две равные части, делает так, что половина года составляет там один день, а другая — ночь; таким образом, год в этой стране длится один естественный день (Савельева 1983:46).

Путь в Бьярмию Оттара, Хаука и других норвежских мореходов начинался из Халогаланда и проходил вдоль берегов Финнмарка. В «Описании Земли I» сказано: «К северу от Норвегии — Финнмарк. Там земля поворачивает на северо-восток и дальше на восток, пока не доходит до Бьярмаланда» (Мельникова 1986:81, примеч. 17). Этот «финский» путь вел в Бьярмию с севера.

Существовал и восточный, «шведский», путь из Скандинавии в Бьярмию. В «Пряди о Хауке Длинные Чулки» рассказывается, что шведский конунг Эйрик, прослышав о рейде Хаука в Бьярмию, поспешил послать туда своего викинга Бьёрна, который прошел в Бьярмию через Восточное (Балтийское) море<sup>22</sup> (см.: Тиандер 1906). В Саге о Хервёр и конунге Хейдреке упоминается берсерк Арнгрим, совершивший поход Восточным путем (*Austrvegr*) в Бьярмаланд (Глазырина 1996:41). О восточном пути повествует и Саксон Грамматик в IX книге «Истории данов»: узнав о подготовке данов к восточному походу, бьярмы вознесли к небесам магические заклинания, вследствие чего выход кораблей в море был задержан бешеными грозами, затем даны мучились от жгучей жары, и, наконец, многих унесла болезнь (Saxo 1979:286). К тому же времени, вероятно, относятся сюжеты Саги о Стурлауге Трудолюбивом. Первый поход Стурлауга в Бьярмаланд начался в норвежской области Наумдаль и проходил по северному морскому пути к устью реки Vîna (Северная Двина).

<sup>21</sup> Большую часть сведений о Бьярмии Олаус Магнус, очевидно, почерпнул из «Истории данов» Саксона Грамматика, напечатанной в Париже в 1514 г. Западноевропейские картографы XVI в. Меркатор и Ортелиус вслед за Олаусом Магнусом помещали Бьярмию (Биармию) в центральной части Кольского полуострова (см.: Савельева 1983:45–46). Примечательно, что за минувшие со времени викингов четыре века европейцы ни на шаг не продвинулись в познании Севера Евразии.

<sup>22</sup> Балтийское море называлось Эйстрасальт (*Eystrasalt*, где *eystri* — сравнительная степень прилагательного *austr* — ‘восточный’, *salt* — ‘море’) — ‘Более Восточное море’ (Глазырина 1996:96).

Готовятся они отплыть и продвигаются вдоль фьорда. Аки сказал: «Я думаю, что никогда прежде мне не был нужен попутный ветер так, как сейчас». Тут тотчас подул попутный ветер, и плыли они до тех пор, пока не приплыли к Бьярмаланду и дальше по реке Вине (Глазырина 1996:153, 184).

Получив титул конунга и «большое государство» в Свиарики (Швеции), Стурлауг совершил второй поход в Бьярмию. На сей раз его путь, скорее всего, лежал по Балтийскому морю в Финский залив, по Неве — в Ладожское озеро и оттуда в Бьярмию. Примечательно, что в рассказе об этом рейде не упомянута река *Vina*, которая в описаниях походов в Бьярмию по северному морскому пути обычно является конечным пунктом.

Одним летом объявляет Стурлауг о том, что хочет отправиться в Бьярмаланд. Собирает он тогда большое войско... Сжигают и палят они все [в Бьярмаланде], что могут, и совершают одно злодеяние за другим. Раундольв, конунг бьярмов, узнал об этом и собирает тотчас войско, но было у него, однако, мало людей. И тотчас, как они встретились, завязалась у них тяжелейшая битва и жесточайшие бои... А закончилась эта битва тем, что там пал конунг Раундольв, а с ним и много воинов. А после этого великого деяния подчинил себе Стурлауг весь Бьярмаланд (Глазырина 1996:157–159, 187).

В Бьярмии на рубеже IX–X вв. замкнулось кольцо северо-восточных путей норманнов. Вероятно, в те годы викинги окончательно выяснили, что, отправляясь на север, огибая Нордкап и следуя вдоль берега Колы, они оказываются в «восточной» стране Бьярмии. В драпе (поэме) о Харальде Серая Шкура (*Gráfeldardrára*, ок. 970) скальда Глума Гейрасона Бьярмия отнесена уже к востоку:

Покоритель королей, дерзновенный в словах, окрасил кровью свой меч на востоке (*austr*), к северу от горящего селения, где я видел бегущих бьярмов; учредитель договоров среди людей стяжал славу в этом походе, юный конунг, в битве на берегу Двины (Ross 1981:29).

Путь из варяг в бьярмы представлял собой северное кольцо, по которому шло движение северных викингов. Последние вояжи норманнов в Бьярмию проходили по северному кольцу через Гандвик и Балтику. Исландские анналы под 1222 г. и Сага о Хаконе Хаконарсоне (ок. 1265) повествуют о поездке в Бьярмию норвежского купца Хельги Богрангссона (северным путем). Хельги остался в Бьярмии на зимовку, а один из его спутников по имени Эгмунд отправился на юг в Гардарики и добрался до Суздальской

земли (Sudrgalaríri). Здесь его настигла весть о расправе бьярмов над Хельги. Эгмунд вернулся в Норвегию через Новгород (восточным путем). С целью мести за Хельги в Бьярмию совершили рейд Андрес Ремень Щита и Ивар из Утвика (северным путем). Оканчивая рассказ, исландский книжник отметил, что отныне поездки норманнов в Бьярмию прекратились (Джаксон 1991:137; Hofstra, Samplonius 1995:243–244; Глазырина 1996:37–38).

Викинги с легкостью преодолевали огромные расстояния по морям. У речных порогов и волоков морские кочевники останавливались, меняли морские суда на речные, создавали перевалочные базы и зимовья. Для прохода по северному кольцу мореплавателю должен был часть пути, от Балтики до Гандвика, преодолеть на речном судне, пройти на лыжах или проехать на саних (нарте, кережке). По восточному пути викинги могли дойти на морских судах из Балтики по Неве до Ладоги. По северному пути они из Гандвика входили в Двинский залив и устье Двины. Для дальнейшего движения в обоих случаях им приходилось строить речные суда и делить дружины, оставляя часть людей стеречь корабли. От Ладоги к Двине вели пути через Онегу и Белоозеро.

В устье Двины викинги могли бросить якорь у мыса среди «островов Вины», как повествует Сага об Одде Стреле; К. Ф. Тиандер полагал, что «такой мыс имеется на том месте, где теперь г. Архангельск, именно Пур-Наволоок» (1906:117, примеч. 2). Они могли пройти вверх по Двине, если собирались зимовать в Бьярмии, как купец Хельги. Торжище бьярмов (kaupstaðr), посещенное Ториром Хундом и его спутниками (по Саге об Олаве Святом), нередко соотносится с местом, где позднее вырос северорусский город Холмогоры (Brøgger 1928:32). По мнению К. Ф. Тиандера, двинский «Хольмгард» (Холмогоры) был скандинавской торговой колонией, пристанищем викингов, приезжавших к низовьям Двины (Тиандер 1906). На эту тему М. В. Ломоносов по-поморски размашисто набросал исторический эскиз:

Пермия, кою [северные авторы] Биярмиею называют, далече простиралась от Белого моря вверх, около Двины реки, и был народ чудский сильный, купечествовал дорогими звериными кожами с датчанами и с другими нормандцами. В Северную Двину-реку с моря входили морскими судами до некоторого купеческого города, где летом бывало многолюдное и славное торгoviще: без сомнения, где стоит город Холмогоры (Ломоносов 1952:195–196).

Археология пока не дает убедительного подтверждения существования постоянной перевалочной базы норманнов на Северной Двине. Очевидно, она уступала по масштабам Ладоге, которая в ту пору была политической столицей северного кольца. Особую роль Ладоги в освоении Севера подчеркивал А. Н. Насонов (1951:79–80). «Зерно исторической правды» в исландских описаниях пути «из северного Приладожья по Онеге и Северной Двине к Белому морю» (Альдейгьюборг–Бьярмаланд) заметила Е. А. Рыдзевская, допуская, правда, что путь этот был проложен не норманнами, а «карелами и новгородцами» (1945:64; 1978:85).

Викинги, проигравшие борьбу за Ладогу, нередко укрывались в Бьярмии, как это сделали противники ладожского конунга Хальвдана.

Ульвкелль Сниллинг в бою спасся бегством. Он добрался до берега с пятнадцатью воинами, но потерял все остальное войско. Он стал выяснять, где находился Ульв, его брат, и узнал, что он в Бьярмаланде. Отправился он тогда к нему. Харек звался тот конунг, который там правил; его дочь звали Эдню. Ульв посватался к ней, но конунг не хотел отдавать ее замуж; тогда Ульв начал грабить в его стране... И закончилось тем, что Ульв получил Эдню, и стали братья охранять Бьярмаланд (Сага о Хальвдане Эйстейнссоне, XV; Глазырина 1996:71).

В дальнейшем конунг Хальвдан в союзе с карелами совершил карательный поход на Бьярмию.

Вслед за тем был у Хальвдана тинг с жителями этой земли [Кирьялаботны], и решили так, что военный поход в Бьярмаланд должен состояться через месяц. Люди одобрили его и пришли в Бьярмаланд, и был ярл Скули там в походе. Там не было сильного сопротивления [со стороны бьярмов]. Подчинили они себе всю страну. Эдню, дочь Харека, Хальвдан взял в свою власть... После этого собирается Хальвдан оттуда домой в Альдейгьюборг. Всего он отсутствовал пять зим; там люди приветствовали его (Глазырина 1996:73, 83).

В Альдейгьюборге собрался тинг, на котором Хальвдан держал речь: «Я теперь имею в своей власти Бьярмаланд и Эдню, дочь конунга Харека. Это государство, а также девушку я отдаю Сигмунду, если они оба того пожелают». В «Пряди о Вале» сюжет дополняется фразой о возвращении героев «домой»: «Хальвдан и Сигмунд отправились теперь домой в Бьярмаланд, и остался Сигмунд там в своем государстве, а Хальвдан ушел в Норег, и о нем есть большая

сага» (Глазырина 1996:83–85, 89). Образ Бьярмии, связанной с Ладогой политическими и брачными узами, делает понятным сообщение «Гриплы» и «Описания Земли I» о том, что бьярмы платят дань конунгу Гардов: «Затем [земля] поворачивает на северо-восток и на восток, пока не доходит до Бьярмаланда, который платит дань Гардарики» (Мельникова 1986:81,158–159).

Неопределенность дальних пределов Бьярмии сочетается с представлением о нескольких Бьярмиях. Саксон Грамматик говорил о Дальней Бьярмии (*Biarmia ulterior*), в «Истории Норвегии» упомянуты «те и другие бьярмы»,<sup>23</sup> Олаус Магнус различал Ближнюю и Дальнюю Бьярмии. Высокие горы и вечные снега Ближней Бьярмии препятствуют проникновению европейцев в Дальнюю Бьярмию, которую населяют племена оленеводов, охотников и рыболовов (Савельева 1983:46–47). Версия о двух Бьярмиях,<sup>24</sup> по мнению Т. Н. Джаксон, помогает разобраться, например, в событиях Саги о Хальвдане Эйстейнссоне, когда в одном случае Бьярмаланд оказывается к югу от Белого моря, в другом — к северу (Джаксон 1991:132–134). При попытке наложить версию о двух Бьярмиях на географический контекст Саги о Хаконе Хаконарсоне возникает ощущение некоей третьей Бьярмии: к конунгу Хакону «пришло много бьярмов, которые бежали с востока от войны татар» (см.: Матузова 1979:31–32). Возможно, описываемые в саге события произошли около 1253 г. (Мельникова 1986:91, примеч. 26), а участниками их были карелы (Шаскольский 1945:39). Однако, принимая во внимание географию северной кампании Батыя, более реалистичным представляется исход беглецов из Ярославского Поволжья или Белоозера.

Восточная Прибалтика, Кольский полуостров, Карелия, Верхнее Поволжье, Подвинье, Прикамье, Волжская Булгария — неполная панорама гипотетически отводимых для Бьярмии областей Вос-

<sup>23</sup> Фраза из «Истории Норвегии» «Kiriali et Kwæni cornuti Finni ac utrique Biarmones» (Historia Norwegiæ 1880:75) переводится как «кирьялы и квены, рогатые финны, и те и другие бьярмы». Латинский синтаксис позволяет понять часть фразы о бьярмах и как продолжение перечня племен, и как пояснение к предыдущей части фразы. В последнем случае кьярьялы, квены и рогатые финны причисляются автором текста к бьярмам (Глазырина 1996:42).

<sup>24</sup> Картина симметричного расположения двух Бьярмий к югу и северу от Белого моря соответствует представлению о двух Квенландах в «Описании Земли I». Два Квенланда разделены Ботническим заливом Балтийского моря (квены назывались финны северного побережья Ботнического залива), а две Бьярмии — Белым морем и его Кандалакшским заливом (Джаксон 1991:133–134).

точной Европы. Давняя мечта исследователей нанести Бьярмию на карту едва ли исполнима. И дело не в том, что Альфред недопонял Оттара или запутались в деталях исландские сказители. Судя по всему, норманнам Бьярмия представлялась страной с одной границей, ближней, тогда как дальняя была размыта в необозримых северных и восточных просторах.

К. Ф. Тиандер и Д. В. Бубрих предложили не исключающие друг друга этимологии *Vjarmaland*: от древнескандинавского *\*berm-*, *\*barm-* (*\*Berema*, *\*Verma*) — «край», «борт», «береговая полоса» (Тиандер 1906:67) и от прибалтийско-финского *perä-maa* — «задняя земля», «земля за рубежом» (Бубрих 1947:28). Для норманнов и балтийских финнов «Бьярмия» — берег, край морского пути, где начиналась «Крайняя земля».

Бьярмия не упоминается в русских летописях, за исключением Иоакимовской (Татищев 1962:108, 249). Вероятно, ладожане и новгородцы, унаследовавшие слово «Бьярмия» от скандинавов, придали ему славяно-русское звучание «Пермь» (Перемь, Перьмь). В самом раннем списке данников Верхней Руси она значится среди северных областей: Чюдь, Меря, Весь, Мурوما, Черемис, Мордва, Пермь, Печера, Ямь, Литва, Зимигола, Корсь, Нарова, Либь. По наблюдению В. Н. Татищева (1962:426), первое известие о Перми содержится в Степенной книге и датируется 967 г.

Две Перми окружали Беломорье. На юге Колы находилась известная по договорным грамотам Новгорода 1264 и 1304–1305 гг. волость Колоперемь (Голопърмь) — «Кольская Пермь» (Джаксон, Мачинский 1988:24–29; Мачинский, Мачинская 1988:55; Джаксон 1991:134). В Заволочье располагалась собственно Пермь; со временем ее восточная часть стала именоваться Пермью Вычегодской или Старой Пермью. В грамоте Великого Новгорода и тверского князя Ярослава Ярославича 1264 г. названы обе Перми: «А се волости новгородские: Бежиче, Городец, Мелечя, Шипино, Егна, Вологда, Заволочье, Колоперемь, Тре, Перемь, Югра, Печера...» (Грамоты 1949:9). С XIV в. в русских источниках (Троицкая летопись под 1321 г.) появляется третья Пермь с определениями Великая или Чусовая.

Если Кольская Пермь и Двинско-Вычегодская Пермь лежали на северных путях викингов, то едва ли им доводилось бывать на Чусовой. Впрочем неподалеку от Великой Перми проходил основанный норманнами с IX в. балто-волжский путь, и в Булгаре они



бойко торговали пленницами. Видимо, новгородцы продолжили норманнскую традицию наименования дальних восточных рубежей своих владений «Крайней землей»: по мере их продвижения к Уралу отступала на восток и «Пермь»; начался этот путь с Колы, а закончился на Каме; в той же последовательности прежние «крайние земли» — Колопермь, Старая Пермь — теряли свои устаревшие имена.

Звания прямых наследников бярмов обычно достаиваются карелы и коми (Ross 1954:337; Odner 1985:4). Их предки населяли западную и восточную окраины Бярмии. Между ними лежало Подвинье (Заволочье) — центральная Бярмия, или Двинская Пермь, превратившаяся вскоре в Русский Север. Приморские берега Бярмии, вероятно, населяли *лопь* (саамы) и *самоядь* (ненцы). Остается согласиться с авторами, соотносящими Бярмию с полиэтничным пространством Русского Севера<sup>25</sup>.

К. Вилкуна, сопоставив *bjarm-* с известным в восточно-финских диалектах словом *permi* (бродячий торговец), предположил, что странствующими купцами в IX–XIII вв. могли быть предки коми, подвизавшиеся в роли посредников на оживленных торговых путях между Скандинавией и Поволжьем (Vilkuna 1966:64–93). Эта версия заслуживает пристального внимания, правда не с точки зрения выяснения этимологии названия «Бярмия», а при толковании скандинаво-финно-пермского взаимодействия и истоков специфических черт культуры коми-зырян, заслуживших своей предприимчивостью прозвище «северные евреи». Очевидно, слово *бярм* приобрело у прибалтийских финнов значение «бродячий торговец» благодаря заметному участию жителей «Крайней земли» в международной торговле на путях «в арабы» и «в бярмы».

Истории и антропологии Севера долгое время мешал историографический образ кровожадного и корыстолюбивого викинга, эксплуатировавшего саамов, финнов и других мирных северян. Однако он заимствован из более поздней эпохи укрепления государственности в странах Скандинавии. По мнению П. Урбанчика, лишь после того как центральная власть преуспела в подавлении само-

<sup>25</sup> «Неопределенно широкое содержание названия Бярмаланд позволяет считать, что этноним бярмы не обозначает какое-то отдельное племя, но является общим термином, использовавшимся скандинавами по отношению к ряду народов Русского Севера» (Глазырина 1996:97); Бярмия охватывала «необъятное, богатое пушшиной лесное пространство от Урала до Белого моря» (Кирпичников и др. 1986:197).

стоятельности северных хёвдингов<sup>26</sup>, отношения между саамами и скандинавами испортились: «Экономическое сотрудничество и терпимость сменились администрированием и идеологической агрессией» (Urbanczyk 1992:196). Возможно, и описания норвежских походов за данью *skattr* (например, в Саге об Эгиле) несут отпечаток событий XIII в., когда скандинавы установили государственную повинность «финской дани» (*finnskatt*), а карелы часто нападали на государственных сборщиков пушнины (см.: Odner 1985:6; Hofstra, Samplonius 1995:242).

Реалии археологии и этнографии представляют иную фигуру норманна, начиная с Оттара, разводившего оленей и торговавшего с бьярмами. Раскопки погребального судна викингов в Северной Норвегии (Лекангере, к югу от Бодо), где известковые почвы обеспечили высокую сохранность скелета, показали, что захороненный человек обладал внешностью современного саама (Stenvik 1980:129). Лекангерский «викинг с саамским лицом», погребенный по элитному обряду в корабле, позволил по-новому взглянуть на нордический облик не только жителей Халогаланда, но и норвежского королевского дома, особенно в контексте сведений о женитьбе основателя династии норвежских королей Харальда Прекрасноволого на саамской девушке (см.: Hofstra, Samplonius 1995:242).

К. Однер (Odner 1981:28) пришел к заключению, что отношения между норманнами и саамами имели симбиотический характер сотрудничества и специализации, благодаря чему каждая группа занимала собственную экологическую нишу и к взаимной выгоде вносила свой вклад в общее производство. Эта система открыла доступ к ресурсам, которые в ином случае едва ли могли быть освоены. Норманны получали от саамов ценные меха и экспортировали их на юг, а саамы получали от норманнов зерно и металлические изделия, применявшиеся в промыслах.

Северные пути и освоение Арктики во все времена строились более на партнерстве, чем на вражде. Размах движения норманнов по северному кольцу связан не только с их военно-торговыми достоинствами, но и с успешной народной дипломатией — «психологической совместимостью» скандинавов, финнов и славян Скандзы, Гардов и Бьярми, основанной на многовековом соседстве, совместных походах по Арктике, межэтнических браках и диалоге северного язычества.

<sup>26</sup> *Höfðingi* — военачальник, представитель знати, рангом ниже конунга.

*Гандвик (Колдовской залив)*

Таинственное море, по которому шел путь из Норвегии на север, именовалось *Gandvík*. К. Ф. Тиандер (1906:73) полагал, что некогда так назывался весь Ледовитый океан, а со временем «понятие Гандвик стало суживаться». В «Описании Земли I» Гандвик дважды назван северной границей Норвегии (Мельникова 1986:78). В Саге об Олаве Святом говорится о том, что конунг Олав «подчинил себе всю Норвегию с востока от [Гаут]-Эльва и на север до Гандвика» (Джаксон 1991:88). Представление исландцев о Гандвике выражено в виле скальда Эйольва (Сага о Кнютлингах), сказанной в ответ на известие о намерении датского конунга Харальда Синезубого совершить набег на Исландию<sup>27</sup>:

Давайте будем сражаться сильно и окрасим оружие в красный цвет;  
здесь в старой туманной земле Гандвика мы будем готовы встретить  
сына Горма; возможно, будет тяжелая битва (Джаксон 1991:87).

В рассказах о Бьярмии Гандвик оказывается Белым морем, с чем связана спорная, но популярная этимология *Gandvík* от финского *Kantalahti* (Кандалакшская губа Белого моря), где финское *kanta* 'база' сочетается с финским *-lahti* или староскандинавским *-vík* 'залив' (Браун 1907:429; De Vries 1957–1961:155; Джаксон 1991:133, прим. 12; Hofstra, Samplonius 1995:238). Более убедительна этимология староскандинавского *Gandvík* от *gandr* 'колдовство' и *vík* 'залив' (Тиандер 1906:76; Cleasby, Vigfusson 1957:188). Возможно, и название «Бьярмаланд» содержит оттенок представления о «крайней земле» как границе с миром легенд (Глазырина 1996:43). Н. Лид полагает, что Дальняя Бьярмия Саксона Грамматика может означать мифическую, а не реальную страну (Lid 1951:58–66).

Северный путь окутан тайнами и мистикой, там начинаются земли, населенные колдунами-финнами, троллями и великанами. Описание битв в фьордах Скандинавии или городах Европы детально и реалистично, но стоит только норманнам переступить некий северный рубеж, и сказитель-хронист вмиг превращается в сказочника. В сагах о Хальвдане и Стурлауге приводится описание боев с финнами и бьярмами.

Сначала он [конунг Хальвдан] бросился туда, где распоряжался  
Флоки, конунг финнов. Этот конунг стрелял из лука сразу тремя

<sup>27</sup> Виса (Lausavísa) исландского скальда Эйольва, сына Вальгерда, сочинена около 976 г.

стрелами, и на каждой оказывалось по человеку. Хальвдан бросился на него и ударил мечом по луку, так что тот сломался, и отсек Флоки руку так, что она взлетела в воздух. Конунг подставил культю, и когда рука опять коснулась ее, то они тотчас срослись. Это увидел Фид, конунг финнов, и превратился в моржа. Он вспрыгнул на тех [людей], которые боролись против него, а было их пятнадцать человек, и задавил всех до смерти... Тогда превратился [конунг бьярмов] Харек в дракона и ударил Скули хвостом, и упал тот без сознания... Тогда подоспел Хальвдан и нанес удар дракону в шею, и это была его смерть.

Среди людей Франмара был один финн, которому выпало выйти против Свипуда. Они сошлись и стали бороться так сурово и энергично, что никто ничего не мог рассмотреть. Ни один из противников не поранил другого. А когда те, кто наблюдали за поединком, опять туда посмотрели, [то оказалось, что оба бойца] исчезли, но появились две собаки, злобно кусавшие друг друга. А когда все менее всего ожидали, собаки исчезли, и все люди слышали в воздухе сильный гул, и увидели люди, что в небе бьются два орла, терзая друг друга клювами так, что кровь капала на землю. И закончилось у них тем, что улетел один орел, а другой замертво упал на землю (Глазырина 1996:79–81, 141).

Королевские саги подчеркивают героический характер походов в Бьярмию. Халогаландец Оттар счел свой вояж в Бьярмию достойным рассказа англосаксонскому королю Альфреду Великому, а Альфред — уместным включение его подробного изложения в перевод сочинения Орозия. Рейдами в Бьярмию прославили себя конунги Норвегии Эйрик Кровавая Секира, Харальд Серая Шкура, Хакон Магнуссон (Воспитанник Торира). Исследователи заметили, что норманны посещали Гандвик после приобретения опыта плавания в других морях и путешествие в далекий Бьярмаланд рассматривалось как знак доблести и путь к славе конунга-викинга (Джаксон 1991:135; Hofstra, Samplonius 1995:241). Навигация в Белом море требовала особых навыков, особенно на обратном пути в Скандинавию, когда у Мурманского берега приходилось бороться с коварным течением. В Саге об Одде Стреле рассказывается, что после поездки героя к бьярмам встречавшие его викинги неизменно задавали вопрос: тот ли он Одд, который совершил поездку в Бьярмаланд? (Глазырина 1996:43). Викинги и их конунги один за другим шли на штурм Гандвика. Ушедший в Арктический океан рисковал стать жертвой Колдовского залива, но прошедший

его обретал сакральную силу Севера. По сложности и опасности арктический поход не уступал военной кампании и соответствовал королевскому статусу.

Объединитель Норвегии Харальд Прекрасноволосый не путешествовал на север, но готовил к арктическому походу своего наследника Эйрика Кровавая Секира. Сага очерчивает круг походов Эйрика в последовательности восток–юг–запад–север вплоть до Страны Бьярмов, «где произошла большая битва, в которой он одержал победу» (Стурлусон 1980:59). Бьярмия, которой он достиг в двадцатилетнем возрасте (ок. 915), оказалась пиком восхождения молодого конунга. Из северного похода Эйрик вернулся с заслуженной славой и женой-колдуньей. На обратном пути, в Финнмёрке, его люди нашли в хижине необыкновенной красоты женщину по имени Гуннхильд, дочь Эцура Рыло из Халогаланда.

«Я живу здесь для того, — говорит она, — чтобы научиться ведовству у двух финнов, которые здесь в лесу самые мудрые. Они сейчас ушли на охоту. Они оба хотят меня в жены. Оба они такие хитрые, что находят след, как собаки, и по талому, и по смерзшемуся следу, и они так хорошо ходят на лыжах, что ни человеку, ни зверю не убежать от них... А рассердятся они, то земля вертится под их взглядом, и попадается им на глаза что-либо живое, то сразу же падает замертво» (Стурлусон 1980:59–60).

По наущению Гуннхильд, людям Эйрика удалось убить колдунов и увезти красавицу на корабль конунга. Прибыв в Халогаланд, Эйрик с разрешения Эцура Рыло женился на Гуннхильд. Впоследствии ей, вдове Эйрика, мудрой и коварной Матери Конунгов, суждено было вершить судьбы престолонаследников Норвегии.<sup>28</sup>

По следам Эйрика отправился его старший сын Харальд Серая Шкура, пользовавшийся «наибольшим почетом».<sup>29</sup>

Харальд Серая Шкура поплыл одним летом со своим войском на север в Страну Бьярмов и совершал там набеги и дал большую битву бьярмам на берегах Вины. Харальд конунг одержал победу и перебил много народу. Он совершал набеги по всей стране и взял огромную добычу. Об этом говорит Глум сын Гейри:

<sup>28</sup> Многие исследователи предпочитают сведениям «Хеймскринглы» и Саги об Эгиле о халогаландских корнях Гуннхильд сообщение «Истории Норвегии» (Historia Norwegiæ) о том, что Гуннхильд была дочерью датского короля Горма (Hofstra, Samplonius 1995:240, 244).

<sup>29</sup> Морской поход Харальда в Бьярмию датируется приблизительно 965–970 гг.

Вождь наипервейший  
Задал жару бьярмам,  
В селенье на Вине  
Княжья сталь сверкала.  
Сей поход победный  
Державному славу  
Стяжал. Стойко княжич  
В метели стрел дрался (Стурлусон 1980:95).

Преемники Харальда в звании конунга Норвегии Олав Трюгтвасон и Олав Толстый (Святой) не искушали судьбу путешествиями в Бьярмию. Их славу составили южные и западные походы, где они, в Англии (Олав Трюгтвасон) и Нормандии (Олав Святой), приняли христианство. Однако Олаву Святому, истово крестившему норвежцев, довелось столкнуться с магией Севера в длительном конфликте с халогаландцем Ториром Хундом (*hundr* 'собака'). Рассказ о поездке викингов-торговцев в Бьярмию<sup>30</sup>, на первый взгляд, кажется чужеродным среди батальных сцен и придворных интриг Саги об Олаве Святом.

Ту зиму Олав конунг провел в Сарпсборге, и у него было там большое войско. Он послал Карли халогаландца на север страны. Карли сначала отправился в Упплэнд, потом двинулся на север через горы и добрался до Нидароса. Там он взял из конунгова добра столько, сколько тот ему разрешил, и выбрал себе корабль, подходящий для поездки, в которую его послал конунг, а именно — для поездки на север в Страну Бьярмов. Карли заключил с конунгом договор: каждому из них должна была достаться половина прибыли от этой поездки. Ранней весной Карли повел свой корабль на север в Халогаланд. С ним отправился и его брат Гуннстейн. Он тоже взял с собой товаров. На корабле у них было около двадцати пяти человек. Ранней весной они отправились на север в Финнмёрк (Стурлусон 1980:283).

Обстоятельность, с которой описываются приготовления и поездка торговцев, не свойственна королевским сагам. Очевидно, за торговым рейдом скрыт дополнительный мотив, выразителем которого выступает халогаландский викинг Торир Хунд.

Торир Собака, узнав об этом, послал своих людей к братьям. Он просил передать, что тоже хочет летом плыть в Страну Бьярмов и предлагает плыть вместе и добычу разделить поровну. Карли с бра-

<sup>30</sup> Поездка Торира, Карли и Гуннстейна в Бьярмию состоялась в 1026 г. (Джаксон 1994:21).

том велят передать Ториру, что у того должно быть двадцать пять человек, столько же, сколько у них... Когда гонцы Торира вернулись обратно, он уже спустил на воду большой боевой корабль и приказал готовить его к плаванию. Он взял с собой своих работников, и у него на корабле оказалось около восьмидесяти человек (Стурлусон 1980:283).

Главным событием поездки в Бьярмию оказывается не торговля с бьярмами, а ограбление святилища их бога Йомали (Jómali). Действия на капище Торира и Карли выглядят скорее состязанием соперников, чем совместной затеей. Бьярмийское святилище стало ареной схватки между северным викингем и людьми Олава конунга.

Когда торг кончился, они отправились вниз по реке Винне и объявили, что не будут больше соблюдать мир с местными жителями. Потом они вышли в море и стали держать совет. Торир спросил, не хотят ли они пристать к берегу и добыть себе еще добра... Торир говорит, что есть такой обычай, что, если умирает богатый человек, все его имущество делят между умершим и его наследниками. Мертвому достается половина или треть, но иногда еще меньше. Это сокровище относят в леса, иногда зарывают его в курганы. Иногда на этих местах потом строят дома...

Они оставили людей охранять корабли и сошли на берег. Сначала они шли по равнине, потом начались большие леса... Они вышли на большую поляну. Середина поляны была огорожена высоким частоколом. Ворота в нем были заперты. Каждую ночь этот частокол охраняли шесть местных жителей, меняясь по двое каждую треть ночи. Когда Торир и его люди подошли к частоколу, стражи ушли домой, а те, кто должен был их сменить, еще не пришли... Торир сказал: «Здесь внутри ограды есть курган. В нем золото и серебро перемешано с землей... В ограде стоит также бог бьярмов, который называется Йомали. Пусть никто не смеет его грабить». Они пошли к кургану и выкопали из него столько сокровищ, сколько могли унести в своих одеждах... Потом Торир сказал, что пора возвращаться обратно: «Вы, братья Карли и Гуннстейн, пойдете первыми, а я пойду сзади». Все побежали к воротам, а Торир вернулся к Йомали и взял серебряную чашу, которая стояла у него на коленях. Она была доверху наполнена серебряными монетами. Он насыпал серебро себе в полы одежды, поддел дужку чаши рукой и пошел к воротам.

Когда все уже вышли за ограду, обнаружилось, что Торира нет, Карли побежал назад за ним и встретил его у ворот. Тут Карли увидел у Торира серебряную чашу. Он побежал к Йомали и увидел, что на шее у того висит огромное ожерелье. Карли поднял секиру и рассек нитку, на которой оно держалось. Но удар был таким сильным, что

у Йомали голова слетела с плеч. При этом раздался такой грохот, что всем показался чудом. Карли взял ожерелье, и они бросились бежать. Как только раздался грохот, на поляну выскочили стражи и затрубили тревогу, и скоро норвежцы со всех сторон слышали звуки рога. Они побежали к лесу и скрылись в нем, а с поляны доносились крики и шум, туда сбежались бьярмы. Торир шел позади своих людей. Перед ним шли двое и несли мешок. Содержимое было похоже на золу. Торир брал из мешка эту золу и разбрасывал позади себя. Иногда он бросал ее вперед на своих людей. Так они вышли из леса в поле. Они слышали, что их преследует войско бьярмов с криками и страшным воем. Бьярмы выбежали из леса и бросились на них с двух сторон. Но им никак не удавалось подойти настолько близко, чтобы их оружие могло причинить норвежцам вред, и норвежцы тогда поняли, что те их не видят. Когда они подошли к кораблям, первыми на корабль сели Карли и его люди, потому что они шли впереди, а Торир далеко отстал и был еще на берегу... И вот и те и другие поплыли по Гандвику (Стурлусон 1989:284–285).

При дележе добычи Торир пронзил копьем Карли, причем мотивом убийства была не алчность, а месть. Интонация сказителя подсказывает, что Торир преднамеренно затеял эту авантюру для разжигания конфликта и сведения счетов с Карли. Отношение Торира к святилищу противоречиво: он инициировал грабеж и первым нарушил свой же запрет прикасаться к сокровищам Йомали, но при этом он выглядит чуть ли не жрецом языческого бога, тонко разбираясь в бьярмийских обрядах и по-хозяйски распоряжаясь на святилище. В эпизоде спасения от погони бьярмов Торир прибег к магии ослепления преследователей, разбросав вокруг себя взятую с капища священную золу. Тем самым он превзошел самих бьярмов в применении сакральной силы их божества. Убив Карли и отняв у него ожерелье Йомали, Торир открыто бросил вызов покровителю Карли конунгу Олаву.

Долгая прелюдия схватки Олава Святого и Торира Хунда — христианства и язычества — достигает кульминации в битве при Стиклас-тадире, где вернувшийся в страну конунг-изгой был встречен войском бондов во главе с Ториром Хундом. Примечательно, что перед сражением Торир совершил еще одну торговую поездку к финнам:

Торир Собака ездил две зимы в Финнмёрк. Он провел эти зимы в горах, много торговал с финнами и был в большом барыше. Он велел сделать себе двенадцать рубашек из оленьих шкур. Эти рубашки были заколдованы, так что никакое оружие не брало их. Они были даже лучше кольчуги (Стурлусон 1980:343).



Торир ездил в Финнмёрк торговать, а вернулся с двенадцатью заколдованными рубашками из оленьих шкур. В сражении с конунгом эти магические доспехи сыграли решающую роль:

В яви видел щедрый  
Вождь: волшба и силы  
Финнов ведовские  
Торира хранили.  
В руках у владыки  
Не сек клинок, стала  
Сталь тупа, затылка  
Пса едва коснувшись (Стурлусон 1980:363).

К тому времени конунг Олав уже стяжал славу чудотворца и крестителя, но его меч «не мог рассечь оленью шкуру» Торира. Зато копье Торира достигло цели:

Конунг сказал Бьёрну окольниковому: «Прибей Собаку, раз его не берет железо!» Бьёрн перевернул секиру и ударил Торира обухом. Он попал Ториру в плечо. Удар был очень силен, и Торир пошатнулся... Между тем Торир Собака вонзил копье Бьёрну окольниковому в грудь. Это была смертельная рана. Торир сказал: «Так мы бьем медведей». Тут Торстейн Корабельный Мастер нанес Олаву конунгу удар секирой. Удар пришелся по левой ноге выше колена. <...> Получив эту рану, конунг оперся о камень, выпустил меч и обратился к богу с мольбой о помощи. Тогда Торир Собака нанес ему удар копьем. Удар пришелся ниже кольчуги, и копье вонзилось в живот (Стурлусон 1980:363).

Симпатии сказителя мечутся между враждующими сторонами. Христианской святости Олава противостоит северная магия Торира. Символично, что смерть настигла конунга в тот момент, когда он «выпустил меч и обратился к богу с мольбой». Впрочем дуэль язычества и христианства обернулась посмертным примирением христианина Олава и язычника Торира.

Торир Собака пошел к телу Олава конунга и убрал его, как полагается. Он положил тело конунга на землю, распрямил его и накрыл. Он говорил потом, что когда он вытирал кровь с лица конунга, оно было прекрасно, и на щеках его играл румянец, как у спящего, но только ярче, чем при жизни. Кровь конунга попала на кисть Торира, на то место, где у него была рана, и ему не понадобилось ее перевязывать, так быстро она зажила. Торир сам рассказывал об этом чуде, когда святость Олава конунга стала явной для всех. Торир был первым из знатных людей в войске врагов конунга, кто признал святость конунга (Стурлусон 1980:364).

Торир оказывается первым посвященным «от мощей» конунга. Так выглядит версия сращения северной магии и христианской святости. В этом эпизоде саги становится понятно, зачем так подробно были описаны «торговые» поездки Торира к бьярмам и финнам — Олава одолел не викинг с острова Бьяркей, а носитель колдовской силы Севера.

В скандинавских описаниях капища бога Йомали<sup>31</sup> ощутим диалог северного язычества, в который посвящены как бьярмы, так и норманны (не случайно Торир Хунд распоряжался на бьярмийском святилище). В Саге о Боси святилище Йомали предстает сказочным храмом посреди волшебной страны, где властвует (норманнский?) конунг Харек.

«Здесь в лесу стоит большой храм, который принадлежит конунгу Хареку, правящему Бьярмаландом. Бог, которому здесь поклоняются, зовется Йомали, и здесь можно найти много золота и драгоценностей. Этим храмом управляет мать конунга по имени Кольфроста; она искусна в жертвоприношениях... Там живет огромная птица... такая свирепая, что уничтожает все, что окажется поблизости. Она смотрит прямо на дверь и наблюдает за всеми, кто входит, и не остается в живых после ее когтей и яда. В храме есть раб, который готовит ей пищу. За один прием она съедает двухлетнего быка. Под этой птицей лежит то яйцо, за которым ты был послан. В храме есть жертвенный бык, скованный цепью. Он убьет телку и окропит ее ядом, и потеряют рассудок все те, кто съедят это. Он накормит Хлёд, сестру конунга, и станет она подобна великанам, какой раньше была жрица. Мне кажется, что у тебя нет надежды победить это чудовище с его колдовством»... После этого они вошли в храм и тщательно его осмотрели. В птичьем гнезде они обнаружили яйцо, покрытое золотыми буквами. Они там нашли много золота, больше, чем можно было унести с собой. Затем они подошли к алтарю, где сидел Йомали. Они сняли с него корону, украшенную 12-ю драгоценными камнями, и ожерелье, стоимостью триста золотых марок. А с колен его они взяли серебряную чашу, наполненную красным золотом, такую большую, что четверо мужчин не смогли бы ее осушить. Прекрасный гобелен висел на стене, более ценный, чем три корабля с товарами купцов, плавающих в Грикландсхав (Глазырина 1996:208–209).

<sup>31</sup> Сюжет об ограблении капища Йомали повторяется в сагах об Одде Стреле, о Хальви и дружинниках Хальви, о Стурлауге Трудолюбивом, о Боси, записанных в XIII–XIV вв. (Глазырина 1996:44–45), после распространения в Скандинавии христианства. Этим объясняется отчужденно-пренебрежительный тон сказителей в отношении к языческому культу и бравада мотивом святотатства.

Сага о Стурлауге превращает бьярмийское святилище в большой храм, «искусно сделанный из самого дорогого дерева», золота и драгоценных камней, сияние которого освещает всю равнину. Вход в него окружен частоколом и наполненным ядом рвом, на пути лежат камни, над входом висит острый меч, а на дверях видна надпись о неприкосновенности храма. В Саге о Стурлауге происходит еще одно загадочное превращение: бог Йомали назван именем Тор (Глазырина 1996:44–45).

В Бьярмаланде стоит большой храм. Посвященный Тору и Одину, Фригт и Фрейе, он искусно сделан из дорогого дерева. [Одни] двери храма смотрят на северо-запад, а другие — на юго-запад. Там внутри Тор и Один, а перед ними на столе лежит Урархорн<sup>32</sup>, с виду блестящий, как золото. <...> Вот сходят они с Хрольвом Невья на землю и [идут] к храму. И когда они подошли к храму, то [оказалось], что двери у него устроены так, как им было рассказано. Они идут к тем дверям, что были с северо-западной стороны храма, так как только одни они были открыты. Тогда увидели они, что внутри у порога была яма, полная яда, а дальше за ней большая перекладина, в которую снизу было воткнуто лезвие меча, а в дверном проеме вокруг ямы ограждение, чтобы не могло быть испорчено убранство, если яд выплеснется... Вот смотрит он [Стурлауг] внутрь храма и видит, где на почетном месте на возвышении сидит Тор. Прямо перед ним стоял стол, полный серебра. Видит он, что там дальше перед Тором на столе лежит Урархорн, такой сияющий, как если смотришь на золото. Он был полон яда. Он увидел там висящие шахматные фигуры и доску, сделанные из светлого золота. Сверкающие одеяния и золотые кольца были прикреплены к шестам. В храме было 30 женщин (Глазырина 1996:151, 153–154).

Параллели между бьярмийским храмом Саги о Стурлауге и уппсальским храмом в описании Адама Бременского<sup>33</sup> очевидны не только в именах богов, но и в деталях сцены: бьярмийский храм расположен посреди долины; Тор бьярмийский сидит «на почетном месте на возвышении», подобно восседающему на престоле Тору уппсальскому; оба храма сияют золотом.

У этого племени [свеонов, шведов] есть знаменитое святилище, которое называется Убсола (Ubsola) <...> Храм сей весь украшен

<sup>32</sup> Урархорн (Úrarhorn) — рог зубра или тура, использовавшийся для питья. В Саге о Стурлауге Трудолюбивом Урархорн взят от свирепого, выкормленного золотом и серебром, пожиравшего людей и опустошавшего Бьярмию зверя Ур.

<sup>33</sup> Сочинение Адама Бременского «Деяния архиепископов Гамбургской церкви» (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum) написано между 1072 и 1076 гг.

золотом, а в нем находятся статуи трех почитаемых народом богов. Самый могущественный из них — Тор — восседает на престоле в середине парадного зала, с одной стороны от него Водан, с другой — Фриккон <...> Сей храм окружает золотая цепь, висящая по скатам здания и густо окрашивающая в золотой цвет всех входящих. Это святилище расположено в равнинной местности, которая со всех сторон окружена горами наподобие театра <...> Ко всем их богам приставлены жрецы, ведающие племенными жертвоприношениями. Если грозит голод или мор, они приносят жертву идолу Тора, если война, — Водану, если предстоит справлять свадьбы, — Фриккону (Adam, IV, 26).

Отличие бьярмийского перечня богов от упсальского — замещение имени Фрейра именами Фригт (жены Одина) и Фрейи (сестры Фрейра) — Г. В. Глазырина объясняет неточностью прочтения: исландский автор принял Frisso в тексте Адама за «Фригт» (вместо «Фрейр») и уравнивал фразу именем Фрейи. И в обособлении Тора как самого могущественного из богов исландец следует за Адамом, хотя главным в языческом пантеоне Скандинавии считался Один (Глазырина 1996:180–181). Ж. Дюмезиль ошибку Адама в определении центральной фигуры пантеона связал с тем, что «ганзейские путешественники сделали Тора potentis-simus, приняли его молот за скипетр, скипетр Юпитера, чуждый скандинавской символике... На самом деле иерархия Упсалы линейна: Один, Тор, Фрейр». Применительно к бьярмийскому списку не менее важно и другое наблюдение: «Лапландцы, большие любители заимствований, Одина в общем не знают, в то время как из эквивалентов Тора, Ньёрда и Фрейра они сделали своих главных богов» (Дюмезиль 1986:139, 141).

Если Адам Бременский и допустил оплошность (а вслед за ним и исландец), то она примечательна: в восприятии скандинавов и их соседей Один и Тор как отец и сын нередко подменяли друг друга или выступали в смешанном обличье. Однако главная интрига состоит в том, оказались ли скандинавские боги в храме Йомали с легкой руки исландца-сказителя или бьярмийский бог действительно был не чужд скандинавских черт?

Если учесть, что на протяжении многих лет викинги то «обороняли» Бьярмию, то завоевывали и становились ее конунгами, внедрение их богов в местный пантеон представится естественным эффектом теополитики. Известно, что в мифологии саамов и прибалтийских финнов образ Йомали (саам. Йиммел, фин. Юмала, эст. Юммал) в значении «бог неба» соседствует с образом Тора

(саам. Тиермес, фин. Турисас, эст. Таару) в значениях «бог грома», «победоносный бог войны». В саамском небе повелитель грома и ветра Тор (Turrisas, Tiermes, Thor) и небесный владыка Йомали (Yimmel, Yibmel, Ibmel) образуют столь же неразлучную пару, как Один и Тор — в скандинавском. В «круг Тора» включены валлийский Taran, чувашский Тора и угорский Торум. Вопрос, почему Тору удалось перешагнуть этнические границы, а Один остался «слишком скандинавским», звучит риторически: Тор расширил свое сакральное пространство на всю Бьярмию (он и в Эддах ходит на восток), став общим небодержцем, тогда как Один представлялся хранителем сугубо викингской схемы.

Круг теонимов, восходящих к праформе \*ilma (juma), распространяется от Прибалтики и Беломорья на восток и включает мифологическое пространство мари, коми, удмуртов. Соответствия с \*ilma (juma) ведут за Урал в Западную Сибирь, в пантеон ненцев (Явмал, бог южного/солнечного неба) и сакральный мир хантов (йем в значении «священный»). Пространство Йомали охватывает весь север Восточной Европы, населенный народами уральской семьи. В мифологии ненцев бог Явмал представляется наблюдающим за миром из окна своего медного дома или несущимся между небом и землей на белолобом коне (белолобых оленях). Он вооружен саблей, одет в военный мундир; его малые образы — сабли, клинки, штыки. Эти черты резко выделяют Явмала из пантеона северных кочевников-оленьеводов и сближают как с богами южных соседей, так и с Йомали в «скандинавской» версии (Сага о Стурлауге) и/или Одним с его атрибутикой битв и оружия, серебряным домом в Асгарде и восьминогим конем Слейпниром (Головнёв 1995:443–446; 2002а:30). В этой смеси южных и северных черт нет противоречия, поскольку речь идет о кочующем боге пути, о теополитике больших пространств.

### *Недарма (дорога)*

Иногда боги оставляют археологические следы. Ведущий в глубь Бьярмии след Седой Бороды (прозвище-эпитет Одина) можно различить, если согласиться с толкованием Г. Ф. Корзухиной (1977:156–159) композиции на бронзовой ажурной рукояти стального кресала, найденного в Прикамье. На рукояти изображен бородатый мужчина в окружении двух хищных птиц, касающихся клювами его головы. Г. Ф. Корзухина предложила в качестве толкования текст «Видения Гюльви»:

Два ворона сидят у него [Одина] на плечах и шепчут на ухо обо всем, что видят или слышат. Хугин и Муин — так их прозывают. Он шлет их на рассвете летать над всем миром, а к обеду они возвращаются. От них-то и узнает он все, что творится на свете. Поэтому его называют богом воронов (Младшая Эдда 1970:37).

Предложенная версия подтверждается находкой в Суздале среди коллекции варяжских вещей XI в. литейной формы для изготовления украшений. На ней вырезаны восточноевропейская лунница и две круглые подвески: на одной изображен Один с воронами, на другой в орнаментальную кайму включена руническая надпись, указывающая на принадлежность вещи некоему Олаву (см.: Кирпичников и др. 1986:266). «Один и вороны» — распространенный сюжет на наконечниках ножен, кресалах эпох Вендель и викингов (Хлезов 2002:210, 220). Кресала с бронзовыми рукоятями стремительно распространились в период с конца IX по начало XI вв. (в эпоху викингов) от Фенноскандии до Урала. Л. А. Голубева (1964:115–132; 1973:178) полагает, что подобные огнива, найденные на севере Восточной Европы, в Финляндии, Швеции и Норвегии, изготавливались в Прикамье финно-угорскими мастерами и попадали на далекий запад торговым путем через Сухону, Вычегду, Белоозеро и Ладогу.

Ажурная рукоять кресала найдена и в Арктике, при раскопках Болванского мыса на о. Вайгач, хотя Л. П. Хлобыстин (1990:128, 132, рис. 2–9) определил ее как изделие, выполненное в пермском зверином стиле. Трудно сказать, посещал ли Вайгач кто-то из норманнов или огниво привезли на святилище самоеды (скажем, после столкновения с дружиной ярла Ульва у Железных Врат в 1032 г.). Примечательно, что именно на священном для ненцев о. Вайгач, у пролива Карские Ворота (Железные Врата), сходятся археологические следы двух в чем-то сходных образов — Одина и Явмала. Именно здесь английский путешественник Ф. Джексон обнаружил круги камней, называвшиеся *Yalmal Naishie* (Jackson 1899:22).

Близость морских путей викингов и тундровых кочевий самоедов, как и пересечение сакральных пространств в имени Йомали–Явмал, допускает прямые и опосредованные контакты мореходов и оленеводов. Арктические мореходы не только осваивали берега Северного океана, но и создавали цепочки речных колоний. Это вызывало развитие сухопутного, прежде всего зимнего, транспорта, а в целом — эффект транспортного резонанса, когда удвоенный потенциал путей по воде и суше обеспечивал устойчивость связей на

обширном социальном пространстве. Два способа движения дополняли друг друга, давая возможность протянуть сеть коммуникаций в отдаленные восточноевропейские и уральские тундры.

Некоторые поведенческие характеристики буквально роднят кочевников моря и тундры. Как некогда викинги захватывали друг у друга корабли, считая власть над морем залогом господства на земле, так за оленьи стада сражались со своими соседями ненцы, сознавая, что именно олени дают ключ к обладанию тундрой. Тех и других оседлые жители сел и городов называли пиратами и разбойниками. Те и другие славились необычайной подвижностью и воинственностью. Возможно, мореходы пробудили в тундровых охотниках вкус к торговле и войне, который со временем дал рост новой кочевой культуре (стартовой площадкой крупностадного оленеводства было использование домашних оленей в качестве товара и транспорта, в том числе для стремительных военных набегов на «боевых нартах»). Эпоха морских кочевников в Арктике сменилась эпохой тундровых кочевников. Оленеводческая революция, прокатившаяся во II тыс. по северу Евразии от Скандинавии до Чукотки, была не только экономическим сдвигом, но и социальным потрясением, связанным с войнами и грабежами.

Когда-то человек в раннем голоцене поднялся в высокие широты вслед за стадами оленей. Позднее дикий олень сохранял значение главного источника жизнеобеспечения (ненцы называют его *илебц* 'жизненность'). Будучи одомашненным, он служил средством передвижения, промысла, войны, торговли, накопления, мерилom социального статуса и жизненных ценностей, неотъемлемым участником повседневных сцен — от бытовых до мифоритуальных. Оленеводство для ненцев — не просто отрасль хозяйства, но и основа жизненной философии. Люди и олени образовали кочевое сообщество с единым ритмом и особым нравом. Человек в тундре не менее «оболенен», чем олень — одомашнен. Ненецкая культура — изначально оленная (независимо от уровня «стадности»), и при мобилизации социокультурных ресурсов ее носители всегда делали ставку на оленя, как тюрки — на коня, а скандинавы — на корабль. В этом ракурсе сценарий развития ненецкого оленеводства как ядра экосоциальной адаптации включает диалог человек-олень в многообразии мизансцен: хищник-добыча, охотник-манщик, ездок-упряжка, шаман-спутник, воин-трофей, торговец-товар, пастух-стадо, собственник-собственность (см.: Головнёв 2004).

Для жителей Бьярмин и соседних областей оживление арктической магистрали и выходящих к ней речных и континентальных торговых путей стало эпохальным явлением. Обитателям «полуночных стран» открылся неведомый прежде северный горизонт коммуникаций, который еще более расширился с развитием новгородской и поморской торговли. Самоеды были не столь основательно, как пермяне, вовлечены в бьярмийскую торговлю, однако и для них новая перспектива была сигналом к социокультурной мобилизации: вторжение иноземцев и сопутствующая активизация соседних групп финно-угорского населения не могли не вызвать реакции тундрово-таежных охотников-оленоводо-в Урала. Трудно сказать, чего было больше во встречном движении уральских самоедов — готовности к конфликтам или интереса к контактам. Как бы то ни было, их миграции на запад достигли Двины и даже Онеги; одновременно самоеды развернули свои кочевья к морю и вышли на арктические берега. Если прежде от оленей требовались качества «спутника» и «боевой упряжки», то оживление северных путей в эпоху викингов и новгородцев породило новое явление — торговый олений караван. Рост ненецких стад происходил за счет упряжных оленей, которые, с одной стороны, требовались для дальних военно-торговых экспедиций, с другой — сами являлись товаром.

На рубеже I–II тыс. самоеды-оленоводы продвинулись в северные тундры Ямала: памятники Тиутей-Сале и Ярте содержат свидетельства оленеводства (Головнёв 1998:108–113; Фёдорова и др. 1998:69); на Таймыр мигрировали западносибирские самодийцы (носители вожпайской культуры), оставившие на Пясине стоянку Дюна 3 с косвенными свидетельствами оленеводства (Хлобыстин 1993:26; 1998:166–167). Возможно, Тиутей-Сале и Ярте возникли как форпосты-фактории промысловиков-оленоводо-в, связанных с торговыми магистралями к западу от Северного Урала.

Ростки кочевой оленеводческой культуры ненцев появились в начале II тыс., когда по тундре прошли первые промыслово-торговые и военные караваны. Последовавшая позднее «оленоводческая революция» сопровождалась войнами за оленей. При общем неприятии ненцами воровства, захват чужих оленей, судя по эпосу, считался доблестью. Грабеж стада следует рассматривать не в разряде правонарушений, а в ранге военных побед, как взятие крепостей у оседлых народов. Поскольку власть в тундре



существует только в движении,<sup>34</sup> кочевник добивался ее увеличением стада и динамики миграций.

Ненецкий эпос изобилует сценами кочевий, погонь, бесконечной езды. Сюжет сказания непременно включает передвижения и скитания героев; их долгие сны выглядят паузами между столь же долгими путешествиями. Некоторые сказания почти целиком состоят из сцен кочевий или погони. Например, *хынабц* «Клюв Белого Орла» начинается с экспозиции идущих по холмам кочевых караванов, которые видит с высоты летучий сказитель Мынеко; затем на протяжении всего сказания герои безостановочно бегут, спасаясь от владыки нижнего мира Нга (в облике чудовища Сэр Лимпя Пыя 'Клюв Белого Орла'):

Я вижу, Сэр Лимпя Пыя будто сматывает веревку [догоняет беглецов], расстояние между нами уменьшается. Его дыхание достигает нас. Сэр Лимпя Пыя говорит: «Младший из Железных Узд, ты тоже бежишь. Что ж, бегите, только в земле дырки нет! [скрыться негде]» <...> Мы остановились, поджидая сестру Железных Узд. Расстояние уменьшилось до семи-по-деяти сажений. Младший из Железных Узд взял свою сестру на руки. Так бежим целую зиму <...> Сэр Лимпя Пыя настигает Младшего из Железных Узд, расстояние между ними уже шесть-по-девят сажений, пять-по-девят сажений <...> Младший из Железных Лыж берет на руки сестру Железных Узд и Младшего из Железных Узд и бежит дальше. Сидящие у него на руках бьют от усталости. Три года они бегут (Головнёв 2004:184).

Натурализм описания усиливает и оживляет картину. Ненеcko-мy слову (*лахнако*) свойственна необычная чуткость к движению и его оттенкам, оно само не сидит на месте, а непрерывно переходит от героя к герою, чем создает «крупные планы» происходящего и эффект живой речи. Ненецкий язык богат средствами выражения движения (включая лексические, синтаксические, мелодические), перевод которых затруднен ввиду отсутствия адекватного арсенала в русском языке. Ощущение учащенного дыхания и сердцебиения вызывают повторы глаголов со значением «бег», причем нередко в первом лице и настоящем времени. Вот, к примеру, эпизод из сказания «Сирота Пяся»:

На четвертый день в полдень четверо бегущих пронесли мимо чума. Старший Пяся, пробегаая, успел сказать Не-Лэхэчи: «Жена, за-

<sup>34</sup> До сих пор ненцы считают, что кочевая ненецкая власть идет с севера, а оседлая российская — с юга.

пряги моего четырехрогого [ездового оленя]. Я еще вернусь». Побежали они дальше. Парико Тунго на сто саженой от них отстает. Он едет на трех хабтарках [нерожавших оленухах]. У его олений языки до корней высунулись, болтаются [они измождены]. Одна нога Парико Тунго стоит на левом полозе, другая — у заднего копыла [поза гонщика]. Парико Тунго говорит: «Бегите, четверо Пяся, я еду за вами». Сзади бежит еще один — трехглазый Тунго, он отстает еще на сто саженой. За ним бежит еще один — одноногий Тунго, он отстает еще на сто саженой. У него один глаз посреди лба и одна нога. Каждый прыжок его — девять саженой. За ним бегут тридцать Тунго. Все пробежали (Головнёв 2004:149–150).

Состояние «бежать» в ненецком языке многообразнее, чем «стоять» (притом последнее часто передает не покой, а паузу между движениями — *мина* 'стоять короткое время в перерывах между кочевками'. Глагол «бежать» с отстраненно-обобщенным значением отсутствует, его значения точны и конкретны: человек бежит — *сюрба*, долго бежит — *сюрмба*, неуклюже — *хутмэдэ*, что есть мочи — *пярна*, от кого-либо — *хунба*, долго от кого-либо — *хунмба*, спасаясь от преследования — *пи'имба*, олени бегут рысью — *синдгэдэ*, рысцой — *танета*, скоком — *нявота*, взапуски — *нертюмба*, свободно — *ханерц*, скачками — *сорабтэ*, в сторону — *варилибтеба*.

Не только бег, но и другие движения столь же детализированы в языке ненцев и часто используются в эпических картинах. Если, как в сказании «Пасынок», герой не может бежать по причине того, что его ноги вмерзли в лед, а тело разорвано чудовищами, то скачет (*санарць*) его голова — именно скачет, а не катится.

Начались холода, ступни ног моих вмерзли в лед. Так я провисел всю зиму. Следующей зимой я вмерз до колен, на третью зиму — до бедер. Остался я совсем без ног <...> [Чудища хора-парнэ] руки мои до лопаток [оторвали и] с собой понесли <...> Опять я ползу, уже на своей челюсти. Далеко не могу ползти. Вижу, впереди меня Сюдбя. Говорит Сюдбя: «Вот хорошо, что мне попалась добыча». Оторвал он мою голову и бросил на землю. Туловище с собой взял, понес <...> А мне легче стало — голова с кочки на кочку скачет. Вижу впереди девять чумов (Головнёв 2004:189–190).

В мире богов, который так же неспокоен и переменчив, как жизнь людей, герои часто не бегают и не ездят на оленях, а летают по небу, оттолкнувшись от земли упругими луками или просто подняв перед собой ноги. Например, в *сюдбабц* «Сала Ян-Тета» герои многократно взлетают в небо и несутся над морями и горами,

а персонажи «Семеро Ярко» кочуют на бегущих по небу облаках. Обилие движения в ненецком слове видно, например, в эпизоде полета стрелы (ярабц «Сирота Пяся»):

Тогда Младший Пяся говорит трехглазому Тунго: «Лови свою стрелу». Тот мечется в ожидании стрелы — рот раскрыл. Младший Пяся тетиву натянул — искры вокруг полетели. Пустил он свою топоробразную стрелу. Трижды-по-семь раз крутнулся трехглазый Тунго, пока стрела летела. На последнем развороте стрела снесла голову трехглазому Тунго и верхушки деревьев сбила (Головнёв 2004:154).

Движение передается в живом стиле изложения и мышления.<sup>35</sup> Для ненецкого восприятия пространства характерен образ летящего по ветру немного сказителя Мынеко, который несется над сопками и долинами, кружит над стойбищами, задавая свойственный кочевнику «птичий взгляд»: сверху он наблюдает за движущимися караванами, стоящими чумами, пасущимися стадами. Взгляд

<sup>35</sup> Однажды С. М. Эйзенштейн, прочитав у В. Вундта образец речевого строя бушменов, сопоставил его с монтажным листом кинематографа. То, что в пересказе европейца звучит как «Бушмен был сначала дружески принят белым, чтобы он пас его овцу; затем белый избил бушмена, и тот убежал от него», на бушменском языке выражается примерно так: «Бушмен — там — идти; здесь — бежать — к белому; белый — давать — табак; бушмен — идти — курить; идти — наполнять — табак — мешок; белый — давать — мясо; бушмен — идти — есть — мясо; встать — идти — домой; идти весело; идти — остановиться; пасти — овца — белого; белый — идти — бить — бушмена; бушмен — кричать — очень — боль; бушмен — идти — бежать — прочь белого; белый — бежать — за бушменом». Режиссера поразили ряд наглядных образов, воссоздающих цепь конкретных единичных действий, которые и образуют язык кинематографа. «“Бежит бушмен”, “бежит белый” — это же эмбрион монтажа американских погонь!» — восклицает Эйзенштейн с восторгом проникновения в законы киномышления, близкого чувственному и противоположного логическому мышлению (Эйзенштейн 2002:149–150).

В бушменской культуре меньше бега, чем в ненецкой, но не меньше движения как основы действия, что и сближает ее с киноязыком. Ненецкие сказания тоже могут читаться как монтажные листы с покადровой сменой планов и сцен. По своей пластике ненецкая культура близка кино; ненцы не случайно преобладают в моих фильмах (им посвящены 5 из 10 киноработ). Своими ритмами и жестами эта кочевая культура может быть представлена как киномузыка (например, в ленте Э. Бартенева «Ялтник-Хэсе»). Ненецкому эпосу, как и кинематографу, свойственно чередование планов разной крупности. Наряду с детальными, крупными и средними описаниями, ненецкие сказания дают общие и даже предельно дальние планы-панорамы. Особенно эффектна экспозиция эпической песни, открываемая Мынеко: облетев тундру (общий план), он садится на верхушку чума и сквозь верхнее дымовое окно разглядывает обитателей (крупный план сидящего у очага героя). Фольклорный монтаж этой эпической картины буквально кинематографичен.

сказителя — проекция мировосприятия кочевника-оленовода, который сверху видит пространство тундры, а себя — движущейся точкой. Взгляд сверху отличает тундрового кочевника от жителя лесов с его точечной проекцией снизу и сближает с мореходами, чьи взгляды-обзоры выразились в картографии «круга земного» (викинги) или лоциях морских ходов (поморы).

Путь у ненцев различается по следу кочевья (*недарма*) сразу в двух измерениях — с неба и с земли. Вблизи примятая трава или отпечатки полозьев и копыт на снегу указывают направление кочевания, с высоты ширина и изгибы *недармы* говорят о размере стада и каравана, скорости и настроении движения. Кажущаяся бездорожьем тундра полна путей: наезженная дорога — *сехэры*, обставленная вешками (ветвями, кустами) — *пядавы*, проложенная караванами — *неда*, *недарма*, путь как движение (бег, скорость) — *мин*, перекочевка — *мю*, *мюселава*. Иногда кажется, что тундра — одна бесконечная дорога.

В фольклоре экспозиция сказания часто включает характеристику стада оленей; портреты героев начинаются с описания их оленьей упряжки (пятерка белых, пара длинношерстных, четверка пестрых); в ходе действия люди внимательно следят за поведением своих оленей, особенно вожаков; в случае опасности герой в первую очередь мчится спасать свое стадо; в конце повествования кто-то из персонажей непременно превращается в кочующего бога-покровителя оленей Илибембэртя. В ненецкой мифологии мир выглядит так, будто его творение еще не завершено. Ненецкие боги не знают покоя — в каждой мифе место того или иного божества занимает новый герой. Ненецкие небеса грохочут боями, чумы богов подвергаются нашествиям людей, а чумы людей — пришествиям духов.

Ритм кочевания в тундре задают олени, за которыми следуют люди, хотя во многих случаях пастухам приходится быть быстрее своих стад, и в сложном цикле движения трудно определить, кто кого подгоняет — олени людей или наоборот. Кочевание — способ жизнедеятельности, подразумевающий не только готовность, но и predisposedность к постоянной смене обстановки и минимализму быта. Культуре оленеводов свойственны ценности, чуждые оседлым культурам: мужчина часто объезжает окрестную тундру, направляет непрерывное движение оленей, ночует «в стаде»; женщина в течение всей жизни ритмично и непринужденно снимает и ставит чум, увязывает в нарты и распаковывает домашний скarb. Разделение жизненного пространства на мужскую (открытая тунд-

ра) и женскую (чум с очагом) доли соотносится с чередованием мужских и женских действий: если активна женщина, пассивен мужчина, и наоборот. Обычай попеременной активности женщины и мужчины образует ровный ритм тундровой жизни и создает ресурс энергии для постоянного движения кочевников. Непривычный для оседлого человека ритм непрерывного кочевания обеспечивается работой «вечного двигателя» в лице кочевой семьи (подробнее см.: Golovnev, Osherenko 1999; Головнёв 2004).

Тот же принцип динамичного взаимодействия лежит в основе межсемейных отношений. Ненецкая семья, даже объединяясь с другими семьями, самостоятельно кочует, ведет хозяйство, совершает ритуалы. Она чередует состояния, называемые по-ненецки *нарава* (свободная, отдельная жизнь) и *номдабава* (жизнь в объединении). В любой момент, собрав своих оленей, семья может откочевать прочь и, по мере надобности, присоединиться к другому стойбищу. Этика родственных и соседских отношений исключает хаотичные миграции и обеспечивает устойчивость стойбищных объединений; вместе с тем серия сезонных объединений и разъединений составляет обычный цикл хозяйственного и социального взаимодействия. В общей сложности члены одной семьи в течение года оказываются непосредственными участниками семи-восьми различных хозяйственных объединений, вступают в торгово-обменные контакты с таким же количеством самостоятельных промысловых стойбищ, посещают многолюдные торжища. Сеть связей поддерживается родством и браками, в том числе многоженными. Через кочевья по путям к святилищам время от времени проезжают паломники, собирая попутчиков и приношения богам. В случаях войн тундровые кочевники объединяются в орды под началом вождей-шаманов.

Богатый кочевник может взять несколько жен (обычно до трех). Помимо женского внимания и домашнего уюта (чумы многоженцев до сих пор выделяются изысканным убранством и вполне подходят под определение «тундровых салонов»), обладатель гарема приобретает существенные социальные и экономические ресурсы, поскольку владения и собственность его свояков служат резервным фондом пастбищ и оленей в кризисных ситуациях. Не столько числом оленей, сколько маневренностью в бедственных обстоятельствах (эпидемии, гололед, налет врагов) определяется состоятельность оленевода. В ненецкой традиции число жен — показатель

социального престижа мужчины, а в эпосе — свидетельство могущества воина-вождя, особенно если его гарем включает иноземок (хантыек, энок, нганасанок).

Многоженство у ненцев, как и у других народов, было не общим правилом, а привилегией лидеров. Бедные, как заметила Л. В. Хомич (1966:158), «в лучшем случае довольствовались одной женой». В фольклоре сбор жен по разным землям часто оказывается главным мотивом походов и подвигов героя. В старой ненецкой традиции многоженная семья — эталон социального статуса мужчины. Именно в многоженных семьях ненецких вождей развивались и преобразовывались социокультурные нормы. Гибкость внутренней этики такой семьи с детства закладывала в ненце «пружинность характера».

С момента становления кочевничества оленеводы пускались в дальний путь не только вслед за своими стадами, но и к селениям промысловиков, имея в виду то торговлю, то грабеж. В свою очередь промысловики видели в оленеводах то угрозу, то выгоду, но всегда — посредничество в тундровых связях. Своими кочевьями самоеды связали бьярмов Европы (северных пермян), арктических промысловиков (*сихиртя*), восточных гыдано-таймырских охотников энцев (*мандо*) и нганасан (*тавги*), а также многочисленные локальные группы обитателей тайги (*хаби*), включая предков манси, хантов, селькупов, кетов. Главным признаком воздействия магистральной самоедской культуры стало повсеместное распространение ненецкого оленеводства — по тундрам от Белого моря до Таймыра, а также в северной тайге, особенно на безлесных водоразделах.

Для деятельностной схемы кочевника-ненца характерно: освоение ресурсов огромной территории посредством циклических миграций; военное превосходство кочевой орды над локальными промысловыми сообществами; объединение родовых и племенных сообществ в орды во главе с вождями-родоначальниками; связующая роль кочевников-оленеводов среди локальных промысловых групп; подчиненность этики семейных отношений интересам кочевания; материально-бытовой минимализм при соционормативном богатстве культуры; сочетание яркого индивидуализма и жесткого коллективизма; эпический культ дальнего пути, военной доблести, многооленности и многоженства; «пружинная уступчивость» перед лицом политически превосходящей силы; открытость инновациям, когда «сама способность и готовность к переменам является тради-

цией»; взгляд собственника на пространство в его экологическом и социальном измерениях.

В период ранней российской колонизации тундровые кочевники достигли предельно высокого уровня мобильности и буквально носились по тундре, захватывая стада оленей, грабя оседлые селения, покоряя новые земли. Многообразная динамика, наполнявшая их жизнь, образовала этническую материю, которая называется народом. Здесь же кроется основание поразительного языкового единства ненцев по всей длине их этнического тела, раскинувшего на полтундры Евразии. Со времен «оленоводческой революции» середины II тыс. дороги ненецких кочевий сплелись в общий «путь народа», после чего, в эпоху мирного хозяйственного оленеводства, мало-помалу распались на отдельные «тундры».

#### *Китобои Берингии*

Традиция приморской адаптации в северной Пацифике, как и в северной Атлантике, уходит корнями в эпоху раннего голоцена, однако взлет мореходства здесь тоже пришелся на период средневекового климатического оптимума, когда морская культура вслед за отступившими льдами стремительно ворвалась через горло Берингова пролива в Арктику и распространилась на восток до Гренландии и на запад до Колымы. Истории и фольклору было угодно сохранить свидетельства встречи мореходов двух арктических «школ», случившейся в Гренландии около 1000 г. Впрочем обмен опытом между викингам и эскимосами-туле мало походил на идиллию, изобилуя взаимными набегами, поджогами, похищениями и состязаниями (Kleivan 1984:551–554).

Экспансия морской культуры, именуемой неозэскимосской (Larsen, Rainey 1948:182; Birket-Smith 1959:194) или североприморской (Collins 1964:91), имела взрывной характер и за относительно короткий срок (900–1100-е гг.) охватила обширные пространства Азиатской и Американской Арктики (Ford 1959:243; Taylor 1963:456; Dumond 1984:77). Нередко, правда, эта экспансия представляется не единым потоком, а параллельным развитием культур пунук и туле по разные стороны Берингова пролива.

Обе культуры, пунук и туле, уходят корнями в круг традиций первой половины I тыс.: древнеберингоморскую, оквик, нортон, ипиутак. С середины I тыс. в Берингоморье сформировались культуры бирнирк (около V в.) и пунук (около VII в.). Основным ареа-

лом бирнирк был арктический бассейн с условным центром на м. Бэрроу (северо-запад Аляски), пунук — северная Пацифика с условным центром на о. Св. Лаврентия. Главное различие их стратегий морской адаптации состоит в том, что культура бирнирк была основана на промысле мелких ластоногих, пунук — на китобойном промысле (Арутюнов, Сергеев 1975:193; Askerman 1984:110).

Культура пунук продолжала развиваться в Азиатской Арктике, по разным оценкам, до XII или XVII в. В Америке на основе культуры бирнирк в IX–X вв. сложилась арктическая китобойная культура туле (Larsen, Rainey 1948:170–175), при этом своей китобойной специализацией туле обязана влиянию пунук: найденный на м. Бэрроу китовый гарпун не бирнирского, а пунукского типа (Ford 1959:41). Общность истоков и черт средневековой арктической культуры позволяет рассматривать ее азиатскую (пунук) и американскую (туле) ветви как локальные версии единой китобойной традиции. Очаг ее находился в северной Пацифике, а этапы развития могут быть обозначены как периоды пунук (VII–IX вв. — исходная северотихоокеанская форма) и туле (с X в. — последующая арктическая форма).

Культура пунук получила название по имени группы островов близ о. Св. Лаврентия, где было раскопано поселение с жилищами из китовых костей. Само по себе расположение базового памятника на крохотном островке Пунук (менее полумили в длину) служит ярким признаком островной мореходной культуры. Расположенный по соседству большой остров Св. Лаврентия настолько богат памятниками всех этапов истории древнеэскимосских культур (древнеберингоморской, оквик, бирнирк, пунук, туле), что не остается сомнений в его особой значимости для мореходов северной Пацифики (Collins 1937). Этот «Готланд Берингоморья» был, вероятно, центральным очагом китобойной культуры. Как и в Скандинавии, северотихоокеанская мореходная традиция развивалась в пространстве островов и фьордов.

О. Св. Лаврентия лежит на расстоянии прямой видимости (70–80 км) от изрезанного фьордами восточного берега Чукотки. К северу от мыса Чукотского находятся острова пролива Сенявина, в том числе о. Ыттыгран с его величественной и загадочной Китовой Аллеей. Еще севернее, в районе Мечигменского залива, расположены древние поселения Ныхсирак и Масик, изобилующие археологическими свидетельствами китобойной культуры, в том числе



сходными с Китовой Аллеей сооружениями из челюстей и черепов гренландских китов (Арутюнов и др. 1982:163).

Авторы находок — С. А. Арутюнов, И. И. Крупник и М. А. Членов — отнесли Китовую Аллею к культуре пунук. Правда, они датировали памятник периодом позднего пунука (XIV–XVI вв.), но приведенные ими доводы не исключают и более ранней датировки (Арутюнов и др. 1982:25, 138–142; Крупник 1993:191, 197).<sup>36</sup> Китовая Аллея сооружена из 50–60 черепов и 30 челюстей гренландских китов, сотен специально уложенных камней; при этом в каменной береговой осыпи вырыто около 150 мясных ям-хранилищ, в которых кое-где сохранились остатки провизии.

В открытом диалоге о природе памятника, который на страницах книги (Арутюнов и др. 1982) исследователи ведут с эскимосами, содержится богатый набор идей для эскиза берингийской модели морской адаптации. По версии исследователей, Китовая Аллея была центральным святилищем крупного межобщинного объединения, охватывавшего ряд поселков на островах пролива Сенявина и прилегающей территории (от Мечигменского залива до мыса Чаплина). Здесь члены особого социально-политического института (мужского союза) числом около 100 взрослых мужчин (команды 11–12 байдар) могли проводить инициации и обряды вроде потлача. Для этого на о. Ыттыгран специально привозились черепа и челюсти гренландских китов, а в ямах-хранилищах создавались запасы для угощения приезжающих участников ритуала. Зарубки и отверстия на столбах могли служить как для подвешивания ритуальных предметов, так и для прикрепления призов при проведении спортивных состязаний. Догадки эскимосов выглядят более прагматично. Согласно одной из них, на о. Ыттыгран древние жители Чукотки били гренландских китов и складывали мясо в ямы-хранилища, а оставленные на берегу черепа использовали для просушки байдар. Обилие мясных ям на Китовой Аллее перекликается с эскимосским названием острова — Сиклюк, что означает «мясная яма» (*сиклюгак*). Однако версию эскимосов исследователям мешает принять «отсутствие крупных древних поселений в непосредственной близости от Китовой Аллеи» (Арутюнов и др. 1982:38, 131–161).

<sup>36</sup> По уточненным данным, находки на Китовой Аллее датируются VIII–IX вв. с учетом радиоуглеродных дат 1690±30 (JE 1598), 1683±40 (JE 1597), 1790±40 (JE 1636) и поправки на 300 лет за счет морского резервуарного эффекта (Питулько 2003:107–108).

представляется, что предложенные толкования не исключают друг друга на разных уровнях: версия эскимосов изводит схему экологической адаптации, версия исследования построена в ракурсе социальной адаптации. Их принципиальное расхождение, связанное с отсутствием поселений вблизи берега, может быть снято разрешением главного парадокса культуры пунук/туле — сочетания признаков явной оседлости и заметной подвижности.

С одной стороны, берингийские китобои жили в крупных поселениях, с другой — мигрировали на огромные расстояния. Подобный тип «оседлых кочевников» уже рассматривался на скандинавском примере; вероятно, и в Берингоморье обитатели островов и фьордов чередовали домашний досуг с длительными морскими рейдами. Основательность жилищ эскимосов пунук и туле указывает не столько на оседлость, сколько на вкус к монументальным сооружениям из китовых костей, а обилие остатков жизнедеятельности свидетельствует скорее об эпизодической избыточности (если не расточительности) культуры, чем ее экономной сбалансированности.

Большие жилища берингийских китобоев, как и длинные дома скандинавов, могли служить резиденциями отрядов воинов. С. А. Арутюнов и Д. А. Сергеев (1975:185, 196) считают, что в пунукской землянке *нынлю* могли жить 300–400 человек, а в укрупнении прибрежных селений в переходное к пунук время усматривают не только экономические, но и военные мотивы. Не раз отмечалось (Collins 1937; Chard 1962), что развитие морского промысла в эпоху пунук способствовало формированию больших коллективов и учащению межгрупповых конфликтов, а также появлению военного культа и воинской элиты.

Археология свидетельствует о бурном росте вооруженности берингийцев в эпоху пунук–туле. Культура китобоев характеризуется, помимо тяжелых гарпунов, пластинчатыми доспехами, стрелами с массивными (боевыми) наконечниками, длинными ножами и кинжалами. Одновременно наблюдается спад художественной культуры: морским кочевникам, перемежавшим опасные рейды с полу-казарменной жизнью в многолюдных *нынлю*, было явно не до изящества декора. Их эстетика выражалась в «китовой архитектуре», трезубцах и амулетах из медвежьих клыков. По общему облику вещей культура пунук грубее и мощнее своих предшественниц.

Отступление льдов в теплую эпоху пунук–туле открыло новые пути как для китов, так и для китобоев. Однако едва ли верно представлять это следование в сутубо эколого-хозяйственном измерении (см.: McGhee 1969–1970). Охота на кита сродни морскому сражению и рождает идеологию господства над стихиями и пространством, легко переносимую на общественные отношения. Промысловая экспедиция китобоев, насчитывавшая от 3 до 8 байдарных команд (30–70 мужчин) (Rainy 1947:259–260; Меновщиков 1959:20–21), при случае легко превращалась в военную или пиратскую флотилию. По-видимому, дальние рейды за мигрирующими китами носили не только и не столько промысловый, сколько военно-колониционный и торговый характер. Во всяком случае добыча кита вдали от родного берега лишена хозяйственного смысла из-за трудностей транспортировки.

Возвращаясь к Китовой Аллее, еще раз отмечу особенности ее расположения: о. Ыттыгран лежит на пути между крупными поселенческими центрами — о. Св. Лаврентия и Мечигменским заливом. Отсутствие вблизи памятника синхронного поселения указывает на то, что Китовая Аллея создана не оседлыми жителями, а морскими кочевниками, для которых море было не преградой, а торной дорогой. Китобои могли использовать расположенный на перекрестке путей остров, по меньшей мере, как базу разделки и долговременного хранения добытых поблизости китов. Рискну предположить, что Китовая Аллея могла быть и ярмаркой, на которую съезжались жители ближайших и отдаленных поселков (эта версия перекликается с идеей «потлачеобразных обрядов», высказанной исследователями Китовой Аллеи). Торг на нейтральной территории — характерная черта периода военных конфликтов.

На севере Чукотки, в долине реки Пегтымель, обнаружены наскальные рисунки, изображающие вперемешку сцены охоты на кита (с многоместных байдар) и оленя (с одноместных каяков). По мнению Н. Н. Дикова, комплекс петроглифов Пегтыменя формировался в течение полутора тысячелетий, с конца II тыс. до н. э. до середины I тыс. н. э. Полученную по радиоуглеродному анализу угля из очага пещеры дату ( $1397 \pm 80$  и  $1460 \pm 70$  л.н.) автор относит к финальной стадии существования каменной галереи. Подтверждением культурной принадлежности петроглифов Н. Н. Диков считает выбитый на камне V силуэт, «напоминающий так называ-

емые крылатые предметы древнеберингоморской культуры» (Диков 1971:36–50, 60, 68; 1977:154, 245).

На мой взгляд, фрагмент петроглифа 58 на камне V, вызвавший у Н. Н. Дикова ассоциацию с «крылатым предметом», является хвостом кита в сцене морской охоты и, таким образом, служит свидетельством иной культурной традиции — пунук–туле. Помимо красноречивых сцен морской охоты с байдар и изображений китов, среди находок в пегтымельской пещере есть и другие маркеры культуры пунук–туле: панцирные пластины и медвежий клык с отверстием (Диков 1971:43). Периодом пунук датируется ближайший (в 35 км по прямой) к скалам Пегтымеля прибрежный памятник Шалаурова Изба (возраст по радиоуглеродному анализу  $1240 \pm 70$  ЛУ 4422) (см.: Головнёв 2000:186).

В Пегтымельской галерее культура пунук–туле представлена в варианте сочетания морской охоты (с умиаков) с промыслом дикого оленя (с каяков). Здесь, как и в Американской Арктике (Taylor 1966; Dimond 1984), морские кочевники проникали по рекам в глубь континента и создавали временные или долговременные поселения. Возможно, у скал Пегтымеля проводились празднества и ритуалы, связанные с завершением летних промыслов на море и на суше. Именно в стиле диалога морских и речных охотничьих историй читается череда сцен промысла китов и оленей на наскальных рисунках.

Диапазон миграций, торговых и военных действий морских кочевников тихоокеанской Арктики, вероятно, охватывал как северные, так и южные моря (с чем связано распространение в северной Пацифике и Арктике пластинчатых доспехов южного происхождения). Арктические эскимосы-мореходы создали обширную сеть колоний, вовлекая в торговые, военные и брачные отношения местных жителей, от предков юкагиров и чукчей на западе до групп бирнирк и дорсет на востоке. Не исключено, что на Чукотке, как и в самоедских тундрах, арктические мореходы вызвали движение континентальных охотников, послужившее толчком к развитию военно-торгового и транспортного оленеводства. Во всяком случае, соседство оленей и китобойных лодок на петроглифах Пегтымеля, как и традиционное взаимодействие береговых и тундровых чукчей, свидетельствует о глубоких корнях этих деятельностных схем в Арктике.

\*\*\*

Морские и тундровые кочевники, связавшие своим движением пространство Арктики, создали динамичный циркумполярный мир. Возможности арктической навигации расширились с потеплением климата и отступлением льдов в период средневекового оптимума, однако использовать этот шанс могла лишь развитая морская культура. Скандинавский и берингийский примеры убеждают в том, что покорение Арктики викингами и эскимосами-туле произошло на пике длительного развития северной мореходной культуры. Природа открыла ледовые шлюзы, и вслед за отступившими льдами в Арктику из Атлантики и Пацифики стремительно ворвались морские кочевники. Выйдя на китобойных судах в высокие широты, они, подобно взрывной волне, раскатились по всей Арктике: викинги — от Лабрадорского моря на западе до Карского на востоке, эскимосы — от Гренландии на востоке до Колымы на западе.

Модель адаптации морских кочевников предполагала контроль над природными и социальными ресурсами. Культура подвижных торговцев-воинов была основана на «пастьбе» оседлых жителей и промысловых групп. Морские кочевники выступали элитой — агентами управления — в связях между другими, часто иноэтничными, группами. В свою очередь вовлеченные в эту сеть соседи становились участниками культурного обмена и находили свое место в пространстве Севера. Энергетический потенциал морских кочевников перетекал в тундры по каналам торговых и военных контактов.

В качестве наземного транспорта викинги предпочитали коней, эскимосы — собак. В Северной Евразии альтернативой скандинавским лошадям и эскимосским собакам стали олени. Крупнейшие очаги арктического оленеводства (саамский, ненецкий и чукотский), находились в непосредственных связях с центрами морской культуры: тундры саамов и ненцев примыкали к северному кольцу викингов, тундры чукчей — к морским путям эскимосов-туле. Оленные кочевья начинались там, где кончались морские, и были их сухопутным продолжением, обеспечивая торговые контакты между отдаленными территориями. Как отметил В. В. Фитцхью (Fitzhugh 1994:40), в первой половине II тыс. оленные чукчи и эвены достигли берегов Тихого океана, вступили в контакт с эскимосами и другими приморскими группами и утвердились в амплуа посредников в быстро расширяющейся торговле между Сибирью и Аляской.

Арктические морские культуры сохраняли потенциал до тех пор, пока насыщались импульсами из базовых очагов — Скандинавии и Берингоморья. В начале II тыс. этап колонизации сменился этапом развития колоний, и героика покорения пространств поблекла в обыденности отлаженных отношений. Первыми сошли со сцены викинги. С севера на их владения наступали льды, с юга — христианство. На Русском Севере они растворились в среде поморов, в Гренландии их колонии исчезли в XV в. Одновременно гренландские эскимосы переориентировались с морской охоты на промысел мускусного быка. Упадок китобойного промысла и, соответственно, культуры туле произошел в XIV–XVI вв. на всем арктическом пространстве от Гренландии до Чукотки; в центральной части канадской Арктики добыча китов прекратилась полностью (McGhee 1969–1970:175–182). С XV в. большие поселения китобоев на м. Крузенштерна уступили место разбросанным по берегу однокомнатным хижинам, жители которых вместо китов ловили рыбу (Anderson 1986:113). Морские пути и берега стали замерзать: теплый климат сменился к середине II тыс. «малым ледниковым периодом». Основным фактором, приведшим к «остыванию» северных мореходных культур, было превращение кочевых морских дружин в оседлую элиту колоний. Свою роль сыграли южные цивилизации Востока и Запада, предлагавшие альтернативы ценностям северных элит. Ушли в прошлое боевые флотилии северных пиратов и китобоев, а вместе с ними корабли-драконы, трезубцы и большие общинные дома. С берегов Арктики динамика переместилась в евразийские тундры, где развернулись кочевья оленеводов.

В общеисторическом контексте циркумполярный мир принято рассматривать как далекую окраину ойкумены, населенную горсткой «малых народов», уцелевших в многовековой борьбе с жестокой природой. Этот «уменьшительно-ласкательный» взгляд на коренных северян имеет мало общего с праисторической и исторической реальностью, созданной на просторах Арктики народами индоевропейской, уральской, алтайской, палеоазиатской и эско-алеутской языковых семей. В разное время здесь доминировали магистральные культуры норманнов, эскимосов-туле, русских поморов, комизрян, якутов, ненцев, объединявшие огромные территории сетью миграционных, торговых и военно-политических связей. На Севере рождались и развивались культуры больших пространств, а не «малых народов». Антропология движения показывает, что жи-

тели Арктики обладали значительно большей мобильностью, чем обитатели юга, и редконаселенность Севера, обычно воспринимаемая как ущербность, имеет обратную проекцию — «человека пространственного». В этом ракурсе северянин разных эпох представляется обладателем на порядок большего пространства «на душу населения», чем его южный современник, и носителем деятельностной схемы, обеспечивающей власть над этим пространством. Северная мультикультурность исторически основана на сочетании и динамичном взаимодействии магистральных и локальных культур, и до сих пор освоение Севера предполагает прежде всего высокий потенциал движения.

## Глава 4. Монголы

*Кереитский хан Тоорил. Бурхан-халдун.  
Улус и любовь. Орда и война*

С эпохи хунну центральноазиатская степь стала ареной соперничества кочевых орд, разраставшихся порой до гигантских размеров. Кочевые политии аваров, тюркютов, уйгуров, кимаков, кипчаков, кыргызов, каракиданей рождались в разных ареалах Великой степи, на пике экспансии охватывали огромные пространства Евразии, рассыпались на части и сменялись новыми ордами. В этом пульсе степей самой заметной оказалась империя монголов, созданная Чингис-ханом в начале XIII в. и распавшаяся на сыновние улусы вскоре после его смерти.

Арабский историк Ибн-Хальдун (1332–1406), свидетель заката монгольского могущества, отмечал, что кочевая династия (держава) обычно существует не более 120 лет, в течение жизни трех поколений: первое, славное своей мощью и кочевой (бедуинской) суровостью и яростью, создает державу; второе, сменив гордость на подчиненность самодержцу, предается роскоши и лени; третье вовсе забывает бедуинскую суровость, предпочитая престиж и блага, и лишь внешне напоминает воинов-всадников, будучи на самом деле «трусливее женщин» (см.: Игнатенко 1980; Коротаев 2006). Если кочевой элите не давали покоя воинственные соседи, ее держава могла быть долговечнее. Так случилось, например, с хазарами, тонус которых в течение трех столетий поддерживали войны с арабами, ромеями и степными ордами. Ханские династии могли сохранять свой статус при смене кочевых политий. Например, элитный род Ашина царствовал в I и II Тюркских каганатах, а затем — в Хазарии. При этом всякий раз элитный клан заново захватывал власть в степи, создавая на старой основе новую орду-державу.

Великая степь была ареной соперничества не только наследных ханов, но и разного рода удальцов, собиравших вокруг себя военно-грабительские банды. К их числу принадлежали родоначальники новых элит, от Таньшихуая до Тимура. Не выделялся родовитостью и Темучжин, ставший Чингис-ханом и прошедший путь от гонимого сироты до владыки громадной империи. Судьба Чингис-хана, превосходящая по размаху и американскую мечту и русскую сказку, вызывает неослабевающий интерес у ученых, политиков и обыва-



телей. Чего больше в успехе Чингис-хана — персональной харизмы, социального психоза или уникального стечения случайностей? В описаниях историков, выискивающих в «монгольском чуде» социальные законы, Чингис-хан предстает архитектором империи, чуть ли не с рождения планомерно создававшим грандиозное политическое здание. В исторических свидетельствах, напротив, поступки монгольского вождя выглядят ситуативными мотивами-действиями, не подчиненными одной сверхидее, но в своей последовательности приведшими к имперскому триумфу. Иногда складывается впечатление, что монгольская империя возникла вопреки намерениям и действиям хана, что алхимия политического успеха замешана на абсурде в не меньшей мере, чем на здравом смысле.

Замечательные исторические источники, прежде всего «Юань-чао би-ши» (Сокровенное сказание монголов) и «Сборник летописей» Рашид-ад-дина, дают редкий шанс увидеть движение в его индивидуально-социальном многообразии, в рождении социальных конструктов из частных мотивов-решений-действий. При выборе точки наблюдения предпочтителен взгляд современника-свидетеля, способного осмыслить неудачи и успехи Чингис-хана изнутри и извне. Из двух подходящих на эту роль персонажей, Чжамухи и Тоорил-хана, последний представляется лучшим «гидом», поскольку с высоты своего возраста и опыта он мог точнее других разглядеть мотивы действий своего названного сына Темучжина. Путь Чингис-хана во многом был историей сближения и расхождения с Тоорилом.

#### *Кереитский хан Тоорил*

Кереиты относились к числу племен, «похожих на монголов» (Рашид-ад-дин 1952 I:75). Их кочевья располагались в трехречье Орхон–Онон–Керулен, в стратегическом центре внутриазиатских степей, где несколькими веками ранее рождались Тюркский и Уйгурский каганаты. Обладание этой «кочевой столицей» предполагало контроль над пространством Халхи и статус владыки степей. Не случайно Тульский Черный Бор, где располагалась ставка кереитского хана Тоорила, стал позднее центром монгольской империи: в год курицы (1225), в зените своего могущества и незадолго до смерти, Чингис-хан вернулся из семилетнего сартаульского похода на родину и расположился в «царских дворцах» Хара-тун в Тульском Черном Бору (Сокровенное сказание, 264).

Еще до рождения Чингис-хана<sup>1</sup>, когда кереиты благополучно кочевали по Халхе, их ближайшими соседями и соперниками были татары, меркиты, найманы и монгол-тайжжууты. Впрочем представление историков о политической целостности племен и единстве всех кереитов или всех найманов выглядит предубеждением. В действительности самые непримиримые распри разгорались внутри племени между отпрысками многоженных и многодетных вождей. Например, найманские ханы Таян и Буюрук повздорили еще в юности из-за наложницы отца и позднее не могли помириться, вызывая нарекания соплеменников: «Ныне же, когда вы два брата не единоклюбны, то кому поручить улус найманов, который рассеян, разбросан и волнуется, как море?» (Рашид-ад-дин 1952 I:136). Подобными частными сценариями был полон степной мир, бурливший склоками и примирениями, удачью и коварством.

Тоорил<sup>2</sup> — старший из сорока детей кереитского хана Хурчакхус-Буируха. По степной традиции, ему надлежало наследовать статус отца, но прежде предстояло выжить и научиться маневрировать в кочевой стихии. Семи лет от роду Тоорил попадает в плен к меркитам в Селенгинскую пустыню Буури-кеере, где в кожухе из черного козленка толчет просо в меркитских ступах. Спасенный из плена отцом, он в тринадцать лет вновь оказывается в плену — на этот раз пастухом верблюдов у татарского хана Ачжи. Из татарского рабства он бежит, прихватив с собой местного чабана (Сокровенное сказание, 152).

В степи путь «из грязи в князи» и наоборот обычен, и некоторым удавалось пройти его несколько раз. По опыту Тоорила видно, что плен не сулил ничего почетного даже родовитому невольнику. Рабство (*богол*) предполагало безусловное подчинение и служение хозяину, а в случае реванша господин и раб могли поменяться ро-

---

<sup>1</sup> Темучжин родился в урочище Булук-булдак (Делюн-Болдох) на реке Онон. По «Летописям» Рашид-ад-дина, это случилось в год свиньи (1152–1153), по «Юань-ши» — в год лошади (1162); с последней датой, по мнению Л. Н. Гумилева, совпадает и монгольская легендарная традиция, и расчеты времени женитьбы Темучжина, и возраст его сыновей (см.: Рашид-ад-дин 1952 II:74; Гумилев 1997:214).

<sup>2</sup> Имя *Тоорил* (*Тогорил*, *Тогрул*, *Тунгрул*) означает мифическую птицу, которая своими стальными когтями и клювом «одним налетом сбивает двести и триста птиц и убивает их» (Рашид-ад-дин 1952 II:108).

лами.<sup>3</sup> При многочисленности в Халхе воинственных вождей, наплодившихся во времена каганатов, мало кому удавалось избежать участи пленника. Впрочем в обычае были как захваты в плен, так и побеги из плена. Взаимные облавы были повседневным ритмом кочевой жизни, и навыки побега оказывались ничуть не менее важным условием выживания, чем мастерство набега.

Став после смерти отца ханом, Тоорил убеждается, какую опасность таит в себе родство и родня. В семейной расправе он убивает двух братьев, Тай-Темура и Буха-Темура, а третий, Эрке-Хара, укрывается от расправы у найманского хана Инанча-Билге. В ответ дядя Тоорила, гур-хан, идет с войском на племянника, вынуждая его с сотней приближенных бежать вниз по Селенге и укрыться в ущелье Хараун-хабчал. Спасения и реванша Тоорил ищет не в родне: сначала он заручается поддержкой меркитского вождя Тохтоа, отдав ему свою дочь Хучжаур; затем обращается с просьбой к монголо-тайчиутскому баатуру Есугею<sup>4</sup>: «Спаси мой улус из рук дяди моего, гур-хана». Судьба раздираемых враждой керентов решается монголом Есугеем, отнявшим улус у гур-хана и отдавшим его Тоорилу. После бегства дяди с двумя-тремя десятками людей в страну Хашин (тангутское царство Си Ся) Тоорил и Есугей становятся *анда* (побратимами) в Тульском Черном Бору (Сокровенное сказание, 177; Рашид-ад-дин 1952 I:130).

Побратимство предстает едва ли не стержнем дипломатии кочевых вождей. Вся драматургия истории монголов в «Сокровенном сказании» построена на узах символического родства Есугея и Тоорила, Темучжина и Чжамухи, названном отцовстве Тоорила по отношению к «сыну» Темучжину. Генетическое родство, напротив, в ряде случаев выглядит легко устранимой помехой: Тоорил, едва сменив на ханстве отца, расправляется с родными братьями, а Темучжин в детской ссоре убивает единокровного брата Бектера.

<sup>3</sup> «Термин “раб” в том смысле, в каком он понимался монголами и другими кочевниками, не соответствовал аналогичному толкованию понятия, принятому в античном мире. Рабами называли и завоеванное кочевое население, и царей покоренных областей» (Марков 1976:67).

<sup>4</sup> Есугей, отец Чингис-хана, звался баатуrom и никогда не был ханом (основным занятием баатуров была война). В 1266 г. внук Чингис-хана император династии Юань Хубилай посмертно дал Есугею титул *Лу цзу шэнь юань хуанди* — «Прославленный предок, божественный император» (Кычанов 2004:287).

Вскоре Тоорил вновь теряет свой улус, захваченный найманами и отданный беглому младшему брату Тоорила — Эрке-Хара. По сведениям Рашид-ад-дина, помощь и на этот раз приходит от анды Есугея, изгнавшего Эрке-Хара и вернувшего улус Тоорилу. Не вполне ясно, чем Тоорил так обаял лихого монгольского баатура, но Есугей стойко поддерживает керейтского хана в борьбе с родней и не поддается на уговоры расторгнуть с ним узы побратимства. Кутула-каан, например, советовал Есугею: «Дружба с ним [Тоорилом] — недоброе дело, поскольку мы его узнали. Лучше стать андою с Гурханом, так как у него мягкий и хороший характер, а этот человек убил своих братьев и кровью их запачкал знамя чести» (Рашид-ад-дин 1952 I:130).

Керейтский улус выглядит аморфно в перипетиях борьбы его элиты. По словам Рашид-ад-дина, керейты в то время «имели больше силы и могущества, чем другие племена» (Рашид-ад-дин 1952 I:127). Однако переходящий из рук в руки керейтский улус напоминает скорее растерянное стадо, чем воинственное племя. Его судьбу решают отряды чужаков — монголов, тайчиутов, найманов. Баатур Есугей, дважды отбив улус у родственников-недрузей Тоорила, не присвоил его по праву победителя, а вернул хану, в чем, вероятно, выразилось признание им статусного первенства Тоорила (позднее подобное подчиненное положение занимал и сын-наследник Есугея Темучжин). Не исключено, что свою роль в стиле поведения керейтов сыграло принятие ими христианства несторианского толка.

Смерть в 1171 г. отравленного татарами Есугея не пошатнула окрепшей позиции Тоорила в улусе керейтов, а через несколько лет ему представилась возможность вернуть покойному анде долг побратимства. К Тоорилу в Тульский Черный Бор приехали сыновья баатура, Темучжин, Хасар и Бельгутай, с просьбой о помощи и с подарком (собольей шубой). Доха из черного соболя была подарена матерью Борте матери Темучжина в честь их свадьбы, но брак, как и улус монголов, был разбит налетом меркитов, отнявших у Темучжина молодую жену. Темучжин обращается к Тоорилу: «Когда-то вы с родителем моим побратались, а стало быть, вместо отца мне; в таком рассуждении я и женился, поэтому я привез свадебный подарок — одежду». Керейтский хан не колеблется в принятии решения: «В благодарность за черную соболью доху объединю твой разъединенный улус. В благодарность за соболью доху соберу

твой рассеянный улус. Пусть лопатка пойдет к передней части, а почки — к задней части» (Сокровенное сказание, 96).

Распря с меркитами из-за женщин досталась Темучжину в наследство от отца. Однажды баатур Есугей поехал промышлять птиц, но вместо дичи привез домой чужую жену — Оэлун, ставшую матерью Темучжина. «Сокровенное сказание» без тени осуждения расписывает удайство Есугея, заприметившего ехавших по степи молодоженов и с помощью братьев отбившего у меркита Чиледу его избранницу. Судя по стенаниям Оэлун, ронявшей «обе косы то на спину, то на грудь», умыкание не пришлось ей по нраву, что впоследствии сказалось и на отношении к первенцу, Темучжину, который, по ее словам, родился со сгустком запекшейся крови в руке. Отомстить Есугею меркиты не решились, зато на сыне отыгрались сполна, и Темучжину ради собственного спасения пришлось бросить молодую жену на милость разбойников, как некогда это сделал Чиледу. Месть меркитов передана в «Сокровенном сказании» словами: «Ну, теперь мы взяли пеню за Оэлун, забрали у них жен. Взяли-таки мы свое!» (Сокровенное сказание, 103).

Тоорилу были известны правила степной игры в охотника и добычу: захватом женщин меркиты показали свое превосходство над монголами, и обращение Темучжина к кереитскому хану выглядело не только просьбой о помощи, но и призывом к демонстрации силы. В свое время Тоорил обрел в меркитах прикрытие от дяди гур-хана, и серьезных оснований для мести или ненависти у него как будто не было. Зато кереитский хан знал, кому полагается лопатка, а кому — почки, кому место в почетной части юрты, а кому — у порога. Право на женщин, в том числе промысел чужих жен, было едва ли не самым ярким знаком иерархии, и Тоорил свирепо ополчился на меркитов.

«Я истреблю для тебя всех меркитов дотла и спасу для тебя твою Борте-учжин. За черную соболью доху, предав огню всех без исключения меркитов, доставим мы тебе твою Борте. Пошли ты известие Чжамухе. Младший брат Чжамуха находится сейчас в Хорхонах-чжубуре. Я с двумя тьмами выступлю отсюда и буду правым крылом, а Чжамуха со своими двумя тьмами будет левым крылом. Место и время встречи пусть назначает Чжамуха!» — так он сказал (Сокровенное сказание, 103).

Как в Троянской войне, поход на меркитов мотивировался освобождением похищенной жены вождя, но имел в основе борьбу

элит за верховное право на женщин. Реакция Чжамухи на призыв Тоорила и Темучжина не оставляет сомнений в ритуально-статусной значимости его риторики:

«Когда я услышал, что ложе его [Темучжина] обратилось в пустой воздух, сердце у меня заболело. Когда узнал, что лоно его уцербили, печень у меня заболела. Отмщая месть свою и истребив удуйтских и увасских меркитов, освободим свою Учжин-Борте. Воздавая свое возмездие, предадим огню всех хаат-меркитов и ханшу Борте свою возвратим — спасем... Теперь, когда у нас похлопывают попоны, когда гремят у нас барабаны, задира и трус Тогтога находится, должно быть, в степи Буура. Теперь, когда у нас волнуются длиннотетивные луки, вояка Даир-Урсун находится, должно быть, на острове Талхун-арал, у слиянья Орхона и Селенги. Теперь, когда по ветру несется перекасти-поле, поскорее поспешающее в лес, Хатай-Дармала находится, должно быть, в степи Харачжи... У того беспечного Торготая, обрушившись на него прямо через дымовое отверстие, на самое почетное у него налетим и в прах сокрушим. Женщин и детей в полон всех заберем; самое святое у него ногами потопчем, весь народ до конца истребим... Я уже окропил издали видное знамя свое, я ударил уже в свой барабан, обтянутый кожей черного вола и издающий рассыпчатый звук. Я оседлал своего вороного скакуна, надел свой жесткий тулуп, поднял свое стальное копье» (Сокровенное сказание, 105).

В пышных фразах Чжамухи слышится не только воинственность, но и тон стратега, каковым его определил «старший брат» Тоорил. Передавая «младшему брату» право назначить место встречи войск, Тоорил ведет себя вполне по-хански. В походе на меркитов он иницирует «союз побратимов», занимая в нем главное место. Чжамухе достается позиция авангарда относительно его побратима-анды Темучжина, что слышится в распоряжениях Чжамухи:

«Пусть Тоорил-хан, мой старший брат, следуя южным склоном Бурхан-халдуна, заедет к анде Темучжину. Местом нашего соединения пусть будет Ботоган-боорчжи, в истоках реки Онона. На пути отсюда, вверх по Онону, есть люди, принадлежащие к улусу анды. Из улуса анды составитсся одна тьма. Да одна тьма отсюда, всего будет две тьмы. Пойдем вверх по Онону и соединимся в условленном месте, на Ботоган-боорчжи» (Сокровенное сказание, 106).

В степной традиции «закон побратимства состоит в том, что анды, названные братья, — как одна душа: никогда не оставляя, спасают друг друга в смертельной опасности» (Сокровенное сказа-

ние, 117). Однако и самые доверительные отношения не обходятся без иерархии старший–младший. Темучжину досталось третье, последнее, место в триумvirате, что соответствовало статусу просителя. Однако скрытое соперничество за приоритет в анда-союзе проследживается изначально в том, что к Тоорилу Темучжин явился сам, а к Чжамухе послал своих младших братьев Хасара и Бельгутая.

Поведение трех вождей в движении к месту встречи напоминает повадки хищников, различающихся по силе и рангу: решительный Чжамуха идет к месту встречи в урочное время; степенный Тоорил неспешно движется по назначенному пути (южным склоном Бурхан-халдуна) через владения Темучжина; осторожный Темучжин совершает хитроумные маневры в собственном тылу. Зная, что две тьмы кереитов, ведомые Тоорилом и его младшим братом Чжаха-Гамбу<sup>5</sup>, пройдут по его кочевьям, Темучжин отходит в сторону и, пройдя вверх по течению Тунгелика, располагается на речке Тана. Переждав проход кереитов, Темучжин движется за ними, нагоняя Тоорила на речке Кимурха. Из-за оглядок и пауз объединенное войско достигает назначенного места Ботоган-боржчи в истоках реки Онон с трехдневным опозданием. Чжамуха встречает союзников, развернув свои две тьмы в боевом порядке. Тоорил-хан, Чжаха-Гамбу и Темучжин отвечают тем же. Когда войска сближаются и распознают друг друга, Чжамуха говорит: «Разве не было у нас такого уговора, чтоб и в бурю на свидание, и в дождь на собрание приходить без опоздания? Разве отличается чем от клятвы монгольское “да”? И разве мы не уговаривались также, что за опоздание из строя вон, кто бы ни был он?» Ответ Тоорила полон достоинства и такта: «Волен нас судить и взыскивать с нас младший брат Чжамуха за то, что опоздали явкой на три дня!» (Сокровенное сказание, 108).

Первый совместный рейд триумvirата получился грабительским налетом, а не военной кампанией: воинство обрушилось на спящий улус ночью, «через дымник» (будто ворвалось в юрту через незапертое верхнее дымовое окно). Предупрежденный охотниками, меркитский вождь Тохтоа-беки успел скрыться, но его улус, в панике бежавший по течению реки Селенги, стал легкой добычей монголов и кереитов, убивавших и пленивших беглецов. Среди захваченных женщин были и Борте с верной нянькой Хоахчин, вы-

<sup>5</sup> Чжаха-Гамбу (Джагамбу) стал побрагимом (анда) с Темучжином, отдав ему в жены дочь Абику (Рашид-ад-дин 1952 II:109).

скочившие из возка на зов Темучжина и ухватившиеся за поводья его коня (Сокровенное сказание, 109–110).<sup>6</sup>

В *благодарственном слове Темучжина Тоорилу и Чжамухе* звучит хвала насилию и разбою: «При дружественной помощи моего хана-отца и Чжамухи-анды, умножаемые в силе Небом и Землей, нареченные могучим Тенгрием и споспешествуемые Матерью Землей (Эке-Этуген), мы, мужам меркитским в возмездие, в воздух обратили лоно их, ущербили печень у них; в воздух обратили и ложе их, искоренили и родню их мы. А именье их мы сберегли себе» (Сокровенное сказание, 113). После погрома меркитов Темучжин и Чжамуха скрепили братство,<sup>7</sup> одарив друг друга трофеями: Темучжин вручил Чжамухе золотой пояс и кобылу вождя Тохтоа-беки, а в ответ получил золотой пояс и коня вождя Даир-Усуна. В урочище Хорхонах-чжубур, под развесистым деревом, где некогда монголы избрали ханом Хутулу, они устроили пир побратимов, а ночью по обычаю спали под одним одеялом. Тем временем хан Тоорил возвращался в Тульский Черный Бор по северным лесистым склонам Бурхан-халдуна, попутно совершая звериные облавы (Сокровенное сказание, 115, 117).

Оба занятия — пир побратимов и облавная охота — знаки триумфа и господства. Ханская охота Тоорила в чужих землях, «попутно», свидетельствует о его власти над угожьями меркитов и монголов. *Престиж облавной охоты среди кочевников Халхи определялся* тем, что право на облаву, как и право на женщин, было главным мерилом статуса вождя. Облавы на зверей и людей как ханская привилегия чередовались, соответственно, в мирное и военное вре-

<sup>6</sup> По «Сокровенному сказанию», в меркитском плену Борте была наложницей Чильгир-Боко, младшего брата вождя Чиледу, у которого Есугей в свое время отнял невесту Оэлун (Сокровенное сказание, 111). По «Летописям» Рашид-ад-дина, Меркиты отослали пленную беременную жену Темучжина Тоорилу, который «смотрел на нее взором целомудрия и сострадания. Когда эмиры сказали: «Надлежит ее взять», он отвечал: «Она — моя невестка; не следует смотреть на нее оком предательства». Возвращаясь к мужу, Борте в пути разрешилась от бремени, родив своего первенца Чжучи в колыбель, вылепленную из теста (Рашид-ад-дин 1952 I:97, 98).

<sup>7</sup> Впервые Темучжин и Чжамуха побратались в детстве, играя в бабки на льду Онона. Одиннадцатилетний Темучжин подарил Чжамухе свинчатку, а взамен получил альчик козули. Вторично они обменялись стрелами для детских луков-алангир: Чжамуха подарил Темучжину свистун-стрелу-йори, а Темучжин отдался стрелой-годоли, и они поклялись друг другу в верности как анды (Сокровенное сказание, 116).



мя, имея в основе общую тактику движения. Неожиданное стремительное нападение, изнурительная гоньба, окружение крыльями (метафора от соколиной охоты), отлаженное взаимодействие всех частей войска — элементы в равной мере промысловых и военных облав. Разгул хана Тоорила в походе на меркитов и после него был демонстрацией его могущества в Халхе.

Пока Темучжин и Чжамуха в течение полутора лет наслаждались «полным миром и согласием» на Хорхонах-чжубуре, а затем выясняли отношения в военных маневрах, Тоорил испытал на себе эффект облавы. Охотником на сей раз выступил его младший брат Эрке-хара, бежавший в свое время к найманскому хану Инанчи-Билге, а ныне напавший на Тоорила с войском найманов. Кереитский хан бежал, покинув свой улус, на запад, в Сартаульскую землю, к гур-хану кара-киданей. Менее чем через год он рассорился с гур-ханом и «поднял смуту» в приютившем его улусе. В очередной раз Тоорил спасся бегством, а затем скитался по уйгурским и тангутским землям, кормясь тем, что «до капли отдаивал пять коз да вытачивал из верблюда кровь». Бродячий хан «пришел в совершенное убожество», но избежал плена и зависимости. Наконец, весной 1187 г., он явился «к сынку Темучжину, как нищий, на единственном своем чернохвостом буланом коне» (по другой версии, «на единственном кривом кауром») (Сокровенное сказание, 152, 177; Рашид-ад-дин 1952 II:110).

Темучжин приветает названного отца, но со свойственной ему осторожностью. Разведав о приближении Тоорила, он высылает навстречу дозорных и лишь затем видится с ханом на озере Гусеур-науре. Темучжин включает Тоорила с его спутниками в свой курень, полгода содержит за свой счет и помогает кереитскому хану вернуть свой улус. В знак очередной победы Тоорил и Темучжин совершают в Тульском Черном Бору обряд скрепления отцовско-сыновних уз, по примеру прежнего братания Тоорила с Есугеем. Осенью «отец и сын» в очередной раз идут на меркитов, прогоняют Тохтоа-беки на Баргузин и захватывают меркитские табуны, княжеские юрты и хлебные запасы, которые Темучжин отдает «своему хану» — Тоорилу (Сокровенное сказание, 152).

Улус кереитского хана вновь растет и богатеет, но младшие братья Тоорила и нойоны ропшут: «Этот наш хан и старший брат — негодный человек, бродяга, он поступает как человек со смердящей печенью [зlobен и злопамятен]. Погубил своих братьев. То пере-

метывается к харакитадам, то истязает свой народ». Извещенный о недовольстве, Тоорил велит взять под стражу нескольких младших братьев (Чжаха-Гамбу бежал к найманам) и нойонов. Снесению голов он предпочитает публичный укор:

«А что мы говорили друг другу, когда шли по тангутским землям? И что мне после этого думать о таких, как вы?» И с этими словами, наплевав им в лицо, приказал снять с них кандалы. Тогда, по примеру хана, поднялись и все находившиеся в юрте араты и стали плевать им в лицо (Сокровенное сказание, 152).

Тем временем Темучжин преуспевает в противостоянии анде Чжамухе и восхождении на ханство. Несколько степных вождей собрались на курултай и избрали его своим ханом под именем Чингис.<sup>8</sup> Известие послов обрадовало Тоорила: «Зело справедливо, что посадили на ханство сына моего, Темучжина! Как можно монголам быть без хана? Не нарушайте же этого своего согласия, не развязывайте того узла единоклесья, который вы завязали; не обрезайте своего собственного ворота» (Сокровенное сказание, 126).

Узнав, что китайский полководец Вангин-чинсян выступил на татар и гонит их по степям,<sup>9</sup> Чингис-хан предлагает Тоорил-хану: «Татары — наши старые враги. Они губили наших дедов и отцов. Поэтому и нам следует принять участие в настоящем кровопролитии... Вангин-чинсян гонит перед собою, вверх по Ульچه, Мегучжина-Сеулту и прочих татар. Давай присоединимся к нему и мы против татар, этих убийц наших дедов и отцов. Поскорее приходи, хан и отец мой, Тоорил». Тоорил-хан отвечает: «Твоя правда, сын мой, соединимся!». Двинувшись вниз по Ульче, Тоорил-хан и Чингис-хан громят засевших в укромных урочищах татар. Их вождь Мегучжин-Сеулту убит, в связи с чем полководец Вангин-чинсян жалует керейтскому Тоорилу титул *ван*, а Чингис-хану — титул *чатухури*. Поделив между собою пленных татар, победители возвращаются в свои кочевья, и Тоорил с той поры именуется Ван-ханом (Сокровенное сказание, 133–134).

<sup>8</sup> Кроме Темучжина, ханство предлагали родовитым Алтану, сыну Хутулы-хана, и Хучару, сыну Некун-тайчжи, но они ответили отказом (Сокровенное сказание, 179).

<sup>9</sup> По-видимому, это случилось в 1180-е гг. — время правления Ши-цзун-а, пятого императора династии Цзинь. В монгольской традиции император чжурчжэньской династии Цзинь именовался Алтан-хан (Золотой хан) (см.: Рашид-ад-дин 1952 II:92, примеч. 4).

Отныне Тоорила и Темучжина связывает символическое родство и разделяет тайное соперничество за власть. Своими успехами Темучжин во многом обязан статусу и расположению Тоорила, и впоследствии он не без горечи и благодарности вспоминал время, когда был с керейтским ханом «двумя оглоблями» одной повозки. Правда, Тоорил всегда был «первой оглоблей», а Темучжин — второй, что выразилось и в пожалованных им китайских титулах *ван* (государь) и *чаутхури* (эмир). В ханской юрте Тоорила Темучжин сидел на правах сына, но ниже старшего эмира Куй-Тимура (см.: Рашид-ад-дин 1952 I:133; II:93).

«Третья оглобля» в лице Чжамухи для повозки была уже не нужна. Со своей стороны решительный анда попытался перехватить инициативу и в год курицы (1201) был избран гур-ханом рядом вождей монголов-тайчжиутов, татар, меркитов и других племен. Упреждая удар Чжамухи-хана, «отец и сын» поднимают свои тьмы и движутся ему навстречу. В урочище Койтен войска побратимов сошлись лоб в лоб, облава на облаву. Встречные маневры — подъемы в гору, спуски в долину, перестроения — не приносят успеха, и дело доходит до колдовства: найманский Буирух-хан и ойратский Худуха-беки накликают бурю, но ливень с ураганом разражается над их собственными головами, отчего воины Чжамухи, «спотыкаясь и скользя», валятся в пропасти и бегут со словами: «Видно, мы прогневали небеса». Воинство Чжамухи рассыпалось, не успев сложиться: вожди меркитов, тайчжиутов, найманов и ойратов разбежались кто куда (Сокровенное сказание, 143, 144).

Конфликт с Чжамухой разрушил триумvirат и внес неявный разлад в отношения Чингис-хана и Тоорил-хана. Вскоре Чингис-хан идет в свой первый самостоятельный поход — на татар, в котором демонстрирует свой индивидуальный стиль, устроив массовую резню: «Истребим же их полностью, равняя ростом к тележной оси, в отмщение и в воздаяние за дедов и отцов. Дотла истребим их, а остающихся обратим в рабство и раздадим по разным местам». Тем временем Тоорил ходил на меркитов и прогнал Тохтоа-беки на Баргузин, захватив его гарем, двух дочерей и двух сыновей. На этот раз ни Ван-хан, ни Чингис-хан трофеями друг с другом не поделились (Сокровенное сказание 154, 157).

Последним совместным предприятием Тоорил-хана и Чингис-хана был поход осенью 1198 г. на найманского Буирух-хана, пытав-

шегося уйти через Алтай на Улук-тахе.<sup>10</sup> Рейд проходил по обычной схеме облавы: преследователи дали Буирух-хану перевалить через Алтай и погнали вниз по реке Урунгу; у озера Кишилбаш-наур они настигли и убили его (Сокровенное сказание, 158; Рашид-ад-дин 1952 II:112). Правда, успех был временным: на обратном пути победители столкнулись с отрядом другого найманского вождя, Коксеу-Сабраха. С наступлением вечера Ван-хан и Чингис-хан «условились переночевать в строю, чтобы утром вступить в бой» (Сокровенное сказание, 159). Однако ночные события смешали планы: Чингис-хану донесли, что Ван-хан, оставив на стоянке зажженные огни, ушел вверх по Хара-сеулу, а Ван-хан был извещен невесть откуда взявшимся Чжамухой, что Чингис-хан тайно сговорился с найманами.

Союзники разошлись, и в тыл отходящим керейтам ударили найманы Коксеу-Сабраха, да так удачно, что захватили много людей и скота. В суматохе от Тоорила отделяются меркиты и уходят по Селенге к хану Тохтоа. Ван-хан шлет к Чингис-хану гонца: «Найманы полонили у меня жен и детей. Почему и посылаю просить у тебя, сына своего, твоих богатырей-кулюков.<sup>11</sup> Да спасут они мой народ!» Чингис-хан отправляет на выручку четырех богатырей-кулюков (Боорчу, Мухали, Борохула и Чилауна), которые отбивают у найманов улус и возвращают его Тоорилу и его сыну Сангуму. Растроганный Ван-хан благодарит Чингис-хана:

«Один раз мой утраченный улус спас мне мой анда Есутай-баатур, а в другой раз погибший улус спас мне сын Темучжин... Я уже стар. Я до того одряхлел, что пора мне восходить на вершины. Когда же я в преклонных годах взойду на горы, на скалы, кто же примет в управление весь мой улус? Младшие братья мои — негодные люди. Сыновей у меня все равно что нет: один-единственный Сангум.<sup>12</sup> Сделать бы мне сына моего Темучжина старшим братом Сангума! Вот тогда бы и стало у меня два сына, и тогда — на покой». После этих речей Ван-хан сошелся с Чингис-ханом в Тульском Темном

<sup>10</sup> Хан Буирух не отличался проворством. Отец его, Инанч-Билгэ-хан, говаривал: «Буюрук подобен верблюду, который не двинется до тех пор, пока волк не съест половину его ляжки!» (Рашид-ад-дин 1952 I:139).

<sup>11</sup> Кулюк (*хяляг*) — отборный скакун и выдающийся богатырь (Рашид-ад-дин 1952 II:70).

<sup>12</sup> По «Летописям», у Тоорила был, помимо Сангума, сын Еку, дочь которого стала женой сына Чингис-хана Толуя, а затем по наследству досталась Хулагу-хану, покорителю Ирана (Рашид-ад-дин 1952 II:109).

Бору, и они дали друг другу обеты отцовства и сыновства. Наподобие того, какие слова произносились некогда при обряде братания Ван-хана с отцом Есутай-ханом...: «Ратую с многочисленным врагом, будем ратовать вместе, как один. Ведя облаву на дикого зверя, будем вести облаву вместе, как один» (Сокровенное сказание, 164).

Давая клятвы, Тоорил-хан и Чингис-хан обязались не доверять своих уз ни «зубастой змее клеветы», ни «клыкастой змее злобы». Чингис-хан замышлял еще ближе породниться с керейтским ханом, заключив перекрестные браки своего старшего сына Чжучи с младшей дочерью Тоорила Чаур-беки и своей дочери Хочжин с внуком Тоорила Тусахом. Однако Сангум, видя растущие притязания монгола, осадил его иронией по поводу худородства, отчего Чингис-хан «внутренне охладел и к Ван-хану и к Нилха-Сангуму». Раздор подогрел Чжамуха, склонявший Сангума и других степных вождей к разгрому «анды Темучжина». Слово оставалось за старым Ван-ханом, который упорно отвергал доводы заговорщиков: «Зачем вы так судите о моем сыне, Темучжине? Ведь он доселе служит нам опорой, и не будет нам благословения Неба за подобные злые умыслы на сына моего. Чжамуха ведь — перелетный болтун. Правду ли, небылицы ли плетет он — не разобрать!» (Сокровенное сказание, 164, 165, 167).

Уговоры Сангума, чередовавшего увещевания с хлопаньем дверьми, поколебали старого хана, и он отмахнулся от заговорщиков: «Делайте, что только вам под силу». Неудавшийся план завлечь Чингис-хана на брачные переговоры сменился решением о налете, однако бдительный Чингис-хан, оповещенный табунщиками, откочевал, расставляя за собой заслоны. Тоорил пускается в погоню; Чингис-хан принимает бой и отражает удар керейтов, чему помогло ранение Сангума стрелой «в румяную щеку». Рана сына вызвала двойственную реакцию Тоорила: «Тем, кто чересчур занозист, — чересчур и попадает <...> вот и милому сынку моему в щеку занозу загнали», — сказал он, отдавая приказ к отходу (Сокровенное сказание, 167, 168, 170).

Тоорил отступил; под покровом ночи откочевал со своих позиций и Чингис-хан, причем далеко: по «Летописям», с группой нукеров он скрылся в местности Балджиунэ, где за отсутствием родников приходилось пить отжатую из грязи влагу (Рашид-ад-дин 1952 II:126). Вскоре «родственники» обменялись слезными посланиями. Чингис-хан напоминал «отцу», как служил ему «второй оглоблей»

и «вторым колесом», как спас его улус от найманов: «За какую же вину мою прогневался ты на меня теперь, хан и отец мой?». В ответ Тоорил корил себя: «О, погибнуть мне! Сына ли только забыл я? Правды закон я забыл. Сына ли только отверг я? Долг платежа я отверг. Если теперь я увижу своего сына, да умыслю против него худое, то пусть из меня вот так выточат кровь!». С этими словами он уколол свой мизинец зеркальным ножичком для сверления стрел и, выточив из ранки берестяной бурачок крови, попросил передать его в знак клятвы Темучжину. В отличие от растроганного отца, Сангум не доверял заклинаниям Чингис-хана: «Когда это он имел в обычае говорить: хан-родитель? Не именовал ли он отца старым разбойником? А меня-то, когда он называл меня другом-андой? Не предрекал ли ты мне в будущем закручивать хвосты у туркестанских овец?» (Сокровенное сказание, 177, 178, 181).

Старый хан не внял тревогам сына и беспечно пировал в своей золотой юрте. Темучжин, переведя дух после маневров по грязям Балджиунэ и воссоединившись со своим войском, уловил момент для смертельного удара: в разгар «родственных» переговоров он совершил стремительный конный бросок к ставке кереитов. Навстречу попался нукер, везший бурачок крови хана (по обычаю, такой же бурачок со своей кровью Темучжин должен был отправить «отцу»). Однако пришла пора совсем другой крови: Темучжин обрушился на ставку Ван-хана, трое суток сжималось кольцо облавы, кереитский улус был повержен и пленен, а Тоорил и Сангум бежали (Сокровенное сказание, 185; Рашид-ад-дин 1952 II:133).

Последние свои дни старый хан провел, как в далекой молодости, беглым бродягой. В урочище Дидик-сахал он подошел напиться к речке Некун-усун и наткнулся на отряд найманов. Их командир Хорису-бечи не признал Ван-хана «и тут же убил». След Сангума затерялся в пустыне, куда он забрел в поисках воды. Там он был брошен на произвол судьбы последним слугой: конюший ускакал прочь с его меринком, бросив царевичу золотую чашу, чтоб тот мог напиться (Сокровенное сказание, 188). По «Летописям», Сангум после скитаний по Тибету, Хотану и Кашгару был убит султаном Кылыч-Кара. А Чингис-хан, «вернувшись с войны победоносным и победителем, счастливый и удовлетворенный расположился в своих жилищах и в благословенных ставках» (Рашид-ад-дин 1952 I:133; II:134–135).

Найманский Таян-хан был поражен кончиной Тоорила: «Сказывают, что в северной стороне есть какие-то там ничтожные мон-

голишки и что они будто бы напугали своими сайдаками древле-славного великого государя Ван-хана и своим возмущением довели его до смерти». Ханша Гурбесу предложила: «Ван-хан ведь был древнего ханского рода. Пусть привезут сюда его голову. Если это действительно он, мы принесем ей жертву».<sup>13</sup> Послали к Хорису-бечи, тот отрезал голову и доставил ее в ставку. Найманы разостлали большую белую кошму и, положив на нее голову Тоорила, стали совершать жертвоприношение, сложив молитвенно ладони и заставив невесток петь под звуки лютни-хура. Вдруг голова рассмеялась. «Смеешься!» — воскликнул Таян-хан и приказал растоптать голову ногами (Сокровенное сказание, 189). По «Летописям», Таян-хан велел «оправить голову Он-хана в серебро; некоторое время он держал ее ради величия и почета, положивши на свой трон» (Рашид-ад-дин 1952 I:132).

### *Бурхан-халдун*

Предчувствуя смерть, старый Тоорил собирался подняться на гору — не то мысленно, не то ритуально, в знак прощания с земным миром. Особое отношение кочевников к горе отражает арханчешский, если не архантропический, стиль поведения, когда гора была гнездом и убежищем в движении пралюдей «с горки на горку». Рейды кочевников по степным пространствам нередко начинались и завершались в горах. У кочевого вождя была своя гора, непременно священная, с которой он впервые обозревал свою страну и где желал обрести покой. В любых перемещениях этот «соколиный взгляд» с горы сохранялся пожизненно, и кочевник по своему видению пространства и исходной тактике движения был не столько степняком, сколько горцем.

Обычно в антропологических описаниях подчеркивается значимость горы как доминанты тюрко-монгольского пространства. «Горы были главными ориентирами на местности как в географическом, так и в сакральном смысле. В географическом смысле они выступали тем центром, вокруг которого создавалась микротопонимия конкретной территории. В сакральном — имя духа главной горы, а чаще его эпитеты-заменители становились названием всей

---

<sup>13</sup> Культ головы вождя в обычае степняков. Сыновья меркитского хана Тохтоа, сраженного в бою с монголами, не имея возможности ни похоронить отца на месте боя, ни увести его прах с собою, отрезали его голову и спешно отошли (Сокровенное сказание, 198).

родовой, а позднее и административной территории... На родовой территории находились могилы предков рода, и их духи охраняли своих потомков» (Жуковская 2002:28, 31). Мотив пещерного рождения первопредка перекликается с представлением о проживании кагана в горах, где он ежегодно совершал жертвоприношение в пещере предков (Кляшторный, Савинов 2005:75–77). Будучи источником рода, священная гора являлась и могилой его членов (Кызласов 1982:88). От родовой горы шаман «получал разрешение» изготовить новый бубен, отсюда он «доставлял» души будущих детей. В прошлом шаманов, вероятно, и хоронили в пещерах (Сагалаев, Октябрьская 1990:36).

Для антропологии движения не так важен вид горы снизу, как взгляд с горы сверху. Архетипически подобная мотивация толкает всех людей, издали любующихся горой, взобраться на нее и с ее вершины окинуть взглядом мир. Практической пользы в подобном действии, как и вообще в пристрастии к скалолазанию, нет, но для выбора персональной деятельностной позиции это имеет решающее значение. У кочевников взгляд с горы, полет сокола, бег волка или коня служат главными измерениями пространства.

Исходная «схема сокола» читается в образе легендарного предка монголов Бодончара-простака<sup>14</sup> — младшего из пяти сыновей праматери Алан-гоа, непутевого сироты-изгоя, одинокого скитальца, оставленного братьями без доли наследства. С мыслями об обреченности — «Умереть так умереть! Живу быть, так быть живу!» — Бодончар оседлал коня с жидким хвостом и ссадинами на спине, двинулся куда глаза глядят по Онон-реке, соорудил себе травяной шалаш в урочище Балчжун-арал и «стал жить-поживать». Приметив, как сизая самка сокола ловит и пожирает куропаток, он сделал петлю из волоса своего жидкохвостого коня, поймал птицу, приручил ее и стал кормиться соколиной охотой. Кроме сокола, кормильцами и спасителями Бодончара были волки:

Не имея другого пропитания, он стрелял по ущельям загнанных туда волками зверей, а нет — так питался и волчьими объедками.

<sup>14</sup> Среди этимологий этнонима *монгол* допускается толкование «простак» от прозвища родоначальника — *Bodončar-munqaq*, облагороженное позднее созвучным *мунгу* 'серебряный' (по аналогии с «железными» киданями и «золотыми» китайцами Цзинь) (см.: Рашид-ад-дин 1952 I:154; Ratschnevsky 1983:5). Датой рождения Бодончара монгольский историк Х. Пэрлээ, по данным «Алтан Тобчи», считает 970 г. (см.: Гумилев 1997:163; Кычанов 2004:284).



Так он благополучно перезимовал тот год, прокормив и себя и своего сокола (Сокровенное сказание, 26).

Отвергнутый людьми, Бодончар усвоил схемы природы, учась взгляду у сокола, загону — у волков, используя помощь своего жалкого коня. Подбирая волчьи объедки и участвуя в облавах, монгольский предок стал охотником-хищником, следящим за дичью «свысока». Когда неподалеку от его угодий на речке Тунгелик расположились люди, он выходил к ним вслед за полетом своего сокола и, напившись кумыса, не оставался на ночлег, а непременно возвращался в травяной шалаш; когда эти люди просили у него сокола, «он никак не давал». Причина подобной отчужденности, крывшейся, на первый взгляд, в недоверии к людям, оказалась иной: он уже смотрел на них взглядом сокола, как на добычу, чем и поделился в разговоре с приехавшим за ним старшим братом:

Труся рысцой за братом своим, Бугу-Хадаги, говорит ему Бодончар: «Брат, а брат! Добро человеку быть с головой, а шубе — с воротником». Брат его, Бугу-Хадаги, не понял, к чему эти его слова. Когда он повторил те же самые слова, брат его все же ничего не понял и ничего не сказал ему в ответ. А Бодончар ехал и все повторял одно и то же. Тогда старший его брат говорит: «Что это ты все твердишь одно и то же?» Тогда Бодончар говорит: «Давешние-то люди, что стоят на речке Тунгелик, живут — все равны: нет у них ни мужиков, ни господ; ни головы, ни копыта. Ничтожный народ. Давайте-ка мы их захватим!» (Сокровенное сказание, 33–35).

В набеге на «ничтожный народ» Бодончар шел передовым-наводчиком и захватил «вполовину беременную женщину», ставшую затем прародительницей чжадаранов и борчжигинов. Пятеро братьев сделали мирных людей «слугами-холопами, при табуне и кухне» (Сокровенное сказание, 37–39). Так, по преданию, у монголов родилась иерархия господ-ханов и слуг-карачу.

Горой Темучжина, с которой он разглядел мир и у которой завещал себя похоронить, был Бурхан-халдун.<sup>15</sup> После смерти Чингис-хана Бурхан-халдун стал именоваться «великим заповедником», где «жгут постоянно фимиам и благовония». «В Монголии есть большая гора, которую называют Буркан-Калдун... Чингис-хан вы-

<sup>15</sup> Бурхан-халдун (от монгольского *бурхан* 'бог' и дагурского *халдун* 'ива') — священная гора в мифологии монголов, обычно идентифицируемая с горным хребтом Хэнтэй в Хэнтэйском аймаке Монголии у истоков рек Онон, Керулен и Тола (см.: Мифы 1980:196).

брал это место для своего погребения... Из сыновей Чингис-хана место погребения младшего сына Тулуй-хана с его сыновьями Мэнгу-кааном, Кубилай-кааном, Арик-бугой и другими их потомками, скончавшимися в этой стране, находится там же (Рашид-ад-дин 1952 I:233–235; 1960:206–207).

Трудно сказать, что чему больше обязано — величие Бурхан-халдуна культу Чингис-хана или, наоборот, харизма (*сульде*) хана — культу горы, но в мифологии Бурхан-халдун выглядит как пуп монгольской земли. У горы Бурхан-халдун в истоках Онон-реки началось «Сокровенное сказание»:

Предком Чингис-хана был Бортэ-Чино [Сивый Волк], родившийся по изволению Высшего Неба. Супругой его была Гоа-Марал [Оленуха]. Явились они, переплыв Тенгис (внутреннее море). Кочевали у истоков Онон-реки, на Бурхан-халдуне, а потомком их был Бата-Чиган (Сокровенное сказание, 1).

Именно с Бурхан-халдуна одноглазый Дува-Сохор, способный видеть на целых три кочевки, разглядел движущийся караван Хори-лартай-Мергана, а в кибитке — никем еще не просватанную красавицу-молодицу Алан-гоа, ставшую женой его брата Добун-Мергана и народившую предков монгольских ханов. Ее отец со своим родом перекочевал из Хори-Туматского края к звероловным землям Бурхан-халдуна, охраняемым божествами-владельцами горы (Сокровенное сказание, 4–9).

Здесь же, у Бурхан-халдуна, вышли из чрева Алан-гоа пращурь монголов. История рождения ею трех сыновей, в том числе Бодончара-простака, после смерти мужа освящена мифологемой троекратного непорочного зачатия, переданной в «Сокровенном сказании» двусмысленно, в сомнениях двух старших сыновей: «Вот наша мать родила троих сыновей, а между тем при ней нет ведь ни отцовых братьев, родных или двоюродных, ни мужа. Единственный мужчина в доме — это Маалих, баяудаец [слуга]. От него-то, должно быть, и эти три сына» (Сокровенное сказание, 18). Узнав об этих пересудах, Алан-гоа поведала сыновьям, что после заката солнца являлся к ней через дымник юрты светло-русый человек, поглаживал ей чрево, входил в нее лучом света, а затем, на закате луны, выбирался из юрты «желтым псом». Рожденные от него три сына «отмечены печатью небесного происхождения... Когда станут они царями царей, ханами над всеми, вот тогда только и уразумеют все это простые люди!» (Сокровенное сказание, 21).

Вовсе не обязательно видеть в «желтом псе» духа Бурхан-халдуна, но стойкая тюрко-монгольская мифологема горы как символа родоначалия и священной власти над миром не исключает такой возможности. Часто именно гора-родоначальница представлялась центром жизненного пространства, а созданный ею род носил ее имя. Например, в хакаской традиции род хызыл-хая вел родословную от мальчика, выросшего в пещере одноименной горы (Сагалаев, Октябрьская 1990:35). В названии *Бурхан-халдун* заложено значение «бог» (*бурхан*), сила которого могла оберегать и окрылять не только Темучжина, но и его предков. Не случайно к Бурхан-халдуну после успешного погрома меркитов повезли пленного Хаатай-Дармалу с надетой на шею колодкой (Сокровенное сказание, 112) — вероятно, для жертвоприношения монгольскому *бурхану*.

Кочевник возвращается к родной горе, как к дому. У Бурхан-халдуна бежавший из тайжигутского плена Темучжин находит по следам свою семью и скрывается от врагов, кормясь тарбаганами и крысами. Отсюда он на куцем саврасом бегунце впервые отправляется в рискованную погоню за грабителями, угнавшими восемь соловых меринов. В этой погоне он обретает своего первого верного друга-нукера Боорчу. С Бурхан-халдуна спускается старик-урянхаец Чжарчнудай с раздувальным мехом за плечами, предлагая Темучжину второго нукера — своего сына Чжелме (Сокровенное сказание, 89, 90, 97).

Бурхан-халдун становится убежищем Темучжина, когда его улус громят меркиты, пленяя молодую жену Борте. Описание налета создает впечатление, что монголы его ждали или даже были предупреждены о сборах трех сотен меркитов в поход, что объясняет поразительную чуткость служанки Хоахчин, которая среди ночи задолго до появления всадников слышит, как земля дрожит и кони скачут. Темучжин с братьями, дядей, матерью и двумя нукерами успел, поймав и оседлав лошадей, до зари ускакать на Бурхан-халдун. Безлошадной осталась только Борте, которую служанка Хоахчин усадила в крытый возок, запрягла рябую корову и тронулась вверх по речке Тенгели. На этот раз чутье служанке изменило, и она на своей коровьей упряжке выехала прямо навстречу меркитам. Те в полутьме сначала не разобрали, кого везет старуха, и бросились напрямик к юртам монголов. Однако вскоре они вернулись, уже с плененной матерью Бельгутаея, усаженной на коня за седлом, позади всадника. Проверив возок, меркиты выволокли из кибитки Борте,

усадили ее на коня вдвоем с Хоахчин (*сундлатом*) и пустились по следу беглецов на Бурхан-халдун (Сокровенное сказание, 99–101).

Темучжин не был застигнут врасплох: ему и его людям удалось в ночи поймать, оседлать и рассчитать по всадникам коней, а служанке хватило времени запрячь в возок корову, собрать брошенную Борте и в предрассветных сумерках отъехать от стойбища. «Сокровенное сказание» с редкой дотошностью перечисляет, кто на какую по счету лошадь сел, особо останавливаясь на последней, девятой:

На одной лошади — Темучжин, на другой — Оэлун-эке, на третьей — Хасар, на четвертой — Хачиун, на пятой — Темуге-отчигин, на шестой — Бельгутай, на седьмой — Боорчу и на восьмой — Чжелме. <...> Одну лошадь приспособили в качестве заводной, так что для Борте-учжины не осталось лошади (Сокровенное сказание, 99).

Вряд ли Темучжин хуже меркитов владел конем и не умел, как они, возить женщин за седлом или сундлатом. Его последующие стенания об опустошенном ложе как будто диссонируют с нежеланием дать жене девятую лошадь. По существу, Борте была не столько украдена меркитами, сколько брошена мужем. Она стала жертвой во спасение мужа: именно на Борте был нацелен набег меркитов, и только ее плен мог избавить улус от полного разгрома. Темучжин поступил так же, как некогда меркит Чиледу, оставивший монголам свою жену Оэлун. Тогда, поколение назад, Оэлун сама просила об этом мужа:

«Разве ты не разгадал умысла этих людей? По лицам их видно, что дело идет о твоей жизни. Но ведь был бы ты жив-здоров, девушки же в каждом возке найдутся, жены в каждой кибитке найдутся. Был бы ты жив-здоров, а девицу-жену найдешь. Придется, видно, тебе тем же именем Оэлун назвать девушку с другим именем. Спасайся, поцелуй меня и езжай!» С этими словами она сняла свою рубаху, и когда он, не слезая с коня, потянулся и принял ее, то из-за мыса уже подлетели те трое. Пришпорив своего Хурдун-хуба, Чиледу помчался, убегая от преследования вверх по реке Онону (Сокровенное сказание, 55).

Не исключено, что Борте, подражая свекрови или следуя степной традиции, сама отказалась бежать и просила оставить ее меркитам. Если в свое время монгол Есугей имел силу и власть похищать меркитских жен, то его сын Темучжин эту власть потерял и вынужден был уступить меркитам собственную жену. В обоих случаях женщины самоотверженно соблюдали мужское право, а тяжкая доля

пленниц возмещалась для них убеждением, что войны тяжелы, но ведутся они ради женщин. Эта женская кочевая философия не лишена оснований: не случись умыкания Борте, Темучжин не вступил бы на путь мести и реванша, который вывел его к ханству. Судя по первым активным действиям Темучжина, империя začínалась в мелких стычках из-за лошадей и женщин.

Трудно судить о политической интуиции степных женщин, но во многих случаях именно они играли решающую роль в мужской мотивации. Эта роль выражалась в советах, как слово Борте при размолвке Темучжина с Чжамухой, в принятии политических решений, как при правлении ханских вдов,<sup>16</sup> в качестве вожаемой добычи, причины вражды, мести или мира. Маневры женщинами и ради женщин были частью политики задолго до монгольской эпохи. Хуннский шаньюй Маодунь одну свою жену сделал мишенью для свистящих стрел его тумена (прежде чем в решающий момент так же расправиться с отцом), а другую отдал по требованию дунху в качестве стратегической жертвы (после этого знака покорности он неожиданно напал и разгромил дунху). Подобную роль в карьере Темучжина сыграл плен Борте, хотя вряд ли в ту тревожную ночь он помышлял об имперской политике.

Взбираясь на Бурхан-халдун, Темучжин был исполнен инстинктивным страхом облавы и осознанным беспокойством за свой маленький улус. Спасая нукеров и братьев, он спасал себя, ибо без «стаи» кочевой вождь обречен стать легкой добычей других хищников. В прятках на родной горе Темучжин проявил самое яркое свое достоинство — маневренную бдительность. Меркиты трижды обошли Бурхан-халдун, «метались туда и сюда, шли по его следу по таким болотам, по такой чаще, что сытому змею и не проползти. Однако изловить его они все же не смогли». Зато Темучжин видел своих врагов, а после их ухода показал еще один пример бдительности, велел Бельгутаю, Боорчу и Чжелме «трое суток следовать по пятам за тремя меркитами, чтобы убедиться, действительно ли они возвращаются домой, или хотят устроить ловушку». Сойдя с Бурхан-халдуна и ударяя себя в грудь, он произнес знаменитые слова:

<sup>16</sup> Особенно сильной была власть ханши-вдовы над сыновьями: «Достаточно напомнить, какое влияние на сыновей имели Оэлун — жена Есугэй-баатура и мать Чингис-хана, Туракина — жена Угэдэя и мать Гуюка, Соркук-тани — жена Толуя и мать Мункэ» (Крадин, Скрынникова 2006:84).

«Я, в бегстве ища спасенья своему грузному телу, верхом на неуклюжем коне, бредя оленьими бродами, отдыхая в шалаше из ивовых веток, взобрался на Бурхан. Бурхан-халдуном изbleвана жизнь моя, подобная жизни вши. Жалея одну лишь жизнь свою, на одном-единственном коне, бредя лосяными бродами, городя шалаши из ветвей, взобрался я на Халдун. Бурхан-халдуном защищена, как щитом, жизнь моя, подобная жизни ласточки. Великий ужас я испытал. Будем же каждое утро поклоняться ей и каждодневно возносить молитвы. Да разумеют потомки потомков моих!» И сказав так, он обернулся лицом к солнцу, как четки повязал на шею свой пояс, за тесьму повесил на руку шапку свою и, обнажив свою грудь, девятикратно поклонился солнцу и совершил кропление и молитву (Сокровенное сказание, 103).

В этом не то монологе, не то диалоге с Бурхан-халдуном Темучжин проговорил внутренние позывы, мотивы и ощущения. Поиск спасенья — единственный позыв, ведущий Темучжина на Бурхан-халдун. Страх гнал его в гору не только потому, что в густом ивняке или пещере легче укрыться, но и потому, что так ведут себя все загнанные звери. На этом основан один из способов облавы: в усталом отчаянии звери взбираются на возвышенность и, окруженные охотниками, теряют резвость и сметливость, пытаются замереть или растерянно топчутся, подставляясь под выстрелы. Люди, ища спасения, тоже лезут в гору по зову древнего рефлекса. Признаком паники в бою служит бег в гору. Так, например, вели себя сломленные в битве с монголами найманы, хан которых, Таян, «спешил лезть повыше на гору»; Чжамуха вдохновлял тогда Чингис-хана: Таян-хан «на гору лезет. Дерзай, анда! Они на гору лезут» (Сокровенное сказание, 196).

Стихия степняка — облава — с детства знакома каждому по азарту загонщика и обреченности загнанного. На Бурхан-халдуне Темучжин испытал «великий ужас» загнанного, представляясь самому себе то грузным телом на неуклюжем коне, то жалкой вошью, то прячущейся ласточкой. Все эти образы — не хлесткие метафоры, а реальные ощущения пытающегося уйти от погони (неуклюжего), ныряющего в укрытие (ласточки), ничтожного (вши) беглеца. Темучжин не пенял на себя за трусость,<sup>17</sup> а описывал свои приспособления-мимикрии, благодаря которым он будто растворялся и

<sup>17</sup> По мнению Л. Н. Гумилева, молитва Темучжина на горе Бурхан-халдун «не может считаться проявлением благородства как по содержанию, так и по стилю ни с какой точки зрения» (Гумилев 1997:303).

сливался с Бурхан-халдуном. Эта способность к воплощениям — в диапазоне от вши до бога — еще одно из дарований Темучжина, позволившее ему свободно перемещаться на социальной арене.

Бдительность хищника и способность к моментальным мим-адаптациям — близкие свойства, развившиеся у мальчика-сироты на грани выживания. Эпизоды юности Темучжина показывают ситуации насыщения этих схем. Однажды на стойбище вдов Есугея совершил налет тайчжигутский вождь Таргутай-Кирилтух. Женщины с детьми бросились прятаться в лес, а старшие братья затеяли перестрелку с тайчжигутами: Бельгутай построил укрепление из поваленных деревьев, а Хасар пускал в неприятеля стрелы. Тайчжигуты стали кричать: «Выдайте нам своего старшего брата, Темучжина! Другого нам ничего не надо!». Испуганный Темучжин обратился в бегство, забрался в густую чащу на вершине Тергуне. Тайчжигуты окружили лесистую сопку и выставили караулы. Темучжин таился в тайге трое суток и решил наконец выходить. Но только он взял свою лошадь под уздцы, как с нее сползло седло. Увидев в этом знак свыше, он остался в лесу еще на трое суток. В следующий раз он увидел, выходя из тайги, лежащий на тропе белый валун-кремнь величиной с походную юрту. Вновь заподозрив знамение, Темучжин задержался в лесу еще на девять дней. Едва не заморив себя двухнедельным голодом, он наконец вывел из лесу свою спотыкающуюся лошадь и тут же был схвачен тайчжигутами. Таргутай-Кирилтух отвез его в свой улус и надел на шею рабскую колодку. Темучжин, как положено рабу, мыкался по юртам, но, как положено вождю, замыслил побег. Во время празднества он избавился от охранника, ударив его по голове шейной колодкой, бежал в дубраву и залег в заводи лицом вверх. Затем он перебрался в юрту к сердобольному Сорган-Шира, который не выдал колодника, а спрятал в телеге с овечьей шерстью. Когда тайчжигуты, искавшие беглеца, добрались до телеги, Сорган-Шира остановил их словами: «В такую-то жару как можно усидеть под шерстью?» (Сокровенное сказание, 79–86). Как видно, своей поразительной выносливостью и адаптивностью Темучжин превзошел ожидания даже умудренных опытом кочевников.

Двойственна гора: она — пик господства и страха. Двойственна облава: она — азарт погони и отчаяние жертвы. Двойственно, если не множественно, поведение Темучжина, представляющего то лихим наездником, то дрожащим трусом, то любящим мужем, то

жестоким братоубийцей. Л. Н. Гумилев полагал, что автор «Юань-чао би-ши» относится к главному герою двойственно: в одной ипостаси Темучжин — человек злой, трусливый, вздорный, мстительный, вероломный, в другой Чингис-хан — государь дальновидный, сдержанный, справедливый, щедрый (Гумилев 1997:302). Эта двойственность монгольского хана не определима с позиций «общечеловеческой морали», какие бы обвинения и оправдания ни формулировались по поводу цитат из «Сокровенного сказания» о том, как мальчиком он боялся собак,<sup>18</sup> трусил и плакал, бежал от тайчиутов, бросил Борте меркитам, хладнокровно умертвил единокровного брата из-за серебристой рыбки, коварно расправился с андой Чжамухой и «отцом-ханом» Тоорилом.

Дар Темучжина состоял именно в его многоликости, сочетании парадоксально различных качеств, поразительной бдительности, тонком и ситуативно подвижном чувстве меры. Осторожность в маневрах кочевников играла не меньшую роль, чем стремительность рейдов. Звериным чутьем опасности Темучжин на голову превосходил своих врагов и соратников, в том числе Тоорила и Чжамуху. Многоликость Темучжина открыла перед ним путь превращений из боязливой мальчика-рыболова во всевластного отца народов.

Монолог Темучжина, обращенный к Бурхан-халдуну и завершенный молитвой, раскрывает внутреннюю связь с божественной горой, которой бедствующий вождь доверяет свой страх и отчаяние. Священная гора — не только узел кочевий, но и хранилище сокровенных тайн, умыслов и слабостей. Гора-божество служит зеркалом, преобразующим ожидания в решения. Всякий раз молитва или откровение начинается с просьбы и завершается ответом, подвигающим к действию. Священная гора для кочевника оказывается тем самым средним звеном (местом решений), которое преобразует

<sup>18</sup> Боязнь собак так не к лицу будущему «завоевателю вселенной», что исследователи пытаются найти какое-нибудь иное толкование этой фразе Есугея, например увидеть в «собаках» людей *нукуз* (тайчиутов) (Крадин, Скрынникова 2006:174). Переводчик «Сокровенного сказания» С. А. Козин по-своему старался уяснить для себя эту странность мальчика: «Для тех, кто жил среди монголов и ежедневно наблюдал, как 4–5-летние монгольские ребята, с отцовской или материнской трубкой в зубах, без малейшего страха, одним взмахом длинного рукава своего халатика разгоняют целые стаи свирепых монгольских собак, спокойно сидят среди табунов полудиких коней или легко ставят на колени верблюда, для тех станет совершенно очевидным, что в данном случае дело шло о совершенно исключительной, болезненно повышенной нервности ребенка» (Козин 1941:64).



мотивы в поступки. Не случайно перед решающими походами Чингис-хан уединялся в «нагорной» молитве. Возможно, многие решения о завоевании равнин принимались на горе, по «схеме сокола», как это было свойственно предку монголов Бодончару.

Л. Н. Гумилев полагал, что степной кочевник движется только в привычном экопространстве: он может сменить «ковыльные степи на полынные, но не на лес, горы или пустыню» (Гумилев 1997:246). Однако степь без горы — как тело без головы, и священность гор в мифологии кочевников — не эстетство, а синтез мотива–решения–действия в диалоге человека и бога. Степь, как море, бурлит движением; гора, как остров, рождает замыслы и хранит клады. Выход в степь из горы-укрытия — всегда рискованный вызов конкурентам. Степное сражение выигрывает тот, кто видит его будто с горы, и в битве за степь реализует горные стратегии. По опыту Чингис-хана, как бы далеко ни простирались кочевья и завоевания, точкой возврата всегда остается родная гора.

### *Улус и любовь*

Есугей отбил у врагов и вернул улус Тоорилу, Тоорил — Темучжину, Темучжин — Тоорилу. Улус выглядит владением, которое можно отнять и получить, будто вещь, рассеять и собрать, будто стадо. Хан Тоорил заверял Темучжина: «Объединю твой разъединенный улус... соберу твой рассеянный улус». Тоорил, спасая жизнь бегством к каракидцам, «покинул свой улус», а затем, явившись к Есугею, просил: «Спаси мой улус из рук дяди моего, гур-хана», — на что Есугей, снарядив войско, отвечал: «Я спасу для тебя твой улус!» (Сокровенное сказание, 96, 177).

Нередко в отношении хана к своему улусу чувствуется нечто трогательное, вроде заботы пастыря о стаде или волнения хозяина о собственности. Старый Тоорил с грустью размышлял: «Один раз мой утраченный улус спас мне мой анда Есугай-баатур, а в другой раз погибший улус спас мне сын Темучжин. Эти отец с сыном, собирая мне утраченный улус, для кого же трудились они собирать и отдавать? Ведь я уже стар... кто же примет в управление весь мой улус?». Не менее драматична сцена, когда после смерти Есугея его улус, уводимый Таргутаем-Кирилтухом, пыталась остановить вдова Оэлун, подняв знамя покойного мужа. Но «ключевые воды пропали, бел-камень треснул. Распался на глазах Оэлун улус, созданный Есугай-баатуром» (Сокровенное сказание, 70–73, 164).

«Собрать улус» означало не только найти и вернуть его, рассеянный или угнанный, но и заново создать его, как это сделал баатур Есугей. Далеко не все вожди наследовали улус отца, и далеко не каждому наследнику удавалось его сохранить. О судьбе улуса, созданного ханом Хурчахус-Буирухом, вопрошал своего отца Тоорила Сангум: «Нам ли будет вверен улус твой — улус, с такими трудами собранный твоим родителем, Хурчахус-Буирух-ханом? Кому же и как будет передан твой улус?» (Сокровенное сказание, 167).

Исследователи нередко поддаются искушению видеть в улусе род или родовую общину, следуя стандартам классической этнографии. Выявляя понятия родства: *урук* (потомство родоначальника), *обок* (община), *heligen-ii urug* ('родство по печени', по женской линии), *джат* (чужое родство), *иркен* (поколение, племя), — они представляют их строгими социальными категориями (см.: Владимирцов 1934; Кычанов 2004; Крадин, Скрынникова 2006). Однако конкретные события всякий раз то смешивают эти категории, то выворачивают их наизнанку. Родство в движении-действии оказывается набором инструментов и понятий, посредством которого и на фоне которого реализуются персональные и групповые сценарии. Часто родство не покоится в какой-либо группе или земле, а переходит вместе с действующими лицами с места на место, перекраивая или перекрашивая реальную ситуацию.

Набравшись сил, Темучжин расправился с родом (племенем), известным под названием тайчжиуты (тайчиуты, тайджиуты, тайчиуды, тайчиудцы). Между тем именно «монгол-тайчиудами» был избран первый монгольский хан Хутула (Сокровенное сказание, 57 1941:85). Землей тайчжиутов считались реки и леса у Бурхан-халдуна; тайчжиуты составляли улус и войско Есугея, будучи его «двоюродными братьями и родичами его предков» (Рашид-ад-дин 1952 II:75, 233). Среди тайчжиутов вырос и сын Есугея, Темучжин, с детства считая их отчим улусом. По формальным признакам Есугей и Темучжин были исконными вождями тайчжиутов, и, вероятно, монгол-тайчжиутский улус еще долго сохранял бы свое «родство», не случись отравления Есугея татарскими яствами.

Судьба «родства» предрешилась в одно мгновение, когда Есугей, возвращаясь со сватовства, не смог побороть желания поесть-попить с пирующими татарами. Ничего исторического ни Есугей, ни татары в тот момент не замыслили: одни ели, другой прого-

лодался. Китайский дипломат Чжао Хун сообщал, что в обычае кочевников присоединяться к попутной трапезе: «Встретив обед, они [монголы] без церемоний садятся вместе с хозяевами» (Кычанов 2004:295).

По дороге, в Цекцерской степи — Шира-кеере, пировали татары. Повстречавшись с ними, Есугай-баатур решил задержаться на празднике, так как томился жаждой. Татары же, оказывается, его знали. «Это Есугай-князь явился», — рассуждали они и вспомнили свои старые обиды и счеты. И вот, с умыслом тайно его извести отравой, они подмешали ему яду. Уезжая от них, он почувствовал себя дурно и через трое суток, добравшись домой, сильно занемог (Сокровенное сказание, 67).

После смерти Есугея созданный им улус распался: бросив вдов и детей Есугея, Таргутай-Кирилтух увел тайчжиутов и превратил их в свой улус. Для Темучжина тайчжиуты стали чужими, а через некоторое время, оказавшись пленником в улусе Таргутай-Кирилтуха, он, с надетой на шею колодкой, стал рабом тайчжиутов. В этом качестве Темучжин снова ненадолго стал тайчжиутом, только уже на правах невольника-богола. Из этого «родства» он сумел вырваться рискованным побегом. То «родные», то «чужие» тайчжиуты превратились во врагов. Когда Темучжин, расставшись с андой-Чжамухой, проезжал рядом с их кочевьями, те «перепугались и, в ту же ночь поднявшись, откочевали в сторону Чжамухи» (Сокровенное сказание, 119). Приняв в конфликте ханов-побратимов сторону Чжамухи, они стали заклятыми врагами Темучжина.

Настал день, когда Темучжин свел старые «родственные» счеты. После развала воинства Чжамухи победители, Тоорил и Темучжин, пустились преследовать отступавшие в разные стороны отряды. Судьбу Чжамухи Темучжин доверил Тоорилу, а сам бросился вслед за уходящим по Онону отрядом тайчжиутов во главе с Аучу-баатуром. Это была первая самостоятельная военная облава Темучжина, и она едва не стала последней из-за тяжелого ранения в шею.

Кровь невозможно было остановить, и его трясла лихорадка. С заходом солнца расположились на ночлег на виду у неприятеля, на месте боя. Чжельме все время отсасывал запекавшуюся кровь. Сокровявленным ртом он сидел при больном, никому не доверяя сменить его. Набрав полон рот, он то глотал кровь, то отплевывал. Уже за полночь Чингис-хан пришел в себя и говорит: «Пить хочу, совсем пересохла кровь» (Сокровенное сказание, 145).

Нукер Чжелме, если не спас хана своим кровавым врачеванием, то поднял ему боевой дух: он сбегал голышом в стан врага (чтоб в случае поимки сказать вырвавшимся из плена перебежчиком) и раздобыл посудину с кислым молоком, трижды хлебнув из которой Чингис-хан произнес: «Прозрело мое внутреннее око!» (Сокровенное сказание, 145). Враг был разгромлен, и к Чингис-хану на поклон пришли некоторые из тайчжиутов (Сорган-Шира, Чжебе), но уже не на правах родни, а в качестве безответно отдающих себя хану нукеров. Тайчжиуты были рассеяны, перебиты, пленены. Чингис-хан беспощадно покончил с некогда отчим улусом.

«Родство» для Темучжина опрокинулось вверх дном, показав свою изнанку. Чингис-хан ответил тем же: он оставил в живых лишь лично преданную ему родню (даже верный брат Хасар спасся только благодаря заступничеству матери Оэлун). Не раз отмечалось, что путь Темучжина к власти «был устлан трупами соплеменников» (Жуковская 2002:129). Число родственников, которых он предал смерти, достигло дюжины — «практически все по мужской линии, кто имел притязания на власть» (Barfield 1992:193–194). Трудно сказать, с чьей стороны последовал решающий толчок к этому опрокидыванию — родни, бросившей на произвол судьбы вдов и сирот, или мальчика Темучжина, осознанно убившего единокровного брата Бектера. Стихия измен, убийств и обид освободила юного Темучжина от условностей родства и открыла путь к самоутверждению.

В известной мере феномен Темучжина можно считать социальной патологией, но «опрокидывание родства» было рядовым случаем. Сирот в степи всегда хватало, хотя не все они рвались в ханы. Не было недостатка и в братоубийцах, особенно в многолюдных гаремных семьях ханов, где ожесточенное соперничество начиналось с младенчества и разгоралось в детских состязаниях, материнских склоках, наущничестве слуг, раздорах при дележе добычи и наследства. От длинного перечня родоначальников в «Сокровенном сказании» складывается впечатление, что «опрокидывание родства» случалось в каждом поколении: отцы насаждали родство, а сыновья его подрывали, создавая свои роды и улусы, после чего уже сами выступали поборниками родства и, в свою очередь, сталкивались с противодействием потомков. Полные непредсказуемости и коварства реалии уравнивались доведенным до статуса религии символическим родством — единством по предку-хану,

горе, мифологии. В степной политике генетическому родству тоже нередко предпочиталось символическое (*агда*), как видно из опыта главных героев монгольской эпопеи — Есугея и Тоорила, Темучжина и Чжамухи.

В улусе ключевую роль играли нукеры — дружинники вождя, в том числе покорные родственники. Родные и единокровные братья могли быть хану как единомышленниками, например Хасар и Бельгутай<sup>19</sup> в отношении Темучжина, так и противниками, например Тай-Темур, Буха-Темур и Эрхе-Хара в отношении Тоорила. Единовластие хана больше угрожало амбиции братьев-соперников, чем претензии чужаков, и раздоры между братьями из-за улуса нередко принимали вид смертельной вражды. Мотив власти и собственности обычно пересиливал родственные чувства, поэтому вместо них и вразрез с ними в улусе укреплялись узы дружбы-службы в лице нукеров.<sup>20</sup>

Вдревнемонгольском слове *нукер* (*nökör*) сочетаются два разных, но парадоксально пересекающихся, значения — «друг» и «другой». Подобно русскому другу-дружиннику, монгольский нукер был добровольным слугой кочевого вождя и входил в ближайший круг его соратников (Doerfer 1963:521–526; Крадин, Скрынникова 2006:455). Верность нукера граничила с самозабвенной преданностью, подтверждаемой и укрепляемой совместными победами и поражениями, а также персональным расположением и щедрыми подарками хана. Судьба хана во многом зависела от его способности «дружески подчинять» (что нередко называется харизмой), от качества его нукерства. Решающую роль играл случайный или осознанный выбор первых нукеров, поскольку в дальнейшем уже они воздействовали на атмосферу в улусе, соперничая друг с другом и наставляя новичков, поддерживали и укрепляли (или разлагали) власть хана.

Темучжину повезло с первым нукером — Боорчу, предложившим добровольную и бескорыстную помощь в возвращении угнанных соловых меринов. «Сокровенное сказание» рисует картину

<sup>19</sup> Братья Темучжина Бельгутай и Хасар остались во власти лишь благодаря тому, что функционально были нукерами брата-хана (см.: Кычанов 2004:309).

<sup>20</sup> «Чингис поднялся из маргинального состояния и часто сталкивался с оппозицией в лице собственных сородичей. Поэтому он не полагался на родство для организации своих последователей, но опирался на преданность и авторитарный контроль. Он создал разноплеменную элиту из своих друзей и приближенных» (Холл 2004:152).

магического, почти гипнотического, воздействия Темучжина на Боорчу. Если оценить обстоятельства их встречи рационально, то появление невесты откуда усталого юноши на куцем савраске не предвещало ничего, кроме лишних тревог и хлопот. Так и случилось, только тревоги не смутили, а вдохновили Боорчу.

Трижды он [Темучжин] ночевал в пути, и вот рано утром встречает на следу [утнанных коней], в шалаше при табуне, какого-то молодца, который в это время доил кобылу. На вопросы о соловых меринах парень отвечал: «Сегодня, рано утром, перед восходом солнца, тут действительно прогоняли восемь соловых мерингов. След я отведу». И с этими словами он пустил в табун куцега савраску, а Темучжина посадил на белоспинного вороного, Орох-шинхула. Сам же сел на буланого бегунца, Хардун-хуби. Не заехав даже к себе домой, он бросил в степи свои подойнники и бурдюки, кое-как их прикрыв, и говорит: «Друг, ты ведь сильно измаялся в пути, а у добрых молодцев горе-то общее. Поеду-ка я с тобой в товарищах. Мой отец прозывается Наху-Баяном. Я его единственный сын, зовусь Боорчу» (Сокровенное сказание, 90).

Боорчу не просто последовал за Темучжином, но всякий раз пытался взять на себя самое рискованное действие. Темучжин предложил ему подождать, пока он отгонит от куреня восемь соловых, но Боорчу настоял на своем участии: «Я ведь пошел с тобой в товарищах. Чего же это я буду стоять тут?». Уносясь от погони, Боорчу опередил действие Темучжина, предложив стрелять в преследователей:

Вслед за ними один за другим бросаются в погоню люди. Кто-то на белом коне, с укрюком в руке, уже настигает их в одиночку. «Товарищ, — говорит Боорчу, — давай мне лук и стрелы, я буду отстреливаться!» — «Нет, — отвечает Темучжин. — Недоставало, чтобы ты еще из-за меня и погиб. Я сам буду отстреливаться!» И он, обернувшись, начал пускать стрелы назад. Всадник на белом коне приостановился и стал своим укрюком подавать знаки. Тогда задние бросились было к нему вскачь. Но к этому времени солнце уже закатилось и стало темнеть. Застигнутые темнотою, задние приостановились, и отстали все (Сокровенное сказание, 91).

Отбив соловых мерингов и оторвавшись от погони, Темучжин предложил Боорчу расчет за услугу, но тот возразил, что вызвался помочь не за мзду, а по-товарищески. Дружба юношей была благословлена отцом Боорчу, Наху-Баяном, который тепло принял Темучжина, снабдил его в дорогу ягненком-кургашкой и бурдюком

питья, а напоследок сказал: «Вы оба — молодые ребята. Любите же друг друга и никогда друг друга не покидайте!» (Сокровенное сказание, 93).

Лихой подвиг Темучжина напоминает путь к власти четырнадцатилетнего Танышихуая, грозы хунну и создателя державы сяньби. Однажды грабители угнали у родителей его матери стадо, и Танышихуай один на коне погнался за похитителями и отбил угнанное стадо, после чего юному храбрецу стало подчиняться одно кочевье за другим (Таскин 1984:75). Темучжин тоже в одиночку и примерно в том же возрасте бросился в погоню за похитителями табуна, но по пути ему попался «товарищ», сопроводивший его в рискованной затее. Сходство эпизодов в судьбах сирот Танышихуая и Темучжина может быть не простым событийным совпадением, а своего рода «возвращением мифа»: не исключено, что не только пытливые китайские летописцы, но и степные сказители помнили старые предания и освящали ими происходящие события. Отчасти этим объясняется неожиданное превращение маниакально осторожного Темучжина в отчаянного сорвиголову.

Другая сторона объяснения состоит в эффекте нукерства. Как видно, свой первый подвиг Темучжин совершил со своим первым нукером. Прятавшийся и таившийся прежде Темучжин преобразился: его действия заметно ускорились, приобрели пространственный размах. Это выражено «Сокровенным сказанием» и в смене под Темучжином куцега савраски на белоспинного вороного, и в захватывающей сцене скачки-погони. Возможно, монгол-сирота впервые пережил миг харизмы, почувствовал магию власти, пусть над единственным нукером. В дальнейшем именно Боорчу и другие нукеры толкали Темучжина на решительные действия, а иногда брали их выполнение на себя по велению или от имени хана. «Любовь», на которую великодушный Наху-Баян благословил юных Боорчу и Темучжина, стала зерном нового улуса, создаваемого Темучжином не на родстве, а на нукерстве.

Впрочем нукерская «любовь» имела разные грани. Если Боорчу оставался «другом», не однажды подтвердив свою преданность,<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Например, в тревожной ситуации, когда Темучжин привез к себе молодую жену Борге и с ней приехала ее мать Цотан, он передал Боорчу просьбу проводить тещу назад к ее стойбищу. Боорчу немедленно вскочил на своего горбатого савраску, бросил через седло серый армяк и, не оповестив даже отца, пустился в путь. «Вот какие услуги он оказал и вот как сгнал другом» (Сокровенное сказание, 95). Боорчу (Богорчин-нойон) был первым нукером как по числу,

то следующие нукеры попадали в стан Темучжина сразу в качестве слуг. Второй нукер, Чжелме, был приведен его отцом, Чжарчнудаем, и отдан Темучжину со словами: «Отдаю своего Чжелме вот для чего: вели ему коней седлать, вели ему дверь открывать» (Сокровенное сказание, 97). Четверо нукеров-чжуркинцев оказались в улусе Темучжина, когда их отцы, Гуун-Ува и Чилаун-Хайчи, будучи разгромлены и пленены, выкупали сыновьями милость победителя. Их отцовские благословения обошлись без намека на «любовь»:

Гуун-Ува представил тогда Чингис-хану двух своих сыновей, Мухали и Буха, и сказал так: «Да будут они рабами у порога твоего. Если отстанут от порога твоего, пусть перережут им подколенники. Пусть будут они собственными твоими рабами у порога твоего. Если нерадиво отлучатся от порога твоего, выбрось их вон, вырвав печень».

Чилаун-Хайчи также представил Чингис-хану своих двух сыновей, Тунке и Хаши, с такими словами: «Я отдаю их с тем, чтобы они были стражей у золотого порога твоего. Если отстанут от золотого порога твоего, выбрось их вон, лишив жизни. Я отдаю их для того, чтоб они открывали для тебя твои широкие двери. Если самовольно уйдут от широких дверей твоих, выбрось их, вырвав сердце» (Сокровенное сказание, 137).

Образ идеального нукера, спасающего своего друга-хана, остался в преданиях, служа героико-романтическим образцом для сочувствия и подражания. Первые друзья-нукеры, Боорчу и Чжелме, действительно пережили с Темучжином и осаду на Бурхан-халдуну, и бой с меркитами на Ононе, когда вождь истекал кровью, а друг-нукер отсасывал ее из раны (по «Сокровенному сказанию», это делал Чжелме, по «Летописям», хана спасли нойоны Боорчу и Борагул). Между тем банда молодых «ухарей» — монгольское *ухэ* означало «разбойник и богатырь», так прозывали Чжелме (Рашид-ад-дин 1952 I:157) — разрасталась в воинственный улус, пополнявшийся добровольными или подневольными нукерами.

Многие пленники, особенно юные, охотно предавались удачливому вождю. Мать Темучжина Оэлун специально отбирала пленных мальчиков и воспитывала из них верных слуг. Нукерство в

---

так и по значению: в ханской юрте он сиживал по правую руку от Чингис-хана, выше прочих эмиров; случалось, что Чингис-хан доверял ему свой колчан и своего знаменитого скакуна Джики-Бурэ, который слушался не ударов плети, а поглаживания гривы (Рашид-ад-дин 1952 I:169; II:115).



улусе служило связующим звеном между элитным родом хана и пестрым по составу слоем боголов (или карачу). Улусы, основанные на родстве, не имели особых шансов на расширение в силу ограниченности круга родства, тогда как улусы, регулируемые нукерством, обладали мощным потенциалом экспансии и захвата других улусов. Нукерские улусы легко превращались в воинственные орды, преданные своему вождю и сплоченные как героинкой войны, так и ревностно чтимой верностью. Из молодых успешных разбойничьих банд вырастали «народы-армии», крушащие традиции, вершащие революции и создающие империи. Чингис-хан как-то сказал с любовью о своих нукерах:

«Помощники и пособники у меня впереди и позади — они, они — слуги усердные, даровитые, ловкие стрелки, заводные кони, ловчие птицы на руке и охотничьи псы, притороченные к седлу!» (Рашид-ад-дин 1952 II:264).

Люди разных родов и племен на Ононе, Керулене и Орхоне как будто понимали друг друга без толмачей. Нет и намек на то, что Тоорил говорил по-кереитски, Чжамуха по-чжадаратски, а Есугей и Темучжин по-монгольски или по-тайчиутски. В Халхе племенные диалекты, если и существовавшие, сглаживались перемешиванием улусов, перекрестными браками, воздействием языка элиты. Аилы и хотоны обычных скотоводов-охотников кочевали своими маршрутами, встречаясь на больших курултаях и перекрестках путей, но основным двигателем масштабных перемещений были маневры вождей. В этом отношении частые склоки братьев-ханов, сопровождавшиеся дальними походами, уводами в плен, взаимными захватами улусов, были главным механизмом поддержания культурно-социальной общности, несмотря на будоражившие ее конфликты. Эти же обстоятельства выводили контакты за пределы Халхи, поскольку монгольские, татарские, кереитские и другие вожди часто прибегали к помощи сторонних сил. Кереитский улус, например, представлял собой арену борьбы не только братьев-правителей, но и чужеземцев, когда Тоорил и его родственники приводили чужие войска или сами совершали дальние походы. Историки нередко рассуждают о неких стратегических интересах, вражде или дружбе разных степных племен и народов; в действительности враждовали и мирились не народы, а вожди, нередко близкие родственники, которые то делили, то воссоединяли улусы.

При сходстве и взаимном перетоке роды и улусы в Халхе не были однородной безликой массой, произвольно перемешиваемой ханами. Керейтов, например, отличало знакомство, пусть поверхностное, с христианством несторианского толка (см.: Гумилев 1997). Одного названия рода было достаточно для определения его боеспособности:

Ван-хан спросил Чжамуху: «А кто у сына Темучжина в состоянии принять с нами бой?» Чжамуха и говорит: «У него, говорят, уруудцы с манхудцами. Эти, пожалуй что, примут бой. Окружить кого — это им как раз подобает; подстилку стлать — помощь им подобает. Люди — с малых лет привычные к мечу да копью. Знамена у них — черно-пестрые. Этих, пожалуй, не взять врасплох: осторожные» (Сокровенное сказание, 170).

Чжуркинцы славились как «люди с печенью, полной желчи», отважные сердцем, с полными гнева легкими, мастера владеть большим пальцем (искусные стрелки), во всех искусствах сведущие, силою могучи. Именно чжуркинцы омрачили пир в Ононской дубраве, устроив драку с монголами. Чингис-хан, ценя в чжуркинцах доблесть, ханскую породу (от Хабул-хана) и поддержку в избрании его ханом, не мог не видеть в них и угрозы: сразу после победы над татарами, под предлогом наказания за неявку в поход, он обрушился на чжуркинцев и «совершенно разгромил их». «Чжуркинцев и народ их Чингис-хан сделал своими наследственными рабами», хотя некоторые из них, в том числе Мухали, стали нукерами хана (Сокровенное сказание, 131, 136, 139).

Если уруудцы с манхудцами хорошо владели копьем, но плохо умели «подстилку стлать», то хонхираты, напротив, были умельцами по обслуживанию постели. Хонхират Дэй-сечен завлекал проезжавшего мимо Есугея, расписывая прелести своего племени:

«С давних времен мы славимся, не имея в том соперников, красотою наших внучек и пригожестью дочерей. Мы к вашему царственному роду своих прекраснolanитных девиц, поместивши в арбу, запряженную черно-бурым верблюдом, и пуская его рысью, доставляем к вам, на ханское ложе. С племенами-народами не спорим. Прекраснолицых дев своих вырастив, в крытый возок поместив и увозя на запряженном сизом верблюде, пристраиваем на высокое ложе, половиною пристраиваем. С давних пор у нас, унгиратского племени, жены славны щитом, а девы — кротостью... Ребята у нас за кочевьем глядят, а девушки наши на свою красоту обращают взоры всех. Зайди ко мне, сват Есугай. Девочка моя — малютка, да свату

надо посмотреть». С этими словами Дэй-сечен проводил его к себе и под локоть ссадил с коня (Сокровенное сказание, 64).

Сцена завлечения Есугея сладкоречивым Дэй-сеченом с рекламой «прекрасноланитных девиц», поставляемых на ханское ложе в запряженных верблюдами крытых возках, живо напоминает средневековое степное агентство интимных услуг. Вообще-то Есугей ехал сватать сыну невесту в другое племя — олхонутов, откуда происходила его жена Оэлун. Однако Дэй-сечен преуспел в словесном оболыщении, заранее называя Есугея сватом, его род царственным, а у его девятилетнего сына Темучжина обнаружив «взгляд — что огонь, а лицо — что заря»; он успел поведать и о виденном накануне вещем сне, в котором ему на руку сел белый сокол, зажавший в когтях солнце и луну, и только вспомнился ему этот сон, как подъехал «сват Есугей» с сыном. Лихой баатур поддался уговорам хонхирата, тем более что, глянув на предложенную в невесты девочку Борте, он тоже заметил, что «лицо у нее — заря, очи — огонь» (Сокровенное сказание, 62, 63, 66).

Исследователей, видимо, смущает легкомыслие баатура Есугея, на ходу менявшего планы, и они пытаются придать его действиям весомость. Л. Н. Гумилев так интерпретирует сватовство Есугея: «Чтобы иметь поддержку в борьбе с татарами и меркитами, Есугэй обручил своего девятилетнего сына Тэмуджина с Бортэ, дочерью вождя сильного монгольского племени хонкиратов» (Гумилев 1997:214–215). Здесь живая мотивация подменяется книжной стратегией, согласно которой Есугей и Темучжин все свои помыслы и действия подчиняли созиданию будущей империи. На самом деле она рождалась в мозаике разнонаправленных поступков и обстоятельств, включая диалог Темучжина с отцом, бесшабашности которого он с детства ответил бдительностью и осмотрительностью.

Хонхираты, как признался Дэй-сечен, были «сильны» не воинами, а девушками. Впрочем их умение обслуживать ложе было так же значимо, как военное амплуа манхудцев. Вырашивание «пригожих дочерей» требовало не меньшего мастерства, чем воспитание хороших воинов. Жена из «рода невест» не несла угрозы конфликта с родней мужа, и специализация различных родов на воспитании воинов и девиц внутренне гармонизировала сообщество. Если у «женского рода» случались конфликты, на его защиту по правилам *кудаи* (свойства) вставал род воинов. Например, конфликт хонхиратов с татарами из-за плохого лечения хонхирата Сайн-тегина татар-

ским шаманом Чаркилом немедленно вылился в конфликт между татарами и монголами. Благодаря «женской политике» степь была богата «прекрасноланитными» и мудрыми женами — вдохновительницами мужских подвигов, а в ряде ситуаций правительницами улусов. Из хонхиратов (кунгиратов) вышло «много эмиров и знатных женщин» (Рашид-ад-дин 1952 I:104, 161). В прощальном слове Чжамуха назвал Чингис-хану истоки его силы и победы:

«У друга моего [Чингис-хана] — умная мать, сам он — витязь от роду; братья — с талантами; да стало у тебя в дружине 73 орлюка — 73 мерина: вот чем ты победил меня. А я, я остался круглым сиротой с одной лишь женой, которая у меня сказительница старины. Вот почему ты победил меня» (Сокровенное сказание, 201).

Чжамуха знал цену уму матери Оэлун, перед которой до последних ее дней робел Чингис-хан, и прозорливости жены Борте, советам которой внимал Темучжин. В одном из самых напряженных эпизодов монгольской драмы именно женское слово оказалось решающим:

Темучжин с Чжамухой вместе ехали впереди телег. И говорит Чжамуха: «Друг мой Темучжин! Покочем-ка возле гор — для табунщиков наших шалаш готов. Покочем-ка возле реки — для овчаров наших в глотку [еда] готова». Не понимая этих слов Чжамухи, Темучжин незаметно поотстал от него и стал поджидать телег, шедших в центре кочевого круга. Как только они подошли, он и говорит матери Оэлун [сказанное Чжамухой]... Не успела еще Оэлун-эке слова молвить, как говорит Борте-учжин: «Недаром про анду Чжамуху говорят, что он человек, которому все скоро приедается! Ясно, что давешние слова Чжамухи намекают на нас. Теперь ему стало скучно с нами! Раз так, то нечего останавливаться. Давайте ехать поскорее, отделимся от него и будем ехать всю ночь напролет!» (Сокровенное сказание, 118).

По совету Борте, Темучжин ехал всю ночь без сна, уходя от Чжамухи, и вскоре его улус пополнился людьми из двух десятков племен, отделившихся от Чжамухи. С этого началось самостоятельное восхождение Темучжина к ханству. Позднее, в столь же сложной ситуации конфликта между жрецом хонхотанцем Теб-Тенгрием и братьями Чингис-хана (Хасаром и Темуге-Отчигином), именно голос Борте зазвучал во благо ханского улуса:

Чингис-хан не успел еще произнести ни слова, как Борте-учжин привстала на постели и села, прикрывая грудь концом одеяла. Сле-

зы закапали у нее из глаз, как только увидела она, что Отчигин в самом деле плачет. И она заговорила: «Что же это они делают, эти хонхотанцы! Только на днях стакнулись и избили Хасара, а теперь опять. Как смеют они ставить позади себя на колени Отчигина? Что это за порядки такие? Так, пожалуй, они изведут всех твоих братьев, подобных лиственницам или соснам. Когда, подобно высохшему дереву, падет твое тело, кому дадут они править твоим царством, которое уподобится разметанной конопле? Когда, подобно колонне, обрушится твое тело, кому дадут они править твоим царством, которое уподобится стае птиц? Как дадут они мне, худо-бедно, вырастить трех-четырёх малюток моих, эти люди, способные известить даже и братьев твоих, подобных лиственницам и соснам? Что же это такое творят хонхотанцы? И как можешь ты спокойно смотреть на такое обращение со своими же братьями?» (Сокровенное сказание, 245).

Чингис-хан благословил расправу над могущественным Теб-Тенгрием, к которому уже тянулись «подданные всех девяти языков»: «от Чингис-хановой коновязи многие подумывали уйти к Теб-Тенгрию». Жрецу переломили хребет, и очередная угроза смуты в Великом монгольском улусе была устранена. Как видно, в хонхиратском роде действительно вырастали не только милые, но и мудрые девицы, и баатур Есугей в свое время не ошибся, разглядев в десятилетней девочке лицо-зарю и очи-огонь.

Как среди мужчин были ханы и боголы, так и среди женщин не всем было предназначено стать ханшами. При погроме меркитов, посягнувших на жен монголов (в том числе на Борте, отданную в наложницы), победители с особым вниманием отнеслись к пленным женщинам. Триста меркитов, которые совершили налет на кочевье Темучжина, были поголовно казнены, а «оставшихся же после них жен и детей: миловидных и подходящих — забрали в наложницы, а годных стоять при дверях — поставили прислугой, дверниками» (Сокровенное сказание, 112).

Число женщин в улусе не учитывалось при оценке его мощи, но богатство и, с позволения сказать, счастье кочевника измерялось именно женщинами. Культ женовладения был у монголов настолько явен, что с него начиналась клятва хану:

«Мы решили поставить тебя ханом. Когда же Темучжин станет ханом, то мы, передовым отрядом преследуя врагов, будем доставлять ему, пригонять ему прекрасных дев и жен, дворцы-палаты, холопов, прекраснolanитных жен и девиц, прекрасных статей мериннов... В дни сеч, если мы в чем нарушим твой устав, отлучай нас от наших

стойбищ, жен и женщин, черные головы наши разбросай по земле, по полу. В мирные дни, если нарушим твой мир-покой, отлучай нас от наших мужей-холопов, от жен и детей, бросай нас в безбожной земле!» (Сокровенное сказание, 123).

«Промысел женщин» нередко нарушал покой улусов и согласие среди элиты. Хан Угэдэй, сын и наследник Чингис-хана, говоря о трех своих заслугах и трех грехах, в числе последних упомянул пристрастие к «темному вину», возведение глинобитных стен на звериных угодьях и захваты «беспутных женщин и девиц» из улуса дяди Отчигина (Сокровенное сказание, 281). Впрочем каялся Угэдэй не в излишней тяге к слабому полу, а в нарушении женовладелческих прав дяди.

Этот лейтмотив откровенно прозвучал в словах Хорчи, напроочившего Темучжину судьбу государя народов. Пересказав свой сон, в котором Чжамуху пыталась забодать однорогая корова, а Темучжина ревущий бык нарек «царем царств», Хорчи тут же стал торговаться:

«Вот какое откровение явлено глазам моим! Чем же ты, Темучжин, порадуешь меня за откровение, когда станешь государем народа?» — «Если в самом деле мне будет вверен этот народ, — ответил Темучжин, — то поставлю тебя нойоном-темником!» — «Что за счастье стать нойоном-темником для меня, который теперь предрек тебе столь высокий сан! Мало поставить нойоном-темником, ты разреши мне по своей воле набирать первых красавиц в царстве да сделай меня мужем тридцати жен. А кроме того, преклоняй ухо к моим речам» (Сокровенное сказание, 121).

Искренний Хорчи назвал главные мотивы монгольского нукера — близость к власти и страсть к женопромыслу. Случилось так, что сон Хорчи сбылся, и сновидец дожил до мига триумфа, когда Чингис-хан жаловал наградами и владениями своих верных слуг. Хан не забыл уговора:

«Ты предсказал мне будущее, и в юности моей и по сей день в мокроте мок со мною, в стужу — кочепел. Ты, Хорчи, помнишь, говорил: “Когда сбудется мое предсказание, когда Небо осуществит твои мечты, дай мне тридцать жен”. А так как ныне все сбылось, то я и жалую тебя: выбирай себе тридцать жен среди первых красавиц этих покорившихся народов» (Сокровенное сказание, 207).

Из отданных ему в подчинение «лесных народов» Хорчи выбрал для осуществления своей мечты туматов. Нойон действовал, види-

мо, слишком прямолинейно, не дав туматам времени разобраться в тонкостях большой политики. Племя восстало и захватило Хорчи в плен. Чингис-хану пришлось выручать верного нойона, причем дипломатично, чтобы рассерженные сибирские охотники не разрушили мечту пленника неосторожным членовредительством. К туматам был послан Худуха как «хороший знаток лесных народов», но и он оказался в плену. Лишь усилиями отряда Дорбо мятежных туматов удалось замирить, и у истории был счастливый конец: освобожденный Хорчи «набрал себе тридцать девиц» (Сокровенное сказание, 241).

Прямодушного Хорчи превзошел в ясности мотивации лишь сам Чингис-хан. Однажды он спросил Боорчу, Борагула и сыновей Хубилая, в чем заключается «высшая радость и наслаждение для мужа». Боорчу завел речь о сизом соколе, добром мерине и хорошей охоте, другие присоединились к восхвалению ловчих птиц, на что Чингис-хан возразил:

«Вы не хорошо сказали! Наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том, чтобы подавить возмущившегося и победить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет; заставить его замужних женщин рыдать и обливаться слезами, сесть на его хорошего хода с гладкими крупами мерин, превратить животы его прекрасных супруг в ночное платье для сна и подстилку, смотреть на их розоцветные ланиты и целовать их, а их сладкие губы цвета грудной ягоды сосать!» (Рашид-ад-дин 1952 II:265).

Это знаменитое изречение (*билик*) Чингис-хана настолько красноречиво, что его обычно оставляют без комментариев, приводя как иллюстрацию дикости кочевых нравов XIII в. Если прислушаться к нему без оторопи, то можно различить голос мудрого хана, не красующегося перед наложницами, а беседующего с друзьями. Это не только ценностный опыт жизни, но и деятельностная мотивация; не от строительства государства получал истинное удовольствие Чингис-хан, как полагают за него историки, а от женщин с розоцветными ланитами и мерин с гладкими крупами. Чингис-хан ревниво следил за соблюдением его верховной собственности на всех захваченных женщин. На этом поприще выслужился Паяа, перебежчик от Таргута-Кирилтуха, выразивший свое амплуа в стихах: «Хану всегда я служил от души. / Жен ли прекрасных иль дев у врага / Только завидев, я к хану их мчу» (Сокровенное сказание, 197). При жизни у Чингис-хана было пятьсот жен и наложниц,

собранных в ходе завоеваний разных племен и народов; и после смерти его любвеобильной душе приносили в жертву девушек: на поминальном курултае «выбрали сорок красивых девушек из родов и семей находившихся при нем [Угэдэе] эмиров и в дорогих одеждах, украшенных золотом и драгоценными камнями, вместе с отборными конями принесли в жертву его [Чингис-хана] духу» (Рашид-ад-дин 1952 II:68; 1960:19).

Захват женщин и насилие над ними были связаны с синдромом покорителя-завоевателя и оказывали деморализующее действие на врага; в этом измерении «женская политика» была частью геополитики. Например, хорезмшах Мухаммед, главный соперник Чингис-хана в степях Евразии, успешно бегал от монголов по Ирану и Ираку до тех пор, пока не получил известия о взятии ими крепости Карун, где скрывался его гарем. Узнав о том, что сокрушены Бухара и Самарканд, хорезмшах «произнес четыре раза такбир [«Аллах велик»] над своим владением и пустился в путь»; узнав о том, что пала крепость Карун и «его гарем обесчещен», он умер (Рашид-ад-дин 1952 II:209–213).

Лошади, наряду с женщинами, были неременной целью налетов, и борьба за улусы в Халхе напоминала соперничество за гарем и табун.<sup>22</sup> Отношение хан–улус было чем-то похоже на отношения муж–гарем и пастух–табун: просившиеся в улус Чингис-хана эмиры племени чжурьят передали это словами: «Мы остались подобно безмужним женам, табуну без хозяина, стаду без пастуха!» (Рашид-ад-дин 1952 II:89). Кочевой улус постоянно двигался, и залогом его маневров было состояние лошадей. Конь — не просто часть улуса, но и его дееспособность (жизнеспособность, боеспособность), поэтому их захват был равнозначен взятию селения у земледельцев. Не случайно именно кража разбойниками восьми соловых мерингов вызвала приступ безудержной ярости обычно осторожного Темучжина, а в своем предсмертном признании Чжамуха в числе причин победы анды назвал 73 орлюка — 73 мерина.

---

<sup>22</sup> Женщины и лошади обычно стояли рядом в размышлениях ханов. Например, керейтский Сарык-хан в свое время сетовал: «Из сотни жен, которых я имею, нет ни одной, которая приходилась бы по сердцу. Я не знаю рук и ног той, которая имеет разум, как я не знаю разума той, у которой красивые руки и ноги; нет красавицы, знающей дело, и искусницы. Из тысячи мерингов, которых я имею, нет ни одного мне по сердцу: или припадает в беге на ноги, или необузданный и с норовом, или слишком смирен; тот же, который хорошо выезжен и крепко сложен, — не в теле» (Рашид-ад-дин 1952 I:113).



Домашних животных монголы делят на две группы — «с горячим дыханием» (лошади и овцы) и «с холодным дыханием» (верблюды, козы, коровы, яки, хайнаки). На кочевье лошади замыкают жизненное пространство: ближайший к юрте круг называется «территорией, на которой пасутся телята», средний — «территорией, на которой пасутся овцы», дальний — «территорией, на которой пасутся лошади». Ритм жизни монголов тоже традиционно размечен «лошадиными метками»: день, делящийся на 29 отрезков, начинается на рассвете с «первого доения кобылиц» и завершается на закате «шестой дойки кобылиц». На главном празднике монголов, Надоме, конные скачки скрупулезно ранжированы по семи заездам: в первом участвуют кони-двухлетки, во втором — трехлетки, в третьем — четырехлетки, в четвертом — пятилетки, в пятом — шестилетки и старше, в шестом — только жеребцы (*азарга*), в седьмом — только иноходцы (*жороо*) (Жуковская 2002:26, 41, 80, 87). Высоко ценимые монголами мерины отличаются тем, что умеют чутко прислушиваться к своему хозяину и не отвлекаться на кобыл в ходе сложных маневров.

«Сокровенное сказание» дает понять, что даже одиночество по-монгольски — это одиночество вдвоем, с конем. В рассказе о налете тайчижутов рисуется картина страданий прячущегося в тайге одинокого мальчика Темучжина, пока вдруг не выясняется, что все это время он провел со своим конем. Сходен и образ его легендарного предка, Бодончара-простака, обделенного братьями и одиноко бредущего куда глаза глядят, но на коне, пусть и жидкохвостом. Близок к голодной смерти изгой Тоорил, скитающийся по степям «на кривом кауром». Финалом трагедии Тоорила оказывается судьба его сына Сангума: слуга утоняет у него последнего мерина, после чего сказание забывает Сангума — он как будто еще жив, но уже без коня и потому обречен.

В степном мире, где человек неотделим от коня, дети вырастают всадниками. Наблюдатели-европейцы, сами не чуждые навыков выездки, удивлялись: «Дети их, когда им два или три года от роду, сразу же начинают ездить верхом и управляют лошадьми и скачут на них, и им дается лук сообразно их возрасту, и они учатся пускать стрелы, ибо они очень ловки, а также смелы» (Плано Карпини 1993:32). Китаец Чжао Хун отмечал: «Татары рождаются и вырастают в седле... Поэтому у них нет пеших солдат, а все — конные воины... Они очень способны к верховой езде... Лошадей на первом

или втором году жизни усиленно объезжают в степи и обучают. Затем растят в течение трех лет и после этого снова объезжают их. Кони не ржут, не убегают... Всякий раз, когда татары выступают в поход, каждый человек имеет несколько лошадей. Он едет на них поочередно, сменяя их каждый день. Поэтому лошади не изнуряются» (Кычанов 2004:293–294). Марко Поло отмечал, что во время быстрых походных маршей всадники, случается, скачут «десять дней без пищи, не разводя огня, и питаются кровью своих коней: проткнет жилу коня, да и пьет кровь» (Книга Марко Поло 1956:91). Животное связывают, валят на землю, надрезают вену вблизи шеи и сцеживают кровь в какую-нибудь посудину, а иногда просто прижимают губами к надрезу и пьют прямо из него. Не причиняя вреда животному, от него за один раз берут не более 300 г крови, и за несколько дней потеря восстанавливается. Этого количества достаточно в качестве суточного рациона. Как походная пища кровь удобна тем, что не требует ни специальной транспортировки, ни специального приготовления (Жуковская 2002:89).

«Кровная связь» воина с конем усиливалась в бою, исход которого во многом зависел от состояния лошадей. В тактике стремительных маневров, облав, окружений состояние коня было решающим условием успеха. Призывая к войне с Темучжином, сын Тоорила Сангум велел: «Поднимайте же боевое знамя, Бильге-беки и Тодое! Откармливайте коней — нечего судить-рядить» (Сокровенное сказание, 181). Перед сражением с найманами летом 1204 г. лошади монголов были утомлены в охотничьих облавах, и полководец Додай-черби предлагал выждать время: «Давайте же широко развернемся и постоим в этой степи Саари-кеере, пока не войдут в тело кони... А как откормим коней, то сразу же обратим в бегство их караул, разобьем его, прижмем к главному среднему полку и в этой-то суматохе ударим на них» (Сокровенное сказание, 193). Со своей стороны, рассмотрев случайно забежавшего к ним тощего монгольского коня с перевернутым под брюхо седлом, найманы собрали военный совет и разработали план: «Кони монголов тощи, подразнив [монголов], мы начнем понемногу отступать для того, чтобы они пустились нас преследовать, их кони еще более ослабеют, а наши окажутся резвыми, затем мы остановимся и дадим сражение» (Рашид-ад-дин 1952 II:147). Расчет найманов провалился, и они проиграли сражение, но ставка на коней в степных войнах была предельно высока, особенно если

речь шла о скоростных маневрах. Поражения, которые терпели татаро-монголы в дальних походах, обычно были следствием плохого состояния лошадей. Именно свежая конница египетских мамлюков решила исход битвы с монгольской армией при Айн-Джалуте в сентябре 1260 г.

«Лошадиной силой» измерялся размах завоеваний монголов. Они останавливались там, где испытывали затруднения их кони: в пустынях Передней Азии, дебрях и болотах Валдая, лесистых горах центральной Европы, при переправе на Японские острова. Границы Великого монгольского улуса во многом определялись пространством конных войн. Передавая старшему сыну Чжучи кыпчакскую (восточноевропейскую) степь, Чингис-хан сказал: «Пусть будет пастбищем для твоих коней» (Утемиш-хаджи 1992:91). С тех пор Улус Чжучи простирался до земель хазар, болгар, урусов и черкесов, «вплоть до тех мест, куда достигнет копыто татарской лошади» (Тизенгаузен 1941:204).

### *Орда и война*

Улус и орда — понятия близкие, обозначающие кочевое сообщество, возглавляемое степным вождем. В буквальном значении *улус* — «народ-удел» степного вождя (Владимирцов 1934:97), *орда* — ставка хана, при которой кочуют многочисленные родственники, дружинники и слуги (Жуковская 2002:27).<sup>23</sup> В этих нередко взаимозаменяемых словах выражены оттенки динамики: улус живет своей внутренней жизнью, будто заведенный кочевой механизм, тогда как военная машина орды устремлена на захват и подчинение других народов. Орда, будь она даже мала, расправлена наружу, а улус, будь он и велик, замкнут внутрь. Когда кочевники выступали в поход, вокруг орды собирались части улусов — курени и тьмы; на войне хан и его нукеры создавали из улусов армии, которые в завоеванных землях, вбирая в себя туземцев, превращались в новые кочевые народы и нередко назывались ордами. В понятии *орда* есть качество ситуативной сборности, отмеченное Л. Н. Гумилевым: «У древних монголов слагались не роды и племена, а орды. Слово “орда” означает некоторое количество совместно живущих людей, определенным образом организованных. Орда может состоять из самых разнородных элементов

<sup>23</sup> Ставка хагана (хана ханов) называлась Еке Ордос — «Великой ордой» (Сокровенное сказание, 271).

по крови, языку, религии, нравам, но организация для орды — необходимое условие. Во главе орды стоял хан, причем, как правило, ханы выбирались или утверждались на курултае — общем собрании полноправных членов орды»; «орда — это народ-войско» (Гумилев 1993:74; 1997:230).

Для антропологии движения особый интерес представляет превращение Темучжина из главаря военно-разбойничьей банды в Чингис-хана — правителя огромной империи. Это преобразование во многом остается таинством, хотя продолжает вызывать жгучий интерес у исследователей и обывателей. Историки обычно обращают внимание не на сам переход, а на его предпосылки и результаты в свете законов социального развития. При этом мотивации действующих лиц остаются «за кадром» или сводятся к некоему имперскому инстинкту, из-за чего Чингис-хан представляется с раннего детства одержимым имперской идеей. В действительности главный герой монгольской эпопеи не столь однолинеен в своих установках; он изменчив и многолик, что и обусловило его восхождение. Темучжин сумел не столько взрастить, сколько собрать власть по степи, узурпируя и имитируя чужие «политические капиталы». Именно в мастерстве «первоначального накопления власти» состоял дар Темучжина, а благоприятной социальной средой была бурлящая склоками и разбоями степь.

Звездное небо поворачивалось — была всенародная распря. В постель свою не ложились — все друг друга грабили. Вся поверхность земли содрогалась — вседневная брань шла. Не прилечь под свое одеяло — до того шла общая вражда (Сокровенное сказание, 254).

До возвышения Чингис-хана локальные военные конфликты в Халхе были повседневностью, незаметной их соседям. В эпоху государства Ляо (1180 г.) монголы (*мангули*), обитавшие севернее киданей, описывались как охотники-кочевники, которые «с киданями не воюют, а лишь торгуют с ними изделиями из шкур и шерсти крупного рогатого скота, овец, верблюдов и лошадей» (Е лунли 1979:305). Они «не были объединены друг с другом, и между ними шли постоянные распри и ссоры. Некоторые из них считали разбой и насилие, безнравственные поступки и пьянство подвигами мужества и превосходства» (Ata-Malik-Juvaini 1958:21).

Современники ставили в заслугу Чингис-хану замирение племен, а не разжигание войн. На самом деле войны продолжались, но менялся их облик: мелкие стычки уступали место междуна-

родным завоеваниям. Чингис-хану как социальному инженеру удалось собрать и перенаправить локальную военную энергию монголов на магистральные пути. При этом, как отмечали многие исследователи, он не был выдающимся полководцем и блистательных побед добивался руками своих союзников и нукеров.<sup>24</sup> Чингис-хан обладал политическим даром мотивации и утилизации войны.

Все началось в том самом 1180-м, когда кочевые охотники-монголы казались киданям безобидными соседями. Мотив первой затейной Темучжином войны вполне соответствовал суждениям современников о царящих в степи ссорах и разбоях: подарком (собольей дохой), воспоминаниями о братстве (Тоорила с Есугеем) и стенаниями об опустошенном ложе он склонил Тоорила и Чжамуху напасть на меркитов. Итогом похода был погром меркитского улуса, истребление воинов, захват женщин и имущества. При этом в начале похода Темучжин, слабейший из триумvirата, прятался даже от туменов Тоорила и двигался в хвосте союзного войска, а после победы первым вознаграждал союзников благодарственными словами и трофеями. Во взаимном одаривании Темучжина и Чжамухи отнятыми у меркитов золотыми поясами и скакунами виден еще дух братства разбойников.

Попыткой уловить ветер международной политики был для Темучжина поход на татар, с которыми вел тогда войну китайский полководец Вангин-чинсян.<sup>25</sup> Узнав о наступлении китайцев и бегстве татар, Темучжин призвал к действию Тоорила и чжуркинцев: «Татары — наши старые враги. Они губили наших дедов и отцов. Поэтому и нам следует принять участие в настоящем крово-

---

<sup>24</sup> Например, по наблюдениям Л. Н. Гумилева, Темучжин не проявлял талантов в военных действиях: контрнабег на меркитов — дело рук Джамухи и Ван-хана, битва при Далан-балчжутах была проиграна; битва при Койтене получила благоприятный оборот лишь вследствие распада античингисовской конфедерации; разгром керентов осуществил Чаурхан; диспозицию разгрома найманов составил Додай-черби, а вели войска в бой Чжебе, Хубилай, Чжелме и Субедей. «Становится совершенно непонятно, как такой человек, бездарный, злой, мстительный, трусливый, мог основать из ничего мировую империю» (Гумилев 1997:304–305).

<sup>25</sup> В 1160–80-е гг. чжурчжэньские императоры проводили целенаправленную политику уничтожения кочевников. По «Мэн-да бэй-лу», каждые три года на север посылались войска для «сокращения совершеннолетних» — истребления и уничтожения татар (Крадин, Скрынникова 2006:120)

пролитии» (Сокровенное сказание, 133).<sup>26</sup> Вовремя организованное соучастие в китайской кампании принесло Тоорилу и Темучжину китайские титулы (соответственно, *ван* и *чаутхури*), пленных и мелкие трофеи (Чингис-хан взял у Мегучжина серебряную зыбку и одеяло, расшитое перламутрами). И на этот раз Темучжин одержал победу чужими силами, но был первым в инициировании похода и дележе добычи.

Самостоятельно Чингис-хан выступил против дружественных чжуркинцев, участвовавших в избрании его ханом, в наказание за неявку в татарский поход. В этом рейде зазвучал новый мотив — кары за непослушание. Строптивых и воинственных чжуркинцев, потомков Хабул-хана, «Чингис-хан сделал своими наследственными рабами», присоединив их к своему улусу (*irgen-i ulus-i*) (Сокровенное сказание, 139; Крадин, Скрынникова 2006:101).

В год курицы (1201) вожди тайчжиутов, меркитов, татар и других племен избрали Чжамуху гур-ханом, вслед за чем «уговорились выступить в поход против Чингис-хана и Ван-хана». Получив об этом известие, Чингис-хан так передал его Ван-хану, что тот «немедля поднял войско и прибыл к Чингис-хану» (Сокровенное сказание, 141). Мгновенно отреагировав на избрание Чжамухи (несколькими годами ранее Чжамуха ответил на избрание ханом Темучжина лишь ворчанием), Чингис-хан в очередной раз развязал войну, используя Тоорила в качестве ударной силы. Разгон воинства Чжамухи сопровождался погромом его союзников-тайчжиутов, с которыми Темучжин свел давние «родственные» счета, взяв пленных и имущество.

В год собаки (1202) преследование враждебных улусов продолжалось, и, скорее всего, именно Чингис-хан был его вдохновителем. Тоорил бил меркитов и гнал их до Байкала, а Чингис-хан выступил

---

<sup>26</sup> Отношения монголов и татар, как и история имени «татары», — богатая событиями и неожиданными поворотами этноисторическая драма. Основные ее вехи-сцены: татары — одно из могущественных племен Халхи; Есугей-баатур нарекает сына именем пленного татарина Темучжина; татары мстят Есугею, отравив его ядом; носитель татарского имени Темучжин мстит татарам за отца и борется с ними за власть в степи; Темучжин устраивает массовую резню татар; слово «татарин» становится нарицательным в значении «противник» — так монголы называют покоряемые племена; используя «татар» в качестве живого щита, монголы делают их авангардом завоеваний; «татары» стяжают славу ударных ханских войск; завоевания придают орде смешанный облик «татаро-монголов», или «монголо-татар».

против татар. Он впервые вел войска в большой самостоятельный поход, проявив два прежде незаметных свойства, ставших позднее ключевыми звеньями его политики. Во-первых, он жестоко и демонстративно, с дебатами и вердиктом на «великом совете», провел резню татар, «исконных губителей дедов и отцов»: их истребили «дотла», почти поголовно сравнив ростом с тележной осью, а оставшихся раздав по разным местам в рабство.<sup>27</sup> Во-вторых, он заявил свое исключительное право на добычу, запретив кому-либо во время боя захватывать трофеи. У нарушивших этот указ Даритай-отчигина (родного дяди), Алтана и Хучара (выдвинувших его в ханы) Чингисхан руками нукеров Чжебе и Хубилая отнял захваченные табуны и вещи. Используя статус единоличного вождя войска, он прямо в ходе военных действий утверждал свое верховенство. В этом проявилось еще одно замечательное качество монгольского вождя: он осуществлял реформы на скаку, в разгар войны, когда, казалось бы, преобладали другие задачи. В политической цепкости, способности на волне одного движения (военного похода) совершать параллельные социальные действия (укрепление единовластия) кроется одна из тайн быстрых успехов Чингис-хана. Будучи заурядным полководцем, он виртуозно использовал войну в достижении политических целей, осознавая, что именно война в кочевом обществе служит плавильным котлом устоев и ценностей.

В год свиньи (1203), ведя переговоры с «ханом и отцом» Тоорилом о былых клятвах и нынешних обидах, Чингисхан внезапным ночным налетом разгромил его улус. Мотив расправы Чингис-хана со своим главным благодетелем в «Сокровенном сказании» открыто не звучит, но долгое описание деталей унижительных для Чингис-хана брачных переговоров и планов покушения на его жизнь призвано оправдать коварный удар. Тон соперничества слышен в обращении Чингис-хана к Тоорилу: «Хоть я и мал числом, а не занимать мне многолюдства. Хоть и низок я родом, а не занимать мне благородства. Когда у повозки о двух оглоблях сломается одна оглобля, — и волю ее не свезти. Не так ли и я был твоею второю оглоблей?». По тому, как жестоко избивал Чингисхан союзный керейтский улус, видна глубина мотивации и эмоций. Приказав

---

<sup>27</sup> Рашид-ад-дин привел не менее впечатляющие подробности: Чингисхан «повелел произвести всеобщее избиение татар и ни одного не оставлять в живых... а беременным рассечь утробы, дабы совершенно их уничтожить» (Рашид-ад-дин 1952 I:106).

«раздавать» керейтов «во все концы», «всех вдоволь оделил он керейтскими пленниками... А кровавых разбойников чжиргинских богатырей так и не могли полностью размельчить и разобрать». И только младшему брату Тоорила, Чжаха-Гамбу, он сохранил его владения, «милостиво позволив» служить «второй оглоблей своей колесницы» (Сокровенное сказание, 177, 186, 187). Разгромив Тоорила, Чингис-хан устроил большое собрание «в благодарность за это великое благодеяние, установив хорошие и твердые уставы, он счастливо воссел на ханский престол» (Рашид-ад-дин 1952 II:134).

В керейтском погроме ощутимо нечто большее, чем обычное сведение счетов между вождями-конкурентами. Скрупулезное «размельчение» керейтов было развитием отработанного на чжуркинцах метода уничтожения нобилитета.<sup>28</sup> Более того, Чингис-хан не просто одолел «отца» Тоорил-хана, но и политически сверг его, демонстративно поглумившись над ханскими инсигниями — золотой юртой и ее содержимым: он не взял ее себе в качестве трофея, а бросил к ногам керейтских табунщиков, Бадаю и Кишлиха, предавших собственного хана и донесших Чингис-хану о готовящемся на него покушении. В предыдущих (с Таргутай-Кирилтухом) и последующих (с Чжамухой) случаях Чингис-хан нарочито казнил слуг, изменивших своему господину. Случай с керейтскими конюхами составил исключение.

И еще изволил повелеть Чингис-хан: «В награду за подвиг Бадаю с Кишлихом пусть будут у них сменной стражей, кешиктенами, ванхановы керейты, вместе с золотым теремом, в котором жил Ван-хан, с винницей, утварью и прислутой при них. И пусть Бадай с Кишлихом, в роды родов их, пользуются свободным дарханством, повелевая своим подданным носить свой сайдак и провозглашать чару на пирах. Во всяком военном деле пусть они пользуются тою военной добычей, какую только нашли!» (Сокровенное сказание, 187).

Если учесть, что Тоорил-хан и его керейты были на тот момент «золотым родом» Халхи, низведение их гвардии до положения при-

---

<sup>28</sup> Позднее, подавив остатки меркитов, Чингис-хан приказал так же раздать всех до единого по разным сторонам. «Это им за то, — говорил он, — за то, что мы, ради покорности их, позволили им жить как раньше жили; а они еще вздумали поднимать восстание!» (Сокровенное сказание, 198). На просьбу сына Чжучи помиловать меркитского царевича Култукан-мэргэна, необыкновенно меткого стрелка, Чингис-хан ответил: «Нет ни одного племени хуже племени меркитов... Врагу государства нет лучшего места, чем могила!» (Рашид-ад-дин 1952 I:116).



слуги конюхов было политическим переворотом. В очередной раз Чингис-хан проявил способность к быстрым и сложным социальным маневрам, превратив ночной налет в политическое действо. Его попытки повысить свой статус через браки с родней хана Тоорила провалились, и он предпринял решительный ход — низверг хана, сделав его приближенных слугами плебеев.

Будучи побочным отпрыском ханского рода и обиженным сиротой, Чингис-хан последовательно использовал приемы, общие для всех плебейских революций. Он неизменно уничтожал или унижал вождей и аристократию побежденных народов, подчиняя их своим нукерам. Благодетель перебежчиков, изгоев и сирот, Чингис-хан интуитивно осуществлял миссию «вождя обездоленных». По существу, в год свиньи в Халхе случилась этносоциальная революция, приведшая к смене не только этнической элиты (керейтов — монголами), но и управленческой системы (родовых вождей — ханскими нукерами). Эффект стремительной централизации власти и завоевательной экспансии монголов был вызван именно этими преобразованиями, которые, на языке новейших революций, «всколыхнули массы».

Самым неожиданным и странным в «Сокровенном сказании» кажется эпизод с головой Тоорила. Как уже отмечалось, по велению найманского хана Таяна к нему в ставку привезли отрубленную голову керейтского хана, и вокруг нее начался обряд жертвоприношения. Таян высокомерно рассуждал о «ничтожных монголишках», которые довели до смерти «древлеславного великого государя Ван-хана». Ему вторила ханша Гурбесу, с презрением говоря об исходящей от монголов нестерпимой вони, об их девках и бабах, годящихся разве что для дойки коров и овец. Под звуки лютни пели женщины, на разостланной белой кошке лежала голова Тоорила, и присутствующие сложили перед ней молитвенно руки. Вдруг голова рассмеялась, и взбешенный или испуганный Таян приказал растоптать ее (Сокровенное сказание, 189). В оскале мертвой головы чудится предупреждение умудренного смертью Тоорила легкомысленному Таяну, который недооценил событий «в северной стороне» и которому суждено было пасть следующей жертвой монгола. В «Летописях» этот сюжет представлен диалогом Таян-хана и головы Ван-хана: «Однажды Таян-хан сказал голове: „Скажи что-нибудь!“ Рассказывают, что в таком положении [голова] несколько раз высывала язык изо рта. Эмиры Таян-хана сказали: „Это неблаго-

приятное значение! Удивительно, если гибель не постигнет царство и нас!" Так и было» (Рашид-ад-дин 1952 I:133).

Сибирские летописи, спутав веру героев и место событий, сохранили идеологию монгольского переворота: «На сей же реке Ишиме был царь Моаметова закону именем Он [Ван-хан]. И восстал на него его же державы от простых людей именем Чингис, и пошел на него, яко разбойник, с прочими, и убил царя Она, и царство сам приемлет Чингис» (ПСРЛ 1987:46). Для сибирского летописца татарская народная память сберегла только двух героев далеких событий, в которых Тоорил-хан предстает законным царем, а Чингис-хан — простолюдином-разбойником-узурпатором. Эта летописная версия, напоминая не то народную сказку, не то вульгарный марксизм, перекликается с образом «доброего и щедрого» Темучжина: «Этот царевич Тэмуджин снимает одетую одежду и отдает ее, слезает с лошади, на которой он сидит, и отдает. Он тот человек, который мог бы заботиться об области, пещься о войске и хорошо содержать улус» (Рашид-ад-дин 1952 II:90).

Многие исследователи, и обстоятельнее других Л. Н. Гумилев (1997), обращали внимание на небрежение Чингис-хана к степной традиции родства.<sup>29</sup> По сценарию Гумилева, борьба старого и нового выражалась в противостоянии родовых старейшин (старомонгольской партии Чжамухи) и «людей длинной воли» (новомонгольской партии Темучжина). Первые поддерживали традиционный порядок, стремясь «создать конфедерацию племен с выборным ханом»; вторые, не желая мириться с «необходимостью быть всегда на последних ролях, отделялись от родовых общин, покидали свои курени» и группировались вокруг Темучжина, «который был по существу одним из них». Свободные от привязанности к традиции «люди длинной воли» (*utu duri-yin güün*) напоминали под пером Гумилева степной пролетариат, разбойную чернь, склонную к мятежам и переворотам. Правда, романтизация «людей длинной воли» обернулась эффектом обратной копии: у Гумилева эти бродяги оказались чуть ли не народом длинной воли; они «стали

<sup>29</sup> Т. Барфилд, например, полагает, что, в отличие от предшествующих степных правителей, Чингис-хан возвысил сборную многоплеменную элиту над собственной родней-семьей, в связи с чем военная организация монголов была не пиком развития традиции, а отклонением от нее. Создание Монгольской державы — это «революция, но не та, что основывается на классах или идеологии. Это была практическая революция, направленная на стабилизацию личной власти Чингис-хана» (Barfield 1992; Барфилд 2004:265–266).

составлять отдельные отряды, чтобы сопротивляться своим организованным соплеменникам, и искать талантливых вождей для борьбы с родами и родовыми объединениями»; «в их среде оказался сын погибшего племенного вождя и правнук общемонгольского хана, потерявший состояние и общественное положение, член знатного рода Борджигинов, Тэмуджин, впоследствии ставший Чингисханом» (Гумилев 1997:213–214). В действительности почти все первые нукеры Темучжина были приведены к нему в стан их отцами, принадлежавшими к определенному роду-племени.<sup>30</sup> Не сброд босяков, каких всегда и везде было много, а вождь-сирота с поразительной способностью к социальной мобильности и широким диапазоном адаптивности стал генератором новой по качеству орды, в которую стекались любители не только разбоя, но и жесткого порядка.

Свергнув Тоорила, Темучжин удовлетворил свои амбиции в тех пределах Халхи, которые с детства ограничивали его представления о мире. Трудно сказать, как бы сложилась его последующая судьба в кругу семьи, охоте на куланов и споре за местную власть (в живых оставался Чжамуха), если бы не вызов, брошенный найманским ханом Таяном. Впрочем, судя по неожиданному появлению Чжамухи в ставке Таяна, именно ему, неутомному побратиму, Темучжин во многом обязан тем, что локальная монгольская история превратилась во всемирную.

Казалось, ничто не предвещало неожиданностей и потрясений. Шел год мыши (1204), орда Темучжина была поглощена любимым делом — облавной охотой, от которой монгола могла отвлечь только война или смерть. Например, когда войско Темучжина после боя с кереитами проводило облавы на дикого зверя, раненый Хуилдар, несмотря на боль и уговоры Темучжина, не мог удержаться и «продолжал скакать за зверем», пока рана его не открылась и он не умер; Темучжину осталось только похоронить азартного нукера в скалах у реки Халхи. На этот раз облавы проходили в степи Темен-кеере, вокруг урочища Тулкин-чеуд. Охоте помешал посол онгутского пра-

<sup>30</sup> Родство и знание родословия у монголов было основанием идентичности: «У всех [этих племен] четкое и ясное родословное древо [шаджарэ], ибо обычай монголов таков, что они хранят родословие предков и учат и наставляют в [знании] родословия [насаб] каждого появившегося на свет ребенка. Таким образом они делают собственностью народа слово о нем, и по этой причине среди них нет ни одного человека, который бы не знал своего племени и происхождения» (Рашид-ад-дин 1952 II:13).

вителя Алахуша,<sup>31</sup> принесший весть о затеваемом найманами походе на монголов. Загонщики «тут же на охоте стали совещаться, как быть, причем многие указывали на отошальность... коней и недоумевали, что теперь делать». Додай-черби предложил постоять в степи, откормить коней, а потом неожиданно напасть на неприятеля. Отчигин-нойон возразил, что у него, несмотря на облавы, кони жирные, а Бельгутай-нойон, взяв слово, вдохновлял монголов: «Найманы хвастают, уповая на то, что улус их велик и многолюден... Не побегит ли многолюдье их спастись в горные страны? <...> На коней не медля!» (Сокровенное сказание, 175, 190).

Чингис-хан остановил охоту, отошел в урочище Орнойун-кельтегай-хада на реке Халхе, произвел подсчет своих сил и неожиданно перекроил орду на новые тьмы, тысячи, сотни и десятки. Тут же он сформировал гвардию ханских телохранителей *кешик* из 80 ночных стражей-кебтеулов, 70 дневных стражей-турхаудов и тысячи богатырей турхах-кешиктенов, которым было предписано состоять при ставке хана, а «в дни битв сражаться пред его очами». Созданию кешика бдительный хан уделил особое внимание, зачисляя в гвардию «самых способных и видных наружностью сыновей и младших братьев нойонов, тысячников и сотников, а также сыновей людей свободного состояния» (Сокровенное сказание, 191). Так, откармливая коней, Чингис-хан прямо перед битвой с найманами перестроил облавную орду в орду-армию. Это преобразование было органичным, поскольку тактика войны монголов выросла из облавной охоты и имела с ней много общего. В очередной раз маневренный вождь на ходу провел войсковую реформу, принесшую монголам победу в битве с найманами и последующих походах. Первым это оценил Чжамуха, бывший в ту пору союзником Таян-хана. Издали глядя на разворачивающийся строй армии Чингис-хана, он сказал своим нукерам: «Знайте, что приемы и боевой порядок войск [моего] побратима... стали иными!» — после чего усакал с поля битвы (Рашид-ад-дин 1952 II:148).

Многие историки сходятся в том, что десятичный счет удобен для армии, что монголами этот порядок был унаследован от предыдущих степных царств, строившихся по десяткам—сотням—тысячам—тьмам со времен хунну. В любом случае следует отдать должное

---

<sup>31</sup> Тюркоязычные онгуты, потомки воинственных тюрк-шато, обитали у Великой китайской стены, в горах Иньшаня, и служили маньчжурским императорам династии Цзинь в качестве пограничной стражи (Гумилев 1997:169).

Чингис-хану и его нукерам: в момент мобилизации они не только вовремя вспомнили уроки предков, но и рискнули применить их в преддверии опасной битвы. Реформа войска была опережающей реакцией на дуэль с сильным соседним ханством — и в этом смысле она была пред-адаптацией к ожидаемой ситуации.

Сама по себе десятичная структура не обеспечивает боеспособности войска, и вообще армия создается не для удобства счета (при соответствующем навыке считать семерками, девятками или дюжинами не менее удобно, чем десятками). Гораздо важнее создание механизма действия-движения войска в унисон с волей и настроением хана. В этом отношении новая армия действительно представляла собой шедевр организма, все движения которого направлялись ставкой хана — ордой, а орда-ставка управлялась ханом через кешик. Чингис-хан повелел:

«Стрельцы, турхауды, кешиктены, кравчие, вратари, конюшие, вступая в дежурство утром, сдают должность кебтеулам перед закатом солнца и отправляются на ночлег к своим коням. Кебтеулы, расставив кого следует на дежурство при вратах, несут ночную караульную службу вокруг дома. Наутро, в ту пору, когда мы сидим за столом, вкушая суп-шулен, стрельцы, турхауды, кравчие и вратари, сказавшись кебтеулам, вступают каждый в свою должность и располагаются по своим постам» (Сокровенное сказание, 192).

Кешик, будучи личной охраной хана, одновременно контролировал всю орду-армию. Чингис-хан с детства, начиная с боязни собак, отличался повышенной, почти патологической, бдительностью, и это послужило основанием установления жесткой дисциплины как в ставке, так и во всем войске. Осторожность хана, внешне напоминающая трусость, была замечательным свойством в условиях степных конфликтов, когда охотник мог вмиг превратиться в добычу (на этом эффекте, кстати, основан знаменитый способ монгольского боя — заманивания отступлением). Для охотника-воина важно умение не только вести облаву, но и предчувствовать западню. Обратной стороной искусства облавы было умение избегать ее, поскольку загнанный зверь или человек обречен психологически. Победителем во встречах маневрах выходил тот, чья атака была окончательной. Все ханы бежали от своих недругов (и это было маневром, а не трусостью), но Темучжин делал это лучше других. После детского тайчжунтского плена он ни разу не попадал в расставленные ловушки. Совершая стремительные и

дальние перекочевки, невзирая на ночь и усталость, он превосходил ожидания соперника. Он был виртуозом предупредительных маневров, исчезал как невидимка и появлялся как дух из дымника. Известен билик Чингис-хана по поводу того, как нужно ездить в смутное время:

«Ездил Даракай-Ухэ из племени катакин: он ехал в смуту; с ним было два нукера. Они издали заметили двух всадников. Нукеры сказали: “Нас трое, нападём на них, их двое!” Тот ответил: “Так же как мы их увидели, так же и они нас должны были увидеть, нападать не следует!” И, ударив коня плетью, усккал. Затем выяснилось, что одним из тех двух был Тимур-Ухэ из племени татар и что он посадил в ущелье в засаду около пятисот человек из своих нукеров, а сам показался с тем, чтобы, когда эти три всадника нападут на него, он, обратившись в бегство, кинется в то место и схватит их с помощью сидящих в засаде нукеров. Но Даракай-Ухэ догадался об этом и усккал... Смысл таков: в делах необходимы осторожность и осмотрительность» (Рашид-ад-дин 1952 II:261).

Чутье опасности и мастерство маневра стало основой реформы орды. Парадокс состоял в том, что мотивационно новый порядок исходил из заботы хана о своей безопасности, но оказался мощным средством организации армии, залогом успешных наступательных действий. Эффективность защиты и атаки (или опережающей атаки как лучшего способа обороны) во многом зависела от механизма управления войском — чуткой и быстрой связи хана с войском. Кешик во главе с ханом пронизал, будто нервная система, всю орду и наладил молниеносную связь ставки с армией.<sup>32</sup> В отличие от простой десятичной структуры армии, кешик был сплетен замысловато, будто густой ивняк Бурхан-халдуна, в котором Темучжину когда-то пришлось прятаться от меркитов. Десятичная простота была придана армии для удобства управления ею через сложный кешик. Орда не только построилась по приказу Чингис-хана, но и переняла его нрав, осмотрительный, мстительный и жестокий. Только армия, настроенная на яростную защиту, готова так беспощадно убивать своих и чужих, как это повелось в завоеваниях монголов. По сущест-

<sup>32</sup> Яса Чингис-хана: «Каждый из эмиров тумана, тысячи и сотни должен содержать в полном порядке и держать наготове свое войско с тем, чтобы выступить в поход в любое время, когда прибудет фирман и приказ, безразлично, ночью или днем!» (Рашид-ад-дин 1952 II:264). Когда Хубилаю понадобилось собрать большую армию, это было сделано так быстро и тайно, что никто о происходящем даже не заподозрил (Книга Марко Поло 1956:100).

ву, орда как государственный аппарат выросла из личной охраны хана и приобрела внушительные формы благодаря его обостренной заботе о безопасности собственной персоны, гарема и ставки.

В год барса (1206), после того как Чингис-хан «направил на путь истинный народы, живущие за войлочными стенами» (Сокровенное сказание, 202), в истоках Онона собрался курултай, повторно нарекший Темучжина Чингис-ханом. Вряд ли необходимость повторного избрания была вызвана тем, что в первый раз это произошло в неподходящем (недостаточно сакральном) месте (см.: Крадин, Скрынникова 2006:177–178). Ныне курултай состоял не из съехавшихся по своему умыслу родовых вождей, а из собранных по воле хана нойонов. Это был совет орды-армии, а не степной вольницы. После ритуала Чингис-хан назвал 95 нойонов-тысячников, «потрудившихся» вместе с ним «в созидании государства» (Сокровенное сказание, 202). Среди них не было ни родовых вождей, избравших некогда Темучжина ханом, ни его близкой родни.

Главные управленческие преобразования происходили не в армии, а в кешике. Чингис-хан увеличил его численность до тьмы, подробно расписав режим формирования, дежурства, смены ночных и дневных караулов. Обстоятельность повествования об этом в «Сокровенном сказании» может показаться странной, если не принять во внимание значимость кешика как ядра орды. Чингис-хан возложил на кешиктенов участие в суде, наблюдение за раздачей луков, сайдаков, панцирей и пик, за уборкой меринов и погрузкой вьючной клади, распределение (совместно с чербиями) ткани, надзор за хозяйством, женщинами, пищей хана, знаменами, барабанами. Стражи не участвовали в сражениях до того момента, пока не вступал в битву сам хан. Они непрерывно, особенно тщательно ночью, охраняли ханскую юрту, задерживая и подвергая допросу каждого, кто после заката солнца без разрешения проходил мимо. Тому, кто ночью пытался проникнуть в покои хана, они обязаны были «рубить голову по самые плечи». Карались все, кто ходил около кебтеулов, кто расспрашивал о числе кебтеулов. Примечательно повеление хана о статусе гвардии относительно армии:

«Мой рядовой кешиктен выше любого армейского начальника-тысячника. А стремянной моего кешиктена выше армейского начальника — сотника или десятника. Пусть же не чинятся и не равняются с моими кешиктенами армейские тысячники: в возникающих по этому поводу ссорах с моими кешиктенами ответственность падет на тысячников» (Сокровенное сказание, 228).

Кешик контролировал армию, не участвуя в собственно военных действиях. Тактика монголов часто состояла в направлении на передовые позиции своих союзников или даже пленных рабов. Решающую роль играл шедший в глубине строя и направлявший общее движение «срединный полк». Если хан сам принимал участие в битве, этим «полком» был кешик. Таким образом, кешик служил «центральной нервной системой» и административным механизмом империи. Достойна внимания любовь Чингис-хана к своим стражам, выраженная в слове похвалы:

«В пасмурнооблачные ночи юрты мои, имеющие дымники, кругом облегла ты, крепко убаюкивала меня во дворце, старая стража моя. Ты и на этот трон возвела меня. В звездные ночи дворцы мои кругом облегла, на постели моей не давала метаться в тревоге, благословенная стража моя. На высокий престол возвела ты меня! В переплетающиеся дожди, в трескучие морозы, в проливные дожди решетчатые юрты мои окружала ты, во мгновение ока поднималась, верная стража моя, упокоившая сердце. Ты и на радостный трон возвела меня» (Сокровенное сказание, 230).

В этом откровении слышится не только глубокая личная привязанность к кешику, но и недвусмысленное — троекратное, будто молитва, — указание на силу, которая возвела Чингис-хана на вершину власти. Кроме всего прочего, кешиктены были хранителями покоя, сновидений и «высшего наслаждения» Чингис-хана. Впрочем обратной стороной удовольствий, которые доставляли хану пятсот жен и наложниц, были граничащие с неврозом гаремные заботы. Однажды, например, Чингис-хану в страшном сне привиделось, что всевышний повелевает ему срочно подарить кому-нибудь жену Абику-хатун, бывшую с ним в ту ночь. Хан потребовал начальника караула, которым оказался Кэхтэй-нойон, и вручил оторопевшему нукеру свою жену вместе с принадлежавшими ей слугами, табунами и отарами (см.: Рашид-ад-дин 1952 I:186).

На «новом курултае» в год барса Чингис-хан еще раз продемонстрировал дар стремительного и разнопланового действия в переломной ситуации: он не только подтвердил свой ханский статус, но и сменил состав самого курултая (родовых вождей — нукерами-нойонами). Из средства избрания хана курултай превратился в инструмент его правления, в орудие подчинения степи. Трудно представить, насколько эффективно действовал курултай в распространении новой идеологии хана, но, судя по позднейшей практи-



ке чтения ясы и билика Чингис-хана на курултаях,<sup>33</sup> этот сбор изначально служил мощным средством пропаганды, или, пользуясь сегодняшним выражением, «информационной войны» в степи. Не случайно вскоре после курултая 1206 г. по степи и соседним лесам прошла волна преклонения перед монгольским ханом.

В год зайца (1207) посланный к «лесным народам» Чжучи не успел даже толком повоевать: при его приближении на поклон к монголам один за другим являлись вожди племен ойрат, бурят, бархун, урсут, хабханас, ханхас, тубас, киргиз, шибир, кесдинн, баит, тухас, тенлек, тоелес, тас, бачжиги. Одни вызывались служить проводниками, другие дарили белых кречетов, мерингов и соболей. Легкой удаче Чжучи удивился даже Чингис-хан: «Ты старший из моих сыновей. Не успел и выйти из дому, как в добром здравии благополучно воротился, покорив без потерь людьми и лошадьми лесные народы. Жалую тебе их в подданство». В числе прочих в год змеи (1209) прислал к Чингис-хану посольство уйгурский правитель Идуут, тон которого отличался от обычно надменных посланий степных вождей: «С великой радостью слышу я о славе Чингис-ханова имени! Так ликуем мы, когда рассеются тучи и явит себя мать всего — солнце. Так ликуем мы, когда пройдет лед и откроются вновь воды реки. Не пожалует ли меня государь Чингис-хан? Не найдется ли и для меня хоть шнурка от золотого пояса, хоть лоскутка от своей багряницы? Тогда стану я твоим пятым сыном и тебе отдам свою силу!» (Сокровенное сказание, 238, 239; Рашид-ад-дин 1952 II:152).

Побеждая и покоряя, орда впитывала в себя силу врагов; военные успехи увеличивали *сульдэ* (харизму) хана (Крадин 1995:192). Этому способствовала риторика «наставления народов на путь истинный» и названия орды *Yeke mongol ulus* (Великий монгольский улус).<sup>34</sup> В социальном действии подобные символы, как и слава победителя, имеют решающее значение. Судя по тому, как дружно и послушно народы сдавались Чингис-хану, орда вела ус-

<sup>33</sup> «Только те эмиры туманов, тысяч и сотен, которые в начале и конце года приходят и внимают биликам Чингис-хана и возвращаются назад, могут стоять во главе войск. Те же, которые сидят в своем юрте и не внимают биликам, уподобляются камню, упавшему в глубокую воду, либо стреле, выпущенной в заросли тростника, тот и другая бесследно исчезают. Такие люди не годятся в качестве начальников» (Рашид-ад-дин 1952 II:260).

<sup>34</sup> Из текста Цза-цзи Ли Син-чуаня вытекает, что государство Чингис-хана стало именоваться Великим монгольским государством (Да мэн-гу го, *Yeke Mongol ulus*) с 1211 г. (Крадин, Скрынникова 2006:141).

пешную «информационную войну», разнося по степям и оазисам слухи о мощи монголов. Возможно, Чингис-хан и не произносил в Бухаре слов «Я — кара господня», но цепенящий страх неся впереди монгольских всадников, обрекая соперников на бегство, сдачу или добровольную смерть. В походах на Китай шло «такое истребление, что кости трещали, словно сухие сучья», и при осаде Пекина многие женщины, чтобы не достаться врагу, бросались с городских стен и разбивались насмерть (Сокровенное сказание, 247; Гумилев 1997:243). Покорение Средней Азии сопровождалось театрализованной резней, когда одну часть жителей города выводили наружу и умерщвляли, а из другой формировали *хашар* — живой щит, под прикрытием которого монголы подступали к следующему городу. После взятия Термеза к этому добавилась практика вспарывания животов для выявления случаев заглатывания драгоценностей. При взятии крепости Бамиан, в расплату за смертельное ранение царевича Мао-Тукана, по приказу Чингис-хана было уничтожено все живое, включая животных и птиц (Рашид-ад-дин 1952 II:218, 219). Скованные страхом обороняющиеся города и мечущиеся между ними беглецы были идеальным объектом для облав, и монголы превратили Великую степь в арену большой охоты, где роли хищника и жертвы были распределены заранее и, как оказалось, надолго.

Маховик экспансии работал с ускорением, раскатывая орду по Великой степи. В действие его приводили кешиктены и полководцы-нукеры, нрав которых передан «Сокровенным сказанием» в ответе Чжамухи на вопрос Таян-хана, наблюдавшего за наступлением войск Чингис-хана:

«Что это за люди? Они подгоняют так, как волк подгоняет к овчарне многочисленное стадо овец. Что это за люди, которые так подгоняют?» На это Чжамуха ответил: «Мой анда Темучжин собирался откормить человеческим мясом четырех псов и привязать их на железную цепь. Должно быть, это они и подлетают, гоня перед собой наш караул. У этих четырех псов лбы — бронзовые, морды — как золото, языки — как шила, сердца — железные, а плети — мечи. Питаются росой, а ездят верхом на ветрах. Во время смертных боев едят они мясо людей, а на время схваток запасаются для еды человеческой. Это они сорвались с цепей и ныне, ничем не сдерживаемые, ликут и подбегают, брызжа слюной. Это они!» — «Кто же они, эти четыре пса?» — спросил хан. — «Это две пары: Чжебе с Хубилаем, да Чжелме с Субеетам» (Сокровенное сказание, 195).

Образность не снижает антропологического реализма в описании монгольских полководцев. «Ездят верхом на ветрах», «сорвались с цепей» — так выглядят движения облавщиков, охотников на людей, дополнивших миф о своем волчьем происхождении императивом собачьего служения хану. Именно они своим движением генерируют власть Чингис-хана, приводя в ужас степь и подчиняя окрестные царства. Только в энергичной экспансии рождаются гигантские орды, а эффект снежного кома степных завоеваний состоит в том, что побежденные пополняют орду и придают ей заряд дальнейшего движения, поскольку завоевания открывают новые горизонты<sup>35</sup> и на новых пространствах быстро переплавляют победителей и побежденных в единую орду. Покой грозит степнякам разладом и внутренними смутами, тогда как в совместном завоевательном движении вчерашние враги, забыв старые счеты, соперничают друг с другом в доблести и верности идеям хана-завоевателя. Культ победителя для кочевников всегда сильнее персональных и родственных идеалов, и силуэты племенных вождей затмевает фигура «отца народов».

В год собаки (1226) в походе на тангутов Чингис-хан не смог отказать себе в удовольствии поучаствовать в облаве на куланов. Проведя жизнь в седле, 62-летний (или, по расчетам Рашид-ад-дина, 72-летний) хан наконец выпал из него, не справившись со вставшим на дыбы конем, и получил сильный ушиб, от которого начался жар. По возвращении из тангутского похода, произнеся очередную крылатую фразу «Я истребил тангутов до потомков их и даже до последнего раба» (Сокровенное сказание, 268), в год свины (1227) Чингис-хан покинул покоренный им мир.<sup>36</sup>

Впрочем дух Чингис-хана не упокоился вместе с телом у родной горы Бурхан-халдун. Воплощенный в наследниках и нукерах, воскрешаемый в предписаниях (*яса*) и мудростях (*билик*), этот дух не менее успешно, чем его носитель при жизни, расширял грани-

<sup>35</sup> Разгром Субедсея найманов и меркитов на Иртыше (1207) открыл монголам путь в кыпчакские степи, победа над правителем Туркестана Кушлуком (1218) — в Среднюю Азию, погоня за хорезмшахом Мухаммедом (1221) — в Иран, за султаном Джелал-ад-дином (1223) — в Индию; за вступлением в земли чжурчженей (1211) последовало взятие Пекина (1215) и т.д. (Рашид-ад-дин 1952 II:163, 188 и сл.; Гумилев 1997:244–245).

<sup>36</sup> По «Летописям», Чингис-хан вернулся из похода уже в гробу; предчувствуя смерть, он велел уланг ее от орды и врагов, расправившись с тангутами и лишь затем хоронить его (Рашид-ад-дин 1952 I:144).

цы великой орды, покорившей земли и народы Евразии от Китая (империя Юань) до Ирана (государство Ильханов) и русско-половецкого края (Золотая Орда).

\*\*\*

Все, что случилось с Темучжином, произошло на фоне монгольской традиции с ее загонной охотой, кочующими куренями и небесным богом Тенгри. Нечто подобное происходило в восточноазиатской степи и прежде, в эпохи хунну, сяньби и тюрков. На ровном месте, как смерч, поднимались воинственные орды, а затем вновь наступала пора затишья, пастьбы скота и преданий. Всякий раз кочевое царство было повторением легендарного образца и будоражающим новшеством, опрокидыванием старой традиции и становлением новой. При этом резко менялись мотивация, ритм и размах движения. Пастухи коней легко превращались в пастырей народов (как нукер Боорчу). Ускорение орде придавала серия малозаметных толчков, сливавшихся в резонанс. Ни одно действие не длилось постоянно, прерываясь, пересекаясь или сочетаясь с другими (охота-облава, месть врагам, маневры безопасности, промысел женщин, грабительский рейд, конкуренция с друзьями-соперниками, захват других стран). На пике подъема, со смертью «вождя народов», ускорение пропадало, бывшие новшества становились рутинной, движение так же быстро угасало, как возникало, и потомки ханов вновь пасли скот. В этом колебании виден диапазон психологии степи, готовый как к локальной замкнутости, так и к магистральной экспансии.

Особое значение в организации монголов и их победах имел механизм, который в теории управления называется прямой и обратной связью центральной системы. Поразительная согласованность действий монголов, иногда воспринимаемая как рабское подчинение хану, в действительности была свойством взаимодействия хана и народа-армии посредством кешика. Особенностью движения в войне была облавность, на языке теории именуемая стратегической и тактической инициативой. Классическим маневром было псевдоотступление с заманиванием противника в облавный мешок. Монголы избегали сражения до тех пор, пока не навязывали противнику свою игру. Это чутье, унаследованное от звериной охоты, позволяло им неожиданно сменять бегство на атаку и повергать врага в смертоносное оцепенение.

«Режиссура движения», «своя игра», «тактическая инициатива» — возможные обозначения искусства или магии атаки. Подобная власть над движением дает превосходство тореадору над быком; но стоит ему на мгновение упустить контроль, и он превращается из мага в неуклюжую жертву. Высшее искусство движения, в том числе в такой его судьбоносной версии, как война, состоит не в численности и скорости, а в управлении. Монгольская облава — яркая иллюстрация преимуществ загонщика, контролирующего движение, перед добычей, отвечающей бессвязными контрдействиями, переходящими в конвульсии и агонию.

Путь Темучжина и монгольской орды до 1211 г. лишь эпизодически касался южной империи (казнь Амбагай-хана на «деревянном осле», набег Хабул-хана на Китай, соучастие в погроме чжурчжэнями татар), хотя позднее, при Хубилае, в Поднебесную переехала ставка верховного хана. Для Темучжина царством-образцом, которое он сначала искренне ценил, а затем революционно низверг, было кереитское ханство Тоорила. Смерч зародился не у Великой стены, а в северной степи, и зерном, из которого выросла орда, было сиротство Темучжина и верность Боорчу, слившиеся в общее «дело»<sup>37</sup>. Если мотивы орды определялись маневренным и бдительным ханом, то движущими силами ее выступали неумные «псы-нукеры». Впрочем нукеры были у всех ханов и баатуров, но именно Чингис-хану с его хитроумной политикой родства и рабства, порядка и агрессии удалось увлечь и подчинить всю степь. Орда стала самовоплощением хана, но ее рождение было чудом для него самого, поскольку во многих действиях он исходил отнюдь не из державных интересов. Решающим достоинством Темучжина оказалась способность к гибкой адаптации и имитации, разнообразившая спектр его действий (и позднее высокая адаптивность кочевников позволяла им быстро заимствовать все, что попадалось на пути, от стенобитных машин до судопроизводства). Что касается внутренней мотивации, то взрыв экспансии произошел благодаря разогреву и кипению трех страстей кочевников — к женщинам, лошадям и облавной охоте. Гарем-табун-облава — мотивационная схема, с которой каждое утро просыпался в своей золотой юрте хан и рыскали по дальним странам его неутомимые нукеры.

<sup>37</sup> «Дело Чингис-хана и их [нойонов Боорчу и Борагула] ... взяло верх... и он подчинил и покори́л мир» (Рашид-ад-дин 1952 I:169).

Покорение народов основано на инстинкте превосходства и естественного права хищника, присущем еще предку монголов Бодончару, который ходил к «нижним людям» пить кумыс, а потом захватил их как добычу. Это перекликается с одним из биликов Чингис-хана: «Среди мирного населения будьте смиренны, как малый теленок, а во время войны кидайтесь в бой, как голодный ястреб, бросающийся на дичину» (Рашид-ад-дин 1952 II:261). Без этого синдрома хищника была бы невозможна геополитика монголов, выраженная в ярлыке Чингис-хана: «Всю поверхность земли от восхода солнца до захода господь всемогущий отдал нам» (Рашид-ад-дин 1952 II:211). Со своей стороны вольнолюбивые степняки самозабвенно включались в игру хана и жертвовали собственными амбициями во имя орды. Любое государство отнимает персональную свободу, вопрос лишь в том, по каким правилам оно это делает. Подчинение западного горожанина рынку и закону не менее идеологично, чем подчинение степного кочевника силе и вождю. Варианты размена личной свободы на свободу рынка или волю орды до сих пор остаются ключевыми в поиске самоопределения на просторах Евразии.

## Эпилог

«Редко выдавались мне часы покоя, когда седло не прикипало к моему зад!» — делился жизненным опытом базельский купец Андреас Рифф на исходе XVI в. (Бродель 1988:34). Короли и бароны раннефеодального периода «буквально не вылезали из седла» (Блок 1986:125–126), а Карл Великий в свое время покорял земли к северу и востоку от Парижа преимущественно силами конницы: как пишут анналисты, ни одного лета он не провел «без врагов» и сам не сходил с коня (Ле Гофф 2005:55). В седле прошла жизнь Чингисхана, и знаменитый афоризм китайца Елюя Чуца о том, что на коне можно завоевать империю, но не управлять ею, приводит в восторг только поклонников статистики. Опыт степных кочевников не оставляет сомнения в том, что без хана в седле и постоянно-го военного промысла кочевая империя нежизнеспособна.

Ното *mobilis* оставался ключевой фигурой геополитики до позднего средневековья, когда последние кочевые вулканы угасли под прессом военных технологий и политических идеологий. В XVII в. маньчжуры последними из кочевников завоевали Китай, но Джунгарские ворота, веками служившие евразийским степнякам миграционной дорогой, были уже перекрыты огнестрельным оружием и регулярными армиями Индии, Ирана и России. Последний взлет евразийского кочевничества случился в Арктике, по которой прокатилась «оленоводческая революция», вызванная российской экспансией. Оседлые страны и города столетие за столетием впитывали энергию кочевников, пока не истощили ее. Воинственные всадники превратились в мирных и бедных пастухов, о которых О. Латтимор говорил: истинный кочевник (*pure nomad*) — бедный кочевник (*poor nomad*) (Lattimore 1940:522). У них осталось все, чем владели их предки: обширные пастбища, сильные луки и быстрые кони, — за исключением мотивации покорения мира.

Северная Евразия в системе социальных и культурных связей создана подвижными магистральными культурами, причем Европу в основном ваяли кочевники морей, а Азию — кочевники степей. В судьбе Руси-России пути тех и других пересеклись и переплелись. В готскую и гуннскую эпохи восточные славяне были вовлечены в орбиты сопоставимых по мощи культур кочевников морей (северных германцев) и степей (тюрок). Позднее те же по складу культуры — сеев и викингов на водных магистралях, тюрок и монголов в степях — регулярно воздействовали на лесных жителей Балто-Понтийского междуморья, причем северная часть

славян оказалась преимущественно в орбите скандинавского влияния, южная — постгуннского (савиро-аваро-хазарского). В раннем средневековье, незадолго до образования Русского государства, «верхние» (по рекам Балтийского бассейна) и «нижние» (по рекам Понтийского бассейна) славяне заметно различались по культуре и, как свидетельствует летописец, платили дань, соответственно, варягам и хазарам.

Первоначально контакт славян и скандинавов был взаимодействием различных систем адаптации: славянская культура локальных ниш так же органично входила в норманнскую культуру больших пространств, как норманнская торговля и военный промысел дополняли комплекс жизнеобеспечения славян. Эти культуры усиливали друг друга: норманны разными средствами (торговлей, данью, грабежом) собирали «урожай» на славянских землях, а славяне пользовались услугами скандинавов в дальней торговле и военных кампаниях; норманны создавали колонии на славянских землях, а славяне заселяли новые пространства по проторенным скандинавами путям. В сочетании локальной (славянской) и магистральной (норманнской) деятельности схем сформировалась обширная общность под названием Русь и родилась новая синтетическая норд-русская (верхнерусская, новгородская) культура. Символом ее движения стал ушкуй (речное судно), а в деятельности схеме переплелись норманнская магистральность (дальняя торговля, сбор дани и военный промысел) и славянская локальность (комплекс местных производств, экологических, социальных и сакральных обычаев). По интегративной функции верхнерусская культура к XIII в. заместила культуру викингов на северо-востоке Европы.

В XIII в. маятник евразийской истории качнулся, и на смену осевшим кочевникам моря вновь пришли степняки. Как в IV в. гунны разбили готскую державу Германариха и надолго установили зависимость «нижних» славян от тюркских каганатов, так по сходному сценарию в XIII в. орда Чингисхана покорила русские княжества. Впрочем к Улусу Чжучи отошла лишь Нижняя Русь — область рек южного стока, некогда принадлежавшая хазарам. Верхняя Русь, по рекам балтийского стока, оставалась независимой еще более двух столетий, пока не была завоевана Москвой.

Подобно викингам на море, монголы в степи развернули гигантскую социальную сеть, основанную на той же триаде война-дань-торг, только доля торговли в ней была ничтожна в сравнении



с военно-данническим промыслом. Монгольская культура больших пространств пересекала своими магистралями всю срединную Евразию, захватив на окраинном западе Нижнюю Русь в качестве локальной культуры. На стыке монгольской (ордынской) и нижнерусской культур сформировалась орд-русская, или московская (по названию ее форпоста), культура, основанная на жестком централизме власти и военно-данническом промысле. Москва, как показали исследователи евразийской школы, унаследовала от Орды методы управления (русский лексикон пополнился монголо-тюркскими словами «деньги», «казна», «таможня», «ярлык», «ясак») и к XVI в. превзошла по социально-политическому потенциалу рассыпавшуюся на части Орду. В целом верно, хотя и не лишено гротеска, замечание Н. С. Трубецкого: «Московское государство возникло благодаря татарскому игу... “Свержение татарского ига” свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву» (Трубецкой 1995:157).

В отличие от быстро расцветающих в войне и гибнущих в мире степных кочевых империй, Московское царство укоренилось на нижнерусской локальности, впитав ордынскую магистральность. По устойчивости московская культура не уступала новгородской, а по военно-промысловому потенциалу, при остаточной поддержке Орды, значительно ее превосходила. Исход поединка царя и веча был предreshен, и в течение столетия, с 1471 по 1570 гг., усилиями двух «грозных» Иванов очаг верхнерусской культуры был уничтожен. Дуэль Москвы и Новгорода, трактуемая официальной историографией как борьба централизма с сепаратизмом, в действительности была эпохальным столкновением двух различных евразийских традиций — орд-русской и нрд-русской.

Нрд-русская традиция не пресеклась с разгромом Новгорода. По природе не нуждающаяся в крепкой столице, она широко распространилась по всему Северу Евразии, особенно ярко отобразившись в культуре русских поморов. Деятельностная схема орд-русской традиции, немыслимая без мощного центра и основанная на административно-налоговом промысле, реализовалась в создании иерархической структуры «малых копий» Москвы. Противостояние этих традиций — нрдизма и ордизма — до сих пор отзывается в конфликтах российского гражданства и русской этничности, централизма и регионализма. Впрочем можно вести речь и об их срастании в синтетическую русскую культуру в широком спектре ее вариаций — от одержимого старовера и покладистого крестья-

нина до разудалого купца и властолюбивого чиновника. Именно двоякая магистральность русской культуры, вобравшей в себя традиции нордизма и ордизма, а также славянскую локальную адаптивность, стала двигателем эпохальной экспансии, приведшей к образованию России и до сих пор сохраняющей ее на просторах Северной Евразии.

Семиотическая этнография представляет дорогу в русской культуре эксцессом, болезненным отрывом от дома: путь символизирует смерть, болезнь, бесплодие, тогда как дом — жизнь, плодородие, рождение (см.: Страхов 1988:92–94; Щепанская 2003:40). Однако путь ассоциируется и с волей, разбоем, странничеством, а русское бездорожье связывается не с отрицанием дороги или любовью к плохим дорогам, а с абсолютной волей пути — свободой от проторенных дорог. Жителям Северной Евразии привычно странное чувство уюта в пути, располагающее, например, к вагонным знакомствам, беседам и даже романам. Русский путешественник может сколько угодно ворчать на скверные дороги, но отправляется в путь, а неудобства воспринимает как своего рода походный комфорт и повод для общения и взаимодействия. В дороге он более русский, чем дома.

Впрочем статус пути у русских действительно различается от нуля до бесконечности (хотя домоседы тоже любят петь о бродягах и дорогах), что и создает многообразие возможностей в освоении бескрайних и труднопроходимых евразийских просторов. Пристрастие русских к большому пространству, обычно связываемое с державностью, имеет ничуть не меньше оснований в антидержавности, выраженной, например, в казачьей вольнице, поморской колонизации, раскольничьих скитаниях. Мало общего с тягой к государственности имели и миграции коми, ненцев, эвенков в эпоху российской колонизации Севера и Востока, и сама колонизация была отнюдь не единым движением, а пересечением различных мотивов, стилей и практик.

Единство русского народа нередко представляется как монолит культуры, характера, происхождения с неизменным акцентом на централизующей роли столицы и правящей элиты. Даже походы казаков и плаванья поморов, осуществлявшиеся если не вопреки, то независимо от центральной власти, часто приписывают ее воле. Антропология движения открывает иное видение русского пространства с его внутренними конфликтами и противоречиями, с иерархией и сложной мозаикой различных сословных, конфес-

сиональных и территориальных групп. Конкуренция за место в государстве тоже была своего рода пространственной стратегией. Русские представляются многообразным этнокультурным миром, объединяющим различных по происхождению и мотивационно-деятельностным схемам людей. Каркасом этого пространства исторически были пути: из варяг в арабы, греки и бьярмы, чрез-каменный путь в Сибирь, степные магистрали тюрок, монголов и казаков, речные и морские ходы по Балтике, Арктике, Пацифике, Черному и Каспийскому морям, по Волге–Каме, Оби–Иртышу, Енисею, Лене, Амуру.

Магистральная русская культура охватила огромную территорию за счет экосоциальной адаптивности<sup>1</sup>, многообразия и подвижности. Адаптивность включает навыки освоения различных экониш, приспособление к быстрым социальным переменам, политическим режимам и катаклизмам, религиозным революциям от христианства к коммунизму и назад, а в целом представляет собой ключевое качество и достояние русской культуры. Гибкость и устойчивость в переменах — свойство социальной динамики, подвижности мотивационных и деятельностных схем. Вся русская история — в какой-то мере история путей. Не случайно символом веры для русских были дальние и трудные паломничества, а едва ли не главным заступником выступал покровитель путников и дорог св. Николай, храмами во имя которого размечено пространство (у поморов «от Холмогор до Колы тридцать три Николы»). Русская философия пространства избегает его ограничения, раздвигая до безграничности. Русский не только мирится с непознанностью своего жизненного мира, но и сопротивляется его расколдованию. Это начинается с дома, откуда никакими средствами не выгнать домового, и распространяется на всю страну с ее миражами Китежа, Беловодья, Земли Санникова. Попытка «омирщения» земли в XX в. вызвала ответный бум ее сакрализации новыми «зонами», «тропами», «храмами». Гармония пространства по-русски предполагает незавершенность, открытость, подвижность. Динамичную русскую культуру трудно описать

<sup>1</sup> «Великое русское многонациональное государство, в одной из своих сторон, есть следствие того закона, который дан русскому народу природой русского мира, контрастирующими предельно сильно в земных масштабах и стимулирующими воздействиями холода и тепла, сухости и влаги. Будем надеяться, что наша планета устоит. Тогда наше, или Ваше, или следующее поколение увидит еще более поразительные проявления русского закала» (из письма П. Н. Савицкого к Л. Н. Гумилеву, 1 июля 1963 г.; Гумилев 1997:22).

в обычных категориях статики, и глубоко антропологичен Федор Тютчев в строках: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...».

\*\*\*

Не понять умом и *Homo mobilis*, который усовершенствовал движение настолько, что физически его почти лишился. На смелую резвую архантропу пришел маневренный охотник, за ним всадник, автомобилист, пилот, виртуальный сиделец. Переход от физической динамики к статике привел к существенным сдвигам экосоциобаланса ноосферы и персональной активности человека. Впрочем движение не убывает в количестве, а лишь меняет формы и стили. В глубокой древности оно разнообразилось природными мим-адаптациями, в поздней праистории — социальными адаптациями (выраженными в религиозных и этических схемах), создававшими специфические коды мобильности разных этнических и сословных сообществ.

В антропологии движения динамика и статика — ключевые категории, но не фиксированные полюса жизнедеятельности. Помимо закона сохранения энергии, существует закон сохранения движения, и любое внешне статичное состояние наполнено внутренней динамикой. Миграции и пространственные взаимодействия, которым уделено основное внимание в книге, — лишь самые очевидные варианты движения. Оседлость изобилует своими формами мобильности, выражающимися в динамике общения и конкуренции, ритме труда и празднеств, проявлении стремлений и инициатив. В этом смысле статика представляется не остановкой движения, а его накоплением и преобразованием, точкой опоры для нового толчка. Интенсивное оседлое творчество — преобразованный бег кочевого прачеловека. Чередование статики и динамики, подобно сну и бодрствованию, образует общий механизм движения, который в свою очередь приводит в действие социальные системы, оживляет культуры. Отличие антропологии движения состоит в том, что она измеряет реальность в единицах действия, а не в фиксированных итогах.

Чем меньше современный человек физически движется, тем больше он пристрастен к динамике в искусстве (особенно кинематографе), спорте и развлечениях. Чем больше он сидит и лежит, тем острее жаждет гонок на экране. Скорее инстинктивно, чем рационально, он дополняет статичные будни динамичным досу-

гом. Предковая мобильность человеческой природы проявляется во множестве поведенческих деталей — от непоседливости детей (которые, правда, уже оседают у экранов рядом со взрослыми) до тренажерно-туристской одержимости состоятельных пенсионеров. В современном оседлом человеке по-прежнему живет «инстинкт кочевника», побуждающий его отыскивать в мире статики новые варианты поведенческой динамики.

Диверсификация движения привела к перекрою всей его структуры. Поток электронной информации заменил гонцов и ямщиков, и геополитика давно пересела из ханского седла в компьютерное кресло, но движением по-прежнему управляют мотивационно-деятельностные схемы. Формы его изменились до неузнаваемости, но мотивы и механизмы действия во многом остались прежними. Общими свойствами магистральных культур разных эпох, включая современную, можно считать власть над пространством, посредничество и управление подчиненными локальными сообществами, господство своей религии/идеологии. Кочевник не умер, он по-своему возрождается в практиках глобальной виртуальной коммуникации. Постмодернисты возвели «принцип номадизма» в кредо современного и постсовременного «суверенного человека», желающего быть экстерриториальным, персонально и культурно независимым в информационном обществе. В виртуально-информационном пространстве сегодня идут главные геополитические и идеологические сражения, и «глобальная паутина» вполне освоила функции мировой империи (не случайно виртуальное царство воспроизводит земную жизнь во всех ее проявлениях, от дружбы и скандалов до пороков и болезней).

Движение многообразно, но по-прежнему таинственно. Если наука не оставила надежды осознать этот поток жизни, необходимо повышенное внимание к действующим лицам и механизмам мотива–решения–действия, адаптивных изменений, включения и переключения поведенческих схем, их ситуационного синтеза. Без концептуального сдвига научного мышления от статики к динамике исследование системы движения останется априори неразрешимой задачей. Сегодняшние реалии подталкивают науку к освоению средств искусства (прежде всего визуального с присущей ему динамикой), а также совмещению гуманитарных и естественных методов, поскольку изучение движения предполагает введение новых измерений, категорий и средств передачи информации.

## Литература

- Абрамзон С. М. 1970. Некоторые вопросы социального строя кочевых обществ // СЭ. № 6. С. 61–73.
- Абрамова З. А. 1964. К вопросу об охоте в верхнем палеолите // СА. № 4. С. 177–180.
- Абрамова З. А. 1966. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.; Л.: Наука. 221 с.
- Абрамова З. А. 1972. Древнейшие формы изобразительного творчества // Ранние формы искусства. М.: Наука. С. 8–29.
- Абрамова З. А. 1979. К вопросу о возрасте алданского палеолита // СА. № 4. С. 5–14.
- Абрамова З. А. 1984. Поздний палеолит азиатской части СССР // Палеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука. С. 302–346.
- Абрамова З. А. 2005. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб.: Европейский Дом. 352 с.
- Авдеев А. Д. 1959. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном строе. М.; Л.: «Искусство».
- Авдусин Д. А. 1952. Гнездовская экспедиция // КСИИМК. № 44.
- Аксянова Г. А. 2006. Антропология тюркских народов Сибири // Тюркские народы Сибири. М.: Наука. С. 11–25.
- Алексеев В. П. 1973. Положение тешик-ташской находки в системе гоминид // Антропологическая реконструкция и проблемы палеоэтнографии. Сборник памяти М. М. Герасимова. М.
- Алексеев В. П. 1978. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас. Палеолит. М.: Наука. 284 с.
- Алексеев В. П. 1985. Географические очаги формирования человеческих рас. М.: Мысль. 236 с.
- Алексеева Т. И. 1999. Антропологическая характеристика восточных славян эпохи средневековья в сравнительном освещении // Восточные славяне. Антропологическая и этническая история. М.
- Аммиан Марцеллин. 2005. Римская история. Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни. М.: Ладомир. 631 с.
- Андерсон Б. 2001. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле. 288 с.
- Андреев Н. Д. 1986. Раннеиндоевропейский праязык. Л.: Наука. 326 с.
- Аникович М. В., Анисюткин Н. К., Вишняцкий Л. Б. 2007. Узловые проблемы перехода к верхнему палеолиту в Евразии. СПб.: Нестор-История. 336 с.
- Анисов А. М. 2000. Апории Зенона и проблема движения // Труды научно-исследовательского семинара Логического центра Института философии РАН. Вып. 14. М.: Ин-т философии РАН. С. 139–153.
- Артамонов М. И. 2001. История хазар. 2-е изд. СПб.: «Лань». 687 с.

- Арутюнов С. А. 1982. Этнические общности доклассовой эпохи // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М.: Наука. С. 55–82.
- Арутюнов С. А. 1989. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. М.: Наука. 247 с.
- Арутюнов С. А., Сергеев Д. А. 1975. Проблемы этнической истории Берингоморья. Эквентский могильник. М.: Наука. 240 с.
- Арутюнов С. А., Крупник И. И., Членов М. А. 1982. «Китовая аллея» (Древности островов пролива Сенявина). М.: Наука. 176 с.
- Архипов А. А. 1984. Об одном древнем названии Киева // История русского языка в древнейший период. М. С. 224–240.
- Астахов С. Н. 1973. Палеолит Енисея и проблема происхождения так называемого эпиграфета Северной Америки // Берингийская суша и ее значение для развития голарктических флор и фаун в кайнозое. Хабаровск. С. 194–196.
- Ауэрбах С. Н. 1930. Палеолитическая стоянка Афонтова Гора 3 // Труды Общества изучения Сибири и ее производительных сил. Вып. 7. Новосибирск.
- Бадер О. Н. 1978. Сунгирь. Верхнепалеолитическая стоянка. М.: Наука. 272 с.
- Баландин Р. К., Бондарев Л. Г. 1988. Природа и цивилизация. М.: Мысль. 391 с.
- Барроу Т. 1976. Санскрит. М.: Прогресс. 412 с.
- Барфилд Т. 2004. Монгольская модель кочевой империи // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ. С. 254–269.
- Белов М. И. 1956. Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины XIX в. // История открытия и освоения Северного морского пути. Т. 1. М.: Морской транспорт. 592 с.
- Бевульф. Англосаксонский эпос. 2006. Пер. В. Тихомирова. СПб.: «Азбука-классика». 285 с.
- Бергсон А. 1992. Опыт о непосредственных данных сознания // Бергсон А. Сочинения. Т. 1. М.: Московский клуб. 325 с.
- Березкин Ю. Е. 1991. Инки. Исторический опыт империи. Л.: Наука. 229 с.
- Бернштейн Н. А. 1947. О построении движения. М.: Медгиз. 255 с.
- Бертинские анналы // [http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales\\_Bertiani/text1-2.phtml](http://www.vostlit.info/Texts/rus14/Annales_Bertiani/text1-2.phtml).
- Бибикова В. И. 1967; 1970. К изучению древнейших домашних лошадей Восточной Европы // Бюлл. Московского общества испытателей природы, отд. биологии. Т. 22. Вып. 3; Т. 25. Вып. 5.
- Бируни А. Р. 1995. Индия. М.: Ладомир. 727 с.
- Бичурин Н. Я. 1950; 1953. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 1–2; 3. М.; Л.
- Блок М. 1986. Апология истории или ремесло историка. М.: Наука. 178 с.
- Бобаевский Б. Л. 1934. О значении изображения так называемого «колдуна» в «Пещере трех братьев» в Арьеже во Франции // СЭ. № 4.

- Борисковский П. И. 1980. Древнейшее прошлое человечества. 2-е изд. М.: Наука. 240 с.
- Браун Ф. А. 1899. Разыскания в области готто-славянских отношений. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук. 413 с.
- Браун Ф. А. 1907. Рец. на кн.: Тиандер К. Ф. Поездки скандинавов в Белое море. СПб., 1906 // Журнал Министерства народного просвещения. № 10. СПб. С. 424–430.
- Брейль А. 1971. Запад — родина великого наскального искусства // Первобытное искусство. Новосибирск. С. 40–52.
- Брим В. А. 1923. Происхождение термина Русь // Россия и Запад. Ч. 1. Пг. С. 5–10.
- Бродель Ф. 1986; 1988. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1; 2. М.: Прогресс. 624; 632 с.
- Бубрих Д. В. 1947. Происхождение карельского народа. Петрозаводск: Госиздат Карело-Финской ССР. 51 с.
- Буданова В. П. 1990. Готы в эпоху Великого переселения народов. М.: Наука. 231 с.
- Будилович А. С. 1897. К вопросу о происхождении слова Русь // Труды VIII археологического съезда в Москве 1890 г. Т. 4. СПб. С. 118–119.
- Бунак В. В. 1956. Человеческие расы и пути их образования // СЭ. № 1. С. 86–105.
- Бурдые П. 2001. Практический смысл. СПб.: Алетейя. 562 с.
- Буров Г. М. 1965. Вычегодский край. Очерки древней истории. М.: Наука. 200 с.
- Буров Г. М. 1967. Древний Синдор. М.: Наука. 220 с.
- Бутинов Н. А. 1968. Первобытнообщинный строй // Проблемы истории докапиталистических обществ. М. С. 223–265.
- Бэкон Ф. 1972. Сочинения: в 2-х т. Т. 1–2. М.
- Вайнштейн С. И. 1991. Мир кочевников центра Азии. М.: Наука. 296 с.
- Вартанян С. Л. 2007. Остров Врангеля в конце четвертичного периода: геология и палеогеография. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха. 141 с.
- Васильев С. А. 2001. Ранние палеониндейские культуры Северной Америки // Диковские чтения. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. С. 39–46.
- Васильев С. В. 1999. Дифференциация плейстоценовых гоминид. М.
- Васильевский В. Г. 1908. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков // Васильевский В. Г. Труды. Т. I. СПб. С. 176–377.
- Васильевский Р. С. 1981. По следам древних культур Хоккайдо. Новосибирск: Наука. 352 с.
- Васильевский Р. С. 1987. Антропоморфные изображения и их интерпретация // Антропоморфные изображения. Новосибирск: Наука. С. 19–27.
- Векуа А. К., Тушабрамшвили Д. М. 1978. Уникальная культовая пещера // Изучение пещер Колхиды. Тбилиси: Мецниереба. С. 261–264.
- Величко А. А. 1973. Природный процесс в плейстоцене. М.: Наука. 256 с.



- Величко А. А., Грибченко Ю. Н., Куренкова Е. И. 2006. Природные предпосылки заселения первобытным человеком территории Северной Евразии в позднем плейстоцене // II Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Чароид». С. 48–57.
- Вербицкий В. И. 1884. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Казань. 498 с.
- Верещагин Н. К. 2002. От ондатры до мамонта: путь зоолога. СПб.: Астерион. 336 с.
- Вернадский В. И. 2004. Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс. 576 с.
- Вернадский Г. В. 2000. Древняя Русь. Тверь: Леан, Москва: Аграф. 447 с.
- Вернадский Г. В. 2001. Россия в средние века. Тверь: Леан, Москва: Аграф. 349 с.
- Вест Ф. Х. 1979. Хронология позднелолитических стоянок Берингии // Древние культуры Сибири и Тихоокеанского бассейна. Новосибирск: Наука. С. 58–60.
- Винер Н. 1968. Кибернетика (или управление и связь в живом и машине). 2-е изд. М.: Советское радио. 326 с.
- Вишняцкий Л. Б. 2008. Культурная динамика в середине позднего плейстоцена и причины верхнелолитической революции. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета. 250 с.
- Владимирцов Б. Я. 1934. Общественный строй монголов. Монгольский ковочой феодализм. Л.: Изд-во АН СССР. 224 с.
- Врангель Ф. 1841. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю. Т. II. СПб.
- Гадамер Х.-Г. 1988. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.: Прогресс. 700 с.
- Гамкрелидзе Т. М. 2005. Новая парадигма в индоевропейском сравнительно-историческом языкознании: к реконструкции индоевропейского праязыка и исторической протокультуры // Труды Отделения историко-филологических наук. М.: Наука. С. 7–22.
- Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В. 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. 1–2. Тбилиси. Изд-во Тбилисского ун-та. 1328 с.
- Гаркави А. Я. 1870. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с половины VII века до конца X века по Р.Х.). СПб.
- Гаузенштейн В. 1923. Искусство и общество. М.: Новая Москва. 340 с.
- Гедеонов С. А. 2004. Варяги и Русь. М.: Русская панорама. 654 с.
- Гельвеций К. А. 1973; 1974 Сочинения: в 2-х т. М.: Мысль. 1336 с.
- Геннеп А. ван. 1999. Обряды перехода. М.: Восточная литература. 198 с.
- Герасимов Д. В., Гирия Е. Ю., Тихонов А. Н. 2003. Поселение Чертов Овраг на острове Врангеля — вопросы культурной атрибуции и перспективы исследования // Естественная история Российской Восточной Арктики в плейстоцене и голоцене. М.: Геос. С. 85–88.
- Герасимов И. П., Марков К. К. 1939. Ледниковый период на территории СССР // Труды Института географии АН СССР. Т. 33.

- Герасимов М. М. 1931. Мальта: палеолитическая стоянка. Иркутск.
- Геродот. 2002. История. Пер. и прим. Г. А. Стратановского. М.: Ладомир. 752 с.
- Гимбутас М. 2004. Славяне. Сыны Перуна. М.: Центрполиграф. 216 с.
- Глазырина Г. В. 1996. Исландские викингские саги о Северной Руси. М.: Ладомир. 237 с.
- Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н. 1987. Древнерусские города в древнескандинавской письменности. М.: Наука. 206 с.
- Головицёв А. В. 1995. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург: УрО РАН. 606 с.
- Головицёв А. В. 1998. Древний Ямал в контексте мифологии и археологии // ЭО. № 2. С. 101–115.
- Головицёв А. В. 2000. Пространственный эскиз петроглифов Петтымеля (по полевым наблюдениям 1999 г.) // Интеграция археологических и этнографических исследований. Владивосток; Омск: Изд-во ОмГПУ. С. 185–188.
- Головицёв А. В. 2002. Земля Санникова // Родина. № 7. С. 102–108.
- Головицёв А. В. 2002а. Бьярмия: Неоконченная сага о Крайней земле // Уральский исторический сборник. № 8. Екатеринбург: Академкнига. С. 5–35.
- Головицёв А. В. 2004. Кочевники тундры: ненцы и их фольклор. Екатеринбург: УрО РАН. 414 с.
- Головицёв А. В. 2006. Исторический опыт межкультурного взаимодействия на севере Евразии // Этнокультурное взаимодействие в Евразии. Кн. 1. М.: Наука. С. 312–320.
- Головицёв А. В. 2008. «Путь» в северных культурах // Поморские чтения по семиотике культуры. Вып. 3: Сакральная география и традиционные этнокультурные ландшафты Европейского Севера. Архангельск: Поморский университет. С. 11–21.
- Голубева Л. А. 1964. Огнива с бронзовыми рукоятями // СА. № 3. С. 115–132.
- Голубева Л. А. 1973. Вещь и славяне на Белом озере. X–XIII вв. М.: Наука. 212 с.
- Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 1949. М.; Л.: АН СССР.
- Грантовский Э. А. 1998. Иран и иранцы до Ахеменидов. М.: Восточная литература. 343 с.
- Григорьев Г. П. 1968. Начало верхнего палеолита и происхождение *Homo sapiens*. Л.: Наука.
- Громова В. И. 1949. История лошадей (р. equus) в Старом Свете // Труды Палеонтологического института. Т. 17. М.; Л.
- Громыко Ю. В. 1998. Проектное сознание. М.: Институт учебника Paideia. 560 с.
- Гросвальд М. Г. 1977. Последний Евразийский ледниковый покров // Материалы гляциологических исследований. Вып. 30. С. 45–60.

- Грязнов М. П. 1977. Бык в обрядах и культах древних скотоводов // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука. С. 80–88.
- Губанов И. Б. 2002. X век на пути к раннему государству (Возникновение Древней Руси — о гипотетическом и очевидном в современном норманизме) // Скандинавские чтения 2000 года. СПб. С. 75–80.
- Гумилев Л. Н. 1989. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль. 766 с.
- Гумилев Л. Н. 1993. Хунну. Степная трилогия. СПб.: Тайм-Аут–Компасс. 212 с.
- Гумилев Л. Н. 1997. Поиски вымышленного царства. М.: «Институт ДИ–ДИК». 480 с.
- Гумплович Л. 1895. Социология и политика. М.
- Гуревич А. Я. 1967. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М.: Наука. 285 с.
- Гуревич А. Я. 1972а. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М.: Искусство. 350 с.
- Гуревич А. Я. 2005. Походы викингов. 2-е изд. М.: КДУ. 208 с.
- Гурина Н. Н. 1953. Памятники эпохи раннего металла на северном побережье Кольского полуострова // МИА. Вып. 39.
- Гурина Н. Н. 1961. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР // МИА. № 87. М.; Л. С. 450–597.
- Гурина Н. Н. 1991. Рыболовство и морской промысел на Кольском полуострове // Рыболовство и морской промысел в эпоху мезолита — раннего металла в лесной и лесостепной зоне Восточной Европы. Л.: Наука. С. 164–181.
- Гусев С. В. 2001. Приморская адаптация на Чукотском полуострове // Диковские чтения. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. С. 71–78.
- Гусейнов М. М. 1973. О тайнике азыхантропов в ашеле // Уч. зап. АзГУ. № 8.
- Гуслицер Б. И., Канивец В. И. 1965. Палеолитические стоянки на Печоре // Стратиграфия и периодизация палеолита Восточной и Центральной Европы. М.
- Гуссерль Э. 2004. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб.: Владимир Даль. 400 с.
- Давидан О. И. 1971. К вопросу о контактах древней Ладogi со Скандинавией (по материалам нижнего слоя Староладожского городища) // Скандинавский сборник. Вып. XVI. Таллин. С. 134–146.
- Дамм Г. 1964. Канака — люди южных морей. М.: Наука. 360 с.
- Даниленко В. Н. 1974. Энсолит Украины. К.: Наукова думка. 176 с.
- Дебец Г. Ф. 1947. О положении палеолигического ребенка из пещеры Тешик-Таш в системе ископаемых форм человека. М.: Изд-во МГУ.
- Дебец Г. Ф. 1948. Палеоантропология СССР // ТИЭ. Т. 4. М.; Л. 392 с.
- Дебец Г. Ф. 1951. Антропологические исследования в Камчатской области // ТИЭ. Т. 17. М. 264 с.

- Дебец Г. Ф. 1956. О принципах классификации человеческих рас (По поводу статьи В. В. Бунака «Человеческие расы и пути из образования») // СЭ. № 4.
- Демин В. Н. 2005. Русь нордическая. М.: Вече. 431 с.
- Деревянко А. П. 2005. Две основных миграционных волны древних популяций человека в Азию // Труды Отделения историко-филологических наук. 2005. С. 105–115.
- Деревянко А. П., Волков П. В., Хонджон Ли. 1998. Селемджинская позднепалеолитическая культура. Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН. 336 с.
- Джаксон Т. Н. 1984. О названии Руси Gardar // Scando-Slavica. Т. 30. С. 133–143.
- Джаксон Т. Н. 1991. Исландские королевские саги как источник по истории древней Руси и ее соседей. X–XIII вв. // Древнейшие государства на территории СССР. М.: Наука. С. 5–169.
- Джаксон Т. Н. 1993. Исландские королевские саги о Восточной Европе (с древнейших времен до 1000 г.). Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука. 303 с.
- Джаксон Т. Н. 1994. Исландские королевские саги о Восточной Европе (первая треть XI в.). Тексты, перевод, комментарий. М.: Ладомир. 253 с.
- Джаксон Т. Н. 2001. Austr и Gǫgnum: древнерусские топонимы в древнескандинавских источниках. М.: Языки русской культуры.
- Джаксон Т. Н. 2005. О скандинавских браках Ярослава Мудрого и его потомков // <http://ulfdalir.ulver.com/literature/articles/marriage.htm>.
- Джаксон Т. Н., Мачинский Д. А. 1988. Связи Северной Руси и Беломорья в IX–XIII вв. (по данным письменных источников) // Внешняя политика Древней Руси: Юбилейные чтения, посвященные 70-летию В. Т. Пашуто. Тез. докл. М. С. 24–29.
- Дзенискевич Г. И. 1987. Атапаски Аляски. Очерки материальной и духовной культуры. Конец XVIII — начало XX в. Л.: Наука. 152 с.
- Диков Н. Н. 1971. Наскальные загадки древней Чукотки. Петроглифы Пегтымеля. М.: Наука. 132 с.
- Диков Н. Н. 1979. Древние культуры Северо-Восточной Азии. Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука. 352 с.
- Диков Н. Н. 1993. Палеолит Камчатки и Чукотки в связи с проблемой первоначального заселения Америки. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. 68 с.
- Дильтей В. 2001. Герменевтика и теория литературы. Собрание сочинений в 6 т. Т. 4. М.: Дом интеллектуальной книги. 192 с.
- Джонсон Р. А., Каст Ф. Е., Розенцвейг Д. Е. 1971. Системы и руководство. М.: Советское радио. 648 с.
- Довнар-Запольский М. В. б/г. Князь, его Дума и администрация // Русская история в очерках и статьях. Т. 1. М.
- Долгих Б. О. 1960. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке // ТИЭ. Т. 55. М.: Наука. 622 с.

- Долгопольский А. Б. 1964. Гипотеза древнейшего родства языковых семей Северной Евразии с вероятностной точки зрения // ВЯ. № 2.
- Долуханов П. М. 1979. География каменного века. М.: Наука. 152 с.
- Дольник В. Р. 1994. Непослушное дитя биосферы. Беседы о человеке в компании птиц и зверей. М.: Педагогика-Пресс. 208 с.
- Дубов И. В. 1982. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л.: Изд-во ЛГУ. 248 с.
- Дубов И. В. 1999. Погребения с мечами в Ярославских могильниках (к этнической и социальной оценке) // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.: ИИМК РАН. С. 26–34.
- Дьяконов И. М. 1982. О прародине носителей индоевропейских диалектов. I–II // ВДИ. № 3; 4. С. 3–30; 11–25.
- Дыбо А. В. 2005. Семантическая реконструкция: мир праалтайцев по данным сравнительно-исторического языкознания // Труды ОИФН. 2005. М.: Наука. С. 165–180.
- Дэвлет Е. Г. 2006. Древнейшие страницы истории первобытного искусства // Вестник истории, литературы и искусства. Т. 3. М.: ОИНФ РАН. С. 56–68.
- Дюмезиль Ж. 1986. Верховные боги индоевропейцев. М.: Наука. 234 с.
- Дюркгейм Э. 1991. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука. 574 с.
- Е Лун-ли. 1979. История государства киданей (Цидань го чжи) // Памятники письменности Востока. Т. 35. Пер., введ., коммент и прим. В. С. Таскина. М.
- Егоров О. В. 1969. Остатки фауны из многослойной стоянки Белькачи I // Мочанов Ю. А. Многослойная стоянка Белькачи I и периодизация каменного века Якутии. М.: Наука. С. 202–204.
- Ефименко П. П. 1953. Первобытное общество. 3-е изд. Киев: Изд-во АН Украинской ССР. 664 с.
- Жилин М. Г. 2000. О связях населения Прибалтики и Верхнего Поволжья в раннем мезолите // Тверской археологический сборник. Вып. 4. Т. 1. С. 72–79.
- Жуковская Н. Л. 2002. Кочевники Монголии: Культура. Традиции. Символика. М.: Восточная литература. 247 с.
- Журко А. И. 1988. О соотношении наземных и углубленных жилищ Черняховской культуры // Труды V Международного конгресса археологов-славистов. Т. 4. Киев.
- Замятнин С. Н. 1935. Раскопки у С. Гагарино (верховья Дона) // Палеолит СССР. Изв. ГАИМК. Вып. 118. С. 26–77.
- Замятнин С. Н. 1951. О возникновении локальных различий в культуре палеолитического периода // Происхождение человека и древнее расселение человечества. ТИЭ, н.с. Т. 16.
- Замятнин С. Н. 1961. Очерки по палеолиту. М.; Л.

- Заходер Б. Н. 1962; 1967. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т. 1; 2. М.: Восточная литература. 280 с.
- Зданович Г. Б. 1985. Щитковые псалмы Среднего Приишимья // Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского Междуречья. Челябинск: Изд-во Башкирского ун-та. С. 110–119.
- Земляков Б. Ф. 1937. Археологические исследования на побережье Арктического океана // Труды Советской секции Международной ассоциации по изучению четвертичного периода. Вып. 3.
- Золотарев А. М. 1931. Происхождение экзогамии // Изв. ГАИМК. Т. 10. Вып. 2–4. 33 с.
- Зубов А. А. 2004. Палеоантропологическая родословная человека. М.: ИЭА. 552 с.
- Ибн Хордадбех. 1986. Книга путей и стран / Перев., коммент. Н. Велихановой. Баку.
- Иванов В. В. 1967. Языковые данные о происхождении кушанской династии и тохарская проблема // Народы Азии и Африки. № 3.
- Иванов В. В. 1992. Тохары // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М.
- Игнатенко А. А. 1980. Ибн-Хальдун. М.: Мысль. 160 с.
- Иларион. 1994. Слово о законе и благодати. М.: Столица. 143 с.
- Иллич-Свитыч В. М. 1971; 1976. Опыт сравнения постратических языков. Введение. Сравнительный словарь (ь–К). Т. 1; 2. М.
- Ильхамов А. 2005. Археология узбекской идентичности // ЭО. № 1. С. 25–47.
- Иордан. 1960. О происхождении и деяниях гетов (Getica). Вступ. ст., пер., коммент. Е. Ч. Скржинской. М.: Восточная литература. 436 с.
- Исландские саги. 1972. Ред. М. И. Стеблин-Каменский. М.
- Каландадзе А. Н., Каландадзе К. С., Векуа А. К., Мамацашвили Н. С. 1977. Экологические условия позднего плейстоцена — голоцена в предгорьях Колхиды по раскопкам Белой пещеры // Палеоэкология древнего человека. М.
- Калинина И. В. 1998. Тотем в структуре образного мышления // Теория и методика архайки. СПб.: СПбГУ. С. 96–105.
- Канивец В. И. 1976. Палеолит крайнего Северо-Востока Европы. М.: Наука. 96 с.
- Кант И. 1995. Критика способности суждения. СПб.: Наука. 512 с.
- Кастере Н. 1974. Полвека под землей. М.: Детская литература. 192 с.
- Кирпичников А. Н. 1988. Ладога и Ладожская земля VIII–XIII вв. // Славяно-русские древности. Вып. 1. Л. С. 38–79.
- Кирпичников А. Н., Лебедев Г. С., Булкин В. А., Дубов И. В., Назаренко В. А. 1980. Русско-скандинавские связи эпохи образования Киевского государства на современном этапе археологического изучения // КСИА. Вып. 160. М. С. 24–38.

- Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. 1986. Русь и варяги (руско-скандинавские отношения домонгольского времени) // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс. С. 189–297.
- Киселев С. В. 1949. Древняя история Южной Сибири // МИА. № 9. М.; Л.
- Кларк Дж. Д. 1953. Доисторическая Европа. Экономический очерк. М.: ИЛ. 332 с.
- Кларк Дж. Д. 1977. Доисторическая Африка. М.: Наука. 264 с.
- Клиндт-Йенсен О. 2003. Дания до викингов. СПб.: Евразия. 224 с.
- Кляшторный С. Г. 1981. Мифологические сюжеты в древнетюркских памятниках // Тюркологический сборник 1977. М.: Наука. С. 117–138.
- Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. 2005. Степные империи древней Евразии. СПб.: СПбГУ. 346 с.
- Книга Марко Поло. 1956. М.: Изд-во географической литературы.
- Кобищанов Ю. М. 1995. Полудье: явление огчегственной и всемирной истории цивилизации. М.: Росспэн. 320 с.
- Ковалевский А. П. 1956. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана и его путешествие на Волгу в 921–922 гг. Харьков.
- Ковалевский С. Д. 1977. Образование классового общества и государства в Швеции. М.: Наука. 280 с.
- Кожин П. М., Фролов Б. А. 1973. Представления о пространстве в творчестве населения палеолитической Европы // СЭ. № 2.
- Козин С. А. 1941. Введение в изучение памятника // Сокровенное сказание. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 9–75.
- Козлов В. И. 1982. Особенности воспроизводства населения в доклассовом и раннеклассовом обществе // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М.: Наука. С. 9–32.
- Коковцов П. К. 1932. Еврейско-хазарская переписка в X в. Л.
- Колосовская Ю. К. 2000. Рим и мир племен на Дунае I–IV вв. н.э. М.: Наука. 288 с.
- Кольцов Л. В. 1977. Финальный палеолит и мезолит Южной и Восточной Прибалтики. М.: Наука. 216 с.
- Кольцов Л. В. 2002. Формирование мезолитических культур Северной Европы // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь. С. 46–53.
- Кон И. С. 1990. Введение в сексологию. М.: Медицина. 319 с.
- Константин Багрянородный. 1991. Об управлении империей. Ред. Г. Г. Литаврин, А. П. Новосельцев. М.: Наука. 493 с.
- Концепт движения в языке и культуре. 1996. Ред. Т. А. Агапкина. М.: Индик. 384 с.
- Корзухина Г. Ф. 1971. О некоторых ошибочных положениях в интерпретации материалов Старой Ладogi // Скандинавский сборник. Вып. XVI. С. 127–131.
- Корзухина Г. Ф. 1977. Об Одина и кресалах Прикамья // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука. С. 156–162.

- Коротаев А. В. 2006. Долгосрочная политико-демографическая динамика Египта: циклы и тенденции. М.: Восточная литература. 111 с.
- Крадин Н. Н. 1995. Трансформация государственной системы от вожества к государству: монгольский пример, 1180(?)–1206 // Альтернативные пути к ранней государственности. Владивосток: Дальнаука. С. 188–198.
- Крадин Н. Н. 2001. Империя Хунну. 2-е изд. М.: Логос. 312 с.
- Крадин Н. Н. 2004. Политическая антропология. 2-е изд. М.: Логос. 270 с.
- Крадин Н. Н., Скрынникова Т. Д. 2006. Империя Чингис-хана. М.: Восточная литература. 557 с.
- Крил Х. Г. 2001. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу. СПб.: Евразия. 480 с.
- Крузе Ф. О. 1836. О происхождении Рюрика (преимущественно по французским и немецким летописям) // ЖМНП. Ч. 9. № 1. СПб. С. 43–73.
- Крупник И. И. 1989. Арктическая этноэкология. М.: Наука. 270 с.
- Крупнов Ю. В. 2003. Почему Россия Россия (Северная цивилизация–2) // <http://www.pereplet.ru/kрупnov/42.html>
- Крюков М. В. 1982. Этнические и политические общности: диалектика взаимодействия // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М.: Наука. С. 147–163.
- Крюков М. В. 1988. Восточный Туркестан в III в. до н.э. — VI в. н.э. // Восточный Туркестан в древности и средневековье. М.: Наука. С. 223–296.
- Кузенков П. В. 2003. Поход 860 г. на Константинополь и первое крещение Руси в средневековых письменных источниках // Древнейшие государства Восточной Европы: 2000 г.: Проблемы источниковедения. М. С. 3–172.
- Кузнецов Е. В. 1997. Славяне и русы: очерки по истории этногенеза (IV–IX вв.). Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та. 208 с.
- Кузьмин С. Л. 1999. Сопки Нижнего Поволжья: Взгляд на проблему на исходе XX века // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.: ИИМК РАН. С. 89–99.
- Кузьмина Е. Е. 1977. Распространение коневодства и культа коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света // Средняя Азия в древности и средневековье. М. С. 28–52.
- Кузьмина Е. Е. 1994. Откуда пришли индоарии? Материальная культура племен андроновской общности и происхождение индоиранцев. М.: Рос. ин-т культурологии. 464 с.
- Кызласов И. Л. 1982. Гора-прародительница в фольклоре хакасов // СЭ. № 2. С. 83–93.
- Кычанов Е. И. 2004. Властители Азии. М.: Восточная литература. 632 с.
- Ламберт Д. 1991. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л.: Недра. 256 с.
- Ларичев В. Е. 1977. Открытие рубил на территории Восточной Азии и проблема локальных культур нижнего палеолита // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука. С. 22–34.



- Ларичева И. П. 1976. Палеоиндейские культуры Северной Америки. Новосибирск: Наука. 231 с.
- Ле Гофф Ж. 2005. Цивилизация средневекового Запада. Екатеринбург: У-Фактория. 568 с.
- Лебедев Г. С. 1985. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археологические очерки. Л.: Изд-во ЛГУ. 286 с.
- Лебедев Г. С. 2005. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.: Евразия. 640 с.
- Лев Диакоп. 1988. История. М.: Наука. 240 с.
- Левандовский А. П. 1995. Карл Великий: Через Империю к Европе. М.: Сوراتник. 262 с.
- Левин-Брюль Л. 1937. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: ОГИЗ. 519 с.
- Левин-Строс К. 1985. Структурная антропология. М.: Наука. 536 с.
- Лев-Старович З. 1991. Секс в культурах мира. М.: Мысль. 252 с.
- Левин М. Г. 1958. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. М.: Изд-во АН СССР. 358 с.
- Леонтьев А. Е. 1981. Скандинавские вещи в коллекции Сарского городища // Скандинавский сборник. XXVI. Таллинн. С. 141–150.
- Леонтьев А. Е. 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М. 342 с.
- Ломоносов М. В. 1952. Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии // Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. 6. М.; Л. Изд-во АН СССР. 689 с.
- Лукьянченко Т. В. 1980. Этногенез саамов // Этногенез народов Севера. М.: Наука. С. 28–40.
- Любин В. П. 1984. Ранний палеолит Кавказа // Палеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука. С. 45–93.
- Мавродин В. В. 1945. Образование Древнерусского государства. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та. 432 с.
- Макиндер Х. Дж. 2003. Географическая ось истории // Классики геополитики. XX век. М.: АСТ. С. 7–30.
- Мак-Ги Р. 1988. Происхождение эскимосов: возможна ли альтернативная гипотеза // СЭ. № 3. С. 110–117.
- Макаров Н. А. 1990. Население Русского Севера в XI–XIII вв. М.: Наука. 214 с.
- Макаров Н. А. 2005. Север и Юг Древней Руси в X — первой половине XIII века: факторы консолидации и обособления // Русь в IX–XIV веках: Взаимодействие Севера и Юга. М.: Наука. С. 5–10.
- Малиновский Б. 2004. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. М.: Росспэн. 552 с.
- Марк К. Ю. 1956. Вопросы этнической истории эстонского народа в свете данных палеоантропологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллинн.

- Марков Г. Е. 1976. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М.: МГУ. 320 с.
- Маркоу Г. 2006. Финикийцы. М.: Фаир-Пресс. 318 с.
- Массон В. М. 1989. Первые цивилизации. Л.: Наука. 275 с.
- Матузова В. И. 1979. Английские средневековые источники IX–XIII вв. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука. 268 с.
- Матющенко В. И. 1970. Нож из могильника у деревни Ростовка // КСИА. № 129. С. 103–105.
- Матющенко В. И., Синицына Г. В. 1988. Могильник у деревни Ростовка вблизи Омска. Томск: ТГУ. 136 с.
- Мачинский Д. А. 1981. «Дунай» русского фольклора на фоне восточнославянской истории и мифологии // Русский Север. Проблемы этнографии и фольклора. Л.: Наука. С. 110–171.
- Мачинский Д. А. 1988. Колбаги «Русской Правды» и приладожская курганная культура // Тихвинский сборник. Вып. 1. Археология Тихвинского края. Тихвин. С. 90–103.
- Мачинский Д. А., Мачинская А. Д. 1988. Северная Русь, Русский Север и Старая Ладога в VIII–XI вв. // Культура Русского Севера. Л.: Наука. С. 44–58.
- Машенко Е. Н., Шубина Ю. В., Телегина С. Н. 2006. Луговское: пейзаж на фоне ледников. Ханты-Мансийск; Екатеринбург: Баско. 82 с.
- Мелларт Дж. 1982. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М.: Наука. 149 с.
- Мельникова Е. А. 1977. Восточноевропейские топонимы с корнем *gard-* в древнескандинавской письменности // Скандинавский сборник. Вып. 22. Таллинн. С. 199–210.
- Мельникова Е. А. 1986. Древнескандинавские географические сочинения (тексты, перевод, комментарий). М.: Наука. 326 с.
- Меновщиков Г. А. 1959. Эскимосы. Магадан: Кн. изд-во. 147 с.
- Мерперт Н. Я. 1977. Из истории древнеямыных племен // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука. С. 68–80.
- Мерперт Н. Я. 1982. Энеолит юга СССР и евразийские степи // Энеолит СССР. М.: Наука. С. 322–331.
- Мечников Л. И. 1995. Цивилизация и великие исторические реки. М.: Прогресс-Пангея. 462 с.
- Мифы народов мира. Энциклопедия. 1980. Т. 1. М.: Советская Энциклопедия. 720 с.
- Младшая Эдда. 1970. Ред. О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. Л.: Наука. 138 с.
- Молодин В. И. 1992. Древнее искусство Западной Сибири (Обь-Иртышская степь). Новосибирск: Наука. 191 с.
- Молодин В. И. 2000. Пазырыкская культура: проблемы этногенеза, этнической истории и исторических судеб // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4(4). С. 131–142.

- Моммзен Т. 1994. История Рима. Т. 2. СПб.
- Монтескье Ш. Л. 1900. О духе законов. М.
- Моора Х. А. 1956. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Таллинн.
- Морган Ж. де. 1926. Доисторическое человечество. М.; Л.
- Мосс М. 1996. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература РАН. 360 с.
- Мочанов Ю. А. 1977. Древнейшие этапы заселения человеком Северо-Восточной Азии. Новосибирск: Наука. 264 с.
- Мошинская В. И. 1978. Современное состояние вопроса о роли южного компонента в древней культуре населения Крайнего Севера и Западной Сибири // Этнокультурная история населения Западной Сибири. Томск: ТГУ. С. 56–72.
- Мусин А. Е. 2002. Структуры власти в Ладоге XI–XV в. // Ладога и ее соседи в эпоху раннего средневековья. СПб. С. 69–87.
- Назаренко А. В. 1970. Классификация погребальных памятников Южного Приладожья // Статистико-комбинаторные методы в археологии. М.: Наука. С. 191–201.
- Назаренко А. В. 1979. Норманны и появление курганов в Приладожье // Северная Русь и ее соседи. Л. С. 131–137.
- Назаренко А. В. 2001. Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических связей IX–XII вв.. М.: Языки русской культуры. 784 с.
- Напольских В. В. 1997. Введение в историческую уралистику. Ижевск: Удм. ин-т истории, языка и литературы УрО РАН. 189 с.
- Насонов А. Н. 1951. «Русская Земля» и образование территорий Древнерусского государства. Историко-географическое исследование. М.: Изд-во АН СССР. 261 с.
- Нейштадт М. И. 1957. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М.; Л.: Изд-во АН. 404 с.
- Неклюдов С. Ю. 1981. Мифология тюркских и монгольских народов. Проблема взаимосвязей // Тюркологический сборник 1977. М. С. 183–202.
- Неупокоев В. 1926. Большой шаман-Кындыгир (из преданий северобайкальских тунгусов) // Жизнь Бурятии. № 4/6.
- Нидерле Л. 2001. Славянские древности. М.: Алетейя. 590 с.
- Николаева И. А. 1988. Проблемы урало-юкагирских генетических связей. Автореф. дисс. канд. филол. наук. М.
- Николаева И. А. 1989. Вступительная статья // Фольклор юкагиров Верхней Колымы. Хрестоматия. Ч. I. Якутск: Изд-во ЯГУ. С. 3–19.
- Новосельцев А. П. 1965. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–XI вв. // Древнерусское государство и его международное значение. М. С. 389–419.

- Носов Е. Н. 1975. Старая Ладога и поселения Приильменя конца I тыс. // III Международный конгресс по славянской археологии. Тез. докл. советской делегации. М.
- Носов Е. Н. 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.: Наука. 216 с.
- Носов Е. Н. 1999. Современные археологические данные по варяжской проблеме на фоне традиций русской историографии // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.: ИИМК РАН. С. 151–163.
- Носов Е. Н. 2002. Происхождение первых городов Северной Руси // Исторические записки. Вып. 5 (123). М.
- Нуаре Л. 1925. Орудие труда и его значение в истории развития человечества. Киев: Гос. издат. Украины.
- Нюлен Э. 1986. Эпоха викингов и раннее средневековье в Швеции // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс. С. 155–168.
- Обермайер Г. 1913. Доисторический человек. СПб.: «Брокгауз-Эфрон». 687 с.
- Овидий. 1982. Скорбные элегии. Письма с Понта. М.: Наука. 271 с.
- Огородников В. И. 1922. Из истории покорения Сибири: Покорение юкагирской земли // Труды Государственного Института народного образования в Чите. Вып. 1. Чита.
- Окладников А. П. 1941. Палеолитическая статуэтка из Бурети // МИА. № 2. М.; Л.
- Окладников А. П. 1953. Древние культурные связи между арктическими племенами Азии и Европы // Уч. Зап. ЛГУ. № 157. Л. С. 151–166.
- Окладников А. П. 1955. Якутия до присоединения к Русскому государству // История Якутской АССР. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 432 с.
- Окладников А. П. 1967. Утро искусства. Л.: «Искусство». 135 с.
- Окладников А. П., Васильевский Р. С. 1976. По Аляске и Алеутским островам. Новосибирск: Наука. 168 с.
- Окшотт Э. 2004. Археология оружия. От бронзового века до эпохи Ренессанса. М.: Центрполиграф. 398 с.
- Орехов А. А. 1998. Приморская адаптация древнего человека Северной Пацифики // Северо-Восток России: проблемы экономики и народонаселения. Т. 2. Магадан: «Северовостокзолото».
- Орехов А. А. 2001. Северная Пацифика в голоцене (проблемы приморской адаптации). Автореф. дисс. докт. ист. наук. СПб.
- Павлов П. Ю. 2002. Древнейшие этапы заселения Севера Евразии: Северо-Восток Европы в эпоху палеолита // Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Академкнига». С. 192–209.
- Павлов П. Ю., Робрукс В., Свендсен Й.-И. 2006. Средний палеолит и ранняя пора верхнего палеолита на Северо-Востоке Европы // II Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Чароид». С. 280–306.

- Панкрусев Г. А. 1964. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. М.; Л.: Наука. 149 с.
- Панкрусев Г. А. 1978. Мезолит и неолит Карелии. Т. 1. Л.: Наука. 164 с.
- Пенник Н., Джонс П. 2000. История языческой Европы. СПб.: Евразия. 448 с.
- Перевалова Е. В. 2004. Северные ханты: этническая история. Екатеринбург: УрО РАН. 414 с.
- Переслегин С. Б. 2002. «Северная цивилизация»: Санкт-Петербург на геополитической карте мира // [http://stabes.nm.ru/materials/Pereslegin/Per\\_NordCiv.htm](http://stabes.nm.ru/materials/Pereslegin/Per_NordCiv.htm)
- Песнь о нибелунгах. 2001. Пер. Ю. Корнеева. СПб.: Азбука-Классика. 376 с.
- Петри Б. Э. 1924. Территориальное родство у северных бурят // Изв. Биолого-географического НИИ при Иркутском ун-те. Т. 1. Вып. 2. Иркутск. 21 с.
- Петрин В. Т. 1992. Палеолитическое святилище в Игнатиевской пещере на Южном Урале. Новосибирск: Наука. 206 с.
- Петрухин В. Я. 1985. О начальных этапах формирования древнерусской народности в свете данных погребального обряда // Балто-славянские этнокультурные и археологические древности. Погребальный обряд. Тез. докл. М.
- Петрухин В. Я. 2001. «Русский каганат», скандинавы и южная Русь: средневековая традиция и стереотипы современной историографии // Древнейшие государства Восточной Европы: 1999. М. С. 127–142.
- Пидопличко И. Г. 1976. Межиричские жилища из костей мамонта. Киев: Наукова думка.
- Питулько В. В. 1997. Природная среда и древний человек: проблема древности освоения Арктического региона // Материалы и исследования по археологии Севера Дальнего Востока и сопредельных территорий. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. С. 165–176.
- Питулько В. В. 1998. Жоховская сгоянка. СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин». 185 с.
- Питулько В. В. 2000. Миражи неоткрытых земель // Северные просторы. № 4. С. 88–92.
- Питулько В. В. 2001. Морские адаптации на Северо-Востоке Азии // Диковские чтения. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. С. 64–71.
- Питулько В. В. 2003. Голоценовый каменный век Северо-Восточной Азии // Естественная история российской восточной Арктики в плейстоцене и голоцене. М.: Геос. С. 99–151.
- Питулько В. В. 2006. Культурная хронология каменного века северо-востока Азии // II Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Чароид». С. 306–322.
- Плано Карпини И. де. 1993. История монгалов, именуемых нами татарами // Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Гильома де Рубрука. Алматы: «Гылым». С. 20–75.

- Плетнева С. А. 1982. Кочевники Средневековья: Поиски исторических закономерностей. М.: Наука. 188 с.
- Плутарх. 2004. Сравнительные жизнеописания. Трактаты. Диалоги. Изречения. М.: «Пушкинская библиотека», АСТ. 960 с.
- Повесть временных лет. 1950. Ч. 1. М.
- Подосинов А. В. 1999. *Ex oriente lux!* Ориентация по странам света в архаических культурах Евразии. М.: «Языки русской культуры». 720 с.
- Покровский М. Н. 1910. Русская история с древнейших времен. Т. 1. М.
- Покровский М. Н. 1915. Очерк истории русской культуры. Ч. 1. М.
- Покровский М. Н. 1931. Русская история в самом кратком очерке. Ч. 1–2. М.
- ПСРЛ. 1917. Т. 4. Ч. 2. Новгородская 5-я летопись. Вып. 1. Пг. 272 с.
- ПСРЛ. 1987. Т. 36. Сибирские летописи. Ч. 1. Предисл. Н. Н. Покровского, Е. К. Ромодановской. М.: Наука. 381 с.
- Полосьмак Н. В., Молодин В. И. 2000. Памятники пазырыкской культуры на плоскогорье Укок // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4(4). С. 66–87.
- Поэзия скальдов. 1979. Пер. С. В. Петрова, коммент. и прил. М. И. Стеблин-Каменского. Л.: Наука. 183 с.
- Праслов Н. Д. 1984. Время и пути древнейшего заселения территории СССР человеком // Палеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука. С. 42–44.
- Пропп В. Я. 1946. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во Ленингр. гос. ун-та. 340 с.
- Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131–1153 гг.) М.: Наука. 134 с.
- Пушкина Т. А. 1988. Скандинавские находки из окрестностей Муромы // Проблемы изучения древнерусской культуры (расселение и этнокультурные процессы на Северо-Востоке Руси). М. С. 162–169.
- Разумова А. П. 1980. Некоторые особенности сказочной традиции Пудожского края // Фольклористика Карелии. Петрозаводск. С. 65–79.
- Ранов В. А. 1985. Гиссарская культура — неолит горных областей Средней Азии (происхождение, распространение, особенности) // Каменный век Северной, Средней и Восточной Азии. Новосибирск.
- Ранов В. А. 2005. Проблема внутрорического происхождения человека: миф и реальность // Археология, этнография и антропология Евразии. 1(21). С. 16–20.
- Ратцель Ф. 1902; 1901. Народоведение. Т. 1; 2. СПб. 764; 877 с.
- Рашид-ад-дин. 1952. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 1–2. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 222; 316 с.
- Рашид-ад-дин. 1960. Сборник летописей. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 248 с.
- Рикёр П. 2002. История и истина. СПб.: Алетейя. 400 с.
- Рогачев А. Н., Аникович М. В. 1984. Поздний палеолит Русской равнины и Крыма // Палеолит СССР. Археология СССР. М.: Наука. С. 162–271.
- Рогинский Я. Я., Левин М. Г. 1978. Антропология. М.: Высшая школа. 352 с.

- Роэсдаль Э. 2001. Мир викингов: викингс дома и за рубежом. СПб.: Всемирное слово. 272 с.
- Руденко С. И. 1953. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 404 с.
- Рыбаков Б. А. 1982. Киевская Русь и русские княжества XI–XIII вв. М.: Наука.
- Рыбаков Б. А. 1987. Язычество Древней Руси. М.: Наука. 783 с.
- Рыдзевская Е. А. 1945. Сведения о Старой Ладоге в древнесеверной литературе // КСИИМК. Вып. XI. М.; Л. С. 51–65.
- Рыдзевская Е. А. 1978. Древняя Русь и Скандинавия в IX–XIV вв. // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. М.: Наука. 240 с.
- Рябини́н Е. А. 1985. Новые открытия в Старой Ладоге (итоги раскопок на Земляном городище 1973–1975 гг.) // Средневековая Ладога. Л. С. 27–75.
- Рябини́н Е. А., Дуба́шинский А. В. 2002. Любшанское городище в Нижнем Поволжье (предварительное сообщение) // Ладога и ее соседи в эпоху средневековья. СПб. С. 196–203.
- Савельева Е. А. 1983. Олаус Магнус и его «История северных народов». Л.: Наука. 136 с.
- Сагалаев А. М. 1991. Урало-алтайская мифология: символ и архетип. Новосибирск: Наука. 154 с.
- Сагалаев А. М. 1992. Алтай в зеркале мифа. Новосибирск. Наука. 176 с.
- Сагалаев А. М., Октя́брьская И. В. 1990. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Знак и ритуал. Новосибирск: Наука. 209 с.
- Сайко Э. В. 1982. Техника и технология керамического производства Средней Азии в историческом развитии. М.
- Сафронов В. А. 1989. Индоевропейские прародины. Горький: Волго-Вятское кн. изд-во. 398 с.
- Сахаров А. Н. 1982. Дипломатия Святослава. М.: Международные отношения. 240 с.
- Свердлов М. Б. 1973. Сведения скандинавов о географии Восточной Европы в IX–XI вв. // История географических знаний и открытий на севере Европы. Л. С. 39–58.
- Седов В. В. 1970. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья // МИА. № 163. М.
- Седов В. В. 1977. К палеоантропологии восточных славян // Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. М.: Наука. С. 148–156.
- Седов В. В. 1999. Становление первых городов в Северной Руси и варяги // Раннесредневековые древности Северной Руси и ее соседей. СПб.: ИИМК РАН. С. 206–210.
- Седов В. В. 2005. Этногенез ранних славян // Труды ОИФН. 2005. М.: Наука. С. 206–222.
- Селезнев А. Г. 1996. Южносибирский лесной культурный комплекс: проблема генезиса полозных средств транспорта // Интеграция археологических и этнографических исследований. Ч. 2. Новосибирск; Омск. С. 87–94.

- Семенов В. А. 1993. Древнейшая миграция индоевропейцев на восток (к столетию открытия тохарских рукописей) // Петербургский археологический вестник. Вып. 4. СПб.
- Симпсон Ж. 2005. Викинги. Быт, религия, культура. М.: Центрполиграф. 239 с.
- Симченко Ю. Б. 1976. Культура охотников на оленей Северной Евразии: Этнографическая реконструкция. М.: Наука. 311 с.
- Скандинавский эпос: Старшая Эдда. Младшая Эдда. Исландские саги. 2008. М.: АСТ Москва. 858 с.
- Скилица. 1988. О войне в русью императоров Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия // Лев Диакон. История. М.: Наука, 1988. С. 121–133.
- Слободин С. Б. 2000. Корреляция позднелейстоценовых археологических комплексов западной и восточной Берингии // Исторические исследования на севере Дальнего Востока. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. С. 4–19.
- Слободин С. Б. 2001. Из истории археологических исследований в Берингии // Диковские чтения. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН. С. 46–52.
- Смирницкая О. А. 1980. О поэзии скальдов в «Круте Земном» и ее переводе на русский язык // Снорри Стурлусон. Крут Земной. М.: Наука. С. 597–611.
- Смирнов П. 1928. Волзький шлях і стародавні Русы. Київ.
- Смоляк А. В. 2001. Народы Нижнего Амура и Сахалина. Фотоальбом. М.: Наука. 318 с.
- Сойер П. 2002. Эпоха викингов. СПб.: Евразия. 352 с.
- Сокровенное сказание. 1941. Пер., введение, примечания С. А. Козина. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 620 с.
- Солкин В. В. 2001. Египет: вселенная фараонов. М.: Алетея. 448 с.
- Соловьев С. М. 1988. Сочинения. История России с древнейших времен. Кн. I. М.: Мысль. 800 с.
- Сорокин А. Н. 2006. Финальный палеолит центральной России: проблема и решение // II Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Чароид». С. 338–361.
- Сорокин А. Н. 2006а. Мезолит Оки. Проблемы культурных различий. Труды Отдела охранных раскопок. Т. 5. М.: ИА. 312 с.
- Сорокин П. А. 2006. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель. 1175 с.
- Стальсберг А. 1987. Женские вещи скандинавского происхождения на территории Древней Руси // Труды V Международного конгресса славянской археологии. Т. 3. Вып. 16. М.
- Стальсберг А. 1999. Торговый инвентарь женских погребений эпохи викингов (субъективная интерпретация) // Stratum Plus. Неславянское в славянском мире. № 5. СПб.; Кишинев; Одесса. С. 158–163.
- Стант Х. 2000. Наименование Руси (герульская версия). СПб.
- Станкевич Я. В. 1950. Керамика нижнего горизонта Старой Ладogi // СА. Т. XIV. М.; Л. С. 187–216.



- Старостин С. А. 1984. Гипотеза о генетических связях сино-тибетских языков с енисейскими и северокавказскими языками // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. IV. Древнейшая языковая ситуация в Восточной Азии. М.
- Старшая Эдда. 1963. Пер. А. И. Корсуна. Ред., вступ. статья и коммент. М. И. Стеблин-Каменского. М.: Наука. 260 с.
- Степугина Т. В. 2002. Китай во второй половине I тысячелетия до х.э. — первые века христианской эры // История Востока: в 6 т. Т. 1. Восток в древности. М.: Восточная литература. С. 433–461.
- Стоколос В. С. 2000. Вопросы этногенеза Северного Приуралья в энеолите и бронзовом веке // Древности Ямала. Вып. I. Екатеринбург; Салехард: УрО РАН. С. 6–24.
- Столяр А. Д. 1985. Происхождение изобразительного искусства. М.: Искусство. 298 с.
- Столяр А. Д. 1998. Лук и стрелы как факторы мезо-неолитической меры пространства (генезис архетипа левантйской «перспективы») // Теория и методика археики. СПб.: СПбГУ. С. 68–77.
- Страбон. 1964. География. В 17 кн. Пер. с древнегреч.; вступ. статья и коммент. Г. А. Стратановского. М.: Наука.
- Страхов А. Б. 1988. О пространственном аспекте славянской концепции небытия // Этнолингвистика текста: Символика малых форм фольклора. М.: Ин-т славяноведения и балканистики С. 92–94.
- Стрингольм А. 2003. Походы викингов. М.: АСТ. 736 с.
- Стурлусон С. 1980. Круг Земной. Изд. подгот. А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М.: Наука. 687 с.
- Сухотин Л. М. 1938. Брачные союзы ближайших потомков князя Владимира // Владимирский сборник в память 950-летия крещения Руси. Белград. С. 175–187.
- Сушкин П. П. 1928. Высокогорные области земного шара и вопрос о родине первобытного человека // Природа. № 3. С. 250–279.
- Сыма Цянь. 2002. Исторические записки (Ши цзи). Пер., предисл. и коммент. Р. В. Вяткина, А. Р. Вяткина и А. М. Карапетянца. Т. 8. М.: Наука. 510 с.
- Тард Г. 1892. Законы подражания. СПб.
- Таскин В. С. 1968; 1973. Материалы по истории сюнну. Вып. 1; 2. М.
- Таскин В. С. 1984. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М.: Наука.
- Татищев В. Н. 1962. История Российская: в 7 т. Т. 1. М.; Л.: Изд-во АН СССР.
- Тацит. 2001. Анналы. Малые произведения. История. М.: «Ладомир». 986 с.
- Тепп Т. С. 1979. Археологические исследования на острове Врангеля // Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока. Магадан. С. 53–63.
- Телегін Д. Я. 1973. Средньостогівська культура епохи міді. Київ.

- Тернер К. Г. 1983. Синодонтия и сундадонтия: происхождение, микроэволюция и расселение монголоидов в бассейне Тихого океана, Сибири и Америки с точки зрения одонтологии // Позднеплейстоценовые и раннеголоценовые культурные связи Азии и Америки. Новосибирск: Наука. С. 72–76.
- Тиандер К. Ф. 1906. Поездки скандинавов на Белое море. СПб. 450 с.
- Тизенгаузен В. Г. 1941. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР.
- Тимошук Б. А. 1990. Восточнославянская община VI–X вв. н. э. М.: Наука. 184 с.
- Тиханова М. А. 1970. К вопросу о связях Южной Скандинавии с Восточной Европой в первой половине I тысячелетия н. э. Таллин.
- Тишков В. А. 2003. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука. 544 с.
- Тойнби А. Дж. 1991. Постигжение истории. М.: Прогресс. 736 с.
- Токарев С. А. 1990. Ранние формы религии. М.: Политиздат. 622 с.
- Топоров В. Н. 1983. Древние германцы в Причерноморье // Балто-славянские исследования 1982. М.: Наука. С. 227–262.
- Третьяков П. Н. 1937. Экспедиция по изучению арктического палеолита // СА. № 2.
- Трубецкой Н. С. 1995. История. Культура. Язык. М.: Прогресс. 800 с.
- Урланис Б. Ц. 1978. Эволюция продолжительности жизни. М.: Статистика. 309 с.
- Утемиш-хаджи. Чингиз-наме. 1992. Факсимиле, перевод, транскрипция, текстологические примечания, исследование В. П. Юдина. Комментарии и указатели М. Х. Абусеитовой. Алма-Ата: Гылым.
- Февр Л. 1991. Бои за историю. М.: Наука. 529 с.
- Федорова Н. В., Косинцев П. А., Фитцхью В. В. 1998. «Ушедшие в холмы»: культура населения побережий северо-западного Ямала в железном веке. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург». 180 с.
- Федосеева С. А. 1980. Ымыяхтахская культура Северо-Восточной Азии. Новосибирск: Наука. 224 с.
- Формозов А. А. 1980. Памятники первобытного искусства на территории СССР. М.: Наука. 134 с.
- Формозов А. А. 1987. Наскальные изображения и их изучение. М.: Наука. 112 с.
- Фроянов И. Я. 1996. Рабство и данничество у восточных славян. СПб.: СПбГУ. 512 с.
- Фрэзер Дж. Дж. 1986. Золотая Ветвь. М.: Политиздат. 670 с.
- Фукидид. 1999. История. Пер. Ф. Г. Мищенко, С. А. Жебелёва. Ред. Э. Д. Фролов. СПб.: Наука. 590 с.
- Хайду П. 1985. Уральские языки и народы. М.: Прогресс. 430 с.
- Хэйзинга Й. 1992. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М.: Прогресс-Академия. 464 с.

- Хелимский Е. А. 1982. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. Лингвистическая и этногенетическая интерпретация. М.: Наука.
- Хелимский Е. А. 1985. Самодийско-тунгусские лексические связи и их этноисторические импликации // Урало-алтаистика. Археология. Этнография. Язык. Новосибирск: Наука. С. 206–213.
- Хелимский Е. А. 1989. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Ч. 2. М.
- Херрман Й. 1986. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс. С. 8–128.
- Хлевов А. А. 2002. Предвестники викингов. Северная Европа в I–VIII вв. СПб.: Евразия. 336 с.
- Хлобыстин Л. П. 1990. Древние святилища острова Вайгач // Памятниковедение. Проблемы изучения историко-культурной среды Арктики. М.: НИИ Культуры. С. 120–135.
- Хлобыстин Л. П. 1993. Возпайская культура на Западном Таймыре и вопросы ее этнической принадлежности // Ad Polus. СПб.: Фарн. С. 19–27.
- Хлобыстин Л. П. 1998. Древняя история Таймырского Заполярья и вопросы формирования культур Севера Евразии. СПб.: ИИМК РАН. 342 с.
- Холл Т. 2004. Монголы в мир-системной истории // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ.
- Хольмквист В. 1986. Начальные века: культура и искусство вендельского периода [Швеция и шведские племена] // Славяне и скандинавы. М.: Прогресс. С. 146–155.
- Холушкин Ю. П. 1981. Проблемы корреляции позднелитических индустрий Сибири и Средней Азии. Новосибирск: Наука. 120 с.
- Хомич Л. В. 1966. Ненцы. М.; Л.: Наука. 329 с.
- Хонти Л. 1985. О связях уральских и алтайских языков // Урало-Алтаистика. Археология, этнография, язык. Новосибирск: Наука. С. 159–172.
- Худяков Ю. С. 1985. Формирование военного искусства кочевников в условиях степного ландшафта // Проблемы реконструкции в археологии. Новосибирск: Наука. С. 105–111.
- Худяков Ю. С. 1986. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука. 266 с.
- Цалкин В. И. 1970. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. М.: Наука. 280 с.
- Цезарь Гай Юлий. 2004. Записки. Пер. с лат. М. М. Покровского под ред. А. В. Короленкова. М.: Олма-Пресс Инвест. 480 с.
- Чайлд Г. 1949. Прогресс и археология. М.: Изд-во иностр. лит. 193 с.
- Чернецов В. Н. 1964. Наскальные изображения Урала // САИ. В4-12(1). М.: Наука.
- Черных Е. Н. 1988. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы // Древний Восток: этнокультурные связи. М.: Наука. С. 37–57.

- Черныш А. П. 1965. Ранний и средний палеолит Приднестровья // Труды Комиссии по изучению четвертичного периода. Т. 25. М.
- Чешев В. В. 2004. Проблема общечеловеческой солидарности в русской культуре. Альманах «Восток». № 3 (15). Март // [http://www.situation.ru/app/j\\_art\\_314.htm](http://www.situation.ru/app/j_art_314.htm).
- Чичерин Б. Н. 1858. Опыты по истории русского права. М.: К. Солдатенков и Н. Щепкин. 401 с.
- Шаскольский И. П. 1945. Договоры Новгорода с Норвегией // Исторические записки. Т. 14. М. С. 38–61.
- Шахматов А. А. 1904. Сказание о призвании варягов // Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук. Т. IX. СПб. С. 288–365.
- Широков В. Н. 2002. Панорама пещерного и наскального искусства Урала // Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Академкнига». С. 252–267.
- Шпирельман В. А. 1986. «Неолитическая революция» и неравномерность исторического развития // Проблемы переходного периода и переходных общественных отношений. М. С. 119–134.
- Шпирельман В. А. 1989. Возникновение производящего хозяйства. М.: Наука. 448 с.
- Шпирельман В. А. 2004. Интеллектуальные лабиринты: очерки идеологий в современной России. М.: Academia. 480 с.
- Шовкопляс И. Г. 1965. Мезинская стоянка. Киев: Наукова думка. 326 с.
- Шпенглер О. 1993; 1998. Закат Европы. Т. 1, 2. М.: Мысль. 667; 607 с.
- Штепа В. 2003. Гипербореицы новой эпохи // <http://www.apn.ru/publications/article10510.htm>
- Шумкин В. Я. 1988. Мезолит Кольского полуострова // СА. № 2. С. 15–33.
- Шумкин В. Я. 2001. Древнейшее население Фенноскандии // Очерки исторической географии. СПб. С. 17–24.
- Шюц А. 2004. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: Росспэн. 1056 с.
- Щепанская Т. Б. 2003. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М.: Индрик. 352 с.
- Щукин М. Б. 2005. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). СПб.: СПбГУ. 592 с.
- Эванс-Причард Э. Э. 1985. Нуэры. М.: Наука. 236 с.
- Эйзенштейн С. М. 2002. Метод. Т. 1. М.: Музей кино, Эйзенштейн-центр. 495 с.
- Эмери У. Б. 2001. Архаический Египет. СПб.: Журнал «Нева»; ИТД «Летний Сад». 384 с.
- Юнг К. Г. 2004. Душа и миф. Шесть архетипов. Минск: Харвест. 398 с.
- Якимов В. П. 1973. Черты прерывности в эволюции человека. М.
- Янин В. Л. 1956. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М.: Изд-во МГУ. 207 с.
- Янин В. Л. 2004. Средневековый Новгород: Очерки археологии и истории. М.: Наука. 416 с.

- Янин В. Л., Зализняк А. А. 1986. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарий и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 годов). М.: Наука. 260 с.
- Absolon K. 1949. The Diluvial Anthropomorphic Statuettes and Drawing Especially so-called Venus Statuettes discovered in Moravia // *Artibus Asiae*. 12. No 3. New York: Academic Press. P. 3–13.
- Adam of Bremen. 1959. History of the Archbishops of Hamburg-Bremen. Transl. by F. J. Tschan. New York: Columbia University Press.
- Ackerman R. E. 1984. Prehistory of the Asian Eskimo Zone // *Handbook of North American Indians*. V. 5. Arctic. Washington: Smithsonian Institution. P. 106–118.
- Ahlenius K. 1898. Die älteste geographische Kenntniss von Skandinavien // *Eranos*. Bd. 3. Uppsala. S. 46–47
- Alfred, King of England. 1855. A Description of Europe, and the Voyages of Ohthere and Wulfstan, written in Anglo-Saxon by King Alfred the Great. London: Longman and co.
- Anderson B. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso. 240 p.
- Anderson D. D. 1986. Northern Maritime Eskimo Cultural History around Kotzebue Sound // *Beach Ridge Archeology of Cape Krusenstern*. Publications in Archeology. 20. Washington: National Park Service, Department of the Interior. P. 107–114.
- Andrews P. 1984. The Descent of Man // *New Science*. V. 102. No 1408. P. 24–25.
- Angere I. 1951. Die uralo-jukagirische Frage: Ein Bericht zum Problem der sprachlichen Urverwandschaft. Stockholm.
- Arbman H. 1962. The Vikings. London.
- Ardrey R. 1961. African Genesis. New York. 380 p.
- Askeberg F. 1944. Norden och Kontinent. Uppsala.
- Ata-Malik-Jevaini. 1958. The History of the World Conqueror. London.
- Atkinson R. J. C. 1979. Stonehenge. Harmondsworth PB. 224 p.
- Bächler E. 1940. Das Alpine Paläolithikum der Schweiz im Wildkirchli, Drachenloch und Wildenmannisloch. Die ältesten menschlichen Niederlassungen aus der Altsteinzeit des Schweizerlandes. Basel. 262 s.
- Baetke W. 1964. Wörterbuch zur altnordischen Prosaliteratur. B. 1. Berlin.
- Bahn P. G. 1980. Crib-Biting: Tethered Horses in the Paleolithic? // *World Archaeology*. Vol. 12. No 2. London. P. 212–217.
- Barfield T. 1992. The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China, 221 BC to AD 1757. Cambridge: Blackwell.
- Bass G. F. 1987. Oldest Known Shipwreck Reveals Splendors of the Bronze Age // *National Geographic Magazine*. No 172/6 (December). P. 692–733.
- Bastian A. 1895. Ethnische Elementargedanken in der Lehre vom Menschen. 2 Abt. Berlin.
- Bayer G. S. 1735. De Varagis // *Commentarii Academiae scientiarum Imperialis Petropolitanae*. Tomus IV ad annum 1729.

- Berghe P. van den. 1995. Does Race Matter // Nations and Nationalism. I, 3. P. 357–368.
- Beth K. 1914. Religion und Magie bei den Naturvölkern. Berlin: Teubner. 238 s.
- Bigelow R. 1969. The Dawn Warriors: Man's Evolution toward Peace. Atlantic Monthly Press, Little, Brown, Boston. 277 p.
- Birket-Smith K. 1959. The Eskimos. London: Methuen.
- Boucher de Perthes. 1847. Antiquités Celtiques et Antédiluviennes. T. I. Paris: Tretteul.
- Bowers A. W. 1950. Mandan Social and Ceremonial Organization. Chicago: University of Chicago Press.
- Bräuer G. 2000. The KNM-ER 3884 Hominid and the Emergence of Modern Anatomy in Africa // Humanity from African Naissance to Coming Millennia. Witwatersrand–Firenze. P. 191–197.
- Braun F. 1924. Das historische Russland im nordischen Schrifttum. X–XIV Jahrhunderts // Festschrift Eugen Mogk zum 70. Geburtstag. Halle. S. 150–196.
- Breuil H. 1952. Quatre cents siècles d'art pariétal. Montignac. 417 p.
- Briard J., Fediaevsky N. 1992. Mégalithes de Bretagne. Éditions Quest-France, Rennes. 142 p.
- Brøgger A. W. 1928. Håloygenes Bjarmelandsferder // Festschrift til rektor J. Qvigstad 1853, 4 April 1928. Tromsø Museums Skrifter. Vol. 2. Tromsø: Tromsø Museum. H. 27–36.
- Brønsted J. 1960. The Vikings. London. Penguin Books. Harmondsworth, Middlesex. 320 p.
- Brønsted J. 1961; 1963. Nordische Vorzeit. Bd. II; III. Neumünster.
- Brubaker R. 2004. Ethnicity without Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bunker E. S. 1997. Ancient Bronzes of Eastern Eurasian Steppes from the Arthur M. Sackler Collections. New York.
- Burch E. S. Jr. 1972. The Caribou/Wild Reindeer as a Human Resource // American Antiquity. Vol. 37(3), pt. 1. P. 339–368.
- Burenhult G. 1973. Götalands Hällristningar. Del II. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°. No 8. Lund: Berlingska Boktryckeriet.
- Burenhult G. 1980. Götalands Hällristningar. Del I. Stockholm: University of Stockholm. 146 p.
- Bursche A. 2002. Circulation of Roman Coinage in Northern Europe in Late Antiquity // Histoire et mesure. Vol. XVII. No 3/4. P. 121–141.
- Caws P. 1970. What is Structuralism? // Claude Levi-Strauss: The Anthropologist as Hero. Cambridge, MA & London: MIT Press.
- Chard C. S. 1962. Time Depth and Culture Process in Maritime Northeast Asia // Asian Perspectives. 5(1). P. 118–126.
- Childe V. G. 1926. The Aryans. A Study of Indo-European Origins. The History of Civilization. New York: Alfred A. Knopf.
- Childe V. G. 1937. Man Makes Himself. London: Watts & Co.

- Ciszewski S. 1897. Die Künstliche Verwandschaft bei den Südslaven. Leipzig.
- Clark G. D. 1967. The Stone Age Hunters. New York. 240 p.
- Clark G. D. 1975. The Earlier Stone Age of Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press.
- Clark G. D. 1980. The Mesolithic Prelude. The Paleolithic-Neolithic Transition in Old World History. Edinburgh.
- Cleasby R., Vigfusson G. 1957. An Icelandic-English Dictionary. 2<sup>nd</sup> ed. Oxford.
- Coles J. M., Higgs E. S. 1969. The Archaeology of Early Man. New York: Praeger. 456 p.
- Collinder B. 1940. Yukagirisch und Uralisch // Uppsala Universitets Arskrift. Vol. 8.
- Collinder B. 1955. Finno-ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm: Almqvist&Wiskol. 211 p.
- Collins H. B. 1937. Archaeology of St. Lawrence Island, Alaska // Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol. 96(1). Washington. P. 197-203.
- Collins H. B. 1964. The Arctic and Subarctic // Prehistoric Man in the New World. Chicago: University of Chicago Press. P. 85-114.
- Dart R. 1948. The Makapansgat Proto-Human Australopithecus Prometheus // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 6. No 3. P. 259-284.
- Davis R. H. C. 1957. A History of Medieval Europe: from Constantine to Saint Louis. London. 421 p.
- De Vries J. 1957-1961. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden.
- De Vries J. 1977. Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden.
- De Waal F. B. M. 1989. Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes. Baltimore: Jons Hopkins University Press.
- De Waal F. B. M. 1999. The End of Nature versus Nature // Scientific American, December. P. 94-99.
- Deanesly M. 1956. A History of Early Medieval Europe 476-911. London. 620 p.
- Devoto G. 1962. Origini indoeuropee. Firenze. 522 p.
- Doerfer G. 1963. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Bd. I. Wiesbaden.
- Dolitsky A. B. 1990. Siberian Paleolithic Archaeology: Approaches and Analytic Methods // Bulletin of Archaeology and Art History. Cheongju. No 1. P. 225-263.
- Dumond D. E. 1969. Prehistoric Cultural Contacts in Southwestern Alaska // Science. Vol. 166 (28 November). P. 1103-1115.
- Dumond D. E. 1984. Prehistory: Summary; Prehistory of the Bering Sea Region // Handbook of North American Indians. Vol. 5. Arctic. Washington: Smithsonian Institution. P. 72-79; 94-105.
- Easton A. N. 1992. Mal de Mer Above Terra Incognita, or, What Ails the Coastal Migration Theory? // Arctic Anthropology. Vol. 29. No 2. P. 28-41.
- Fitzhugh W. W. 1975. A Comparative Approach to Northern Maritime Adaptations // Prehistoric Maritime Adaptations of the Circumpolar Zone. Paris and The Hague: Mouton. P. 339-386.

- Fitzhugh W. W. 1984. Paleo-Eskimo Cultures of Greenland // Handbook of North American Indians. Vol. 5. Arctic. Washington: Smithsonian Institution. P. 528-539.
- Fitzhugh W. W. 1994. Crossroads of Continents: Review and Prospect // Anthropology of the North Pacific Rim. Washington and London: Smithsonian Institution Press. P. 27-51.
- Fitzhugh W. W. 1997. Searching for the Grail: Virtual Archeology in Yamal and Circumpolar Theory // Fifty Years of Arctic Research. Anthropological Studies from Greenland to Siberia. Publications of the National Museum. Ethnographical Series. Vol. 18. Copenhagen: National Museum of Denmark. P. 99-118.
- Fladmark K. R. 1983. Times and Places: Environmental Correlations of Mid-to-Late Wisconsinan Human Population Expansion in North America // Man in New World. London. P. 13-41.
- Flor F. 1930. Haustire und Hirtenkulturen. Kulturgeschichtliche Entwicklungsumrisse. Wien Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistic. Veröffentlichungen des Instituts für Völkerkunde and Universität Wien. S. 123-130.
- Ford J. A. 1959. Eskimo Prehistory in the Vicinity of Point Barrow, Alaska // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. 47(1). New York. 272 p.
- Forsdyke J. 1952. Minos of Crete, the Chieftain Cup // Journal of the Warburg and Courtauld Institutes. Vol. XV. P. 13-19.
- Foxvog D. A. 2007. Elementary Sumerian Glossary. University of California, Berkeley. 64 p.
- Futaky I. 1983. Der Frage der uralisch-tungusischen Sprachbeziehungen // Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Vol. 185. Helsinki.
- Futaky I. 1988. Uralisch und Tungusisch. In: The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. Leiden-New York-Kopenhagen-Köln.
- Gellner E. 1983. Nation and Nationalism. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Gennep A. van 1920. L'état actuel du probleme totemique. Paris.
- Gjessing G. 1944. Circumpolar Stone Age // Acta Arctica. Fasc. 11.
- Giddings J. L. 1964. The Archaeology of Cape Denbigh. Providence: Brown University Press.
- Giddings J. L., Anderson D. D. 1986. Beach Ridge Archaeology of Cape Krusenstern (Publications in Archaeology. 20). Washington DC: National Park Service. 386 p.
- Gimbutas M. 1956. Prehistory of Eastern Europe. Pt I. Mesolithic, Neolithic and Copper Age cultures in Russia and the Baltic area // Peabody Museum, Harvard University, Bulletin No. 20 Cambridge, Massachusetts. 241 pp.
- Gimbutas M. 1970. Proto-Indo-European Culture: the Kurgan Culture During the Fifth, Fourth and Third Millenia B. C. // Indo-European and Indo-Europeans. Philadelphia: University Pennsylvania Press. P. 155-198
- Gimbutas M. 1970a. The Kurgan culture // Actes du VII Congress International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Praha.



- Goddard P. E. 1927. Facts and Theories concerning Pleistocene Man in America // *American Anthropologist*. Vol. 29. P. 262–266
- Goebel T. 2000. Pleistocene Human Colonization of Siberia and Peopling of the Americas: An Ecological Approach // *Evolutionary Anthropology*. 9. P. 208–227.
- Golovnev A, Osherenko G. 1999. *Siberian Survival: The Nenets and Their Story*. Ithaca, New York: Cornell University Press. 224 p.
- González Morales M. R. 1997. When the Beasts Go Marchin' Out! The End of Pleistocene Art in Cantabrian Spain // *Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol*. San Francisco. P. 189–199.
- Goodenough W. H. 1970. Evolution of Pastoralism and Indo-European Origins // *Indo-European and Indo-Europeans*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P. 253–265.
- Gorman C. F. 1969. Hoabinhians: a Pebble-Tool Complex with Early Plant Associations in Southeast Asia. // *Science*. Vol. 163. No 3868. P. 671–673.
- Graebner F. 1911. *Methode der Ethnologie*. Heidelberg: Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 192 s.
- Graham-Campbell J. 1989. *The Viking World*. L.: Frances Lincoln. 220 p.
- Graziosi P. 1960. *Paleolithic Art*. London. Faber&Faber Ltd. 315 p.
- Greeman E. F. 1963. The Upper Paleolithic and the New World // *Current Anthropology*. Vol. 4 (1). P. 41–92.
- Gumplowicz L. 1883. *Der Rassenkampf: Sociologische Untersuchungen*. Wagner, Innsbruck.
- Hägerstrand T. 1968. *Innovation diffusion as a spatial process*. Chicago: University of Chicago Press. 334 p.
- Hakluyt R. 1902. *The Principal Navigations. I–II*. London: Everyman's Library.
- Hankins H. 1928. *An Introduction to the Study of Society*. New York.
- Hassan F. 1980. The Growth and Regulation of Human Population in Prehistoric Times // *Biosocial Mechanisms of Population Regulation*. New Haven and London: Yale University Press. P. 305–319.
- Hauser A. 1951. *The Social History of Art*. Vol. 1. London.
- Herrmann J. 1972. Byzanz und die Slawen am "äussersten Ende des westlichen Ozeans" // *Klio*. Bd. 54. S. 309–320.
- Historia Norwegæ. 1880. *Monumenta Historica Norvegiæ*. Utv. Av G. Storm. Kristiania: Brøgger.
- Hobsbaum E. J. 1990. *Nations and Nationalism since 1780*. Cambridge.
- Hofstra T, Samplonius K. 1995. Viking Expansion Northwards: Mediaeval Sources // *Arctic*. Vol. 48 (3). P. 235–247.
- Hogbin H. J. 1963. *Kinship and Marriage in a New Guinea Village*. University of London: The Athlone Press.
- Hollander L. M. 1964. *Snorri Sturluson. Heimskringla*. (Translation, Introduction, and Notes). Austin.
- Holliday T. W. 2003. Species Concepts, Reticulation, and Human Evolution // *Current Anthropology*. Vol. 44. No 5. P. 653–673.

- Howell F. C. 1966. *Observations on the Earlier Phases of the European lower Paleolithic* // *American Anthropologist*. Vol. 68(2), P. 88–201.
- Hublin J.-J. 1998. Climatic Changes, Paleogeography and the Evolution of the Neanderthals // *Neanderthals and Modern Humans in Western Asia*. New-York: Plenum Press. P. 295–310.
- Hulsewe A. F. P., Lowe M. A. N. 1979. *China in Central Asia the early stage: 125 BC–AD 23*. Leiden, Washington D. C.: Brill, Washington University Press.
- Jackson F. G. 1899. *A Thousand Days in the Arctic*. Vol. 1. London, New York. 551 p.
- Johnstone P. 1988. *The Sea-Craft of Prehistory*. London: Routledge.
- Irving W. N. 1962. A Provisional Comparison of Some Alaskan and Asian Stone Industries // *Prehistoric Cultural Relations between the Arctic and Temperate Zones of North America*. Montreal: Arctic Institute of North America (Technical Paper. 11). P. 55–68.
- Isaac G. L., Leakey R. E. F., Behrensmeyer A. K. 1971. Archaeological traces of early hominid activities, East of Lake Rudolf, Kenya // *Science*. Vol. 173. P. 1129–1134.
- Keith A., McCown T. D. 1937. Mount Carmel man: his bearing on the ancestry of modern races // *Early Man*. Philadelphia: Lippencott. P. 41–52.
- Klaatsch H. 1913. *Die Anfänge der Kunst und Religion in der Urmenschheit*. Leipzig.
- Kleivan I. 1984. History of Norse Greenland // *Handbook of North American Indians*, Vol. 5. Arctic. Washington: Smithsonian Institution. P. 549–556.
- Knuth E. 1952. An Outline of the Archaeology of Peary Land // *Arctic*. 5(1). P. 17–33.
- Korkkanen J. 1975. *The Peoples of Hermanaric: Jordanes, Getica 116*. Helsinki. 89 p.
- Kossina G. 1936. *Ursprung und Verbreitung der Germanen in Vor- und frühgeschichtlicher Zeit*. Leipzig: Curt Rabitzsch. 238 s.
- Krieger A. D. 1964. *Early Man in New World* // *Prehistoric Man in New World*. Chicago. P. 23–81.
- Krupnik I. 1993. *Arctic Adaptations: Native Whalers and Reindeer Herders of Northern Eurasia*. University Press of New England. Hanover and London. 355 p.
- Larsen H. E., Rainey F. 1948. Ipiutak and the Arctic Whale Hunting Culture // *Anthropological Papers of the American Museum of Natural History*. 42. New York.
- Larsson M. 1990. Runstenar och utlandsfarder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornämnarna // *Acta Archaeologica Lundensia*. No 18. Lund.
- Lattimore O. 1940. *Inner Asian Frontier of China*. New York, London: Oxford University Press.
- Laughlin W. 1967. *Human Migration and Permanent Occupation in Bering Sea Area* // *The Bering Land Bridge*. California: Stanford University Press. P. 409–450.

- Le Roy E. 1928. Les origines et l'évolution de l'intelligence. Paris: Boivin. 376 p.
- Leakey M. D. 1971. Olduvai Gorge. Vol. 3. Excavations in Beds I and II 1960–1963. Cambridge: Cambridge University Press.
- Leroi-Gourhan A. 1964. Les religions de la préhistoire. Paris: PUF. 323 p.
- Leroi-Gourhan A. 1965. Préhistoire de l'art occidental. Paris: L. Mazenod. 400 p.
- Leroi-Gourhan A. 1982. The Dawn of European Art: An Introduction to Palaeolithic Cave Painting Cambridge: Cambridge University Press. 77 p.
- Lévi-Bruhl L. 1922. La Mentalité primitive. Paris: Alcan. 537 p.
- Lévi-Strauss C. 1969. The Elementary Structures of Kinship. London: Eyre & Spottiswoode.
- Lid N. 1951. The Mythical Realm of the Far North. As It Appears in the National Finnish Epic Kalevala and the Scandinavian Fornaldar-Saga Tradition // Laos. Comparative Studies of Folklore and Regional Ethnology. Vol. I. P. 58–66.
- Lindquist H. 1997. Historien om Sverige. Stockholm: Norstedts, 576 s.
- Lowie R. H. 1920. Primitive Society. New York: Boni and Liveright. 291 p.
- Luho V. 1956. Die Ascolä-Kultur. Helsinki.
- Lumley H. de. 1975. Cultural evolution in France in its paleoecological setting during the Middle Pleistocene // After the Australopithecines. Paris. P. 745–808.
- Luquet G.-H. 1930. L'art primitif. Paris: Gaston Doin. 230 p.
- Lutzhöft H. J. 1971. Der Nordische Gedanke in Deutschland, 1920–1940. Stuttgart: Ernst Klett. 439 s.
- Makarius R. et L. 1961. L'origine de l'exogamie et du totémisme. Paris: Gallimard. 382 p.
- McGhee R. 1969–1970. Speculations on Climatic Change and Thule Culture Development // Folk. 11–12. Copenhagen. P. 173–184.
- Malinowski B. 1959. Crime and Custom in Savage Society. Patterson, New Jersey: Littlefield, Adams & Co. 539 p.
- Malinowski B. 1960. A Scientific Theory of the Culture and Other Essays. New York.
- Marshack A. 1997. Paleolithic Image Making and Symboling in Europe // Beyond Art: Pleistocene Image and Symbol. San Fransisco. P. 53–91.
- Martin P. S. 1967. Pleistocene Overkill // Natural History. 76(1). P. 32–38.
- Martin P. S. 1973. The Discovery of America // Science. 179(4077). P. 969–974.
- Maxwell M. S. 1985. Prehistory of the Eastern Arctic. Orlando, Florida: Academic Press.
- Merker M. 1904. Die Masai. Berlin.
- Metzenthin E. M. 1941. Die Länder- und Völkernamen im altisländischen Schrifttum. Pennsylvania.
- Moncel M.-H., Voisin J.-L. 2006. Les "industries de transition" et le mode de speciation des groupes néandertaliens en Europe entre 40 et 30 ka // Comptes Rendus Palevol. No 5. P. 183–192.

- Moory. 1970. Pictorial Evidence for the History of Horse-Riding in Iraq before the Kassite Period // *Iraq*. Vol. 32, pt 1.
- Movius H. 1944. Early Man and Pleistocene Stratigraphy in Southern and Eastern Asia // *Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology*. Vol. XIX. No 3. Cambridge, Massachusetts.
- Müller-Beck H. G. 1966. Paleohunters in America: Origins and Diffusion // *Science*. Vol. 152 (3726). P. 1191–1210.
- Müller-Wille M. 1974. Boat-graves in Northern Europe // *The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration*. 3.2. P. 187–204.
- Murphy R. F. 1989. *Cultural and Social Anthropology*. 3<sup>rd</sup> ed. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 277 p.
- Neckel G. 1944. *Die Frage nach der Urheimat der Indo-Germanen in Germanentum*. Leipzig.
- Nelson N. S. 1933. *The Antiquity of Man in America in the Light of Archaeology* // *The American Aborigines: Their Origin and Antiquity*. Toronto.
- Nummedal A. 1929. *Stone Age Finds in Finmark*. Oslo.
- Odner K. 1981. Comments on Economic Change and the Prehistoric Fur Trade in Northern Sweden [by A. Anderson]. *Norwegian Archaeological Review*. 14. P. 27–29.
- Odner K. 1985. Saamis (Lapps), Finns and Scandinavians in History and Prehistory. *Ethnic Origin and Ethnic Processes in Fenno-Scandinavia* // *Norwegian Archaeological Review*. 18. P. 1–12.
- Oppenheimer F. 1914. *The State: Its History and Development Viewed Sociologically*. London.
- Osborn H. F. 1910. *The Age of Mammals in Europe, Asia and North America*. New York: The Macmillan Co. 635 p.
- Østmo E. 1996. The Indo-European Question: a Norwegian Perspective // *The Indo-Europeanization of Northern Europe. Journal of Indo-European Studies Monograph No. 17*. Washington, DC: Institute for the Study of Man. P. 23–41.
- Oswalt W. 1967. *Alaskan Eskimos*. San-Francisco. Chandler Publishing Co. 297 p.
- Paabo S. 1995. The Y chromosome and the origin of all of us (men) // *Science* 268. P. 1141.
- Paape K. 1906. *Ober die Heimat der Arier und die Heimat der Ostgermanen*. Schoneberg.
- Pedersen H. 1931. *Linguistic Science in the Nineteenth Century: Methods and Results*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Petrie W. M. F. 1939. *The Making of Egypt*. London, New York: Sheldon Press; Macmillan.
- Pigott S. 1973. *Ancient Europe*. Edinburgh.
- Pohlhausen H. 1953. Zur Frage der Herkunft der Lappen // *Anthropos*. Fasc. 5–6.
- Pritsak O. 1970. An Arabic Text on the Trade Route of the Corporation of Ar-Rus in the Second Half of the Ninth Century // *Folia Orientalia*. 12. P. 241–259.

- Pritsak O. 1981. The Origin of Rus'. Vol. 1: Old Scandinavian Sources Other than the Sagas. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Pulak C. 2000. The Balance Weights from the Late Bronze Age Shipwreck at Uluburun // Metals Make the World Go Round: Supply and Circulation of Metals in Bronze Age Europe. Oxford: Oxbow Monograph Series. P. 247–266.
- Pulleyblank E. G. 1966. Chinese and Proto-Europeans // Journal of the Royal Asiatic Society. Pt. 1–2. London.
- Ramstedt G. J. 1957. Einführung in die altaische Sprachwissenschaft, Lautlehre. Helsinki. 272 c.
- Ratschnevsky P. 1983. Činggis-Khan. Sein Leben und Werken. Münchener Osiatische Studien. Bd. 32. Wiesbaden.
- Ratzel F. 1882. Anthropogeographie. I Teil. Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte. Stuttgart.
- Rédei K. 1990. Zu den uralisch-jukagirischen Sprachkontakten (einige Kapitel aus dem Themenkreis) // Congressus septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars IA. Debrecen. S. 27–36.
- Reich D. E., Goldstein D. B. 1998. Genetic Evidence for a Paleolithic Human Population Expansion in Africa // Proceedings of the Natural Academy of Science USA. Vol. 95. No 14. P. 8119–8123.
- Reinach S. 1903. L'art et la Magie: A-propos des peintures et des gravures de l'âge de Renne // L'Anthropologie. T. 14. No 3. Paris. P. 257–266.
- Relethford J. H., Jorde L. B. 1999. Genetic Evidence for the Larger African Population Size during Recent Human Evolution // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 108. No 3. P. 251–260.
- Renfrew C. 1987. Archaeology and Language: the Puzzle of Indo-European Origin. London.
- Rainey F. G. 1947. The Whale Hunters of Tigara // Anthropological Papers of the American Museum of Natural History. 41(2). New York. P. 231–238.
- Rigaud J-Ph. 1999. Human Adaptation to the Climatic Deterioration of the Last Pleniglacial in Southwestern France // Hunters of the Golden Age. *Analekta Praehistoria Leidensia*. 31. Leiden. P. 325–336.
- Roper M. K. 1969. A Survey of the Evidence for Interhuman Killing in the Pleistocene // Current Anthropology. Vol. 10. No 4.
- Ross A. S. C. 1954. Ohthere's "Cwenas and Lakes" // The Geographical Journal. Vol. 120. London.
- Ross A. S. C. 1981. The Terfinnas and Beormas of Ohthere. London: Viking Society for Northern Research.
- Rygh O. 1898. Norske gaardnavne. Oplysninger samlede til brug ved matrikelens revision. Kristiania. 94 s.
- Saxo Grammaticus. 1979. The History of the Danes. Translated by H. E. Davidson and P. Fisher. Vol. I: English text. Vol. II: Commentary. Cambridge: D. S. Brewer.
- Schleicher A. 1861–1862. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 1–2. Weimar: Hermann Böhlaus

- Schleiermacher F. 1986. *Hermeneutics: the Handwritten Manuscripts*. Atlanta: Scholars Press.
- Schramm G. 1986. Sechs warägische Probleme // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. B. 34, H. 3. Stuttgart. S. 363–373.
- Silverman I., Eals M. 1992. Sex Differences in Spatial Abilities: Evolutionary Theory and Data // *The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*. Oxford: Oxford University Press. P. 533–553.
- Simonsen P. 2000. *North Norwegian Rock Art* // *Myanndash: Rock Art in the Ancient Arctic*. Rovaniemi: Arctic Centre Foundation. P. 8–49.
- Smith A. D. 1999. *Myths and Memories of the Nation*. Oxford: Oxford University Press. 288 p.
- Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A. 2003. *The Etymological Dictionary of Altaic Languages*. Leiden, Brill.
- Steenstrup J. 1876. *Normannerne*. København. 528 s.
- Stenberger M. 1977. *Vorgeschichte Schwedens*. Berlin.
- Stender-Petersen A. 1953. *Varangica*. Aarhus. 262 s.
- Stenton F. M. 1947. *Anglo-Saxon England*. Oxford: Oxford University Press.
- Stenvik L. F. 1980. Samer og nordmenn. Sett i lys av et uvanlig gravfunn fra Saltenområdet // *Viking: Tidsskrift for Norrøn Arkeologi*. 43. H. 127–139.
- Sumner W. G. 1906 (1958). *Folkways*. Edinburgh, London.
- Swadesh M. 1971. *The Origin and Diversification of Language*. Edited post mortem by Joel Sherzer. Chicago: Aldine.
- Tailleur O. 1959. Plaidoyer pour le Joukaghir branche orientale de la famille Ouralienne // *Lingua*. Vol. 8. No 4.
- Tallgren A. M. 1931. *Biarmia* // *Eurasia Septentrionalis Antiqua*. Vol. 16. Helsinki. S. 100–120.
- Taylor W. E. 1963. Hypotheses on the Origin of Canadian Thule Culture // *American Antiquity*. 28(4). P. 456–464.
- Taylor W. E. 1966. An Archaeological Perspective on Eskimo Economy // *Antiquity*. 40 (158). P. 114–20.
- Thalbitzer W. 1924. Parallels within the Culture of Arctic Peoples // *Annales de XX Congresso de Americanistas*. Rio de Janeiro.
- Thomas d'Aquin. 1927. *Opuscula*. Vol. 1. Paris.
- Trinkaus E. 2005. Early Modern Humans // *Annual Review of Anthropology*. Vol. 34. P. 207–230.
- Tuffreau A. 2006. Neanderthalian Adaptations During the Glacial Cycles in Europe and Especially in Northwestern Europe // *II Северный археологический конгресс. Доклады. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: «Чароид»*. С. 361–377.
- Turner C. G. 1985. The Dental Search for Native American Origin // *Out of Asia: Peopling the Americas and the Pacific*. Canberra: Australian National University. P. 31–78.
- Turner C. G. 1986. *The First Americans: The Dental Evidence* // *Natural Geographic Research*. Vol. 2. P. 37–46.

- Ucko P., Rosenfeld A. 1966. *L'art paléolithique*. Paris: Hachette. 256 p.
- Urbanczyk P. 1992. *Medieval Arctic Norway* // Institute of the History of Material Culture, Polish Academy of Sciences. Warszawa: Semper.
- Vallois H. V. 1961. *The Social Life of Early Man: Evidence of Skeletons* // *Social Life of Early Man*. Chicago. P. 214–235
- Verlinden C. 1979. Ist mittelalterliche Sklaverei ein bedeutsames demographisches Faktor gewesen? // *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*. Bd. 66. Stuttgart; Wiesbaden.
- Vilkuna K. 1966. *Studien über alte finnische Gemeinschaftsformen* // *Finnisch-ugrische Forschungen*. XXXVI. H. 1–2. Helsinki.
- Vita Anskarii auctore Rimberto. 1884. Hannover.
- Vogt D. 2002. *The Origin and Spread of Ship-Figures in Scandinavian Rock Art* // Северный археологический конгресс. Тезисы. Екатеринбург; Ханты-Мансийск: Академкнига. С. 102.
- Wagner N. 1967. *Getica: Untersuchungen zum Leben des Jordanes und zur frühen Geschichte der Goten*. Berlin. S. 223.
- Weidenreich F. 1945. *The Paleolithic child from the Teshik-tash Cave in Southern Uzbekistan (Central Asia)* // *American Journal of Physical Anthropology*. Vol. 3. P. 151–162.
- Weidenreich F. 1947. *Shorter Anthropological Papers*. New York.
- Weiss K. M. 1973. *Demographic Models for Anthropology*. *Memoirs of the Society for American Archaeology*. 27. *American Antiquity*. Vol. 38. Pt. 2. Washington, DC.
- West F. H. 1981. *The Archaeology of Beringia*. Williamstown, Columbia University Press.
- Willetts R. F. 1977. *The Civilization of Ancient Crete*. Berkeley; Los Angeles.
- Wilson D. M. 1996. *The Vikings and Their Origins. Scandinavia in the First Millennium*. London: Thames&Hudson. 144 p.
- Wittfogel K. A. 1957. *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. New Haven, Conn.: Yale University Press. 556 p.
- Yen D. E. 1977. *Hoabinhian Horticulture: the Evidence and the Questions from Northwest Thailand* // *Sunda and Sahul. Prehistoric Studies in Southeast Asia, Melanesia and Australia*. New York: Academic Press. P. 567–600.

---

## Сокращения

- АзГУ — Азербайджанский государственный университет  
ВДИ — Вопросы древней истории  
ВЯ — Вопросы языкознания  
ГАИМК — Государственная академия  
                    истории материальной культуры  
ИИМК — Институт истории материальной культуры  
ИЭА — Институт этнологии и антропологии  
ЖМНП — Журнал министерства народного просвещения  
КСИА — Краткие сообщения Института археологии  
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории  
                    материальной культуры  
МИА — Материалы и исследования по археологии  
ОИФН — Отделение историко-филологических наук  
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей  
СА — Советская археология  
САИ — Свод археологических источников  
СВКНИИ — Северо-Восточный Комплексный  
                    научно-исследовательский институт  
СЭ — Советская этнография  
ТИЭ — Труды института этнографии  
ЭО — Этнографическое обозрение



## Алфавитный указатель

### **А**

Австралия 44, 56, 106, 151  
адаптация 11, 15, 18–22, 40, 45, 46,  
49–51, 54–57, 61, 76, 77, 79, 80, 82,  
85, 87, 92, 96, 97, 100, 106–110,  
114, 117, 120, 131, 134, 146, 155,  
201–203, 290, 303, 309, 311, 340,  
348–351, 354, 410, 418, 421, 425  
Алан-гоа 373, 375  
алгонкины 91, 311  
Алеутский архипелаг 109, 441  
Алкуин 209, 248, 249  
Алтай 75, 77, 84, 85, 137, 146, 369,  
444  
алтайская языковая семья 134, 137,  
143–146, 355, 430  
Альдейгьюборг 214, 241, 284–287,  
293, 294, 297, 303, 323  
Альпы 40, 52, 54, 75, 77, 100, 138,  
146, 179, 193  
Альтамира 52, 58, 59, 63, 64  
Альфред Великий 312–315, 325, 329  
Аляска 86–91  
Америка 31, 37, 56, 73–77, 86–93, 101,  
102, 106, 109, 116, 117, 125, 132, 151,  
237, 242, 311, 348, 349, 353  
Анангула 109, 110  
Англия 44, 56  
Ансгарий 224, 250  
арии 32, 146  
архантроп 38–41, 43, 75–77, 85, 87,  
108, 372, 425  
Асгард 222, 243–247, 253, 264, 265,  
267, 338  
Аскольд 262, 264, 271, 272, 300, 301  
Ассирия 165, 180, 182  
атапаски 86, 91, 311  
Африка 37, 40–44, 51, 70, 73, 85,  
106, 125, 134–137, 153, 162, 170–  
172, 181, 212, 280  
ахейцы 157, 172, 173, 175  
Ашина 145, 357

### **Б**

Балто-Каспийский путь 294, 297–  
301, 306  
Балто-Понтийский путь 202, 206,  
253, 267, 294, 296, 420  
балты 226, 254, 288–291  
бастарны 192, 193, 196  
Белоозеро 254, 262, 298–300, 305,  
322, 324, 339  
Бельгутаи 361, 364, 376–378, 380,  
386, 409  
Бериг 196–198, 201  
Бирка 224, 250, 269, 287, 307  
бирнирк 348, 349, 353  
Бодончар 373–375, 382, 398, 419  
Болгария (Дунайская) 255–258, 260,  
264, 273, 274, 277, 302  
Боорчу 369, 376–378, 386–389, 396,  
417, 418  
Борте 361–365, 376–378, 381, 388,  
392–394  
Булгария (Волжская) 270, 278, 281,  
292, 296, 299, 300, 307, 308, 324,  
325, 400  
Бьёрн Курганный 178, 250

### **В**

Ван-хан (Тоорил) 358–372  
варяги 33, 121, 168, 212, 241, 243,  
252–254, 262–266, 271–277, 279,  
283–288, 291–295, 321, 421, 424  
веринги 212–214, 219, 252  
Вильгельм Завоеватель 216, 243, 291  
Винитарий 201, 203, 205  
винча 160, 167  
Владимир Святославич 212, 251,  
263, 268, 274, 282–284, 291, 292,  
301, 302, 306, 308  
Восточно-Африканский рифт 38,  
39, 40, 75

**Г**

Гардарики (Гарды) 212, 217, 238, 243, 253–255, 269, 271, 276, 280  
 283–287, 293–308, 321, 324, 327  
 гейдельбергский человек 41, 50  
 геополитика 31, 156, 157, 177, 206, 265, 285, 397, 419, 420, 426  
 гепиды 196, 197, 199  
 Германарих 33, 201–205, 421  
 Германия 53, 56, 65, 66, 82, 106, 205  
 германцы 12, 32, 114, 192–198, 200, 202, 233, 291, 311, 420  
 Гнёздово 243, 251, 269, 273, 303, 304  
 готы 196–204, 210, 244, 253, 262, 267, 421  
 Гренландия 111, 112, 116, 311, 319, 348, 354, 355  
 Греция 31, 121, 164, 166, 167, 173, 179, 199  
 Гуюк 235, 378

**Д**

Давид 173, 175  
 деятельностная схема 10, 14–18, 26, 27, 40, 46, 47, 54, 57, 62, 66, 74, 100, 110, 112, 117, 125, 131, 140, 149, 151, 155–157, 169, 173, 175, 194, 202, 221, 226, 242, 252, 278, 290, 309–312, 318, 347, 353, 356, 396, 421–426  
 дзёмон 106, 108–110  
 Дир 262, 264, 268, 271, 272, 300, 301  
 Добрыня 283, 284, 301, 302, 308  
 Драхенлох 52–54  
 древляне 232, 254, 261–264, 271–273, 276, 277  
 Дэй-сечен 391, 392  
 Дюктай 86, 88–102

**Е**

евреи 23, 67, 269, 271, 280, 326  
 Елизавета (Эллисив) 213–216

Есугей 360–366, 377, 380–386, 390–394, 402, 403

**З**

Земля Санникова 75, 93, 95, 96, 109

**И**

Ивар Широкие Объятия 209, 322  
 Игорь 121, 258, 261–264, 269, 272, 274–277, 283, 292, 293, 304, 305  
 иерархия 20, 22, 27, 39, 46, 47, 50, 76, 124, 129–132, 140, 150–152, 154, 157, 168, 169, 172, 181, 184, 186, 201, 202, 246, 276, 279, 302, 317, 337, 362, 364, 374, 422, 423  
 Ингигерд 284, 285, 295, 307, 308  
 Инглинги 264, 267, 275  
 индепенденс 111, 311  
 Индия 6, 42  
 индоевропейская языковая семья 82, 134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 146, 158, 160, 161, 163, 164, 167, 173, 253, 355  
 Иоанн Цимисхий 213, 235, 257, 258, 259, 260, 261, 264  
 Йомали 319, 332, 333, 335, 337, 338, 339  
 Иран 6, 75, 369, 397, 416, 420  
 Игерд 293, 294, 295  
 Италия 40, 55, 56, 58, 70, 179, 192, 193, 252

**К**

Кавказ 40, 42, 52, 53, 54, 75, 77, 83, 100, 146, 154, 166, 199, 255  
 Казахстан 41, 42, 85  
 Калокир 255, 257, 258  
 Камчатка 86, 87, 89, 91, 94  
 Канада 87, 89, 111  
 кара-кидани 31, 366  
 Карл Великий 224, 247, 248, 249, 251, 420  
 Карфаген 174, 175  
 Кення 38, 44, 51

кешик 405, 409–413, 417  
 Киев 254, 255, 256, 257, 260, 262,  
 264, 268, 270–275, 284, 290, 294,  
 296–298, 300–302, 305, 308  
 кимвры 192, 193, 196  
 киммерийцы 180, 192, 194  
 Кир 121, 153  
 Китай, китайцы 6, 31, 40, 44, 86, 91,  
 128, 169, 182, 189–191, 300, 402,  
 415, 418, 420  
 Китовая Аллея 350, 352  
 клонис 88, 90, 92  
 колонизация 40, 42, 44, 47, 75, 76,  
 102, 111, 124, 132, 173, 230, 239,  
 288, 290, 291, 293, 299, 309, 312,  
 348, 352, 355, 423  
 коми 34, 326, 338, 355, 423  
 комса 83, 107, 109, 110  
 Костенки 67, 69, 70, 71, 149  
 Красное море 38, 170, 174  
 кривичи 262, 272, 273, 287, 303,  
 309  
 Крит 160, 167, 171, 172, 173, 175, 257  
 Кубань 55, 268  
 Кударо 52–54  
 культура воронковидных кубков  
 114, 138, 141, 160, 167, 178  
 Къёккенмёдинг 106, 107

## Л

Лабрадор 111, 354  
 Лаошан-шаньюй 183, 189  
 Левант 74, 148, 154, 170, 173, 174  
 лендьел 160, 167  
 локальность (локальная культура)  
 11, 18, 20, 21, 22, 23, 37, 39, 41,  
 43, 44, 47, 54, 75, 77, 88, 102,  
 103, 139, 141–143, 160, 164, 202,  
 252, 279, 303, 309, 312, 347, 356,  
 421, 422, 426  
 Людовик Благочестивый 224, 249  
 Ляско 59, 60, 61, 62, 63, 65

## М

магистральность (магистральная  
 культура) 18, 21, 22, 41, 47, 75,  
 84, 103, 112, 116, 139, 140, 146,  
 149, 150, 156, 158, 160, 162, 174,  
 202, 204, 206, 239, 242, 252, 267,  
 279, 308, 309, 312, 347, 355, 356,  
 420–424, 426  
 Магнус 214, 236, 265, 295  
 мадьяры 121, 142, 255  
 маньчжуры 31, 137, 153, 420  
 Маодунь 17, 182–186, 378  
 маркоманны 195, 196  
 Межиричи 55, 72, 149  
 Меэтида 193, 198  
 меркиты 359, 361–363, 365, 366,  
 368, 369, 376–378, 389, 392, 394,  
 402, 403, 405, 411, 416  
 миграция 10, 12, 14, 19, 32, 37, 39–  
 44, 55, 61, 70, 72, 73, 75, 77–79,  
 81, 83–91, 94, 101–105, 111–116,  
 127, 132, 134, 137, 138, 140–146,  
 149, 158, 163, 164, 167, 180, 192,  
 193, 196, 198, 202, 203, 206, 210,  
 279, 289, 290, 298, 311, 312, 341,  
 342, 346, 353, 355, 420, 423, 425  
 мим-адаптация 15, 159, 169, 173, 187,  
 201, 204, 309, 380, 425  
 многоженство 128, 251, 347  
 Монголия 42, 86, 144, 181  
 монголы 33, 34, 143, 144, 182, 205,  
 211, 235, 309, 357  
 Московское царство 33, 422  
 Мухали 369, 389, 391  
 Мухаммед 128, 397

## Н

ненцы 29, 34, 117, 135, 326, 340, 344  
 Нибелунги 233, 235, 236, 281  
 Никифор II Фока 255, 257  
 Новгород 33, 214, 225, 237, 243, 253,  
 254, 264, 268, 269, 273–275, 283,  
 289, 294, 298, 302, 303, 305, 308,  
 309, 322, 422

повгородцы 34, 265, 283, 295, 299,  
302, 306, 309, 310, 323, 325, 326,  
341, 421, 422  
норманны 34, 209–211, 218, 221–  
232, 236–239, 242–252, 262, 268,  
279, 284–300, 305–317, 321–329,  
335, 339, 355, 421

## О

Один 217, 220, 233, 240, 243, 336–  
339  
оквик 348, 349  
Олав Толстый (Святой) 211, 227,  
228, 251, 276, 284, 295, 307, 308,  
328, 331, 334  
Олав Трюггвасон 227, 251, 280, 284,  
295, 331  
Олдувай 5, 38, 41, 48  
Олег 262, 264, 270, 271, 274, 287,  
290, 301, 302, 305  
Ордос 181–184, 252, 400  
Оттар 312, 320, 325, 327, 329  
Оэлун 362, 365, 377, 378, 382, 385,  
389, 392, 393

## П

пазырыкская культура 181, 182  
палеоэскимосская культура 111, 112,  
311  
Памир 75, 146, 166  
Пацифика 75, 106, 109, 110, 113, 310,  
348, 349, 353, 354, 424  
Пегтымель 352, 353  
Пермь 325, 326  
пермяне 142, 341  
персы 31, 153  
петроглифы 114, 123, 164, 166, 178,  
179, 352, 353  
печенеги 256, 260–263, 269, 270,  
274, 275, 277, 284, 302  
Пиренеи 41, 75, 136, 138, 141, 173,  
176, 177, 192, 193  
поляне 262, 263, 271  
поморы 34, 94, 310, 322, 341, 345,  
355, 422–424

Причерноморье 29, 140, 177, 192,  
199, 200, 204, 261, 264, 270  
Пунт 170, 174

## Р

Рёгнвальд 285, 295  
Рим, римляне 12, 31, 192–195, 198,  
201–206  
Россия 6, 7, 33, 34, 66, 70, 72, 156,  
227, 266, 306, 420, 423, 425  
росы, русь 33, 255–261, 264, 266–  
269, 273–276, 280, 283, 286, 287,  
290, 292, 297–301, 304, 305, 307  
Русь 205, 241, 253, 260–264, 270,  
271, 279, 283, 286, 292, 295, 296,  
305, 308, 309  
Руфиньяк 52, 53, 58, 62, 63  
Рюрик 121, 249, 254, 255, 262, 263,  
266, 268, 271, 276, 283, 285–287,  
290, 294, 295, 300–303, 309  
Рюриково Городище 243, 251, 269,  
288, 289, 294, 298, 303, 305

## С

самодийцы, самоеды 32, 105, 113,  
115, 137, 141–145, 311, 312, 339,  
341, 347, 353  
Сангум 369–371, 383, 398, 399  
Сарское городище 298, 300, 305  
свевы, свеи 194–196, 200, 210, 267  
Свенельд 254, 260–264, 283  
Святослав 232, 253–270, 275, 283,  
285, 292, 301–305, 307, 308  
синантроп 41, 42, 48–50, 75, 87, 108  
Скандинавия 33, 34, 57, 82, 83, 107,  
110, 112, 116, 142, 157, 167, 177–  
179, 195, 196, 200, 210, 223, 227,  
231, 237, 247, 252, 266, 267, 274,  
276, 279, 283–288, 290, 293, 304,  
307, 317, 320, 326–329, 335, 337,  
340, 349, 355  
скифы 30, 137, 146, 180–183, 199,  
205, 260

славяне 121, 137, 201–205, 226, 248–250, 254, 266, 271–284, 287–301, 303–310, 327, 420, 421  
словене 254, 262, 263, 284, 287–290, 295, 299, 309  
Стурлауг Трудолюбивый 293, 319, 320, 328, 335, 336, 338  
сумнагинская культура 101–106, 311  
Схул 37, 43

## **Т**

тайчжиуты 359–361, 368, 376, 380–385, 390, 398, 403, 410  
Таньшихуай 17, 191, 357, 388  
Таргутай-Кирилтух 380, 382, 384, 396, 405  
татары 359, 361, 367, 368, 383, 384, 390–393, 398–407, 411, 418, 422  
тевтоны 193–196  
Темучжин 17, 357–368, 418  
Тенгри 365, 417  
Тешик-Таш 42, 43, 55  
Тибет 41, 75, 268, 371  
Тор 240, 243, 336–338  
Торир Хунд 331–335  
тохары 137, 146, 164, 181  
Тохтоа-беки 364–368  
триполье 71, 159, 160–162, 167  
Труа Фрер 55, 59, 62–65  
тюрки 22, 30, 34, 144, 145, 182, 235, 267, 297, 340, 357, 358, 372, 376, 409, 421, 422

## **У**

Угэдэй 235, 395, 397  
Урал 56, 76, 77, 83, 85, 101, 105, 113–115, 141, 154, 156, 162, 166, 168, 309, 310, 326, 338, 339, 340, 341  
уральская языковая семья 82, 84, 104, 105, 114, 115, 134, 137, 138, 141–146, 311, 338, 355  
Ушки 88–90

## **Ф**

Феофил II 250, 251, 266, 269  
Филимер 198, 199, 201, 204  
филистимляне 173, 174  
Финикия, финикийцы 170, 173–176, 226, 238  
финны 82, 105, 113, 121, 142, 145, 226, 266, 271, 276, 287–292, 298, 313–319, 325–330, 333–337, 339  
Франко-Кантабрия 52, 56, 61, 66

## **Х**

хазары 255, 256, 264, 266–271, 278, 280, 284, 300, 301, 357, 400, 421  
хакасы 144, 376  
Хальвдан 241, 293, 294, 323, 324, 328, 329  
Харальд Клак (Ворон) 249, 251  
Харальд Прекрасноволосый 232, 316, 327, 330  
Харальд Серая Шкура 319, 321, 329–331  
Харальд Синезубый 229, 245, 251, 284, 328  
Харальд Хардрада (Суровый) 209, 211–216, 226–228, 231–238, 245, 275, 276, 295, 306  
Хасар 361, 364, 377, 380, 385, 386, 393, 394  
Хедебю 215, 287, 291, 307, 315, 317  
хетты 31, 138, 173–175, 180  
Хорчи 395, 396  
Хубилай 235, 360, 396, 402, 404, 415, 418  
Хулагу 235, 369  
хунну 17, 30, 156, 180–191, 252, 357, 388, 409, 417  
Хурчахус-Буирух 359, 383  
Хутула 383, 494  
Хуханье 188, 190  
Цинь Ши-хуанди 186, 252

**Ч**

- Черное море 30, 172, 192, 196, 199,  
213, 266, 296, 297, 300, 301, 424  
Чжамуха 358, 360, 362, 364, 366,  
368, 370, 378, 379, 381, 384, 386,  
390, 393, 395, 397, 402–405, 408,  
409, 415  
Чжаха-Гамбу 364, 367, 405  
Чжелме 376–378, 385, 389, 402,  
415  
Чжоукоудянь 42, 48, 86, 87  
чжурчжэни 367, 402, 416, 418  
Чжучи 370, 400, 405, 414, 421  
Чиледу 362, 365, 377  
Чингис-хан 357, 358, 367–371,  
374–379, 381–385, 389, 390–397,  
400–416, 418  
Чукотка 86, 91, 101, 104, 109, 112,  
311, 340, 349, 350, 352–355  
чукчи 29, 94, 117, 311, 353, 354

**Ш**

- Швеция 178, 179, 196, 197, 212, 214,  
221, 224, 225, 231, 241, 248, 265–  
269, 275, 280, 285–287, 295, 316,  
321, 339  
Шове 58, 62, 63, 65

**Ы**

- ымыяхтахская культура 103, 112–  
114, 116, 117

**Э**

- эвенки 34, 95, 105, 119, 423  
Эйрик Кровавая Секира 226, 232,  
319, 329, 330  
Эйрик Рыжий 225, 237  
эртебёлле 107, 108  
эскимосы 29, 34, 48, 86, 89, 91, 112,  
116, 132, 311, 312, 348, 350, 351,  
353–355

**Ю**

- юкагиры 95, 104, 105, 113, 143, 353  
Ютландия 106, 107, 192, 193, 224,  
255, 287, 315  
юэчжи 181–183, 186, 187

**Я**

- Ямал 29, 84, 112, 341  
ямная культура 138, 160–163  
Янская стоянка 84, 87, 88, 102, 145  
Япония 86, 106–109, 400  
Ярослав Мудрый 212–216, 237, 263,  
268, 284, 285, 295, 302, 305–309

**Н**

- Homo erectus 39, 41, 47, 51  
Homo ergaster 39, 40  
Homo habilis 5, 38, 39  
Homo mobilis 5, 6, 117, 140, 146, 420,  
425  
Homo neanderthalensis 43, 45, 77  
Homo sapiens 7, 43, 44–46, 57, 75,  
77, 134

**S**

- superiores barbari 29, 192, 199

Andrei V. Golovnev  
**Anthropology of Movement**  
(Antiquities of the North Eurasia)

The modern man is rather a lying and sitting than an orthograde. Most of the day s/he sits and most of the night lies. Today's transportation and communications technologies brought about the "death of distances" and by the way the crisis of live communication. Two million years ago the remote ancestor of man was running more than he was walking, and in that sense could be called *Homo mobilis* (man mobile). At the dawn of the human era movement was the natural state of man, and all the insights of the Stone Age were obtained on the move, or even while running. The most significant achievement of the Paleolithic period — peopling of the Oecumene — was made possible owing aptitude of man to spatial expansion. All the first technological inventions — projectile tools, bow and arrows, boats and sledge — were made for the sake of conquering distances. In ancient times perpetual mobility was the routine, and the settled repose was a sign of calamity.

History has been written in static terms, in the chronicler's attitude and in the past perfect tense. It may be said that to some extent all classic research is fixed on some static foothold and in case of non-equilibrium tends to return to a standstill position. A historian thinks in still frames, giving preference to facts and events tied to the fixed temporal-spatial axes over the chaos of movement. In this way the historical text replaces the real movements with the speculations of a researcher, describing stages of material and social progress, the change of social formations, rise and decline in production. The anthropology of movement studies the 'motive-decision-action' link. Man is the fruit of movement and its generator. The complicated spatial strategies constituted the main advantage of the ancient people in the biocenosis, success of humans depended rather on the art of manoeuvre and maintaining control over the conquered niche, than on their physical capabilities.

If movement is understood as the motivated activity, as opposed to the mechanical reaction to external interferences, then the action driven pattern consisting of the regularly repeated actions, including the economic, sexual, military and ritual acts would become the key concept. Its driving force would be the operative motives from the most primitive to the creative ones, which are directing all human actions, forcing people dress in the morning, pray to the God, herd horses, and wage wars. The combination of motives activating the relevant elements of culture creates the personality of a human, bringing together the

basic instincts, acquired norms and individual preferences. Any fact in the anthropology of movement is interpreted from the motive-action aspect. In this way a fact — historical (written evidence), archaeological (fossil evidence), or ethnographical (observed evidence) — acquires the personal and the socially oriented ties. Chains of these interrelated facts allow to discern the outlines of phenomena, the motivation-action driven patterns.

All action driven patterns are projections of the initial images of man and woman, a predator and an herbivore. A feature distinguishing man from all other creatures of nature has always been his super-adaptability, and the repertoire of his actions was supplemented with a multitude of shades, first of all owing to the readjusted borrowings (mime-adaptations). In the process of their interaction with other species humans successfully tried on their behaviour patterns (as a rule together with the hides, skulls and voices), and in due course in place of these natural mime-adaptations came the cross social imitations and borrowings.

Any interaction between communities is in the first place the dialogue between their elites, the ruling agents. Successful leading models deepened the particular elite specialisation, and in certain cases caused overflowing of its influence beyond the limits of a particular local group. While maintaining power over the base local niche the elite could subordinate the neighbouring groups, thus complicating and spatially expanding its leading function. This was the mechanism for the formation of the groups of warriors or traders, whose status and actions were materially different from the occupations of their parent local group. Furthermore, these distinct social groups (caste, class) formed a new culture, based on intermediation and administration.

In terms of movement and adaptation the cultures are divided into the local and the long-range ones. A culture based on eco-adaptation and focused on a specific ecotope may be called local, and a culture embracing a wide area, connecting several local cultures and utilising their resources — the long-range one. A local culture harnesses bio-resources, a long-range one — social resources. The long-range culture is always more flexible than the local, as in the process of growth it used its advantage of motion and developed the technologies of mobility in competition with the rival cultures. While the long-range cultures had superior status, the local cultures enjoyed stability and sustainability thanks to their direct ties to the land and its resources. The dominant



role in the mediation process belonged to the military-political, priestly or trading elite uniting the local cultures through their activities and thus creating new contacts and relationship channels. The language of a long-range culture traditionally acquired the status of the second language of the local groups; frequently the same was true for the cult and the system of power. By means of trade, religion, wars, politics, and economics the long-range culture colonized the local communities and created a social hierarchy.

### *Part I. Patterns. Chapter 1. Pra-motion*

A significant shift in the rhythm of movement occurred with the exit of the ancient people into savannah and the opening up of the visual and the ideal perspective of space. Under the shade of the equatorial forest the predominant attack (pursuit) or defence (escape) tactics were the individual ones, whereas the savannah gave ample scope to collective strategies. Here the gregarious instinct of the herbivores and the aggregative behaviour of the predators combined into the intricate behavioural combinations. Apparently the fight for the African savannah became the prologue to the global migrations of ancient people.

The East African rift with the rich variety of its bioresources was the womb of the primordial culture, and the way from the mountains into the valley was the primary pattern for the exploration of vast territories. A mountain created an illusion of domination over the underlying valley, and served as a safe haven wherefrom the groups of ancient people set off and whereto they returned. It stands to reasons that the early sites are found in caves and other mountain tracts, and the mythologies of different peoples are full of the sacral images of the mountain. The mountain-valley correlation has on the one hand added complexity to the adaptation strategies and on the other extended the migration routes of the nomads. The "hill-to-hill" passage set the rhythm to the early movement.

The first colony in the human history was Eurasia. While in Africa the ape-man was an organic link in the biosphere, when he came to Eurasia he appeared an invader and trespasser, and thus entered into a difficult dialogue with the former masters of the ecosystems, first of all the large predators. The outposts for the settlement of the North Eurasia were the Caucasus, Central and Eastern Asia, and Asia Minor. Two "Lower Palaeolithic culture shields" in the West and in the East of Eurasia represented with the Heidelberg man with the chippers, and the

Sinanthropus with the pebble tools seem to form the poles of the Afro-Eurasian space. The focal pattern of ancient Eurasia combined with the continuity provided by the different in scope migrations and interactions. The continuity was the consequence of constant interaction between the local groups and the long-range migrations, resembling conquests. The Middle East connecting Africa with Eurasia served as the cross-roads; during the Mousterian period the Neanderthal people and their contemporaries used it for the passage between Europe, Africa and West Asia. The Afro-Eurasian node played the role of migration springboard and set the pulse of movement across the oecumene, maintaining the physical unity of the Homo family and contributing to the diffusion of technologies. Here, not in a secluded haven, but at the cross-roads, both the pre-sapiens, and the sapiens were evolved. The Homo sapiens won in his competition with the Homo-brethren not owing to some unique innate physiology, but thanks to his art of communication developed in motion. The "Upper Paleolithic revolution"—the spread of Homo sapiens across the world—was the product of hands, feet and social strategies of the man-predator (the herbivore pattern was incapable of motivating the conquest of new territories, especially the ecologically uncomfortable ones). The destruction of mega-fauna and the wide-range settling were the two key characteristics of the man-hunter movement.

From the beginning the ancient man followed the behaviour pattern of a primate, which was prompted by the natural instincts, rhythms and resources. By means of mime-adaptations the man adopted the others' patterns thus expanding his own field of activities. In all probability in the art of imitation the ancient man was more of a monkey than the monkey itself. Through imitation of the large predators' behaviour the man-mime usurped their place in nature gradually pushing out, extinguishing or domesticating his teachers. He did not alienate himself from the animal realm, but became instead its shepherd, the super-beast; this process could be traced back from the Paleolithic cave drawings. The exodus to Eurasia brought the man in contact with the cave bear (*Ursus spelaeus*), a highly adaptive predator close to man in ethology (inclination towards caves), diet (pantophagy), bodily movement (ability to sit up and stand erect on hind legs). Apparently humans killed and ate bears, and the bears reciprocated. Development of the North of Eurasia would have been unthinkable without the bear mime-adaptation. The "bear pattern" including dwelling in caves and lairs served as the behaviour and the movement model for many groups of the ancient Eurasia.

Two motifs were dominating in the Palaeolithic art, the “beasts” and the “Venuses”. The first dominated in the monumental cave paintings, the second were best represented in the small-scale sculpture. The environment of the former was the temple, of the latter — the house. The “Venus” behaviour pattern emphasised the female role in the common activity scenarios, including the intersections with the male “beast pattern”. The beasts and the Venuses were differently oriented not only in space (the temple and the house), but also in the rhythm of movement. The beasts were more inclined towards dynamics, while the Venuses preferred statics. This correlated well with the male manner of exploring the outside environment and the female manner of home improvement. The pattern of a “homely woman” which originated in the communities of the south of Eurasia was a constant factor of settling down in the Palaeolithic and the later periods. It changed the general rhythm of movement. Mobility of men continued to be the factor of migrations and stable connections. It was stimulated not only by hunting the wandering animals, but also by “hunting Venuses”, which was one of the main motifs for gaining control over territory and the rivalry between the chieftains of different groups.

### *Chapter 2. Circumpolarity*

The mountain chains stretching from the Atlantic to the Pacific Ocean (Pyrenees–Khyngan mountains) divided the continent into the warm and the cold parts. The Eurasian mountain range served as the main route for the latitudinal migrations, while its longitudinal branches offered opportunities for settling the valleys. The inhabitants of Eurasia of the Mousterian period did not, as a rule, cross the 55<sup>th</sup> latitude. The centres for the development of the North Eurasia in the Middle and the Upper Palaeolithic were the mountainous countries (Alps, Caucasus, Ural, Altai, and Baikal ranges). The longest northern migration routes went along the longitudinal mountain ranges, e.g. along the Ural to the Polar Circle. In the Upper Palaeolithic the role of the large rivers became more prominent as their high terraces offered convenient migration routes to the northern hunters. While in the south of Eurasia the development followed the complex, hierarchically organised, and mostly plant-eating harvesting and production patterns, in the north the dominating patterns were predominantly carnivorous and hunting ones. The southerners focused on intensive strategies bringing them closer to the Neolithic/urban revolution, whereas the northerners developed the

old extensive strategies, pushing them to colonisation of new territories. By the end of the Pleistocene the man reached the northern coast of Eurasia, crossed the Bering bridge and got to the north of America, embracing the Arctic and the other oceans of the Northern hemisphere with the rings of colonisation. Exploration of the Arctic marked the peak of migration and adaptation strategy comparable in scale with the successes of the settled adaptation strategies of the south. The nomadic North of the time developed the technologies of movement, whereas the settling down south perfected the skills of developing the inhabited environment in the form of agriculture, house building and pottery.

The valley between the Eurasian range and the glacial belt consisted of the cold tundra-steppe inhabited by the mammoth fauna, including the man-hunter. However the dwellers of the near-glacial areas were not too scared by the cold and snow. The choice of the northern vector of migrations, the ingenious tight-fitting clothes and the insulated houses were rather the signs of the targeted specialization than the impoverished existence. Human adaptation consisted not of survival techniques, but of the development of a perfect in its way activity pattern, the advantages of which compensated for the shortcomings of the climate. One of the mime-adaptations produced an effect of interaction with beasts, particularly with the domesticated dog. The first signs of dog breeding practices were noted at the turn of the Pleistocene and the Holocene both in Eurasia (Siberia, Denmark) and North America. Being at the same time the "domestic" and the "marching" animal the dog significantly strengthened the man's potential of control over the distances. The doubled potential of the man and the dog put them in a position of absolute domination in the animal world, providing for the efficient security pattern (home-fire-dog), the ease of searching and driving game, as well as the speed with which the large fauna was extinguished in the Northern hemisphere.

While exploring the northern Eurasia the ancient hunters reached the currently uninhabited latitudes. The archaeology of Zhokhov Island (76° N, the East Siberian Sea, De Long Archipelago, average July temperature 0° C) indicates that 8.5 thousand years ago the inhabitants of the Arctic could cover huge distances pursuing the reindeer and the polar bears. By analogy with the cave bear hunters of the Palaeolithic it is possible to assume that the Zhokhov people were experienced bear students and skilled bear herders. The reason for the long-distance seasonal raids was not the scarcity of the bioresources

or the over-population of the Yano-Indigir lowland. The abundance of bear bones (with the occasional human ones) in the Zhokhov site, and the reconstructions of hunting methods indicated that the man and the beast were engaged in a sophisticated dialogue, which extended far beyond the purely gastronomic interests. The image of man-bear represented in the sculptured figures found at the site and discernible in the activity pattern of the Zhokhov hunters correlated with the ancient mytho-heroics according to which the long-distance travel and the contest with bear were driven not so much by the economic need, as by the idea of initiation man to the powerful beast, including its gift of mastering the northern territories. It is possible that the Zhokhov site revealed a picture of mime-adaptation in which the Stone Age hunters developed the "master of the Arctic" pattern.

The continent from which the Zhokhov people came to the island was the area of the Sumnagin culture, embracing the Northern Asia from the Yenisei River to Chukotka, and from the Arctic to Baikal Lake. Only the dynamic culture, capable of establishing control over a vast territory could have developed the Lena valley thoroughfare. The eco-social conditions of the Lena valley were the northern version of the great steppe. The appearance of the new migrants on the Lena inevitably brought them in confrontation with the then existing dominant group. The most difficult test for the migrants was not the conquering of the centre, but the establishing of control over the pathways system.

The maritime adaptation started with gathering molluscs on the beaches of Africa and continued in the "shell heaps" cultures of Europe, Asia, and America. The first traces of the northern maritime adaptation were registered 10-8 thousand years ago in the Atlantic (Maglemose of Denmark — Komsa of Norway) and the Pacific (Jomon in Japan — Anangula of the Bering Sea Coast). The most mobile and "rapacious" groups of hunters were found in the North. Not only because of the economic need, but also because of the nature of their activity they were capable of reaching the American continent, the "Sannikov's Land", and embarking upon a risky voyage across the cold sea. The circumpolar world was not the product of a single culture, but of several, and the mechanism of its existence from the very beginning required interaction between different cultures. All circumpolar cultures were "predatory". They were the product of the migrant hunters of the Stone Age maintaining the traditional action-motives of the Paleolithic: control over vast territories, and the "beast" and the "shepherd" patterns.

### Chapter 3. Pra-ethnicity

While settling over the globe the humans maintained their biological unity but formed communities that called the peoples or cultures. A debate between the advocates of the inherent nature of ethnicity (primordialists) and the supporters of its artificial character (constructivists) has significantly expanded the scope of the ethnographic studies. In fact primordialism and constructivism are the mutually complementing dimensions, one of which shows the endurance of ethnicity in the sequence of generations, and another — the mechanics of its functioning. The drift of ethnicity resembles rather a chain of situational reactions, then linear evolution, and its turns do not necessarily follow the zigzags of political history. The surge of ethnic identity feeling is often stirred up by the political instability, and its decline falls on the social well-being stage. Ethnicity is similar to the immune system which becomes active in crises and during virus attacks, while in a healthy organism stays inconspicuous, as if sleeping.

The driving forces and internal mechanisms of ethnicity were the kinship, sex and power. Kinship is understood as not solely, or even mostly, blood relation, but as the existential philosophy of affinity often manifested through the symbolic kinship. Expansion of kinship was a method of colonizing new lands, and in antiquity, as in the later periods, the “new kinship” was often formed around the territory, food, war, magician, chief, cult, myth, or ritual. The basic for affinity and communion in all times was sex. Unrestricted by mating cycles, the hyper-sexuality of man sets him aside from all other animals and may be considered the characteristic attribute of a species. In many respects it was hyper-sexuality that forced the ancient people to build complicated social relations. Movement in its essence is conditional to sexual desire, and the *perpetuum mobile* of human culture was always driven by sexual energy. In social environment kinship and sex served as the “two legs” of movement. The quite common in the legends and practices of various peoples long journeys “in search of a wife” served as the practically universal mechanism for the expansion of kinship-affinity. While movement driven by the economic need was based on calculation and reason, the sexual search expeditions could easily cross the boundaries of common sense and become risky adventures praised in legends. No other business or hunger could drive the heroes as far away as the “woman hunt” and the sexual desire.

The third dimension and the foundation of ethnicity is power. The art of subordinating a pack/herd already in antiquity required a hierarchy of “the chiefs and the common people”. This order goes back into the social behaviour of the ancient people and still remains the key principle of social relations in the wild nature. In all probability the manner of directing life of community by the prehistoric chiefs was a lot rougher and tougher than it is today and all further social development consisted in formalisation and specialisation of the art with the evolution of bureaucracy and democracy. The appearance of the ruling agents, whose field of activity was the hierarchy, resulted in the formation of the elite — the “gatherers of gatherers”, or the “users of users”. First signs of the existence of large organised human communities were registered in the early Holocene, at the time of extermination of the mammoth fauna and the crisis of large scale driving technique. It was probably then, that the hunters switched their attention from the animal herds to human communities.

Three main families of Northern Eurasia — Altai, Indo-European, and Ural — are considered to be distantly related on the Nostratic basis. Given the interpretation of kinship as the strategy of affinity (including the symbolic kinship as real interaction practice), the prehistory of these families could be represented not as the gradual disintegration into different languages, but as the rhythm of convergence and divergence. In the most general form this rhythm was determined by the peaks of the dynamics and the statics: migration caused integration, and settlement resulted in branching off of the languages. Apparently in antiquity the bilingualism was a common norm. Hence the proper formula for linguistic history reconstruction should be based not on the assumption of branching of a single language, but on a situation of local–long-range bilingualism as the elementary mechanism of communication. The static communities were characterised by closeness of their linguistic environment, thus contacts between them required the use of intermediaries from the long-range cultures. The role of these long-range intermediaries, normally in combination with some forms of leadership and commerce, was the basis for the specialisation of individual communities in the activities presuming control over the wide areas.

While *Homo mobilis* was the primordial phenomenon, the ‘man settled’ was the consequence of later adaptation. The evolution of agriculture as the “gathered gathering” was to a large extent the continuation of the Venus pattern. From the motivation and technology

aspect agriculture was the artificially localised gathering, the spatial convergence of harvesting and housekeeping. The urban behavioural model goes back to the Venus pattern. It is quite possible that it was the enclosed and protected harem that became the pra-city; moreover, the place was locked down not only against the raids of the varmint strangers, but also to prevent escape of the flighty wives. The settled urban culture was built on a whim of women, for women, and in many respects by women. The settled existence in its way contributed to the evolution of movement: the highly populated and wealthy settlements became the attraction points for the nomadic groups. While earlier the hunters “herded” the wandering gatherers, now they had them at their disposal in the permanent residences. The inhabitants of the towns were the sedentary people, but it were the mobile ones who ruled over them. The stem of the Neolithic revolution appears to be the “domestication” of people, and the creation of a new type of social hierarchy based on “enslavement” of the settled and the power of the mobile.

#### *Chapter 4. Horse-breeders and Seafarers*

Starting with the Neolithic revolution the balance between the dynamics and the statics acquired the form of relationship of nomadism and the settled way of life. Mobility of the nomads in addition to being their main weapon was also their trade, ideology and politics. The most important event in the evolution of the long-range cultures of northern Eurasia was the emergence and development of activity patterns of the “horse-people” and the “sea-people”.

Archaeology managed to fix the approximate prehistoric birth point of the horse-breeding culture in the south Russian steppe in the middle of the fourth millennium BC (Srednestogovskaya culture). It is quite possible that its emergence was the consequence of the “Cossack syndrome” — the formation of the dashing “freedom community” in the “wild field” at the outskirts of the Tripolje culture. The non-peaceful line of the mounted Indo-European hordes stretching from Europe to China from the Eneolithic period became the generator of a diversified nomadic culture, the intermediary between the local settled communities, the main route for the dissemination of the technical innovation (particularly the arms) and the “leadership greenhouse”. In the Bronze Age (2,000 BC) numerous battle chariots rolled along this thoroughfare leaving behind bronze axes and daggers, introducing the interment with horses rites, and carving petroglyphs depicting carriages drawn by



horses. In the 12<sup>th</sup> century BC the chariots gave way to equestrianism and the speed with which it spread across the Eurasian steppes, in Greece, Anatoly, Cyprus, and in the Caucasus, demonstrated to what extent the Eurasian world was connected internally by horse-riders, and to what extent they contributed to maintaining the informational and the socio-cultural unity. The central and the coastal Europe with their mountainous-forest landscape were ecologically inconvenient for the steppe people. Nonetheless the mounted warriors played a notable role in the socio-cultural and the hierarchical structure of the ancient Europeans. With a certain temporal lag (relative to the Eurasian steppe) horses and chariots became the attributes of the European elites from the Balkans to Scandinavia.

In the Early Iron Age the Eurasian steppe was the arena of migrations of Indo-European riders, the easternmost of whom, the Yuezhi-Tohar, migrated along the borders of China. It is possible that Yuezhi gave Hsiung-nu their first lessons in horseback raids, encouraging them to join in the raids on the Chinese agricultural provinces. The Yuezhi woke up the Hsiung-nu, teaching steppe hunters the system of hunting not only animals, but people as well. In its turn the Chinese emperor having attacked Ordos during the Qin Dynasty provoked further expansion of the nomads. The nomadic aggressiveness of the Yuezhi in combination with the Qin-Han cult of unity gave birth to the Hsiung-nu phenomenon. The double or binary social mime-adaptation allowed the peripheral nomads under the leadership of Mao-tun create a nomadic empire amidst the "wild field" over a short period of time. The Hsiung-nu surpassed the Chinese in mastering the Yuezhi mobility, and the Yuezhi — in practicing the Chinese solidarity; the Hsiung-nu developed a motivation-activity pattern based upon perfection of equestrian and bow shooting skills, and cultivation of war as a lucrative and prestigious occupation.

The cultures of the "people of the sea" developed in the south and the north of Europe from antiquity: the reed boats of Egypt and the wooden barks of northern Europe already 9–8 thousand years ago were used for cruising the main-line rivers and the large island archipelagos (the Aegean, the Danish). For the Egyptians sea travel did not become a thoroughfare of movement and development, although chiselled pictures of boats were left on the desert rocks between the Nile and the Red Sea already in the fourth millennium BC. The Egyptians who were the first to build the big ships used them for carrying not only grain and

cattle, but also the authority (models of ships found in the pharaohs' tombs give an indication of the hierarchy and the social importance of the ships). The Egyptian navigation made the Nile a thoroughfare of potamic civilisation. Moderate use of the sea by the Egyptians could be the consequence of their feeling that the Great River offered them better protection from dangers of the seas and the deserts (similar to the Chinese attitude towards the open spaces).

As opposed to the Egyptians the population of Crete and the Cyclades archipelago developed a cult of the sea which found its artistic manifestation in pictures of ships, dolphins, fish, corals, and sea stars in murals, on vessels and stamps. Crete became the capital of the sea people; it was the most remote from the continent island of the Aegeid — home of the Minoan kingdom, the most ancient Mediterranean thalassocracy. The domination of the seas was not the product of fishing, but of piracy, meaning by the latter not only the capture of alien ships, but also the fight for control over and "herding" of the coastal population. The bellicosity of the Aegean sea-people went back to the ancient European "ox pattern" — beast-warrior, which found its expression on Crete in the famous myths of the Minotaur and the rape of Europa. Similar to the inland European population of the Bronze Age, who left the drawings of horned horses, the sailors of the Aegeid represented the masters of the sea as the furious and amorous oxen.

In the mid second millennium BC the new centre of the long-range maritime culture was formed in Phoenicia, at the cross-roads of the routes and contacts between the Aegeid and Egypt. The Phoenician city-ports in Levant were the communities made up of the representatives of different cultures — Semites, Egyptians, and Cretans-Philistines. The Phoenicians formed an extraterritorial confederation of traders, assuming the role of intermediaries in the international sea-borne trade. The sea-borne trade phenomenon of the Bronze Age was the product of a flow of events in which supply and demand were intermingled with the religious and the power ambitions. The cult of wealth that originated from a mixture of striving for power, religious pursuits, mysticism and greed was instrumentally developed by the sea traders. In its nature it had as little in common with the daily living needs, as the "golden calf" with veal. The Phoenicians managed to synthesize different motives and values, having created the equivalents of exchange and mastered the art of managing this exchange. In their hands the gold, which was sacred for the Egyptians and prestigious for the Greeks, became the measure

and the instrument of power. The sea was a convenient pasture for the "gold calf", and the seaways became the routes for dissemination of the cult of wealth and the practice of gaining it far beyond the limits of the Mediterranean.

The Nordic maritime culture had its roots in the north European Neolithic, the time of the appearance of the first double-stem boats. Stability of the northern tradition did not exclude the ties of the Nordic culture with the Mediterranean one, judging by the spread of the megaliths, the sea-borne circulation supported the trans-European communications of the Stone Age. The contacts between northern and southern seafarers of Europe were of a two-way nature, and their local roots were sufficiently strong to secure the distinctive development and the selectiveness of the borrowings. The northerners' crave for the southern trophies was a clear indication of their acceptance of the "golden calf" cult. It is possible that already in the Bronze Age the northern sailors participated not only in the trade, but also in plunder campaigns. Bellicosity of the sea-people was stirred up by the competition with riders who dominated the open spaces of the eastern Europe. It is quite possible that the ways of marine and inland nomads crossed already in the Bronze Age at the West-Asian and the Black Sea crossroads.

The activity pattern of the northern Teutons was motivated by the military trade and the overgrown to the ethnic ideology scale cult of military valour. The most lucrative land for the military trade of the northern barbarians was the Roman Empire. With its counter expansion, e.g. the Cesar's Rhine campaigns, the Rome only strengthened the military pattern of the Teutons. Similar to the Chine, with its attempts at protecting against Hsiung-nu with the Great Wall, the Rome built Limes Romanus from the upper Danube to the middle Rhine — a fortification network consisting of a line of castles-fortresses. The Goth expansion went from the north to the south bypassing the Limes and initially covering the Baltic coast. Later on it spread further across the east European thoroughfares reaching to the Black Sea. From the very first episode in their history the Goths appeared as the people of the sea. Black and Asov seas became the main arena of their war trade. The ethnically inhomogeneous community led by the Goths was both functionally and hierarchically organized as the people-army: the Cherniakhov culture settlements on the Black Sea coast were inhabited by warriors and armourers, potters and cooks, merchants and farmers.

The appearance of the wandering Slavic armies invading eastern Europe in the middle of the first millennium was the result of their involvement into the military adventures of the Goths and, at a later stage, of other nomads. The path of the Goths crossed the Slav lands from the Vistula to the Dnieper estuary, and the territory between Baltic and Pontic seas became the arena of interaction between local Slavic and long-range Goth cultures. Slavs and Goths with their different activity patterns complemented each other: the hunters-farmers owned the local natural resources; the marine warriors had control over the ways and the territories between the two seas. The Slavs used the Goths as intermediaries and military force in the inter-tribe conflicts, whereas the Goths practiced their war trade in the Slav lands and recruited the infantry for the military campaigns. However, the military mime-adaptation did not turn the Slavs, unlike Hsiung-nu nomads, into the people-army, at the same time the eco-cultural attachment to land had predetermined the success of colonisation: while the nomads dominated the space, their allies-Slavs took roots in the land developing its local areas. During the Great Migration age, while the steppe and the marine long-range cultures succeeded each other, the Slavs created a network of stable local cultures from Balkans to Baltic Sea coast.

*Part II. Scenarios. Chapter 1. The Vikings*

A style in art cannot fail to be a style of thought and perception. The Vikings managed to grasp a moment in the poems and the ornament (the name of one of the Norman's motifs was the "grasping beast"). The skaldic verse was the expression of the mental acuity of the Vikings. The phonetics, rhythm composition of the Scandinavian verse corresponded to the manner of the warrior's behaviour with accents on quick decisions and the suddenness of action. The scaldic poetry was dedicated to the heroics of battle, hence the clash of weapons that can be heard in its lines, it is even possible that it was a kind of weapon itself. The common for the scaldics cut verse was akin to a sword blow. The scald lines did not make a smooth ornament, but criss-crossed in impulsive movement. The texture of the Borre ornaments was the projection of tension in the minds of the medieval Scandinavians resulting from the intricate mixture of marine navigation and commercial calculation, of war and passion, of risk and responsibility.

In the Viking strategy the outposts of power of the sea over the land were the islands, which served as the residences of "sea-konungs." The

political power of the Scandinavian konungs was born and matured in the sea, and not inland, in constant movement, and not in sitting on the prince's throne. It is possible that there existed a certain division of the sea-lines network controlled by sea-konungs into a kind of "marine principalities". The Heimskringla (Earth Circle) was a network of water lanes embracing the land, control over which was the key to land domination (the "sea-konung pattern"). On the one hand the domination of the seas was the basis of the military and piracy trade, on the other it supported the idea of domination of the sea over the land, which became the Vikings' ideology. The key to ambitions, risk and successes of the sea nomads was their sincere belief in their initial supremacy over the settled population. The *i vikingu* ("away", "at sea") state produced the "citizen of the sea" identity. The Viking is a specific identity that grew from the north-Germanic and the Nordic culture but later expanded far beyond its limits. The Vikings were not only the Dutch, the Norwegians and the Swedes, but also the representatives of Slavs, Balts, and Finns. The Viking identity was comparable to the Phoenician: both had roots in the local cultures (Semite and Germanic respectively) but later became name and identity of the new super-ethnic communities — the sea empires.

The medieval Scandinavians' way of life characterized them as both settled farmers and marine nomads. Stable routes of the Normans were moulded as a replica of their culture, combining war and diplomacy, commerce and colonization, maritime and agrarian economy, rituals and mythology. All colonies and states built by Vikings grew on established waterways. In the old Scandinavian attitude to the way there was both the romanticism of conquest and the pragmatism of development. Maintaining the way meant its comprehensive development, and in this sense not only the way belonged to a Viking, but also the Viking belonged to the way. Control over the thoroughfare was rather a control over social than over natural resources. Not always peaceful interaction between the creators-owners of the thoroughfare and the inhabitants-owners of the local niches was built on the combination of their different activity patterns. The relationship covered a wide spectrum of ties, occupations and random events, but for a Viking the core of relationship consisted in the main functions expressed with the archaeological triad (ship, sword, scale weight) — levy, war, commerce.

The generosity and hunger for glory in the heart of a Viking were inseparable from his sincere love of wealth. With the sword in one

hand and a scale in another the Viking composed poems and calculated their income equally well. The Vikings' greed for money motivated their activity and competition. The wealth was procured, accumulated, given away, and served as the equivalent of glory, the measure of prestige, social capital (such concepts as "greed" and "avarice" were expressed in the poetic kennings as "bush of wealth" and "collector of treasures").

The destruction of the European Christian monasteries by Vikings were the pagans' answer to the unannounced Crusade started by Charlemagne in the 770s, primarily to the baptism of the Saxons. The Vikings' movement was driven by the motivational-activity charge of the Nordic culture expressed in the "Odin pattern" — a synthesis of poetry and war, ambition for glory and power, and lust for women and wealth. The decline of their culture was the consequence of the cessation of movement, change of the pagan way for the Christian order, the settling down of the seafarers in the colonies, the victory of statehood over the *i vikingu* freedom. The long-range culture of the Vikings split eventually into a number of local cultures.

### Chapter 2. Gardar

In the 8<sup>th</sup>–11<sup>th</sup> centuries the area between Baltic and Pontic Seas was the territory covered by the Varangians' (eastern Normans) expansion along the Eastern Way (Austrvegr). The old Scandinavian geography used in reference to this territory the term Gardar (Cities) or Gardariki (Kingdom of Cities). In the East the Normans were known as *Rus*, meaning "army, the military elite". The phrase "Rus is coming" in the Chronicles meant an army led by a Prince and his team. The author of the story of Svyatoslav and his deeds used the term *Rus* in various connotations — personal (the Prince), military (elite), caste (army), international (country), and spatial (land). It was not a Prince who acquired the name *Russian* from the name of a country called *Rus*, but the country got the name *Rus* because it belonged to a *Russian* Prince with his *Rus*-army. Svyatoslav could not imagine a *rus* independent of himself no matter how far he travelled; in those days *rus* was nomadic, not yet settled down in the *gardar* and on the princes' thrones.

*Rus* and *liud* (people) denominated the relationship between the military-princely elite and the commoners in the Viking era *Gardar*. Correspondingly *poliudie* meant the *rus* making the rounds visiting all the dependent people. The annual *rus* movement cycle can be represented as three "circles": (1) the winter horseback local rounds by the military

team; (2) the Prince's winter horseback round of his dominions on the way "from the Varangians to the Greeks"; (3) the summer boat voyage of the Prince together with his team and allies over the sea to Bulgaria or Byzantium. *Poliudie* is often considered to be the eastern version of the Scandinavian *veizla* (feast). However, unlike the Norman feast of the compatriots *poliudie* (visiting for the people) often included the outsider Scandinavians — the Ros, and the local Slavs and Finns. In the native land of the Varangians the estate barriers were not as strong as between ethnically different nobility and commoners in Rus. In the conquered lands the Varangian princes built fortresses — the *gardar* (towns) and settlements to facilitate collection of levy and valety.

Rus and Slavs represented different motivation-activity patterns: the Slavs developed the resources of nature, and the Rus developed the resources of Slavs. According to the written Arabian evidences, the Slavs cultivated the land, bred pigs and bees, harvested honey, while the Rus robbed the Slavs and sold them as slaves. The most marked difference was in the style of movement: the Rus covered the distances from Scandinavia to Bagdad and China, whereas the Slavs lived in permanent settlements consisting of dugouts. The interaction between these patterns vividly resembled the natural dialogue between the predator and the herbivore, in the social hierarchy — the ruling elite and the vassal agrarian population, in movement — the long-range and the local cultures. Coercion and slave trade were only one part of scenario, another part consisted of the efficient interaction between the ecologically powerful local (Slavic and Finnish) and the politically successful long-range (Scandinavian) culture. The local cultures provided for the economic development and improvement of territories, including growth of towns, whereas the long-range ones "carried" along groups of local farmers-hunters, acting as the transport vehicle of their migration. With their rounds the Varangians raised the Slavs engaging them in migration.

The rule of Prince Vladimir born by the Slav woman Malusha from the Rus Svyatoslav was a turning point in the dialogue between the Rus and the Slavs, the revolution of *poliudie*, when the sovereign Prince combined in himself the two formerly separate behaviour patterns. It was Vladimir who was traditionally described in the Russian tales as the "people's prince" to whom related the heroes "from atop the oven" (Ilia Muromets) and "from the plough-tail" (Mikula Selyaninovich). The reign of Vladimir was the period of synthesis of Nordic

and Slavic traditions, particularly in the north, in the Upper Rus where Vladimir recruited his first military team, and where the ties between the Rus and the Slavs (Sloven) had deep roots. Vladimir was persistently searching for the super-ethnic ideological content and resolved to perform the "imperial" revolution — the baptism. Christianity for Rus appeared a super-ethnic ideology subordinating both Nordic and Slavic traditions and enabling Vladimir, through this new identity, to overcome the conflicting Ruso-Slavic duality both on personal and political levels. The reason why Orthodox Christianity was so firmly associated with the early Russian culture was that it became the uniting ideology of community that was born under Prince Vladimir from a mixture of Normans and Slavs.

Archaeology of the Old Ladoga gives evidence that Normans did not meet Slovens at Volkhov, but that they came together from the Baltic coast. The eastern migratory impulse originated in the 8<sup>th</sup> century in the Baltic community of the Normans and the Slavs. The way was paved by two cultures as if by two feet: the Normans broke through in battle, and the Slavs laboured on; the Normans controlled the thoroughfares, and the Slavs — the local niches. Two cultures moved on alongside of each other, and it stands to reason that Scandinavian longhouses and Slavic bread ovens stood next to each other in the Old Ladoga. According to the Primary Chronicle this inseparable couple were the Rus and the Sloven.

Old Ladoga (Aldeigjuborg) was the regulator and generator of the ways "from the Varangians": the Baltic-Caspian (along the Volga) "to Arabs", the Baltic-Pontic (along the Dnieper) "to Greeks", and the Baltic-White Sea (along the Dvina) "to Bjarms". The first eastern thoroughfare (early 9<sup>th</sup> century) was the way "from Varangians to Arabs" along which up the Volga river flew the Arab silver, and downstream — slaves and furs. The colonisation of Upper Volga followed the same lines of the Rus-Finn-Slavs movement as the colonisation of Ladoga and Ilmen from the Baltic area: Rus acted as the military and commercial core, the Slavs and the Finns as the "subordinated allies" developing the local niches. The opening of the Dnieper way fell on the second half of the 9<sup>th</sup> century with the establishing of the Varangian outpost in Kiev.

Over three centuries of the Rus movement along the eastern way, from 750s to 1050s, the Varangian Princes constantly reaffirmed their power by the raids from the north to the south: (1) Rurik having come from across the sea moved from north (Ladoga) to south (Ilmen); (2) Askold



and Dir having obtained permission from Rurik to go to Constantinople went down from the north to the south and captured a place called Kiev; (3) Oleg moving from the north to the south conquered the territory from Ladoga to Kiev; (4) Svyatoslav in his youth sat as a prince in Novgorod, later he went to war on the south; (5) Vladimir during his campaign from the north to the south seized the power from his brothers with the help of Varangians; (6) Yaroslav seized and reaffirmed his power three times, always with the help of Varangians coming south from the north. This was the end of the history of combining Rus and the beginning of the history of its disintegration.

In the 9<sup>th</sup> century under Prince Yaroslav the *rus* settled down and formed the Rus state. The vector of movement changed direction to the opposite — from the south to the north. Its generator was Kiev, and the motivation-activity basis — Christianity as the state ideology. The first samples of this pattern were brought from Byzantium by Olga, Vladimir and Dobrynya delivered them from Kiev to Novgorod, and Yaroslav built for them the *Hagia Sophia* cathedrals. The spirit of heathen Svyatoslav was driven out from the disliked by him Kiev; Christianity replaced the Viking “Odin pattern” (Perun in the Russian version), with the erection of churches in the sacred places and declaring the Christian God the symbol of unity. The so-called feudal disunity traditionally ascribed either to the ill nature of the nobility, or to the general laws of historic development, was the consequence of discontinuation of movement. The Varangians settled down and the way “from the Varangians” stood still, the formally dynamic Rus broke down into the static local principalities.

The only centre maintaining its long-range quality was the Novgorod land, which not only maintained its integrity, but even expanded its territory through the military and commercial colonization, and by the 13<sup>th</sup> century the Novgorod power spread from Botnia in the West to the Urals in the east, and from the Arctic in the north to the upper Volga in the south. The alliance of Rus-Scandinavians and Slavs (Sloven and Krivich) was the result of long-term interaction that started with the joint movement from the Baltic coast to Volkhov in the 8<sup>th</sup> century, and continued till the last Varangian campaigns of the 11<sup>th</sup> century. This interaction complemented with intermarriage and cross borrowings of the motivation-activity patterns generated the new north Russian (the Novgorod) culture embracing Nordic long-ranging and Slavic locality.

### Chapter 3. Nomads of the Arctic

Circumpolar territory including Arctic (tundra) and Sub-Arctic (boreal forests) since ancient times consisted of five stable ethno-cultural areas: Nordic Paleo-Germanic in the north of Europe; Paleo-Uralic in the north of eastern Europe and Ural; East-Siberian Paleo-Asian in the north-east of Asia; Paleo-Eskimo in the Arctic from the Bering Sea coast to Greenland; and Paleoindian in the forest band of North America. Sea and tundra nomads connecting the space of the Arctic with their movement made the greatest contribution to the emergence of the circumpolar culture ghost that keeps stirring up the minds of researchers for many generations. The Scandinavian and the Beringian examples give convincing evidence that the conquest of the Arctic by Vikings and Tule Eskimos occurred at the peak of the long development of the northern maritime culture during the short-term warming period. The nature opened up the ice locks and sea nomads from Atlantic and Pacific rushed into the Arctic following the receding ice pack. Entering the high latitudes in their whaler ships they rolled over the Arctic like a blast wave: the Vikings from the Labrador Sea in the west to the Kara Sea in the east, the Eskimo — from Greenland in the east to Kolyma in the west.

There is archaeological evidence of a notable activity at the north coasts of Norway during the Viking era. Name of the sea across which lay the way from Norway to the north was *Gandvik* (Wizard Sea). The northern route was covered with enigma and mystery, legends of the Finnish wizards, trolls and giants. The Royal sagas emphasised the heroic nature of travel to Bjarm. Halogaland Ottar considered his travel to Bjarm worthy of reporting it to Anglo-Saxon King Alfred the Great, and Alfred — worthy of including the detailed description of this trip into his translation of the work of Orosius; the raids of Bjarm brought glory to the konungs of Norway — Eric Blood Axe, Harald Grafeld, and Hakon Magnusson. In danger and difficulty the Arctic voyage was quite comparable to a military campaign and thus merited its royal status.

The way “from Varangians to Bjarms” formed a northern ring, the movement along which was driven not only by the commercial benefit but also by the mutual people’s diplomacy — the “psychological compatibility” of Scandinavians, Finns and Bjarms, based on the centuries long neighbourhood, the joint Arctic development practices, and the dialogue between northern heathen beliefs and cross-ethnic

marriages. Among inhabitants of Bjarm were the tundra Samoyeds-reindeer herders, whose camping-grounds were often interlocking with the water ways of Normans. Two methods of movement — by boat and by reindeer — supported each other providing for the communication networks that stretched far into the east European and Ural tundras.

Certain behavioural characteristics of sea and tundra nomads were strikingly similar. As the Vikings in the old days used to seize each other's boats believing that domination at sea did the guarantee of control over the land, in the same way the Nenets fought with each other over the reindeer herds, understanding that the reindeer were the key to domination over the tundra. Both were nicknamed by the settled inhabitants of towns and villages the pirates and highwaymen. Both were famous for the extreme mobility and bellicosity. It is possible that the seafarers arouse in tundra hunters the taste for commerce and war, which in time triggered the development of a new nomadic culture (starting point for the large-scale reindeer herding was the use of domesticated reindeer as a commodity and transportation, including for the dashing military raids using the "battle sledge"). The era of the sea nomads in the Arctic gave way to the tundra nomads.

The sprouts of nomadic reindeer herding culture appeared in the early second millennium AD, when the first hunting-trading and military caravans rolled across the tundra. The following "deer herding revolution" was accompanied with the wars for reindeer. Though theft in general was not encouraged by the Nenets, it appears that according to their epos the seizure of other people's deer was praised as valour. Nenets epos is full of the descriptions of nomadic camps, pursuits, endless journey, and the language is rich in expressions for movement (including vocabulary, syntax, and melodies of folklore performance). The Nenets' perception of space is associated with the image of mute narrator Myneko flying over the hills and valleys, circling over the camps looking at the world with the characteristic for a nomad "bird's eye." From above he see the moving caravans, the grazing herds, in the same way as the nomad distinguish the open space of the tundra and himself in it as a moving dot. This view from above differentiates the tundra nomad from the forest dweller with the latter's spot projection from below, and brought him closer the seafarers, whose 'views from above' found their expression in the maps of the "Earth Circle" (the Vikings) or the navigation charts (the White Sea Pomors).

From the very beginning the nomadic herders travelled long distances not so much following their herds, as going in the direction of the hunters' villages, with either trade, or plunder on their mind. In their turn the hunters alternately saw in the herders a threat, or a benefit, but inevitably — means of intermediation in tundra communication. Nomadic Samoyeds provided a link between Bjarms of Europe (northern Perm), Arctic hunters (*Sikhirtia*), eastern Gydan-Taimyr Enets hunters (*Mando*), Nganasan (*Tavgi*), and numerous local groups of taiga people (*Khabi*) including Mansi, Khanty, Selkup, and Ket. Main sign of influence of the long-range Samoyed culture was the spread of Nenets-style reindeer herding across the tundras from White Sea to Taimyr Peninsula, as well as in the northern taiga.

Tradition of maritime adaptation in the northern Pacific, as well as in the northern Atlantic goes back to the early Holocene period; however the peak of sea navigation here too coincided with the middle age climatic optimum period (8<sup>th</sup>–11<sup>th</sup> centuries), when the maritime culture following the receding ice entered the Arctic through the Bering Strait gorge and spread east to Greenland and west to the Kolyma. Beringian whalers of the Punuk-Tule culture lived in large communities and at the same time migrated over long distances similar to the "settled nomads" of Scandinavia. The solidity of Punuk and Tule Eskimo houses was not so much an indication of their settled way of life, as of the taste for monumental structures made of whale bone, and the abundance of life products was rather an evidence of occasional excessiveness of culture, than of its balanced thriftiness. There is archaeological evidence of the fast growth of armaments in the Punuk-Tule period. Whaling was similar to a sea battle and as such it gave birth to the ideology of domination over the elements and the space, which was easily translated onto social relations. A whaling expedition of 3 to 8 boat teams (30–70 men) could, if need be, become a navy or a pirate fleet. Apparently the long distance raids in pursuit of migrating whales were not so much the harvesting, as the military-colonising and trading operations.

One of the monuments of this culture was the Whale Alley in the Yttygran Island. The absence of any settlements on the island was an indication that the Whale Alley was built not by the settled population, but by the sea nomads, for whom the sea was not a barrier, but a familiar road. Whalers could use the island lying at the crossroads of the sea routes as a base for cutting and storing the whales harvested nearby, as well as the place for trading and rituals. In the Pegtymel petroglyph

gallery the Punuk-Tule culture was represented with the whaling and reindeer hunting scenes. It is possible that the Pegtymel rocks served as the place for feasts and rituals related to the completion of summer harvesting period both at sea and ashore. The alternation of whaling and deer hunting scenes in the rock drawings may be interpreted as the dialogue between sea and river hunting stories. The Arctic sailors established a wide network of colonies, engaging the local groups of the ancestors of Yukaghir and Chukchi in the west to Birnirk and Dolginsk groups in the east into trading, military and matrimonial relations. It is possible that in Chukotka, as in the Samoyed tundra, the movement of continental hunters, that triggered the development of commercial and transportation deer herding, was aroused by the Arctic seafarers. In any case the proximity of reindeer and whaling boats in the Pegtymel petroglyphs, as well as long-term interaction between coastal (sea) and inland (reindeer) Chukchi is the evidence of cooperation between different activity patterns in the Arctic. The largest centres of the Arctic deer herding (Saami, Nenets and Chukchi) had direct relationship with the centres of maritime culture: the tundras of Saami and Nenets bordered on the "northern ring" of Vikings, and the Chukchi tundra — on the sea routes of Tule Eskimo. The deer routes started at the end points of the sea lanes and were their overland continuation facilitating the trade contacts between remote territories.

Arctic sea cultures maintained their potential until they could feed on the strength of base centres — Scandinavia and Bering Sea coast. In the beginning of the second millennium the colonisation stage gave way to the colonies development period, and the heroics of conquering the space melted away in the routine of established relationships. The Vikings were the first to leave the scene. From the North they were pushed by the advancing ice, and from the South — by Christianity. In the Russian north they melted into in the White Sea Pomor communities, in Greenland their colonies disappeared in the 15<sup>th</sup> century. The 14<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> centuries saw decline of whaling and with it the Tule culture across the Arctic from Greenland to Chukotka. From the Arctic coast the dynamics moved to Eurasian tundra where the deer herders started to make their camps.

#### *Chapter 4. The Mongols*

Nomads' raids of the steppe frequently started and ended in the mountains. Every nomadic chief had his own hill, always a sacred one,

which he saw the expanse of his country for the first time and near which he would wish to be buried. Wherever he moved, this 'falcon's view from the mountain stayed with him for life, and the nomad's perception of space and the original tactics of motion was rather that of a highlander than a lowlander. For the nomads a hill view, a falcon's flight, a wolf's or a horse's run served as the main measures of space. The primordial "falcon pattern" is presented in the image of legendary forebear of the Mongols Bodontchar-Mungqaq. Genghis Khan's journeys proved that no matter how far away migrations and conquests could lead a man, the point of return would always be the native hill.

Steppe without a hill was like a body without a head, and the sacredness of hills in the nomads' mythology was not an aesthetic quality, but the formula of decision making, the synthesis of motivation-decision-action in the dialogue between man and god. The Genghis Khan's monologue addressed to Burkhan Khaldun and finished with prayer is an illustration of intrinsic connection with the sacred hill to which a warlord in distress confessed his fears and desperation. The sacred hill was more than central point of nomadic camp; it was also a storehouse of the most arcane secrets, designs and weaknesses. For a nomad it often served as the missed link that would transform motives into actions.

The drama of Mongol history in the "Secret History" was built on the symbolic ties of blood between Yesugei and Tooril, Genghis Khan and Jamuqa, the sworn fatherhood of Tooril with regard to his "son" Genghis Khan. Blood brotherhood was treated practically as the core of nomadic warlords' diplomacy. "Kinship" for Genghis Khan turned upside down exposing its backside. A wave of betrayal, murder and insults freed the young orphan Temujin (Genghis Khan) from the convention of kinship and opened up a path to self-assertion.

Connecting link between the elite clan of Khan and the uneven in composition *ulus* (nomadic social unit) were the *nokor* — the warlord's vassals. Selection of the first *nokors* had a decisive importance, because in future it would be the actors, who influenced the atmosphere in the *ulus* competing with each other and teaching the novices, supporting and strengthening (or undermining as the case could be) the power of Khan. *Ulus*es based on blood relation had few chances for expansion owing to the limitations of the blood relation circle, whereas the *ulus*es ruled by *nokors* offered a powerful potential for expansion and seizure of other *ulus*es. The *nokor* *ulus*es could easily be turned into the warlike hordes devoted to their leader.

Women and horses were the essential purpose of the raids, and the war for uluses in Mongolian steppe resembled a competition for a harem and a herd of horses. The relationship Khan-ulus was in some way similar to the husband-harem, and shepherd-herd relationships. Contrary to the general allegations of historians it was not the building of the state that gave Genghis Khan a true pleasure, but the blossoming girls and smooth-sided geldings as was mentioned in his Bilik. The nomadic ulus was always on the move and success of its manoeuvres depended on the state of the horses. The horses were not simply a part of ulus, but a guarantee of its sustainability. The borders of the Great Mongolian Ulus were to a large extent determined by the space covered by the equestrian warriors.

The Temujin's gift consisted in the combination of the paradoxically different qualities, the amazing alertness and the situational sense of proportion. Caution in the manoeuvres of the nomads was of no less importance than the sudden attacks. It was animal sense of danger that placed Temujin head and shoulders above his allies and enemies, including Tooril and Jamuqa. Temujin managed to accumulate power from the steppe rather than gradually nurture it, by usurping and imitating the "political capital" of others. Temujin's versatility opened for him a path of transformation from a timid fisherman-boy into the all-powerful father of the peoples. Genghis Khan was no great military leader and achieved most of his brilliant victories with the hands of his allies and *nokor*. One of the secrets of his rapid success was the political tenacity, the ability to perform parallel social actions (strengthening of the absolute rule) on the wave of move (a military campaign).

In 1203 Genghis Khan in a sudden overnight attack destroyed the ulus of his sworn father Tooril Khan; he overthrew the legitimate hereditary Khan and demonstratively scoffed at the Khan's insignia — the Golden Yurt and its contents. Being an illegitimate offspring of Khan family and an abused orphan Genghis Khan consistently used the methods common for the plebeian revolutions. What happened in Mongolian steppe was in fact an ethnic-social revolution which resulted not only in change of ethnic elite (Mongols for Kereits) but also of the administration system (Khan's *nokors* instead of clan warlords). Effect of the rapid centralisation of power and conquering expansion of Mongols was the result of these transformations, which using the language of the recent revolutions "roused the masses."

In the course of military reform that followed (1204) Genghis Khan made the *keshik* — personal bodyguards of the Khan who had control over the whole horde-army — the main instrument of administration. Khan's cautiousness, outwardly resembling cowardice, was a valuable attribute in the environment of the steppe conflicts when it was important not only to organize a raid, but also to apprehend danger. The *keshik* had absolute control of the army-horde without the actual participation in the military action. In fact the horde as the state apparatus grew from the personal bodyguard of Khan and acquired significant dimensions thanks to his acute concern for his personal safety, and the safety of harem and headquarters.

While motivation of the horde originated from the mobile and vigilant Khan, its driving force was the indefatigable "dogs-nokor." Genghis Khan with his cunning politics of kinship and slavery, order and aggression managed to engage and subordinate the whole expanse of steppe. Decisive advantage of Temujin proved to be his aptitude to flexible adaptation and imitation which added variety to the spectrum of his actions. From the inner motivation aspect the outburst of expansion apparently occurred as a result of overheating and boiling of the three passions of the nomads: women, horses and chase-hunting. Harem-herd-chase — was the motivational pattern with which the Khan woke up each morning in his Golden Yurt and which sent his indefatigable nokors on the beat across the remote lands.

\*\*\*

Northern Eurasia in the system of social and cultural ties was created by the mobile long-range cultures — the nomads of sea and steppe. In the fates of Rus-Russia their routes crossed to form the Nord-Russian (Novgorod) and the Horde-Russian (Moscow) traditions. Like the Vikings at sea, the Mongols in the steppe spread a gigantic social network based on the same triad, war-levy-commerce, only the share of commerce in it was negligible compared to the military and levy component. The Mongol culture of vast spaces crossed with its thoroughfares the whole of the middle Eurasia, embracing also the Lower Rus as a local culture in the peripheral west. The new Moscow (named after its outpost) culture based on the strong centralisation of power and military-levy trade was formed at the junction of Mongolian (Horde) and Lower Rus cultures. According to the students of Eurasian school Moscow inherited the administration methods from the Horde



and by 16<sup>th</sup> century surpassed already disintegrating Horde in its social and political potential.

The Nord-Russian tradition did not disappear with the fall of Novgorod in 15<sup>th</sup> century. Based on individual activity pattern and inherently independent of the strong capital it spread across the north of Eurasia and was most vividly represented in the culture of Russian Pomors. The activity pattern of the Horde-Russian tradition unthinkable without a powerful centre and based on the administrative and tax principles was fulfilled in the creation of the hierarchical structure of the "small copies" of Moscow. The opposition of these two traditions — Nordism and Hordism — is to this day felt in the conflicts of Russian citizenship and Russian ethnicity, centralism and regionalism. However, it may also be argued that they merged to form a synthetic Russian culture with a wide range of variations — from the fanatic Old-Believer and meek farmer to the varmint merchant and ambitious bureaucrat. It was the binary long-range nature of the Russian culture drawing on the traditions of Nordism and Hordism, as well as the Slav local adaptivity, that became the driving force of the epochal expansion resulting in the formation of Russia and still maintaining it in the vast territories of north Eurasia.

*Homo mobilis* remained the key figure of geopolitics till the later Middle Ages, when the last nomadic volcanoes died down under the pressure of military technology and political ideologies. In the 17<sup>th</sup> century the Manchu were the last nomads to conquer China, but the Dzungarian Gate that for centuries served as the migration road for the Eurasian steppe was already cut off with fire arms and regular troops of India, Iran, and Russia. The last upswing of the Eurasian nomadism occurred in the Arctic that was swept by the wave of the "herding revolution" triggered by the expansion of the Russian statehood.

Today's *Homo mobilis* is a sedentary manager with a mobile phone. Present day diversification of movement brought about complete reorganisation of its structure. The flow of electronic data replaced the couriers and coachmen, and the geopolitics has long since changed the Khans saddle for the office chair. Forms of movement changed beyond recognition; however the motives and the patterns remained essentially the same. The common feature of the long-range cultures of different epochs including the present is apparently the control over the distance, intermediation and administration of the subordinated local communities, as well as the domination of one's religion/ideology. The nomad did not die, in some way he is being reborn in the practices

---

of global visual communication. Postmodernists raised the “nomadic principle” to the credo of modern and postmodern “sovereign man” intending to be exterritorial, personally and culturally independent in the information society. Main geopolitical and ideological battles today are fought in the virtual information environment, and the “global web” has all the functions of the global empire — it stands for reason that the virtual realm reproduces the reality in all its manifestations from friendship and scandal to vice and disease.

Movement in all diversity of its forms still remains mysterious. If science has not yet abandoned hope to grasp the meaning of this basic principle of life, it is necessary to pay closer attention to the mechanisms of adaptive change including the switching between the behaviour patterns and their situational synthesis. Without a conceptual shift in the academic thinking from the statics to the dynamics the issue of movement (motive-decision-action) would remain blurred. Today’s reality requires from a researcher greater involvement of the means of visual arts with its natural dynamics, and the combination of the efforts of art and science recognizing the movement would require introduction of new dimensions and means of understanding.

*Научное издание*

Андрей Владимирович Оловнев  
чл -корр РАН,  
доктор исторических наук, профессор

АНТРОПОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЯ  
(ДРЕВНОСТИ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ)

Рекомендовано к изданию  
Ученым советом Института истории и археологии УрО РАН

Редактор  
И В Зырянова

Верстка  
С В Лезова

Подписано в печать 17.04.2009  
Формат 60х90 1/16 Бумага ВХИ 80 гр/м²  
Печать офсетная Гарнитура Georgia  
Усл. печ. л. 31,0 Уч.-изд. л. 26,85  
Тираж 315 экз. Доп. тираж 685 экз.  
Заказ № 77

Оригинал-макет подготовлен в научно-редакционном отделе  
Института истории и археологии УрО РАН  
620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 56

Отпечатано в типографии  
«Уральский центр академического обслуживания»  
620219, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 91

Издательство НГМПИ «Волот»  
620083, г. Екатеринбург, ул. Туренева, 4  
Лицензия ИД № 02328 от 11.07.2000 г.